

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

2



Л. С. Клейн

Т 4
К-482

Донецкий национальный университет

Л.С. Клейн

**АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
Методика кабинетной работы археолога**

Кн. 2

Донецк 2013

БКК 14(0)в
К482

Клейн Л.С. Археологическое исследование: Методика кабинетной работы археолога.
– Кн. 2. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2013. – 599 с.
ISBN 978-966-639-400-5 (серия)
ISBN 978-966-639-520-0 (т.3, кн.2)

Научная серия: Теоретическая археология. Т.3 (в двух книгах).

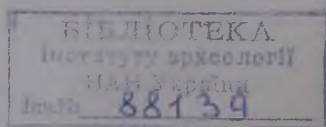
Научный редактор В.С. Бочкарев (д.и.с., ИИМК РАН, ст. препода. Санкт-Петербургского ун-та) при участии С.В. Белецкого (д.и.с., в.п.с. ИИМК РАН, проф. Санкт-Петербургского ун-та культуры и искусства)

Ответственный редактор серии А.В. Евглевский (Донецк, ДонНУ)

Рекомендовано к печати Ученым Советом Донецкого национального университета, протокол № 5 от 27.04.2012 г.

Методам археологического исследования посвящен ряд книг, но это обычно полевые исследования (разведки и раскопки), изредка камеральные работы, хотя большую часть года археолог проводит в кабинете, интерпретируя результаты полевых и камеральных исследований. Книг по методам кабинетных исследований археолога практически до сих пор в России не было. Свой университетский курс по этой теме автор, известный петербургский археолог Л.С. Клейн, переработал в двухтомное руководство. Первый том посвящен в основном обработке археологического материала, второй – интерпретации. Поскольку книг по этой теме не хватает, в своем труде автор старался сочетать функции учебного пособия, методического руководства и исследовательской монографии. Книга рассчитана не только на студентов и аспирантов, но и на практикующих археологов. Она будет полезна и для специалистов различных исторических дисциплин, пользующихся результатами археологического исследования.

ISBN 978-966-639-400-5 (серия)
ISBN 978-966-639-520-0 (т.3, кн.2)



- © Клейн Л.С., 2013
- © Донецкий национальный университет, 2013
- © Автор проекта серии Евглевский А.В., 2013
- © На обложке: “Венера из Цаушвица” (найдена в Германии на поселении культуры линейно-ленточной керамики, хранится в музее Дрездена). Источник: W. Koblenz. Kunst und Kunstgewerbe aus der Ur- und Frühgeschichte Sachsens. Fotos von Heidemarie Hennig. Berlin, Deutsche Verlag der Wissenschaften, 1975, Tab. 3.

Издательство и автор книги благодарят Музей Дрездена за разрешение поместить фото статуэтки на обложке, 2013

Предисловие ко второй книге

Предлагаемый второй том выходит на полгода позже первого тома, и нумерация его частей и глав продолжает нумерацию первого тома. Так же, как и первый том, рукопись этого тома предварительно просмотрели В.С. Бочкарев и С.В. Белецкий и сделали ряд замечаний, за что я им весьма признателен. По завершении этого труда, считаю своим приятным долгом принести свою искреннюю благодарность А.В. Евлевскому и сотрудникам его археологической научно-исследовательской группы, всегдашней готовности которых и энтузиазму я обязан возможности реализовать этот давно лежесмый план.

Я признателен также С.В. Белецкому за то, что он в течение десятков лет неустанно побуждал меня превратить этот курс, который он слушал, будучи студентом, в книгу и издать. Конечно, окончательный текст книги сильно отличается от курса, читанного давно. Мои бывшие студенты, возможно, не узнают этот курс или узнают только некоторые места. Кроме того, нужно оговорить, что еще в давние времена я выделил из этого курса в отдельный курс рекомендации по практическому оформлению исследований (виды археологических текстов, научный аппарат, ссылочные системы, библиография, иллюстрации, проблемы авторства и цитирования, язык и т.п.). В эту книгу всё это не вошло.

Между тем, эти технические вопросы очень затрудняют молодых исследователей и составляют необходимую, хотя вроде и формальную часть хорошей школы исследований, разумеется, не только археологических. Как библиографически правильно составить ссылки, еще можно справиться в методичках, но вот что считать чужими мыслями, что – общеизвестными, на что и кого нужно ссылаться – на первое появление идеи или на лучшую разработку, на наиболее полную, или на “последнее слово”, где ставить ссылку – перед пересказом или после него (чтобы было ясно, какие мысли принадлежат упоминаемому автору) и т. п. – всё это обычно не обсуждается, методических указаний не найти. А от этого часто зависит, так сказать, этический колорит работы.

Зависит от этого и культура научного труда. Помню, как старая сотрудница колоссальной Библиотеки Института истории материальной культуры в Петербурге Евгения Владимировна Ольшевская с комическим ужасом рассказывала мне о новоприбывшем молодом археологе: “Он жаловался мне, что никак не может найти инициалы автора по фамилии Эodem, написавшего много книг и статей! И еще много книг написал Ибидум...” До прибытия в Библиотеку ИИМК никто не разъяснил этому новичку, что Eodem и Ibidum – это латинские обозначения “того же (автора)” и “там же”.

Так что это всё это не вполне формальные вопросы.

Я проводил специальные занятия по ним, но не включил их в эти два тома ради экономии места. Да кроме того, это всё-таки общенаучные вопросы.

А вот розыски нужной литературы, ориентированность в археологических и смежных журналах – это специфическая для археологов проблема, но и ее пришлось оставить за пределами вошедшего в книгу: объем и так слишком велик, а недавно появилась брошюра И.Л. Тихонова (2008) по археологической библиографии, освещающая эти вопросы.

В качестве подготовительных материалов к этому тому использованы частично или иногда почти полностью мои более ранние публикации: Клейн 1969а; 1972; 1973а; 1974б; 1981г; 1988; 1996б; 1997; 1998; 1999; 2004в; 2009а; 2009б; 2010а; 2010б; 2011а, 2011б; Klejn 1973а; 1974б; 1981а; 1981б. О поздних из них трудно сказать, что они использованы здесь, потому что это скорее заготовки для тома были использованы для кратких публикаций в отдельных статьях.

Часть I. Общие проблемы интерпретации

Глава 1. Интерпретация и реконструкция

1. Задачи второго тома. Приступая ко второму тому моего руководства по кабинетным методам работы археолога, я напомним читателю, что в первом томе были рассмотрены способы сбора и упорядочения материала. То есть я стремился показать в нем, как препарировать информацию ради придания материалу структуры, лучше выявляющей его содержание. Для второго тома я оставил способы извлечения этого содержания. То есть я стараюсь показать, как разумно и правильно интерпретировать археологический материал, как по нему реконструировать историческое прошлое.

Когда я рассуждаю о правильной интерпретации, это не значит, что я считаю только одну интерпретацию правильной, а все остальные – ложными, как это было принято в советской археологии, основанной на марксистской догматике. Можно интерпретировать материал в разных целях, рассматривая его с разных сторон, а это означает разные интерпретации, и все они могут выявлять некую истину. Тем не менее, не все интерпретации столь хороши, наряду с правильными могут существовать и ложные интерпретации, возможен сбой в толкованиях из-за неправильных методов работы. Избежать этого и должно помочь мое руководство.

Более того, в науке часто нет такого четкого деления на правильные и неправильные интерпретации. Многие определяются в вероятностном плане: более вероятные и менее вероятные трактовки. Во многих случаях можно подыскать способы выразить это различие математически, но и там, где это сделать затруднительно, сравнение нередко возможно.

Книга моя неспособна превратить тупого исследователя в умного и талантливого, но умному она, надеюсь, поможет избежать подвохов и ошибок, связанных со сложностью проблем и лакунарностью материала.

Поясню некоторые употребленные здесь понятия: информация, материал, интерпретация, реконструкция и родственные им.

2. Информация, источники и материал. Понятие “информация” – важное для археологии не только как общенаучное, но и потому, что тесно связано со специфическими понятиями археологии “памятник”, “историческое прошлое” и “археологический материал”. На сей счет у меня был не так давно спор с моей коллегой Я.А. Шером (2004: 116-121; Клейн 2011в). Шер подвергает сомнению общепринятое (употреблявшееся и им самим) именование археологических па-

мятников и находок археологическими источниками. Он спрашивает: источниками чего? В англоязычной археологии нашему термину "источник" соответствует *source* – буквально: 'запись'. Но и тут возникает тот же вопрос: запись чего?

Ответ для Шера ясен: информации. И вот здесь он ставит вопрос, который я в своих работах уже задавал: "содержится ли в археологических памятниках (источниках) информация?" (Шер 2004, с. 116). Если содержится, их логично именовать источниками, если не содержится, – это нелогично. Но я спрашивал о нескольких иском содержится ли в них *историческая* информация? И отвечал, что исторической информации в них нет, она рождается в процессе исследования из взаимодействия археолога с той *информацией о прошлом*, которая в них содержится.

Так же, как историк, приступая к письменному источнику, получает только информацию, что некий человек по имени Цезарь перешел речку Рубикон. Множество людей переходят в своей жизни немало речек по мостам и вброд, так что сама по себе эта информация о прошлом заурядная, бытовая и не важна для истории. Но, сопоставив эту информацию о прошлом с характеристикой консула Цезаря в его отношениях с Римским сенатом, зная, что Рубикон был границей между территориальной компетенции консула и недозволённой для его действий территорией, наконец, учитывая, что Цезарь перешел эту речку, сопровождаемый своими легионами, историк соображает, что тем самым Цезарь объявил войну сенату. Информация о прошлом превращается в историческую информацию.

Точно так археолог, получив информацию о прошлом из наблюдений за археологическими памятниками – что культура от слоя к слою резко сменилась, что между ними лежит прослойка пожарища, что сменился антропологический тип (это уже помощь со стороны антропологии) и т.д., – делает вывод, что тут была миграция и произошла смена населения. Это *историческая информация*. Она тоже получена из информации о прошлом.

Шер же считает, что в памятниках самих *никакой* информации нет – ни информации исторической, ни информации о прошлом. Что вся она возникает в порядке взаимодействия исследователя с объектом. В этом он исходит из определения информации, бытующего у специалистов по информатике. Однако у исследователей этих бытует много определений – единого нет (см. Мазур 1974, с. 11-25). Шер предпочитает то, по которому информация – это не характеристика сообщения, а соотношение между сообщением и его потребителем (Тростников 1970, с. 15). Это чересчур общее и размытое определение. Более того, исходя из того, что теория информации К. Шеннона и У. Уивера связывает информацию с *негэнтропией*, Шер (2004, с. 119) заявляет, что "информация – это упорядоченность". Он всё-таки рискует спутать два разных понятия: информацию и систематизацию. Это уведит рассуждение в сторону. О систематизации, типологии, классификации и соотношении этих понятий применительно к археологии мы с Шером рассуждали во время дискуссий 1970-х годов (см. Типы в культуре 1979). Информация не обязательно означает движение к упорядоченности. Констатация

движения к хаосу – тоже информация (сообщение о взрыве звезды, о разложении трупа, о разрушении памятников).

Поясняя идею Шеннона о негэнтропии, А.Д. Урсул (1971, с. 9) писал, что информация – это вовсе не упорядоченность, а “*снимаемая, уменьшаемая неопределенность*”. Таким образом, предпочтительнее другое, более точное определение: *информация появляется там, где наблюдения отмечают некое изменение, уменьшающее наше неведение*. – в этом случае мы говорим, что получили новые сведения, информацию. Не был известен такой-то курган, а теперь он обнаружен, и мы о нем узнали. Не были открыты в нем погребения, а теперь они раскопаны, и мы их видим. Не было сведений о том, какая в них керамика, а теперь вынуты из земли горшки – вот как они выглядят. Теоретически даже сообщение об отсутствии изменений есть тоже информация (как сведения о предельной, нулевой форме изменчивости).

Да, конечно, требуется активная позиция и действия исследователя – его способность уловить это изменение (или его отсутствие), работа его ума, его предшествующие знания. И требуется наша связь с этим объектом: если он недоступен, информации о нем нет. Но в основе лежит сам объект, его облик, изменения в самом объекте, изменения, вносимые самим объектом. Даже если происходит простое описание уже известного объекта, новая информация состоит в том, что фиксируется разница между прежним состоянием и нынешним, между реальностью и неким идеальным образом, существующим в голове исследователя. Для исследователя это новость. Даже констатация отсутствия изменений есть элемент изменчивости – в сравнении с другими объектами, которые изменились. В основе – поиск сведений об объекте, меняющих наши знания о нем.

А поскольку существует некий уровень профессиональных знаний, общий для всех археологов данного времени (конечно, со всеми возможными колебаниями), то можно определить и сравнительный объем информации, поставляемый каждым конкретным объектом. Одни вещи скажут всем археологам о прошлом очень мало, другие – очень много. При всей ценности статистики, какой-нибудь черепок в стандартной ситуации вдобавок к сотням таких же скажет очень мало, тогда как такой же черепок в необычной ситуации (далеко от своей культуры) скажет гораздо больше, а чаша с богатыми изображениями расскажет очень много. При этом не только всем археологам, но и одному и тому же археологу.

Коль скоро так, информация явно зависит от самого объекта, от памятника, особенно если его брать во всем его объеме, в контексте.

Значит, информация по своему происхождению двуприродна. Один ее источник – это объекты, памятники, находки, стало быть, по праву называемые источниками, другой источник – знания исследователя. Поскольку, как я уже сказал, для каждого времени существует некий общий для археологов уровень профессиональных знаний (при всей разнице индивидуальных знаний), то в большинстве рассуждений (далеко не во всех, конечно) этим вторым источником можно

пренебречь. Его обычно источником информации и не называют, а называют *услышаным, агентом, стимулом* информации.

Ту информацию, которая положена в основу исследования и которая непосредственно связана с источниками (в первом смысле), исследователь обычно и называет своим материалом. Таким образом, в материале, если брать его в этом смысле, материальность вовсе не обязательна. Не только перечень кремневых орудий или раскопанных курганов, но и сведения о густоте находок или их отсутствии, об изображениях и их тематике и т.п. есть такой же материал для археолога, как для филолога — сюжет произведения и его образы.

3. Интерпретация. Добрая половина исследовательских операций кабинетной деятельности археолога носит название *интерпретации*. Для этого применен общенаучный термин, особенно интенсивно используемый не только в логике, философии, лингвистике и математике, но и за пределами науки — в искусстве. В общем виде интерпретация (от лат. *interpretatio* — "перевод, истолкование") — это переложение информации другим языком, перевод в другую предметную область, приписывание неким скудным, общим или формальным сообщениям более богатого, конкретного или содержательного смысла. Это носит характер *объяснения* того, что без таких мыслительных операций оказывается непонятным в нужном аспекте. В искусстве — это конкретное исполнение произведения, написанного для всех, несущее особенности индивидуальности исполнителя. Скажем, его интерпретация сонаты Бетховена или концерта Паганини.

В археологии материалом исследования являются памятники и находки, но на стадию кабинетного исследования сами они не доходят. Туда попадают лишь обработанные сведения об археологических источниках — их описания, каталоги, чертежи, карты, с выявленной группировкой, периодизацией и хронологией. Так сказать, *препарированный материал*. Вот тут и начинается интерпретация. Материал нужно связать с историческими событиями и процессами, перевести информацию с чисто археологического языка на язык истории — уловить преемственность и эволюцию, установить миграции и влияния, выявить, если удастся, этнические группировки, социальные и экономические градации и связи, идейные представления прошлого.

Конечно, интерпретация на деле начинается раньше, в чем-то еще при раскопках, но это предварительные прикидки, иногда вполне реалистичные. Как целый этап работы интерпретация закономерно и обоснованно начинается только теперь, когда материал обработан, идентифицирован и систематизирован.

Интерпретацию запросто проводят многие историки, не владеющие специальной методологией археолога. Как правило, они исходят из своего житейского опыта, современных аналогий и обывательских стереотипов. Для них богатое погребение — потребление богатого (а на деле всего лишь принятый в данном обще-

стве обряд). Смена культуры – непременно приход нового населения (также так происходит не всегда). Повторение тех же форм керамики в новом слое – приемственность и автохтонность (то почти всегда часть населения остается и после нашествия и продолжает изготовлять старую посуду). Равнительные примеры поверхностной (и ложной) интерпретации архаичности толкователю костного материала, не знающего принципов остеологической статистики (о которых рассказано в первом томе – см. 1. раздел 3, пункт В II). Для интерпретации совершенно очевидна необходимость профессиональной подготовки. Именно археологической.

Я не раз доказывал необходимость специальной археологической подготовки в университетах, выступал против порочной практики – подмены профессиональной подготовки археологов ускоренным (и дешёвым) натаскиванием историков на работу в археологии. Эта ситуация в нашей науке (отсутствии археологии в официальном списке специальностей, уравнивание археологической подготовки в университетах) не только сводит к минимуму высокообразованных специалистов-археологов, но и приводит к искажению в самой системе археологии как науки – ее предмет размывается, а методика теряет направленность и плодотворность (Клейн 1962б, 1977, 1986, 1991б, 1991а, 1992, 1993, 2005а, Клейн 1972а, 1993, 1995).

Вовсе жалкое впечатление производит появившиеся в последние годы компании любителей, шеголяющих на форумах в Интернете образками знаний и смело интерпретирующих материалы археологии – эти любители готовы фамильярно судить (и осуждать) профессионалов, высказавших неутраченные им типотезы и аргументы. Все эти интерпретаторы не случайно укрыпываются за “никами”. Думно, в глубине души они подозревают, что их интерпретации подпадут вокруг науки на плутовых ножках и что сначала нужно бы научиться версезе. Но уж больно заманчива слава открывателей, и такой простой кажется задача интерпретации!

Она кажется простой, потому что история и ее историкоисследовательские дисциплины, в том числе археология, мало пользуются языком математики и не очень развили свой документационный язык, а их термины часто схожи со словами обиходного языка (это не значит, что совпадают). Всё кажется таким простым и понятным! Увы, это иллюзия. За каждым понятием стоит пучок дефиниций и толкований, за каждым законом – свои ограничения и условия, за каждым утверждением – уйма оговорок и сомнений, известных специалистам. Каждая операция исследователя, какой бы новаторской она ни казалась, должна не нарушать правил, выработанных опытом десятилетий и теоретически обоснованных, – или нужно теоретически обосновать новый метод, новое правило.

Сам термин *интерпретация* в силу своих искусствоведческих и философских связей (с понятиями “толкование”, “понимание”, “субъективная реализация” и т.п.) наталкивает некоторых археологов на представление, что интерпретация – дело интуитивное, а это как бы оправдывает приращения историков и потуги дилетантов.

Так, в статье “Археологические интерпретации и реконструкции” А.М. Буровский (1995) рассматривает вопрос о путях и методах использования археологических источников для получения исторических выводов. Основная идея статьи сводится к констатации большой роли внеархеологического, внеученого, даже бытового знания и интуитивного способа мышления для выяснения древних функций археологических объектов. В связи с этим ставится вопрос о возможности не замечаемого исследователем искажения информации. Мысль в общем верная и не новая. Ее уже высказывали теоретики археологии. В частности, в “Анализе археологических источников” авторы писали об интерпретационных “штампах” и “неосознанной формализации” (Каменецкий, Маршак и Шер 1975: 100). Я.А. Шер в учебнике методов пишет: “... Процесс осмысления и исторического истолкования археологических материалов пока еще не получил четкого теоретического и методического обобщения. ... Написать ... четкую инструкцию о том, как превратить мертвые остатки и следы жизни древних людей в новые факты истории, невозможно. В этой области археологу приходится во многом полагаться на исследовательский опыт, интуицию и догадки” (Маргынов и Шер 1989: 204). Во многом, но не во всем Шер указывает пути внесения логической строгости в интерпретацию (систематизация фактов, выдвижение и проверка гипотез и т.п.).

Буровский же, прокламируя верную в общем идею, предложил весьма необычную (по крайней мере для археологии) трактовку понятий “аксиома”, “интерпретация”, “реконструкция”, а это придало его разработке неприемлемый характер.

Буровский столь уверен в том, что его понимание единственно верное, что весьма забавно упрекает других исследователей за то, что они не придерживаются этого понимания – они сбиваются и путают термины (Буровский 1995: 224). Да помилуйте, ведь они опубликовали свои работы до сего провозглашения *истинного* понимания (а возможно, останутся при своих взглядах и после оногo)!

Обыденное знание о функциональном назначении вещей автор именуется “*аксиоматическим*”, “*аксиомами*”, а характеристику такого познания – “*аксиоматизацией*”. Однако аксиомы характеризуются не только тем, что не требуют доказательств (их обоснование лежит за пределами данной отрасли знания или вообще в практическом опыте), но и тем, что они выражают некие важные абстракции, общие истины, принципы. Они сродни теоремам. Именно так рассматривали аксиомы в археологии Даннел и Юхансен (Dunnell 1978; Johansen 1984). То, что длинный предмет с “лезвием” и “рукояткой” воспринимается как нож – это не аксиома, а укоренившееся представление, стереотип восприятия, бытовой типический образ. “Аксиоматизацией” принято называть не просто опору на аксиомы, а приведение научной системы в такой вид, когда все ее положения выводятся друг из друга и в конечном счете восходят к небольшому числу аксиом. Назвать обычные представления о функциях вещей аксиомами означало бы принять эти определения за недоказуемые средствами, доступными археологу, а это противоречит практике. Функционально-трассологический метод С.А. Семенова – один из способов строгого доказательства этих “аксиом” в археологии. Обыденное знание помогает

археологу нащупать путь к "расшифровке" не только функций вещей, но и смысла древних изображений, путь к оценке самой их древности и проч. Но только нащупать. Дальше нужно пустить в ход научные методы.

Интерпретацию Буровский трактует как сугубо интуитивное истолкование, как некое целостное понимание, озарение. Оно, де, не использует информацию, извлекаемую из источника, а опирается на обыденное знание, на "аксиомы". Отсюда сетования на то, что интерпретация, опираясь на предвзятые идеи и привычные представления, то и дело рождает незамечаемые искажения картины – "заблуждения". Шаткой интерпретации Буровский противопоставляет строгую и надежную "реконструкцию" – восстановление вещей и событий, опирающееся на собственную информацию, извлекаемую из источника.

Такое понимание термина *интерпретация* существует, но не в археологии, а в философии, точнее в определенной философии, в определенном философском течении – в феноменологии и герменевтике. Скривописологический феноменолог Эдмунд Гуссерль старался придать "очевидностям" обыденного опыта, интуитивным, созерцательным процессам большее значение для познания, чем логике науки, методам доказательства. Интуитивно "схватить" феномен – вот путь для понимания по Гуссерлю. Пропагандисты *герменевтики* Мартин Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер и П. Рикёр рассматривали явления как тексты, а их познание – как интуитивную интерпретацию. Перенесение этого понимания термина *интерпретация* в археологию способно лишь повлечь за собой путаницу; оно благоприятствует тем, кто не верит в способности археологии объективно выявить структуры прошлого и строго доказывать свои выводы.

В археологии издавна за этим термином закрепилось другое значение. *Интерпретация* – это целый этап (причем поздний этап) в процедуре археологического исследования, этап, на котором из предварительно отпрепарированного и обработанного археологического источника специфическими достаточно строгими методами извлекается историческая и социологическая информация.

У американских авторов У. Тэйлора и В.К. Суарца *интерпретация* складывается из установления техники и функций артефактов и выделена в особый этап процедуры, который следует за *анализом*. У обоих *реконструкция* и *синтез* выступают на последующем этапе (Taylor 1948; Swartz 1967). И. МакУайт подробно рассматривает 7 "уровней археологической интерпретации" и для трех первых (хронологического, экологического и экономического) полагает применимое мышление дедуктивным, а результаты – "вероятно, столь же надежными и определенными, какими только могут быть вообще реконструкции *post factum*". На последующих уровнях (аккумулирующих исторические, социологические и психологические рассуждения) мышление становится менее дедуктивным, а интерпретация – более гипотетичной (MacWhite 1956-1971: 223).

Авторитетный немецкий ученый Г. Мюллер-Карпе в своем "Введении" пишет о продвижении археологии к "добыванию знаний на основе аутентичных

источников и их методично проверяемой интерпретации” (Müller-Karpe 1975: 82). И.С. Каменецкий, Б.И. Маршак и Я.А. Шер (1975) выделяли в книге “Анализ археологических источников” целый этап исследования (“анализа”), который они назвали “Историческая интерпретация” и говорили в нем именно о *реконструкции* (с. 101). В.М. Массон (1976: 13) рисовал схему, в которой над археологическим источниковедением (после него) располагаются уровни этнокультурной и социальной интерпретации, а они состоят из комплексов операций, называемых “*реконструкциями*”: реконструируются этнические связи, экономические структуры и проч. (рис. 1). Так в общем представлял себе интерпретацию (осмысление) и я. когда писал свои “Археологические источники”, включая в этот этап детективную работу археолога, оценку познавательного потенциала источника и т.д. (Клейн 1978: 80; 1995: 180).

Ж.-К. Гарден (рис. 2) делит всю процедуру исследования на “компиляции” (сбор и описание материала) и “экспликация” (дальнейшая обработка, объяснительные действия). Во втором разделе он выделяет большой этап “интерпретационных построений”. “Интерпретацией, – пишет он, – будем называть широкий процесс осмысления результатов какой-нибудь обработки и организации архе-

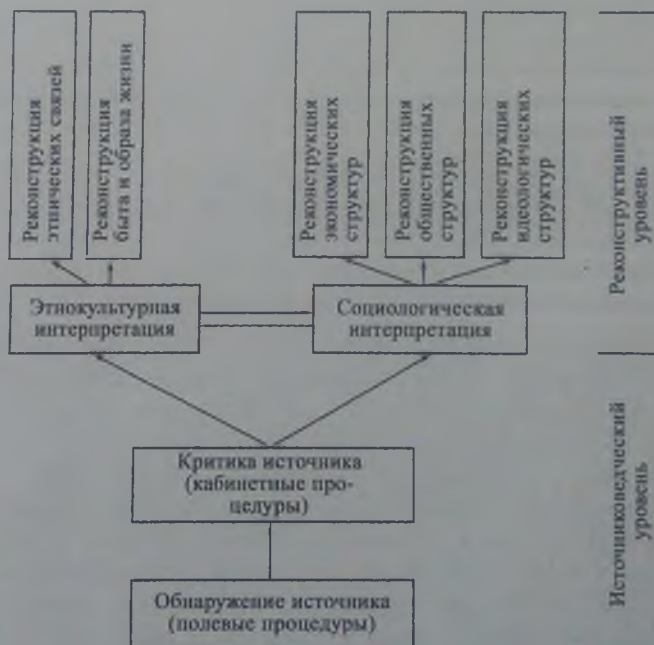


Рис. 1. Схема исследовательских уровней в интерпретации данных археологии по В.М. Массону (1976, рис. 1).



Рис. 2. Схема продвижения от источниковедческих классификаций, принятых в "компиляциях", к исследовательским (интерпретационным), предлагаемым в "экспликациях" по Ж.-К. Гардену (1983, рис. 19).

ологических фактов и наблюдений... Создавая интерпретационное построение, исследователь выходит за рамки формальной организации данных, чтобы объяснить их значение" (Гарден 1983: 151). Весь раздел посвящен формализации этих построений.

О границах этого этапа существуют разные мнения. Мне представляется, что выяснение причинно-следственной зависимости явлений исторического процесса и законов, в них проявляющихся, – это уже не дело археологии, что это задачи историков и социологов. Соответственно, такие операции я не включаю в археологическую интерпретацию. Массон же придерживается включения этих задач в археологическую процедуру (рис. 3). Обработку археологического материала, которую он прежде считал источниковедческой, теперь он рассматривает как археологическую интерпретацию, а социологическую и историческую интерпретацию располагает за ней, но внутри археологии, а всё вместе называется "историческими реконструкциями" (Массон 1990).

Во всяком случае у многих авторов интерпретация означала большой этап процедуры, а реконструкция – его подразделения и содержание или цели.

В археологии англоязычных стран термин *интерпретация* менее употребителен, ибо слово это (*interpretation*) означает в английском попросту "устный перевод с другого языка". Относительно археологических объектов, то там чаще говорят об *объяснении* (*explanation*), а объяснение понимают нередко как подведение частного явления под какой-нибудь общий закон, и только (это одна из неопозитивистских догм "новой археологии"). Другие исследователи понимают *объяснение* шире – как включение в систему связей или согласование с наличной картиной

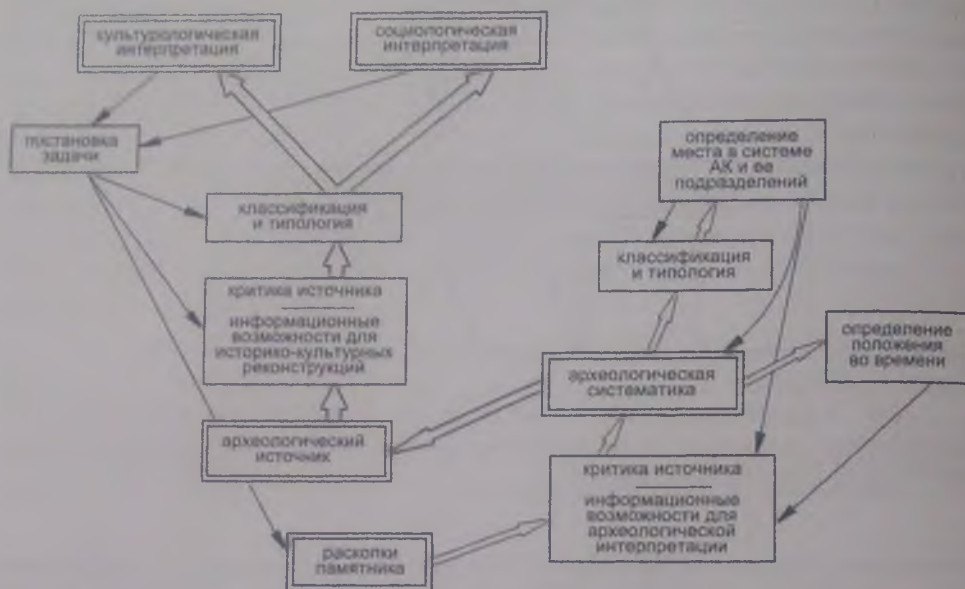


Рис. 3. Схема продвижения от получения археологического материала к его интерпретации по В.М. Масону (1990, рис. 2).

мира. Но и это можно производить интуитивно, а можно – и строгими методами. А такой смысл термина *объяснение* сближает его с нашим термином *интерпретация*.

Всё же в англоязычной литературе встречается термин *интерпретация* в том же значении, что и у нас (Ehrich 1950; 1963; Willey 1953a; Freeman 1968; Trigger 1968a), как и в немецкой (Bergmann 1970; Eggert 1990). Но параллельное значение "(письменный) перевод" придает этому термину в английском другой оттенок, чем в русском, сближая его не столько с термином *объяснение* или *расшифровка*, сколько с терминами *перевод*, *переложение*, *толкование*, *понимание*. Термин *перевод* фигурирует иногда и в наших разъяснениях семиотической сути интерпретации: не только перевод с языка археологии на язык истории (Клейн 1978: 24-25, 36-38; 1995: 51-53, 75-80, 143-150), но и перевод с языка вещей на словесный язык (Клейн 1978: 45-48; 1981б; 1995: 89-94).

Занятно, что в статье Буровского сказалось (проходя боком) то самое постмодернистское поветрие, которое захватило археологическую молодежь Запада и вот уже больше десятилетия сквозит в университетских археологических дискуссиях. В сборнике "Интерпретирующая археология" ("Interpreting archaeology" 1995) виднейшие фигуры постпроцессуализма Ян Ходдер и Майкл Шэнкс предложили в своей ввводной статье переименовать постпроцессуальную археологию

в интерпретирующую (Hodder and Shanks 1995: 5) и очертили ее главные характеристики: “Основа — личность и работа интерпретатора. Интерпретация — это практика, которая требует, чтобы интерпретатор не скрывался больше за правилами и процедурами, предопределенными где-то еще, но принял ответственность за их (sic! — Л. К.) действия, их интерпретации”. Далее авторы пишут, что интерпретацию составляют “конструкции”, в которых “из вещей делается смысл”, что интерпретации связаны не с причинным объяснением, а с “пониманием или приданием смысла”. Далее (Ibid., 8) в специальной главке указан философский источник этих идей — герменевтика.

Это разочарование в обоснованности и строгости интерпретаций, испуг перед непреодолимостью собственных предвзятых идей (bias) исследователя и попытки ослабить их воздействие рефлексированием. В этом смысле статья Буровского была в 90-е годы очень современна. Однако на Западе уже тогда был высказан целый ряд возражений против подобной позиции (Bintliff 1991; 1993). Постмодернистское повстие постпроцессуализма (“интерпретирующей археологии”) быстро отходило в прошлое.

Ввязался в спор, как уж будь так добр знать всё, что в нем сказано до тебя, взвесить все за и против. В конце статьи Буровского “автор заверяет читателя, что владеет категориями теории познания (“анализ”, “дедукция” и т.д.)” и игнорирует их не по “невежеству” (Буровский 1995: 224). Видимо, владеет не теми категориями, которые нужны здесь, владеет не всем, что необходимо. К сожалению, и некоторые видные археологи считали, что им достаточно знания логики и методологии, почерпнутого из стандартных учебников. Кое-кого выводила интуиция и позволяла им что-то полезное сказать, пухлые теоретические писания других — сплошная макулатура.

4. Почему доверять интерпретациям? За пять лет до статьи Буровского в британском сборнике “Интерпретация в гуманитарных науках” была помещена основательная статья известного английского археолога Стивена Шеннана (ныне директор Лондонского института археологии) “Почему мы должны верить археологическим интерпретациям?”. В этой статье он рассмотрел ситуацию, сложившуюся в теоретической археологии к концу века.

Традиционная археология исходила из калейдоскопа культур, за которыми предполагались так или иначе народы. Каждому были свойственны свои “мысленные лекала”, которые в археологии имели отражение в типах. Смена культур и типов означала смену народов. “Новая археология” (“процессуальная”) внесла новое понимание, выявляя функции вещей и начав объяснять изменчивость материала адаптацией общества к среде. Новое поколение археологов (пост-процессуальное) усомнилось в этом объяснении. Под влиянием западного марксизма оно перенесло центр тяжести объяснений с кооперации на конфликт, с общества на индивида-творца, с прагматических функций вещей на символические значения.

на мысленные структуры уникальных культур. В связи с этим стало бессмысленно выбирать между разными гипотезами в зависимости от собранных в их поддержку фактов: если факты уникальны, то одни факты не могут подтвердить гипотезу, основанную на других фактах. Оценивать гипотезы пришлось по качеству философских и политических позиций. Вне этого все гипотезы оказались равноценны, объективной истины за ними нет.

Шеннан выступил против этого взгляда. “Ошибочно перескакивать от воззрения, что археологические гипотезы не тотально детерминированы фактами, к выводу, что всё за пределами описания материала суть субъективные и спекулятивные гадания...” (Shennan 1990: 84). Шеннан объявляет себя сторонником “умеренного объективизма”: гипотезы следует оценивать и различать по соответствию фактам (“evidence”). Он ссылается на то, что Гарден (один из редакторов этого сборника) разработал “строгие правила археологической интерпретации: они должны быть скорее частными правилами, чем универсальными законами; они должны быть внутренне совместимыми и удовлетворять данным; и они должны содержать сведения о границах их собственной применимости” (Ibid., 85). Да, нет универсальных принципов интерпретации, но данные ограничивают свободу трактовок.

Шеннан с сочувствием излагает мысль Алана Галле (Galley 1986), “что археолог должен быть не столько философом, сколько ремесленником, поскольку ремесленник связан с реальными эффектами в мире. Однако в случае ремесленника есть ясные, общепринятые критерии, что значит действовать эффективно, выдать хорошее изделие” (Ibid., 86). Шеннан не закрывает глаза на сложности этого дела для археологов: в отличие от геологии тут нет униформистских принципов. Ну, это можно оспорить: в археологии можно выявить некоторые общезначимые законы, а в геологии можно найти немало участков, на которых униформизм не действует. Но опора на современность, на актуализм, на этнографические аналогии отмечена резонно.

“В итоге, чтобы получить существенное знание о прошлом из археологических данных, археологам нужна теория. Теории, которые нужны археологам для реконструкции прошлого, это теории, которые они должны *использовать* и которые поэтому не могут обсуждаться в частном контексте реконструкции. Ареной для строительства такой теории, как Бинфорд, Гарден и многие другие согласятся, является настоящее или независимо документированное прошлое. Когда археологи приступают к реконструированию прошлого, они потребители такой теории, а не ее создатели” (Ibid., 87).

Археологическая работа, по Шеннану, должна оцениваться не только по фактам, но и по сопоставлению с теоретической мыслью (Ibid., 89). Я писал об этом в 1980 г. и позже (Клейн 1980б; 2004а; Klejn 2001) более подробно, так что можно не останавливаться на этом здесь.

5. Реконструкция и реставрация. Историческая интерпретация тесно связана с *реконструкцией*. Археология вообще – это склеивание прошлого из об-

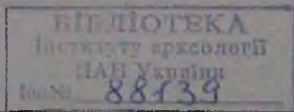
ломков (Childe 1956). Реконструкции – от склеенных горшков до восстановленных социальных структур заполняют витрины музеев и страницы археологической литературы. Некоторые воспринимаются как очень надежные (чаще такие, как склеенные горшки), другие – как сугубо гипотетические (чаще – склеенные общества). В действительности те (реже) и другие (чаще) предлагаются в разных вариантах разными исследователями и нередко оспариваются, отвергаются и заменяются новыми. Реконструкция – это разновидность восстановления поврежденного, разрушенного или исчезнувшего объекта, некое возвращение прошлого. Такое возвращение прошлого может носить характер *реконструкции*, а может – *реставрации*.

Теория реставрации очень важна для археологии, искусствоведения и музейного дела. Прежде ценились большие целые находки, и антикварианты стремились привести “порченные”, ветхие находки в надлежащий вид – соскребали патину, чистили находки до блеска, восстанавливали недостающие детали так, чтобы они как можно меньше отличались от сохранившихся, чтобы различие было незаметным, и т.д. Даже Микельанджело и Торвальдсен участвовали в такой реставрации античных скульптур. В новое время был провозглашен *принцип аутентичности*. Он предусматривает приведение археологических, архитектурных объектов и вообще объектов искусства к их прежнему виду и состоянию. Чаще всего дело сводится к восстановлению прежнего облика, насколько он поддастся восстановлению.

Принцип аутентичности подразумевает четкое отличие реставрации от реконструкции. Первая означает надежное приведение к прежнему облику, состоянию и взаимоположению тех частей, которые сохранились; вторая – “возвращение” объекту несохранившихся частей, конечно, гипотетическое (в силу отсутствия или значительной поврежденности деталей). В пределе (в крайнем выражении, в абсолют) реконструкция – это новодел, декорации, бутафория, муляж.

Реставрация выглядит так. Разбитую вазу нужно склеить из фрагментов, чтобы были видны ее форма и содержание росписи. Упавшие колонны нужно поднять и поставить на сохранившиеся базы. Строительный и иной мусор надо удалить (разумеется, изучив его).

Реконструкция преследует другие задачи – наглядности и (вне археологии) пригодности к практическим нуждам (Методология 1994). Если какие-то черепки утеряны, реставрация дает неполную вазу, и подробности формы останутся неясными, а уж содержание росписи может и вовсе ускользнуть. Реконструкция же восстановит и их. Однако восстановить отсутствующие черепки можно только гипотетически и с неполной надежностью – как бы они ни были похожи на сохранившиеся, они во всяком случае сделаны из другого материала и другим мастером, в другое время, и никогда нельзя поручиться, что на исчезнувшем черепке не было какой-то детали, отпечатка, граффито, который на новом отсутствует. У статуи подлежат гипотетическому восстановлению отломанные и недостающие нос и руки. Но как они выглядели, можно только догадываться более или менее правдоподобно (рис. 4).



ошибки опытных археологов. То колесницы бронзового века оказываются не колесницами (Избицер 2010), то древнерусские святилища в Киеве ставятся под сомнение (Клейн 1995; 2004б: 151-182), то не выдерживает критики грандиозная концепция трипольской цивилизации (Клейн 2009в).

Всякая реконструкция включает в себя известную долю риска – даже пополнение одного недостающего черепка разбитого горшка. Пусть горшок почти весь налицо, пусть он простой и круглый, и диаметр его измерен и профиль известен, но ведь на несохранившемся черепке мог быть знак или рисунок, мог быть отпечаток зерна или могло торчать ушко и т.п. Поэтому пуристы от методики протестуют против употребления термина *историческая реконструкция* в археологии, предпочитая говорить о гипотетическом *конструировании* (Taylor 1948: 35). “Прошлое ушло, Ричард, – говорил Бинфорд в назидание своему противнику Гудду. – ...Наше дело так понять ... современные факты, чтобы надежно сконструировать (вывести, если угодно) «реальный мир» прошлого. Настаивать на том, что «реальный мир» прошлого это тот же самый «реальный мир», что присутствует в археологических источниках, сущий нонсенс” (Binford 1989: 116).

Ну, насчет “конструирования” – это перехлест. Любопытно, что эта идея применяется только к восстановлению исчезнувших структур прошлого – социальных, экономических и ментальных. Никто не говорит о “конструировании” горшков из фрагментов. Конечно, общество и даже комплекс поселения сложнее горшка, но и здесь нет свободного конструирования. “Вывести, если угодно”, – делал уступку Бинфорд. “Сконструировать” и “вывести” – это очень разные вещи. “Сконструировать” – это построить на пустом месте, по своему свободному полету творческой мысли, а “вывести” – это построить, руководствуясь заранее данными условиями и наличными частями. Термин *конструирование* подходил бы в том случае, если бы таких условий и частей не было. В археологии обычно они есть. Есть руины, следы и остатки. В этой части, в опоре на них – конструирование полное. Там, где исследователь отрывается от них, он действительно предпринимает конструирование, но конструирование тоже не вполне свободное, а осуществляемое в определенных рамках – ограниченное согласованием с условиями, заданными сохранившейся частью, а также известными нам аналогичными предметами и явлениями.

Но уж во всяком случае реконструкция только на основании информации самого источника – это утопия чистой воды. Принципиально возможные конфигурации недостающей части безграничны, и границы им придает только наше знание других объектов подобного рода, законов и регулярностей, для реализации же реконструкций необходимо привлечение моделей из этнографии, а нередко – из обыденного знания. Таким образом, противопоставлять интуитивную интерпретацию строго научной реконструкции неуместно.

Поскольку у археологии нет других задач, кроме восстановления прошлого, то, если это ненадежно, можно ли считать археологию полезной наукой, оправдывающей затраты общества на нее?

Гипотетичность и избирательность археологическим реконструкциям относят то на счет гуманитарности археологии или просто неразработанности ее материала, то на счет особой сложности ее материала, его фрагментарности, односторонности, недостаточности. Гуманитарность же нередко характеризуют тем, что в материале здесь объект отделен от субъекта исследователя (то и другое – люди и их деяния), а субъект неизбежно приносит в понимание объекта предвзятость и оценочность. Я уже писал в начале первого тома, что гуманитарность, из мой взгляд, вообще не в этом: специальной методикой объект всегда можно отделить от субъекта. Но чем бы ни характеризовалась гуманитарность, она лишь косвенно, через контакты с историей и искусствоведением, затрагивает археологию, ибо как историко-культурная дисциплина археология относится, подобно криминалистике, к прикладным наукам (Клейн 1992). С методической стороны реконструкции в археологии ничем не отличаются от реконструкций в криминалистике, разве что большей сложностью и более длинным интервалом времени между событием и его реконструкцией. В криминалистике, однако, считается реальным добиваться высокой надежности реконструкций.

Археологический материал действительно фрагментарен и односторонен, его почти всегда недостаточно, и вообще он сложен для понимания. Но эта сложность вызвана иными обстоятельствами. Археологический материал принадлежит: а) культуре и б) отдаленному прошлому. Первое означает, что каждый его элемент может рассматриваться как нечто *уникальное*, а значит, затруднено сравнение и применение законов. Второе означает, что в нем отложилось действие исторических процессов, большей частью *стохастических*, вероятностных, а результаты таких процессов невозможно однозначно предсказать, и, наоборот, столь же невозможно по результатам (то есть по археологическим остаткам) однозначно реконструировать исходное состояние.

Если бы на этом пришлось остановиться в размышлении, то надежная археологическая реконструкция была бы нереальной и невозможной.

Однако кроме уникального аспекта в археологическом материале есть и аспект повторительности, регулярности, делающий возможным сравнение, классификацию, типологию, аналогию, моделирование и применение законов. Именно наличие массовости ведь и обуславливает стохастические процессы.

Если однозначное предсказание и однозначная реконструкция невозможны, то это не значит, что невозможны всякое предсказание и всякая реконструкция. Вероятностная реконструкция может быть достаточно точной (с указанием меры вероятности). Ограничив свою точность, установив пределы допустимых колебаний, можно получить вполне удовлетворительный результат. Нам ведь не требуется ни точно повторить расположение атомов в реконструируемом жилище, ни даже восстановить диаметр склеиваемого горшка с точностью до микронов или даже до миллиметра. А нужные нам параметры мы можем восстановить именно такими, какими они были.

Таким образом, надежная реконструкция в археологии вполне возможна, но это реконструкция не всего объекта, а только *некоторых его параметров*, реконструкция в заданных пределах. Пределы же эти обусловлены степенью точности, которой мы стремимся достичь, или степенью вероятности, которую мы хотим гарантировать. За пределами допустимых объема, точности и вероятности археологическая реконструкция сугубо гипотетична.

О том же писал применительно к геологической реконструкции замечательный ученый С.В. Мейен (1978; 1874: 7-32) в статье “О наиболее общих принципах исторических реконструкций в геологии” и в своей книге об эволюции в главе об общих принципах реконструкции в биологии. Он выделял четыре принципа, применимых и помимо реконструкции:

1) принцип типологической экстраполяции – когда по наличным фрагментам мы, определив их место, соединяем их линиями через лакуны, получая целостную картину, разумеется, гипотетическую;

2) “кинематический” принцип А. Бергсона – когда разрозненные комплексы фактов разного времени монтируются как снимки в одну киноленту и картина получает движение;

3) принцип мероно-таксономических несоответствий (таксономия – установление таксонов, мерономия у Мейена – установление архетипов, то есть обобщений для однофункциональных таксонов): то, что относится к таксонам не переносится автоматически на архетипы;

4) принцип Чемберлена – принцип множественности гипотез (о нем была речь в главе о гипотезах).

Кроме того, Мейен указывал пять принципов, применимых только в реконструкциях:

5) принцип соответствия возраста типологической специфике (это то, что в археологии установили Томсен, Мортилье и Монтелиус);

6) принцип самостоятельности ископаемых объектов (связь номенклатуры с типами);

7) принцип мерономизации (установление архетипов – обобщений для таксонов);

8) принцип Стенона (соответствие вертикальной последовательности отложений хронологической последовательности);

9) принцип Гексли (Хаксли) – принцип гомотаксальности и хронологической взаимозаменяемости геологических объектов одного типа (позволяет переносить хронологию одного объекта на другой, связанный с первым только типологически).

Мейен был сторонником системного и функционального подхода, которому он отдавал преимущество перед эволюционным и филогенетическим. Если учесть это ограничение, а также неполное соответствие археологии предмету размышлений Мейена -- геологии и биологии, его мысли о принципах реконструкции могут быть успешно применены к археологии и найти в ней ряд соответствий.

6. Интерпретация и синтез источников. В первом томе (глава 2, разд. 5) я уже писал о роли умозаключения по аналогии в археологическом исследовании. Я имел в виду прежде всего этнографическую аналогию, хотя и аналоги в классификации и систематике (глава 9, разд. 4) тоже здесь могут быть названы. Я приводил с сочувствием цитату Чжана Гуанчжи о том, что вся археология есть в сущности аналогия. Львиная доля этой максимы относится к интерпретации. Почти вся интерпретация зиждется на этнографических аналогиях и на обыденных аналогиях, находимых (часто подсознательно) в современности.

Тут может возникнуть недоумение в связи с тем, что этнографические аналогии в археологии подразумевают *синтез наук*, а наукой синтеза в других моих сочинениях, да и первом томе этого руководства (Введение, раздел 1) объявлена история вкупе с преисторией, а никак не археология -- наука для меня источниковедческая и, стало быть, аналитическая.

Ну, во-первых, аналитичность определяет лишь общую функцию археологии по отношению к истории и преистории, а не ее природу. Операции синтеза есть и в самой археологии. Скажем, в классификации и типологии, в корреляции несомненно синтезируются данные разного вида. Вопрос лишь в привлечении данных смежных наук для синтеза.

Во-вторых, в самой археологии даже простейшие, начальные операции опознания материала (то есть классификации и описания) основаны во многом на привлечении данных этнографии и обыденных аналогий -- откуда иначе мы знаем, что перед нами нож, топор, горшок, погребение, жилище? Суть противопоставления истории и археологии не в синтезе разных наук, а в том, чему он служит и как осуществляется. В истории он служит выявлению причинно-следственной связи между основными явлениями, а в археологии -- опознанию следов этих явлений в археологическом материале. В истории конечные результаты источниковедческих наук сопоставляются между собой, и из них komponуется историческая картина, выводится сравнительно полное представление о явлении, событии или процессе. В археологии же данные смежных наук (этнографии, антропологии, письменного источниковедения, нумизматики и т.д.) корректируют ошибки и заполняют лакуны в представлении об объектах археологии, помогают перевести данные археологии на язык истории. И только.

Основным видом синтеза источников является, конечно, применение этнографических аналогий, хотя привлекаются и другие источники: обыденные анало-

гии, антропологические и письменные данные, фольклор и др. В синтезе источников для интерпретации применение этнографических аналогий в течение второй половины XX века переросло в использование моделей, а затем – и в развитие особой отрасли – этноархеологии. Теперь рассмотрение интерпретации невозможно без анализа этих методических приемов.

7. Два направления в интерпретации. В общем и целом есть два варианта процедуры интерпретации, два направления в осуществлении этой процедуры. Одно ведет *от материала* к его истолкованию и извлечению заложенной в нем (и связанной с ним) информации – ради ее возможного использования при решении самых разнообразных задач, которые могут быть в связи с этим поставлены или привлечены. Другое – прямо противоположное: *от задачи*, стоящей перед исследователем, ко всё более детальному вхождению в материал – ради извлечения той информации, которая для решения этой задачи требуется.

Оба варианта вполне правомерны, каждый хорош в соответствующих условиях. Первый, *от материала*, характерен для эмпирических исследований, когда исследователь, имея специальных тематических задач, обрел новый материал (скажем, в спасательных раскопках или при обработке музейной коллекции) и введом в выборе проблематики этим материалом, а не своими накопленными узко концентрированными интересами. Второй вариант, *от задачи*, целевой, больше присущ именно узко и четко направленному исследованию, когда у исследователя есть четкая задача и он должен отбирать материал, представляющий возможности для ее решения. Он ищет способы и материал, способный ответить на стоящий перед ним вопрос.

В первом случае речь идет именно об интерпретации, она выступает в своем логически чистом виде – как интерпретация материала. Во втором же, при движении *от задачи*, от направленности на их решение, исследователь как бы получает интерпретацию материала как вторичный продукт, а его логически первоначальная цель – реконструкция некоторого явления прошлого, для каковой реконструкции он и подбирает пригодный материал. Интерпретация тут оборачивается исторической реконструкцией.

Легко заметить, что первый вариант ближе к эмпиристской процедуре исследования, хотя понятен всем. Второй вариант ближе к гипотезно-дедуктивистской процедуре, которую пропагандировала Новая Археология, хотя он не только всем понятен, но в конечном счете к нему сводится всякое исследование. Ведь как бы ни была рациональна обработка и оценка всего добытого или встреченного материала, во всей его широте, как только вы обнаружите в нем конкретные данные для решения той или иной проблемы, вам придется привлечь и другие данные для решения этой проблемы (или этих проблем, каждой по отдельности). То есть в конечном счете всё сведется к решению задач, каждой из них по отдельности. Всякая интерпретация археологического материала сведется в конечном счете к реконструкции некоторого явления прошлого.

В этой констатации есть еще один аспект, сюжетно-нарративного характера. Рассмотрение и изложение исследовательской процедуры интерпретации, ведущей от археологического материала к его соответствиям в исторических событиях и процессах, очень тесно связаны с познавательными возможностями разных видов археологического материала, а это основной сюжет внутренней критики археологических источников. При рассмотрении этого раздела критики источников (глава 7 первого тома, раздел 4) о них уже шла речь. Можно было бы, конечно, рассмотреть их подробнее здесь, но мне показалось более рациональным и логичным заняться ими там, по связи с внутренней критикой источников. Тогда для рассмотрения интерпретации остается только один путь – проследить эту процедуру в ее ином виде и иной последовательности – как реконструкцию.

Но для того, чтобы не двигаться к археологическому материалу вслепую, некоторые общие параметры его интерпретации, непосредственно связанные с ним, с его исходными трактовками, всё же нужно предварительно изучить. Это те трактовки культурных сходств и различий, которые, определяя группировку и движения людей в прошлом, лежат в основе самых разных исторических реконструкций. Преемственность, эволюция, миграции, влияния и заимствования – всё это необходимо знать, чтобы фрагменты реконструируемой действительности становились на свое место, занимали свое место в реконструкциях. Является ли тот или иной фрагмент схожим или родственным, местным или пришлым – от этого нередко зависит реалистичность реконструкции. Таким образом, перед тем, как приступить к рассмотрению способов реконструкции разных аспектов жизни прошлого, нужно всё же пройти начало пути от археологического материала к явлениям, подлежащим реконструкции, – начальные и общие этапы интерпретации, вопросы трактовки культурных сходств и родства.

Глава 2. Этнографические аналогии

1. Проблема. Для интерпретации своих материалов археология нуждается в этнографии, в *этнографических аналогиях* – это общее место в учебниках. Томпсон высказался так: “Не прибегнув к аналогии, археологические выводы получить невозможно” (Thompson 1956a/1971: 151). Гюнтер Смолла заявил: “Преисторическая археология и возможна только из-за <...> аналогий” (Smolla 1964: 32). Чжан Гуанчжи готов даже утверждать, что “ни один археолог не стоит ломаного гроша, <...> если он не сделал одну-две аналогии в каждой написанной им монографии”. И еще круче: “Ведь в широком смысле археологическая реконструкция это и есть аналогия – с прозрачным прибеганием к этнологии или без такового” (Chang 1967: 229-230). Только ли реконструкция, только ли интерпретация? “На деле, – заметил Ричард Гулд, – археологи используют этнографические данные почти постоянно – например, каждое использование археологами слова «наконечник стрелы» основано на ряде предположений, покоящихся в конечном счете на этнографических наблюдениях” (Gould 1971: 143). Как работать с аналогиями – предмет многих теоретико-методических работ по археологии (Vogt 1947; Ascher 1961; Anderson 1969; Bergmann 1973; Smolla 1990; Fischer 1991 и др.).

Между тем у ряда авторов (Orme 1973; 1974; Prinke 1973; Шнирельман 1979: 126) можно встретить утверждения, что более, чем за век в разработке этой проблемы не достигнуто никаких существенных сдвигов и современные археологи пользуются столь же несовершенной методикой, как и ранние эволюционисты. Другие археологи убеждены, что разработать строгую методику таких сопоставлений и вовсе невозможно, что это гиблое дело (Smith 1955; Eggert 1993) или по крайней мере чрезвычайно ненадежное (Thompson 1956a, 1956b). Ульрих Фейт считает, что “работа с аналогиями не подразумевает какого-то специального метода вдобавок к традиционной методике первобытной археологии”. Эта методика – критика источников. С нею, подбирая много аналогий, мы можем “заполнить пробелы в археологических источниках” (Veit 1993: 135).

Некоторые археологи сопоставляют археологические данные с этнографическими, но при этом стремятся обойтись без аналогии и уверены, что им это удастся (Oswalt 1974; Gould 1980). Против зависимости археологов от этнографической аналогии выступал Бинфорд (Binford 1967a; 1967b; 1967c; 1968b). Кристофер Эванс пишет о “падающем значении аналогий” из этнографии и высказывает убеждение, что археология накопила уже столько знаний, что за поисками объяснений теперь не надо выходить за пределы своей науки (Evans 1988).

Однако Манфред Эггерт, написавший сугубо скептическую статью о применении этнографических аналогий, утверждая, что исследования не ушли и вряд ли уйдут дальше собрания частных случаев, заканчивает статью словами: “Пожалуй, так – но что бы мы делали без аналогий?” (Eggert 1993: 149).

Есть смысл вернуться в литературу и проблематике.

Здесь я развиваю положения, выдвинутые мною в более ранних работах (Клейн 1973b; Клейн 1981a; 1998 и др.). В первой работе я больше уделял внимания общему сопоставлению двух наук, во второй, третьей и здесь – больше частным сопоставлениям. Однако начинаю работать с общего, рассматривая его в той мере, в какой это необходимо для анализа частных сопоставлений.

2. Археология и этнография. Общее сопоставление *археологии* с *этнографией* (или *этнологией*) – традиционная тема теоретических разработок (Holmes 1913; Koppers 1951; 1953; 1957; Ziegenf 1964; Chang 1967; Orme 1973 и др.). Правомерность сопоставления не вызывает сомнений: близость обеих наук замечена давно, хотя реализуется в разных системах взглядов по-разному. В Старом Свете обе дисциплины связаны прежде всего с историей, особенно с историей культуры, в считаются источниковедческими науками, в Америке обе входят в число антропологических наук. В том и другом случае культура является для них фундаментальным понятием, а этнос – основной ячейкой группирования материала.

Для тех, кто исходит из этого факта, родство обеих наук близко к тождеству (Smith 1899: 1). Клайд Клакхон сформулировал это так: “археология – это этнография и история культуры народов прошлого”, а “этнограф – это археолог, который хватается свою археологию живьем”. Его поддерживает в этом убеждении Чжан Гуанчжи: “археология – это учение о народах, а именно этнология” (Kluckhohn 1957: 46; Chang 1967: 231, 233). Те, кто исходит из источниковедческого характера обеих наук, также склонны к такому отождествлению, если не видят кардинального различия между разными видами источников по характеру отражения в них действительности и соответственно по принципам познания. По М.Н. Артамонову (1971: 28), “нет принципиальной разницы в подходе той и другой из этих наук к выявлению этнических культур”. Те же, кто такое различие усматривает (Klejn 1973b; Клейн 1977; 1978a), менее склонны к рассуждениям об общем сходстве этих наук, обращают больше внимания на те различия, которыми и обусловлено сотрудничество обеих дисциплин, а их связь видят в том, что обе участвуют в историческом синтезе.

Им представляется непродуктивным спор о том, какую из обеих источниковедческих дисциплин считать основной в реконструкции прошлого. А спор этот велся как на Западе, так и у нас.

Ряд исследователей полагал, что археология лишь добывает факты о прошлом социокультурных систем, а придать им жизнь, вдохнуть в них историю можно только обращаясь к этнологии или культурной антропологии (Smith 1899). Соответственно теорию, которая объяснит археологические факты, нужно искать в этнологии или культурной антропологии. Название статьи Уильяма Стронга примечательно в этом плане: “Антропологическая теория и археологический факт”

(Strong 1936). Йозеф Геккель из Венской культурно-исторической школы видел значение этнографии в том, что она образует базу для понимания палеолита и неолита, "которую никакая другая дисциплина дать не может". Более того, он считал, что у этнологии есть возможности собственными силами строить реконструкцию культурно-исторического развития, хотя обращение к археологии полезно (Haeckel 1961a: 35). Чжан Гуанчжи писал, что сопоставление археологических данных с этнографическими – это "улица с односторонним движением": археолог извлекает пользу из этнографии, а той археология не нужна. По его мнению, даже превращение живой культуры в археологические источники, обладая огромным интересом для археолога, "само по себе есть этнологическая проблема" (Chang 1967: 229).

Другие исследователи возражали, что этнология сама не может без археологии реконструировать культурно-исторический процесс во времени и соответственно организовать этнографические факты, что она вынуждена обращаться за этим к археологическим данным, к концептуальным выводам археологической теории, которая, однако, тоже нуждается в этнографических фактах. Статья Элмана Сервиса носила полемически заостренное название: "Археологическая теория и этнографический факт" (Service 1964; см. также Gruber 1967 и Vossen 1969).

Рихард Питтиони полагал, что, входя в число вспомогательных наук для первобытной археологии, этнография служит ей "иллюстративной дисциплиной" или "дисциплиной, поставляющей примеры", но примеры эти прямо переносить на прошлое нельзя, поскольку преистория, как и история, имеет дело с уникальными ситуациями, детерминизма нет (Pittioni 1961b: 27-28). Он утверждал, что "интерпретацию первобытно-археологических источников можно выводить только из них самих" (Pittioni 1961a: 226). Греем Кларк высказался умереннее: "Сравнительная этнография может подсказать правильные вопросы; но только археология в сотрудничестве с разными естественными науками <...> может дать правильные ответы" (Clark 1953: 357). Люис Бинфорд выдвинул тезис, что в культуре (а она есть система) все компоненты взаимосвязаны, поэтому археология не нуждается в этнографических подпорках и способна сама по сохранившимся материальным остаткам реконструировать несохранившиеся части культуры, включая нематериальные. К этнографии он считает допустимым обращаться только за стимулирующими идеями для генерирования гипотез, а главное – в их проверке на археологических фактах. За идеями же можно обращаться не только к этнографии, но и к чему угодно – "хоть к галлюцинациям" (Binford 1967a, 1967b). Ульрих Фишер, исходя из противоположного принципа (всё в культуре индивидуально), утверждает (и его многие в Германии поддерживают), что "с историей и этнографией никакую преисторию не написать" (Fischer 1987: 186). Кое-кто заговорил даже о "тирании этнографического источника в археологии" (Wobst 1978).

В советской науке тоже противостояли друг другу две точки зрения.

По одной, историю первобытного общества надлежало строить на археологической основе, используя археологическую последовательность культур как

скелет. Оживляющую плоть должна была воссоздать теоретическая реконструкция с помощью соответствий, постулируемых историческим материализмом, а этнография оказывалась без надобности. Таковы были принципы выдвинутого А. В. Арциховским (1929) "метода восхождения" (от орудий производства и базисных явлений к социальным и ментальным надстройкам). "Метод восхождения" был отброшен и самим Арциховским, но выросшая из него тенденция строить историю на одних лишь археологических источниках осталась руководящим принципом для всей школы Арциховского-Рыбакова. Так и строилась во многих археологических трудах история первобытного общества и ранних классовых обществ нашей страны. Этнографические примеры если и приводились, то лишь для вящей наглядности.

По другой точке зрения, лучше без археологического скелета обойтись, потому что он мертвый и скудный, а применяя для каждой стадии анализ пережитков, можно выстроить надежную последовательность уровней на одном лишь этнографическом материале. Ю.И. Семенов исходил из того, что "единственной наукой, располагающей данными непосредственно о первобытных социальных отношениях, является этнография". Из этого он заключал, что "ее данные – единственные, базируясь на которых можно реконструировать процесс развития первобытных социальных отношений". А уж из этого делал вывод о теории: теория первобытной общественно-экономической формации "является этнографической и только этнографической. Никакой другой теории первобытного общества, кроме этнографической, существовать не может" (Семенов 1979: 308-310).

Многие специалисты, как археологи, так и этнографы выступили против этих крайностей. Они исходят из того, что каждая из источниковедческих наук владеет одним видом источников, а каждый вид источников, освещая какую-то сторону культурно-исторического процесса, обладает как преимуществами перед другими видами, так и недостатками. Он по-своему ущербен. Археология наиболее полно фиксирует временной аспект культурно-исторического процесса, а этнография – механизм этого процесса и функции его звеньев, т.е. участвующих в нем сообществ, она отражает устройство и функционирование, повседневную жизнь социокультурных систем. Прочие стороны отражаются в иных видах источников – антропологических, фольклорных, письменных, языковых и т.д. Достаточно полная и всесторонняя реконструкция прошлого возможна лишь на основе синтеза разных видов источников, следовательно, на основе кооперации и интеграции источниковедческих наук.

Мне представляется, что недооценка этого и коренится в основе указанных крайностей. Обеспеченность поздней истории богатыми и многосторонними письменными источниками как-то затмила тот факт, что для прочих этапов истории нет такой достаточности одного вида источников. История в широком смысле (естественная история, преистория и социальная история) – это наука синтеза. То есть преистория, протоистория и ранняя история, которым археолог и этнограф поставляют свои выводы, выступают по отношению к этим двум источниковедче-

ским дисциплинам как третья наука, наука особой методологической природы, с другими целями, с другими проблемами и вопросами, со своей теорией. Эта теория иная, не археологическая и не этнографическая, те остаются в пределах своих наук (Клейн 1978; 1991в; Klejn 1995).

3. Идея конкретной кооперации. Чтобы реконструировать прошлое, восстановить исторический процесс, каждая из источниковедческих наук нуждается в других. И этнография, и археология поставляют свои выводы истории, социологии, культурной антропологии и для понимания своих материалов постоянно обращаются к этим синтезирующим наукам, заимствуя, таким образом, информацию, поставленную тем другими источниковедческими науками и переработанную синтезом. В этом нуждаются обе науки – и археология, и этнография. Частенько они обращаются и непосредственно в смежную источниковедческую науку, пользуясь тем, что там некоторое осмысление с помощью синтезирующих наук уже проведено, хотя это не всегда отчетливо заметно.

Правда, есть известная доля истины в сентенции Чжана Гуанчжи об одностороннем движении. Она заключается в том, что археология еще до формулирования своих выводов нуждается в функциональном определении своих объектов и прибегает за помощью в этом к этнографии, этнография же ничего подобного не делает.

Главенство этнографических параллелей в археологической интерпретации вполне понятно. Ведь, соответственно природе археологических источников (разрыв с современностью, многозначность, “зашифрованность”) и задачам археологии (Клейн 1978; 1978а), главным принципом археологической интерпретации является *актуализм* распространения многих современных закономерностей и отношений на прошлое и привлечение данных о современности к объяснению и осмыслению загадочных конфигураций прошлого (Moberg 1969: 162-163; Французова 1972: 205-236 Клейн 1973д; 1996а; 2001). С того самого момента, как Лафито, объяснив назначение каменных орудий первобытных европейцев ссылкой на аналогичные орудия индейцев Луизианы (Lafitau 1724), вдохнул жизнь в археологию, этнографическая аналогия не переставая служила основной археологической интерпретации. “Вся археология и есть аналогия”, – афористически сформулировал это Чжан Гуанчжи (Chang 1967: 109).

Говоря об исключительной роли этнографии в реконструкции первобытного прошлого, Семенов делает одну оговорку, одно ограничение: “Данные этнографии сами по себе взятые не дают возможности реконструировать историю ни одного конкретного отдельного первобытного социального организма. Реконструировать по данным этнографии можно лишь развитие первобытного общества, взятого в целом”. То есть получить в результате такой реконструкции можно лишь “внутреннюю сущность” развития, “освободив ее от той конкретно-исторической формы, в которой она проявилась, лишь представив этот процесс в чистом виде, в логической форме...” (Семенов 1979: 109). Но даже в этом виде последователь-

ность будет (и бывала) реконструирована лишь в виде гипотезы, а чтобы доказать ее, нужно обратиться к фактам археологии (Clark 1953: 345-346). Тем более это необходимо, если задаться целью реконструировать именно конкретно-исторический процесс. А ведь это и есть цель истории. Логическая форма процесса – это предмет социологии и историософии, а не истории в собственном смысле.

Вот тут-то и выявляется необходимость сопоставлять не только одну науку с другой, не только их выводы, но и конкретно – частные археологические данные с этнографическими (Vogt 1947; Anderson 1969; Bergmann 1973 и др.). Кардинальное значение для этого имеют два принципа (Клейн 2001: 31-32) – *униформизма* (признание единства человеческой психики повсеместно) и *актуализма* (признание действенности нынешних закономерностей для прошлого). Объединяя эти два принципа (или, скажем, рассматривая их нерасчлененно), Феттен и Ноль назвали наличие единых законов человеческой психики и поведения во все времена “*аксиомой аналогии*”. Это оно, наличие таких законов, делает человеческое поведение объяснимым и предсказуемым, а значит, древнее и современное поведение – сравнимым, а аналогию – возможной (Fetten und Noll 1992: 168-169). Точнее было бы видеть здесь две аксиомы.

Широко сопоставлять археологические данные с этнографическими для построения преистории стали эволюционисты в 60-х – 70-х гг. XIX в. Придерживаясь веры в абсолютность универсальных законов и игнорируя местные и этнические различия, они произвольно связывали похожие явления из обеих сфер, надергивая “примеры” откуда угодно и приурочивая их к чему угодно, лишь бы соблюдались принципы эволюции – общий плавный прогресс и развитие по одним и тем же ступеням, но разными темпами.

Эволюционисты придавали принципу *актуализма* абсолютность и возводили его в ранг *униформизма* – единство законов функционирования и развития культуры охватывало в их представлении всё и вся, законы все оказывались универсальными. Идея психического единства человечества позволяла нивелировать качественную сторону местных различий, оставляя в силе только их количественную сторону, а именно: местные особенности тормозили или ускоряли эволюцию. Поэтому современные народы разных местностей оказалось возможным расположить на разных ступенях эволюции, а отсталые племена трактовать как почти идентичные пройденным состояниям развитых народов – как “живые ископаемые”. “В самом деле, – писал Лаббок, – ван-демайцы и южноамериканцы для антиквария – тоже самое, что опоссум и ленивец для геолога” (Lubbock 1865: 336). Всем эпохам – даже палеолитическим находили соответствия среди живых народов: тасманийцы, австралийцы, эскимосы (Quatrefages 1884; Sollas 1911). Научный статус обрело метафорическое замечание Шиллера о том, что нецивилизованные племена и народности окружают европейцев подобно тому, как дети разного возраста толпятся вокруг взрослого человека, напоминая ему возраст, из которого он давно уже вышел (цит. по: Равдоникас 1939: 9). Доказательством того, что современные развитые народы прошли через первобытность, служили “*пережитки*”

далекого прошлого в их современной культуре и археологические останки на их территории. Но последние еще надо было "оживить".

Для выяснения смысла, функционального назначения и связей любого мертвого ископаемого достаточно было обратиться к формально близким аналогиям в быту "живых ископаемых". Поскольку законы признавались универсальными, никакие территориальные ограничения не налагались. Так как четкого и общепринятого деления на этапы эволюции не было введено, а пережиткам отводилось немало места в любой культуре, не только современной, то невозможно было наложить и какие-либо хронологические и фазовые ограничения на подбор объяснительных аналогий. Их позволялось надергивать из разных культур любой местности, любого уровня развития, любой эпохи. Возможность случайного совпадения не принималась во внимание. Так реконструировались частные древние культуры, так формировалось и общее представление о культуре. По меткому выражению Р. Бенедикт, культура в конце XIX в. выступила "неким монстром: правый глаз из Фиджи, левый – из Европы, одна нога из Тьера дел Фуэго, другая – из Таити, и все пальцы из разных районов" (Benedict 1934: 49).

Но в культуре стадийные рубежи то и дело нарушаются *пережитками*, и очень трудно определить "стадийную глубину" каждого пережитка, из которой каждый этот пережиток вынырнул (на какой стадии явление возникло, когда оно еще не было пережитком). Поэтому синстадийность устанавливалась на основе общих соображений, с изрядным субъективизмом. Любые сходства могли сойти за *синстадийные*. Терминологическое различие между конвергенцией и параллелями не делалось, а возможность гомологий хотя и признавалась, но на практике очень редко учитывалась. Терминологическое различие между аналогией и гомологией, введенное биологами, в изучение культуры тогда так и не перешло.

Сопоставление археологических данных с этнографическими потому так органично вписалось в деятельность этнологов (или культур-антропологов), что они и внутри своей науки действовали по этому принципу, этим приемом. Это было впервые монографически представлено в двух массивных томах Рихарда Андре "Этнографические параллели и сравнения" (Andree 1878; 1889). Андре собрал огромное количество примеров, в которых близкое сходство явлений культуры между неродственными и далекими друг от друга народами приходится объяснять независимым происхождением – проявлением одинаковой человеческой природы, одинаковых законов развития в схожих природных условиях. В некоторых случаях Андре привлекал и археологические материалы, например, петроглифы.

Первое методическое обобщение этой практики (еще сугубо внутри-этнологической) предложил в 1903 г. Пауль Эренрейх. Потому ли, что в объяснении сходств ранние эволюционисты вообще не отвергали значения родства и контактов между народами или потому, что Эренрейх был скорее поздним эволюционистом и работа его относилась уже ко времени кризиса эволюционизма, но так или иначе в ней уже постулировалось два вида сходств – обусловленные родством или

контактами (гомология) и основанные на проявлении универсальных законов в сложных обстоятельствах (конвергенция, сходства благодаря адаптации). Для понимания первых он ссылался на антропологию Ратцеля, для вторых – на учение о палеологическом единстве и “народных идеях” (позже – “стихийных идеях”) Бастиана. Упоминал он и случаи конвергенции, выявленные ранее в работах Ф. фон Лущана и Г. Тилдениуса. При всем энтузиазме Эренрейх был осторожен в рекомендации выявлять сходства: он учитывал, что “схожие явления могут возникать из совершенно разных идей, а одинаковые основные идеи могут вести к сугубо различным результатам” (Ehrenreich 1903: 177).

Первая монографическая проработка сопоставления археологических материалов с этнографическими данными сделана в 1912 г. Артуром Хаберландтом. До сих пор интересно читать эту небольшую книжку, представляющую собой его диссертацию, защищенную в Вене. – “Археологически-этнографические параллели” (Haberlandt 1912). Собственно, в немецком тексте стоят “преисторически-этнографические”, но это в обычной западной манере первобытная археология названа преисторией. Не без эволюционистских коннотаций оба автора вынесли в название работ термин *параллели*.

Эволюционисты не только находили аналогии археологическим материалам в пережитках или отдельных явлениях в культуре отсталых народов, но и принимали целые народы современности за полные аналоги археологически фиксируемых народов древнейших эпох: тасманийцев – за представителей нижнего палеолита, австралийцев – среднего палеолита, эскимосов – верхнего (Tylor 1893; Pat-Riviera 1906: 53; Sollas 1909: 1911).

У эволюционистов методика сопоставлений переняли советские археологи (Шмидт 1932), озабоченные выявлением стадиальности, у которых это была та же идея полезна по уровням, но революционными скачками, а не эволюционно.

Распределение живых отсталых народов по уровням развития приводило у советских археологов к методу “коннекции” или “сшивки” живых этнографических с мертвыми археологическими комплексами (Никольский 1923: 78-79), за который В.И. Равдоникас (1930: 30) критиковал В.К. Никольского, но сам в своем учебнике (Равдоникас 1939) прибегал по сути к тому же принципу.

Другим наследником эволюционистов в свободном оперировании аналогиями была Венская культурно-историческая школа (В. Копперс, Й. Геккель, К.А. Шмиц), строившая на них широкие исторические концепции вплоть до 60-х годов XX века.

4. Терминология и классификация. Все эти сопоставления не очень удачно называют “этноархеологическими аналогиями” или “этноархеологическими параллелями” (в археологии – “этнографическими аналогиями” или “этнографическими параллелями”).

Термин *аналогия* тут нередко вызывает возражения, потому что в строгом понимании не охватывает все *похожия* (есть еще и *гомология*) и потому, что намекает на вид умозаключения ("по аналогии"), доказательность которого подвергается обмундированию (Винболд 1972: 33-67). К тому же археологи вообще употребляют термин *аналогия* очень широко, заменяя им и термин *аналог* (схожая вещь, схожее явление) — говорят *найден аналогия*, *этот артефакт имеет столько аналогий*, *что напрашивается вывод о типе*.

А термин *параллель* слишком многозначен: может быть понят как указание на конвергенцию, на действие универсального закона в схожих обстоятельствах, а может — как намек на тождественность, эквивалентность, гомологичность. И действительно, для одних исследователей он идентичен термину *аналогия* или *аналог* и обозначает всякое значимое и неслучайное сходство между явлениями разных сфер — археологической и этнографической (т.е. включает и гомологию), для других *параллели* — это только сходства неродственных явлений (не связанных через контакты или генетически — общим происхождением от одного и того же конкретного предка, от одной культуры), для третьих *параллели* — это только сходства, вызванные синстадиальностью таких явлений, принадлежностью к одному и тому же уровню развития (но не, скажем, сходством географических условий).

Только эту последнюю категорию — синстадиальных явлений — некоторые российские этнологи именуют "этноархеологическими аналогами" (Першиц 1979), а использование их для реконструкции прошлого называют "сравнительно-историческим методом", хотя и этот термин тоже очень расплывчат. В этнологии он понимается по-разному — то широко, то узко, то включая "метод пережитков", то нет, то идентично "историко-типологическому методу", то нет (см. Артановский 1968; Кабо 1972: 52; сб. "Этнография..." 1979: 5, 31, 35, 47, 65-66, 81, 94-95), а в языковедении и фольклористике — и вовсе в ином смысле: как метод установления генетического родства и восстановления предковых форм.

Во всех случаях, однако, когда в контексте пре- и протоисторического синтеза употребляется термин *аналогия* или *параллель*, речь идет о сравнении, сопоставлении, увязке явлений, зафиксированных археологически, с данными этнографии. Многие считают, что во всяком сопоставлении археологических материалов с этнографическими данными налицо мышление по аналогии, но другие относят к аналогии только "свободное аналогизирование", "свободное параллелизирование", т.е. исключают сходства, обязанные контактам или родству: это рассматривается как повторение одного и того же, гомология.

Какую бы терминологию ни применять, а она явно нуждается в усовершенствовании (и применяемая далее сузубо паллиативна), важно при увязке археологических данных с этнографическими учитывать все виды сходства: все они могут нечто дать для реконструкции первобытного прошлого. То есть важны и должны получить свое обозначение разные виды сходств.

1) *гомологии*, обусловленные общей предковой формой и возникшие

а) в ходе сегментации или

б) на основе контактов;

2) *анalogии*, в которых сближаются чужие друг другу формы на основе проявления универсальных законов. А среди аналогий важны и

а) “конвергентные”, сходства – “конвергенции”, обусловленные вдобавок (к действию универсальных законов) односторонностью среды, обстоятельств, и

б) “параллели”, обусловленные вдобавок (к действию универсальных законов) синстадиальностью.

Хельга Сёрхейм делит аналогии (по сути все сопоставления) на синхронные и диахронные (т.е. сопоставления одновременных явлений и разновременных), прямые и косвенные (т.е. сопоставления самих явлений и их изображений или описаний) (Клейн 2011б; Sørheim 1988), но никакого методического следствия из этого сугубо формального деления не возникает (в остальном она просто пересказывает Бинфорда).

5. Этнографические аналогии после эволюционизма. С началом XX в. наследники антропогеографии Ратцеля – миграционисты и диффузионисты – стали придавать особое объяснительное значение тем проявлениям культурного сходства, которые вызваны не общностью законов и психики, а общим происхождением – генетическим родством народов или историческим родством культурных явлений (передачей при контактах). Первый вид сходств (по общности законов и т.п.) Уилли назвал “общесравнительной” (*general comparative*) аналогией, второй вид (на основе родства, контактов и т.п.) – “конкретно-исторической” (*specific historical*) аналогией (Willey 1953b: 252). Цигерт их называет, соответственно, “актуалистическим сравнением” и “прямым параллелированием” (Ziegert 1964).

Диффузионисты Берлинской и Венской культурно-исторических школ в американской исторической школы в этнографии занялись разработкой приемов и средств различения этих двух видов сходств в самом этнографическом материале – сходств из-за общности законов и сходств по родству (Graebner 1911; Boas 1924; Steward 1929; Schmidt 1937). Собственно, это та самая проблема, которая перед тем формулировалась в биологии как отличие *гомологии* от *анalogии* (Бляхер 1965). Эволюционисты тоже в свое время занимались этим вопросом (Tylor, 1879; ср. возражения Erasmus 1950). Но их всё же мало интересовала культурная гомология, так как она сводилась для них к аналогии явления с самим собой, не давала широкой базы для сравнения и не обладала эвристической силой в выявлении законов. Антиэволюционисты же указанных направлений стали полагаться в основном на

гомологию, хотя и называли ее по-прежнему аналогией (термин *гомология* остался неупотребительным в археологии и этнографии, кроме как у Бинфорда – Binford 1968a: 8-12).

При этом романтики-биодетерминисты косинновского толка с их верой в “народный дух” (Volksgeist) и “голос крови”, с их миграционизмом в интерпретации аналогий у соседних народов и автохтонизмом для своего народа особенно рьяно выступали против привлечения параллелей из культур “расово чуждых” народов. Разве допустимо сравнивать готов с готтентотами, германцев с бирманцами! Косина предостерегал против таких аналогий (Eggers 1959: 239) – по его мнению, тут сходства могут быть лишь случайными и чисто внешними подобиями. С точки зрения его последователей, объяснительные аналогии для реконструкции прошлого надлежало искать в культуре ближайших родственников, лучше всего – в собственной культуре исследуемого народа, то есть выявлять в ней *пережитки прошлого, реликты, рудименты*. Этнография в Германии разделилась на Völkerkunde (изучение чуждых народов) и Volkskunde (изучение традиционной культуры своего народа – простонародной, главным образом крестьянской). Из последней и рекомендовалось черпать объяснительные аналогии.

В кругах американской исторической школы родилась похожая методика, стимулированная в большей мере исследовательской ситуацией американистики: неподалеку от индейских археологических памятников проживают потомки их создателей, еще недавно сохранявшие в значительной части традиционную культуру. Как однажды объяснил норвежцу Ёссингу его коллега – американский археолог: “Видите ли, когда мы сталкиваемся с затруднением, мы просто можем сходить в соседнее пуэбло и спросить!” (Gjessing 1967: 237). Такую же ситуацию описал на Кавказе Мещанинов (1927). Эта методика развивалась у американцев в рамках “*непосредственно-исторического подхода*” (*direct historical approach*), близкого к “*регрессивному методу*” Косины: имеется в виду постепенное продвижение от известных исторических народов в прошлое к их предкам и перенос современных характеристик на прошлые состояния (ср.: Strong 1936; Wedel 1938; Steward 1942).

К середине XX века методика эволюционистов, основанная на аналогиях по общности законов, была в западном мире так основательно дискредитирована и забыта, что когда в 1961 г. Эшер суммировал возобновившиеся интересы к аналогии по общности законов, он назвал ее “новой аналогией” (Ascher 1961), хотя, с точки зрения истории археологической и этнографической наук, правильно было бы поступить наоборот (Willey and Sabloff 1974: 223, note, 109).

В межвоенный период в археологии и этнографии выросло несколько течений, которые вернули объяснительную функцию аналогиям, основанным на общности законов, но сопроводили это существенными ограничениями.

Неозволюционисты и ученые географической школы в археологии (энвайронменталисты) ограничили действенность таких аналогий территориальными

пределами, в которых совпадают природные условия. Поскольку, по представлениям этих ученых, культура является средством адаптации человечества к природной среде и детерминирована в своем развитии ею, то для выявления законов (или для использования их в целях реконструкции) и сравнивать надо лишь культуры, выросшие в схожих природных условиях. Этот вид сходства распознали и выделили еще ученые исторической и культурно-исторических школ начала XX века, называя этот вид сходств “*конвергенцией*” или “*аналогией приспособления*” (*Anpassungsanalogie*) (Ehrenreich 1903; Lowie 1912; Goldenweiser 1913; Luschan 1918). Но они не придавали ему исключительной правомерности – наоборот, изучали его, чтобы не спутать с ним “настоящую”, генетическую связь. Кроме того, они выдвигали ограничение не столько сходством природных географических условий, сколько сходством культурной среды, совпадением функций, которое обусловлено принципиальной ограниченностью исторических ситуаций и технических средств. Теперь же, хоть и эта линия нашла продолжение (Riley 1952; Rands and Riley 1958; Rands 1961), на первый план было выдвинуто сходство природных условий, и это ограничение стало практически рассматриваться как непреложное требование (Clark 1951; Anderson 1969).

А так как трудно отыскать отдаленные друг от друга местности со значительным совпадением природных условий, то Г. Кларк решил ограничить поиски объяснительных аналогий для археологической реконструкции пределами крупного географического региона – например, континента. В своей “Доисторической Европе” он начисто отказался от аналогий африканских, австралийских, североамериканских – европейскую археологию он поясняет европейской же этнографией (Clark 1952).

Иное ограничение внесли советские археологи – создатели “теории стадильности”. Постулировав скачкообразные, революционные преобразования в культуре на стыках периодов, смену структур и изменение законов их функционирования, эти ученые, естественно, ввели требование подыскивать объяснительные аналогии лишь из культур той же стадии развития, что и исследуемая культура (Шмидт 1932; ср. соответствующее этому требованию построение курса Равдоникаса – Равдоникас 1939, 1947). Это требование синстадийности автоматически отсекало возможность интерпретации палеолита с помощью этнографических параллелей: население с таким уровнем техники вообще нигде не сохранилось (Sklenář 1975: 294). Правда, требование синстадийности оставалось у многих чисто теоретическим: допущение пережитков позволяло пересекать рубежи стадий.

У энvironmentалистов и неэволюционистов также складывалось представление о том, что и в одинаковых природных условиях возможны различные уровни и пути развития культур. Исходя из этого, следом за Кларком (Clark 1953: 355) Эшер сформулировал для “новой археологии” следующий канон: “ищи аналогии в культурах, которые используют схожую природную среду схожими способами” (Ascher 1961: 319).

Приход функционализма и индетерминизма в этнографию навел новое – и весьма тяжелое! – ограничение на использование этнографических параллелей в археологии: сравниваемые категории должны быть схожи не только по форме, но и по функции. Одного из этих параметров недостаточно, так как одна и та же форма в разных культурах может использоваться для разных целей, а одну и ту же функцию могут выполнять разные по форме предметы. Так бывает не всегда, но – бывает (Steward 1929; Steward and Setzler 1938). Это ограничение создает существенные трудности для археолога, потому что как раз функциональное назначение артефактов археологу не известно априорно, и он надеялся установить таковое с помощью этнографических аналогий.

Абсолютизация этого разнообразия форм, служащих одной функции, и этого разнообразия функций, скрывающихся за одной формой – словом, абсолютизация этого расхождения между формой и функцией была стимулирована распространившимся неверием в закономерности жизни культуры – индетерминизмом. В современной (послевоенной) археологии он получает разные обоснования, и соответственно, проповедуется разными школами: американские контекстуалисты упирают на уникальность каждого явления в истории культуры, британские гиперскептики – на разобщенность разных сфер культуры и свободу воли ее древних создателей, французские и западногерманские изоляционисты – на разобщенность и инородность эпох или уровней развития, на чуждость одной эпохи для другой, релятивисты и антиэволюционисты разного рода подчеркивают сложность и разноту примитивных на первый взгляд этнографических культур. Но все они так или иначе разрывают логические связи, на которых держалась идея этнографических параллелей археологическому факту – смазывают сходства между явлениями или отрывают форму от функции, или отсекают археологию от современности или – этнографию от археологии, частично или полностью.

Когда Хокс распределил сюжеты для преисторической реконструкции по четырем ступеням соответственно возрастающей трудности от технологии производства артефактов через хозяйство и социально-политическое устройство к духовной культуре (Hawkes 1954), он не останавливался специально на обращении к этнографическим аналогиям. Но, конечно, именно их различную в разных сферах культуры действительность имел он в виду при оценке возможностей реконструкции. По мере продвижения от сравнительно полной информации к слабым намекам и от общих потребностей к сфере свободного творчества приходится переходить от непосредственных и простых выводов к многостепенным и шатким заключениям. Получаются четыре ступени убывающего доверия к аналогиям (Ascher 1961: 267). Таким образом, Хокс в сущности наложил новое ограничение на использование этнографических аналогий в археологии – содержательное.

Другие скептики не ограничились частичным отказом от аналогий. Всю эту тенденцию, особенно заметную с середины 50-х до середины 60-х годов, наиболее четко выразили М. Смит и Зоненфельд (Smith 1955; Sonnenfeld 1962). Смит называет объяснение через этнографические параллели “логической алхимией” и

рирует за полный отказ от них, а Зоненфельд подкрепляет это анализом следов снашивания на орудиях одной формы: следы говорят о разном употреблении в разных культурах. Леруа-Гуран (Lerois-Gourhan 1964) задался целью реконструировать религиозные воззрения палеолитических людей, не обращаясь к этнографическим аналогиям вовсе, чтобы не рассматривать "палеолитические изображения Западной Европы — сквуды очки, законченные дымом Австралии" (Леруа-Гуран 1971: 85). "Если мы хотим, чтобы палеолитический человек заговорил, не нужно заставлять его говорить на искусственном жаргоне, составленном из слов австралийских, эскимосских и банту, приносимых на европейский лад" (Lerois-Gourhan 1964: 76). Палеолитические находки скудны, у этнографии есть "тысячи открытых путей для их истолкования, но все они отмечены запретительной белой полосой" (Lerois-Gourhan 1964: 65). Менее категоричны Томпсон и Хайдер (Thompson 1956a, 1956b; Heider 1967), но оба они призывают к сугубой осторожности в пользовании этим средством, к схожим выводам пришел Когутницкий в Польше (Kohutnicki 1967).

Томпсон первым заинтересовался гносеологической природой самой операции объяснения (интерпретации) через этнографические аналогии. В основе этой операции он увидел предполагаемую археологом *корреляцию между совокупностью археологических материальных объектов и определенным социокультурным поведением*. Чтобы доказать эту корреляцию, археолог должен продемонстрировать, что она широко представлена в этнографической реальности при условиях, достаточно близких той ситуации, которая налична в археологическом прошлом. Лучше всего было бы доказать, что при таких условиях связь является правилом, не знающим исключения. Но это нереалистично: культура не балует нас такими правилами. Наши реконструкции по аналогии "обычно очень разумны, — иронизирует по этому поводу Хайдер. — На беду археологов культуры обычно совершенно неразумны" (Heider 1967: 384-385). Он поясняет это этнографическим описанием популяции с весьма хаотическим соотношением функций и форм. "Реконструкция преисторического поведения отнюдь не является невозможной, но она ужасающе трудна" (Heider 1967: 394). Когутницкий подчеркивает огромную вариабельность форм и отсутствие единых конфигураций в культуре австралийцев (Kohutnicki 1967). Томпсон исходит из той же идеи: жестких правил в культуре нет. Что ж, приходится удовлетвориться демонстрацией значительной повторяемости намеченной связи (то есть более или менее сильной корреляцией или сопряженностью), а вывод получает вероятностный характер.

Таким образом, с одной стороны, "доказательная аналогия" (*the probative analogy*) не имеет безусловно доказательной силы — в полном соответствии с тем, как вообще принято в логике расценивать операцию "вывода по аналогии".

А с другой стороны, Томпсон находит возможность усилить доказательную силу этнографической аналогии, введя требования, удаляющие эту операцию от обычного "вывода по аналогии". Как раз на практике археолог частенько удовлетворяется упрощенной операцией "вывода по аналогии": сравнивает ар-

хеологический объект с похожим этнографическим, о котором известно, как он употребляется, и переносит эту характеристику на археологический объект, надеясь, что от некоторого сходства по форме позволительно заключить о сходстве в остальных отношениях. Томпсон считает, что этого недостаточно – он требует доказать значимость этой связи и тем самым вводит не только количественный, дистрибутивный и ситуационный факторы оценки, но и налагает на эту операцию новые ограничения.

По этим требованиям, участвующий в аналогии “артефакт воспринимается не как отдельный объект, а как член группы объектов, именуемой типом... Тип, а не отдельный объект, служит базой аналогии”. Но тип есть обобщение, абстракция. Поэтому “и другие элементы аналогии должны быть сформулированы как абстракции. Так что тип археологических объектов надо сравнивать с типом этнографических объектов”, а поведение, связанное с последним, его технология и т.п. также должны быть взяты в виде обобщений.

Специально доказывать надо и приложимость намеченной связи к данной археологической ситуации, то есть культурную близость последней к той этнографической реальности, в которой установлена значимость избранной связи. “Доказательная сила любого обобщения зависит от степени этой близости”, а для ее оценки надо учитывать не только форму, но и территорию, и хронологию и весь культурный контекст (Thompson 1956a/1971: 151-152).

Во всей операции Томпсон усматривает несколько шагов, на которых результат подвергается воздействию субъективных склонностей исследователя. “Субъективный элемент” проявляется в выборе аналогий, в оценке формальной сопоставимости типов, в оценке значимости этой этнографически выявленной связи и в оценке ее приложимости к данной археологической ситуации. Томпсон не видит способов контролировать эту субъективность и считает, что остается лишь уповать на интуицию исследователя, которая зависит от личной компетентности.

За сто лет, прошедших с середины 60-х годов XIX века, когда появилась книга Лаббока (Lubbock 1865), до середины 60-х годов XX века, когда вышли работы Леруа-Гурана и Хайдера (Leroi-Gourhan 1964; Heider 1967), методика этнографических параллелей проделала большой путь. На первый взгляд, это путь деградации: от энтузиазма к полному разочарованию. На деле, однако, отказ от этнографических аналогий не оказался ни всеобщим, ни окончательным, а разрезающая работа сомнения принесла пользу.

По мере осознания сложности познаваемого мира на применение этнографических параллелей в археологии налагались все новые и новые ограничения. Метод становился, однако, не более узким, а более дифференцированным и строгим. Даже наиболее суровые и обширные ограничения, если их не абсолютизировать, оставляют выходы и ведут к плодотворным решениям, так как вызваны реальными особенностями нашего объекта – культуры. С каждым новым ограничением отделялась особая категория аналогий. Враждующие школы часто

отстаивали исключительную правомерность того или иного вида аналогий, но в конечном счете всем этим видам находилось место в исследовании — просто свое место, четко ограниченное.

Постепенно в ходе этого осознания взаимодополнительности разных видов сложилась общая систематизация этнографических аналогий. В одних общих обзорах эти аналогии распределяются по двум главным группам — на основе *родства* и на основе *общности законов* (Willey 1953b; Ascher 1961; Chang 1967b; Формозов 1969: 19), в других — по трем: с отделением *контекстных* связей от *генетических* (Service, 1964; Trigger 1968a: 29-39) или *синстадиальных* от *конвергентных* (Klejn 1973b). Триггер при этом сделал свою классификацию древо-видной, распределив критерии различения по разным шагам ее; Клейн поставил разные виды аналогий в зависимость от сюжета реконструкции (общие социальные и идеологические структуры или хозяйственно-экологические механизмы или специфические для данного круга культур конструктивные решения и символы). Впрочем, классификация параллелей до сих пор проводилась главным образом по основаниям *сходства* (то есть по видам связей, легших в основу сходства). Очень мало было попыток распределить параллели по *характеру сопоставляемых объектов* и *задачам реконструкции*, как, например: а) определение функций и технологии изготовления артефактов, б) реконструкция частных систем, в) построение общих (“универсальных”) концепций (Hole and Heizer 1969, p.181-183, 271-273, 328-352, 391-405; Prinke 1973).

Накопление ограничений и разновидностей привело в середине XX века к хаосу и затормозило реконструкцию, но методика этнографических параллелей, пройдя через горнило кризиса 50-60-х годов и упорядочив свои ресурсы, вышла окрепшей и более изощренной.

Возражая скептикам, заведшим аналогию, по его словам, в “тупик”, Эшер приводит следующие соображения (Ascher 1961):

1. В любой археологической ситуации можно подобрать не одну, а больше аналогий; так и нужно поступать, и тогда задача не в том, чтобы оценить одну аналогию, а в том, чтобы выбрать лучшую из них. Это более реалистичная задача, если отбор проводить и аргументировать систематично (см. также Prinke 1973: 65).

2. Многие трудности при сопоставлении археологических и этнографических фактов обусловлены расхождением между двумя науками по способам и аспектам описания материала. Археологическая информация ограничена характером источников. Возможности этнографии гораздо шире, но этнографы до сих пор не видели надобности фиксировать то, что интересует археологов: о важнейших явлениях культуры они могли судить более непосредственно — по действиям и объяснениям людей, а не косвенно — по мусору, отходам и т.п. Чтобы изучить обычную позицию достающихся археологам элементов культуры в этнографической реальности, Эшер рекомендовал археологам самим обратиться к изучению этнографической реальности в этом плане — возникающая отрасль (Klein Dienst and

Тейлор 1956; Thompson 1958a; Ascher 1962; 1968 и др.) получила название "этно-археологии".

3. Настоящее и прошлое не так противоположны друг другу и не так разобщены, как кажется. Они связаны не только общностью законов (принцип актуализма), но и взаимопроникновением специфических процессов: мертвая культура изменяется, а живая все время отрицает и включает в себя отмирающие элементы. Поля наблюдения этнографии и археологии взаимоперекрываются. В живой общине можно увидеть не только, как функционируют схожие с археологическими артефакты, но и как они становятся археологическими, какая трансформация при этом с ними происходит и чем она ослабляет их сходство с "живыми" аналогами (см. также Ascher, 1968). Против аргумента скептиков об огромном хронологическом разрыве между археологическим прошлым и этнографической современностью выступил и чехословацкий археолог Скленаж. Скептики часто ссылаются на то, что современные отсталые народы не "младше" возрастом, чем первобытные, что те и другие одинаково далеко ушли от первобытного прошлого — на десятки тысяч лет, — только в разных направлениях. На это Скленаж отвечает, что культурное время (скорость развития) отличается от хронологического. Есть много факторов, приводящих к задержкам в развитии: изоляция, декультурация под давлением завоевателей и т.п. (Sklenaf 1975: 289).

Даже в реконструкции социальных структур палеолита по материальным остаткам "общесравнительная" этнографическая аналогия находит себе применение, продвигаясь и в этот, казалось, недоступный ей период. Одну из возможностей указал Григорьев. Если какое-либо явление материальной культуры (в его примере — длинное многочастное жилище) находит аналогии у самых разных народов разного уровня развития, в разных регионах, в разной среде и везде сопряжено с одним и тем же социальным явлением (в данном случае — с большой и парной семьями), то, чем больше разнообразие условий, тем правдомернее экстраполяция этого социального "общего знаменателя" на новую среду, в которой его непосредственно наблюдать нельзя (Григорьев 1972: 11-13).

Иными словами, здесь действует одно из общих правил оценки состоятельности моделей, а совершенствование методики этнографических параллелей связано с рассмотрением их как разновидности моделей (ср. Binford 1968a: 12).

6. **Этнографические аналогии в Новой Археологии.** Такова была ситуация с этнографическими параллелями, когда в 1965-1968 гг. к обсуждению этой проблемы подключилась Новая Археология. Можно было ожидать, что признание детерминизма (с универсальными законами) и интерес к моделям побудят Новую Археологию поддержать этнографические параллели и будут способствовать возрождению энтузиазма археологов в этом деле. Но произошло нечто противоположное. В обращении к этнографии за объяснениями адепты Новой Археологии усмотрели ущерб для идеи самостоятельности и независимости археологии, а сци-

ентизм побудил их отвести в составе моделей больше места физико-химическим, биологическим и абстрактным моделям, чем слишком неточным и конкретным этнографическим. “Модели, полученные из мира физических явлений в его самом широком смысле, – заявил Д. Кларк, – могут быть столь же гомоморфны археологической ситуации, как любая «параллель», полученная из этнографии и антропологии. Более того, такая модель, похоже, будет куда более общей и сильной, чем из этого последнего класса аналогий” (Clarke 1968: 42). Конечно, этих воителей за точность и эксплицитность метода отталкивала и нестрогость заключения по аналогии. Все это отвратило их от этнографических параллелей и побудило выступить в поддержку скептиков.

Бинфорд начал эту кампанию в 1965 г. на Денверском симпозиуме (Binford 1968a), а особенно интенсивно проблема этнографических параллелей обсуждалась “новыми археологами” на апрельском симпозиуме 1966 г. в Чикаго (“Человек-охотник”, публикация: Lee and De Vore 1968) и в том же году на ежегодном собрании Общества Американской Археологии в Рено, штат Невада (Binford 1967).

Методике этнографических параллелей прямо поставили в вину, что она обесценивает археологию, сводя ее информацию к повторению этнографической (Binford 1968b: 268). “Втиснуть археологические остатки в известные из этнографии жизненные конфигурации – это ничего не добавляет к нашему знанию прошлого... Пока мы будем настаивать на том, что мы узнаем в прошлом лишь то, что знаем в настоящем, мы загоняем себя в методологический угол” (Binford 1968a: 13-14). Эта методика не позволяет выявить в прошлом несуществующие ныне формы, между тем вернее предположить, что они существовали (Binford 1968a: 13; Freeman 1968: 262). Качественные отличия культуры раннего плейстоцена от современных этнографических материалов явствует хотя бы из того, что в первой нет “стилистических зон”, характерных для вторых (S. Binford 1968).

Современных охотников и собирателей нельзя считать “представителями” преисторических, ибо современное население с таким хозяйством сохранилось лишь на территориях, непригодных для производящего хозяйства. Туда это население большей частью вытеснено из благодатных угодий земледельцами и скотоводами, и оно было вынуждено специализироваться – приспособиться к особо суровой и скудной среде. Даже нынешние популяции с охотничье-собирательским хозяйством очень разнообразны, резко отличаются друг от друга. Попробуйте, зная соответствия между техникой и социальной организацией бушменов, вывести социальную организацию эскимосов из данных об их технике! А ведь первобытные дикари были наверняка еще более отличны от обеих современных популяций, чем одна из них от другой: ведь первобытные люди нижнего и среднего палеолита были вдобавок еще и биологически иными! Поэтому восстанавливать прошлый социальный организм по его материальному скелету, руководствуясь соответствиями между тем и другим современной жизни, – значит предсказывать по слишком ограниченной выборке. Результат будет “обманчивой карикатурой” (Freeman 1968).

Учитывая эти дефекты “этнографической аналогии” и спасая честь и достоинство археологии, Бинфорд решительно выступил против утверждения Чжана Гуанчжи, что “археология вся есть аналогия” (ср. Chang 1967a: 109; Binford 1968a: 14). Разбирая три задачи археологии: а) реконструкцию истории культуры (генеалогическую классификацию культур), б) реконструкцию прошлого образа жизни и в) главную для Новой Археологии – изучение культурного процесса (выявление законов культурного развития и объяснение сходств и различий в культуре действием этих законов), Бинфорд отводит место методике этнографических аналогий только в решении второй из этих задач (Binford 1968a: 5-18).

Дальнейшее сужение и подавление “этнографических параллелей” достигается разбором логического механизма этой методики. Бинфорд отмечает, что авторы “этнографических параллелей” очень часто не соблюдают правил научного *заключения по аналогии*, подставляя на его место *заключение по примеру* (по одному случаю) или *заключение по перечислению*, исходящее из сходства черт, тогда как *заключение по аналогии* должно исходить из сходства отношений. Расширить базу перечисления – значит собрать как можно больше случаев, расширить базу аналогии – значит выявить как можно больше общих черт, хотя бы случаев было и не так уж много (Binford 1967a: 2-4).

Впрочем, в другой работе Бинфорд еще более сужает роль аналогии в археологическом исследовании: “Даже если бы мы признали, что археологический довод всегда включает в себя как компонент аналогию (а я в этом не убежден), все равно это не делает весь довод аналогией” (Binford 1967a: 235). Свести *заключение по аналогии* к минимуму – такую задачу ставит перед археологической методологией Фримэн (Freeman 1968: 262, 265).

В конечном счете Бинфорд оставляет аналогию в археологическом рассуждении, но изменяет ее функцию. Она не является доводом, доказательством и не служит целям “интерпретации” (перевода с непонятого языка забытой культуры на понятный – язык этнографической современности), а лишь провоцирует вопросы к материалу (расширяя наши представления о разнообразии возможного) и помогает формулировать гипотезы. Соль же дела – не в выдвижении гипотез, а в их проверке и доказательстве. А здесь действует не метод аналогии, а дедуктивно-гипотезное рассуждение (Binford 1967a: 10-12).

Такова позиция Новой Археологии. Эту позицию трудно признать новаторской, плодотворной и хорошо обоснованной. Конечно, дополнительное выявление или обоснование подвохов в содержательной основе этнографических параллелей полезно, но принципиальной новизны в этом нет. Полезна и экспликация логической природы этнографических параллелей, обнажающая несовершенства этого механизма аргументации. Но, право же, анализ Томпсона, при всей наивности некоторых его выводов (о компетентности исследователя как главном критерии в оценке аналогий), все-таки глубже, чем простая ссылка на бездоказательность *заключения по аналогии*. (Кстати, в современной логике различаются аристоте-

левская аналогия-парадигма как заключение по примеру и широкая аналогия по соответствию, которая может достичь большой основательности с высокой вероятностью вывода и, стало быть, с доказательной силой – см.: Серебряников и Уемов, 1973: 491-498). Как раз безусловная доказательность верификации гипотез по принципам гипотезно-дедуктивного метода оказывается под большим сомнением.

Совершенно несостоятельна идея Бинфорда о том, что объяснение археологического факта через этнографическую параллель якобы сводит знания о прошлом к знанию о настоящем и, таким образом, не дает ничего нового и не позволяет выявить качественно иные явления. Ведь в прошлое проецируются только отдельные компоненты знания о настоящем, и они помешаются там в иную информационную среду, в иные связи, образуя новые сочетания элементов, новые конфигурации, то есть новое знание. В конечном счете, каждое явление прошлого, качественно чуждое современности, можно раздробить на такие элементы, которые найдут себе точные соответствия в современной этнографической реальности. Ибо чем явление сложнее, тем своеобразнее, а чем проще, элементарнее, тем стандартнее и ближе к всеобщему.

Что же касается сфер приложимости этнографических параллелей, то сами же “новые археологи” не выдерживают своего ограничения реконструкцией образа жизни и своего отречения от заключений по аналогии. Фримэн, под явным влиянием структурализма, предлагает выявлять с помощью этнографических параллелей общие структурные принципы культурных образований, придерживаясь сопоставления родственных культур, то есть соблюдая гомологию (Freeman 1968). Бинфорд запросто ссылается на установленное этнографами наличие массы свободного времени у охотников-собираателей (Binford 1968c: 327-328). Он даже отправится сам к эскимосам, чтобы проверить, как откладываются палеолитические орудия: в комплексах – специализированными сериями, изготовленными по конкретному случаю, или беспорядочными выборками из постоянного универсального набора. У эскимосов он нашел аналогию распределениям, отмеченным в верхнем палеолите, а объяснение для комплексов предшествующего времени домыслил по контрасту (Binford 1973). Д. Кларк использовал этнографические сведения для определения многообразия типов социокультурных общностей, скрывающихся за археологическими культурами, и для установления характера сопряженности этих общностей с археологическими культурами (Clarke 1968: 365-388).

Диц, далеко не безоговорочно примыкающий к НА, показал, что критика “представительности” выборки современных охотников-собираателей по отношению к преисторическому массиву верна лишь отчасти – когда речь идет о наиболее употребительных примерах, об охотниках-собираателей, признанных “образцовыми” для этого образа жизни в современном мире. Это бушмены, эскимосы и пигмеи. Все они действительно существуют в условиях, нетипичных для до-неолитического времени: в особо неблагоприятной природной среде, под давлением и влиянием развитых цивилизаций. Но представлять до-неолитический массив населения с этим образом жизни более правомочны не они, а другие народности

те, что до недавнего времени сохранялись в изоляции и в неизменной природной среде: австралийцы, ге (Восточная Бразилия) и калифорнийские индейцы. И у всех трех, несмотря на их территориальную разобщенность, есть существенные сходства в социальной организации (тотемно-поколенческие ассоциации – *moieties*) (Deetz 1968b).

Как констатировал Айзек, гиперскептицизм в отношении этнографических параллелей уже успел привести к тому, что реконструкция социальной жизни и идеологии стала “небольшим полупрезерируемым придатком” к определению технологии изготовления артефактов, а это противоречит целям Новой Археологии. Пусть простые аналогии оказались скорее запутывающими, чем полезными, но широкие сравнительные исследования этнографического плана остаются ключом к интерпретации археологических остатков. Синтезируя опыт традиционной археологии и вклад Новой Археологии, Айзек наметил три главных канала вливания этнографической информации в археологию:

- 1) широкое сравнительное изучение этнографического разнообразия расширяет возможности интерпретации;
- 2) этнографические данные предсказывают объяснения фактов прошлого, загадочных для современного цивилизованного человека;
- 3) “срочная археология” обеспечивает проверку этих объяснений, увязывая этнографические явления со спецификой археологического материала (Isaac 1968: 253-254).

7. Критический подход и усложнение. Критика эволюционизма со стороны диффузионистов, функционалистов и других школ побуждала налагать всё новые и новые ограничения на привлечение этнографических данных к объяснению археологических материалов (обзоры этой критики см. Клейн 1981a; Wylie 1985). К сер. XX в. это породило скептицизм и даже привело к полному отрицанию возможности реконструировать прошлое с помощью таких сопоставлений (Smith 1955; Sonnenfeld 1962; Leroi-Gourhan 1964; Orme 1974). “Аналогия – это идея, время которой прошло”, – заявил Ричард Гулд (Gould 1980: X). Ныне это отрицание преодолевается. Главными возражениями скептиков были:

1) Нерегулярность культуры (Heider 1967, Orme 1974). Хайдер признает, что логические основания гипотез, выводимые археологами из здравого смысла и этнографических данных, вполне разумны и рациональны. “К сожалению, для археологического процесса, – добавляет он, – культуры обычно совершенно нерациональны” (Heider 1967: 52). И приводит целый ряд примеров несоответствия конкретных этнографических данных принятым у археологов стереотипов толкования материалов. И вообще нерегулярного применения орудий и прочего. Все явления культуры Хейдер (и не он один) воспринимает как уникальные, не укладывающиеся под действие универсальных законов. А коль скоро так, то этим

явлениям не может быть полных сходств, позволяющих переносить с одного на другое связи, установленные для первого.

Первая "аксиома аналогии" (униформитаристская) расшатана.

2) Биологическое различие между палеолитическим населением (до верхнего палеолита) и современными людьми. Кажущееся сходство между поведением тех и других может иметь различную психологическую природу и, следовательно, быть связанным с разными духовными и социальными явлениями (Freedman 1968: 265).

По крайней мере для палеолита вторая "аксиома аналогии" (актуалистская) тоже поставлена под сомнение.

3) Отсутствие сейчас сохранившегося населения с техникой палеолита. То есть этим культурам нет прямых синстадиальных параллелей в этнографии. Тасманийцы и австралийцы, которых Солас приводил как аналогию палеолиту – не на палеолитическом уровне (Sklenarz 1975: 294). Между тем палеолит занимает большую часть всего времени существования человечества.

4) Отказ считать современные отсталые народности прямыми представителями и эквивалентами человеческих групп тех времен, когда доклассовые общества безраздельно господствовали (Herskovits 1948: 581-585; Freedman 1968). Ведь они нередко отселены на скверные земли более преуспевающими соседями, долго прожили в изоляции, а то и другое искажало их нормальное развитие. Иной раз перед нами регрессировавшие общества, стало быть, аномальные (Sklenarz 1975: 289-291).

5) Чрезвычайное многообразие культур за время существования человечества. Из этого многообразия, однако, в современном срезе, доступном этнографии, представлена лишь небольшая доля. Это сильно ограничивает резервуар реальных аналогов для сравнения (Wobst 1978).

6) Бездоказательность логического механизма аналогии (Smith 1955; Thompson 1956a; 1956b; Binford 1967a; Guksch 1993: 153). Исходя из энциклопедий и учебников логики, Бинфорд так трактует суть аналогии: "Если две или более вещи схожи в одном или более отношений, они вероятно схожи и в других отношениях. Степень сходства зависит от числа и важности известных сходств". Имеет значение не просто констатация сходств, а логический вывод из их наличия. Но у археолога нет способа определить точно важность сходств и их достаточное количество. По Реймонду Томпсону, это сугубо субъективно и зависит только от интуиции и компетентности исследователя.

7) Трудность отличить в культуре сходную аналогию от гомологии (в биологии это известно как *проблема Гэлтона* – *Galton problem*). Ведь само это различие требует построения гипотез и их проверки и является очень трудным делом.

Можно показать, что все эти возражения сами сопряжены с абсолютизацией трудностей, хотя и реальных. Аксиомы аналогии остаются. На них ведь строит-

ея не только взаимодействие археологии с этнографией, но и всё здание исторического познания и археологической интерпретации (Французова 1972: 202-235; Adams 1991: 4-5; Клейн 2001). На симпозиуме в Бурге Вартенштейн Йозеф Геккель возражал Рихарду Гиттioni: "Разве находки говорят сами за себя? Как же смог бы археолог без учета этнографического материала хотя бы определить каменные артефакты как наконечники копий или стрел, а костяные – как гарпуны...? Поскольку у археолога есть в распоряжении лишь мертвый и фрагментированный материал в качестве источника, он вынужден при определении и интерпретации культурных остатков пользоваться заключением по аналогии от известного" (Hasekel 1961a: 34-35).

Он отверг аргументирование уникальностью исторических явлений: в истории явление поначалу может оказаться уникальным, но потом оно повторяется, а, передаваясь из поколения в поколение, образует традицию. В культуре множество уникальных явлений, но это не значит, что в ней вовсе нет регулярностей. Акалу и Шернквист перечисляют целый ряд причин действия в ней универсальных закономерностей: одинаковые биологические нужды, одинаковое устройство мозга, подвластность орудий механическим законам и т.д. (Akalu and Stjernquist 1988: 6-7). Даже столь завзятый сторонник уникальности культурных явлений, как Роберт Лоуи выдвинул компромисс: институции и обычаи, формы и верования обычно уникальны и несопоставимы, но процессы не только сопоставимы, они просто идентичны даже в обществах разного уровня (Lowie 1920: 426-427)!

Логический механизм аналогии не столь жесткий и однозначный, как силлогизмы верификации гипотез, но он существует, и о нем еще будет речь дальше. Идея "современных предков" упрощает соотношение, нельзя отождествлять наших предков с нашими соседями, но ведь нельзя и отрицать, что пройденные стадии развития современных цивилизованных народов были в общем по многим параметрам близки к тому состоянию, в котором пребывают современные отсталые народы (Service 1971).

8. Ограничения и дифференциация. Именно ограничения, налагаемые на поиски и подбор сопоставлений, характерны для современного обращения археологов к этнографии (Ascher 1961; Клейн 1981a; Wylie 1982; 1985). Эти нынешние сопоставления Эшер (Ascher 1961) именует "*новой аналогией*" – в отличие от эволюционистских сопоставлений, основанных на свободном поиске. Накопились следующие виды ограничений:

1) Ограничения, которые определяются *характером искомых связей* и исходят из различия причин, предполагаемых в основе сходств. Для гомологии это родство (общность происхождения) или контакт (общность, разделенность некоторых культурных элементов), для аналогии – общность законов (*межкультурные сходства, cross-cultural resemblances* – называет такие сходства Стюард), для кон-

вергенции – еще и сходство обстановка (например, экологи), для параллели – синстадиальность, сходство по уровню развития (Willey 1953b; Ziegert 1964 и др.). В совокупности эти лимиты формируют дифференциацию по источнику подбора сопоставлений – выделяются такие источники (Klejn 1973b): а) круг родственных народов или же б) соседних, в) из схожей природной среды, г) близких по уровню развития.

Кое-кто из советских археологов принимал только синстадиальные аналогии (Шмидт 1932: 13). Ричард Гулд и его сторонники считают допустимыми только гомологические сопоставления – те, что обусловлены родством, прямой преемственностью культур. Копперс называл их “привязанной параллелизацией” (*gebundene Parallelisierung*). Гулд называет их преемственными (*continuous*) и противопоставляет не-преемственным (*discontinuous*) – всем остальным (Gould 1980). По Фишеру, аналогия “тем сильнее, чем она ближе во времени и пространстве к сопоставляемому предмету” (Fischer 1991: 319).

Греим Кларк и Гордон Уилли соединяли (по крайней мере в теории) два ограничения – схожим уровнем развития технологии и сходством природной среды (Clark 1953: 355; Willey 1953b: 229). Уилли называет такие аналогии “исторически-специфическими”. То же объединял и Сервис, но зато разделял сходства, обусловленные общим происхождением народов, и сходства, обусловленные контактами (Service 1964), хотя те и другие основаны на общем происхождении самого явления (то есть являются гомологией).

Другая совокупность нескольких ограничений (той же природной средой и – с большой вероятностью – населением, связанным одной традицией) породила стремление искать этнографические объяснения археологических материалов в живой культуре того населения, которое ныне живет на исследуемой территории. У советских археологов это стремление породило требования “комплексных” этнографически-археологических экспедиций (Мещанинов 1927), позже осуществленных С.П. Толстовым в Средней Азии. В Европе аналогичное стремление лежало в основе “местно-этнографического подхода” (*folk-culture approach, Volk-skultur-Ansatz*) – ограничения местными, европейскими аналогиями для интерпретации европейского археологического материала у Г. Кларка (Clark 1951; Кларк 1954). У американцев оно породило так наз. “непосредственно-исторический подход” (*direct historical approach*) – обращение за объяснениями археологических материалов к потомкам тех индейцев, которые предположительно их оставили, на тех же или смежных территориях (Steward 1942). Орган сформулирован этот принцип как “метод контролируемого сравнения” (Eggan 1954).

Классический пример американского археолога Мак-Грегора: в могиле XII века н.э. он раскопал сопроводительный инвентарь. Инвентарь показали индейцам-пуэбло племени хоппи. Те сразу же отнесли всё к определенному роду, племени и указали, в какой церемонии это применимо. Еще одному индейцу показали только одну вещь из этого инвентаря – орнаментированный стержень. Индеец

тогда назвал другие вещи, которые должны быть тут же: дубинка с зазубринами, двурогий предмет и заострения, крышка. Всё это действительно содержалось в инвентаре (MacGregor 1943).

Эшер выделяет эти сопоставления в особый вид аналогии и не включает этот вид, основанный на преемственных связях, в “новую аналогию”. А напрасно: это тоже связано с ограничениями и тоже проявилось в новое время. Ирвинг Рауз (Rouse 1972: 174) называет аналогии этого вида “специфическими” (а прочие – “общими”). У Гордона Уилли и Пэтти Уотсон с соавторами (Willey 1953b: 229; Watson et al. 1971: 50) “исторически-специфический” или “непосредственно-исторический подход” противопоставит “обще-сравнительному” (*general-comparative*).

2) Ограничения, касающиеся *характера, смысла и полноты формальных сходств*. Эти лимиты содержательно дифференцируют сопоставления по глубине и значительности. Так, сходства предметов одного функционального назначения весомее, чем разнофункциональных. Сходства предметов из одной сферы жизни весомее (скажем, хозяйства или, еще уже, скотоводства), чем предметов из разных сфер. Разумеется, в разных видах сопоставлений (разных по основе сходств) это ограничение будет налагаться по-разному. Для конвергенции связь по функции очень важна, а для гомологии – гораздо меньше. Тут, а также и при синстадиальных аналогиях будут сказываться и стилистические сходства, не связанные с функцией и не ограниченные одной сферой жизни.

3) Ограничения, которые привязаны к *видам сопоставляемых объектов* и учитывают *различную коррелированность* их компонентов в разных сферах культуры. Эти лимиты вводят содержательную дифференциацию сопоставлений по степени вероятности. Скажем, технологические сопоставления считаются более детерминированными и предсказуемыми, чем совпадения социальных структур, а те – чем явлений духовной жизни, и менее всего детерминированы другими сферами (наиболее условен и свободен) язык. На этом основании разные сферы культуры различаются по степени археологической познаваемости – в зависимости от их положения на “лестнице Хокса”, как эта градация именуется по имени археолога, сформулировавшего эту зависимость (Hawkes 1954). Соответственно и надежность сопоставлений считается тем больше, чем ближе к сфере производства, к самым артефактам, к материальной культуре (Eggert 1993: 144-146).

4) Ограничения, которые затрагивают *логический механизм сопоставления* и определяют условия доказательности. Специально рассматривают условия применения аналогии как логического средства в археологии Ульрих Фишер, Гюнтер Смолла и Кристиан Гукш (Fischer 1987; 1990; Smolla 1990; Guksch 1993). Фишер считает, что поскольку история не повторяется, привлечение параллелей не вносит никакого обязывающего суждения. И все эти авторы принимают афоризм “аналогия – не доказательство”. Но даже Бинфорд, изгоняющий этнографическую аналогию из системы доказательств в археологии, отмечает две характеристики ее доказательности: 1. Если есть причинно-следственная связь между выведенными

свойствами и исходными сходствами, то истинность вывода более вероятна. Если нет такой связи, то скорее вывод ложный. 2. Чем больше связей между аналогичными и чем менее взаимосвязаны выводимые свойства, тем более вероятен вывод. При обратных отношениях вывод скорее всего ложен (Binford 1967a).

Эти лимиты формально дифференцируют сопоставления по степени строгости.

В отличной статье конца XX века "Борьба с аналогией" Дэ. Д. Люис-Уильямс проследил цепочку построений в аргументе по аналогии. Он различает в нем три постулируемых связи – между выявленной чертой (или чертами) и предполагаемой в археологическом объекте, между аналогичными чертами в этнографическом объекте и между обоими объектами. Каждая из этих связей нуждается в упрочении самого сходства (умножением деталей и обнаружением уникальности) и в доказательстве неслучайности (умножением случаев и – еще лучше – выявлением механизма обусловленности).

Люис-Уильямс делит аналогии на три типа. Первый он называет "этнографическим прецедентом". Для этого типа характерно выявление одной простой ассоциации между двумя чертами в этнографическом объекте, а в археологическом объекте обнаруживается одна из этих черт и, поскольку предполагается такая же связь между чертами, отсутствующая в наличии черта восстанавливается (рис. 3). Второй тип исследователь именует "этнографической параллелью" (этот термин, однако, занят – параллелями принято считать конвергентные эволюции). По Люис-Уильямсу, это такие аналогии, в которых оба сравниваемых объекта – этнографический и археологический – схожи по многим чертам. Из этого выводится сходство и по черте, отсутствующей в археологическом объекте. Чем больше связей черт, тем вероятнее эта определяющая связь в археологическом объекте (рис. 4). Наиболее сильным Люис Уильямс считает *третий тип аналогии* (он оставляет его без названия), в котором связь между чертами в этнографическом объекте отличается логической необходимостью и есть основания полагать такую же необходимую связь (причинно-детерминирующий механизм) в археологическом объекте (рис. 7).

Гукш различает *формальные* или *предметные аналогии* и более *структурные* или *аналогии отношений* (Guksh 1993). Вообще же в логике различаются больше разновидностей: *парадигма* (перенос признака), которая бывает различной полноты, *аналогия соответствия* (перенос отношений), *аналогия совпадения структур*, *гомоморфное* или, строже, *изоморфное*. Модель – наиболее строгая и полная разновидность аналогии – рассмотрена мною отдельно (Клев 1973а: 705-707). Вдобавок во всех видах аналогии есть возможность верификации гипотетических компонентов. В этом смысле аналогия не абсолютно безразказательна.

Такова дифференциация сопоставлений и связанные с различиями их виды ограничений. Но является ли ограничение гарантией надежности?

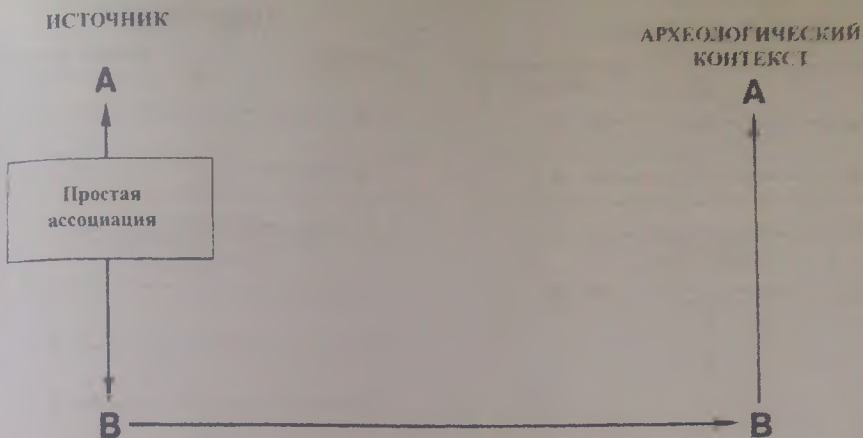


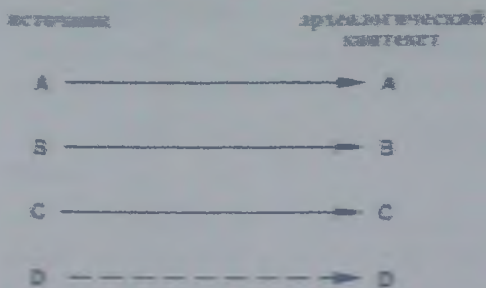
Рис. 5. Вывод по аналогии – этнографический прецедент (по Дж.Д. Люису-Уильямсу – Lewis-Williams 1991/1998, fig. 1).

Так, Васил Маринов (1982) представил очень любопытную и полезную сводку болгарских этнографических аналогий археологическим находкам с территории Болгарии – типичный пример “местно-этнографического” или “непосредственно-исторического подхода”. Среди артефактов, которым найдены этнографические аналогии, есть и знаменитые костяные “идольчики” энеолита – плоские обобщенные женские фигурки с зубчатыми краями. Оказалось, что очень похожие фигурки используются кое-где и сейчас в Болгарии – их изготавливают молодые люди и дарят своим любимым, а те наматывают на них пряжу; одновременно фигурки расцениваются как обереги (рис. 8). Толкование фигурок, конечно, очень интересное и вполне вероятное, но где уверенность, что традиция их изготовления и применения сохранялась в Болгарии в течение добрых пяти тысяч лет, когда за это время сменилось несколько совершенно чуждых друг другу народностей? Ограничение рамками “непосредственно-исторического подхода” такой гарантии не дает.

Эшер предложил задействовать все виды ограничений сразу.

“Для каждой данной археологической ситуации, – пишет он, – обычно существует более, чем одна единственная аналогия, которую можно было бы использовать в интерпретации данных. Реальная проблема заключается в следующем: из этого конечного числа возможных аналогов надо выбрать тот, который дает наилучшее решение. Отбор наилучшего решения более эффективен, когда менее удовлетворительные решения систематически исключаются. Так, первое исключение может быть сделано на основе экономики, второе на основе расстояния от археологической ситуации до возможного аналога в пространстве, во времени и по форме, а третье исключение может быть основано на степени близости отношений между формами

АНАЛОГИЯ I



АНАЛОГИЯ II

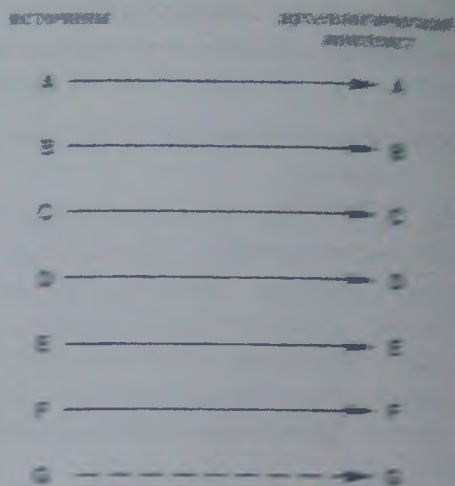


Рис. 6. Вывод по аналогиям — историко-культурно направленный. Сравнительная оценка аналогий посредством общей черт, выделенных в основу аналогии (по Дж. Д. Льюису-Уильямсу — Lewis-Williams 1991: 1998, fig. 1).

в археологической ситуации отношения между формами в гипотетически инвариантной ситуации” (Ascher 1961: 293).

9. Эвристический спектр. Невозможное ограниченное множество ограничений.

Между тем реальный выбор не столь многосторонне ограничен. Набором он чрезвычайно велик. Невозможно его даже перечислить. Тим Ганс-Петер Вольфа пишет: “Часто необходимо выбирать вероятные из широкого спектра возможных аналогий, но для этого в нашем распоряжении есть лишь ведомственные и не обоснованные критерии” (Wolff 1993: 253). Выбор аналогий и соответствующих обрабатываемых линиик (то есть выбор ограничений) во многом определяется задачей. Если мы ищем гомологию, то лучше ограничиться родственными и соседними культурами. Если мы ищем элементы из процесса развития, то лучше всего сосредоточиться на сближенных культурах, на культурах одного уровня и т.д. Но все это лишь ради большей вероятности обнаружения. Разумеется, эти ограничения приобретут ценность и при выборе наиболее подходящего соотношения из возможных вариантов — при выборе выбора. Но сначала нужно обеспечить саму возможность выбора.

Многие исследователи все еще не очень ослеплены ограниченностью выбора источника аналогий — они больше упирают на логический соответствие между процессом ее соответствия археологическим фактам (Vachard 1967a; Kuhn 1969). Как уже говорилось, Бифора считает возможным использовать дужную археологию лишь при перерывах палеолита. Того же мнения придерживаются Йенс Ардэн, “модернистич-

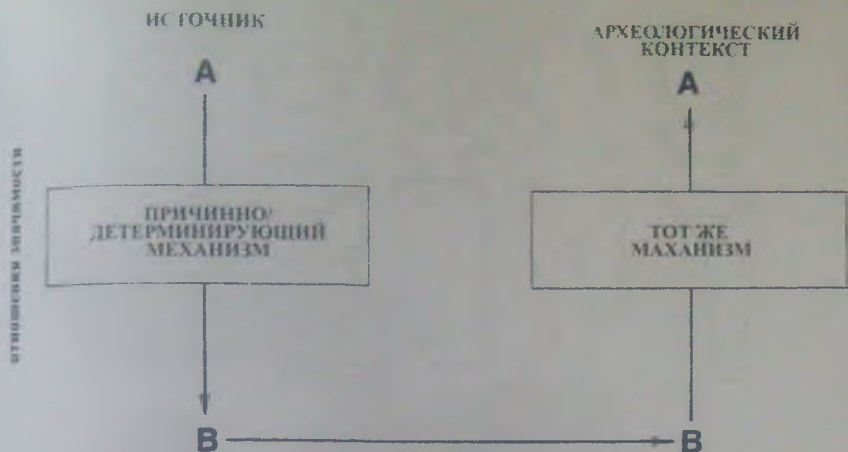


Рис. 7. Вывод по аналогии – связь на основе сходства причинно-следственных механизмов (по Дж.Д.Люису-Уильямсу – Lewis-Williams 1991/1998, fig. 3).

функция этнографических параллелей $\langle \rangle$ это расширять горизонты интерпретатора” (Ucko 1969: 262). С этим практически согласны немецкие исследователи Франк Феттер и Элизабет Нолль: “Прямо объяснять свои комплексы с помощью этнографических сопоставлений преисторик не может. Сравнение, параллелизирование, аналогия и конвергенция, как и лежащие в их основе представления и ожидания, имеют эвристическую функцию – они не интерпретируют из самих себя археологический материал” (Fetten und Noll 1992: 178).

Эти исследователи даже терминологически предложили отличать нацеленную на одно избранное толкование *аналогию* от *сравнения*, представляющего целый спектр возможностей. Вотцка справедливо заметил, что, сколько бы аналогов ни было подключено, с точки зрения логики рассуждение остается *заключением по аналогии* (Wotzka 1993: 254). Он предложил вообще не налагать никаких ограничений на добывание аналогий. По крайней мере пока не установлены и не показаны исторические связи, что толку налагать ограничения временем и пространством? Ведь “свободная аналогия” служит не как аргумент в доказательстве, а лишь как средство установления рамок интерпретации (Wotzka 1993: 256).

Представленная практика, которая должна иллюстрировать этот теоретический постулат, не очень ему соответствует. В поисках аналогий для ям с керамикой в африканском тропическом лесу Вотцка составляет таблицу встречаемости 19 признаков в 34 археологических местонахождениях, а затем рассматривает 24 признака (сводимых к тем 19) в 91 этнографической аналогии с гораздо более широкой, хотя тоже центральноафриканской территории (рис. 9). Это дает ему минимум



Рис. 8. Костяные женские фигурки: а — неолитические (скульптура Кюлжабазиев — Гумельница — Караново б); б — современные болгарские (те и другие — по В. Маданова 1982).

четыре возможных толкования по аналогии: погребальный ритуал, отверстия для душ, разрушение и инверсия, могилы без гроба. Методика строга и разработана, но "свободность" подбора аналогий здесь не наглядна: они ограничены территорией. Гораздо более для иллюстрации тезиса Вотки подходит помещенная в том же томе статья Ульриха Штодика о верхнепалеолитических однодубовых "гарпунах", оказавшихся коньесметалками — орудиями для метания копий (по археологическим находкам из Центральной Европы и Центральной



Рис. 9. Распространение "кладов в ямах" в Африке: а – археологические находки (территория показана темной заливкой), б – сопоставляемые с ними этнографические комплексы (светлой заливкой). По Г.-П. Вольфе (Wolke 1993, Abb. 6)

Америки с ее окрестностями сопоставляются с этнографическими из Американского Севера, Южной Америки, Австралии, Океании и Камчатки (рис. 10-12).

Кстати, как раз эти орудия Геккель в споре с Питтиони приводил в доказательство необходимости этнографических аналогий. Как иначе было бы догадаться об их назначении? Если бы не этнография, они "никогда не были бы интерпретированы как "металки копий" (Haeckel 1961a: 35-36, 1961b: 197). На это Питтиони возразил: "Еще не доказано, что предмет, который мы обозначим как "копьеметалка", был ею на самом деле" (Ibid., 36). Ну, у Штодника это доказано. И доказано в основном обобщением аналогий (у Штодника приведены еще и экспери-



Рис. 10. Распространение копейметаллов. По У. Штодику (Stodiek 1993, Abb. 4).

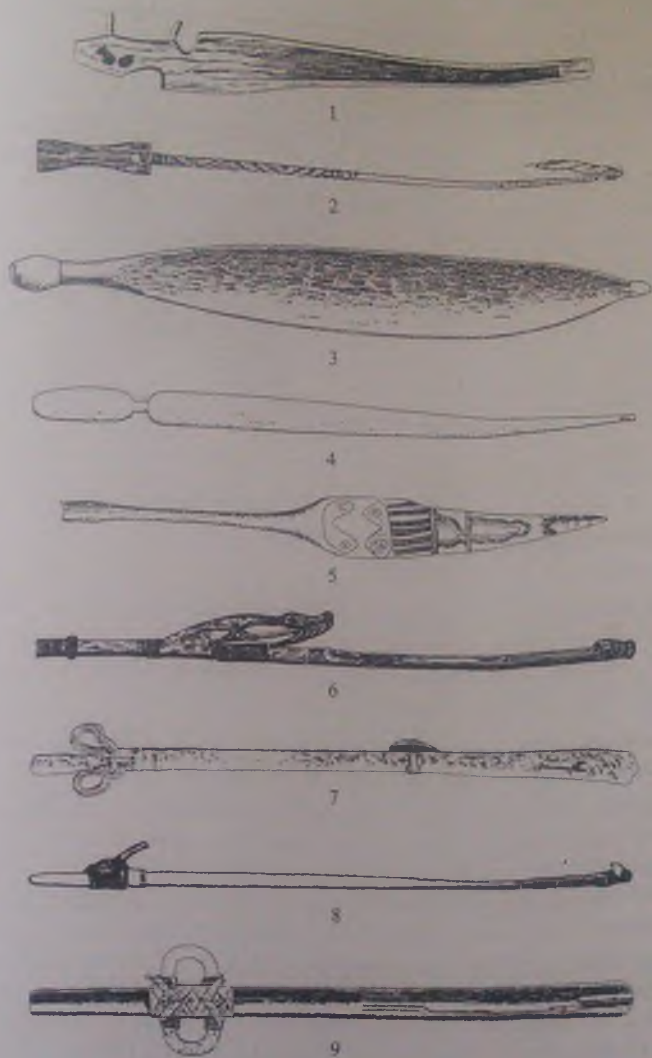


Рис. 11. Копьеметалки: 1-6 – из археологических контекстов, 7-9 – из этнографических контекстов (по У. Штодику – Stodiek 1993. Abb. 3).

менты метания). Логика убедительности основана на соображении вероятности: если в таком большом числе случаев при таком разнообразии условий предметы этой формы служат орудиями для метания копий, то стоит ли сомневаться в том,

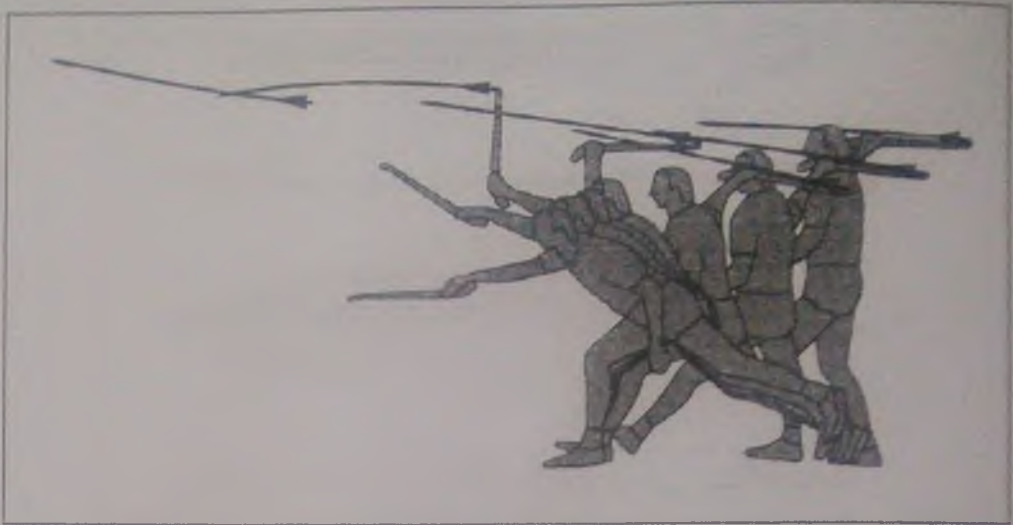


Рис. 12. Фазы движения копьеметателя с копьеметалкой. Кадры из экспериментального кинофильма (дано по У. Штодику – Stodiek, Abb. 1).

что и данная находка имела ту же функцию? Иными словами, для сомнения надо бы привести другую функцию, которая бы выглядела более подходящей или хотя бы столь же приемлемой. А это зависит от широты и полноты обзора. Эвристическое значение здесь перерастает в доказательное.

Так или иначе ряд исследователей явно признает за аналогией лишь эвристическую роль, снабжение спектром возможных аналогий. Но так ли это?

Во-первых, это ограничение не совсем обосновано. Вся логика доказательности сведена здесь к однозначным силлогизмам – мол. раз их нет, значит, нет и доказательства. Между тем в доказательстве гипотез вообще, в аналогии особенно огромная роль принадлежит вероятностным суждениям, а они могут быть достаточно надежными. Множество практических устройств, основанных на теориях, доказанных в вероятностном ключе, прекрасно работают. Когда не удастся найти способ количественной оценки вероятности, большой выбор относящихся к делу аналогий как раз и помогает оценить степень вероятности без математических подсчетов, опираясь на сравнение “более вероятно – менее вероятно”, на положение на шкале градации. При таком выборе легче отыскать и количественный критерий оценки.

Во-вторых, открыть глаза на множество аналогий – это и само по себе не так уж мало! Необходимо обеспечить очень широкий спектр возможностей интерпретации, чтобы в него попало то неведомое пока толкование, которое окажется удачным и имеющим шансы на подтверждение. В другом повороте это всё тот же “*принцип множественности гипотез*” Чемберлена, который был выдвинут в кон-

на поверяемого пса — ради сохранения субъективности исследователя (Чемберлен вынужден был, тем исследователю должен быть от себя привязанность к одной культурной или этнической и рассмотреть весь спектр принципиально возможных вариантов по той или иной ситуации).

Питер Аккоу представляет обзор возможностей в толковании археологических материалов по способу погребения на основе широкой сводки данных этнографии. Питер анализирует исследования предпринят Марк Блок (Ucko 1969; Block 1971). Через десятилетия по конкретному поводу с подобными выводами выступил эстонский археолог Йозеф Кандерт, видимо не зная о работах Аккоу и Блока (он их не упоминает).

"При применении этнографических материалов в качестве модельных объяснений, — пишет он, — еще прежде, чем будут привлечены отдельные модельные объяснения из этнографии, надо исключить все другие этнографические модельные объяснения. Этнографические материалы надо понимать как угол зрения, под которым археолог и может исследовать найденные над землей следы, а не как аргумент" (Kandert 1982: 197).

В этой полемической статье по поводу использования этнографических материалов в публикации Я. Бузуека и Д. Коутешко о кновизских погребениях Кандерт привел обширный, но очень внушительный список возможных этнографических явлений, стоящих за археологическими вариантами способов погребения: 1. Первичные погребения: а) отнесение тел умерших членов деревни или стойбища на природу, б) непогребение собственных убитых воинов, в) погребение в дупле дерева или на ветвях, г) погребение на деревянных площадках на столбах, д) погребение в домиках, е) погребение в саркофагах или изваяниях, стоящих на земле. 2. Вторичные погребения (перезахоронения): а) перезахоронение на земле при первичном захоронении в земле, б) первичное и вторичное на земле или над землей, в) первичное и вторичное в земле, г) первичное над землей, вторичное опущено вниз, д) вторичное погребение отдельных костей. 3. Охота за черепами и охотничьи трофеи. 4. Употребление человеческих останков в дело. 5. Человеческие жертвоприношения. Каждый из этих пунктов снабжен несколькими (2-8) примерами.

Рассматривая эти погребения со стороны археологических остатков, Кандерт замечает: 1. Смешанные и частично обожженные кости людей и зверей не обязательно являются свидетельствами ежедневного каннибализма. Они могут оказаться остатком жертвоприношений богам или погребенным старейшинам. 2. Рассыпанные и обожженные человеческие кости можно также рассматривать и как остатки перезахоронения. 3. Находки одиночных костей, черепов тоже не обязательно остались от каннибализма, а скорее от изготовления ритуальных предметов — чаш, масок, музыкальных инструментов, а могут и вообще остаться от первичного погребения. Могут они свидетельствовать о жертвоприношениях, о культе мертвых, об охоте за черепами. Что касается расчлененных скелетов, то к ним могут привести погребения на площадках на земле или над ней, вторичное

погребение части костей, обычай хоронить тела павших воинов расчлененно (на месте смерти и на родине) и проч. Много возможностей оказывается и для восстановления похорон для погребенных в ямах.

Обзоры существовавших в мире способов погребения, обычно региональные, делались и этнографами и археологами, причем гораздо более системные и связанные, с исследованием развития, воздействующих факторов и т.п., но тенденция к созданию обзоров, нацеленных на построение соответствий между этнографией и археологическими следами, характерна для полутора-двух десятилетий XX века – с конца 60-х до середины 80-х (см. также O'Shea 1984).

Ян Боузел поместил в том же номере журнала ответ Кандерту, в котором всё же ограничивает Евразией сопоставимые этнографические материалы для периода с начала бронзового века, поскольку с этого времени Древний Восток и Европа выделились в особый регион, а материалы с других континентов считает подходящими только для предшествующего времени (Bouzek 1982). Видимо, здесь принимается ограничение, налагаемое признанием диффузии...

10. Эвристические индикации. Вообще все эти ограничения полезны только на этапе проверки доказательности, но могут лишь повредить на этапе поисков. Здесь на первый план должны выступить *формальные сходства и специфические редкостные детали*. То, что Гребнер называл *критерием качества*. При чем для каждого отдельного случая не так уж важно, где будет найдено подобие – в археологическом ли материале других культур, в культуре ли народов, описанных древними авторами, или в живом быту наследников исследуемой культуры, их соседей или современников. Проиллюстрирую свою мысль несколькими примерами из своей личной практики. К собственному опыту я решил обратиться не потому, что он особенно показательен, а потому, что здесь психологический рисунок поиска мне хорошо известен.

Случай 1. Псалии. В конце 1960 г. сотрудница кафедры, где я работал, В.Д. Рыбалова показывала коллегам свою находку и спрашивала всех, не видел ли кто-нибудь что-либо подобное. В Крыму, в поселении позднебронзового века она нашла в 1958 г. небольшой, помещающийся на ладони костяной диск с отверстиями и выступающими в одну торцовую сторону шипами (рис. 13а). Я тогда занимался между прочим Эгейским миром и регулярно читал европейские археологические журналы. Похожие вещицы я увидел в статье Алана Уэйса "Микенская тайна" в "Археолоджи" (Wace 1960). Он собрал и опубликовал целую серию подобных предметов из позднеэлладских памятников (рис. 13б-к). Это были небольшие орнаментированные диски из бронзы, кости и глины, снабженные каждый отверстиями и четырьмя шипами, отходящими в одну сторону. Уэйс терялся в догадках, что это такое. Персон опубликовал один такой предмет как чашку от меча (часть перекрестья), Рейхель – как навершие шлема. Уэйс сопоставлял их с глиняными модельками мебели – табуреток, тронов и столиков, но те, добавлял он, сделаны в другой технике и не орнаментированы.



Рис. 13. Костяной предмет из Каменки и его аналогии: а – костяной диск с поселения Каменка близ Керчи (раскопки В.Д. Рыбаловой, 1966, рис. 1); глиняный диск из цитадели Микен (б – вид сверху, в – вид снизу, г – графическая реконструкция Ч. Уильямса); д, е, ж – фрагменты костяных дисков из Дома Щитов в Микенах и их графическая реконструкция Пье де Жонга; з, к – костяные диски из Каковатоса, толос А, и Дома Щитов в Микенах, реставрированы в воске (б – з из статьи Wace, 1960, figs. 2, 3, 5).

«Четыре ножи ваших дисков, — писал Уйбе, — не навевают мысль о религиозной функции, но и не препятствуют ей. Возможно, сознательно искажать религиозное объяснение тату или предмету, название которого столь темно, но им жертвенный статус, им сослужил для возникший, уже идентифицированные, не дают близкую параллель к этим предметам».

Итак, назначение предметов оставалось в тайне, но, по крайней мере Минне-ны — это была датировка! Я поделился своими сведениями с В.Д. Рыбаловой, а она предоставила их и саму находку Б.А. Латынину, который уже раньше работал над этой темой, и они стали готовить публикацию. Но вскоре, прежде, чем появились их статьи об этом, вышла подробная сводка К.Ф. Смирнова (1961), в которой были классифицированы и определены не совсем такте, но явно родственные предметы — псалмы (часть армянской конской узды, близкие по функции к трензелям). К крымской и микенским находкам особенно близки были древневосточные мегалитические псалмы в виде колесиков с шипами (рис. 14) и венгерские костяные дисковидные с боковыми отростками.

Смирнов подошел к делу с другой стороны. Он давно изучал погребения бронзового и раннежелезного века с конями, входил в них детали узды и изучал ее устройство и историю по литературе. Ему были уже известны работа Потраца о конской узде в Междуречье и статьи венгров о псалмах (Potratz 1941; Mozsolics 1953; Vokoty 1953). Он подыскал наши степные находки к этому кругу. А к шестипти типам псалмов, постулированным у Смирнова, работами Лескова, Латынина и Рыбаловой (Лесков 1964; Латынин 1965; Рыбалова 1966) был добавлен еще один тип — костяные дисковидные. Функциональное назначение костяных дисков как псалмов стало общезвестной частью археологического знания.

Заслуга опознания принадлежит Потрацу, венгерским ученым и Смирнову. Для них же в опознании этих предметов имело значение: а) нахождение этих

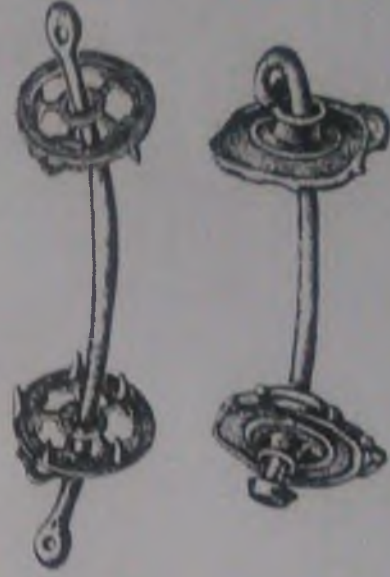


Рис. 14. Металлические узды с псалмами из Гапы и Рас-Шамры (Сирия). По И.А.Г. Потрацу (из статьи К.Ф. Смирнова 1961, рис. 6, 7, 8).

предметов *in situ* по бокам конского черепа в могилах с конями, б) этнографическое и обыденное знание конской узды, в) описание именно данных деталей узды у древних авторов (начиная с Гомера), г) обнаружение этих деталей на древних изображениях. Кстати, и название в археологии пришло именно древнегреческое.

Но археологических определителей нет, и в период, когда назначение этих дисков и колесиков еще не было широко известно археологам, перед каждым отдельным исследователем задача опознания их вставала как задача поисков аналогий. Если бы он руководствовался ограничениями, перечисленными выше, он был бы ориентирован на слишком узкий круг материалов. Поиски античников были бы направлены на классический мир и эгейскую цивилизацию (искания Уэйса в этом отношении очень характерны), поиски наших бронзовиков – на быт поселений. Там их не ожидал успех. Если бы в археологии существовали определители находок, подобные минералогическим определителям или ботаническим и т.п., то, конечно, искать нужно было бы прежде всего предметы, наиболее близкие по форме, а затем по контекстам встречаемости.

Думаю, что в памяти археологов, первыми опознавших эти предметы, ассоциация с предметами живой культуры образовалась прежде всего по типичному контексту и форме, при чем особенное значение имели отверстия и шипы.

Случай 2. Эпинетрон. Другая сотрудница нашей кафедры, А.В. Давыдова, привезла из экспедиции, которой она руководила, странный керамический предмет – половинку баночного сосуда, как бы разрезанного вертикально пополам, найденный при раскопках гуннского поселения. Загвоздка в том, что сосуд был таким и обожжен. То есть если он и был разрезан, то до обжига. Находка была единична (рис. 15). Дотошный и опытный археолог-практик, скептически относившаяся к моим теоретическим занятиям, А.В. Давыдова обратилась ко мне



Рис. 15. "Половинка сосуда" и ее интерпретация: а – фрагмент керамики из Иезонинского городища (раскопки А.В. Давыдовой, 1995, табл. 103, 9-10; 178, 17); б – эпинетрон (наколенник) последней четверти V в. до н.э. из Эретрии, Греция, расписанный в краснофигурном стиле (Robert 1893, tabl. 13, 4).

с вызовом: вот вам случай доказать, на что способен теоретик. Определите, что это за предмет. Аналогий ему нет. Если сможете это сделать, я буду готова публично признать вас гением (почему-то многие археологи были озабочены аттестацией моего дарования – ср. Пиотровский и Клейн 1970/2004; Клейн 2010г. 215-217).

Мысли мои, естественно, были направлены на мир посуды. Но не воображать же гуннов с настенными кашпо, да такие кашпо должны иметь стенку или хотя бы дырочки для крепления. Можно представить себе, что такие сосуды предназначались для некой полужидкой субстанции, типа теста, после застывания или запекания которой половинки разнимались, чтобы легко вынуть содержимое, не разрушая сосуд. Но тогда предметы должны быть парными, а они не парные. А коль скоро функционально одиночная половинка сосуда бессмысленна, то само собой напрашивалось некое кульговое назначение с мистическим смыслом (половина мира, пол и т.п.)...

Мне повезло. Готовясь к лекциям по введению в археологию, я листал разные учебники по этому предмету. В одном из них, относящемся к античной археологии (Niemeyer 1968, Abb. 12), я натолкнулся на знакомую половинку сосуда. Это оказалось известное в классическом мире приспособление для женской домашней работы с пряжей: наколенник, по гречески – *эпинетрон*. Его сначала трактовали как разновидность черепицы для крыш, но К. Роберт (Robert 1893: 247-249) установил его истинное назначение и название в древнегреческом быту. Сохранились изображения, где эпинетрон показан в применении, а на самих античных эпинетронах часто изображены сцены из женского быта (рис. 15б, 16).



Рис. 16. Использование эпинетрона при прядении по изображению на античной росписи (прорис. и реконстр. – Robert 1893, tabl. 13, 2).

Моей гениальности это "открытие", конечно, не доказывает (в лучшем случае некоторую эрудицию и цепкую память). Но удача на неожиданном направлении поисков примечательна. Аналогия из античного мира гуинскому изделию показавшая столь несуральной специализстке по гуинскому времени в Забайкалье, что несмотря на собственное образование античника (она ученица Блаватского), она не приняла мою подсказку всерьез и не включила это опознание в публикацию (см. Давыдова 1995: 26, табл. 103, 9-10; 178, 17). Он так и остался обломком сосуда, который "не определим ни по форме, ни по назначению" (Ibid., 26). Между тем и при раскопках работают во всех культурах железного века, и аналогия ли здесь или гомология, но это сопоставление дает, мне кажется, единственно возможное толкование. Методика, кстати, не вполне этнографическая, но близкая к ней, в качестве этнографов-описателей выступают древние авторы.

Случай 3. "Скипетры". В данном случае толкование принадлежит мне (Клейн 1990, 2010б; 357-388; Клейн 2013). Речь идет о "каменных зооморфных скипетрах" степного неолита. Найдено их несколько десятков. Они распространены от Предкавказья до Подунавья в разных культурах, синхронных Триполью VI (рис. 17, сводки – Дергачев и Сорокин 1986, *Govedarica und Kaiser* 1996). Это продолговатые длиной в 13-15 см изображения головы животного с возвышением на морде. Лицевая часть полирована, а затылочная – оставлена шершавой. По форме они напоминают боевые топоры, но ни топорами, ни скипетрами они никак не могут быть, коль скоро не имеют проушного отверстия и никаких признаков того, что крепились на рукоять. Их просто держали в руке, для чего шершавая часть и предназначена (не скользит). Благоде Говедарица и Эрика Кайзер предположили всё же углубленную рукоять, фиксированную этим выступом, якобы пролезающим в специальное отверстие, но эта экзотическая и явно надуманная реконструкция не подкрепляется никакими фактами, что сами авторы и признают.

Животное археологи определяли как собаку (бульдога или мастифа), свинью или дикого кабана, носорога, гиппопотама, а чаще всего – коня. Отсюда расхождения о роли коня в степном неолите. Споры шли о том, изображен ли внизу данный конь или без узды. Но так как у животного имеется рог на морде, при том один, а носорог в наших степях в неолите не водился, напрашивается вывод, что изображалось мифическое животное – единорог (козь с частями других животных и одним рогом посреди лба). Этот образ известен во многих мифологических системах Европы и Азии. Латинское обозначение – монокерос, китайск. килин, древнерусск. иврот, Ктеений, врач Артаксеркса II, сообщает, что индийский единорог имеет вид белого коня с синими глазами, а конец рога красный. В древнем Китае и Индии рог Единорога имел фаллическое значение.

Миф о Единороге был широко распространен по средневековой Европе и Древнему Востоку. Единорог известен тем, что это дикое и опасное животное, не имеющее самок, а органом размножения у него служил именно рог. С оригинальной сексуальностью единорога как-то связано то, что укротить его могла только чистая, нетронутая дева – единорог успокаивался в ее лоне и засыпал. Иными сло-

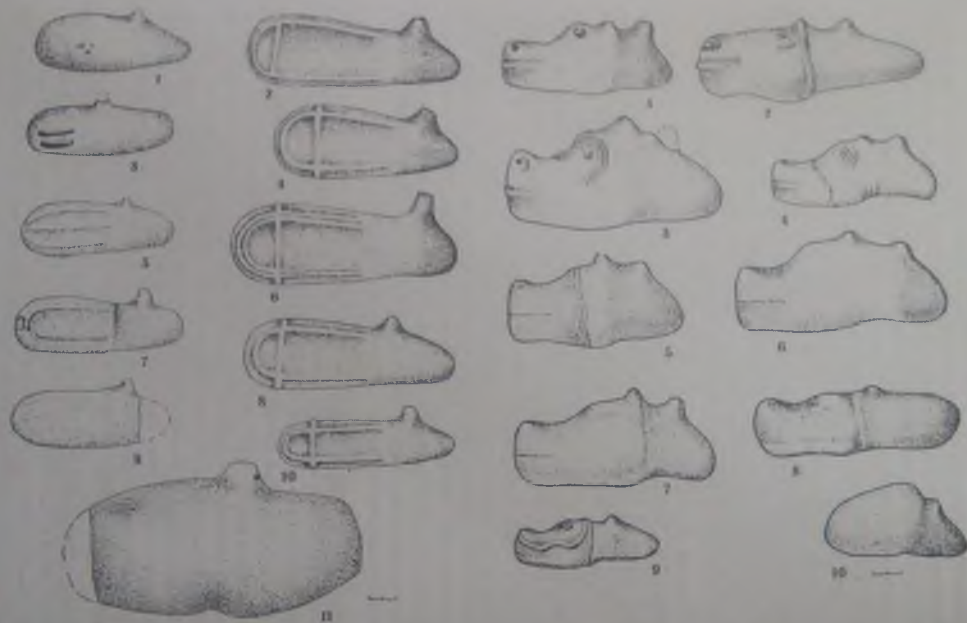


Рис. 17. Таб. 141. "аморфные сканелы" стебля мха (сделано из двух таблиц В.А. Дергачева и Сорокина, 1986, рис. 2-3).

вами, по-видимому, предусматривался некий добровольный половой акт, в котором дефлорация производилась рогом единорога, хотя прямо об этом в сказочных повествованиях, дошедших до нас и большей частью пронизанных христианской моралью, не говорится. Легенда о Единороге и деве древняя, есть уже у Исидора Медиевского, современника Плиния (Иванов 1980; Schöpl 1988: 65-90).

На этом основании я предположительно связал эти так наз. скипетры с этнографически широко засвидетельствованным обычаем дефлорации девушек специальным орудием от руки жреца. Символически это могло рассматриваться как дефлорация культовым животным – единорогом. Так что это не скипетры, а дефлораторы. Полированность лицевой части орудия обеспечивала легкость скольжения. Подтверждением такого толкования является то, что в одном случае, когда “скипетр” найден в погребении, он располагался там, где должен был оказаться половой член.

Здесь начальное звено сопоставления (так наз. скипетры) и конечное звено (дефлораторы) находятся в очень разных сферах: первое – в степных памятниках энеолита, второе – в широчайшем круге первобытных культур, практически ничем не ограниченном. Связующим звеном служит соответствие изображения образу единорога из мифа, очень напоминающего ритуал дефлорации и, вероятно, являющегося его нарративным оформлением. Дополнительную связь дает формальное соответствие “скипетров” функции дефлоратора.

Случай 4. “Кинжалы”. Здесь также я излагаю собственную идею, так и не опубликованную прежде. Речь идет о бронзовых так наз. “кинжалах” медно-бронзового века. Феттен и Нолль относят этот артефакт к классическим загадкам археологии, на которых буксует этнографическое сравнение. Они приводят случаи с явно недопустимыми аналогиями (сравнение Стоунхенджа со Св. Софией) и продолжают так:

“Проблематичнее применение и в то же время функциональное определение понятий «бритва» или «кинжал» (соответственно в гальштатском контексте или в контексте медного века). Идет ли здесь речь только об условных шифрах для некой формы или об обозначенных функциональных определениях или же этим понятиям соответствует некое знание о выраженных функциях? Положение дел осложняется тем, что мы обычно связываем с «бритвой/кинжалом» установленные виды деятельности, которые относятся к определенным объектам. Даже если только эти объекты окажутся иными по сравнению с нашими представлениями, – например, «кинжал» окажется направленным против зверя на охоте, – мы бы сменили название, чтобы не нарушить наше аналогизирующее понимание, отчеканенное обиходным языком. <...> Дополнительные трудности выступают относительно других артефактов, которые мыслимы как многоцелевые орудия, во всяком случае функционально не определимые однозначно, или как составные орудия, лишь частично сохранившиеся и доступные рассмотрению” (Fetten und Noll 1992: 165).

С конца 40-х годов я занимался степными катакомбными погребениями раннебронзового века, в которых обильно представлены плоские металлические

“кинжалы”. В нашей литературе их называют еще и “ножами”. Это, конечно, не кинжалы, не оружие, поскольку они не имеют ни нервюр, ни ребер жесткости, ни (большой частью) острого конца. Когда же конец острый, это получилось от стачивания, возможно, не намеренно (Бианки 1991). Основная работа орудия приходится именно на этот конец, а не на боковые лезвия, потому что есть немало клинков, сточенных почти до рукояти (рис. 18). То есть шло стачивание не столько боковых лезвий, сколько всего клинка с конца к основанию, пока не оставался короткий огрызок. И этими огрызками всё-таки работали, они оставались функциональными!

Я много думал над назначением этих артефактов. Проще всего было бы определить их как обычные многофункциональные ножи, прежде всего разделочные и столовые, опираясь на этнографические аналогии и обиходную современную практику. Но в том-то и дело, что эти аналогии поверхностны, не совсем отвечают нашим находкам по форме. Ведь аналогичные современные ножи обычно односторонни, обладают затупленной спинкой, чтобы при разрезании можно

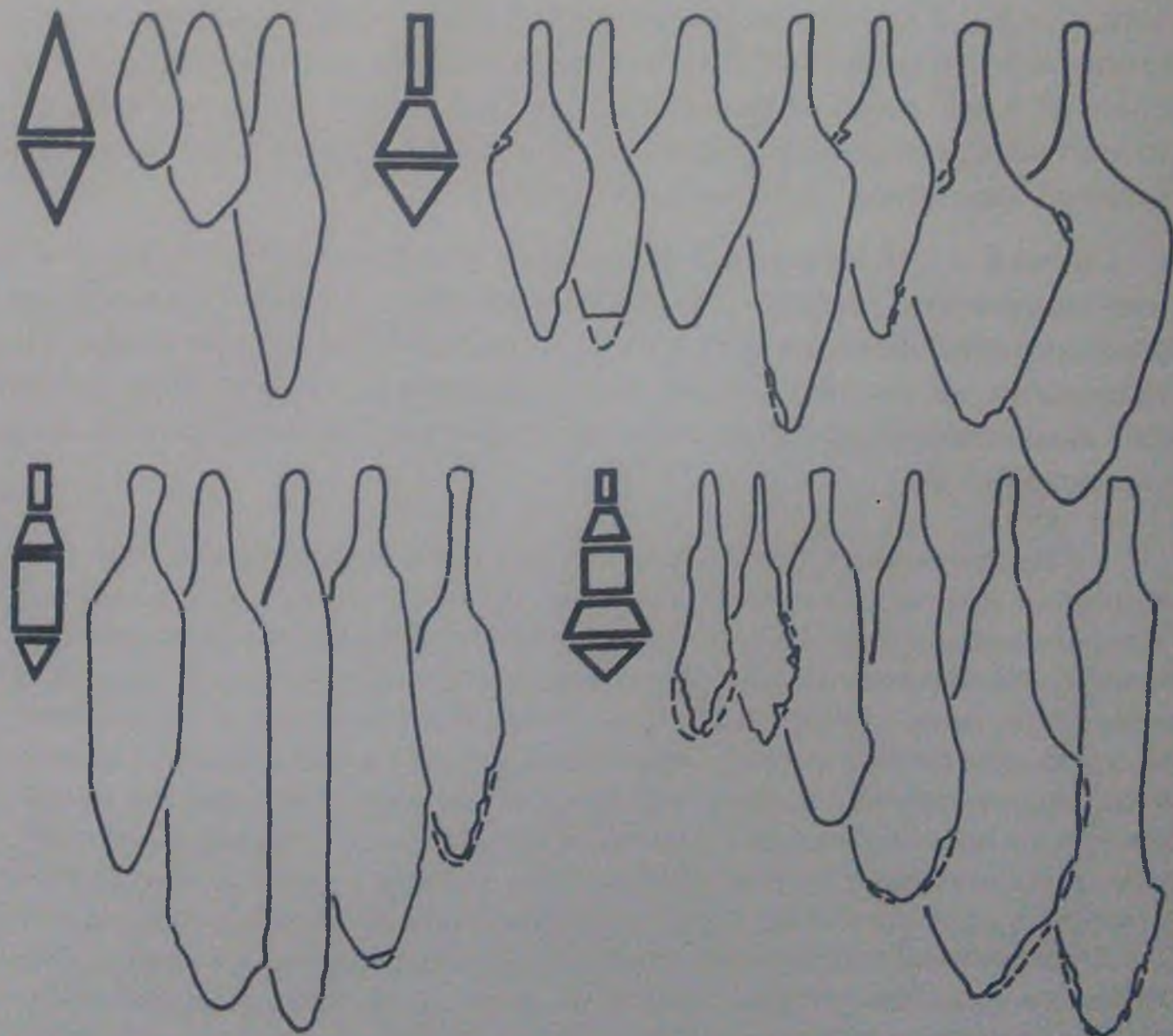


Рис. 18. Бронзовые “кинжалы” катакомной культурной общности. По А.М. Бианки 1991, рис. 37).

было нажать сверху, не порезавшись. А эти артефакты имеют лезвия с обеих сторон — действительно, как кинжалы. Вот сочетание двусторонности с округлым, но острым концом и образует основную трудность определения.

Аналогии надо искать именно этому сочетанию признаков, а не материалу и общим контурам артефакта (как обычно поступают). Кроме того, надо учитывать общую направленность того хозяйства и быта, в котором эти артефакты применялись. Люди катакомбной культуры были, прежде всего, скотоводами, потребляли мясную пищу и носили одежду из шерсти и кожи. Как разделочные и столовые ножи использовать катакомбные “кинжалы” можно, но не этой функцией обусловлена их форма, потому что для этого удобнее другая форма, которая и стабилизировалась в современных ножах этого назначения. Иное дело обработка кожи. Мы знаем, что в неолите для обработки кожи использовались скребки (орудия с округлым лезвием) и, возможно, резцы. Те и другие держались при работе перпендикулярно материалу. Это одна аналогия. Другая — современные железные и древние раскроечные ножи кожевников — широкие, с округлым (дугообразным) лезвием, полулунный клинок гораздо шире рукояти (рис. 19). Их держат в руке вертикально клинком вниз и кроят, или держат горизонтально, но работают движением от себя.

Катакомбные ножи не столь широки. Конечно, ввиду дефицитности металла, такой нож должен был выполнять у катакомбников и другие функции — разделочного, столового. Его обнаруживали в могиле при костях животных и даже в сосуде с остатками мясной пищи (с костями).

Возможно, поэтому мою статью с “непохожими” аналогиями долго не принимали ни в одно издание (я был тогда молодым исследователем, сейчас бы, может, и приняли — имени ради). А мне и сейчас моя гипотеза, основанная на аналогии, кажется наиболее соответствующей обстоятельствам, но я всё еще не знаю, как подтвердить ее независимыми фактами. Надеяться на трасологов? Ждать счастливой находки?

Таковы мои четыре примера применения аналогий.

Убедительность представленных здесь толкований разная — от единственно возможного — на уровне факта (псалии) и наиболее вероятного (эпинетрон) до одного из возможных (“кинжалы” как кожевенные ножи). Где-то между ними находится гипотеза о скипетрах как инструментах дефлорации. Эта гипотеза представляется реалистичной, и пока что остается единственной, в которой не нашлось противоречий, хотя ее система доказательств слишком тонка и сложна, поэтому не для всех убедительна. Но все приведенные толкования на основе аналогий расширяют наше понимание материала. Возможно, имело бы смысл построить шкалу разрядов убедительности толкований по аналогии, используя схему Люиса-Уильямса и приведенные здесь примеры оценок. Во всяком случае, если бы мы захотели оставить в науке только абсолютно доказательные аналогии, наш свод знаний о прошлом катастрофически обеднел бы.



Рис. 19. Кремневый неолитический скребок и раскrojные ножи сюрняка: а - неолитический скребок из стоянки Мурзина Балка-2 (Бритюк 2006, рис. 9.13), б - орсе-нерусские ножи сапожные и усьморезные (для раскроя кожи) (Попов 2009, рис. 10, 11), в - раскrojный дисковый нож Апузев)

Защелкой же для нахождения аналогий, отправной точкой служили формальные сходства и контекст обнаружения. К сожалению, во многом приходилось полагаться на личную эрудицию и случай. Археология остро нуждается в типологических определителях, в которых были бы учтены типы не только археологических артефактов и комплексов, но и этнографических предметов и ситуаций, и где они были бы упорядочены не соответственно историческому развитию или территориям (такие есть), а по форме и контексту. Развитие компьютерной техники делает эту задачу гораздо более реалистичной, чем раньше.

II. Путь к синтезу и реконструкции. В трех из четырех случаев определяемые с помощью сопоставления находки не уникальны, а образуют типы, подысканные же им аналогии распространены чрезвычайно широко.

В разделе о "доказательной аналогии" Томпсон писал: "Важное теоретическое значение имеет признание того, что аналогия основана на сравнении аб-

стракций, а не на сходстве между отдельными артефактами... Артефакт не трактуется как индивидуальный объект, а как член группы объектов, именуемой типом" (Thompson 1956/1971: 151). С ним согласен Бинфорд. Он начинает свою логическую процедуру сопоставления с того, что устанавливается аналогия "между классом археологически наблюдаемых явлений и классом этнографически наблюдаемых явлений" (Binford 1967a: 47).

Но мало того. Чтобы аналогия была успешной, исследователь стремится расширить количество связей, умножить аспекты, в которых связи проявляются: сходство географического распространения, сходство хронологии, контекстов. Разумеется, учитывается и интенсивность сходств – количество деталей и признаков близости. Но главное – ведется поиск причинно-следственной связи между компонентами аналогии в каждом из аналогов – этнографическом и археологическом. То есть аналогия осмысливается.

Бинфорд настаивает на том, что всё же результат такого рассуждения остается гипотетическим и нуждается в проверке на независимых фактах. Что ж, проверка никогда не помешает, но и обычный способ логического рассуждения в аналогии, если соблюдены приведенные критерии убедительности, может дать такую степень вероятности вывода, что можно признать его достаточно надежным.

Сопоставление осуществляется по-разному в разных ситуациях, при разных задачах. При определении гомологии (контактов, общности происхождения, родства) важно установить сложную индивидуальность случайно сложившейся конфигурации, неповторимой без передачи (Graebner 1911). При поисках же независимого проявления одинаковых законов (конвергенция и "параллель") важно, наоборот, установить неслучайность совпадения. Это значит снять специфичность, уникальность, обеспечить открепление от конкретности, сделать выжимку инвариантной сути, обобщение (Кабо 1979). Здесь чем шире и разнообразнее база обобщенных материалов, тем правомочнее приобщение новых материалов, перенос обобщения (Prinke 1973: 64).

Иными словами, из этнографии берутся не отдельные факты, сходные с археологически зафиксированными, а тип, система, теоретический концепт – результат обобщения и объяснения весьма разнообразных проявлений одной закономерности или одной структуры в разных условиях. Археологическое проявление должно вписываться в эту систему проявлений, но может и не совпадать близко ни с одним из них (Кабо 1979: 102-103).

Здесь-то и кроется ключ к реконструкции тех структур прошлого, которым нет прямых подобий в современности. Вычленение отдельных компонентов и ситуаций, обобщение вычлененных объектов позволяет распространить эту методику и на реконструкцию обществ и культур палеолита. К тому же не все изоляты аномальны (Deetz 1968b).

Пусть изначально культура первобытных людей характеризовалась принадлежностью человека не во всем подобна ли культурное развитие различных народностей. Пусть неизбежная архаичность культуры первобытных людей еще больше затрудняет увязку с жизнью. Ведь же она первобытная. Эти особенности и способы этой увязки определяются прежде всего исторической, лингвистической социокультурной систем. Их различия не по своему содержанию, но по уровню развития. Только словами, сама архаичность культуры первобытных культурных параллелей зависит от реализации той системы, которую трансформирует (т.е. этнографический) парадигмы (Хейльбрунн 1954) - т.е. и культуры первобытных Эренрейх (Ehrenreich 1947). Проблема же сопоставления, таким образом, есть не только междисциплинарная, но - в своем смысле - и собственно этнографическая.

Вместе с тем и археолог не вправе махнуть и забывать с этнографическими данными отдельный фрагмент культуры первобытных людей в локализованном виде. Скорее всего придется его в археологическую систему сопоставить с сопряженными. Обобщать, выявлять и систематизировать, выявлять все возможные увязки последнего с прочими данными (или система, этнографическая сопоставленность) и лишь затем результаты сопоставления с этнографическими данными (Томпкин 1956a; 1956b).

Тут высказывается, что процесс сопоставления зависит в части от специфика: одни и те же явления могут выглядеть по-разному в жизни бытия (или в бытии в том - в этнографическом описании), с одной стороны, и в археологическом материале - с другой. Ведь явления живой культуры сильно трансформируются при выходе из нее.

11. Сопоставление и этнография. Обсуждение этой проблемы привело к трем важным следствиям:

а) Внедрение в археологический процесс, ранее представлявшееся только в исследовании письменных источников, - требования *внутренней критики источников*, то есть критическое отношение не только к их подлинности, но и к достоверности из них (из подлинных) информации (Бурт 1951, 1954, Карен 1971, 1995, Кларксон 1971, 1995). Различие живой и мертвой культуры - не единственное, что обуславливает возможную объективность археологических источников, - есть еще и взаимная зависимость различных культурных явлений или же их единичные следствия, а значит и возможность их выявления в культуре (вместе с единичными причинами, а проверка этнографических явлений - не единственный способ решения этой проблемы - есть еще и другие способы взаимодействия объектов после взаимодействия, выявление различных парадигм от различных культурности и т.д. Но и систематизация в этнографии сыграло свою роль. Это не во всяком случае неслучайно и верно.

б) Выявление живой культуры первобытных и археологический материал выделенного археологический (Сейфер 1971, 1976, 1987) и систематизация по критериям

мере в одном важном аспекте от принципа процессуальной археологии — от концентрации усилий на непосредственном изучении культурного процесса. Основная цель перенесена на изучение законов формирования археологического источника, а это в значительной части побуждает обращаться к этнографии и культурной антропологии. Лидер “новой археологии” Люис Бинфорд практически с конца 60-х годов в поле и со второй половины 70-х в литературе целиком переключился на эту проблему (Binford 1977; 1978; 1981).

в) Формирование *этноархеологии* — специальной отрасли этнографии, занимающейся изучением того, как материальная культура живого общества связана в нем с прочими сторонами культуры и как она была бы (и будет) представлена в археологическом материале (Donnan and Clewlow 1974b: I-II; Yellen 1977; Kramer 1979; Watson 1979; Gould 1980; Orme 1981; Hodder 1983; Ethnoarchéologie 1992). Этноархеология разрабатывает уже не методические рекомендации для каждого сопоставления в отдельности, для каждого поиска этнографических аналогий археологической находке. На ее результатах стало возможно строить для археологии цельную теорию исторической интерпретации археологического материала, теорию реконструкции исторических явлений, событий и процессов на основе фактов археологии — с помощью всего багажа этнологии.

Одни определяют этноархеологию как дисциплину, охватывающую любые взаимодействия обеих наук, включая и подбор аналогий, заключения по аналогии (Stiles 1977). Другие считают задачей этноархеологии лишь установление регулярных соответствий между материальными частями культуры и нематериальными ее частями, поведением людей, всё это ради создания основы для интерпретации археологических материалов (Kramer 1979: 1).

В рамках этноархеологии разгорелся спор об использовании аналогии в этноархеологическом рассуждении (Stiles 1977; Gould and Watson 1982). Гулд склоняется к мнению, что этноархеология — это отвержение и альтернатива аналогии. Коль скоро он отказывается объяснять сходства универсальными законами, то для него то, что подлежит объяснению, это не аналогия, а аномалия. Уайли первой заметила, что это лишь смена названия — в основе тот же тип рассуждения (Wylie 1982; Fetten und Noll 1992).

Разумеется, этноархеология с ее целостным подходом как бы снимает отдельную аналогию, инкорпорируя ее в себя и соответственно перестраивая, но сохраняет аналогию вообще — как ее факты, так и ее принцип. Как можно было убедиться, всё развитие методики сопоставлений вело к их функциональному ограничению и в то же время к их генерализации. Это и породило этноархеологию.

И всё же этноархеология — это уже другая проблема.

13. Итоги рассмотрения этнографических аналогий. Нужда археолога в этнографических сопоставлениях несомненна, так как археологический матери-

ал мертв и только аналогия с живыми обществами, где подобные материальные вещи функционируют в живой культуре, может дать археологу ключ к диагностированию, интерпретации и реконструкции. Но сама возможность этого зависит от признания неких регулярностей, неких закономерностей в функционировании культуры и в частности соответствий между материальными и нематериальными ее частями. А это ставится под вопрос, а с тем — и применимость аналогий, по крайней мере как доказательств. Ясно, что во многих аспектах культурные явления и ситуации истории неповторимы. Но это не значит, что в культуре нет повторяемости — иначе не было бы традиции и типологии. Есть история культуры, но есть и социология культуры.

Многие ставят доказательность аналогий в зависимость от ограничений, налагаемых на круг явлений, принципиально сопоставимых с той или иной археологической находкой. — ограничений территорией, временем, природными условиями, генетическими связями. Они стараются максимально свести аналогию к гомологии. Это обычное недоверие к механизму аналогии. Между тем есть аналогии разной степени доказательности — вплоть до модели. Отвергая логику суждения по аналогии, пуристы не учитывают, что в механизме доказывания аналогии большую роль играет оценка вероятности.

Эвристическая функция аналогий признается всеми. То есть все понимают, что этнографические материалы расширяют кругозор археолога, позволяют ему рассматривать и те возможности, которые иначе и не пришли бы ему в голову. Но мало кто учитывает, что широта сопоставлений и разнообразие собранных фактов сами являются аргументами доказательности предпочтительного выбора — наиболее подходящей аналогии.

Самыми важными в выборе оказывается не селекция связей, не отбор их посредством ограничений, а всё-таки близость аналогии по форме и контексту обнаружения. Поэтому чрезвычайно актуальной является проблема создания не только археологических, но и археолого-этнографических определителей, где материал был бы упорядочен не по историческому развитию или территории, а по форме и по контексту обнаружения.

Развитие этноархеологии не снимает этой задачи, как не снимает и проблемы сопоставлений археологических данных с этнографическими. Этноархеология образует другой аспект связи археологии с этнографией, создающий базу не столько для частных интерпретаций, сколько для теории археологической интерпретации вообще.

В методическом арсенале археологии модели и этноархеология появились в связи с осознанием сложности многих археологических объектов. Поэтому, прежде чем перейти к их более подробному рассмотрению моделей и этноархеологии, нужно разобраться с этим осознанием сложностей — с системным подходом.

Глава 3. Системный подход в археологии

1. Три общенаучных подхода. В конце XVIII и в XIX веке для археологии, как и ряда других наук, был характерен *секвенционный* подход к пониманию материала – он нашел выражение в концепции стилей Винкельмана, системе трех веков Томсена и эволюционистских построениях Мортилье и Монтелиуса: хронологическая последовательность была главной осью рассмотрения, однолинейное развитие – главным выводом, механическое расчленение и сравнение элементов – главным методом. Позже принципы этого подхода удерживались в теории стадильности.

В целом, однако, с конца XIX века и в первой половине XX на смену этому общему подходу пришел другой общий подход – *дистрибутивный*, перенесший акцент с развития во времени на развертывание в пространстве. Он также нашел яркое выражение в ряде археологических концепций: миграционизме, диффузионизме, географическом детерминизме (экологическая школа), он замечен также в построениях американских археологов-таксономистов межвоенного периода и в концепции “археологии поселений” послевоенного времени.

Во второй половине XX века во многих науках (биологии, лингвистике, философии и других) наметилась новая смена принципов рассмотрения материала. Появилось понимание того, что разъятые для анализа и исследования по отдельности элементы, отношения и связи между ними еще не исчерпывают всего объема необходимых сведений о мире, как бы мы затем ни пытались их снова сложить, суммировать, синтезировать. Потребовалось особое изучение их в живой и всеобщей взаимосвязи, в системах. Новый общий подход получил название *системного*.

Мир всегда был системным, но ведь и естественный отбор действовал с самого начала живой природы, а искусственный – с неолита. Между тем Дарвин, уловивший наличие и значение естественного отбора, появился не раньше, чем свободная конкуренция в человеческом обществе сделала идеи “борьбы за жизнь” естественным представлением для человека (Бернал 1956: 33, 37, 360, 371). Точно, как представление о большой сложной системе, не сводимой к сумме ее частей, о специфической задаче изучать организованность, упорядоченность, структурность мира в целом выросло несомненно под воздействием сложения огромных в высокой степени автономных и трудноуправляемых систем в современной организации производства, технике, военном деле и политике.

Конечно, понятие системы давно известно науке, и задача упорядочения материала, систематизации его решалась многократно, а представление о несводимости целого к сумме его частей было уже у древнегреческих философов. Однако до недавнего времени исследователи старались обойти проблему изучения систем как целого, свести изучение системных предметов к изучению несистемных или

заменить вскрытие внутренних параметров систем описанием ее внешних характеристик (Садовский 1965: 173-176).

И всё же системный подход не упал с неба, как внезапное озарение, он подготавливался в науке давно, исподволь, разумеется, без телеологической установки на обслуживание и понимание больших систем, которые появились к середине XX века. Ныне в ретроспективном рассмотрении мы можем оценить некоторые теоретические открытия в науке прошлого как важные шаги в направлении к системному подходу, хотя бы это и было побочным результатом с точки зрения основной линии, в которой эти открытия осуществлялись.

Системный подход предполагает в объекте некое единство и в то же время множество, некую организацию, в которой целое, возникнув из взаимодействия частей по законам, управляющим их раздельной жизнью, видоизменяет эти части, налагая на них новые характеристики, и заменяет эти законы другими. Иными словами, при системном рассмотрении объекта нельзя ограничиться констатацией в нем какого-то единства – отысканием одной-двух общих идей, но нельзя и свести дело к перечню многих составляющих (между тем именно к этим крайностям тяготеют предшествующие образы). Нужно выбрать такие элементы, которые исторически и логически связаны между собой, и отыскать такую идею, которая их связывает и преобразует, придавая всем частям новое звучание, новый смысл.

В литературе показано, что многие идеи системного подхода были предвосхищены Марксом в его исследовании экономической системы капитализма и Лениным – в исследовании империализма (Садовский 1965: 177-178; Goddard 1966; Новик 1969). Но это не удивительно, если вспомнить проиллюстрированное только что примером Дарвина значение политикоэкономических отношений как модели для познания мира. Упоминается также, что “тектология” Богданова (Богданов 1912; 1921), жестоко и не без оснований раскритикованного Лениным за редуктивизм и механицизм, была все же напрасно огульно отброшена и забыта: в ней содержится ряд положений по кибернетике и теории систем, особенно близкий позициям Росса Эшби (Сетров 1967; 1970; Тахтаджян 1972). Но ведь и сам основатель общей теории систем, Берталанфи, даже 20 лет спустя отложил публикацию своих готовых выводов из-за неблагоприятного для них климата в науке и решился на публикацию лишь еще через 10 лет – уже после II мировой войны (Bertalanffy 1962: 2-3).

2. Пути к системному подходу в биологии. В биологии, области классической для общей теории систем, развитие в направлении к системному подходу прослежено по отдельности Хайловым, Кремянским и Садовским.

Согласно обзору Хайлова, из числа известных сейчас биологических систем первым объектом исследования стала самая очевидная – организм. Разнообразие и целесообразность организмов обратили ученых к аналитическому изуче-

нию сходств. Упорядочение по морфологическим сходствам привело к открытию новой системы – *вида*. Расположение видов по степени сложности привело к идее *филогенетической связи, эволюции*. Филогенетическая система отражала только прошлые связи, запечатленные в материале как реликт. Отвлечение от эволюционного подхода позволило обратить внимание на актуальные, действующие связи внутри вида. Основным объектом исследования стал вид как генетическая система, с популяцией Менделя, адаптивными реакциями и т.п. Это в свою очередь обратило к изучению связей вида со средой и подставило под объектив науки систему *биоценоза*, а затем и *биогеоценоза (экосистему)*. Однако и это изучение оказалось ограниченным и механистичным. Накопление нескольких односторонних и взаимоисключающих углов зрения на предмет побуждало (искать пути создания более цельного и всестороннего представления (Хайлов 1970).

Как показал Кремянский, в 20-е годы XX века возникла целая группа “*организмических теорий*” (*организмизм*), открывших заново великую истину Платона, что “целое больше суммы своих частей” и понявших, что части вне целого утрачивают важные характеристики. Эти теории боролись против неовитализма и против механицизма с характерным для последнего редуционизмом – старанием свести понимание высших форм к аддитивному анализу низших явлений: социологию – к биологии, биологию – к химии и физике, те – к механике. Однако боролись организмысты по-разному: одни с идеалистических позиций, другие – с материалистических. Первых было больше. Стремление рассматривать части только со стороны целого, то есть низшие формы – со стороны высших, нередко приводило к игнорированию значения этих низших форм, а с ними – материального субстрата системы.

Именно из круга организмических теорий выросла “*теория открытых систем*” Бергаланфи, а затем его “*общая теория систем*”; из этого же круга возникла “*теория структурных уровней*” Брауна и Селларса и “*теория интегративных уровней*” Джерарда, Эмерсона, Новикова и других. Последняя представляется Кремянскому особенно важной, так как в ней решается задача сочетания преимуществ обоих подходов организмического и механистического и создаются предпосылки для рассмотрения системы с обеих сторон – и со стороны высшего уровня, и со стороны низшего (Кремянский 1969: 16-142). Такой биполярный вариант системного подхода ряд советских авторов выделяет в особое течение: *интегрализм* (Энгельгардт 1970а, б, в).

Садовский в ряде работ показал, сколь многочисленны, разнообразны и несогласуемы варианты системного подхода в биологии и других науках. В концепции Бергаланфи на первый план выдвигается *принцип эквививальности систем* (многие приводят к одному результату), связанный с подчеркиванием целостных характеристик и сознанием недостаточности однозначной детерминации, недостаточности ограничения причинно-следственными связями. В концепции Эшби на первом плане – понятие *гомеостаза*, связанное с осознанием сложности взаимоотношения системы со средой; элементы той и другой движутся, обновляются, но общий баланс остается тем же. Это потому, что в живой системе работает механизм

негативных обратных связей, приводящих к уменьшению тех действий системы, которые выходят за рамки допустимого требованиями равновесия и угрожают его нарушить. Чем больше такое нарушение, тем сильнее негативная реакция системы и тем сильнее подавляется такое действие. Так обеспечивается живучесть систем. Многие такие механизмы описаны.

Но как понять основу их действия, а особенно – их возникновение? Для Эшби, Заде и других задача – не в том, чтобы понять или вскрыть механизм действия системы, а в том, чтобы рассматривая систему как “черный ящик”, представить в математической форме связь между входным воздействием и выходным сигналом, создать математическую модель системы (Садовский 1962; 1965; 1970; Блауберг, Садовский и Юдин 1970).

Садовский критикует эти концепции как попытки обойти задачу системного подхода – проникновение внутрь системы. Как ее воссоздать? Как ее разложить на составные компоненты, не теряя интегративных свойств? Попытками обхода считает Садовский и путь телеологического описания, заданный принципом эквивиальности Бергаланфи, и модель “черного ящика” Эшби: в этих концепциях система не подвергается вскрытию, а рассматривается лишь снаружи, с точки зрения ее поведения как целого (Садовский 1970: 436). Садовский считает, что развернутая теория систем, методология и логика системного подхода еще не созданы (Садовский 1965: 168).

Наиболее перспективным путем решения этой задачи он считает разработку стратегии исследования *структур* (Садовский 1970: 436–442). Один из шагов в этом направлении он усматривает в штудиях Зиновьева, предложившего логическую формализацию целостного рассмотрения множества связей в системе (Зиновьев 1959; 1960). Отмечается, однако, что формализовать Зиновьеву удалось лишь функциональные связи, но не они являются системообразующими (Блауберг, Садовский и Юдин 1970: 41–42). Подводя итоги обзору состояния науки, Блауберг, Садовский и Юдин заключают: “Сегодня мы не можем говорить о единой теории систем” (там же, 27). Эти исследователи, долго выступавшие вместе, предложили свою разработку такой теории в двух вариантах, немного разойдясь сами в определении специфики ее задач и приемов их решения (Садовский 1973; Блауберг и Юдин 1974; Юдин 1978).

3. Пути к системному подходу в археологии. Отмечая тенденцию к новому общему подходу в археологии – системному подходу, – мы с самого начала должны быть готовы к тому, что за близостью и единством некоторых общих принципов проступят весьма заметные различия и “системный и мультивариантный подход” Бинфорда окажется лишь одним из вариантов системного подхода в археологии. Спор противоположных тенденций – плюрализма и монизма, материализма и идеализма и т.п., – вероятно, будет продолжаться на базе нового, системного подхода так же, как он развертывался в рамках предшествующих общих подходов.

Ретроспективно просматривая развитие археологии, мы можем теперь заметить, что в ней происходила своя подготовка к системному подходу и что эта подготовка шла параллельно разными путями. Конечно, и в археологии можно констатировать некоторую общую линию последовательного открытия все более сложных и все менее наглядных систем, подобную той, что выявлена в биологии.

Первым объектом археологии был *артефакт* – в отличие от организма предмет сам по себе, как правило, не системный. Его системное осмысление осуществлялось по мере поворота к задачам реконструкции и по мере перемещения интересов от артефакта к *сооружению* и к *памятнику* как целому. Хотя бы пример Помпей может показать, что это произошло весьма поздно. И не это было генеральной линией открытия систем в археологии.

Изучение формальных сходств артефактов внутри категорий вещей одного функционального назначения привело к открытию системы “тип”, а на базе таких же сходств между вещами разных категорий – системы “стиль”. Не впадая в биологизацию и ни в малейшей мере не приравнивая археологические системы к биологическим, мы можем, однако, отметить, что в истории нашей науки понятие “тип” заняло такое же место, какое в истории биологии принадлежало понятию “вид”.

Как и в биологии, и не без ее влияния, дальнейшее развитие пошло через открытие филогенетических связей между типами. Основным звеном филогенетической системы оказался “*типологический ряд*” (в американской археологии аналогичное место заняла “*традиция*”). Технические задачи упрочения и использования этой системы (с формальным обращением ее в *хронологическую систему*) побудили Монтелиуса к изучению *параллельности* рядов. В свою очередь это обратило его и его коллег к использованию таких давно освоенных (перешедших из истории) систем, как “эпоха”, “период”, “этап” и новой, чисто археологической системы “хронологический горизонт”.

Датский соперник Монтелиуса, Софус Мюллер, не верил в надежность установления типологических рядов и основанных на них эпох. Он больше уповал в качестве методического инструмента на уже замеченную предшествующими поколениями датских археологов (в частности Ворсо) систему “*замкнутый комплекс*”, внутри которой реализованы не филогенетические, а *актуальные* связи. Переход к исследованию связей, актуальных для жизни каждого типа, означал в археологии смену секвенционных интересов дистрибутивными и рост внимания к распространению, сочетаемости и взаимовлияния типов. В процессе изучения этих связей была открыта система “*археологическая культура*” – открыта неоднократно, с разных сторон и формализована в разных понятиях-определениях: хронологическом, хорологическом, стилистическом, комбинационнотипологическом. У американцев понятийные отличия подкреплены терминологически: на месте “археологической культуры” у них “*фокус*” и “*фейз*”. Осознание единства этих определений археологической культуры как аспектов одной системы задержалось до наших дней (Клейн 1970, 1991а: 125-154; Klejn 1971; 1982).

Сущность многозначности этой системы и самого языка искусства в творчестве и творческих формах можно рассмотреть в терминах диалектики на языке и прелесть архитектуры. Поэтому с самого начала творческой мысли всегда была связана попытка выявить истинную структуру этой культуры в более обширных историко-культурных системах ("жизнь", "экономика", "политическая формация", "классовая", "общественная", "экономическая формация" и т.д.). По своей сути прелесть искусства на языке культуры и системы культуры (по терминологии культуры британской школы) всегда была, например (по терминологии культуры и искусства, можно рассуждать, между прочим, как подлинную систему культуры).

Понимая язык прелесть архитектурной культуры искусство и в другом направлении, также приближаемся к системному подходу — в направлении мысли архитектурной философии. Многозначность и диалектичность выявили различные связи культуры, так возникла более обширная архитектурная система "культурное пространство". Аналогичные терминологические объяснения культуры в крупных блоках по числу внешних формальных связей (структурная "территориальность" выявляет культуру в системе ("структура") по уровню развития ("функциональность"). В своей всеобъемлющей системе Уильямс-Кларк называет также связь между типологическими системами (классическая "классическая" и другая) как не только внешние контакты внутри системы — "экспрессивность". Постепенно — это уже не столько искусство и системному подходу — складывалась представление в своей терминологии культуры на Земле. Конкретно этот принцип был выдвинут с двух противоположных сторон: разумеется, в духе всеобщего развития. С одной стороны это выдвинул марксистские архитекторы и историки, с другой — англоязычные исследователи. Строились "конструктивные" направления в архитектуре.

Для марксистских ученых этот принцип был выдвинут в первую очередь в связи с требованиями материалистической философии — изучать реальный мир и всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости. Эта взаимосвязанность рассматривалась в трудах советских историков преимущественно как культура, но рассматривалась не только в диалектическом плане — как система всеобщей истории (Жуков 1957: 1-11-11), — но и в системно-культурном — как система *искусственной истории* (Баранов 1967: 1964).

В трудах марксистских ученых история человечества рассматривалась как единое целое, связанное единой диалектикой исторического развития. Этот подход привнес в терминологию концепции "локальная цивилизация" Гайнрих. С другой стороны советской архитектуры не рассматривалась структура развития культуры архитектурные явления как часть в единой цепи исторического развития. В результате логического развития предшествующих событий, как было для нас, — духом и путем всеобщими разнообразными связей и взаимодействий.

Уже созданы термины системности 21-34-я главы книги архитектуры — системе материалы именно так. Их историческая структура системности, но именно

но, что они стремились понимать каждое археологическое явление, глядя на него со стороны целого. В то же время историчность подхода позволила им рассматривать каждое сложное явление культуры как результат повышения организации, как переход на более высокий уровень интеграции и, следовательно, улавливать в этом явлении в новом порядке старые более простые элементы, то есть не теряя из виду материального субстрата. От теории стадильности прямая дорога ведет к концепции “неолитической и городской революций” Чайлда, а эта концепция в том или ином виде отразилась во многих современных концепциях от Брейдвуда и Массона до Адамса и Бинфорда и стимулировала их.

Со стороны индетерминистского направления в археологии принцип целостности и всеобщей взаимосвязи был выдвинут в ином виде. Уже в труде Уолтера Тэйлора “Исследование археологии” были сформулированы возражения против изолированного вещеведческого изучения артефактов, в отрыве от конкретных комплексов, от среды. Взамен был декларирован принцип изучения археологических материалов в конкретном историческом контексте, во взаимосвязи, с учетом разнообразных аспектов проявления (Taylor 1948). В основе этой тяги к конкретности лежит убеждение в уникальности каждого исторического события и явления культуры, в отсутствии детерминированности культуры какими бы то ни было закономерностями, в обусловленности всего процесса лишь свободной волей индивидов, индивидуальными выборами и решениями, сочетания которых случайны и непредсказуемы. Причины событий действительны лишь для каждого данного случая.

В соответствии с этим у последователей Тэйлора основным объектом изучения была объявлена “округа” (locality) – место обитания одной конкретной общины, где, по мнению американских археологов, наилучшим образом сфокусированы все аспекты культуры, обеспечена конкретность и очевидна достоверность выделения (Chang 1967: 231-232). На этой основе возникла идея “археологии поселений” (settlement archaeology) (Chang 1968; Willey 1968: 52). “Округа” противопоставляется всем другим системам в том смысле, что контекстом, в который ее надлежит включать, оказывается вся культура человечества. Развивая эти мысли, Глин Дэниел пишет о необходимости перейти от изучения культур к изучению культуры (Daniel 1950: 246). С декларацией отказа от изучения культур выступают и другие (Müller-Karpe 1966: 187; Renfrew 1969c: 153).

Как видим, это совсем иной путь к системному подходу. Направляясь к системному подходу этим путем, необходимо преодолеть существенные преграды: в “контекстной” концепции есть принципы, противоречащие системному подходу.

4. Округи и культуры. Верно ли, что сама по себе вся культура Земли – одна система главным образом постольку, поскольку все человечество – один коллектив? Это условие реально тем меньше, чем ближе к преистории. Но вопрос не так прост. Отношения между человеческими группами – не только прямые и

видимые. Непрямые и неосознаваемые связи также существенны: преисторические племена не только сражались между собой или вступали в союзы, они также ограничивали друг другу свободное пространство для расселения, блокировали дороги к дальним источникам сырья или посягали на территории и т.д. Изменения в одном районе могли вести к следствиям в разных весьма отделенных районах.

В полной сети культурных связей и соотношений мира мы должны видеть дискретность с границами различного ранга. А среди общностей различных рангов важно выделить такие (такого ранга), которые можно было бы признать главными, поскольку внутри них происходят важнейшие процессы культурного развития. Длительное культурное развитие одного поселка немыслимо и необъяснимо, соответствующее явление в физической антропологии (изолированное существование микропопуляции) считается аномалией. Культурные круги больше свидетельствуют об общности происхождения или среды, чем о действительном, актуальном контактном развитии (роль торговли в первобытном обществе не была определяющей). Таким образом, центральным объектом остается культура.

Но процессы развития протекают во времени, уподобление их цепям Маркова проблематично, а системный подход предполагает также исходное рассмотрение с точки зрения целого, т.е. есть от целостного процесса к его этапам. В таком случае мы имеем дело с хронологическими рядами последовательно сменяющихся культур – *секвенциями*. Секвенции предстают перед нами в виде *стратиграфически-хронологических колонок* в каждом культурно-географическом районе (я называю такие секвенции *колонными секвенциями*). Но в реальности процессы культурного развития проходили не в колонной, а в *трассовой секвенции* (в ряду последовательно сменявшихся культур, связанных культурной, а то и генетической преемственностью). Иными словами, археологический материал дан нам в колонных секвенциях, а задача археологов – перевести его в трассовые секвенции. Этим в немалой мере определяется значение проблем миграции, диффузия, автохтонности и т.п. для археологии.

Однако преемственное развитие культур не было простым и однолинейным, процессы скрещивания, постулированные Ростовцевым и школой Марра, играли важную роль, корни почти каждой культуры уходят одновременно в разные предшествующие культуры, и каждая культура может быть одновременно звеном разных трассовых секвенций. Вместо бамбуковой роци колонных секвенций или генеалогического древа трассовых секвенций мы имеем дело с сетью. В этом смысле (через посредство культур и секвенций) вся культура Земли получает тенденцию стать одним системным объектом изучения. Эта тенденция упрочивается благодаря общности многих закономерностей, объединявших, например, развитие культур Америки и Старого Света в период, когда контакты между материками практически отсутствовали.

Отстаивая индетерминизм и уникальность явлений, сомневаясь в наличии закономерностей, американские “контекстуалисты” и британские гиперспекти-

ки, естественно, отвергают возможность обнаружения регулярных связей между различными сферами культуры, между археологическими реалиями и давними событиями и идеями. Если так, то возможности верификации гипотез оказываются минимальными, и археологам остается на долю плоский эмпиризм. Между тем системный подход предполагает множественность взаимосвязей элементов в системе, густоту сети связей, тонкую чувствительность ее к частным изменениям, множественность или повторяемость эффектов таких изменения – на этом Бинфорд основывает возможность верификации гипотез и предпочтение гипотезно-дедуктивному методу (Binford 1968a).

Следовало бы еще добавить, что понимание археологических объектов как систем предполагает признание в них порядка, организованности, то есть регулярности связей. Это делает основу для применения гипотезно-дедуктивного метода более широкой и прочной. В мультивариантном, “ранцевом” или факторном анализе нашли свое методическое воплощение принципы системного подхода в варианте Бинфорда, и эти методы принесли хорошие результаты в конкретных исследованиях. Важнейшим из них я считаю открытие новых систем как археологической реальности – мужской и женской фракций (субкультур) в культуре по различиям в их поведении (Deetz 1965; 1968a; 1968c).

При всей ценности этих методических установок, системный подход не может быть к ним сведен. Он значительно шире.

5. Понятие системы. Представления о системе являются центральным звеном системного подхода и определяют условия его применимости. Как уже показано, в традиционной археологии и в частности в контекстной есть принципы, противоречащие системному подходу. Бинфорд и его сторонники первыми из археологов осознали и четко декларировали, что цель и неизбежный результат современной методологической перестройки археологии – это системный подход.

Как ни странно, в работах Л. Бинфорда вообще нет ни определения системы, ни ссылок на теоретические труды по системологии. Исходя же из его методических требований, аттестуемых как требования системного подхода, можно заключить, что источником представлений Бинфорда о системах послужила концепция Росса Эшби. Это от Эшби взята схема механизма гомеостаза (с негативными обратными связями), от Эшби получена и убежденность в общей взаимосвязанности компонентов системы – каждого с каждым.

Д. Кларк прямо и неоднократно ссылается на Эшби в своем изложении основ теории систем. Он перелагает взгляды Эшби на гомеостаз и воспроизводит из учебника Эшби схему сети связей в системе – каждого элемента с каждым (Clarke 1968: 47, fig. 5). Но есть разные виды систем. Что же за систему представляет собой культура? Каковы структуры и свойства этой системы? Кларк считает правомерными разные “модели” культурной системы (то есть разные представления о ее

устройстве и активности). Культуру, полагает он, можно уподоблять "слоной и ошейнику", с переплетенными рабочими частями, с измеримой эффективностью и мерзостью, с запясами жерлин и движущих сил, напряжениями и механизмами отрыва... Но можно уподобить культуру и "супергазету, сегменты рекламному родственными отношениями, который отвечает на стимулы, извлекает из среды пищу, растет, рождает и умирает". Наконец, можно построить и "физическую модель культуры", уподобив культуру некоему физическому объекту, физическому телу, подвижному и пластичному, "в котором констелляции элементов собираются в сгустания (clusters), а те интегрируются в более крупные конфигурации (raisons) - культурные галактики".

Кларк считает, что все эти "модели" полезны, но ни одна из них не оказывается адекватной культуре - "они все еще на уровне простых аналогий". Однако они помогают представить отдельные аспекты культурной системы в некоторых ситуациях, и они все разделяют с культурой ряд общих характеристик. Ведь каждая из этих аналогий, как и сама культура, "представляет собой динамически сложное целое, образованное сетью взаимосвязей между объектами или признаками - все они динамичны и эфемерны" (Clarke 1968:39; разрядка моя. - Л.К.).

Какой же вид динамической системы представляет собой именно культура, изучаемая археологами? "Являются ли археологические объекты открытыми системами, пластичными системами, детерминированными или недетерминированными системами, системами «Черного ящика», системами Маркова и т.д.? Единственный ответ таков: мы еще не знаем, с каким видом системы мы имеем дело..." (Clarke 1968:45). Поэтому Кларк начинает анализ культуры с приложения к ней обобщенной модели динамической системы (Clarke 1968:39) и только затем рассматривает условия и возможности спецификации. Он обращается к разным "моделям" - "Очень Большому и Неполному Черному Ящику" (Clarke 1968: 59-62) и т.п., но убежденность во всеобщей взаимосвязанности элементов в системе - как будто с каждым - приближает представления Кларка о культурной системе (так же как и представления Бинфорда) все же больше всего к физической модели: все возможно в галактике или в атоме силы притяжения связывают любой объект с каждым из остальных. Поэтому Кларк предпочитает сравнительно простые модели физического равновесия (шарик на кривой плоскости), термодинамическую, в меньшей мере - генетическую, адаптивно-экологическую и т.п. (Clarke 1968: 43-47; 1972b).

У Кларка есть и дефиниция системы, соответствующая этим представлениям. СИСТЕМА. Сеть взаимосвязей между признаками или объектами, образующими сложное целое" (Clarke 1968: 42, 82). В этом свете проясняется и идея системы, скрыто наличествующая в его взятном у Бинфорда (Binford 1965: 209) определении культуры: "Культура - это... система всех внетелесных средств адаптации. Такая система включает в себя сеть связей между людьми, местами и вещами, матрицу которой можно понять как взаимодействие множества переменных" (Clarke 1968: 43).

Нетрудно заметить, что в дефинировании понятия “система” Бинфорд и Кларк не пошли непосредственно за своим наставником в этом деле – Россом Эшби. Тот определял систему как любую совокупность переменных, свойственных реальной “машине” (Эшби 1962: 40). Видимо, это определение показалось лидерам Новой Археологии слишком ограничивающим. Их определение более широкое и ближе всего к основанному также на взглядах Эшби предложению А. Холла и Р. Фейджина: “Система – это множество объектов вместе с отношениями между объектами и их признаками” (Hall and Fagen 1956:18). Последователи Бинфорда, составившие учебник “Объяснение в археологии”, прямо ссылаются на Холла и Фейджина (Watson 1971: 70), так же, как В.М. Массон (1976: 17, прим. 43). Это определение позволяет включить в число систем гораздо больше разнообразных объектов, в частности – любые комплексы археологических остатков. И естественно: здесь из определения изъяты ограничивающие критерии: динамичность системы, взаимодействие и взаимозависимость ее элементов. Нет и указаний на функции и структуру: “отношения” ведь могут быть любыми, даже пустыми!

Еще более широкой дефиницией пользуется Ренфру (Renfrew 1972: 19) – она дана Биром: “Все, что состоит из взаимосвязанных частей, называется системой” (Beer 1959: 8). Это ближе к дефиниции Берталанфи: “Система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов...” (Bertalanffy 1950: 143). Ренфру действительно ориентируется скорее на Берталанфи, чем на Эшби, хотя у него есть ссылки на обоих. Ведь в отличие от Бинфорда и Кларка, Ренфру задался целью объяснить рост культуры, *общую направленность* развития разных культур, а это обращает его к проблеме эквифиналитета, поставленной именно Берталанфи, и поворачивает от механических аналогий к биологическим. С Эшби и рядом других западных теоретиков Колина Ренфру роднит убежденность в том, что, представляя и описывая систему, можно произвольно выбирать элементы из реальной совокупности: “выбор элементов, составляющих систему, принадлежит нам” (Renfrew 1972: 20). Но ведь в любой машине есть неподвижные и несвязанные друг с другом детали – не падет ли наш выбор на них? Тогда мы получим лишь кучу деталей и ноль взаимодействия! Это ли система? Однако в представлениях Ренфру (так же как Бинфорда и Кларка) в экосистеме, включающей в себя культуру, каждый компонент связан с каждым, поэтому любая выборка должна выявлять взаимодействие и быть системой.

Приходится возразить: несостоятельны оба краеугольных камня представлений Новой Археологии о системе – и широта понятия и всеобщая взаимосвязь компонентов (каждого с каждым), оправдывающая сугубую произвольность выборки.

Можно, конечно, условиться о любом значении термина *система*, можно связать его с еще более общим и широким понятием (некоторые теоретики так и поступают). Но чем шире такое понятие, чем больше разнообразных объектов оно покрывает, тем меньше существенных сходств между этими объектами и тем беднее эвристические возможности использовать эти сходства, тем оно тривиальнее.

Такая тенденция грозит сделать системный подход бессодержательным. "... Если практически любой объект можно представить как систему, – пишет Садовский, – то не всегда очевидны те *эпистемологические задачи*, которые могут стоять, например, при анализе как систем листа бумаги или карандаша" (Садовский 1974: 81).

В самом деле, стоит ли сводить системный подход к систематизации, иерархической классификации или выявлению очень общих и тривиальных сходств между объектами разных наук, не имея надежд на эвристическое использование этих сходств? Если же системный подход понимать как *совокупность сильных принципов исследования*, реализуемую в *эффективной методике* и приводящую к *нетривиальным объяснениям и предсказаниям*, то вряд ли правомерно превращать его в панацею и прилагать к чему угодно. "Всегда ли система системна? – спрашивает в названии своей статьи Виноградов (Виноградов 1969). Надо выявить и строго ограничить класс объектов, заслуживающих название "системы", для целей системного подхода. Определение "системы" не должно быть ни слишком широким, ни слишком узким. Конечно, для адекватного описания действительности, а также для уяснения места системных объектов в ней и для описания самих этих объектов нужны и более широкие и более узкие понятия, но на этой шкале термину *система* должна принадлежать центральная позиция. А если невозможно отказаться от многозначности и широкого смысла термина *система*, то эту центральную позицию должно занять другое понятие, с другим термином – суженным спецификацией

В научной литературе выдвинуто и применяется несколько десятков принципиально различных дефиниций понятия "система" – в книге Садовского собрано около 40 (Садовский 1974: 78-80, 89-90). Трудно бороться с разнообразием пониманий слова *система* представителями разных наук и разных подходов: каждому кругу исследователей, видимо, приписываемое ими значение удобно в рамках их подхода. Поэтому ведущие российские теоретики системного подхода вообще отказались от попыток дать единую стандартную, унифицированную дефиницию этого понятия.

Садовский предпочел замену стандартной дефиниции "содержательным рассмотрением многообразия значений этого понятия" (Садовский 1974:82). На основе своей сводки около 40 дефиниций он разработал матрицу компонентов дефиниций (так сказать, инварианту всех дефиниций), из нее вывел "базовую" дефиницию – саму по себе слишком широкую и потому не применяемую непосредственно к объектам, а лишь порождающую частные операционные дефиниции. В итоге он получил "семейство значений" понятия "система" (Садовский 1974: 82, 99-102).

Блауберг и Юдин реализуют несколько иной путь – "содержательный путь определения значения понятия системы через взаимосвязанную последовательность признаков, когда добавление каждого нового признака все более ограничивает класс объектов, подпадающих под определение, но вместе с тем остающиеся

объекты получают все более развернутую содержательную характеристику" (Блауберг и Юдин 1973: 174). При таком определении границы понятий располагаются концентрическими кругами (рис. 20).

- Наружный круг очерчивает "совокупности объектов", а в прилегающем к нему наружном кольце располагаются "неорганизованные совокупности", которые системами называть вообще незачем (примеры: куча камней, толпа).
- Следующее (ближе к центру) кольцо у Блауберга и Юдина занимают *неорганические системы* (например, атом). Однако можно было бы это кольцо разбить на три: наружное отвести *статическим системам* (например архитектурный ансамбль), следующее – *простым динамическим системам* (шар на кривой плоскости), а внутреннее – *сложным динамическим системам* (молекула, машина и т.п.).
- Центр круга у Блауберга и Юдина занимают *органические системы*, самые сложные.



Рис. 20. Классификация систем по Блаубергу и Юдину (составил Л. Клейн).

По заключению этих авторов "попытка охватить общим определением все типы системных объектов может привести лишь к элиминированию свойств (признаков), присущих наиболее сложным и развитым из них... Системный подход играет действительно серьезную конструктивную методологическую роль при изучении не любых объектов, произвольно, в опоре лишь на формальные признаки какой-то дефиниции называемых системами, а прежде всего таких образований, которые представляют собой органичные системы. Опираясь на сформулированные признаки органичной целостности, можно вырабатывать эффективный критерий для отнесения тех или иных объектов к разряду систем, а соответствующих исследований – к системным" (Блауберг и Юдин 1973: 179).

Органические системы отличаются от менее сложных прежде всего тем, что оказываются с а м о р а з в и в а ю щ и м и с я. Отсюда их прочие специфические особенности;

- 1) в них есть не только структурные, но и генетические связи;
- 2) есть не только взаимодействие элементов, но и субординация – одни элементы порождаются другими;
- 3) выделены особые управляющие механизмы, через которые структура целого воздействует на функционирование и развитие частей;
- 4) основные свойства частей определяются не их внутренней структурой, а их позицией в структуре целого;
- 5) целое активнее элементов;
- 6) первичные компоненты, образовав систему, претерпевают трансформацию и лишаются способностей к самостоятельному существованию;
- 7) устойчивость органической системы (в отличие от неорганической) обусловлена не стабильностью элементов, а напротив – их постоянным обновлением;
- 8) внутри органического целого существуют приспособленные для выполнения определенных функций блоки элементов – подсистемы, поведение которых детерминировано неоднозначно и способно подчиняться командам управляющих механизмов (Блауберг и Юдин 1973: 177-179).

Легко заметить, что этим критериям соответствуют не только биологические организмы и суперорганизмы (пчелиный рой, муравейник), но и социокультурные общности. К. Маркс называл экономическую систему "органической" (Маркс и Энгельс т. 46, ч. I, с. 29); социологи и философы разрабатывают понятие "социального организма" применительно к дискретным обществам-народам, государственным образованиям и т.п. (Семенов 1966). Это позволяет выявлять в биологических и социокультурных системах некоторые общие для тех и других законы и применять схожие методы исследований (что и делали эволюционисты, миграционисты, таксономисты и экологическая школа). Но такая конвергенция полезна лишь при условии, что осознание специфики каждой из этих обеих сфер

налагает существенные ограничения на приложимость общих законов и методов и что эти общие законы и методы не заменяют, а лишь дополняют теорию и методологию, адекватную специфике той или иной сферы. Но именно специфической теории и методике, адекватных социокультурным явлениям и только им, в распоряжении Новой Археологии нет.

Теоретики Новой Археологии полагают, что в системе культуры каждый компонент связан с каждым то ли непосредственно (если речь идет о крупных блоках-субсистемах), то ли косвенно (если речь идет о мелких элементах). Эти исследователи представляют себе систему культуры чем-то вроде волейбольной сетки: за какую ячейку ни потянуть, изменят форму и все остальные – ближние больше, дальние меньше, но изменят все до единой.

Но ни живой организм, ни тем менее – культуру нельзя уподобить волейбольной сетке. Темпы обновления различных элементов в этих системах очень различны. Зависимости между их элементами внутри системы тоже различны – от очень сильных до нулевых. Человек без ноги остается человеком, и многие другие его органы функционируют нормально. При коренной смене моды на одежду может кое-что измениться в швейной промышленности, но это никак не отзовется на составе морского флота и очертаниях государственных границ. Оно и понятно, если принять во внимание характеристику органических систем. Субординация элементов, выделение управляющих механизмов, важность позиции элемента в структуре целого, подвижность элементов при устойчивости – все эти признаки органической системы противоречат представлениям Новой Археологии о равноценных связях каждого элемента с каждым в системе, о “равноправии” крупных компонентов системы. Но если эта идея Новой Археологии несостоятельна, то исследователь не в праве произвольно выбирать элементы для выделения системы. Не всякая выборка элементов из реальной совокупности, даже представляющей собой органическое целое, должна непременно оказаться органической системой. Когда речь идет об органических системах, то не всякая часть системы – система, не всякое отображение системы – система! *Следовательно, приходится поставить под вопрос правомерность отнесения археологических культур к органическим системам. Под вопросом окажется и непосредственная применимость к ним системного подхода.*

6. Системность археологических общностей. Предпринятый в разделах 2 и 3 обзор показывает, что продвижение к системному подходу шло в археологии в общем примерно теми же путями, что и в биологии. В обеих науках происходило обнаружение все более сложных и пространственных системных связей. Нередко понятия и методы биологии удавалось переносить в археологию, и, при соответствующих ограничениях и оговорках, оказывалось возможным получать с помощью этих понятий и методов неплохие результаты. Таким образом, некоторые понятия и методы оказались приложимы к материалам обеих наук. Системы оказались в

обеих науках. Но системный подход самостоятельно возник только в биологии, а перенесение его в археологию осуществляется далеко не столь быстро и победоносно, как, скажем, эволюционно-типологического метода или экологических понятий. Ничего странного. Биологические организмы и суперорганизмы – несомненно органические системы, а характер системности археологических общностей – иной.

Конечно, все те археологические общности, которые упоминались выше в обзоре последовательного открытия систем в археологии (комплексы, типы, стили, археологические культуры, хронологические горизонты и т.п.), – действительно, суть *системы*. Они состоят каждая из множества компонентов, они упорядочены и структурны (компоненты собраны в блоки). Кремневый инвентарь стоянки – это не беспорядочная куча простых камней. Стало быть, мы вправе, минуя внешнее кольцо приводившейся классификации систем, *вести археологические общности в кольцо неорганических систем*. Но в этом кольце придется их и оставить, так как дальше к центру, *в органические системы их проволкнуть нельзя*: у них нет ни управляющих механизмов, ни порождения одних элементов другими, ни прямого взаимодействия со средой.

Их прежняя включенность в некогда живые культуры не отменяет этого вывода. Сейчас они мертвы, и это позволяет провести аналогию с мертвым биологическим организмом. Животное – несомненно, органическая система, но, умерев, оно перестает функционировать как органическая система, прекращаются процессы управления, реагирования, обновления и т.п. Сначала труп становится неорганической системой, а затем разрушается и распадается на составные компоненты и мелкие элементы. Многие из этих последних вообще уже не являются системными объектами, если оценивать их с позиции биологического уровня интеграции.

Внутри кольца неорганических систем археологические общности формально подходят под категорию *статичных систем*: они неподвижны в практически неизменны. К динамическим системам их отнести нельзя. Это непреложная истина, и если бы это была в с я истина, то вопрос и приложимости системного подхода к археологии пришлось бы счесть закрытым. И пришлось бы дать однозначно негативную оценку вкладу Новой Археологии, теоретики которой первыми декларировали требование системного подхода в археологии.

Но проблема не столь проста.

Археологические общности существенно отличаются от обычных статичных систем – таких, как пирамида или биологический куб для картофели. Исходное отличие заключается в том, что археологические общности выстраиваются в ряды, каждый из которых связан с одной некогда живой социокультурной общностью, а составляющие этот ряд археологические общности – с разными состояниями одной и той же некогда живой общности. Археологическая общность аналогична не трупу организма как индивида, умершего раз и навсегда, а скорее

труппу члена суперорганизма, немедленно замененного в жизни подобным членом, которого вскоре постигнет та же участь. Археологические общности, входящие в такой ряд, – это результат не однократного умирания или отмирания отработавших свое элементов живой культурной системы в ходе ее постоянного обновления (Клейн 1978: 56-57; 1993: 108-110).

А это значит, что хотя действительного движения у археологических общностей нет, но установив определенные соответствия (генетические связи) между несколькими одновременными археологическими общностями и мысленно проведя траектории через гомологически соответствующие друг другу компоненты нескольких одновременных археологических общностей, археолог вправе воспринимать эти общности как *фиксированные фазы в движении и изменении одной динамической системы* (Clarke 1968: 62-72, 313, 319). В археологическом материале эти хронологические отношения выступают как реально пространственные – в виде вертикальной и горизонтальной стратиграфии, а также в виде эволюционно-типологических рядов и комбинаторных цепочек – это отношение в логическом пространстве сетки признаков. Передвигая фокус наблюдения от слоя к слою или от горизонта к горизонту, переходя от одного участка раскопа к другому, от одного памятника к другому, от одной местности к другой, наконец пробегая взглядом типологический ряд или цепочку стыкованных комплексов, археолог наблюдает изменчивость и как бы возвращает ей хронологический статус и динамический характер (рис. 21).

Иными словами, археологические общности – это условно-динамические системы. Придется ввести такую новую ячейку в классификации систем, ибо перед нами особая, еще неучтенная в теории систем разновидность систем, обла-

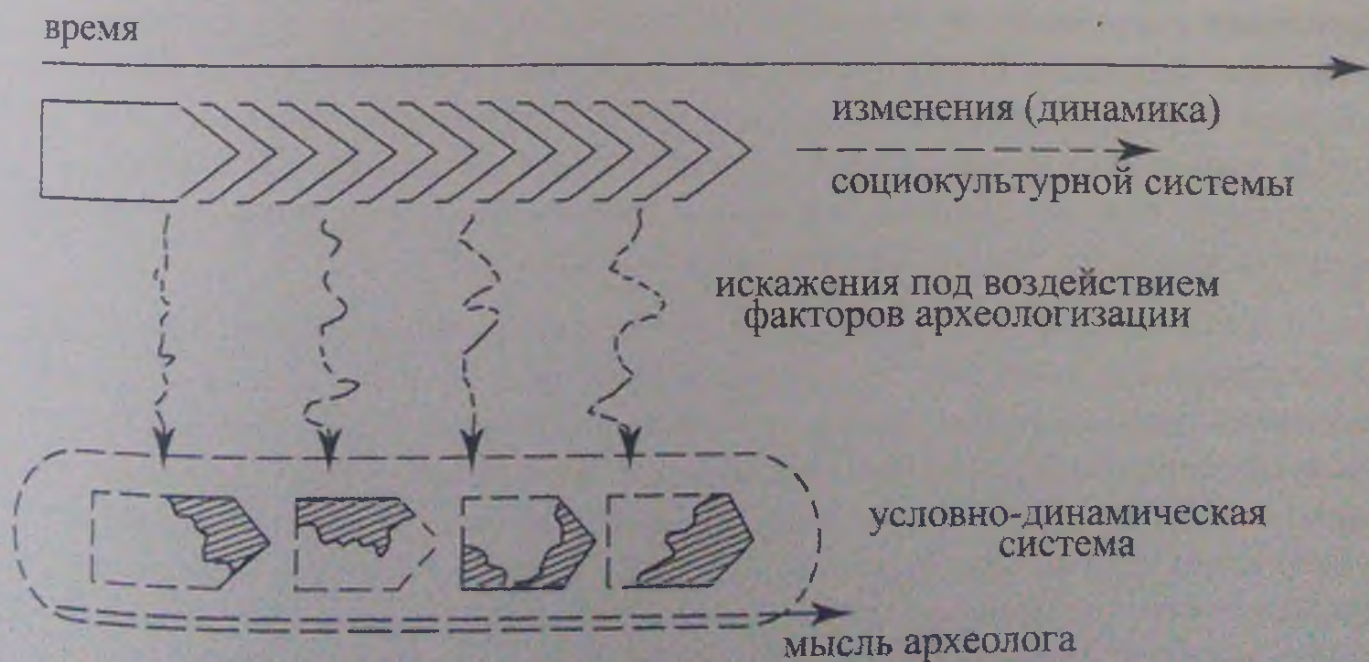


Рис. 21. Системность археологических общностей (по Л. Клейну).

любой особенной свойством в качестве объекта исследования. Тем, что позволяет проследить процессы и восстанавливать неполноту полусохранившихся уникальных комплексов прошлого с помощью экстраполяции и интерполяции: работы в структуре общности, представляющей одну фазу в траектории некоей системы, взаимодействии процессами других, ближайших фаз с соответствующими поправками на эволюционные сдвиги (Clarke 1968: 44, 61).

Чем же отличаются в том же плане условно динамические системы от безусловных динамических? Прежде всего тем, что их динамика лишь отчасти определена действительным движением, осуществляющимся в прошлом и продолжающим в нынешнем пространственным расстановкам или формальным сходствам и различиям. В значительной же части эта динамика определяется современным условным движением наблюдателя относительно рассматриваемых статических систем, принимаемых за фиксированные фазы в траектории одной динамической системы. Между тем в различиях этих наблюдаемых статических систем отражены не только генетические соотношения их давних динамических прототипов (фазовые преобразования), но и разные условия сохранности, разные обстоятельства, воздействовавшие, так сказать, посмертно. Они воздействовали на те части динамических систем и те продукты деятельности этих систем, которые сохранились в виде статических систем (результаты воздействия – постдепозиционные преобразования, разрушения, перемещения, перемешивания и т.п.). Все эти различия легко присоединяются к различиям, обусловленным давними фазовыми преобразованиями, и вместе образуют условную динамику систем.

Кроме того, поскольку условная динамика систем создается перемещением наблюдательного пункта, обстоятельства наблюдения оказываются разными, и это приводит к дополнительным различиям в результатах наблюдения. Эти дополнительные различия (например, связанные с разной степенью изученности территорий или историй памятников) тоже легко присоединяются к различиям, вызванным фазовыми преобразованиями, и выступают тоже вместе с ними в виде условной динамики систем (то есть принимаются за таковую). Наконец, в этой условной динамике скрываются факты, действующие на движение наблюдателя, — фактиграфические знания и белые пятна, теории и методы: они определяют выбор маршрута движения, увязку археологических общностей.

А это означает, что непосредственно к условно динамическим общностям нельзя применить не только системный подход, но и просто исследовательскую реализацию детерминизма динамики и историческую интерпретацию. То есть нельзя постулировать причинно-следственные связи между фазами динамики, выявлять движущие силы процесса и т.п. Мы не вправе сходно говорить как о жизненных событиях ни о вытеснении одних археологических культур другими, ни о преобразовании археологической культуры из-за резких перемен в природной среде. Все это рискует оказаться обманчивой игрой фикциями. И уж, конечно, сутубым отрывом от реальности было бы искать системообразующие связи в археологическом материале или трактовать какую-либо археологическую культуру как резуль-

тат системного преобразования (повышения уровня интеграции) предшествующей; или постулировать отношение гомеостаза и обратные связи археологической культуры с реконструируемой природной средой и т.д. А ведь это именно то, что делает Новая Археология, да и не только она.

Чтобы открыть подобным операциям законный доступ в познание прошлого, нужно расчленив условную динамику археологических систем, высвободить ее процессуальную основу (динамику культурно-исторического процесса) от многочисленных помех, устранить эти помехи. А это значит применить *критику источников* – внешнюю и внутреннюю, *археологическую герменевтику* и *эволюционную типологию* (Клейн 1973а: 1-3; 1973д; 1976: 315; Klejn 1973а: 698; 1974b: 47; 1976: 18-20) – словом, реконструировать культурно-исторический процесс. Именно в нем мы найдем реальные динамические системы, нам же от них остались лишь обломки да отпечатки, искаженная статичная смесь которых застыла в археологическом материале. Эти реальные динамические системы – давние *живые* в то время *общности материальной культуры*, взятые в их функционировании и развитии. В них есть упорядоченность, распределение функций, взаимодействие частей.

Но при всем том это машина, которую должны привести в действие и направить внешние силы. Это *не органическая система*, а лишь часть таковой. Органической системой – целостной, самоуправляемой, спонтанной, целенаправленно развивающейся – является *живая социокультурная общность* в целом. Материальная культура – это всего лишь часть этой системы, причем часть, выделенная не по функциональному принципу (как подсистема), а по иному критерию – *материальной объективации* (как *фракция*). По отношению к распределению функций (и, следовательно, выделению подсистем) это критерий случайный. Но именно поэтому в материальной культуре содержатся части разных подсистем культуры, и задача реконструкции социокультурной системы по материальным остаткам трудна, но не безнадежна.

Как раз на этой реконструкции социокультурных систем прошлого, их конкретного функционирования и их изменения во времени – словом, на реконструкции событий культурно-исторического процесса *кончается компетенция археологии*. Уже саму эту реконструкцию археология самостоятельно не может осуществить, она лишь предоставляет для этого подготовленные ею сведения (Клейн 1977б). Эти сведения присоединяются к сведениям, поступившим от других наук, – лингвистики, топонимики, этнографии, фольклористики, палеоантропологии, палеонтологии, если возможно, также от письменного источниковедения, нумизматики и проч., – проработавших по отдельности каждая свою категорию источников. В каждой категории источников получается как бы неполное отображение системы в особом ракурсе, в разных категориях – с разных сторон. Синтез всех этих сведений и должен привести к реконструкции культурно-исторического процесса. С этой операции начинается компетенция собственно истории (включая преисторию, протоистирию и вообще палеоистирию). Далее историческое исследование

выявляет причинно-следственные связи событий, группируя их вокруг ведущих закономерностей культурно-исторического процесса, а историческая социология абстрагирует законы этого процесса (как социологии — законы функционирования социокультурной системы).

Именно к социокультурным общностям как органическим системам применим системный подход. С его помощью можно объяснить возникновение и превращение социокультурных систем, их устойчивость и спазматическую изменчивость, их прогрессирование и гибель. Правда, и здесь нужно избежать ту абсолютизацию системного подхода, к которой склонна Новая Археология. С его помощью невозможно объяснить не всякую смену культур, а только некоторые. Во-первых, такую, при которой — даже если начальным стимулом и послужил внешний толчок или вклад со стороны — общее изменение культуры приняло вид преобразования на месте со скачкообразным повышением уровня. Во-вторых, такую, при которой новая культура воссоздавалась на месте распавшейся из обломков прежней культуры (или прежних культур).

В арсенале системного подхода имеются также средства для синтеза информации из разных источников, поступающей от разных наук, то есть для реконструкции целостной структуры органической системы по ее несовпадающим и неполным отображениям с разных сторон. Для решения этой задачи советский теоретик В.А. Лефевр выдвинул идею *конфигуратора*: уже в исходной точке исследования строится модель изучаемой системы, дающая обоснование трактовке разных отображений этой системы как "срезов" ее в разных плоскостях сечения (Лефевр 1969).

Итак, нет в археологическом материале органических систем, долг и сложен путь к ним от него, завершает сей путь уже не археология, а другая наука. Следовательно, *настоящему системному подходу в самой археологии места нет.*

В работах последних лет Новой Археологии ее лидеры Д. Кларк и Л. Бинфорд стали приближаться к осмыслению этого решающего несоответствия археологических систем живым культурным системам прошлого. Кларк в наиболее шумевшей из своих предсмертных публикаций поставил вопрос о необходимости теории, которая бы изучала закономерности реализации событий в материальных следах и закономерности превращения предметов материальной культуры в археологические остатки (Clarke 1973). Но уповая на познаваемость этих закономерностей, он полагал, что учтя их, мы внесем всю необходимую коррекцию в системный анализ. Бинфорд разочаровался в возможности свести к регулярным схемам человеческое социокультурное поведение и сохранил такие надежды только относительно биологических и экологических аспектов жизни людей. Соответственно он стал ограничивать возможности непосредственного приложения системного анализа только к этим данным археологической информации, да и то лишь с учетом всех искажений археологизации и всех необходимых поправок (Binford 1977b). Выявлению таких систематических искажений для выработки методики коррекции и

была возможна сборная работ его учеников (Beafield 1977a). Всё же мысль об историчности археологических источников и проблема синтеза их информации с данными других видов источников оставалась чужды Новой Археологии. Она все еще хотела оставаться "системой археологии".

И всё же вопрос о воздействии системного подхода на развитие методики археологического исследования не может быть закрыт этой негативной констатацией.

Во-первых, релевантность системного подхода для палеоистории (преистория, археистория, древней и раннеисторической истории) удерживает его в сфере интересов археологии. Ведь в представлении ряда научных школ нет разделения на археологию и палеоисторию — они составляют одну науку, именуемую в одной кругу "археологией", в другой — "преисторией" (об этом см.: Rouse 1972; Кларк 1991а; Клерк 1995b). И даже в тех случаях, когда возникает функциональная общность и ограниченность археологии, ее отдельность от палеоистории, всё же на практике той или другой знакомятся чаще всего одни и те же лица. Так что если системный подход и выводится из компетенции археологии, он не выбывает из сферы интересов археологии.

Во-вторых, хоть археологические общности — не органические системы, но они в какой-то мере причастны органическим системам. Ведь это порождение организмальной систем, — то есть, по сути, — могли переломить в археологические системы. Поэтому если в целом системный подход и не применим к археологическим общностям, то его принципы по отдельности могут оказаться пригодными и плодотворными. И надо рассмотреть эти возможности.

7. Принципы системного подхода

1. Принцип целостности. Если вспомнить из обобщающих представлений о системных подходах, сложившихся у советских философов (Блауберг, Садоевский и Юдин 1976; Блауберг и Юдин 1974), то прежде всего для системного подхода характерна принцип целостности. Описание элементов и выявление отдельных связей между ними перестает быть самоцелью — непременно учитывается место тех и других в системе. Нельзя сказать, учитываются и те свойства элементов и их связей, которые порождаются характеристиками целого и вне целого не могут быть ни выявлены, ни поняты. Этот принцип в археологии нередко излагается как принцип целостности, а под целостностью частью принимается попросту целостность — пребывание частей все элементы и все связи. Это упрощение. Суть принципа — в поиске тех свойств и характеристик, которые налагаются на все элементы и на все связи системы, в которую они включены.

Принцип целостности в археологии могут быть весьма многообразны. Достаточно вспомнить по крайней мере *(terminus post quem)* считалась предельно точности. Сейчас мы можем строить археологические системы, в кото-

рых из-за взаимоналожения диапазонов и множественности связей типы и комплексы получают более узкие датирующие значения, чем по отдельности (Щукин 1967; 1970). В определении этнической принадлежности погребенных в курганах IX-XI вв. одним вещам (оружию) придавалось меньшее значение, другим (фибулам, гривнам с подвесками-амулетами) – большее, элементам обряда – еще большее, но принадлежность каждого погребения обсуждалась отдельно, индивидуально.

Сейчас мы стараемся разделять всю совокупность погребений этого времени на крупные серии по всей совокупности признаков и этническую принадлежность каждой такой серии определять в целом по сложению сигналов – как дифференциальных, то есть проявляющихся в отдельных погребениях, так и интегральных, то есть действительных лишь для всей серии в целом (например, сравнение ареала с топонимикой, указаниями письменных источников и т.п.). При этом получают определение и такие комплексы, которые четких индивидуальных сигналов вообще не содержат (Клейн, Лебедев и Назаренко 1970: 232-238; Булкин 1970). И так далее.

Есть одно очень современное явление в археологии, которое явно противостоит этому принципу. Я имею в виду упование на всемогущество и спасительность естественнонаучных методов в решении кардинальных археологических проблем. В основе этого упования – увлечение успехами естественных наук и техники, бурное внедрение их достижений в археологию, с одной стороны, а с другой – неверие в собственные методы археологии, обществоведческие и гуманитарные по своей природе, кризис доверия. По мнению ряда археологов, археология должна попросту стать естественной наукой, работать едва ли не только естественнонаучными методами, освоив их, сделав своими (Колчин 1965: рис. 1; 1970: 38-39). Что ж, часть конкретных задач археологии несомненно отойдет скоро к лабораторным (хронология, источники сырья, технология).

Однако попытки разложить все археологические проблемы на составные части так, чтобы свести их к задачам, решаемым естественнонаучными методами, – есть разновидность редукционизма (Клейн 1969б; 1970), забвение специфики интегративных проблем археологии, игнорирование принципа целостности.

С другой стороны, реакция археологов (обычно старшего поколения) на редукционизм часто сводится к полному отрицанию плодотворности анализа, приложимости естественнонаучных и математических методов в археологии. Целостность приравнивается к бесплотной гуманитарности, редукционный путь исследования полностью отвергается (Hawkes 1968; ср. Agrawal 1970). Эти исследователи забывают, что крупнейшие успехи современной биологии были добыты все-таки на редукционном пути, точнее на том его ответвлении, которое не ограничивается разложением сложного на простейшие элементы, а исследует их интеграцию и то новое, что в этой интеграции возникает (Энгельгардт 1970а, б, в). Для археологии это означает исследовать с предварительной разбивкой на элементы и формали-

зашей процессы сложения и перестройки ее главных систем – культур. Ведущий аспект здесь проблема происхождения свойств целого из свойств элементов (культур – из взаимодействия культур, типов, вискультурных факторов и т.п.) и проблема порождения характеристик элементов свойствами целого. Вероятно, правильно было бы, дополнив принцип целостности *принципом редукции*, соединить их в единый *принцип интеграции*.

2. Принцип контекстности. Второй важный принцип системного подхода заключается в *контекстности*. Философы формулируют его так: исследование системы неотделимо от исследования условий ее существования. В искаженных и зауженных вариантах этот принцип пропагандируется адептами экологизма и контекстного направления.

В контекстном направлении этот принцип легко доводится до абсурда, до подрыва основ науки. Если все выводы действительны только для каждого конкретного контекста, то наука невозможна. В моем понимании суть принципа заключается в том, чтобы, не отказываясь от обобщений, изучать каждую систему – в археологии, например, каждую культуру – без отрыва от тех других систем, с которыми она связана – культур, экономики, экологии и т.п. Это значит: все время иметь в виду возможность объяснения ее изменений и судеб воздействиями этой среды, не замыкать исследование рамки данной системы или данной категории систем. В археологии – это уже традиция, хотя в советском прошлом на применение этого принципа и налагались некоторые излишние ограничения (на исследование воздействия других культур, например). Может быть, лучше говорить не о принципе контекстности, а о *принципе конкретности*.

3. Принцип многоаспектности. Третий принцип системного подхода – *многоаспектность*: один и тот же материал обладает разными характеристиками, параметрами, функциями и принципами строения, в зависимости от того, под каким углом зрения ведется рассмотрение. Конечно, это соответствует философскому принципу *р е л я т и в и з м а* – принцип, абсолютизация которого в ряде течений западной науки XX в. приводила к утрате определяющих критериев и ценностей, к уравниванию всех аспектов и ракурсов рассмотрения, к произвольности выбора. Чтобы обосновать выбор, упорядочить и соподчинить аспекты, их надо прежде всего совместить. Системный подход претендует на всеобщность охвата аспектов, на учет всех возможных углов зрения, на их неразделенность и совмещение в одном обзоре.

Немало труда в археологии затрачено на отыскание способов провести универсальную наилучшую или даже единственно правильную классификацию археологического материала – *каноническую классификацию* (Клейн 1979в; 1991а: 42–47, 102–105). Теперь в нескольких школах археологии, включая Новую Археологию, осознана зависимость критериев и способов классификации от характера материала и от исследовательской задачи (Brew 1946; Hill and Evans 1972). Выделение *аналитической (координатной) классификации* (Rouse 1960) впервые представи-

до формальную возможность многоаспектного рассмотрения материала — правда, только на низшем уровне, учитывая только эмпирически наблюдаемые физические свойства вещей, без учета культурных значений. Чтобы достичь совмещения разных аспектов в таксономической классификации, с оценкой культурных значений, потребовались классификация классификаций (Dunnell 1971; Клейн 1979в).

Конечно, это еще не гарантирует реализации принципа многоаспектности в этом деле. Проблема остается трудной. Возможно, что иерархическое совмещение многих аспектов вообще недостижимо на уровне статистических систем, то есть отражений. В мультивариантной методике Бинфорда этот принцип реализуется в плане уравнения всех возможных параметров и функций (Binford and Binford 1966). К тому же призывают пропагандисты нумерической таксономии (Culberg 1968; 1970; Clarke 1968: 512-546). Схожим образом рассматривает взаимодействие разных факторов в культурном процессе Колин Ренфру (Renfrew 1969c; 1970a). Однако при таком понимании игнорируется структурность системы.

4. Принцип структурности. А структурность — это тоже принцип системного подхода, и очень важный, она связана с функциональностью элементов и частей. Рассматривать культуру как систему в современном понимании — значит различать ее элементы по их позиции в структурной иерархии культуры. Зависимость функций элементов от их элементов позиций в системе была главной идеей В.Я. Проппа (1928; 1946).

В представлениях Дэвида Кларка всё решается количеством элементов, у других исследователей также внутренними качественными потенциями элементов. Но взглянем на некоторые примеры. Европейское платье, оружие и обычай проникали в Россию и до Петра I; это оружие и тогда было прогрессивнее русского, а парик и позже не имел природных преимуществ перед собственными волосами. Личное увлечение Петра ими не сказалось бы на всей стране, если бы он не был царем. Импорт фибул к населению бассейна Оки середины I тыс. н.э. оказался безрезультатным: фибулы были восприняты как украшения, из них, сломав иглы, сделали ожерелье, которое добавилось к прежним украшениям. Те же фибулы, попав к населению более южных областей, были восприняты как застежки, в этой позиции и функции они дали начало местным сериям фибул и несколько изменили общий облик одежды.

Вес инновации зависит не только от ее количественной и собственной качественной характеристики, но и от позиции изменяющегося элемента внутри культуры. От этого зависит, останется ли культура в общем той же самой, включив в себя эту инновацию, или инновация поведет к общему изменению всей культуры.

В терминологии системного подхода это выражается в механизме управления. В узком понимании — это специальные элементы и функции, аппарат кодирования, передачи и расшифровки организующей информации. В широком понимании — это также устойчивая взаимозависимость иерархическая соподчиненность subsystem и их элементов внутри системы.

В археологии долго шел спор о возможностях опознавания миграций по археологическому материалу. На роль диагностических признаков выдвигались то одни, то другие виды фактов, но оказывалось, что каждого из них недостаточно: в археологической литературе возникли и таяли фиктивные миграции. Тогда перешли к спискам признаков, но этот критерий оказался завышенным — он устранил даже такие миграции, в которых история уверена. Если же учесть, что есть разные типы миграций, с разной структурой и разным составом следов, то приходится заключить, что сам по себе ни один из выдвигавшихся прежде признаков не говорит о миграции, точно также, как “недобор” в списке признаков не служит ее опровержением. Тот или иной признак говорит о миграции некоего рода лишь в особом сочетании с определенными другими признаками в их системе, заняв определенное место в ее структуре (Клейн 1973а).

Примерно так же обстоит дело с проблемой этнического определения археологических культур (см., Кнабе 1959; Каменецкий 1970; Клейн 1970а; Klejn 1974b). Вначале были в моде отдельные элементы культуры как “этнические показатели” — спор шел о том, который из них надежнее: погребальный обряд или керамическая орнаментация, наборы кремневых орудий или устройство жилищ. Затем перешли к “комплексному критерию”. Но и он дискредитирован рядом ошибочных этнических определений и этнографическими опровержениями (Монгайт 1967; Клейн 1969а). И получается, что этническое значение признака зависит от структуры ситуации: один и тот же элемент культуры в одних условиях сигнализирует об определенном этносе или об этнической преемственности, в других — о другом этносе, в третьих — этнически бесцветен (Клейн 1970: 43-45).

Чайлд хорошо показал, к каким важным следствиям ведет введение меди и бронзы в систему культуры каменного века (Childe 1930: 1-12). Весьма сомнительно, чтобы с этим могло сравниться введение мотива спирали в орнаментуку данной культуры. Мюллер-Карпе высказал интересную мысль о связи введения керамики с важной перестройкой психики первобытного человека — появлением заботы о накоплении запасов и, соответственно, планированием хозяйства (Müller-Karpe 1970: 13-14, 19).

Но у этой психической перестройки нет других корней, кроме воздействия новых экономических возможностей (не только введение керамики, но и появление значительных излишков от новых, более производительных способов хозяйствования — недаром керамика появляется практически одновременно с широким введением скотоводства и земледелия. Этот пример поясняет, почему Чайлд и другие марксистские археологи признают ведущую роль за производственным фактором в изменении системы культуры и сознания. Конечно, на деле для освоения новых орудий и хозяйственных навыков требовалось и психическое совершенствование, и биологическое развитие. В конце концов и марксистские археологи стали обращать больше внимания на значение условий, в которых действовал этот фактор, и на многое другое: на влияние других экономических факторов (например, торговли), на роль географической среды, на обратное воздействие политических и идео-

логических надстроек, на сложность и опосредованность связей в системе культуры, но примат производственного фактора в марксистских убеждениях оставался не поколеблен, по крайней мере теоретически.

5. Принцип имманентности развития. Этот принцип, издавна прокламируемый в марксизме (развитие как результат борьбы внутренних противоречий), признается теперь одним из важнейших и системном подходе. Он заключается в признании наших основных объектов *самоорганизующимися системами*. Это означает, что источник основных преобразований предполагается в самой системе. Имеются в виду не всякие преобразования, а те, которые поднимают систему на более высокий уровень интеграции (скачком). Это процессы появления качественно новых состояний: неолита, цивилизации, звериного стиля, военной демократии, города и т.п. Скажем, зародыши всех компонентов специфики неолита мы находим в предшествующем состоянии каменного века.

Если мы рассматриваем их всех только в статике и предполагаем сугубо количественное накопление, остающееся всегда одним и тем же, возможным, то мы вынуждены искать стимул для их интеграции только вне системы. Принципом диалектики является видеть в динамике развития нормальное состояние, поскольку она покоится в борьбе внутренних противоречий. Это, конечно, привычная фразеология марксизма, но диалектическое мышление свойственно не только марксистам. В работах Ренфру о теории катастроф применительно к культурам (Renfrew 1978; Renfrew and Cook 1979) – те же попытки уловить пределы, за которыми количественный рост порождает катастрофу – качественный перелом. Археологи учатся прослеживать траектории культуры (говоря словами Дэвида Кларка) и рассматривать количественное накопление как дискретное, как имеющее определенные априорные пределы. За такими пределами количественные накопления порождают качественные сдвиги – скачки, катастрофы. В такой картине признание внешних стимулов возможно и мыслимо, но не необходимо (совершенно противоположный взгляд на это был выдвинут симпозиумом приверженцев Бинфорда – Hill 1971: 407-408).

При этом имеются в виду палеолит, мезолит, неолит и т.д. не как самостоятельные системы, а как выборочные характеристики давних органических систем – культур прошлого, выделенные по принципу их фиксируемости в археологических остатках. В настоящее время среди археологов наблюдается тенденция приписать и этим археологическим общностям статус органических систем, включив в них в о д н ы е характеристики, непосредственно в археологических материалах не фиксируемые. Однако это по сути выводит такие общности из числа археологических – лишает их необходимой определенности и смысла (Klejn 1972b). Нельзя упускать из виду, что системы археологические и пренесторические не однотипны, что процессы преобразования проходили не в археологических, а в более широких (и иных по природе) системах. Принцип имманентности источника относится, собственно, к ним, а к археологическим системам – лишь некоторые особо благоприятные возможности его фиксации, связанные с причастностью источника

к производительным силам и, следовательно, с материальностью его характерных частей.

Вероятно, этими пятью принципами не исчерпывается характеристика системного подхода, но для целей данного анализа этого достаточно. В рамках археологии системный подход при таком его переосмыслении выступает не как цельная и строгая методологическая система, а лишь как пучок эвристических ориентиров, оглядок и оговорок.

Они тем больше соединяются в согласованно работающее целое, чем ближе к историческому синтезу.

Скажем, в построении культурно осмысленной типологии можно добиться совместного действия принципов целостности (интеграции), контекстности и структурности. Немало усилий затрачено в археологии на попытки восстановить типы древней культуры путем корреляции простейших эмпирически наблюдаемых элементов археологического материала (аналитически выделенных физических свойств) или путем проецирования на археологический материал готовых типологических образов и этнографии. Эта жесткая альтернатива редуccionистского и органицистского подходов завела в тупик, выход из которого намечается на пути системного подхода с его принципом интеграции. Только структурные позиции артефактов в конкретной древней культуре – и соответственно контексты археологической культуры – позволяют оценить вес признаков и выявить культурно значащие типы. Следовательно, определяющим путем археологической типологии должно быть выделение и расчленение археологических культур, выявление их структурных схем. Вместо того, чтобы трясти крошево элементов, пока они не собьются в комки или загонять эту массу в формочки, перенесенные из этнографии, мы, так сказать, протравливаем культуры и таким путем выводим из них типы (Клейн 1979в; 1991а).

Вот как сказывается совместное действие принципов целостности (интеграции), контекстности, многоаспектности и структурности в оценке значения археологического факта при его исторической интерпретации, то есть на выходе из археологии.

8. Закон, факт и система. Чтобы объяснить общность многих результатов (ср. эквивиальность Бергаланфи), повторяемость в истории, мы должны предположить наличие ряда закономерностей, а это значит *детерминированность* процессов преобразования археологических систем.

Раньше было принято (и еще недавно казалось обязательным для марксистского археолога) искать в наших материалах проявление однозначной механической детерминации, постулировать жесткую каузальную связь явлений – без альтернативных возможностей. Такой фатализм исторической необходимости утверждал неизбежность происшедшего и оправдывал пассивное ожидание грядущего. Этот

принципи распространялся и на трактовку самого культурно-исторического процесса (одно время это было характерно для Г. Чайлда) и на трактовку превращения идей и событий этого процесса в материальные предметы, а тех – в археологические остатки (на этом долго настаивала – и сейчас еще старается сохранить это хотя бы частично – Новая Археология). Отсюда вытекало убеждение в моносемантизме археологического факта: каждый археологический факт мог иметь одно и только одно правильное объяснение, два “одинаковых” факта должны иметь одно и то же объяснение. В результате этого упрощения рождались известные “археологические штампы” (например: богатые погребения = погребения богатых).

Сейчас на Западе стало модным отрицать всякую детерминацию, верить в обусловленность всех событий лишь свободной волей индивидов, провозглашать уникальность всякого археологического явления – соответственно археологический факт получает бесконечное множество возможных значений, то есть становится *асемантическим*.

Здоровой серединой будет признание многозначной детерминации культурных процессов, с участием случайности, с наличием исторических альтернатив и прихотей культуры (например, “капризы моды”), с ограниченной свободой выбора, с уподоблением закона реке, у которой есть поток и направление, а у русла есть ширина и берега (Klejn 1970b). Тогда *археологический факт полисемантичен*: за одним фактом может скрываться одно из нескольких значений, количество их ограничено, и задача археолога состоит в отыскании специфических косвенных опознавательных деталей для выбора интерпретации. Для этого нужно поставить факт в новые ситуации (то есть отыскать соответствующие аналогии) и рассмотреть его в разных контекстах, в системах. Так, у нас есть возможность установить, в каких случаях богатство погребения обязано казуистике первобытной идеологии (например, погребение детей, по Хойслеру – Häusler 1968), а в каких – богатству погребенного (например, когда есть корреляция с инсигниями власти, умножение комплектов и т.п. – Klejn 1967; Binford 1971; Renfrew 1973a). Несмотря на усложнение связей, включение факта в систему не увеличивает полисемантизм факта, а уменьшает. Чем сложнее система, тем меньше количество возможных значений каждого факта.

Правда, на первый взгляд, тем труднее понять механизм устройства всей системы и выявить законы его действия. Но и это не так, если двигаться от характерных для археолога систем вторичного периода – неполных статических отражений, пусть и сравнительно простых – через более сложные условно динамические системы к очень сложным, но ценным и живым органичным социокультурным системам прошлого. Генеральная линия археологического исследования – это не путь системного подхода, а скорее путь к системному подходу.

9. Системно-деятельностный подход и археология. Нужно рассмотреть еще одну инициативу по внедрению разновидности системного подхода в архео-

логию. Эта попытка предпринята иркутскими-археологами палеолитчиками Е.М. Инешиним и А.В. Тетенькиным. Они избрали самый дискуссионный вариант системного подхода – *системно-деятельностный подход* Г.П. Щедровицкого. Щедровицкий – ярко талантливый философ, один из зачинателей системного подхода в СССР, истовый проповедник новой методологии, призванной обеспечить открытия во всех науках. Непризнанный в СССР, зато в постсоветской философской мысли он посмертно стал одним из властителей дум. Он оказал большое влияние на многих адептов системного подхода и в разных науках на молодых исследователей, жаждущих произвести переворот, но не имеющих для него конкретных поводов.

Учение Щедровицкого называют “последним проектом модерна” или “философией авангарда”. Он перенес фокус дискурса с объектов науки и с отношений между исследователем и объектом на *деятельность*, охватывающую объекты и исследователя, а логику исследования включил в “мыследеятельность”. Щедровицкий любил мыслить парадоксами и метафорами, развивал свои идеи на высших уровнях абстракции, и конкретизировать их чрезвычайно трудно.

Я был знаком с Георгием Петровичем Щедровицким, посещал его занятия в летней школе биологов, с симпатией относился к его новаторству, но приложения его идей к моим занятиям найти не мог.

Инешин и Тетенькин попытались это сделать. Они исходят из того, что

“все предметы материального мира даны нам через нашу деятельность и их определенность как «предметов» обусловлена характером человеческой социальной деятельности, детерминирующей как формы материальной организации мира, так и формы человеческого сознания ... (ссылка на Щедровицкого). А всё, что принято называть «вещами», «свойствами», «отношениями», – лишь временные «сгустки», создаваемые человеческой деятельностью на базе захваченного и ассимилированного материала”.

Этому подходу авторы вслед за Щедровицким противопоставляют “натуралистический подход”.

“Натуралистический же подход и онтология, – продолжают они, – полагают, что человеку противостоят независимые от деятельности объекты природы, как таковые они вступают в те или иные отношения с человеком, взаимодействуют с ним, влияют на него и благодаря этим взаимодействиям и влияниям, через них, даны человеку. Деятельность авторы понимают не как поведение отдельного человека, а как «безличностную, универсальную целостность».

Отсюда и вытекают различия в нашем понимании онтологического статуса археологического источника, его места и операционных методик. Не источник нам дан, а исследователь создает его...” (Инешин и Тетенькин 1998: 5).

Пафос этого противопоставления мне не очень понятен. Воздействие человека на природу и исследователя на объект исследования давно признано и учиты-

вается в неопозитивистской философии науки. О роли активности исследователя и извлечении информации из источника я много писал в "Археологических источниках" (1978), хотя, конечно, до идеи, что исследователь создает его, я не доходил.

"Онтологический статус" источника (рис. 22) мне интересен в очень малой степени, коль скоро я не философ, а археолог. Гораздо больше мне интересны познавательные подходы к источнику – гносеологические или, как на Западе говорят, эпистемологические. При чем не абстрактные, а вполне конкретные.

Онтологический статус своих объектов Инешин и Тетенькин раскрывают так:

"Образование единой полиструктуры системы археологического объекта происходит на основе структурного сопряжения составляющих подсистем, где системообразующим элементом будет артефакт". Вслед за М. Вартофским они считают, что "артефакт является для эволюции культуры тем же, чем ген является для эволюции в биологии. Под термином «артефакт» при этом понимаются все материальные производные деятельности мира, характеризующиеся оппозицией «форма – материал...» (Инешин и Тетенькин 1998: 6).

Мы уже видели, что многие археологические объекты, интересующие археолога, системами, к которым применим системный подход, не являются. С тем артефакт по роли в эволюции сравнивать никак нельзя. Ген передается из поколения в поколение в неизменном виде, в этом смысле он вечен. А артефакт имеет момент создания, время изнашивания и точку выхода из строя, нередко и уничтожения. Тип же артефакта вообще не является вещью, это идеал, который изменяется, эволюционирует и в этом смысле схож с биологическим видом.



Рис. 22. Модель системы археологического объекта (по Инешину и Тетенькину 1998).

Артефакт не стоит понимать в широком философском смысле, он в археологии имеет признанный и устойчивый смысл, узкий и четкий, и нужно во всех археологических рассуждениях придерживаться его. С формулировкой философское, "родовое" понятие артефакта, Инешин и Тетенькина продолжают: "Такое ли восприятие артефакта археологами? Чтобы разобраться, насколько традиционное археологическое понятие артефакта адекватно философскому понятию, нужно ...". Им и в голову не приходит, что археологическое понятие и не должно быть адекватно философскому. С какой стати? Что, философия – наука наук? Это предположение давно устарело.

Авторы создают философскую схему отношений вокруг археологических объектов по категориальным оппозициям: вещь – не вещь, актив – пассив, негатив – позитив (рис. 23). К этим оппозициям они стремятся подтянуть археологические понятия: орудие против объекта обработки, изделие человека против природного объекта, целевое изделие против отбросов производства. Переход артефакта из активного состояния в пассивное и наоборот они называют эффектом "зашнуровывания" (рис. 24).

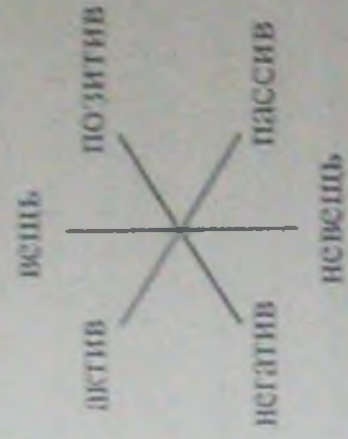


Рис. 23. Категориальные оппозиции вокруг археологических объектов (по Инешину и Тетенькину 1998).

Они часто высказывают здравые мысли – о том, что не всякий археологический объект – артефакт, что археолог прежде всего имеет дело с остатками (добавлю и следами) и т.д. вплоть до конкретных приемов анализа расщепления кремня, прослеживания сколов в рефиттинге (апликация) и т.п. (Инешин и Тетенькина 1995). Они уверены, что на эти мысли их навело ознакомление с идеями Щедровицкого. Возможно. Индивидуальные способности озарений очень прихотливы и разнообразны. Но к тем же мыслям можно было прийти и без обращения к этим идеям. И многие другие приходили к этим мыслям без Щедровицкого. И обосновывать их этими идеями незачем.

На мой взгляд, наложение философских концепций на археологию только запутывает выявление и описание археологических объектов и конкретных отношений между ними, переводит обсуждение на философский язык, не приспособленный к описанию археологических понятий. Это не плодотворно.

В западной науке тоже есть увлечение понятием "agency" – "деятельность" и столь же неплодотворное. Но там это увлечение не выходит за рамки теоретической археологии, где еще может сойти за контакт с философией. Ссылки на некую абстрактную "деятельность" – это ведь в частной науке не объяснение, а уход от объяснения.

Но, может быть, кому-то моя критика покажется чрезмерной, и кто-то увидит резон в этом философствовании – что ж, я даю ссылки на работы Инешина и Тетенькина (см. также 2003; 2008), можно всё оценить самостоятельно.

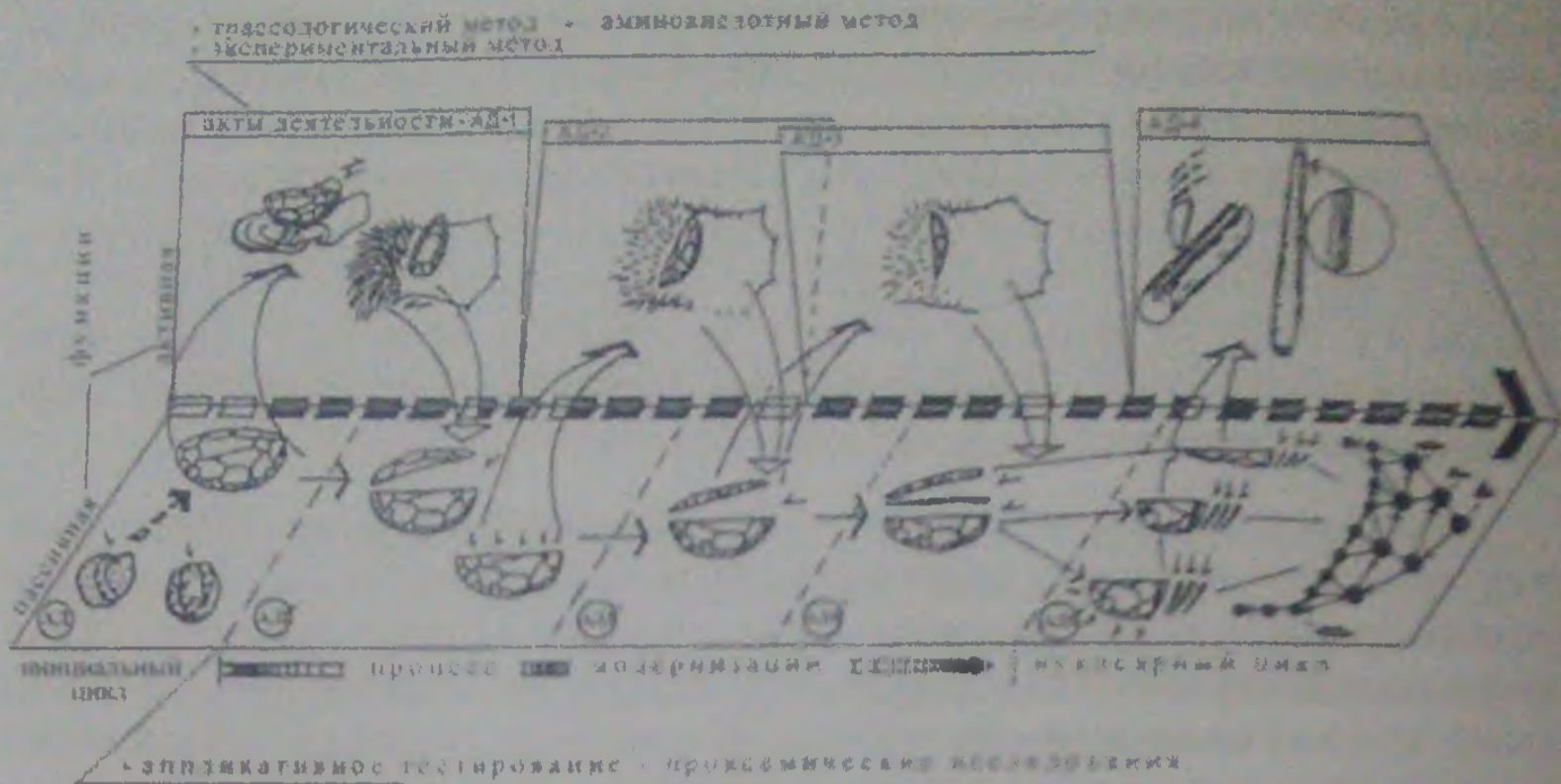


Рис. 24. Схема процесса развертывания пассивной и активной оппозиций артефакта и механизма "зашнуровывания" (по Инешину и Тетенькину 1995).

В отличной публикации Инешина и Тетенькина (2010) местонахождения Большой Якорь I Байкальской Сибири есть глава "Деятельностные ситуации комплексов 3А – 9-го культурных горизонтов" – интересная глава, в ней идет речь об активности обитателей стоянки в разных природных условиях разных эпох, но при чем здесь "системно-деятельностный подход"? В том же духе рассматривали свои материалы Грэйем Кларк, МакНиш и Бинфорд и Флэннери, не обращаясь к философским концепциям этого подхода.

Глава 4. Модели в археологии

1. Модели в науке. “Не приходится отрицать моду на модели, – отметил Д. Кларк, – особенно в примитивных дисциплинах, образующих ряд промежуточных форм между искусством и наукой” (Clarke 1972: 1). В этот ряд он включил и археологию. Ряд составляют науки, нацеленные на изучение чрезвычайно сложных систем и поэтому не имеющие простой, объективной и точной методики с однозначными результатами. Но в числе этих наук состоит (и по многим проблемам лидирует) кибернетика, которую “примитивной” вряд ли правомерно называть. По справедливому замечанию Кларка, важно не столько то, что модели стали модными, сколько почему они стали модными – и не только в “примитивных дисциплинах”, как ставит вопрос Кларк, но вообще в науке.

Не просто модное словечко введено в науку для освежения старых процедур. Модель трактуют и понимают по-разному, поясняя разными синонимами, а то и подменяя их этим термином. Тут и *аналогия*, и *гипотеза*, и *схема*, и *макет*, и *имитация*, и *тип* и т.д. В одной работе приведен список 30 синонимов и 9 антонимов *модели* (Чжао Юаньжень 1965). Нередко этот термин и тот или иной из его синонимов действительно взаимозаменяемы без ущерба для понимания и без различия для операций. Но такое широкое понимание снимает новизну, делает понятие бессодержательным и лишь смазывает различия между разнородными проблемами, подходами и методиками, что, возможно, и в самом деле характерно для отраслей несколько “недоразвитых”. А вот в тех ситуациях, где сей термин незаменим, где его применение специфично и связано с новыми задачами и новой методикой,

“модель выступает как некий реальный или идеальный объект, преимущественно системный, с четкой структурой и контролируемым поведением, как раз по ним схожий с другим, интересующим нас объектом, и изучаемый вместо него потому, что тот слишком сложен или недоступен” (Штофф 1963, 1966; Глинский и др., 1965; Новик 1965; Новик и Уемов 1968).

Есть много видов моделей – вещественные и знаковые, изоморфные, масштабные и наглядные и т.д. (Новик и Уемов 1968; Полляк 1970; Harré 1970; Вартофский 1988), но все они заслуживают названия модели в строгом смысле только при условии, что удовлетворяют приведенному определению. *Модель* есть модель, лишь если она достаточно схожа с *прототипом* (интересующим нас объектом) в существенном для нас отношении, но в то же время проще; понятнее, доступнее его. Модель – служебное средство; она замещает прототип, как натурщица – героиню картины, и точно так же не может заменить вполне и во всех отношениях. Именно изучение невероятных систем со скрытыми закономерностями, ставшее необходимым к середине XX века – в мировой экономике и политике, в военном деле и электронной технике, в экологии и нейробиологии, поставило перед современной методологией вопрос о моделях. Естественно, что

эта гносеологическая мотивация связывает понятие модель с системным подходом (Полляк 1970; Гнеденко и др. 1971) и выдвигает на передний план не описательные модели, а концептуальные, не упорядочивающие, а конструктивные, не статические, а динамические (Арманд 1972).

Из этой методологической функции модели вытекают ее основные характеристики. Модель работает не только в исследовании: она служит в обучении (увеличивает наглядность), в прикладных дисциплинах (технически облегчает расчеты) и т.п., но когда она выполняет эвристическую функцию, задача моделирования – открыть новое в неизученном объекте (*прототипе*) с помощью изученного (*модели*). Для этого, конечно, модель должна обладать сходством в существенных чертах с прототипом – сходством в структуре (*изоморфизм*) или в поведении (*изофункционализм*) прежде всего. Именно эти параметры данной модели должны быть *о ч е в и д н ы* или хорошо *к о н т р о л и р у е м ы*, а сведений об этих параметрах прототипа должно *н е х в а т а т ь* – иначе в чем будет *п л о д о т в о р н о с т ь* моделирования?

Ограниченность сходства, переносимость некоторой части знаний, общность ее для модели и прототипа означают, что в любом случае – идет ли речь о реальной, вещественной модели или о мысленной модели, выраженной в знаковой системе, – всегда налицо идеальная, теоретическая конструкция, только в первом случае – как часть, как идеальный каркас реальной модели, а во втором – в чистом виде. Ввиду того, что сходство доступной модели с недоступным объектом проблематично (коль скоро он плохо наблюдаем), а существенность сходства со скрытой или необозримой по сложности структурой не поддается уверенной оценке, модель при всей своей реальности или четкости всегда *г и п о т е т и ч н а* в своей роли модели. А это значит, что результаты моделирования (приложимость знания о модели к прототипу, правомерность переноса знания) должны быть доступны проверке. Модель, соответственно ее функции и наличию сходств и несходств с прототипом, всегда упрощает, схематизирует изучаемое явление; устраняет частности, игнорирует многие стороны изучаемого явления – кроме той, что подлежит данному моделированию. Но так как модель игнорирует все стороны прототипа, кроме этой одной, модель неизбежно остается односторонней, а чтобы добиться как можно более полного понимания прототипа, нужно изучать его с разных сторон с помощью многих моделей, дополняющих друг друга (рис. 25), – это *п р и н ц и п* *в з а и м о д о п о л н и т е л ь н о с т и*, или *к о м п л е м е н т а р н о с т и*.

Эта серия характеристик обеспечивает моделям положение незаменимых и эвристически сильных инструментов в познании объектов, наиболее трудных и важных для современной науки, но эта же серия характеристик налагает и существенные ограничения на работу с моделями. В операциях с моделями главное – выбор подходящей модели, а также условия и правила переноса полученного знания на прототип – проверка самостоятельности моделирования и выявление границ моделируемого аспекта в системе, являющейся прототипом. Эти ограничения трудно определить, они подвержены нечаянным сдвигам и легко ускользают

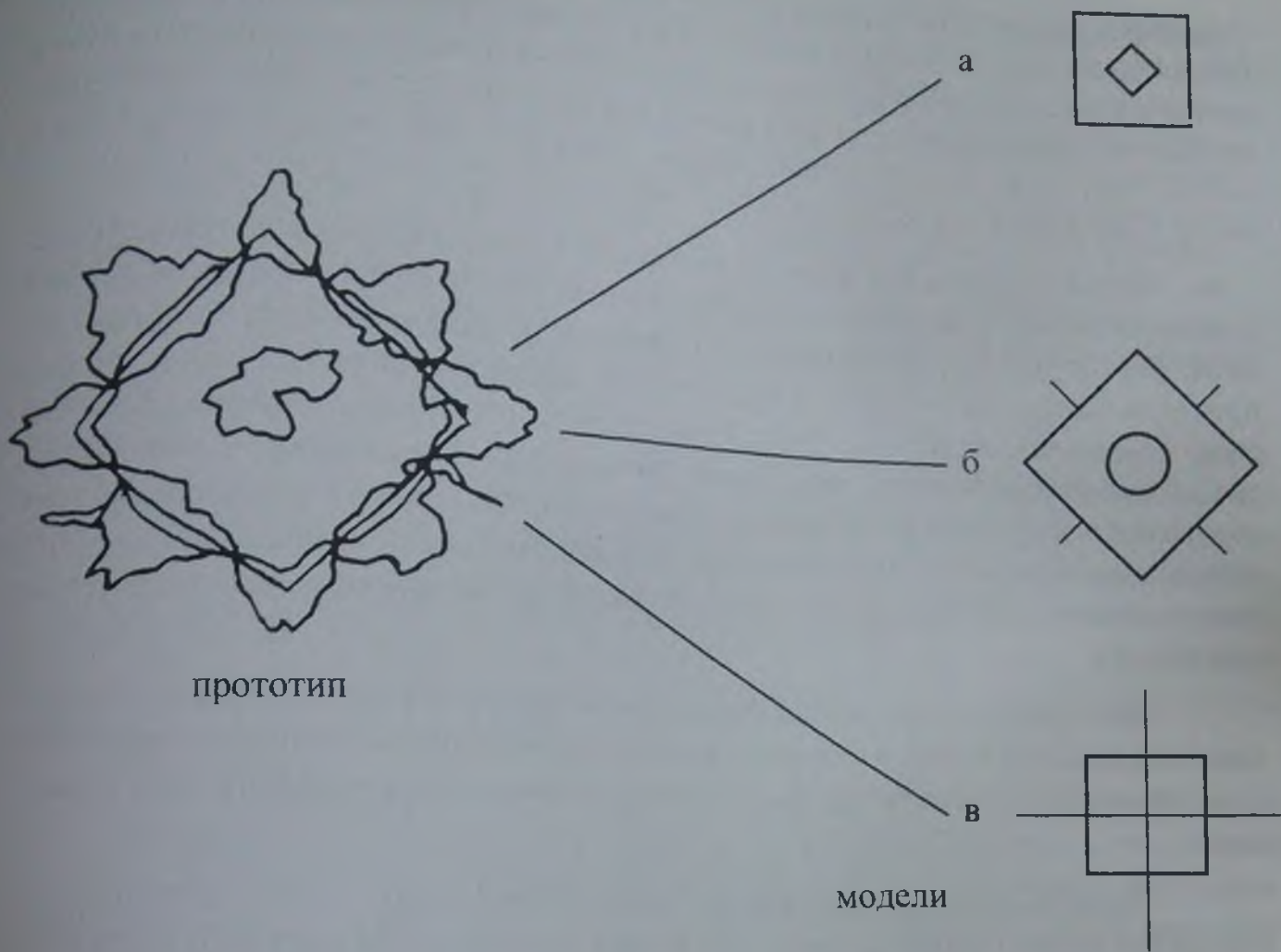


Рис. 25. Прототип и модели (схема Л. Клейна).

вовсе при недостаточной методологической подготовке исследователей. Это ведет к ошибочным выводам и к ложному благополучию, к самообольщению и успокоенности в решении ответственных научных задач. С полным основанием Кларк напоминает, что модели, эти модные инструменты, могут стать и часто становятся “опасными игрушками”. “Модель, – пишет американский культур-антрополог Сервис, – существует потому, что подобно соусу, хороша на вкус для многих; но, также подобно соусу, она обычно покрывает нечто совсем не столь хорошее” (Service 1969: 79).

Что же оказывается под понятием “модель” в археологии вообще и в Новой Археологии в частности?

2. Модели в традиционной археологии. В Новой Археологии понятие “модель”, разумеется, получило огромное распространение – два очень влиятельных и объемных сборника работ Новой Археологии имеют это слово в названии:

“Модели в археологии” (Clarke 1972) и “Модели в преистории” (Renfrew 1973b), более сорока статей – тоже (в том числе все статьи первого сборника), целая серия статей и разделов в книгах или статьях специально посвящена методологическим проблемам применения моделей в Новой Археологии (Renfrew 1968; 1969a, 1969b; Clarke 1968: 32-40, 441-451; 1972b; Trigger 1968: 4-5; 1969; Sapire, 1972; Hole 1973: 38-32; Gardin 1974; ср. Klejn 1973: 705-707).

Однако вся эта эпидемия вспыхивает с 1968 г., а первые годы своего существования Новая Археология обходилась если не без этого понятия, то, по крайней мере, без его четкого осознания и без термина. В ранних работах Бинфорда мы просто не найдем этого слова. Даже в 1967 г., обсуждая “анalogии”, он не пользуется словом *модели* (Binford 1967). Между тем в археологии оно уже за десятилетие до того употреблялось – вне Новой Археологии. По-видимому, именно этим и объясняется медлительность Новой Археологии и задержка в освоении ею этого термина для целей системного подхода: термин был уже осмыслен по-иному другими школами археологов – у *модели* уже были другие функции, другие занятия в археологии.

Зная генетическое родство моделирования с системным подходом, не приходится удивляться тому, что в археологии понятие “модель” вошло одновременно с системным подходом, но так получилось, что они вошли не вместе, а по отдельности.

Принято считать, что понятие “модель” ввел в археологию один из лидеров скептического направления в британской археологии Стюарт Пиготт в 1959 г. (Atkinson 1968: 83; Renfrew 1968: 132). Но чуть раньше, в 1957 г., мы находим это слово в книге другого британского археолога – Грэйема Кларка, возглавлявшего другое направление в археологии: *энвайронментализм*. Энвайронменталисты считали изменение природной среды движущей силой развития общества. С их точки зрения, согласуемой с *функционализмом* культурной антропологии, социокультурная система обычно сбалансирована, обладает механизмами, гарантирующими ее устойчивость и адаптацию к среде, и нормально функционирует, но сама по себе не развивается. Для этого нужны внешние стимулы, толчки извне. Они и поступают в конечном счете из природной среды. Культуру эти ученые рассматривают как систему средств адаптации человеческого общества к природной среде. Каждая часть культуры получает смысл и значение лишь при учете ее функции во всей системе, при ее оценке с позиций целостного представления о культуре и ее связи со средой. На базе этого направления широко развернулись экологические исследования в археологии и было подготовлено восприятие системного подхода.

Между тем в археологическом материале нет целостной и всесторонней картины социокультурной системы – материал скуп, односторонен, фрагментирован, разрознен и перемешан. Археологу предстоит выявить в нем остатки некой организованности, а затем “интерпретировать свои данные в терминах социальной истории”. По Г. Кларку, ученый

“может надеяться сделать это с каким-то успехом, только если у него есть ясная идея о том, как функционируют общества... Он как бы в положении палеонтолога, пытающегося реконструировать жизнь сложного организма по немногим сохранившимся ископаемым: его единственная надежда – понять принципы, по которым формируются члены этого организма... Если описательная этнография часто предлагает плодотворные параллели, определяет проблемы для исследования и помогает преисторику подойти к его данным без ограничений его собственного опыта в городском обществе середины двадцатого века, то социальная антропология – вот наука, которая демонстрирует, как общества функционируют, и которая предоставляет ему (преисторику) теоретическую модель” (разрядка моя – Л.К.), способную послужить основной реконструкции (Clark 1957: 169-174).

Говоря о возможности получить от социальной антропологии доброкачественную, то есть во многом верную, “теоретическую модель”, Кларк имел в виду эвристическую силу этого инструмента исследования и его способность идеализации, абстрагирования, выделения главного (теоретического каркаса), возможность открыть и понять механизм функционирования и взаимодействия частей системы, недоступной непосредственному наблюдению. Он явно исходил из возможности надежной проверки, способной обеспечить достаточную достоверность результатов.

Нетрудно заметить, что Кларк использовал термин *модель* в полном соответствии с установившимся в ряде наук современным пониманием, хотя и, может быть, в несколько зауженном смысле (“этнографические параллели” у него моделями не названы). Но Кларк воспользовался термином *модель* подхода, мимоходом, и больше к этому понятию не возвращался.

Пиготт обратился к понятию “модель” ненамного позже (Piggott, 1958: 78), но придал ему специальную методологическую функцию в археологии, разработал соответствующую его характеристику и затем применял это понятие систематически (Piggott 1959: 5-7; 1961: 11-12; 1965: 5-8; также Neustupný 1967). У Пиготта применение этого понятия получило особый оттенок.

Если Кларк подразумевал возможность верной теории в основе модели, то Пиготт берет слово *верная* в кавычки, а к слову *теория* добавляет как синоним *гипотеза*. Это, по мысли Пиготта, и есть то, что выдвигает исследователь, когда,

“если говорить научным языком, он строит модель – мысленное создание, выражающее (возможно, в математической формуле) отношения и структуры, которые лучше всего соответствуют сделанным наблюдениям. Модель окажется «верной», поскольку она удовлетворительно соответствует явлениям, но вы можете обладать одновременно более чем одной моделью, и все будут «верными», ... хотя некоторые, возможно, и придется снять или радикально изменить...” (Piggott 1960: 3).

Пиготт перечисляет такие модели в том порядке, в котором они входили в первобытную археологию (“преисторию”):

- теологическая,
- расовая (или этническая),
- лингвистическая,
- технологическая (связанная с “теорией простой эволюции”)...

Некоторые он сходу отвергает, например, “этническую” или “лингвистическую” (Piggott 1960: 7). Модель, каркасом которой являются ступени технологического процесса принимается, но ее, по Пиготту, нельзя считать превосходящей другие модели. Дело не только в том, что они все условны, односторонни, взаимодополнительны, а “общей теории” вообще построить нельзя (Piggott 1960: 6). Дело еще и в том, что Пиготт абсолютизирует гипотетичность модели, сомневаясь в возможности ее надежной проверки средствами археологии. Как проверить технологическую модель? Ведь неизвестно, ценили ли технологический прогресс так, как мы, те народы, к которым мы эту модель прилагаем. То есть для Пиготта критерий состоятельности модели в археологии – не ее соответствие нашим потребностям знания и нашим знаниям, а ее подчинение первобытному видению мира.

“В некотором смысле, – пишет Пиготт, – бронзовый век никогда не существовал в прошлом. Это образчик археологического жаргона на манер стенографии, если угодно...” (Piggott 1960: 5). Если так расценивается объективность наших суждений о том, что весомо и зримо, то что уж говорить о менее очевидных и более древних объектах! “А насчет этого сорта археологических материалов мы должны сознаться с полной откровенностью, что информация, которую мы можем из них извлечь, узко ограничена... Раз идеи и убеждения не отражены или не содержатся в этом сорте материалов, мы должны признать этот факт и осудить себя на открытие информации, которую они могут на деле дать” (Piggott 1960: 12).

Пиготт делает оговорку: “вы не можете обнаружить этот сорт вещей, если будете пользоваться археологическим материалом самим по себе”, но тут же добавляет: “а очень часто это то, что вам и приходится делать за отсутствием каких-либо других дедукций” (Piggott 1960: 6). К тому же он настойчиво утверждает: “археология – это единственная техника для выполнения преисторического прошлого” (Piggott 1960: 4). Эта мысль так нравится ему, что он повторяет ее неоднократно на протяжении всей книги (Piggott 1960: X, 76, 90, 128). А ведь из этой мысли вытекает с логической необходимостью: если “этот сорт вещей” нельзя обнаружить в археологии, то они и вообще недостижимы.

Зачем же тогда строить модели? Для удобной и сугубо временной организации материала, позволяющей рассматривать его то под одним, то под другим углом зрения. Пиготт, собственно, и не предлагает строить или искать модели для открытия нового в материале, не анализирует ни их возможности, ни причины и условия их плодотворности, ни даже их необходимость. Он просто аттестует в качестве моделей сменявшие друг друга или добавляющиеся друг к другу в археологии объяснительные концепции, чтобы подчеркнуть их односторонность и ги-

потетичность. Пиготт использовал термин *модель* для обозначения *общих подходов* к объяснению или типы логических структур объяснения, чтобы подчеркнуть *стереотипность* конкретной реализации каждого такого подхода для данного времени. Для него, по одной модели – значит: по одному шаблону (Piggott 1959: 1-6; также Neustupný 1967).

Вот какую форму и какой смысл Пиготт придал концепции моделей.

Он имел предшественников и союзников в британской, да и не только в британской, археологии. В своем историографическом труде Дэниел представил теоретические концепции всех главных предшествующих направлений и школ как условные и односторонние схемы (Daniel 1950). Только до Пиготта он называл их не “моделями”, а по старинке: *интерпретациями, теориями, картинками, взглядами (views), подходами (approaches)* (Daniel 1962), а чуть позже – *идеями преистории* (Daniel 1962). Теперь и он называет их *моделями* (Daniel 1971). По сути, для Дэниела это просто стереотипы мышления, *клише*, поочередно становившиеся модными или даже общепринятыми в археологии. Констатируя, что они отнюдь не вытекают из материала, знания фактов и т.п., Дэниел подвергает сомнению их плодотворность. Он рассматривает смену ведущих идей в преистории и археологии как случайную – без логики и смысла – последовательность абсолютизации и просто ошибок. Каждая из этих концепций постулировала закономерную связь материальной культуры с теми или иными аспектами живой социокультурной системы или природной среды, предпочитая ту или иную категорию этнографических параллелей (энвайронменталисты – местные, миграционисты – расово родственные, “теория стадиальности” – синстадиальные и т.д.) или социологических генерализаций.

Но, по убеждениям Дэниела,

“между материальными и нематериальными аспектами культуры нет совпадения. Да и впрямь, с какой стати ему быть? А коль скоро уж мы признаем это, то явно бесполезно ожидать, что моральная и мыслительная культура современных примитивных [народностей], находящихся в том или предположительно том же состоянии материальной культуры, что и некоторые преисторические примитивные [народности], дала нам реальный или верный ключ к моральной и мыслительной культуре преисторического общества. Если этнография не поможет нам в реконструировании всей картины преисторических обществ, то к чему же нам обратиться?” (Daniel 1962: 130).

Предпринятая Дэниелом критика всех “моделей” должна была подвести читателя к отказу от новых попыток – к тому, что получило кличку “нулевой модели” (Neustupný 1967; Tabaczyński 1969). Конечно, это “модель” – тоже односторонняя абсолютизация: она абсолютизирует реальную сложность познания и действительную ограниченность археологических источников (Klejn 1977: 4-6; Клейн 1975; 2011б).

Итак, два подхода к применению понятия “модель” в археологии – позитивный и негативный. У обоих есть нечто общее, что отличает от принятого в

естественных науках: археологи трактуют понятие модели очень узко – только как идеальную конструкцию, заимствованную из другой науки, и притом конструкцию очень обширную, обобщающую. В этом сказалось осознание ущербности и фрагментированности археологического материала. Археологи остро почувствовали ограниченность своей науки, поняли нужду археологии в привнесении объяснительной и системообразующей информации извне. Понятие “модель” и привлекло их внимание в этом плане, и соответствующие аспекты понятия “модель” были абсолютизированы. При этом негативный вариант трактовки оказался гораздо более пропагандируемым и заметным, чем позитивный.

3. Модели в Новой Археологии. Раз уж Новая Археология исходит из априорного постулирования сложности изучаемых объектов и стремится к уподоблению естественным наукам по строгости исследования, ей просто необходимо понятие модели – и именно в том виде, в котором этот инструмент исследования применяется в естественных науках. С другой стороны, присущий Новой Археологии культ самостоятельности археологии и характерный для Новой же Археологии гносеологический оптимизм (уверенность в познаваемости археологического материала) должны были отвлечь ее от той модификации “модели”, которая успела прижиться в археологии. Вот почему Новая Археология первые годы сторонилась этого понятия.

У Бинфорда термин *модель* впервые появляется в 1968 г., проходя без аффектации – в контексте конкретного исследования. Он задался целью “построить модели различных типов популяционных систем для разных условий” (Binford 1968c: 328). Описав возможные отношения в таких системах, он делает следующий шаг: “Соответственно нашей модели мы ожидали бы обнаружить...” (Ibid.: 334). И поясняет: “Если предложенная модель – не просто логическое упражнение, а имеет ценность сверх и помимо того, то она должна быть проверена формулированием гипотез и сбором данных” (Ibid.: 335). Это оставлено задачей на будущее.

Декларация и определение “модели” у него следуют только через несколько лет: “Мы всегда вносим в наши наблюдения некоторые ожидания в виде «моделей» природы. Они являются нашими частными мысленными картами того, что собой представляет природа и чего мы можем от нее ожидать” (Binford 1972b: 109).

Это очень близко к тому, как понимает модели Г. Кларк, и не так уж далеко от того, как их понимают Дэниел и Пиготт (различие, скорее, в оценке, чем в представлении о структуре).

Ренфру (Renfrew 1968) первым подметил, что в археологии с легкой руки Пиготта, термин *модель* используется как подмена термина *теория* (почему – он оставил без внимания), и что эти излишества только вносят неясность, тогда как в естественных науках термин *модель* имеет точное и особое значение. Поясняя это

значение, он привел меткую характеристику Брейзуэйта: применение моделей основано на мышлении по принципу “как если бы” (*as-if thinking*). Ренфру правильно поставил вопрос о необходимости археологам перейти к более точному пользованию понятием модели и о желательности присоединиться к пониманию этого термина, общепринятому у натуралистов (добавлю: и советских философов). Но Ренфру не заметил, что ни понимание Пиготта, ни его собственное не соответствуют этому.

В археологии, по мнению Ренфру, термин *модель* может иметь два полезных значения:

- 1) нормативная подоснова исследовательских трактовок, обычно неосознанная самим исследователем – напр., экологическая, демографическая или диффузионистская;
- 2) схема (*pattern*), по которой можно приложить к материалу математические формулы.

Второе значение – более точное, первое – более интересное. Все эти модели часто более влиятельны, чем факты, а многие споры о теориях есть на деле споры о моделях.

Таким образом, Ренфру вслед за Дэниелом (Daniel 1964) обозначил термин *модели общие концепции*, крупные объяснительные гипотезы, прилагаемые к рядам однотипных (или не очень однотипных) явлений. Имелось в виду подчеркнуть относительность и зыбкость этих концепций (это всего лишь модели – в смысле: *искусственные схемы, умственные конструкции*). Ренфру предлагает еще одно значение: любая *математическая формула*, аппроксимирующая тот или иной реальный ряд измерений взаимосвязанных величин. Это модель в духе Эшби. Помогает ли она понять систему? Нет, она помогает лишь адекватно описать связь ее внешних характеристик. Выражает ли она мышление по принципу “как если бы”? В очень слабой мере: ограничившись ею, мы поступаем, как если бы более сложные внутренние связи этих характеристик, скрытые в системе, не существовали. Но они существуют!

В защиту привившегося в археология значения выступил Триггер (Trigger 1969). Понятие это кажется ему нужным не столько для открытия нового в материале, сколько для анализа исследовательского мышления и выявления ошибок. Главная опасность, как указывает Триггер, – не столько сами модели, сколько то, что основанные на них реконструкции остаются жить и после того, как эти модели получили отставку. Как отмечает Триггер, чтобы осознавать, какие предположения лежат в подоснове наших реконструкций, надо систематически обследовать предшествующие интерпретации данного материала и историю археологических интерпретаций вообще. По мнению Триггера, напрасно Ренфру старается отличить теории от моделей; незачем идентифицировать термин *модель* со средствами реконструкции частных событий – только широкая концепция заслуживает быть обозначенной как модель.

В своем ответе ему Ренфру (Renfrew 1969) заявляет, что Триггер, подобно Пиготту, разбирает “схемные модели” (*framework models*) и ограничивается ими, тогда как они не есть модели в собственном смысле, по нормам методологии естественных наук; следует же ввести в археологию “аналоговые модели” (*analogue-models, as-if models*), разновидности которых и рассмотрены, дескать, в статье Ренфру.

Но так ли это? Первая разновидность моделей Ренфру, по сути, отличается лишь нюансами от прежнего археологического понимания – от “моделей” Г. Кларка и Пиготта, от “теории”. У него это тоже широкая объяснительная гипотеза, общая для ряда явлений. Пиготт лишь выдвигал на передний план логическую структуру объяснения, а Ренфру – содержательную сторону объяснения. Вторая разновидность моделей Ренфру вообще вряд ли может заслуживать название “аналоговой модели”. Математические модели могут сохранять статус модели в физике – когда механизм взаимосвязи некоторых величин или явлений наглядно не представить, а математическая формула позволяет связать эти величины логически ясными математическими зависимостями по известным законам и правилам. Тогда, чтобы понять эти связи и предсказать результат, достаточно изучить эту математическую модель – вместо реальности, как если бы это и была вся реальность. В археологии же обычно математические формулы есть простое усреднение уже полученных результатов измерения археологических материалов в соответствии с изучаемыми и наглядно представленными зависимостями параметров. Формула не переносится на материал и не открывает в нем новое, а извлекается из него.

В обеих разновидностях моделей Ренфру не выражено мышление по принципу “как если бы”.

Д. Кларк, в сущности, тоже принимает толкование Пиготта-Дэниела, трактуя схему “трех веков” Томсена как первую археологическую модель (Clarke 1968: 11), но он сильно расширяет это понятие:

“В сущности, модели – это гипотезы или наборы гипотез, которые упрощают сложные наблюдения тем, что предлагают чрезвычайно строгую предсказательную систему, структурирующую эти наблюдения – полезно отделяющую шум от информации. Что считать шумом, а что информацией – полностью зависит от рамок модели” (Clarke 1968: 32).

Кларк согласен с мнением, что наши генерализации всегда формируются на “мысленных моделях” (*imaginary models, mind-models*), построенных так, чтобы быть картинкой реальности (Clarke 1968: 32). Он принимает идею о смене трех уровней моделирования с развитием науки – от изобразительных моделей (*iconic models* – карты, диаграммы и т.п.) через аналоговые модели (*analogue models* – исторические или этнографо-антропологические параллели) к символическим моделям (*symbolic models*, или *calculus* – математические формулы). В настоящее время “большой частью археологические модели являются простыми ситуацион-

ными аналогиями, основанными на истории и антропологии, или простыми изобразительными документами” (Clarke 1968: 33-34, 445).

Вводя тут же свои три “общие модели или схемы” (*general models* или *frameworks*), Кларк не оговаривает, к которому из трех уровней они относятся. Да их затруднительно отнести к любому из них: первая – “модель археологической процедуры” – нормирует ход археологического исследования; вторая – “модель археологических общностей” – постулирует характер распределения сходств и различий, присущий культурному материалу; третья – “модель археологических процессов” – рассматривает археологические общности как отображения живых систем, развивающихся и взаимодействовавших между собой и с природной средой по определенным законам. Первая “модель” не имеет ничего общего с мышлением по принципу “как если бы” (*as-if-thinking*), вторая – образует переход от изобразительной модели (см. схему на рис.3 в книге Кларка) к матрице для расчета, минуя аналоговую модель (хотя в ее обосновании и залегают мысленные ссылки на распределения в живой культуре), а третья – представляет собой общую методологическую концепцию – системный подход (в глубинной основе которой, правда, таится идея общности структуры и поведения ряда естественных и культурных систем).

В своей “Аналитической археологии” (Clarke 1968) Кларк употребляет термин “модель” как равнозначный с терминами *схема* (page 10), *гипотеза* (p. 11), *взгляды* (p. 15), *представление* (p. 45) и т.д. В одном месте он использует и чисто “аналоговую” трактовку – когда говорит о возможности сравнивать культуру с машиной или суперорганизмом или галактикой (Clarke 1968: 39). Но это у него лишь эпизод. Любые схемы, гипотезы, теории и т.п. для него – модели.

Исходя из этого представления, он и формировал сборник “Модели в археологии” (Clarke 1972). И вот, несмотря на то, что в сборнике участвуют только приверженцы Новой Археологии (это коллектив единомышленников) и что слово *модель* присутствует в названии каждой из 26 статей, впечатление тематической концентрированности обманчиво. Следом за составителем авторы практически обозначают словом *модель* не только широкое понятие (“схема”), но и более узкие понятия, однако очень разные: “структура”, “гипотеза”, “аналогия”, “тип”, “вариант” и др. Нечто общее всё же есть. В сборнике богато представлены теоретические разработки и примеры применения методов корректной идеализации археологических явлений (точнее – представленных в археологическом материале явлений культурно-исторического процесса). Это методы обоснованной группировки археологического материала, методы выявления, отбора, отображения и плодотворной интерпретации связей, имеющих в археологическом материале. Термином *модель* Кларк обозначает разные возможности построения таких идеализированных построений в археологии.

Свои представления о моделях Кларк развивает во вводной статье и сборнике (Clarke 1972b). “Обычно модели, – определил он, – это идеализированные

представления наблюдений; они структурны, они избирательны, они упрощают, они выделяют поле интересов и они дают частично точную предсказательную схему” (Clarke 1972b: 2). И дальше: “...модель есть не что иное, как упрощенное, формализованное и скелетное выражение теории” (Clarke 1972b: 3).

Д. Кларк (Clarke 1968: 32-40) и Триггер (Trigger 1969) не сумели отделить использование моделей для науковедческого (метаархеологического) *объяснения деятельности археолога* от иного применения моделей – в деятельности археолога для *объяснения археологического материала*. Кларк довел до предела традицию археологов придавать статус модели их идеальным конструкциям – “теориям”, “гипотезам”, “схемам”, “взглядам”, “концепциям”. Но сразу же обнаружилась и неплодотворность такого представления. В рамках гносеологии, в метанаучном анализе это имеет некоторый смысл – показать отделенность от непосредственных данных и вытекающие отсюда опасности. Но что дает такое отождествление для археологии? Чем более широким и всеобъемлющим мы сделаем научное понятие, тем меньше окажется его приложимость к конкретным исследованиям, не говоря уже о ненужности тавтологий.

Вот Кларк и оказался вынужденным разделить в 1972 г. все модели на два вида – контролирующие (*controlling models*) и операционные (*operational models*). Первые и представляют собой “взгляды”, “теории” и т.п., они коренятся в философии археолога, ограничивают его выбор операционных моделей и определяют его поведение за работой (Clarke 1972b: 5). Более того, Кларк даже признает, что собственно “многие авторитеты даже не стали бы распространять употребление термина *модель* на контролирующий набор философских ограничений” (Clarke 1972: 10). “Операционные же модели – это экспериментальные аналогии или гипотезы, выведенные из них, которые археолог сопоставляет с выборкой из археологической действительности, чтобы проверить доброкачественность связей между гипотезой и выборкой” (Clarke 1972b: 10). Это и есть модели в собственном смысле – такие же, как в естествознании.

Поскольку их можно различать и группировать по разным основаниям – материалу, отрасли, цели и т.д. (Clarke 1972: 11), свою древовидную классификацию операционных моделей археологии (Clarke 1972b, fig. 1.2, p. 12) Кларк представляет как одну из многих возможных. Он делит эти модели на *искусственные* (*artificial*) и *реальные, готовые* (*real-world*). Первые делит на *вещественные* (*hardware*) и *абстрактные*, в которые входят *изобразительные* (*iconic*), *математические* и *системные*. Готовые делит на *абстрактные* (структурные аналогии) и *вещественные* (анalogии по материалу).

Его перечень примеров богат и интересен, стимулирует мышление и поиски. Но два положения и в новой трактовке у Кларка остаются весьма слабыми. Во-первых, это его недооценка философии: Кларк рассматривает ее воздействие на исследователя только как налагаемые ею “ограничения”. Между тем философия не только ограничивает выбор, но и ориентирует исследователя, выверяет и

обогащает его методический арсенал и расширяет его кругозор – многое, конечно, зависит от того, какая эта философия. Во-вторых, Кларк в своем списке уравнивает по значению и применимости весьма разнородные модели. Близость условий, сходство уровня интеграции, генетическое родство и т.п. для него не имеют существенного значения. Он даже предпочитает модели, взятые из мира природы, культурным моделям: первые легче формализовать и представить в математической форме (Clarke 1972b: 42). Такое безразличие (или предпочтение) противоречит самому принципу моделирования и основным его требованиям.

4. Виды моделей в археологии. По-видимому, возможности применения моделей в археологии действительно столь же широки, как и в других науках, и все виды моделей, все примеры моделей, приводимые Кларком, могут быть полезны (с соответствующими ограничениями). Но если задаться целью выделить виды моделей, имеющие наибольшее значение для археологии, учитывая ее специфику, то в сортировке надо исходить из целевой применимости моделей.

Эта идея привела меня к иной классификационной схеме моделей в археологии (рис. 26) и иному распределению оценок (Klejn 1973a: 705-707).

(I) Рассмотрим модели первого рода – упрощающие. Дэвид Кларк установил соответствие многих археологических ситуаций “Очень Большому Черному Ящику” (по Эшби), в котором есть место для очень сложного механизма. С точки зрения Эшби и Кларка, единственный выход – в том, чтобы, собрав в ящике разрозненные части этого механизма до или после его функционирования, попытаться ощупью построить из них модель, желательно *изоморфную* этому механизму и, во всяком случае, действующую как он. Изоморфную – значит: с повторением структуры и основного состава, подетально. Кларк отмечает, однако, что у целостного механизма появляются свойства, которых не было у элементов – они зависят от вида интеграции. Он признает, что из одних и тех же элементов можно собрать механизм с разными свойствами. Однако он лишь констатирует эту трудность, но решения не дает.

Чтобы обеспечить понимание необычайно сложных механизмов в исследуемых древних системах, мы отыскиваем или строим более простые модели этих механизмов, учитывая лишь некоторые важнейшие свойства этих механизмов. Это модели первого рода – упрощающие. Они могут быть нескольких разновидностей.

(а) Одна возможность – построить *гомоморфную* модель, действующую в интересующем нас аспекте как заданная система. Гомоморфную – значит: повторяющую лишь какой-то общий аспект оригинала, лишь его интегральные качества, его поведение, но не структуру и состав. Гомоморфная модель имитирует прототип лишь в общем и целом, но не подетально. Так, чтобы понять преобразование сарматской культуры Причерноморья под воздействием римско-эллинской культу-

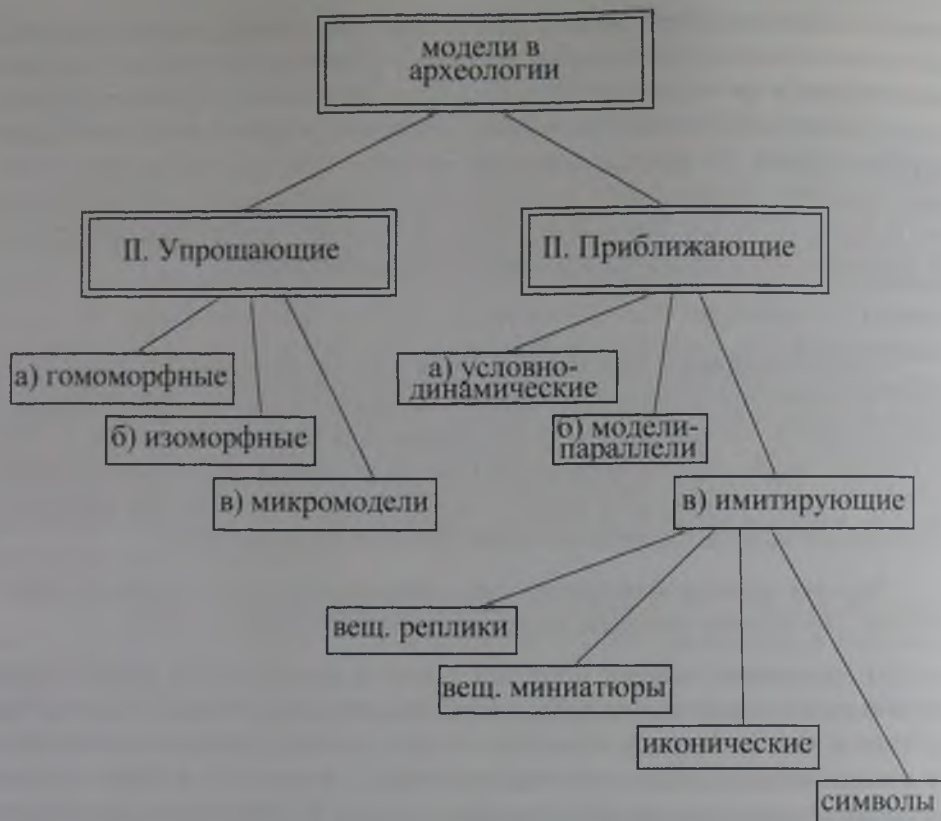


Рис. 26. Модели в археологии (классификация) по Л. Клейну.

ры, мы можем представить результат в виде механического агрегата или раствора одной жидкости в другой или в виде сплава двух металлов (с новыми свойствами) или в виде гибрида (с сочетанием старых и новых свойств) и т.п. Всё это будут гомоморфные модели скрещивания культур. Именно такие модели обычно сближают явления культуры с явлениями отдаленных сфер – физическими, химическими и т.п. Они очень нравятся Д. Кларку. В самом деле, они очень наглядны и легко поддаются математическому выражению. Но они же и наиболее опасны, ибо связывают явления культуры с очень чужеродными аналогиями, совпадающими лишь в очень узком диапазоне. Отсутствие изоморфности лишает надежности расчет, подтачивает предсказательную силу модели и не позволяет разумно вносить изменения для проверки.

(b) Другая возможность – воспроизвести заданную систему *изоморфно*, то есть с копированием структуры, подетально, как человек повторяет обезьяну-примата: схожая рука, схожая нога, лицо с параллельно смотрящими глазами, отсутствие хвоста. Беда однако в том, что как раз сложные системы с неизвестным меха-

низмом воспроизвести изоморфно не удастся, или степень изоморфности оказывается очень небольшой. Грубо приближенная изоморфность по сути не отличается от гомоморфности. Как, скажем, воспроизвести изоморфно скрещенье культур? Такие модели были бы хороши, но в данной ситуации нереальны.

(с) Еще одна возможность – отыскать среди элементов интересующего нас механизма такие, в которых важнейшие интересующие нас интегральные процессы и свойства отобразились в микровоплощении, как жизнь в клетке. Это значит, последовательно расчлняя сложную систему на все более дробные части, дойти до такого наименьшего ее элемента, в котором еще не вполне утрачиваются ее интегральные свойства, а затем, изучив его, распространить в некоторых аспектах полученные данные на всю систему. Так, в комплексе так называемого Новочеркасского клада (курган Хохлач) есть золотые нашивные бляшки местной сарматской работы, имитирующие украшение римского импортного аска – из этого же комплекса, а другие бляшки оттуда же являются модификацией первых. Это показывает, как сарматские мастера осваивали и трансформировали заносные мотивы, и может служить как бы *клеточной* моделью более сложных процессов скрещенья культур. Ввиду того, что фрагментированность материалов входит в специфику археологии, клеточные модели заслуживают большего внимания археологов и специальной разработки. Их слабость, однако, в том, что они относятся лишь к материальной культуре и моделируют лишь некоторые аспекты и процессы живой культуры в целом.

Таковы модели первого рода.

(II) Модели второго рода – приближающие – призваны облегчать понимание тех процессов и структур, которые недоступны для прямого изучения. В археологии эти модели имеют особое значение в связи с тем, что археологические культуры являются лишь сохранившимися мертвыми частями или отображениями действовавших некогда культурных систем. Остальные части этих систем не сохранились и поэтому недоступны непосредственному изучению. Они скрыты, как подводные части айсбергов.

Дэвид Кларк установил соответствие этой археологической проблемы задаче изучения “Неполностью Наблюдаемого Черного Ящика” Эшби. На самом деле картина еще сложнее, так как на результатах наблюдения сказывается еще и факторы, никакого отношения к данному “Ящику” вообще не имеющие, – постдепозиционные нарушения, изученность местности и т.п. В общем, до нас доходят лишь некоторые куски древней системы и части ее отображений, да еще с искажениями. Здесь также несколько возможностей моделирования:

(а) Возможность исходить из представления о том, что полученные фрагменты – не просто части *статической системы*, но и представители *условно динамической системы*. Предлагаемый Кларком (Clarke 1968: 61) поиск других (предшествующих и последующих) состояний той же системы, с определением ее траектории и траектории ее частей, означает, по сути, использование этих состо-

яний системы как диахронических проекций изучаемого моментального среза, с экстра- и интерполяционными поправками, т.е. как *траекторных* моделей заданного состояния. Большой частью, однако, эти модельные состояния тоже наблюдаемы лишь во фрагментах. Пробелы разных фаз не всегда взаимно компенсируются. Кроме того, приходится вспомнить и о том, что и в самих *состояниях-моделях* аннулированы искажения, наложенные на результаты деятельности древних систем. Выявление и устранение этих искажений – очень трудное дело. Наконец, и эти модели мало выходят за пределы материальной культуры. Таковы недостатки траекторных моделей, не отменяющие, разумеется, их огромного значения для археологии. Археологи пользуются ими чаще всего только неосознанно.

(б) Если же мы признаем, что в организации данной системы проявились закономерности, присущие и организации ряда других систем, то возможности поиска моделей расширяются за счет живых, действующих и более полно наблюдаемых систем. Чтобы установить, какое место в действовавших некогда системах занимали археологические объекты и как выглядели, как были устроены эти системы, мы должны отыскать модели – такие же или как можно более похожие на них системы, с такими же объектами – айсберги, застрявшие на берегу, и изучить их. Это *модели-параллели*. От старого обращения к *этнографическим параллелям* эта новая постановка вопроса отличается главным образом полнотой охвата разновидностей этнографических параллелей и стремлением сопоставлять скорее целые системы, чем отдельные элементы, а также искать критерии правильного сопоставления, ключ к познанию систем. Эти модели при всей их гипотетичности, помогают реконструировать живые социокультурные системы прошлого, а это – главное в археологии. Прежде чем рассмотреть эти модели подробнее, отметим третью возможность.

(в) Третья возможность – *имитировать* заданную систему, воспроизвести ее *изоморфно*. В данной исследовательской ситуации это вполне уместно и реально. Такой моделью может быть *вещественная реплика* (имитация в натуральном масштабе и в том же материале), *вещественная миниатюра* (уменьшенная копия, с соответствующей заменой материалов), воспроизведение в графике (*иконическая модель*) или в знаковой системе (*символическая модель*). Задача таких моделей – симулировать действие исследуемых механизмов. Предполагается, что структура механизма известна или что принципиально возможно всего несколько вариантов такой структуры и что нетрудно их перепробовать для сверки результатов с наблюдениями. Эти модели лежат в основе археологических экспериментов – реальных и мысленных (Jope 1972: 965-968; ср.: Колчин 1965: 18-19; Coles 1968). Получаемые результаты обычно обладают безусловной убедительностью, но моделируемые системы и процессы носят частный характер: в археологической проблематике эти модели приложимы лишь к ограниченным участкам.

Таким образом, этнографические параллели остаются главным видом моделей, применимых в археологии.

Глава 5. Эксперимент в археологии

1. Эксперимент как метод. В жизни мы то и дело испытываем разные вещи, и из этого складывается наш опыт. Каждое такое испытание мы частенько и называем *опыт*. Обычные опыты в быту не имеют такой классической формы, как, скажем, опыты, с которыми нас знакомят в школе на уроках физики. Бытовые опыты не продуманы, не целенаправлены, не имеют строгой фиксации. Приматы проделывают такие опыты испокон веков и закрепляют их результаты условными рефлексами. Методом проб и ошибок осваивали все новое и наши предки – высшие из обезьян (Малинова и Малина 1988: 10; Ingersol et al. 1977). Поднявшись в течение миллионов лет развития на еще более высокую стадию – став человеком, они сохранили и эту активность, но результаты стали закрепляться всё более сложными знаковыми системами, на самых высших стадиях – в системе науки. Научные опыты называются *экспериментами*.

Научный *эксперимент* – это такой исследовательский прием, когда исследователь, испытывая объект, изолирует его ради этого (ради “чистоты эксперимента”) и проводит с ним некие продуманные и контролируемые действия, а затем сравнивает предшествующее состояние с полученным. Есть много книг, посвященных методологическим проблемам этого метода (Dingler 1928; Fischer 1960; Финни 1970; Налимов 1971).

С экспериментом связаны некоторые понятия, которые вкратце можно охарактеризовать здесь: *макет* – имитация исследуемого объекта в ином материале и ином масштабе; *реплика* – повторение объекта столь точное (копия), что оригинал и реплика взаимозаменяемы; *симуляция* – имитация определенного действия или процесса не обязательно в тех же материалах; *тест* – испытание для выбора возможностей, известных заведомо.

Классический эксперимент в таких “науках эксперимента”, как физика или химия, состоит в том, что, проверив на изолированном объекте из числа однородных объектов действие тех или иных факторов, опять же изолированных, исследователь получает четкий ответ на свой вопрос: возможно ли это воздействие таких-то факторов на такой-то объект. Однородные объекты в такой науке взаимозаменяемы. Повторив свой эксперимент с неким достаточно репрезентативным числом однородных объектов в ограниченной ситуации, исследователь вправе методом *индукции* выводить закон. Расширяя разнообразие объектов и ситуаций, он расширяет сферу применимости закона.

Не во всех науках классический эксперимент можно поводить беспрепятственно. В социальных (Siebel 1965; Becker 2011) и частично в биологических науках, например, этому препятствуют три вещи: во-первых, очень часто объекты в них не взаимозаменяемы, потому что исследуются как раз их уникальные свойства (это в гуманитарных науках). Во-вторых, изоляция объектов от среды часто невоз-

можно (в социальных науках) и нередко разрушительна (в биологических науках). В-третьих, нередко по этическим причинам невозможно проводить с подопытными любые действия, нужные для ответа на вопрос. Такие действия могут, например, повлечь за собой смерть подопытного (в социальных науках и медицине) или объект недостижим (бывает в науках о природе).

Поэтому в таких ситуациях проводится *эксперимент модельный* – испытывается не сам объект, а его наиболее приближенная модель, которую можно изолировать и с которой можно делать всё, что угодно. Или *эксперимент мысленный* – всё проделывается только в мыслях (Макаревичус 1971), но при этом, конечно, нужно добиться очень надежного прогнозирования хода эксперимента и результата (поскольку он тоже мысленный) – иначе как приравнять мысленный к реальному? Другая подмена: *квазиэксперимент* или *ex-post-factum-эксперимент* – за эксперимент принимается наблюдение за незапланированным событием, произошедшим в условиях естественных, но максимально близких к тому эксперименту, который хотелось бы провести. Фактически тут вместо эксперимента выступает другой научный прием – *наблюдение*. Разумеется, тут придется учесть различия между этим событием и плановым экспериментом. От этого вида эксперимента трудно отделить *естественный эксперимент*, в котором практически события происходят естественно и действия экспериментатора сводятся к минимуму.

Археология принадлежит к тем наукам, в которых для классического эксперимента почти нет места, и большинство экспериментов являются модельными. Ведь все вещи, назначение которых нужно узнать, оказываются, во-первых, экспонатами, и опыты с ними большей частью недопустимы, так как могут повредить вещи и во всяком случае оставить следы на них. Так что действия нужно производить с аналогами, макетами, копиями, и результаты переносить на оригиналы. Во-вторых, обычно древние вещи представлены фрагментами, да еще часто искаженными, а целые предметы существовали в давние времена и ныне возможны только как реконструкции. Значит, и с этой точки зрения необходимо в археологии работать с моделями, а не с оригиналами.

2. Формирование экспериментальной археологии. Эксперименты с целью выяснить назначение некоторых древностей проделывались издавна, еще когда собственно археологии не было, а отдельные функции будущих археологов выполняли антикварии (это была донаучная стадия археологии). В начале XVIII века один из них, немец А.А. Роде изготовил каменный топор, чтобы доказать, что такие топоры – это изделия человека, а не естественные предметы, образующиеся от удара молнии, как всё еще допускали некоторые его коллеги. Другой немец, его современник Якоб фон Меллен, поручил гончарам рассмотреть технику обработки поверхности выкопанных из земли сосудов, чтобы установить, это изделия человеческих рук или это естественные образования, выросшие в земле наподобие плодов (как считали многие ученые люди ранее). То есть выяснить, могут ли ма-

стера-горшечники изготовить такие же сосуды (мысленный эксперимент). Ответ был положительный.

В начале XIX века один из первых настоящих археологов, датчанин Юрген Томсен, создатель классификации древностей по трем векам – каменному, бронзовому и железному, испытывал найденные в Дании огромные металлические изогнутые рога бронзового века, чтобы доказать, что это музыкальные инструменты, известные по сагам как луры, – извлекал из них трубные звуки. Это был один из немногих случаев классического эксперимента в археологии: испытывалась не модель, а сама древняя вещь.

В 1874 году на археологическом съезде в Копенгагене была продемонстрирована деревянная постройка, срубленная каменными топорами (эксперимент по применению каменных орудий). Противники деления на три века утверждали, что каменный век без металла невозможен: без металлических орудий не просверлить камень и не изготовить проух в каменном топоре. Немец Отто Тишлер со своими сотрудниками доказали в 1870-е годы, что сверление камня можно осуществить и без применения металлических инструментов – достаточно деревянного сверла с подсыпкой песка. Доказал это опять же эксперимент.

Чех Йиндржих Ванкель считал, что найденный в начале 70-х годов в Бычьей скале полый металлический перстень V века до н.э. был отлит, а не выкован. Для проверки он поручил металлургическому заводу в городе Бланско отлить точную копию, что и было сделано. Возможность отливки была доказана.

В 1922 г. на берегах Боденского озера в Швейцарии были восстановлены поселения каменного и бронзового веков, ставшие музеем под открытым небом. В Польше недалеко от Познани было раскопано городище железного века, получившее название Бискупин. Оно возникло ок. 550 г. до н.э. на острове посреди озера и через полтора века подверглось нападению и погибло. Благодаря хорошей сохранности органики в озерном иле часть его была восстановлена почти в первоначальном виде (рис. 27).

С 1936 г. польские археологи стали экспериментировать на этом городище, повторяя хозяйственные процессы древности – рубить деревья, возделывать землю, отливать металлические изделия по технике исследуемого времени, жить в домах той эпохи. А с 1936 года одиннадцать участников эксперимента с оружием того времени попытались на трех лодках повторить штурм крепостной стены. Но трое защитников обратили их в бегство. 10 августа 1956 года польские археологи сожгли в Бискупине деревянный дом, построенный как точная копия раскопанного, и оставили пепелище для археологов будущего, чтобы исследовать, какие от чего остаются следы. В 1962 году в Дании был специально сожжен экспериментальный дом железного века для исследования остатков – это описано Хансом-Оле Хансенем.

В 1955 г. археолог из ГДР Бурхард Брентьес выдвинул гипотезу, что каменные большие топоры в виде сапожной колодки служили наральниками – чем-то



Рис. 27. Реконструированная воротная башня лужицкого (железного века) городища Бискупин, Польша (из Малинова и Малина 1988: 14-15).

вроде лемеха для пахоты. Он закрепил такое орудие на имитации древнего рала и пропахал несколько борозд. Что ж, доказал возможность такого использования и убедился в правоте своей гипотезы.

С 30-х же годов начинаются исследования Сергея Аристарховича Семенова в СССР. Он стал изучать микроследы на первобытных орудиях с помощью бинокулярного микроскопа с целью выяснить ход изготовления орудия и его употребление по характеру износа (изобретя функционально-трасологический метод). Это была типичная методика следователя (Семенов до прихода в археологию работал следователем ЧК). Но для интерпретации следов нужно было путем экспериментов выяснить, какие именно следы оставляют те или иные действия с орудиями из каждого вида материалов – из кремня, менее твердого камня, кости, рога, дерева, металла. И какие следы оставляют на этих орудиях разные виды обрабатываемого материала – мясо, кожа, камень, дерево. Конечно, всё это нужно было продельвать с моделями орудий и обрабатываемых предметов. Таким образом, эксперименты должны были сопровождать исследования Семенова на всем протяжении.

Более того, в 1950-е годы Семенов перешел к экспериментированию и вне функционально-трасологического метода. Под его руководством отправлялись экспедиции на Ангару и в Прибалтику, работали экспедиции в Крыму и Карелии, в Молдавии, где на природе в естественных условиях проверялась эффективность

тех или иных производственных операций и процессов: рубились деревья каменными топорами, строились лодки-долбленки, обрабатывалась сельскохозяйственная продукция. Итоги были сносшибательными: все эти процессы оказались гораздо более эффективными, чем ранее предполагалось. Дерево можно срубить каменными топорами всего в 3-4 раза медленнее, чем металлическими. Вскопать участок земли деревянным колом можно за то же время, что и железной лопатой, но вскопана земля будет хуже.

В 1964 году в Дании Ханс-Оле Хансен построил экспериментальное село в Лейре на месте древнего поселения и заселил его жителями, которые были обязаны пользоваться исключительно древней техникой и древними знаниями (рис. 28-29). Село было окружено полями и пастбищами, на которых пасся скот, максимально доведенный селекцией до древнего вида. В 1971 г. добровольцы из Лейре помогали строить такое же, но средневековое село в Дюппеле на окраине Западного Берлина (рис. 30). Аналогичный проект осуществили в 1977 г. англичане. На средства телевидения они отобрали 12 добровольцев – молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет с тремя малолетними детьми, обучили их древним ремеслам и сельскому хозяйству древнего кельтского характера (пахать, ткать, лепить горшки, коптить мясо, готовить сыры и т.д.), а затем отрезали их от современной цивилизации. Эти добровольцы построили большой круглый дом и стали в нем жить на манер древних кельтов.

Жизнь в этом доме оказалась гораздо труднее, чем это можно представить по оценке отдельных трудовых операций. Не все выдержали. Но с другой стороны, древние люди, привыкая к этой обстановке от рождения, были более адаптированы к этому образу жизни, тренировались смолоду в совершении этих трудовых операций.

В 1976 г. состоялся I Международный конгресс по проблемам экспериментальной археологии, в 1978 – второй, в 1980 – третий, далее они стали регулярными. Можно сказать, что оформление особой отрасли археологии завершилось.

В литературе можно найти, кроме огромного числа публикаций о конкретных экспериментах, также и обобщающие труды по этой отрасли в целом. Первыми ласточками были статьи американца Роберта Эшера и чеха Э. Плейнера (Asher 1961; Pleiner 1961), затем появились книги англичанина Джона Коулза (Coles 1973; 1979); за ними – книги чеха Ярослава Малины (Malina 1980; русское популярное изложение – Малинова и Малина 1988), немецкий сборник (Fansa 1990-1991) и русская книга Павла Владимировича Волкова (2010б; есть и популярное изложение – Волков 2008). Самонавейшие книги (Marshall 2011; Vorlauf 2011) несмотря на всеобъемлющие заголовки носят более частный характер. См. также русские сборники (Экспериментальная 1991; Экспериментально-грасологические 1994).

Для русского читателя, не владеющего иностранными языками, особенно привлекательны две русские книги, к тому же из последних. В популярной книге Малиновой и Малины “Прыжок в прошлое” весьма детально и увлекательно изло-



Рис. 28. Экспериментальное село позднего железного века в Лейре, Дания: интерьер дома (из: Малинова и Малина, 1988: 102-103).

жены многочисленные эксперименты, сгруппированные по отраслям археологии. Но читателю следует иметь в виду, что за строго научным изложением общих проблем археологического эксперимента, как и за библиографией, нужно обратиться к чешскому изданию книги Я. Малины – “Методы эксперимента в археологии”. Что касается книги П.В. Волкова, то это блестяще написанный труд, где собраны и подробно рассмотрены эксперименты в трех сферах: расщепление камня, планиграфия поселений и палеоэкономика. Я не встречал в литературе более доходчиво, полно и ясно изложенного разбора первобытной техники работы с кремнем.

Диссонансом в книге мне кажутся последние главы, где автор, истово верующий человек, пытается убедить читателя в согласии религии с наукой и благотворности религиозных (и даже конкретно православных) убеждений для правильного понимания первобытности. Анекдотичность подобной увязки эволюции с православием особенно ярко выступает в свете убеждения Волкова: “...если мы хотим ставить перед собой достойные нашего времени задачи, то пока только эксперимент способен избавить нас от неизбежной субъективности в оценке получаемого в результате раскопок материала” (2010б: 20). Положим, не только эксперимент, но и он. Скептики же спрашивают, какие эксперименты проверяют и доказывают суще-



Рис. 29. Экспериментальное село позднего железного века в Лейре, Дания, вид с воздуха (из: Малинова и Малина 1988: 220-221).

ствование бога, преимущества православия перед другими религиями, банкротство дарвинизма (Волков возвращается к пониманию Данилевского) и многое другое.

На мой взгляд, религии и суеверия абсолютно равнозначны и никакого соприкосновения с наукой иметь не могут. Я склонен придавать больше веса высказыванию Малиновой и Малины: “В средние века зависимость познания от догм Библии не оставляла места для эксперимента и экспериментирования” (1988: 11) – действительно, как мы видим, эксперименты появились в археологии только в конце XVIII века! Волков же оплакивает XVIII век – век Просвещения. Придерживаться той или иной религии (или никакой) – это сугубо личное дело человека (его субъективный способ достижения психического равновесия), а внедрять свои религиозные убеждения в науку – ну, это приводит только к конфузу.

Впрочем, это лучше обсуждать по поводу другой книги П.В. Волкова – “От Адама до Ноя” (2010а), носящей подзаголовок “Археология для православных”. Книга Волкова об эксперименте, по счастью, отражает редкостное для ученого увлечение только в небольшом привеске. Разве что вдобавок в других местах книги чувствуется особое внимание автора к фактам, говорящим о внезапности по-



Рис. 30. Экспериментальное средневековое село в Дюпеле, Германия: изготовление деревянного рала из дубовой ветви железным топором (из: Малинова и Малина, 1988: 50-51).

явления человеческого мышления, человеческих способностей у неких приматов. Видимо, ему кажется, что это подтверждает идею участия Бога в этом деле – актом творения. Между тем каждая археологическая культура возникает как бы внезапно, без видимой подготовки. А генетические мутации объясняют внезапность появления новых способностей у человека.

Особое внимание Волков обращает на ашэльские рубила, бифасы (рис. 31). По трасологии, это мясные ножи длительного пользования. Волков придает своим наблюдениям столь важное значение, что нужно привести их дословно. Итак:



Рис. 31. Ашэльские рубила (бифасы) с Мугоджарских гор (Волков 2010б).

“1) тщательная отделка орудий из камня производилась при изготовлении *только одного типа инструмента*. Материал для них подбирался исключительно качественный. Эти листовидные бифасиально обработанные артефакты имеют необычайно выразительную и законченно-красивую форму, разительно отличающую их от всех других изделий в составе инструментария того времени;

2) только эти орудия в ашельский период были *монофункциональными*, т.е. узко специализированными и не использовались в каких-либо других повседневных работах;

3) отношение людей к этим инструментам было явно необычным. Но, пожалуй, наиболее важной для нас является функциональная специализация «ашельских бифасов» – разделка туш животных.

... Можно уверенно сказать, что «ашельские бифасы» обладают практически всеми признаками, которые ... можно считать обязательными для характеристики культовых орудий. Если предположить, что для совершения первых в истории жертвоприношений человеку был реально необходим только один инструмент – жертвенный нож, то этим орудием вполне могли быть описанные выше листовидные ашельские бифасы...”. Отсюда Волков прокладывает логический путь к утверждению, что “религиозность следует отнести к изначальным, основным, пожалуй, определяющим свойствам человека, резко выделяющим наших предков из окружающего их мира животных” (Волков 2010б: 306-307).

Возможность ранних проявлений религиозности отвергать не приходится, ибо у первобытного человека было очень мало возможностей для здравого понимания того, что происходит вокруг него и в нем самом, и много искушений объяснить сны и случайности простейшими связями, увы, фантастическими. Вполне возможно раннее бытование представлений об особой важности (“святости”?) разделки туш убитых животных, особенно крупных и опасных. Но в донеандертальскую эпоху сложные понятия типа “бог, требующий жертв” вряд ли были доступны. Однако это всё гадания – как в пользу гипотезы, так и против нее, но бремя доказательств лежит на выдвигающем гипотезу.

Чем доказано, что это именно жертвенный нож? Какими экспериментами или фактами это подтверждается? Чрезвычайное обилие рубил в Западной Европе (при чрезвычайной редкости вне Европы) говорит как раз против культового характера этих орудий.

Волков подчеркивает внезапность появления ашельских рубил, их резкое отделение от олдувайской индустрии, не выказывающей человеческого разума (рис. 32). Это чтобы доказать, что промежуточного звена нет. Но ашельские рубила Волков связывает с неандертальцами – уже почти современными людьми (рис. 33), по Волкову (в “Археологии для православных”), – детьми Адама, а олдувайскую индустрию – с обезьяноподобными существами. Сам Адам, стало быть, тоже неандерталец, а так как он создан по образу и подобию Бога, то и создатель, выходит, неандерталец. Вот до чего доводит усердие не по разуму. Но для чего вся суета?

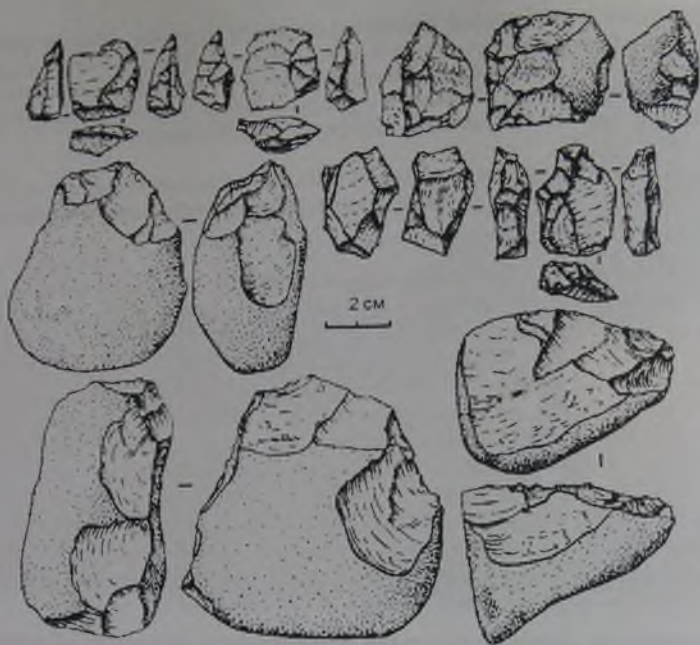


Рис. 32. Олдувайская индустрия (Волков 2010б).

Для того чтобы развести обезьян и неандертальцев с ашёльскими рубилами. Получается разрыв. Но ведь это неправда! Все археологи знают, что неандертальцы – это не ашёль, а мустье, эпоха, следующая за ашёлем. А ашёль гораздо древнее и связан с человеком гейдельбергского типа, который гораздо ближе к обезьяне хотя бы по объему мозга (рис. 34). Олдувайская индустрия же оставлена архантропами – всё же уж не совсем обезьянами. Так что ашёльские рубила всё-таки маркируют промежуточное звено. Не так уж они и внезапны: им предшествовали грубые ручные рубила (раньше их называли рубилами шелльского типа).

Главной задачей науки Волков (2010б: 308) считает “познать Творца через творение”. А был ли Творец? Апологеты креационизма прибегают к аналогии – кто



Рис. 33. Неандертальский череп из Табуна (Вишняцкий 2002).

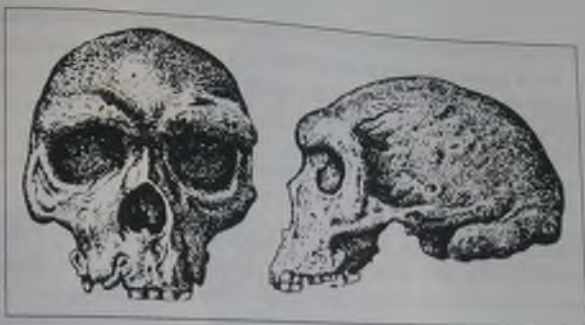


Рис. 34. Череп человека гейдельбергского типа из Брокен-Хилл (Вишняцкий 2002).

же всё это создал? У всего должен был создатель. Хорошо, а кто создал Творца? А если никто, то нужен ли Творец для мира?

Возвращаясь к почве экспериментальной археологии. В науке я предпочитаю доверять экспериментам, приводимым и трезво анализируемым Волковым, а не его цитатам из святителей и отцов церкви. “Наука много слабее, чем мы думали еще не так давно”, – заявляет Волков (2010б: 308), мотивируя необходимость “усиления” науки религией. Наука много сильнее, чем некоторые думают сегодня, и она непрерывно теснит религию. Ученые также совершают ошибки, но они исправляются наукой же, а религиозные догмы не могут быть заменены другими религиозными догмами – им на смену приходят установленные наукой истины.

3. Подвохи в эксперименте. Подробно всякому методу, эксперимент имеет свои ограничения. Максима Бэкона “Нет иного способа на пути к человеческому познанию, кроме эксперимента”, приведенная супругами Малина (с. 12) и повторенная Волковым (2010: 20), не вполне корректна. Есть и другие способы познания – наблюдение, теория, но эксперимент занимает важное место в этом ряду.

И супруги Малины, и Волков отмечают ошибки в применении эксперимента. Моравский исследователь Ванкель ошибся в интерпретации результатов своего эксперимента с полым металлическим перетнем, а следовательно, и в постановке этого эксперимента. Да, он показал, что такой перетень *мог быть* и отлит. Но современные анализы показали, что как раз данный перетень *был* не отлит, а выкован.

Немец Брентьес показал, что каменный “топор в виде сапожной колодки” (в русской книге Малиновой и Малины неверно переведено: “ручное рубило”, а Волков повторил ошибку) можно привязать к ралу и пропахать борозды в земле. Но трасологические анализы показали, что этих операций с такими топорами никогда в неолите не проводили.

Одно дело – что с древними предметами можно было бы проводить, а совсем другое – что с ними наверняка проводили. Тут простой проверки мало. Нужна классификация возможностей и выбор одной из них – той, которая совпадает по всем показателям с реально осуществленной. Это именно то, что демонстрировал Семенов со своим функционально-трассологическим методом. Но и в выводах Семенова были чрезмерные обобщения, откорректированные его учениками и последователями.

Еще масштабнее ошибка известного мореплавателя норвежца Тура Хейердала. Он предположил, что заселение Австралии и Полинезии происходило из Южной Америки через Тихий Океан благодаря течениям. Для проверки он связал плот из бальзового дерева на манер древних плотов и с международной командой отправился на этом утлом судне через океан под парусом. Он показал, что это возможно, и был убежден, что доказал свою гипотезу. Между тем, как установлено многими исследователями разными методами, в том числе анализами ДНК, заселение Австралии и Полинезии происходило из Азии несколькими волнами. Хейердал грубо ошибся. Он доказал совсем другое – широкие возможности человека преодолевать колоссальные природные препятствия, в том числе и Тихий океан. Но это не доказывает ни направления, в котором происходило заселение Австралии и Океании, ни его источника.

Исходя из опыта истории экспериментальной археологии за полтора века ее существования, Малинова и Малина формулируют “основные уроки и правила” проведения археологических экспериментов. Это, так сказать, их *caveat* – предостережения археологам.

1. В результатах экспериментов обычно нет абсолютной доказательности. Доказываются не совершившиеся события и реальные процессы, а только возможности, которые могли и не осуществиться. Осуществление их нужно доказывать особо.

2. Результаты экспериментов характеризуются неопределенностью во времени и пространстве: подтвержденные ими действия осуществляются не всегда и не везде. Нужны дополнительные указания на время и место, а интерпретатору нужно избегать категоричности обобщений.

[3. Хорошо повторять эксперимент неоднократно, чтобы избежать случайных погрешностей, непредусмотренных искажений (этот пункт добавлен мною. – Л.К.)]

4. Для проверки одной задачи очень желательно применять несколько разных методов, ибо ожидаемый ответ и результат не связаны жестко, положительного результата может и не последовать. Нужно предусматривать вариативность реальной жизни, оставлять возможность неожиданного результата и выбора.

5. Всегда разумно учитывать, что даже при очень большом старании наши действия и материалы не вполне идентичны тем, которые были в далеком про-

шлом. И уж во всяком случае стараться все условия максимально приблизить к условиям прошлого.

6. Нередко приходится сильно уменьшать масштаб испытываемых сооружений, процессов и событий. А это побуждает нас вести тщательную корректировку всех соответствующих действий и результатов.

7. Необходима полная, постоянная и точная фиксация всеми доступными средствами всех обстоятельств и деталей эксперимента, всего его хода, ибо экспериментов много и нужно сверять их результаты, их возможные расхождения, а это невозможно, если есть упущения в фиксации.

4. Применение эксперимента в разных отраслях и разделах археологии.

Коулз (Coles 1973) первым систематизировал знания об археологических экспериментах. Он распределил эксперименты технологические и функциональные на три категории: 1) по системе обеспечения жизни (по корчеванию леса и распашке земли, сбору пищевых продуктов, приготовлению и потреблению пищи), 2) тяжелые промыслы (строительство жилищ и их разрушение, земляные работы и эрозия почв, добыча и транспортирование камней, выплавка металла), 3) легкие промыслы (обработка камней, дерева, кости, рога и раковин,ковка металла, обработка кожи и ткачество, выработка керамики, рисование, изготовлении музыкальных инструментов).

В библиографических трудах 1970-х годов по экспериментальной археологии работы по ней сгруппированы в такие разделы: 1) общие проблемы экспериментальной археологии, 2) эксперименты по изготовлению артефактов, 3) эксперименты по функции артефактов, 4) эксперименты по интеллектуальным аспектам культуры (то есть по психологическим особенностям поведения) и 5) эксперименты по археологическим ситуациям и процессам.

Как я уже отмечал, из двух самых современных книг об эксперименте в археологии, рассмотренных мною здесь, книга Малины наиболее всеобъемлюща и монографична, а книга Волкова интересна своей глубиной проникновения в несколько важных сфер применения эксперимента в археологии. В чешской книге Малины (это частично отражено в ее популярном изложении супругами Малина на русском) систематически излагаются опыты применения эксперимента в археологии, в ее разных отраслях и подразделениях, раздел за разделом.

У Малины группировка экспериментов проделана, прежде всего, по плану, связанному со сферами их применения: 1) разведки и раскопки, 2) сохранность и консервация, 3) описание, классификация и сериация артефактов, 4) культурная интерпретация (технология изготовления и функциональное назначение).

Разведки, очевидно, требуют знания связи искомым артефактов и местонахождений с особенностями рельефа, водными артериями, почвами, поэтому

эксперименты могут быть направлены на обнаружение связей тех культурных особенностей, на которые есть расчет, с такими географическими структурами. Могут пригодиться и расчеты густоты неких артефактов на площадь поверхности над древним поселением или жилищем. Однако эти соображения требуют скорее наблюдения и, возможно, мысленного эксперимента, компьютерных симуляций.

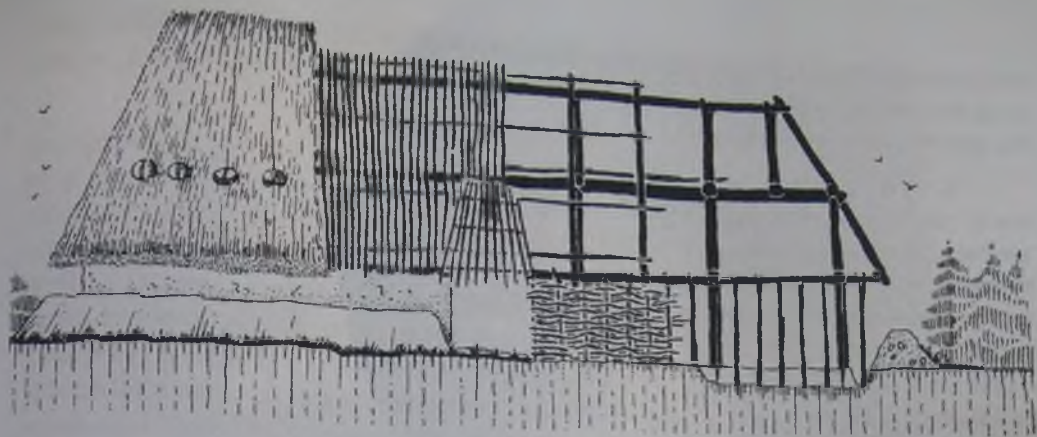
Раскопки требуют более проверяемых экспериментами знаний, например, знания того, как разрушаются дома, какова структура пожара, как происходит эрозия разных земляных сооружений и т.п. Такие эксперименты проводились поляками в 1956 г., датчанами в 1962 г. – эти примеры приведены у Малины (рис. 35).

Экспериментами в области консервации и реставрации Малина считает технологические анализы – химический, спектральный, флуоресцентный, радиоуглеродный и т.д. Это никакие не эксперименты и уж никак не археологические эксперименты, в лучшем случае это тесты (тоже спорно), и приносят они стандартные для данного метода знания. Некоторые эксперименты возможны для проверки сохранности разных категорий артефактов в разных условиях, разумеется, модельные эксперименты. Возможны и эксперименты для проверки разных средств консервации и реставрации, но это вряд ли археологические эксперименты – скорее химические, физические и т.п. ради археологических целей. Ведь полученные результаты относятся прежде всего к действию химических, физических и других подобных законов. Археология здесь только ставит задачи. Археолог имеет такое же отношение к этим действиям, как портниха – к конструкции швейной машины.

Экспериментами, важными для описания, классификации и сериации артефактов, Малина считает функционально-трассологический метод Семенова. Метод и в самом деле важный, но не для классификации и сериации, а наряду с ними, для определения функций и изготовления вещей.

Так что в этой части обзор Малины скорее выявил те части археологии, которые не очень поддаются экспериментированию, чем сферы интенсивного применения эксперимента в археологии.

Зато четвертая часть – “эксперименты по этнологической интерпретации” оказывается с чрезвычайно разветвленной иерархией подразделений, показывая, где по-настоящему интенсивное применение экспериментов в археологии. Под “этнологической” Малина, по-видимому, имеет в виду оживляющую мертвое прошлое интерпретацию, уподобляющую археологию этнографии и этнологии (или в американском словоупотреблении – культурной антропологии). Подзаголовок разъясняет: “эксперименты технологические и функциональные”. Обычно у нас такую интерпретацию именуют исторической, но Малина возражает против этого, ссылаясь на Леви-Стросса, который придавал истории диахронический подход, а культурной и социальной антропологии (“этнологии” – поясняет Малина) оставлял синхронический. А интерпретируя и реконструируя прошлое, мы действуем, как бы переселяясь в прошлое – прибегая к синхроническому подходу. Тут можно возразить, что, признавая за эпохами другие законы, отличные от современных,



На рисунках показаны этапы работы датских экспериментаторов: сверху модель дома эпохи железа, в центре план, по которому он был построен, внизу — пожарище 1962 г.

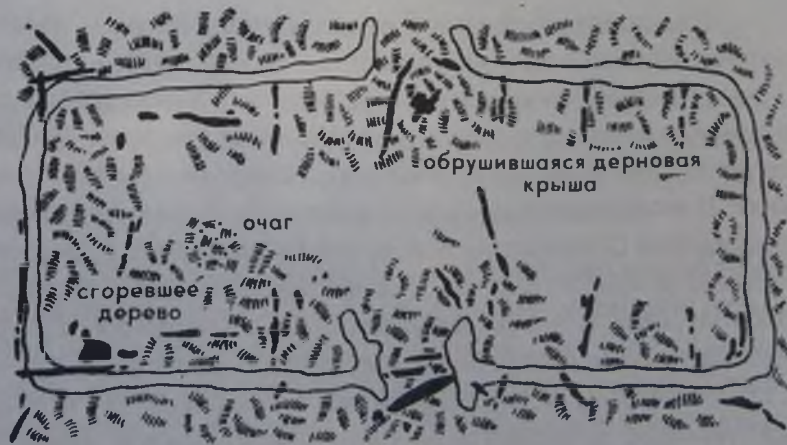


Рис. 35. Сожженная в 1962 г. модель дома железного века в Дании по Хансену (из Малинова и Малина 1988: 30-31).

мы учитываем как раз эволюцию и диахронию; к тому же дихотомию Леви-Стросса далеко не все принимают. Но эти теоретические соображения не столь уж важны при обзоре экспериментов.

К экспериментам по реконструкции древнего труда и хозяйства Малина относит эксперименты, воспроизводящие первобытные способы добывания огня трением; транспортирование и установку мегалитов, в частности каменных пилонов Стоунхенджа и гигантских статуй острова Пасхи; способы охоты и использование ловушек и оружия (лука и стрел); земледелия и хранения урожая; добыча сырья и его переработка – естественно, очень богатый раздел, потому что видов сырья множество – камень, кость, рог, дерево, кожа и т.д., а сфер переработки – еще больше. Далее идут эксперименты над строительством жилищ, хозяйственных построек, сооружений для обработки пищевых продуктов (токи, мельницы, пекарни); над техникой ремесел, художественных умений (музыка, живопись); над способами лечения и погребения. Эксперименты над эффективностью укреплений, доспехов и вооружения могут быть представлены известным опытом Коулза (рис. 36) по проверке кожаного щита против бронзового меча (оказался эффективным при определенных условиях).

Пятый раздел Малины – эксперименты по историко-социологической интерпретации – снова небольшой. Собственно, можно оспаривать вообще принадлежность этих задач к археологии (с моей точки зрения, они относятся скорее к ранней истории и преистории – см. Клейн 1977; 1991б; 1991в; Klejn 1995). Это выяснение причин и следствий событий и процессов прошлого, связанных с теми или иными древностями. Малина приходит к выводу, что для решения этих задач из экспериментального метода возможны только симуляционные модели. В пример он приводит компьютерные симуляции из сборника “Модели в археологии” Д. Кларка, теоретическую симуляцию Гардена ранней экономики, астроархеологические построения Хокинса относительно Стоунхенджа и др.

Сравнительно большой раздел в книге Малины посвящен формированию приема комплексного эксперимента в археологии – организации специальных длительно действующих исследовательских коллективов по разностороннему экспериментированию в решении археологических проблем. Это 1) музеи на дикой природе – как Нова Слупя (Польша), Аспарн на реке Цая (Австрия), Мёсгард (Дания); 2) экспедиции в поле на целый сезон, обычно продолжающиеся ряд сезонов (экспедиции Семенова на Ангару и в Прибалтику); 3) постоянные установки экспериментальной археологии, рассчитанные на много лет, как в Ибадане (Нигерия). Овертон Дауне и Уоренхэме (Англия) – тут предприняты разрушения моделей разных памятников и годами прослеживается их состояние (в Овертон Дауне в 1960 г. предусмотрено делать разрезы рва через 2, 4, 8, 16, 32 и 128 лет); 4) постоянно действующие имитации первобытной или древней жизни (цельные поселения), заселенные добровольцами, специально тренированными для имитации древней жизни – Лейре (Дания), Дюппель (Западный Берлин), Батсер Хилл (Англия), Ридли Крик (Пенсильвания, США). Все эти учреждения описаны подробно.



Рис. 36. Джон Коулз (справа) испытывает кожаный щит против бронзового меча (из Малинова и Малина 1988: 36-37).

В отличие от этого раздела предшествующие не описаны подробно. Те эксперименты были только перечислены. Их более подробное и конкретное описание содержится в популярной книге супругов Малина – “Прыжок в прошлое”. Коль скоро она на русском языке, здесь нет надобности пересказывать ее.

Книга П. В. Волкова “Эксперимент в археологии” значительно уже по тематике (затрагивает только палеолитические памятники, и то лишь некоторые темы), но глубже и оригинальнее по разработке затронутых разделов. Как я уже отмечал, здесь дано лучшее из всех доселе встреченных мною описаний техники расщепления кремня или обсидиана с полным описанием возможностей и приемов, с классификациями вариантов и оценкой их производственных данных. Описания экспериментов здесь как раз мало. Это скорее результаты длительного экспериментирования и очень умные размышления над ними.

Второй раздел посвящен экспериментам по планиграфии. Это интересные и неожиданные эксперименты с “рабочими площадками” по обработке кремня: семь участников работали каждый на своей площадке, а в результате экспериментатор, сняв результаты работы на план, получил четкое разделение на опытных мастеров и неопытных (“учеников”). У опытных линза отходов была компактнее, наиболее крупные снятия лежали поодаль (техника безопасности), рабочее пространство было упорядочено, а отбракованные сколы сосредоточены в центре (рис. 37). Эти результаты могут пригодиться при анализе первобытных мест работы.

Также в этот раздел входят эксперименты с кострами. Стимулом послужили некоторые странности расположения костров в мадленской стоянке Пенсван (Франция) – вне конического жилища у входа. Для решения загадки Волков (также 1994) рассмотрел разные типы отопительных костров (круглый, юрлык или сибирский, экранный, вертикальная но́дя, горизонтальная но́дя – рис. 38). Он исследовал их достоинства и недостатки в разных условиях и путем экспериментов установил, какие от каждого вида остаются следы (рис. 39-40). Это позволило ему предложить приемлемую гипотезу по интерпретации костров Пэнсвана. Но, учитывая обычность очагов в археологических раскопках, применимость открытий Волкова значительно шире.

“Изучение бессистемных рассеиваний” и “изучение скоплений” содержат убедительные реконструкции расположения работавших над кремнем людей на стоянке, но основаны не на специальных экспериментах, а на *наблюдениях* над планами и трасологическом анализе (тот, конечно, связан с экспериментами, но



Рис. 37. Эксперимент П.В. Волкова с рабочими площадками: а – площадки “мастеров”, б – площадки “учеников” (Волков 2010б, рис. 3-2).

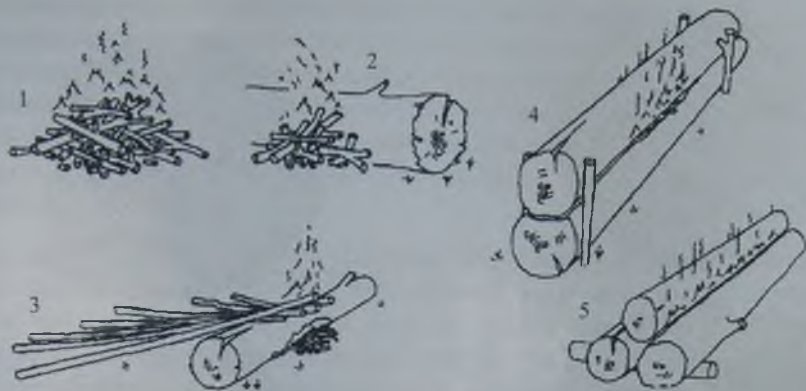


Рис. 38. Разные типы отопительных костров, по П.В. Волкову (2010б: 3-4).

иного рода). То же касается изучения комплекса сооружений и жилищного пространства. Никаких специальных экспериментов, нацеленных на анализ планиграфии, тут не проводилось.

Третий раздел книги Волкова озаглавлен “Эксперименты и палеоэкономика”. Это ценный анализ состава кремневого инвентаря разных слоев Денисовой пещеры на основе функционально-трасологического метода, дана новая классификация кремневых изделий на основе их функции и их увязки с отраслями экономики. Но экспериментов, нацеленных специально на решение задач палеоэкономической реконструкции, и здесь нет. Имеется в виду, несомненно, участие функционально-трасологического метода, но в трасологическом методе эксперимент обслуживает диагностику орудий модельными эталонами. Это косвенная связь с палеоэкономикой. Конечно, можно считать функционально-трасологический метод частью палеоэкономической реконструкции, но тогда как быть со следами на оружии, на домашней утвари, украшениях, на предметах искусства и культа?

Далее в книге Волкова как раз анализируется трасовым анализом украшение из Денисовой пещеры (браслет), только в другом разделе – “Эксперимент и реконструкция”. Тут же применение результатов анализа очагов к конкретным раскопкам и реконструкции распределения рабочих мест в жилищах по планиграфии, но конкретных экспериментов мало.

Таким образом, эта вторая половина книги Волкова, при всей ее ценности, с экспериментами связана только через функционально-трасологический анализ, а описания разнообразных специальных экспериментов иного плана не содержит. В этом смысле она уступает книгам Малины, превосходя их оригинальностью исследований.



Рис. 39. Остатки от круглых костров (Волков 2010б: 3-5).

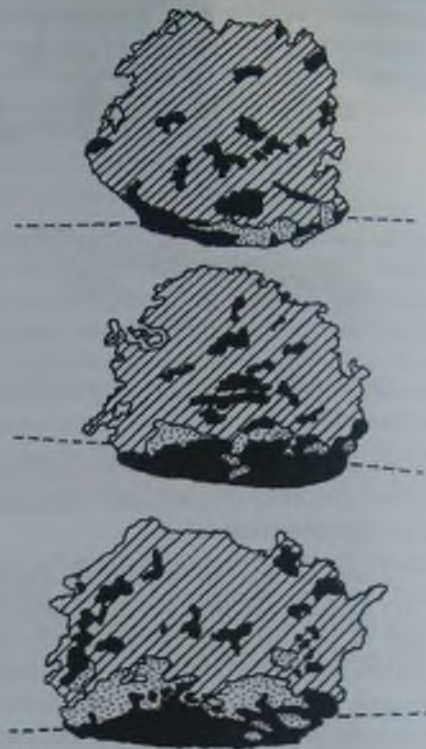


Рис. 40. Остатки от костров типа "юрлык" (Волков 2010б: 3-6).

5. Оценка возможностей и перспективы. Как видим, не во всех разделах археологии применение экспериментов, даже модельных, возможно и перспективно. Для их применимости требуется наличие задач, которые необходимо решать именно экспериментом, а также действий, которые можно имитировать, пусть на моделях.

Скажем, описание находок – действие необходимое, но имитировать его не-зачем. Можно, конечно, представить себе, что строгий методист захочет проверить, как происходит описание, какие ошибки при этом возникают, и поставит эксперимент – попросит испытуемых описать некую вещь, а затем других испытуемых нарисовать по этому описанию ту же вещь. Он может получить велосипед и очки вместо ножниц. Но специфики археологического эксперимента тут нет.

Функционально-трасологический метод, строго говоря, по своим принципам тоже не археологический – это метод установления использования вещей по микроследам на них, и он может успешно применяться также в работе детектива, следователя. Но исторически сложилось так, что он был сформирован хотя и бывшим следователем, но работавшим в археологическом институте, и в своих конкретных разработках особенно приспособлен именно к восстановлению функций древних орудий.

Но есть тысячи операций с древними вещами и процессов с памятниками, тысячи предполагаемых действий первобытных и древних людей, современное воспроизведение и контролирование каких-либо действий очень нужны археологам для проверки их реконструкций. Буквально вся жизнь первобытных и древних людей дает такие возможности эксперимента: питание, одевание, жилье, походы, поездки и плавание, охота, рыболовство, возделывание земель, скотоводство, приготовление пищи, добыча сырья, разнообразные ремесла и используемые в них материалы... Но вот собирательство, как считает Волков (2010б: 152), не дает возможностей для эксперимента: не выделить орудий собирательства. Всё же сомневаюсь, что ничего в собирательстве нельзя проверить – хотя бы скорость сбора плодов дикорастущих растений, возможность прожить, питаясь ими, питательность рациона из грибов, орехов, желудей и ягод, какие-то особенности потребления дикого меда, размер участка, необходимого для пропитания собирательством одной семейной ячейки. И такие эксперименты проводятся. Возможности реконструкции не замыкаются на орудиях.

Если в последние полвека-век новым в археологическом экспериментировании было развитие комплексных предприятий – специальных экспедиций и целых поселков, живущих по нормам первобытного мира, то ныне предлагаются движения в сторону палеопсихологии, палеоэкономики и других комплексных дисциплин.

“Словом, возможности эксперимента в археологии безграничны”, – пишет П.В. Волков (2010б: 267). Не безграничны, но чрезвычайно велики и – в своих пределах – неисчерпаемы.

1. Формирование. Издавна археологи стремились кооперировать свои усилия с этнографией, добивались интеграции этих наук. Еще в XVIII столетии назначение кремневых орудий из археологических находок Лафито определил, сравнивая их с орудиями индейцев. Особенный рывок в этом направлении осуществили эволюционисты с их убежденностью в том, что отсталые народности – это живые ископаемые и по ним можно устанавливать исчезнувшие состояния развитых наций, а следовательно, реконструировать назначение и применение непонятных или плохо понимаемых археологических остатков. Вбитые в дно швейцарского озера свай были опознаны как остатки свайных поселений по аналогии со свайными поселениями у живых австралийцев. В работах американских исследователей (Swanton 1928; Parsons 1940; Steward 1942) археологические остатки интерпретировались с помощью этнографических аналогий с культурами австралийцев и индейцев. Но в принципе это было всё то же использование аналогий и позже – моделей.

На протяжении 1960-х годов по названиям работ одного археолога, Роберта Эшера, можно проследить, как менялся аспект рассмотрения вопроса: 1961 г. – “Аналогия в археологической интерпретации”, 1962 г. – “Этнология для археологии”, 1968 г. – “...археология нынешнего сообщества” (Ascher 1961; 1962; 1968). Последняя – это уже из репертуара этноархеологии.

Первый ученый, назвавший себя этноархеологом, появился на рубеже XIX и XX веков. Это был Джессе Уолтер Фьюкс (Fewkes 1900), работавший с южноамериканским племенем хопи. Изучив мифы хопи об их древних миграциях, он решил проверить их археологическими раскопками соответствующих местонахождений. Никаких следов встреч, лагерей, битв и т.п. в названных мифами местах не было обнаружено. Мифы оказались мифами. Шлимана из Фьюкса не вышло. Первое разочарование, видимо, отбило охоту развивать дальше подобные исследования, и этноархеология застыла на полвека. Хотя негативный результат – тоже результат, и очень отрезвляющий.

Только в 1960-е годы в археологию, прежде всего американскую, бурным потоком ворвалась формирующаяся отрасль *этноархеология*. Она ворвалась в сопровождении целой группы нечетко определенных побочных отраслей (или названий для отрасли) – “живая археология” (*living archaeology*), “археология действующего” (*action archaeology*), “срочная археология” (*urgent archaeology, prompt archaeology*), “мусорная археология” (*garbage archaeology*), или “археология нас” (*archaeology of us*), “археологическая этнография” (*archaeological ethnography*) и т.п. Какая-то из этих побочных могла стать центральной, а то и общей, объединяющей все остальные.

Происхождение отрасли понятно: в век специализации долгое употребление этнографических аналогий и осознание максимы “вся археология есть ана-

логия” привели к формированию и выделению специальной отрасли, в которой и осуществлена интеграция археологии с этнографией. Понятно и то, почему это оформилось именно в 60-е годы XIX века и именно в Америке – как раз в эти годы и именно в США на арену дискуссий вышла “новая археология”, характеризующаяся всплеском теоретической активности, а осознание роли этнографических аналогий есть как раз основа интерпретации в археологии и центральный пункт теоретического мышления археолога.

Парадоксально, что “новая археология” как раз отрицала роль этнографических аналогий в археологическом мышлении, строя интерпретацию по возможности без обращения к этнографии. Идею “вся археология есть аналогия” высказал и отстаивал как раз противник “новой археологии” Чжан Гуанчжи. И первые американские исследования по этноархеологии (это была “срочная археология”, продолжавшая “прямой исторический подход” Джулиана Стюарда) как раз игнорировала этнографическую аналогию (Fetten und Noll: 1992: 164). Но уже в 70-е годы на основе “новой археологии” сложилось течение “бихевиорной археологии”, сделавшее своей главной проблемой формирование археологического источника (а как его изучать, если не обращаться к этнографии¹), и в те же годы на эти позиции перешел лидер “новой археологии” Люис Бинфорд, сам занявшийся исследованиями по этноархеологии – изучением формирования материальной культуры эскимосов нунамут.

Бихевиорная археология еще больше была заинтересована в этноархеологии, особенно в этнографическом исследовании того, как вещи выбывают из живой культуры и как вся культура становится мертвой и археологизированной. Есть ряд исследований, специально посвященный этому явлению (Binford 1981; Stevenson 1982; Gould 1987).

Застрельщиками были археологи: им нужнее. Американский археолог Майкл Станиславски объясняет:

“Археологи должны будут собирать эти данные для себя, ибо этнографы не очень-то жалуют такие исследования материальной культуры. Также если типология орудий и социальных ячеек должны быть эквивалентны и сопоставимы, обе должны быть сделаны одним и тем же ученым или, по крайней мере, в той же системе координат. Так что работа может быть сделана археологом, подготовленным также и как этнограф...” (Stanislawski 1974: 19).

“Живая археология”, или “археология действующего”, сосредоточилась на таком этнографическом изучении сохранившихся первобытных и древних популяций, которое обычно выпадает из интересов этнографа: какие из объектов материальной культуры этого населения сохраняются для археологов будущего и как

¹ Есть, правда, возможность изучать некоторые стороны этого процесса, обратившись к экспериментальной археологии и по самим археологическим памятникам, но выпадение из живой культуры и связь их с живой культурой не выявить иначе, чем в этнографии.

они связаны с остальными частями культуры, как они участвуют в жизни. Именно это ведь и составляет стержень археологической интерпретации. Изучать это приходится методами этнографии, а интересует это археологов, которые сами этими методами не владеют.

Очень ранним проявлением этой активности была работа двух исследовательниц М.Р. Клейндienst и П.Дж. Уотсон, посвященная “инвентаризации живого сообщества” (Kleindienst and Watson 1956), но целый поток работ в духе “живой археологии” ввел в науку Ричард А. Гулд (Gould 1968; 1971; 1980 и др.).

Именованье этой отрасли “*археологической этнографией*” было хорошо мотивировано, поскольку это явно этнография по методам, хотя и археологически ориентированная. Но то ли потому, что формировалась она всё-таки как отрасль теоретической археологии, в среде археологов, то ли потому, что название было недостаточно простым, из двух слов, это название не прилипло в качестве названия всей отрасли. Кроме того, все понимали, что этнографы не заинтересованы собирать те сведения, которые волнуют археологов: этнографам и так эти данные видны. Археологам приходится самим проводить такие исследования, овладевая этнографической методикой.

Под “*срочной археологией*” понимается логическое распространение “живой археологии” на смежные объекты – немедленное археологическое изучение (включая раскопки) поселков, погребений и т.п. памятников, только что оставленных первобытным населением (отсталыми племенами), когда еще можно спросить у живших тут людей, какое назначение имели те или иные брошенные вещи, как они использовались в жизни, чем объясняются те или иные особенности памятника и находок.

Еще одна схожая отрасль получила название “*мусорной археологии*”, или “*археологии нас (самих)*”. Это схожее изучение живых современных обществ (не обязательно первобытных) по той части их материальной культуры, которая ими отлагается в виде мусора. Имеется в виду регулярное и чисто археологическое по методам изучение их мусора, но актуального, захваченного в момент отложения или сразу после отложения. Изучение это делается ради сравнения объективных археологических выводов (первая картина) с представлениями общества о самом себе (тем, что уйдет в фольклор и письменные источники – это другая картина), а также с реалиями живого быта (третья картина). Эта отрасль придумана и развивалась именно сторонниками “*бихевиорной археологии*” – Уильямом Раджем, Майклом Шиффером (Ascher 1968; Noel-Hume 1971; Rathje 1974; 1979; Gould and Schiffer 1981).

Вот над всеми этими названиями вознеслось название “*этноархеология*”, синтезирующее археологию и этнографию, как в “*археологической этнографии*”, из тех же компонентов, но сложенных в обратном порядке, и более лаконичное. Оно не очень удачное – выставляет на первый план археологию, хотя это скорее этнография, и слишком походит на “*этноисторию*” – дисциплину совсем другого плана (история аборигенных культур и письменных источников о них), да и не очень оно ясное. Всё зависит от того, как его понимать и толковать.

2. **Суть.** Так или иначе, отрасль возникла, ее название, пусть и не очень удачное, утвердилось, и нужно определить ее цели, функции и содержание, чтобы она приносила наибольшую пользу и работала эффективно. Сразу же мы сталкиваемся с хаосом и недоразумениями. Очень быстро первоначальные цели формирования отрасли были утрачены или затемнены, а на первый план выступили некие расплывчатые общие идеи об интеграции археологии и этнографии, о синтезе наук. Почему это так, сказать трудно. Возможно, тут сказалось то, что “новая (процессуальная) археология”, которая господствовала в теоретической археологии, как раз отвергала этнографические аналогии и на долю синтеза оставляла лишь самую общую кооперацию в рамках широкой антропологии.

Вот и стали появляться дефиниции новой отрасли, очень широкие и неопределенные.

1. *Этноархеология – это всякое соединение археологии с этнографией* или этнологией или культурной антропologией, всякая их кооперация, всякий синтез. Ведь новое родится на стыке наук, вот и устроим такой стык, авось что-то новое и родится.

Кристофер Доннан и Уил. Ключоу в своем сборнике “Этноархеология” мотивируют такой подход. Они констатируют, что их сборник имеет дело с образующейся “зоной стыка между этнологией и археологией”, содержа статьи археологов и этнологов, “а также авторов, находящихся между этими двумя субдисциплинами” (в Америке обе они считаются субдисциплинами антропологии). “Мы придерживаемся мнения, – пишут эти два автора, – что этноархеология как распознанная субспециальность антропологии относительно нова и поэтому должна быть определена свободно” (Donnan and Clewlow 1974: 1). Стайлз поддерживает это мнение и считает, что этноархеология охватывает “все теоретические и методологические аспекты сравнения этнографических и археологических данных, включая использование этнографической аналогии и археологической этнографии” (Stiles 1977: 87).

Н.А. Томилов (1999: 78) продолжает эту традицию в России:

“...этноархеология – научное направление (или даже отдельная формирующаяся наука), возникшее и развивающееся в результате интеграции археологии и этнографии в XX веке, призванное решать круг проблем по генезису и динамике общества и культуры человечества, а также их элементов разных хронологических периодов на основе сопряжения археологического и этнографического видения этих проблем. И более краткая дефиниция этого направления: этноархеология – наука о культуре и обществе, интегрирующая археологическое и этнографическое познание”.

Его поддерживает в этом читинский исследователь О.В. Кузнецов в очень толковой в остальном статье (2003: 81).

В соответствии с таким пониманием Гулд ведет этноархеологию с конца XIX – начала XX века, когда Фьюкс, Ходж и Крёбер проверяли устную традицию

индейцев по археологическим данным. Томилов (1999: 75) поясняет свое представление о необходимости этноархеологии как науки так: “использование прямых и косвенных аналогий для археологов и этнографов ... зашли как бы в тупик”, как и “поиски этнографами следов традиционных культур предков современных народов в археологических материалах” (Gould 1974: 29). Вот и пришлось соединить обе науки. Как это исправляет положение, не поясняется. Проблемы этногенеза присоединены искусственно – для вящего расширения проблематики.

2. Второе определение сужает рамки новой науки, но в странном направлении. Этноархеология – не просто соединение двух наук. У нее должен быть свой предмет. Томилов дополняет свое определение этноархеологии как науки указанием на ее объекты и предмет:

“Объект этноархеологии составляют ... социокультурные системы с их сложной структурой и связями, конструируемыми или реконструируемыми путем интеграции археологического и этнографического познаний. ... Предмет этноархеологии – ... это свойство социокультурных систем и процессов отражать в системе сопряжения археолого-этнографических познаний историческую действительность” (1999: 81).

На практике это философствование оборачивается выделением весьма странных структур. Логика такова: если археология изучает археологические памятники, рассматриваемые археологами как комплексы, а этнографии – живые этнографические культуры, тоже рассматриваемые как комплексы разнообразных культурных элементов, то естественно предположить, что у гибридной науки этноархеологии объектом должны быть археолого-этнографические комплексы. Тогда этноархеология – это изучение *археолого-этнографических комплексов*. Остается найти такие комплексы и показать, как они должны выглядеть, что представлять собою.

Томилов объясняет:

“Многокомпонентный социокультурный комплекс, выделенный по данным археологии и этнографии, мы предлагаем называть этнографо-археологическим комплексом (ЭАК), подчеркивая его археологическую основу и использование в его анализе методов и данных этнографии. В нашем понимании это фактически реконструированный с помощью данных этнографии археологический социокультурный комплекс. Его основу составляют этнически определяемые материалы памятников, обогащенные этнографической информацией” (1996: 16).

Как это “выделенный по данным археологии и этнографии”? По данным археологии выделяются мертвые археологические культуры, по данным этнографии – живые культурные группы. Если это “реконструированный” комплекс, то таких в материале нет, а есть в мышлении исследователя, к тому же в конце исследования. Но это не может быть предмет (или объект) изучения археолога или этнографа или этноархеолога, а в лучшем случае объект для историка науки.

Омские исследователи, руководимые Томиловым, энтузиастом интеграции этнографии с археологией, издают серию трудов, озаглавленную “Этнографо-археологические комплексы” (Тихонов и Томилов 1993; Томилов 1996 и др.). Есть и теоретические статьи об этих комплексах (Томилов 1998 и др.). Но мне осталось непонятным, чем же по своей объективной сути эти комплексы отличаются от археологических и этнографических. Понятны археологические комплексы – они мертвы. Понятны этнографические – они живут. Каждая категория требует своих методов изучения. Слить их невозможно, вся эта затея может привести только к распредмечиванию изучения, к распаду методики и сбоям в ней.

С точки зрения Томилова, “для решения проблем этнической истории надо стремиться рассматривать их в как можно более широкой совокупности всех явлений традиционно-бытовой культуры, не стремясь специально разграничивать ее материальные и духовные стороны” (1996: 14). Но это означало бы игнорировать их специфику и запросто снять трудную проблему сопряжения тех и других данных, основную в синтезе. То есть вернуться к блаженному неведению романтических гуманитариев.

3. Этноархеология – это изучение *материальной культуры* в ее многообразии. Но археологическое изучение материальной культуры это, по сути, вся археология. Поэтому приходится ограничивать этноархеологию этнографическим изучением материальной культуры. “Цель этноархеологии, – пишет У. Освальт, – систематически интегрировать археологические находки с этнографической информацией. ... Этноархеология – это изучение в археологическом плане материальной культуры, основываясь на устной информации об артефактах, полученной от людей, их производивших, или от их прямых потомков” (Oswalt 1974: 3). В.А. Шнирельман уточняет это определение в другом аспекте: “Этноархеология... – направление исследования, проявившееся на стыке археологии и этнографии и широко распространившееся в 60-70-е годы. Объектом исследования этноархеологии служит материальная культура современных народов, а предметом – специфика отражения в ней особенностей поведения людей и их социальных взаимоотношений” (1988: 95).

Эггерт считает центральным делом этноархеологии “теорию материальной культуры”, а сутью последней систематическую увязку материального с нематериальным (Eggert 1993: 146).

В соответствии с этим Освальт ведет формирование этноархеологии через этнографические труды Оутиса Мейсона, О. Питта Риверса, Р. Сейса, К. Осгуда и П. Мёрдока о материальной культуре (Macon 1895; Pitt Rivers 1906; Sayce 1933; Osgood 1940; Murdock et al. 1961).

4. Этноархеология – это изучение живой культуры этнографическими средствами с целью выявить в ней *те компоненты, которые сохраняются и через много веков* (как археологические остатки), и установить, как они связаны с остальным составом живой культуры, какое место в ней занимают и как участвуют в жизни.

Ведь это и только это создает теоретическую опору для интерпретации археологических материалов, а необходимость усовершенствовать интерпретацию и подвига археологов на переход от этнографических аналогий и моделей к созданию новой науки за счет этнографии.

Это очень близко к тому определению, которое ставит материальную культуру во главу угла, но с уточнением, что целью изучения (“предметом” в гегельянском смысле) являются связи элементов материальной культуры с нематериальными частями культуры, с поведением людей – теми, которые не сохранятся в археологической культуре. Однако узкая привязка изучения к материальной культуре вообще несколько опрометчива. Археология не сводится к материальной культуре. Археологи изучают петроглифы, углубляясь в их содержание; тщательно анализируют погребения и погребальные обычаи, которые даже исключая антропологические данные, не укладываются в материальную культуру; археологи учитывают структуру грунта, костный материал животных, растений – всё это, строго говоря, за пределами материальной культуры.

Итак, изучение живой культуры ради “оживления” мертвых культур.

Но в узком смысле это ведь и есть “живая археология”. Чем же тогда этноархеология отличается от “живой археологии”? Ну, во-первых, этноархеология включает в себя также “срочную археологию”, то есть она шире “живой археологии”. Во-вторых, шире не только по составу объектов, но и по составу операций. Ведущий деятель “живой археологии” Ричард Гулд пишет о различии “между этноархеологией в общем смысле и тем, что я в других местах обозначаю как «живая археология»...”:

“Как я бы определил это здесь, живая археология – это нынешние усилия археолога или этнографа делать полевую работу в живых человеческих обществах, обращая особое внимание на «археологическую» структуру поведения в этих обществах. Этноархеология, как я ее вижу, подразумевает более широкие общие рамки для сравнения этнографических и археологических структур” (Gould 1974: 29).

Во всяком случае, некоторые из перечисленных здесь авторов настаивают на том, что возникает новая, особая наука и нужно определить ее предмет, методы и что это важно для успеха ее исследований. Особенно настаивает на этом Томилов: “особая научная дисциплина”, “новая научная дисциплина” – его излюбленные выражения применительно к этноархеологии. Только один из опытных этноархеологов-керамистов, Ричард Краузе из Алабамы, выступил против таких деклараций:

“Этноархеология, соединение археологического исследования с этнографическим, – это не самостоятельная дисциплина. Ее работники и не должны стремиться сделать ее такой. Чтобы быть по-настоящему продуктивными, этноархеологи должны брать достижения как из археологии, так и из этнографии. Тем не менее, истинно этноархеологическая перспектива не может быть достигнута

суммарным втискиванием археологических данных в этнографически полученные категории или наоборот. Вместо этого этноархеолог должен вносить либо (1) этнографическую перспективу в археологическое исследование, либо (2) археологически нужные вопросы в этнографическое исследование. Каждый из этих подходов может быть продуктивным, и оба могут быть использованы (с некоторыми ограничениями) без боязни произвести натянутые и ошибочные результаты” (Krause 1984: 617).

Это суждение представляется мне здравым. Нет особой этноархеологической методики. Есть *этнографические методы* и *археологические задачи*, есть область преимущественного применения этих данных (*археологическая интерпретация*) и есть специфические методы синтеза этих данных, относящиеся к сфере *теоретической археологии*.

3. Быстрое разочарование. Повальное увлечение этноархеологией в 60-е – 70-е продолжалось недолго. Уже в 80-е годы стали раздаваться голоса скептиков, которые звучали всё громче. Усиливающееся разочарование археологов выразил известный американский исследователь Ламберг-Карловский. “Этно[архе]логия, – пишет он, – это на деле этнографические работы, предпринятые археологами, чтобы ответить на специфические вопросы, на которые им бы хотелось ответить, но сделать это они не способны в более строгих контекстах археологических источников”. Рассматривая этноархеологические исследования памятников Древнего Востока, он спрашивает:

“Позволяют ли иранским археологам этнографические источники, о которых сообщают эти этноархеологические исследования, найти ответы на схожие вопросы в археологическом контексте после того, как им поведали, как «действует реальный мир» в иранской деревне XX века? Откровенно говоря, сомневаюсь. ... Этноархеологию отстаивали в недавние годы как методологический и теоретический подход, который может осветить прошлое. К настоящему времени ее результаты далеки от ее обещаний” (Lamberg-Karlovsky 1989: 960-961).

Как отмечают немцы Франк Феттен и Элизабет Нолль, в немецкоязычные земли этноархеология проникла тогда, когда “в англо-американских странах появились уже первые ренегаты, которые начали сопротивляться необузданной «этноархеологии»... (Fetten und Noll 1992: 173). Но не только традиционалисты и скептики, но и сами «этноархеологи», как Эггерт (Eggert 1991: 46) или Ходдер (Hodder 1990), теперь ставят критические вопросы и заботятся о «познавательной-теоретической» роли этноархеологии”.

Еще Грэйем Кларк сильно ограничивал применимость этнографических параллелей: “Сравнительная этнография может подсказывать правильные вопросы, но только археология в сопряжении с разными естественными науками ... может дать правильные ответы” (Clark 1953: 357). В 90-е эту максиму стали распространять на всю этноархеологию.

“Преисторик [читай: археолог-первобытник] не может прямо истолковать свои обнаруженные комплексы с помощью этнографических сравнений. Аналогия и конвергенция, как и лежащие в основе этих понятий представления, имеют эвристическую функцию: само по себе они не интерпретируют археологический материал” (Fetten und Noll 1992: 178).

В какой-то мере это разочарование было связано с разочарованием в Новой Археологии и с распространением процессуализма. Первое хорошо видно в аргументации Ламберг-Карловского (далее подробнее). Энтузиазм Новой Археологии покоился на детерминизме, на признании униформизма и других законов эволюции и человеческого поведения. Участие постпроцессуализма в этом повороте мышления документируется этноархеологической установкой Ходдера: “Почему разные проявления культуры то совпадают, то нет? Это та самая изменчивость, которая может поведать нам много о конфигурировании человеческого поведения” (Hodder 1978: 13).

Манфред Эггерт, немецкий археолог, много занимавшийся этноархеологией, пришел к выводу, что “ныне «этноархеология» – не многим больше, чем собрание случаев более или менее систематически добытых исторических и этнографических аналогий. Сомнительно, чтобы она когда-либо вышла из этого состояния” (Eggert 1993: 144).

Чтобы понять причины этого разочарования и сообразить, насколько оно оправдано, нужно разобраться в механизме этноархеологического аргументирования.

4. Основы этноархеологических построений. 1. Только аналогия. Этноархеология родилась как продолжение операций с этнографическими параллелями. Упование на одну параллель сменилось поиском многих аналогий. Но и в случае успешного поиска оказывается, что и несколько параллелей не решают проблемы. Требуется полнота обзора.

Феттен и Нолль занялись этноархеологическим истолкованием погребений в капсийских раковинных кучах Алжира – конкретно в Меджез II. Погребения Меджеза, сильно разбросанные во времени (речь идет о тысячелетиях), весьма разнообразны по ритуалу. В мезолитических раковинных кучах далеко не всегда оказываются погребения: в къёккенмедингах Дании их нет. Но нашлись два региона, где такие погребения этнографически засвидетельствованы – в Южной Америке на Огненной земле у ямана и у многих племен в Северной Америке на восточном побережье (тлингитов, чинуков, квакиутль и др.). И тут также ритуал оказался разнообразным. В обоих случаях причины разнообразия кроются в разнообразии социального статуса, ситуаций и этнических традиций. Хоронили в мусорных кучах и новорожденных, и рабов, и кости из разрушенных погребений (ямана, скажем, страшилось вспоминать о мертвых) и т.д. Для того, чтобы вывести какие-то обобщения, установить правила (если они есть!) и применить их к конкретному

археологическому случаю, материала, по мнению авторов, оказалось недостаточно (Fetten und Noll 1992: 181-196).

Для многих исследователей переход к этноархеологии состоял в том, что археологи озадачили этнографов широким спектром поисков параллелей археологическим ситуациям или сами занялись в этнографии такими поисками, этнографы повели нужные работы, и у археологов появился большой запас материала, из которого выбирать самые подходящие параллели. Теперь стало можно выбрать наилучшую параллель. А дальше всё свелось к той же методике работы с этнографическими параллелями, к логике этнографической аналогии.

Но и результаты немногим лучше.

Это хорошо иллюстрируется историей интерпретации палеолитической стоянки Пэнсван 1 во Франции. Позднемадленская стоянка эта охотников на северного оленя (радиоуглеродная калиброванная датировка стоянки: 8-10 тыс. до н.э.) блестяще раскопана А. Леруа-Гураном и М. Брезийоном (Leroi-Gourhan and Brézillon 1966). Чтобы не стронуть с места находки и не повредить древнюю дневную поверхность, по ней не ходили, а расчищали с деревянного навеса, укрепленного над нею. Поэтому сохранилось всё идеально (рис. 41). На площади стоянки открыто три очага на одной прямой, вокруг каждого густое кольцо мелких обломков пищевого мусора (костей и т.п.) и более просторной дугой – россыпь артефактов и костей (рис. 42.). Раскопщики предположили каждый очаг центром конической юрты из прутьев и шкур, проведя границы юрт по дугам артефактов. А так как очаги расположены слишком близко друг от друга, то реконструировали нечто, отдаленно напоминающее бушменский компаунд: юрты смыкаются и открыты к середине, где у них общий вход (рис. 43).

Люис Бинфорд, проводивший много лет этноархеологические исследования среди эскимосов нунамиут на Аляске (Binford 1978a; 1978b), тщательно наблюдал, как именно эскимосы ведут себя при поедании северных оленей, как они сидят за костром и разбрасывают кости, что в результате остается. Он построил этноархеологическую модель этого процесса (рис. 44). В ней мужчины сидят вокруг открытого костра вне чума, под ними образуется дуга тех мелких обломков, которые они роняют, не замечая (drop zone), а за их спинами накапливаются более широкой дугой кости, которые они швыряют за спину (toss area). Некоторые кости они бросают вперед – за костер.

А так как во Франции мадленского времени была тундра, и обитатели Пэнсвана охотились на северного оленя так же, как эскимосы нунамиут, то Бинфорд счел, что его модель очень подходит к стоянке Пэнсван. Он решил, что в Пэнсване только один очаг (первый) был перекрыт юртой, а два других были открытыми, и везде образовывались такие же кольца мусора, как у эскимосов (рис. 45 и 46). Открытые очаги были не постоянно действующими, а временными для мужских трапез. Это очень существенный пересмотр реконструкции: ведь меняется число обитателей, расчеты демографии, социальная структура.



Рис. 41. Дневная поверхность палеолитического возраста стоянки Пэнсван, Франция, раскопки А. Леруа-Гурана и М. Брезийона (Leroi-Gourhan et Brézillon 1966, repr. Carr 1991, fig. 2).

Затем за эту реконструкцию взялся Кристофер Карр (Carr 1985; 1991). Он вернулся к схеме французских открывателей. У них ведь показано, что не только расположение находок совпадает с предполагаемыми краями юрт – там проходят дугообразные цепочки находок (рис. 47), – но и распределение мелких обломков костей и пятен охры также укладывается в пространство, отведенное для юрт (рис. 42 и 48). Более того, когда Леруа-Гуран применил в Пэнсване рефиттинг (ремонтаж), то к одному орудию или нуклеусу оказались принадлежащими обломки из крайних мест этой всей площадки, занятой юртами (рис. 49 и 50): они разбрасывались в общем пространстве.

Но Карр также заметил, что по характеру все три очага разные (у них разный состав, разная стратиграфия), Различен и состав находок вокруг них. Поэтому

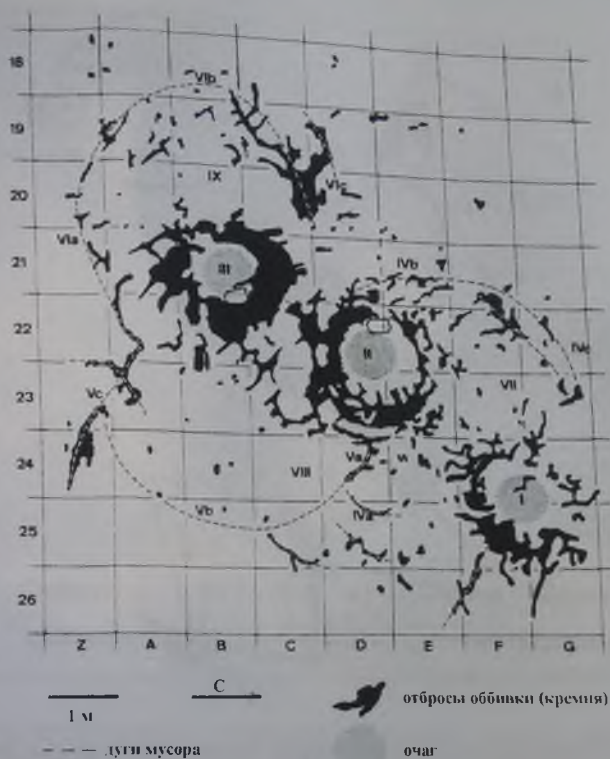


Рис. 42. План стоянки Пэнвен с тремя очагами. Распределение обломков кремня и мусора дугами (Cart 1991, fig. 13 по Leroi-Gourhan et Brezillon 1966, fig. 56,).

он считает, что возможности интерпретации не исчерпаны, что, помимо выдвинутых французской и американской, напрашиваются и другие гипотезы. Возможно, что дополнительные очаги с частичными укрытиями были не для мужских трапез, а для специализированных предприятий (вытапливание жира из костей и хрящей и т.п.).

Таким образом, реконструкция, выполненная на основе одной, даже очень подходящей аналогии, самым выдающимся археологом, оказалась не более убедительна, чем выполненная без формального обращения к этноархеологии. Почему?

Да именно потому, что методика и аргументация не изменились. Этноархеология как отрасль (не говоря уж о науке) имеет смысл только в том случае,

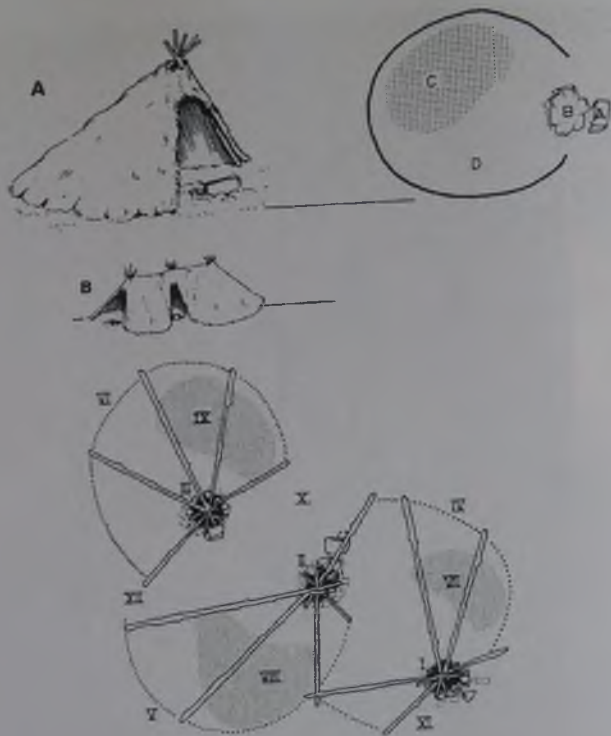


Рис. 43. Реконструкция юрт у Леруа-Гурана и Брезийона (1966, репр. Сарт 1991, fig. 3).

если ворох этнографических параллелей и аналогий будет заменен систематическим исследованием всего человеческого поведения при выведении артефактов из живого оборота, при археологизации культуры. Если будет исследоваться вся совокупность соответствующих закономерностей. Бинфорд проделал значительный шаг на этом пути, исследуя широко жизнь эскимосов как потенциальных создателей археологической культуры, но он заиклился на одной этой аналогии. Леруа-Гуран и Карр показали богатство методических приемов, обращаясь к разным аналогиям, но системного подхода к ним не было и у них.

2. Этноархеология без аналогии. В Америке с самого начала этноархеологии и даже до нее существовало предвзятое отношение к мышлению по аналогии.

Во-первых, существовала длительная традиция “прямого исторического подхода” (*direct historical approach*), сформулированная Дж. Стюардом – пойдем к

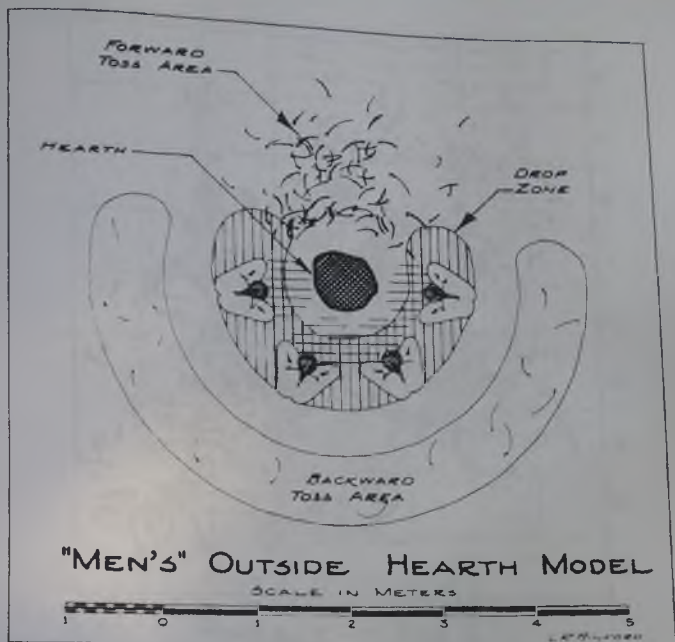


Рис. 44. Этноархеологическая модель расположения эскимосов нунамиут у костра вне чума (Binford 1978, repr. Carr 1991, fig. 4).

ушедшим с этого места индейцам и спросим у них, что это за находки у нас обнаружили в раскопках. Идея эта основана на представлении о непрерывности проживания аборигенной популяции с незапамятных времен на местах, подвергшихся раскопкам. Разумеется, идея эта применима не только к американским индейцам, но и, скажем, к австралийцам (у них ее практиковал Р. Гулд). С некоторой натяжкой ее можно применить к бушменам в Африке (они вытеснены со своих старых мест обитания). Но если уж идти на такие натяжки, то можно говорить о частичной применимости этой идеи к Европе, особенно к ее консервативным регионам – Балканам, северной Скандинавии, где пережитков довольно много – их обильно использовал настроенный против этнографических аналогий Грэйем Кларк в “Доисторической Европе”.

Во-вторых, Новая Археология изначально демонстрировала пренебрежение к этнографическим аналогиям, опираясь на свое убеждение в системности и

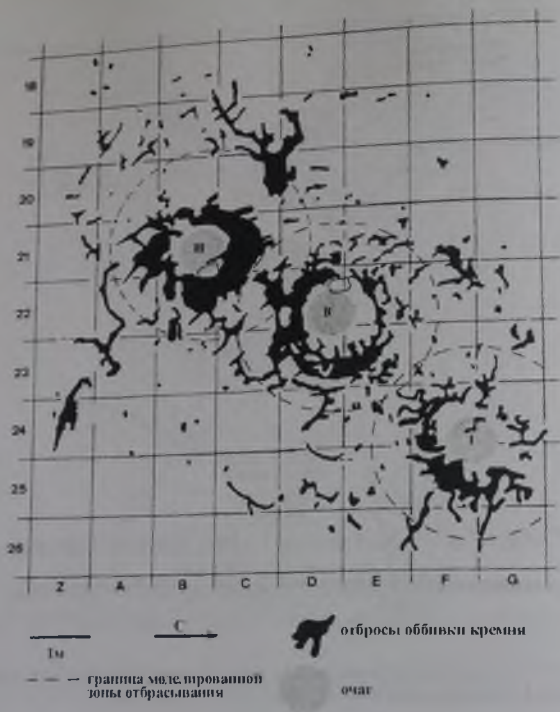


Рис. 45. Модель Бинфорда для стоянки Пэнсван 1, расположение отбросов-обломков кремня (Binford 1978, repr. Carr 1991, fig. 5).

взаимосвязанности культуры, в закономерной связи материальных ее частей с нематериальными, что затем было особенно развито бихевиорной археологией. Не случайно Гулд вырос как ученик Бинфорда.

В-третьих, мышление по аналогии, с его ограничениями и заведомой неопределенностью, претило естественнонаучному стилю и детерминистской логике Новой Археологии. Зачем прибегать к шаткой и неоднозначной опоре на аналогии, когда можно всё установить однозначно по закономерностям и корреляциям, исходя из наличного археологического материала? (Wylie 1985: 91-92).

Феттен и Нолль отмечают, что археологам, верящим в силу аналогий, как Уотсон и Плог, «противостоят «этноархеологи», как Освальт, Гулд, Бинфорд и



Рис. 46. Модель Бинфорда для стоянки Пэнсван 1, расположение отбросов – костей (Binford 1978, repr. Carr 1991, fig. 5).

др., единые в одном: избежать аналогий в своих исследованиях” (Fetten und Noll 1992: 173).

Гулд выдвигает взамен “модель непрерывной преемственности” (*continuous model*). Эггерт пишет о “дилемме аналогического толкования” (Eggert 1991: 46), Феттен и Нолль – об “альтернативе [по отношению к] аналогии” (Fetten und Noll 1992: 168-173). Однако последние авторы пишут и о том, что “модель непрерывной преемственности” подразумевает ту же аргументацию по аналогии: ведь само обращение к разным этапам развития одного и того же населения исходит из наличия большого сходства между ними при существовании каких-то различий – не бывает же полной идентичности разных поколений. Здесь та же аналогия, только с существенными ограничениями отбора, усиливающими вероятность ее

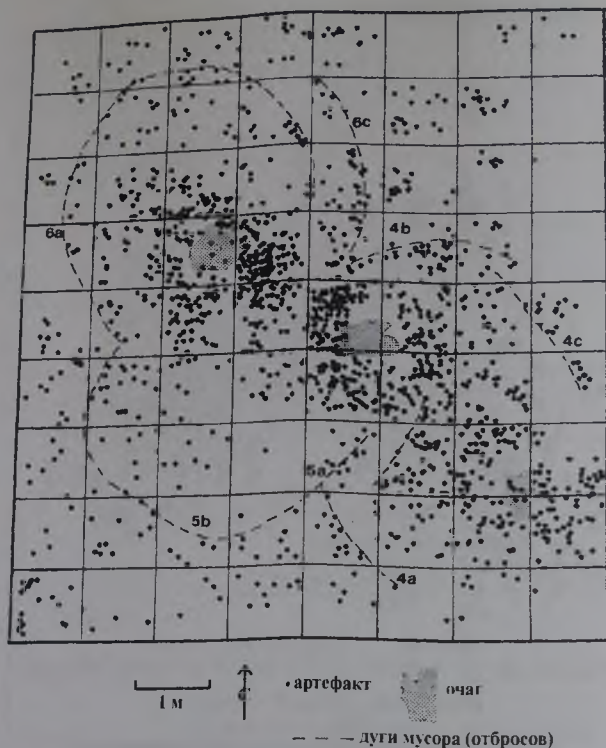


Рис. 47. Четкие дуги находок (артефактов и мусора) в пространстве расположения юрт в Пэнсване 1 (Сагг 1991, fig. 12).

достоверности. А мера сходства и различия поколений может быть разной, как и сосредоточенность этих различий в каких-то аспектах и, соответственно, значимость для результата.

3. Проблематичность униформизма. Ламберг-Карловский совершенно отвергает законы, лежащие в основе этноархеологии. На энтузиазм Крамер и других этноархеологов он заявляет:

“Что вызывает возражения, однако, это представление, что есть униформистские принципы, позволяющие прямую аналогию между современными деревнями и древними деревнями, предположительно того же типа. Это странно романтический, даже неокOLONIALISTСКИЙ взгляд, который предполагает, что изменения не имели места и вариабельность мало значима в сравнении прошлого с современностью”.

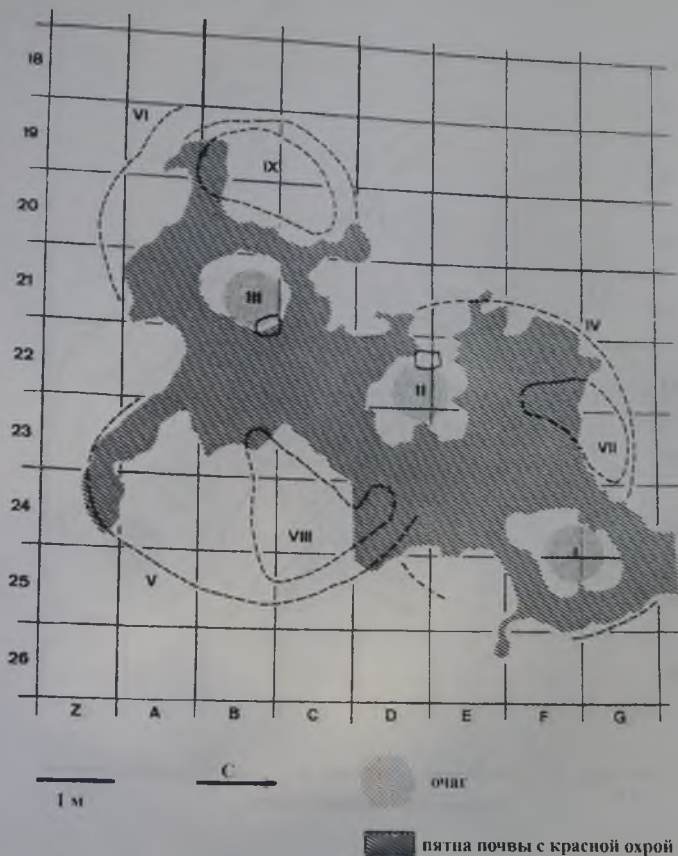


Рис. 48. Распределение мелких обломков и пятен охры в протранстве расположения юрт в Пэнсване I (Сарт 1991, fig. 14).

Так, нынешние бушмены !Кунг рассматриваются как аналогия, по которой можно восстанвливать охотников и собирателей палеолита. Но современные исследования показали, что они не простой пережиток прошлого, а связаны многими контактами с земледельческими общинами окрестностей.

“Можно добавить, – пишет он, – что само представление об эгалитарном обществе – это реконструированный антропологический миф, защищаемый сегодня главным образом археологами, чтобы поддержать свое археологически построенное здание в чистой романтической фантазии, сравнимой с недавним взглядом на !Кунг как «безопасную народность», прежде чем было открыто, что они испытывают больше насилия на голову населения, чем город Детройт! ... Наличие насилия,

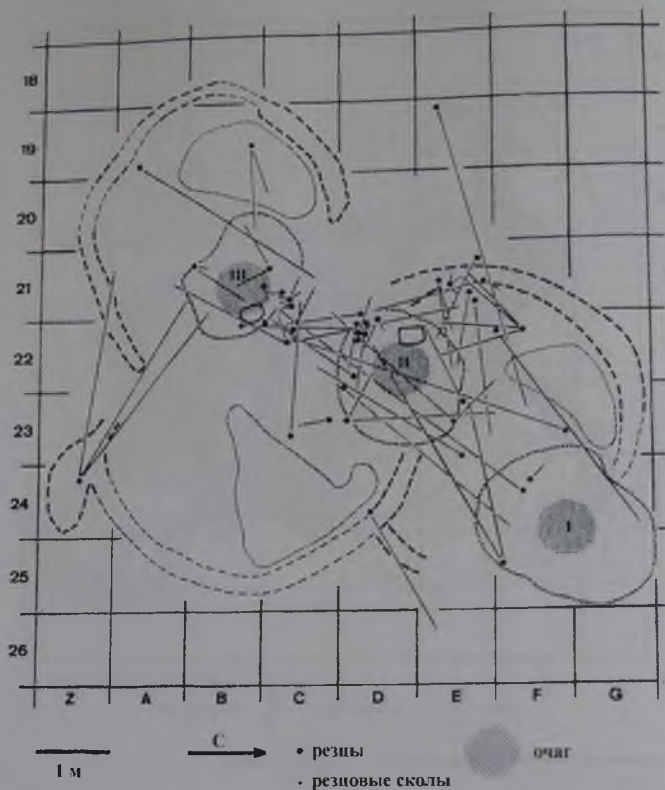


Рис. 49. Распределение связей (апликаций – воссоединения обломков) орудий (резцов) на площади юрт в Пэнсване I (Lerois-Gourhan et Brézillon 1966, fig. 65; repr. Carr 1991, fig. 15).

власти и политики ныне хорошо доказано для Хазды, пигмеев итури, инуит и австралийских аборигенов” (Lamberg-Karlovsky 1989: 960).

И обобщение:

“Униформистские принципы, такие, как вера в универсальность эволюционистской стадии, называемой эгалитарной, по необходимости элиминирует особенности и, поступая так, рисует реальность, которая никогда не существовала. Этноархеологи легитимизируют свои постулаты привилегированным знанием, полученным из их «делания» этнографии. Но слишком ясно, что за идентификацией «эпистемологической ипохондрии» Гирцем покоится представление, что этнография не может легитимировать или доказать археологическую теорию, которая, конечно, является в точности тем, что этноархеологи по их мнению делают” (Lamberg-Karlovsky 1989: 961).

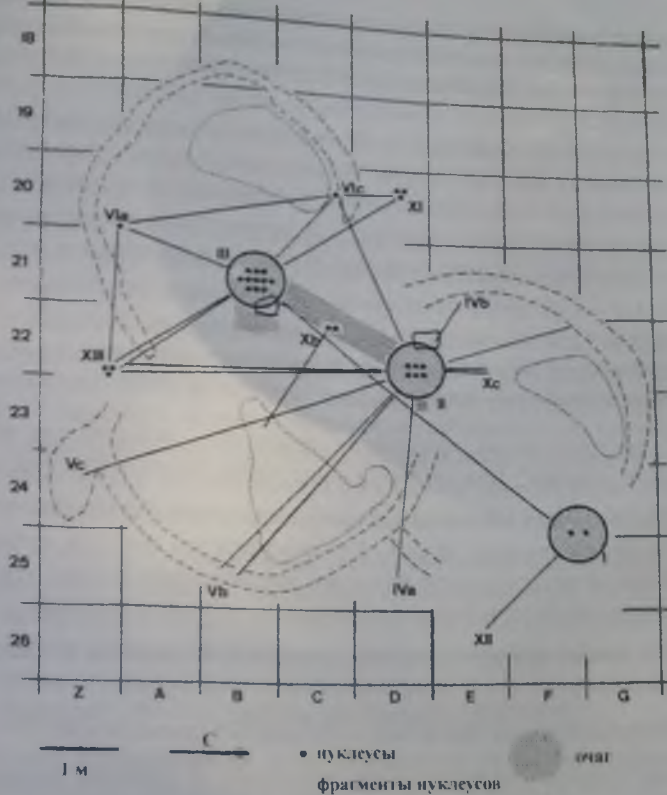


Рис. 50. Распределение связей (аппликаций – воссоединения обломков) нуклеусов на площади юрт в Пэнестане I (Lerois-Gourhan et Brézillon 1966, fig. 63; repr. Cart 1991, fig. 16).

Французский историк Поль Вэн сформулировал общий принцип этого понимания:

“Когда историк для обоснования своей интерпретации обращается к урокам современности или другого периода истории, он это делает обычно, чтобы иллюстрировать свои мысли, а не для того, чтобы их доказать. Несомненно, его тонкое чувство подсказывает ему, что историческая индукция показалась бы логике ужасающе недостаточной, а история – убогой дисциплиной, работающей с аналогиями. Поэтому мы свободны думать, что историки пишут личности как личности, то есть с богатым набором неупорядоченных знаний. Конечно, этот опыт переносим и накапливается, извлекается прежде всего из книг и передается книгами. Но это не метод (каждый получает это опыт, как может и хочет). Никакой не метод, ибо, во-первых, его существование официально не признано, а во-вторых, потому что его нельзя

эксплицитно сформулировать. Он дается знанием конкретных исторических ситуаций, из которых его урок извлекается любым способом. У истории нет метода, потому что ее опыт невозможно сформулировать в виде дефиниций, правил, и законов” (Veune 1990: 114-115).

Это, конечно, крайнее выражение тенденции, вариация на тему Фейсрабендовского “Против метода”, в сфере истории вроде бы наиболее мотивированная. Тем не менее, есть в методике историка и дефиниции, и правила, и закономерности, только во многом вероятностные, с ограничениями и степенями свободы. Но нас здесь интересует не корректировка Вэна, а приложение его взглядов к археологии.

Исходя из того, что история не повторяется, археолог Ульрих Фишер высказывался в том духе, что привлечение аналогий не имеет обязывающей силы и доказательством служить не может (Fischer 1987; 1991).

Вэн предусматривает применение аналогий в истории как концепцию “сравнительной истории”. Она состоит в следующем (Veune 1990; Veit 1993: 139):

1. Прибегание к аналогии для заполнения лакун и построения интерпретации на скудных фактах. Для историка это попытка использования тонкого исторического предания привлечением густого этнографического или исторического описания аналогичных явлений.
2. Сравнение фактов из разных регионов или периодов в эвристических целях.
3. Исследование исторических категорий без привязки к месту и времени.

Ламберг-Карловский недаром так ополчился на принцип униформизма в своей критике этноархеологии. Ведь само обращение к этнографическим параллелям и мышлению по аналогии построено на признании этого принципа. Чтобы работали параллели археологии с этнографией, нужно, чтобы работали параллели в самой этнографии. Если развитие керамики в разных этнографических культурах подчиняется одним и тем же законам, тогда можно привлекать и сходства между археологической керамикой и этнографической керамикой для объяснения непонятных явлений (в первой) по вполне понятным (во второй). А это регулируется принципом униформизма – все явления в мире развиваются по одним и тем же законам. А в археологии это больше всего проявляется как актуализм – в древности действовали те же законы, что и действуют сейчас. Как это формулировал Бинфорд, “мое заключение было, что формирование археологических остатков было в самом деле общим как для современности, так и для прошлых эпох” (Binford 1978: 12).

Именно этот принцип отвергали издавна все те, кто не принимал детерминизма, от сторонников креационизма до иррационалистов разного толка. Эти антидетерминистские настроения охватили археологов, когда увлечение эволюционизмом пошло на спад. С конца XX века диффузионисты, антиэволюционисты, партикуляристы – все они в той или иной мере ограничивали или отвергали

униформизм. Но детерминизм возродился в советском марксизме, затем в неозволюционизме, в Новой археологии и модернистских построениях экологической школы. С особой силой раздражение против детерминизма разгорелось в археологии в эпоху постмодерна, когда доминирование перешло к контекстуалистам, гиперскептикам и постпроцессуалистам. В этой среде сомнение в униформизме стало естественным: факты археологии рассматривались как уникальные, а вариативность – как безбрежная и неуправляемая.

Гулд в споре с Уотсон сформулировал так свою оценку униформизма: “Чем меньше археолог будет зависеть от униформистских предположений в выводах о прошлом человеческого поведении, тем более надежными будут его объяснения” (Gould 1978: 254-255). Он предлагает строить свои выводы не на уравнивании людей в их подчинении принципу униформизма, а как раз наоборот – на выявлении отклонений в каждом случае от стандартного поведения – на выявлении аномалий. Он предлагает “заменить аргумент по аналогии аргументом по аномалии” (Gould 1980: 138). Гулд считает “почти аксиоматическим в науке, что маленькие аномалии или диссонансы между предсказанным поведением явлений разного сорта могут потребовать совершенно различных объяснений” (Gould and Watson 1982: 369).

Но и Уотсон во втором издании своей совместной с ЛеБланком и Редмэном книги сильно умерила категоричность веры в униформистские законы: “Проблема в том, что человеческое поведение столь изменчиво и что культурные системы различаются друг от друга столь многими существенными способами, что они схожи только на уровне общности много выше уровня деталей, которые археологи хотят понять и объяснить” (Watson, LeBlanc and Redman 1984: 259).

Как мне представляется, если отрешиться от односторонних парадигм, то должно быть ясно, что права в известной мере каждая из сторон. Совершенно ясно, что человеческое поведение очень изменчиво, что предугадать индивидуальный выбор можно лишь с определенной степенью вероятности, и строить на этом надежный прогнозы нельзя. В этом смысле все сравнения хромают. В то же время ясно, что в каких-то основных вопросах наблюдаются определенные закономерности, люди совершают схожие поступки в схожих обстоятельствах, некоторые обобщения напрашиваются, и сравнения возможны.

Но вся загвоздка в том, что эти противоположные возможности существуют только как полюса, а между ними пространство неопределенности с постепенным возрастанием одной вероятности к каждому полюсу и убыванием противоположной. Нет четких границ, а следовательно, нет четкого определения в каждом отдельном случае. Очень сложно изыскать основания для математического расчета вероятностей. Следовательно, всё остается на уровне неопределенных прикидок. А это значит, что теоретически есть основания для применения принципа униформизма и построения сравнений и привлечения аналогий, а практически такой возможности построить логически строгую линию рассуждений с четкими выводами нет.

Этноархеология работает лишь как эвристическое средство, не как система доказательств. Доказываются этноархеологические наброски как всякая гипотеза – независимыми фактами и комбинацией деталей. Как отметил Ульрих Фейт, “работа с аналогиями не требует специфического метода кроме традиционной методологии исторической археологии” (Veit 1993: 135).

Как осуществляется увязка этнографического контекста с археологическими истолкованиями через этноархеологическую исследовательскую программу? Рассмотрим пример “срочной археологии”. Дж. Еллен в одном из становищ “желтых” бушменов Кунг обнаружил на заселенном участке семь жилых гнезд вокруг очагов (рис. 51 – Yellen 1977; Gregg et al. 1991, fig. 1). Когда бушмены покинули это поселение, тотчас был проведен сбор археологического материала – обломков костей, камня и т.п. Они располагались россыпью, в которой на глазок можно было

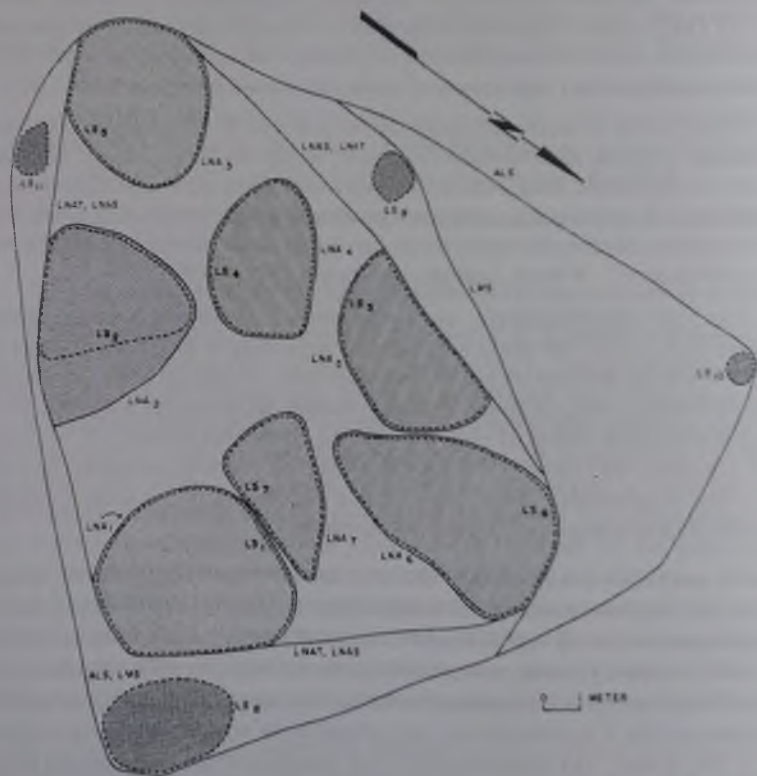


Рис. 51. План становища бушменов Кунг по Дж. Еллену (Yellen 1977, repr. Gregg et al. 1991, fig. 1).

усмотреть скопления в местах жилых гнезд (рис. 52), но Сюзан Грегг с соавторами захотели выявить их объективно, не на глазок. Они применили к этой россыпи кластерный анализ. Далее всё зависело от критериев деления. По одному критерию материалы разделились автоматически на три территориальных блока, по другому – на семь (рис. 53), по третьему – на восемь (рис. 54). Далее изучалась специфика материалов в каждом из выделенных блоков, и эти данные, сверенные с известным заведомо этнографическим контекстом, можно было использовать для анализа близкого облика чисто археологических материалов, полученных в других памятниках.

Манфред Эгерт применяет к этноархеологии “лестницу возможностей” Хокса. Он считает, что на уровне технологии и функционального определения находок нет проблем (что мне представляется не столь бесспорным). Проблемы появляются в применении заключений по аналогии к более высоким сферам – социально-политической и ментальной. Есть ли тут закономерности, позволяющие перенос выводов? После 20-летнего занятия этноархеологией Манфред Эгерт пришел к выводу, что “эмпирическое доказательство подобных закономерностей до сего времени не удалось, и ничто не дает повода предполагать, что такие «куль-

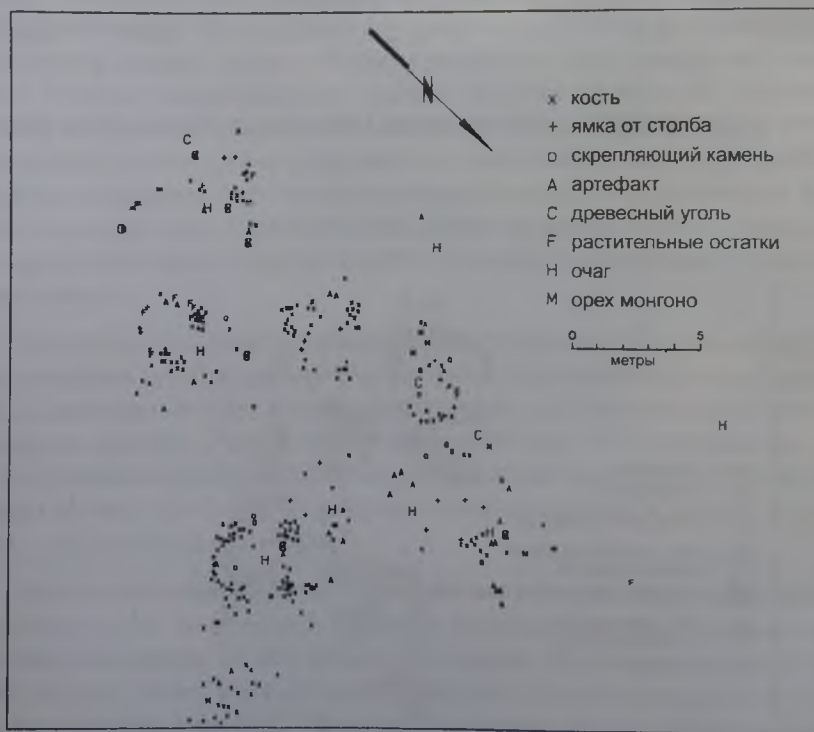


Рис. 52. Распределение находок в покинутом становище бушменов Кунг по Дж. Еллену (Yellen 1977; repr. Gregg et al. 1991, fig. 2).

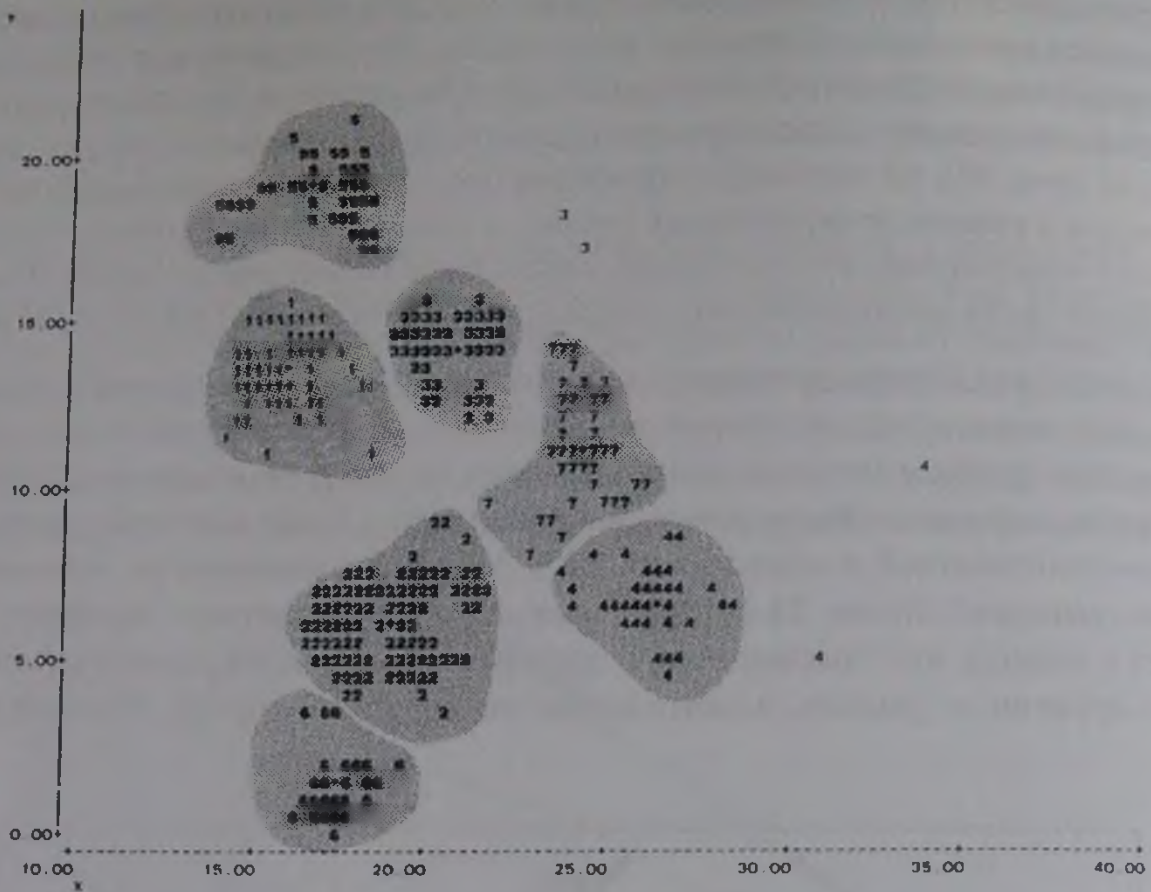


Рис. 53. Распределение материала лагеря 14 по семи кластерам у Грегг (Gregg et al. 1991, fig. 6).

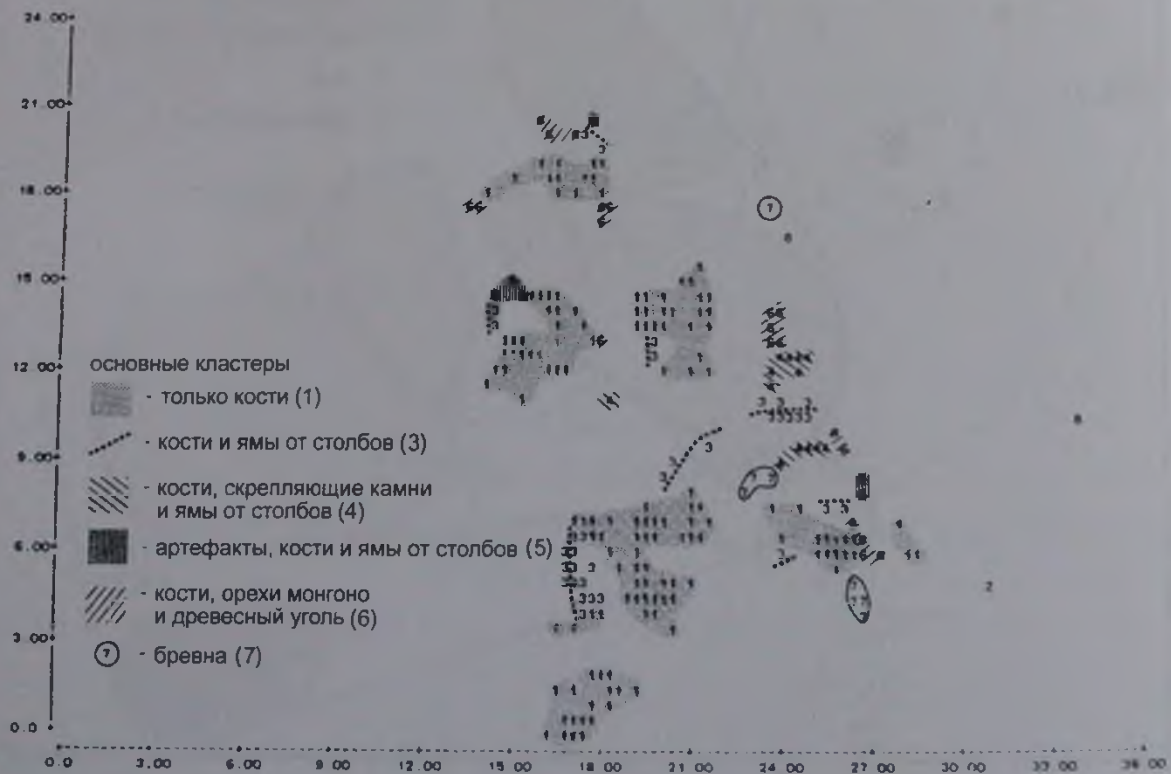


Рис. 54. Распределение материала лагеря 14 по восьми кластерам у Грегг (Gregg et al. 1991, fig. 8).

турные законы» удастся выработать». При недостатке устойчивых отношений между материальным и нематериальным он относится скептически к целям этноархеологии. По его выводам, «твердой», т.е.

«основанной на «культурных законах» этноархеологии нет. Вместо нее предлагается «мягкий» вариант, который я в другом месте ... защищаю под обозначениями «сравнительно-культурная и структурная» или «культурно-антропологическая перспектива». Это угол зрения, который схватывает исторически выросшего индивида в контексте его структурных переплетений» (Eggert 1993: 147).

Он разъясняет, что подразумевается типизация исторически и этнографически постигаемых обществ, важных для археологии, систематизация отношений между их различными сферами. Если результат негативен, то отношения между археологией и культурантропологией сводятся к уровню индивидуальных случаев, а если результат позитивный, то выводы прилагаются к археологии. Но и это в силу амбивалентности археологических источников «остается очень приблизительным» (Eggert 1993: 148).

4. Сопоставимость археологических и этнографических данных. Этноархеология построена на сравнении археологических материалов с этнографическими. Но каждая из этих наук обладает своей спецификой, своим преломлением данных, своим отбором материалов, попадающих на освещенный участок. Поэтому сопоставимость данных является проблемой. Обычное представление о механизме этноархеологической работы сводится к тому, что лакуны в археологическом материале закрываются заимствованиями из этнографического материала, но практика учит, что простое копирование этнографических деталей и перенос их на археологические объекты далеко не всегда удается. Иногда важные черты археологических объектов вообще не имеют соответствий в этнографическом материале.

Герд-Кристиан Венигер проследил это на примере зубчатых острий (острий с крюковидными зубцами) северных охотников. Археологическими объектами являлись мадленские острия, а этнографическими – острия индейцев и эскимосов из Северной Америки. Разные виды этих острий (рис. 55) употреблялись как гарпуны и стрелы-гарпуны (для охоты на крупных рыб и морских млекопитающих), длинные стрелы – для охоты на наземных млекопитающих и развилочные стрелы и копья – для охоты на рыб и птиц.

Археологические объекты отличались от этнографических, прежде всего, в двух существенных пунктах: все они были изношенными и выброшенными, с повреждениями, и многие из них вышли из починки, то есть не сохранили первоначальной формы. Далее, многие палеолитические предметы несут на рукояточной части заштрихованность (рис. 56), которая служила для прочности крепления на рукояти – ныне такие рукояти не употребляются, и на этнографических предметах этой штриховки нет. Штриховка на дистальной стороне рукояточной части острия служила для неподвижного крепления, а на дистальной части – для подвижного,

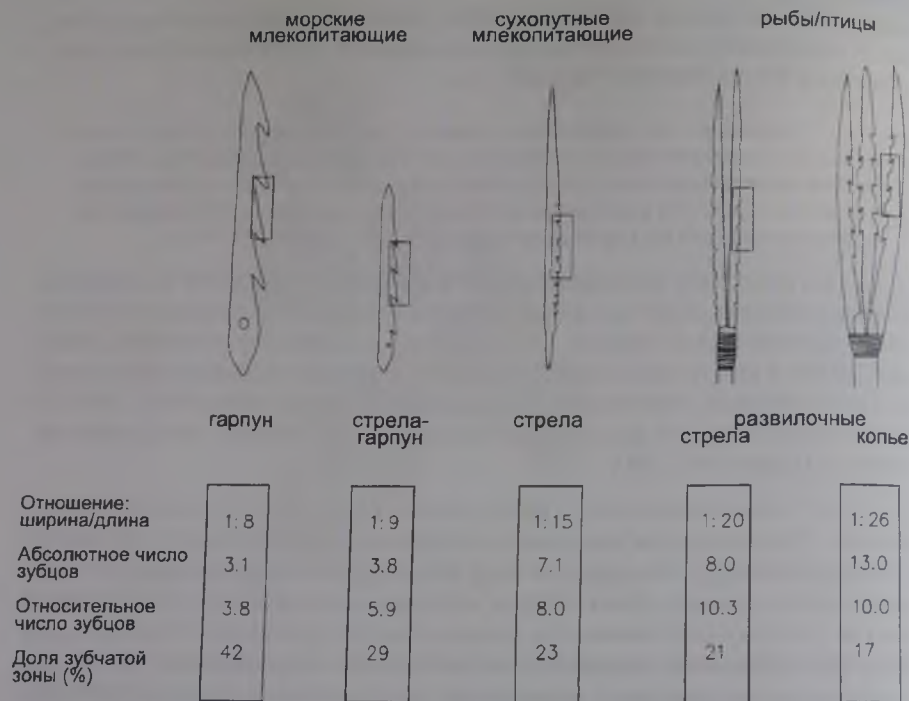


Рис. 55. Пять функциональных типов острий с зубцами по Венигеру (Weniger 1993, Abb. 1).

то есть скорее для привязи, а не самого острия. То есть важный признак для определения механизма действия и функций орудия не вытекал прямо из этнографических аналогий, а устанавливался иначе.

Рассмотрев и другой материал, автор пришел к следующим знаменательным выводам:

“1. Голое калькирование данных бессмысленно. Этнографические данные доставляют не лист для выкройки, из которого археологи могут кроить себе новые одежды.

2. Одна лишь квантификация данных не улучшает их сравнимость. Только когда особенности археологического материала учитываются и соответственно обрабатываются, трансформация осмысленна. Надежда на однозначные приладки – иллюзия. Археолог должен свой материал дальше истолковывать и всё взвешивать – со всеми привходящими ошибками и субъективными оценками.

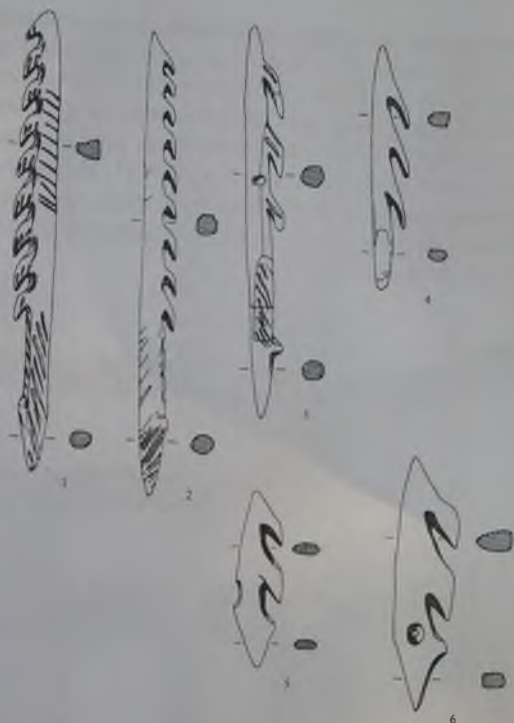


Рис. 56. Штриховка на основаниях острий с зубцами (1-3) и изнашивание мадленских острий с последующей обработкой (4-6) по Венигеру (Weniger 1993, Abb. 2).

3. Без выстраивания внутриархеологических структурных элементов и техник анализа, без их знания и использования, также и в рамках этноархеологического сравнения никакая успешная интерпретация невозможна.

4. Эволюционно исторические признаки, которых нет в рассматриваемом этнографическом материале, могут иметь решающее значение.

5. Самым перспективным является не простое сравнение, а аналитический метод, который исходит из подобных механизмов действия в обеих выборках и рекомбинирует различные структурные элементы соответствующей выборки” (Weniger 1993: 176).

Я уже упоминал работу с аналогиями мадленским остриям с одним зубцом. Здесь уместно рассказать о них подробнее.

В верхнем палеолите Франции (солютре и особенно мадлен), а также (реже) в Бельгии и Швейцарии часто находят костяные или роговые брусья, иногда

украшенные, с крюковидным зубцом на одном конце, иногда замененным выемкой с отчетливым уступом. Как зубец, так и уступ выемки образуют противодействие для силы, направленной от противоположного конца бруса (рис. 57). Было бы очень трудно догадаться о функциях этих брусьев, если бы подобные не использовались до недавнего времени в культурах отдаленных районов мира – у отсталых племен Америки, Австралии и на Камчатке (рис. 10, 11, гл. 2). Это копьеметалки (рис. 58), использующие искусственное удлинение руки как увеличение рычага для достижения большей дальности полета и соответственно большей пробивной силы копья (рис. 12, гл. 2) (Stodiek 1993).



Рис. 57. “Однозубцовые гарпуны” (костяные и роговые стержни с крюком или выемкой на одном конце) из палеолита Западной Европы (по Геккелю – Haeckel 1961a).



Рис. 58. Реконструкция копьеметалок из «однозубцовых гарпунов» (по Геккелю – Haeckel 1961a).

Один из основателей этноархеологии Джон Еллен из Музея Смитсоновского института, весьма почитаемый за свою работу у бушменов Ботсваны, писал об основах этноархеологии:

«Подобно набожности археологическая интерпретация требует «скачка веры». Можно описать, подсчитать и анализировать наблюдаемые явления – такие,

как керамический декор или размещение памятника, образующие основной материал археологического исследования. Статистически или интуитивно значимые конфигурации часто можно продемонстрировать. Но можно только гадать о причинах, о факторах, взаимодействие которых дало наблюдаемую конфигурацию, и это шаг, который требует «скачка веры». С другой стороны, дедуктивные подходы начинают с предварительно существующей уверенности в ряде отношений, и теоретически нужно только определить, как близко специфический корпус данных согласуется с уже установленным критерием. Это должно значительно упростить проблему понимания прошлого, но, к сожалению, сравнительно мало археологических проблем успешно укладывается в эти рамки, а, как правило, легче восхвалять методологические преимущества дедуктивизма, чем использовать нетривиальные модели, надежные в специфических ситуациях... Проблемы у археолога возникают не только от ограниченности и фрагментарности данных, с которыми он работает, но и от более фундаментальной трудности – выявить закон, применимый к материальным остаткам человеческой культуры” (Yellen 1977: 2).

Стремление к аналогиям, как считает Еллен, порождено этой ситуацией, но и несет те же ограничения. В применении этнографических аналогий он видит три существенных трудности. Во-первых, жизнь первобытных людей не обязательно повторяется в современной жизни даже отсталых племен. Во-вторых, современные отсталые племена не повторяют даже своих непосредственных предков, так как оттеснены в худшие регионы. В-третьих, о них мало данных, поэтому межкультурные исследования редко набирают достаточно материала для репрезентативной выборки, и многие вопросы остаются без ответа. Правда, этот последний пункт оставляет поле для улучшения.

В деле обращения к этнографической современности для объяснения археологического прошлого Еллен усматривает четыре подхода, четыре возможности.

1) *Общая модель (general model)*, включающая все идеи заведомо широкой применимости, законоподобные обобщения и т.п. Предполагается, что анализируемые процессы охватывают широкие области и спектры жизни. Но этих материалов и строятся общие модели. Но строя их, необходимо сознавать гипотетичность построений – создается лишь основа для воображения, никак не подтверждение гипотез. Тем не менее, их стоит делать.

2) *Карточный подход (buckshot approach)*, применимый к мелким делам, специфическим деталям, техническим проблемам, которые в силу своей специфичности и узости повторяются в разных странах в одном и только в одном деле. Их трудно доказать, но это лучше, чем ничего. В пример Еллен приводит бушменов, которые размещают свои стоянки не ближе чем в 5 км от берега, хотя и приходится дважды в день ходить это расстояние по воду. Почему? А чтобы не спугнуть дичь, которая ходит на водопой. В палеолите он замечал ту же особенность и полагает, что она имела то же объяснение.

3) *Подход “испорченной сенсации” (spoiler approach)* – имеются в виду такие случаи, когда можно отсеять резоны. Так, например, фаунистические остатки

носят общий характер в самых разных случаях: всегда нужно и можно учесть вид животного, анатомическую часть, обработку костей, пропорции состава, всё это говорит о выборе, забое, характере животноводства и т.п. Если какие-то особенности совпадают, это может говорить о том же факторе в основе. Разумеется, требуется как можно более полное совпадение деталей.

4) *Лабораторный подход* – это когда можно установить ряд условий, ограничивающих наблюдаемые явления и приближающих наблюдение к условиям эксперимента. Увы, это редкая и узкая возможность в археологии.

Свой разбор возможностей этноархеологии Еллен завершает таким высказыванием: “Археологическая интерпретация – это что угодно, но не точная наука, значение же и корректность любого конкретного метода анализа может расцениваться только в субъективнейшем ключе” (Yellen 1977: 11). Это было написано через десятилетие после первого сборника Бинфорда и “Аналитической археологии” Дэвида Кларка с их пропагандой движения к точной науке археологии. Примечательно, что самое начало этноархеологии сопровождалось трезвой и сдержанной оценкой ее возможностей. Но в ней есть и некоторая недооценка. Конечно, этноархеология не делает археологическую интерпретацию точной наукой, но приближает ее к точной науке, заменяя сплошные интуитивные догадки эксплицитной аргументацией и делая выводы более весомыми.

Бинфорд имеет резон, когда отвечает своим критикам (в том числе Елену):

“В науке мы не ищем эмпирических обобщений как средства предсказания. Точно так мы не используем аргументов по аналогии для понимания прошлого. Мы стремимся объяснить эмпирические обобщения как основу для предсказаний, и мы стараемся объяснить условия аналогии между системами как основу предсказаний. Понимание должно основываться не только на предположении, что всё остается таким, как было. ... Я не предлагаю, чтобы нунамиут служили моделью для палеолитического поведения, неандертальского поведения, поведения охотников-собираателей или арктического поведения. Вот пункт, которые все не учитывают” (Binford 1978: 452).

В “Этноархеологии нунамиутов” (Binford 1978) Бинфорд изучал связь между материальными и нематериальными элементами культуры эскимосов нунамиут, практиковавших охоту на оленей в условиях тундры, *учитывая, как на механизме этой связи сказываются конкретные условия жизни нунамиутов*. Если понять это воздействие, то можно перенести выявленные регулярности на другие общества – с учетом, что там части этих факторов нет, а есть другие, и нужно вносить соответствующие поправки.

Так, он установил, что при переселении нунамиуты переносят все свои орудия, так что на месте остаются только отбросы производства. То же можно увидеть на стоянках верхнего палеолита, но совершенно иная картина на памятниках среднего палеолита – мустье. Там на каждой стоянке представлен весь спектр орудий этого общества. Бинфорд объяснил это тем, что у людей среднего палео-

лита еще не было сформировано плановое мышление – они бросали всё на старом месте, не предусматривая, что эти орудия им пригодятся на новом месте, и, придя туда, начинали изготавливать весь набор заново (Binford 1973: 249-251).

Этноархеология выглядит у своих ведущих представителей не слишком многообещающей и не столь уж наивной.

Часть II. Развитие и движение культур

Глава 7. Понятие культуры

1. Выбор подхода. Понятие культуры, в основном исследуемое социоантропологами или этнографами, применяется в археологии постоянно. Более того, многие не улавливают различий между этим понятием и археологической культурой, а разница существенная, но всё же археологическая культура – это спецификация общего понятия культуры. А когда в интерпретации мы продвигаемся от археологических культур к историческим явлениям прошлого, мы стремимся получить те культуры, которые подлежали бы ведению этнографов и социоантропологов. Поэтому, подходя к интерпретации археологического материала, надо разобраться с понятием культуры вообще.

В современной науке, и за рубежом, и у нас, все больше утверждается представление о *фундаментальности* понятия “культура” в изучении общества и человека (Маркарян 1969: 5, 65; Лотман 1970: 1; Соколов 1972: 18; Межуев 1977: 3). Наиболее современным подходом к определению понятия “культура” считается парадигмальный подход (один из аспектов системного подхода) – с позиций матричной системы понятий, сложившейся в этой сфере науки. Требуется отыскать в этой системе вакантное место для понятия (то есть необходимость в новом понятии с точки зрения завершенности системы) или готовое понятие, оставшееся без термина. А если термин *культура* близок к найденному по своему традиционному употреблений, то из места понятия в системе и предлагается исходить при его определении (Маркарян 1969: 25-27; 1972: 44-47; Каган 1974: 23-24, 181-183; Яковлев 1978: 21-23).

При всей привлекательности этого подхода – строгого, широкофокусного и цельного – у него есть существенные слабости: опасен возможный отрыв от длительной терминологической традиции, а, кроме того, трудно учесть полифункциональность понятия, за которой стоят многомерность и многоаспектность явления. А поскольку матричная система понятий оказывается отнюдь не столь завершенной и общепризнанной, как представляется энтузиастам этого пути, “культура” в ней у разных исследователей попадает на разные места, и чтобы достичь общеприемлемого определения, остается надеяться на конвенционализм. Между тем такой обход трудностей обычно приносит лишь временное и иллюзорное облегчение; он никогда еще не устранял всерьез реальные проблемы.

Видимо, не стоит игнорировать исторический опыт науки и накопленные в разных определениях культуры ее характеристики. Толкований термина *культура* (вместе с родственным ему термином *цивилизация*) и дефиниций соответствующе-

го понятия накопилось очень много – несколько десятков со времен Цицерона до начала XIX в. (Niedermann 1941) и 164 – с 1871 г. до 1951 (Kroeber and Kluckhohn 1952), а с тех пор их прибавилось еще немало (Hatch 1973; Keesing 1974). Однако на деле многие ученные дефиниции различаются лишь словесным оформлением и непринципиальными деталями (Каган 1974: 180), а самостоятельных концепций культуры, которые был бы смысл принимать в расчет, далеко не так много, и появились они отнюдь не со времен Цицерона.

Было бы неправильным заходить еще дальше и преуменьшать значение такого многообразия толкований понятия “культура”, как это делает Б.Д. Яковлев.

“Многозначность понятия культуры, – пишет он, – вообще сильно преувеличена, и нам не кажутся существенными сведения о том, что те или иные авторы «насчитали» 150, 200 или 250 определений культуры, дававшихся в разное время и по разным поводам. В подобных случаях речь идет не о многозначности; категории культуры, а скорее об употреблении термина «культура» в существенно разных значениях” (Яковлев 1978: 13).

Это не так. Язык не столь капризен. Когда один и тот же термин употребляется для обозначения, казалось бы, “совершенно разных явлений” (Яковлев 1978: 14), то обычно это неспроста. Это значит, что эти явления как-то связаны друг с другом – функционально, генетически или хотя бы внешне, а может быть, и представляют собой разные стороны одного сложного явления. В частности, так обстояло дело с разными концепциями “археологической культуры” (Клейн 1970). Учитывая широкую употребительность понятия “культура”, есть основания полагать, что так же обстоит дело и с концепциями культуры.

Крёбер и Клакхон группировали их по очень произвольно выбранным и не единым формальным критериям (получилось 10 групп); А.И. Арнольдов и его соавторы распределили концепции культуры по философским ориентациям создателей этих концепций (Основы 1976), что не вполне адекватно теме, так как культура – не только философская категория (она не менее тесно связана с этнографией, социологией и историей), и определение культуры – не чисто философская проблема. С.А. Артановский объединил все определения в три большие группы – по источнику, из которого дедуцируется определение, то есть по фактору, проявлением или результатом или подчиненным инструментом которого считается культура. В одной из этих групп культура рассматривается как *результат целенаправленной деятельности* – обработка природы (в том числе природных данных самого человека) и ее средства, в другой – как *объективация духа*, в вещах и навыках, в третьей – как *продукция общества*, материальная и духовная, *получаемая индивидом от общества* и необходимая для жизни в обществе. Эти группы Артановский назвал соответственно, “за неимением лучшего”, философско-антропологической, феноменологической и этносоциологической (Артановский 1967). Последняя группа оказалась непомерно большой.

Мне кажется более плодотворным рассмотреть концепции культуры в контексте тех идейных (в конечном счете, социально-исторических задач, для решения

которых предназначалось понятие культуры, – вне зависимости от того, в каких отраслях науки эти задачи наиболее интенсивно разрабатывались. Тогда классификация концепций будет строиться не на формальных критериях, а на содержательных, сама же классификационная система предстанет как бы *филогенетической*.

За таким подходом, по крайней мере, то преимущество, что он позволяет проследить историю понятия “культура” в науке и увязать эту историю с развитием общественных представлений, запросов и стоящих за ними социальных интересов. То есть это подход исторический. Кроме того, при обзоре акцент на содержании понятия позволяет учесть все разнообразие содержательных характеристик понятия, выдвигавшихся в разное время, и приблизиться к определению общих, инвариантных характеристик самого явления. А увязка частных характеристик с теми или иными социальными интересами, оценка прогрессивности этих интересов и выявление тенденций содержательного изменения понятия помогут при разработке определения культуры, адекватного современным потребностям, более целенаправленно учесть социально-исторические задачи нашей науки.

Исходя из такой установки, представляется логичным рассмотреть историю теоретической мысли по данному вопросу в науке Запада (чему и посвящена данная глава) отдельно от ее развития в советской науке (которое автор предполагает рассмотреть в другой работе).

2. Начало традиции: первые превращения. Само слово “культура” (лат. *cultura*) долго употреблялось в смысле “обработка”, “культивация” и непременно с дополнительной спецификацией: обработка чего-то (например, *agricultura* – “обработка почвы”, *cultura animi* – “обработка души”). Только в XVII в. оно появляется во Франции, потом в Германии без дополнения – как самостоятельная лексическая единица – и занимает место в прямой оппозиции к слову *природа*: “культура” – “натура” (Орнатская 1968). Мыслители века Просвещения (Вольтер, Руссо, Гердер) выступили с критикой современного им общества, современного образа жизни и с апологией нового образа мышления. Они задумались над тем, как исторически сложилось все это противоречивое скопление достижений и недостатков и каков должен быть путь их исправления.

Понадобилось проследить движение человечества от “естественного” состояния к “цивилизованному”, и возникла потребность в парных понятиях, которые бы выразили эту оппозицию. Отказавшись видеть причины исторических сдвигов в деяниях властелинов или в Божьей воле, эти мыслители возложили надежды на распространение свободомыслия, на просвещение народа. Поэтому в возникшей оппозиции “культура” понималась как обработка природного ума, образованность всей совокупности членов общества, “вторая природа” (по Гердеру).

Немецкая классическая философия первой половины XIX в. развила эту концепцию, расширив круг явлений, охватываемых понятием “культура”: по Кан-

ту, это и организация совместной жизни в обществе, обуздание животного эгоизма, чувство долга, мораль. Все они достигаются индивидуальным самовоспитанием цивилизованного человека, а оно связано с самопознанием и есть дело разума. Разум же дан человеку не от природы, а свыше. Средоточие культуры, по Канту, – цивилизованный индивид, личность, а суть культуры – априорные истины, познание которых составляет важнейшую проблему и неотделимо от сути культуры.

Сочетание реакции на Французскую буржуазную революцию с антинаполеоновским национально-освободительным движением в Европе породило внутренне противоречивую генерацию немецких романтиков. Они поставили над сознанием индивида расово обусловленный “народный дух” (*Volksgeist*), в котором видели ключ к объяснению и обоснованию национального единства и преемственности национальных традиций. Понятие культуры для них стало внешним (проявляющимся в единстве стиля) выражением “национального духа” и средством оформления и фиксации этого единства. “Культура (вообще)” расчленилась на “(национальные) культуры” и выступала лишь как их сумма.

Если у Канта источником культуры был априорно заданный индивиду разум, а у романтиков – надиндивидуальный национальный дух, то у Гегеля на этом месте выступает предельно обобщенный объективный дух, проявляющийся в логике истории, сосредоточенный в благе государства и познаваемый абстрактным мышлением. Но он существует вне зависимости от познающего субъекта. Признавая самоценность культуры в развитии всеобщего абстрактного мышления, Гегель связывает это абстрагирование с разложением конкретного на особенности, с разделением труда в буржуазном обществе, со специализацией и в потребностях. Способность ограничивать себя в труде и потреблении отличает цивилизованного человека от животных, образует условие включения его в общественную связь и характеризует культуру (Межуев 1977: 20-59).

Под влиянием романтиков и отчасти Гегеля оформилась “немецкая историческая школа” (Савиньи, Нибур, Ранке и др.). В условиях растущей агрессивности юнкерства и буржуазии Германии “историческая школа” представила исторической целью объективного духа благо Германского государства и развила идею о предопределенной “национальным духом” неравноценности народов – о народах “активных” и “пассивных”, “исторических” и “неисторических”. Одни, де, способны самостоятельно развить высокую культуру (*Kulturvölker*), другие осуждены оставаться на низком уровне, в естественном состоянии (*Naturvölker*). Так понятие культуры было использовано для сортировки народов на “высшие” и “низшие” и соответственно сузилось, исключив бесписьменные народы. Бесписьменные народы трактовались как “неисторические”, а первобытные – как “доисторические”: история начиналась для этих ученых с введения письменности – не только потому, что считалась уделом лишь “культурных народов”, но и потому, что эти ученые не доверяли устной традиции и отказывались от оценок и обобщений, ограничивая историю изложением событий, освещенных в письменных источниках, особенно в документах. В конкретной методике “историческая школа” придерживалась наи-

вного эмпиризма. Вот почему представители этого направления сводили определение культуры к бессистемному перечню ее эмпирически наблюдаемых компонентов. В рамках “исторической школы” был выполнен первый крупный обобщающий труд о культурах (Klemm 1843-1852).

Этот труд оказал большое влияние на лидера этнографического (“антропологического”) *эволюционизма* 60-70-х годов XIX века, Э. Тайлора, и передал эволюционистам, выступавшим под знаменем позитивизма, эмпирически-описательное определение культуры. Вот показательное пояснение Э. Тайлора: “Как каталог всех видов растений и животных известной местности дает нам представление о ее флоре и фауне, так полный перечень явлений, составляющий общую принадлежность жизни известного народа, суммирует то целое, которое мы называем его культурой” (Тэйлор 1939: 5. – Разрядка моя. – Л.К.).

Однако понятие изменилось. Ученые немецкой “исторической школы” понимали исторический процесс как ряд постепенных изменений и отстаивали преемственность, традиционности и постепенность. Противопоставляя это духу революций, они не принимали идеи закономерного прогресса и единства человечества. Эволюционисты же, питаемые идеологией буржуазии, достигшей апогея в восходящей линии своего развития, как раз эти идеи и добавили к представлению о постепенном изменении в истории. Соответственно все народы расположились у них на ступенях единой лестницы эволюции, деление на *Kulturvölker* и *Naturvölker* отпало, и понятие культуры расширилось, охватив как письменные, так и бесписьменные народы, как современные, так и древнейшие, а слово *доистория* (*преистория*) утратило свой уничижительный оттенок. “Культура (вообще)” стала главным объектом исследования и выступала на каждом уровне своего развития как обобщение и усреднение (“частных” культур” этого уровня. Описать, суммировать, обобщить, усреднить – этого казалось достаточно, чтобы адекватно представить и понять мир культуры.

Впрочем, определение Тайлора не всегда было таким уж чисто описательным, сугубым перечнем. В другом месте, реализуя перечень, он отмечал и общие признаки, выражающие специфику культуры в его понимании. Свою “Первобытную культуру” он начинал с определения: “Культура, или цивилизация, ... представляет собой сложное целое, включающее познание, верования, искусство, мораль, право, обычаи и некоторые другие способности и привычки, приобретаемые человеком как членом общества” (Tylor 1871: 1). Концовка фразы здесь вводит в определение и связь с обществом, и воспитание-обучение, и небологический характер культуры.

3. Перелом. Но оптимистические перспективы буржуазного развития вскоре после франко-прусской войны и Парижской Коммуны затянулись туманом и грозowymi тучами. “Объективный дух” Гегеля, представ в обличи всесильной государственной машины Германской империи, оттолкнул от себя индивидуали-

стически настроенных буржуазных либералов. Угрожающий рост рабочего движения отшатнул буржуазных мыслителей от идеи прогресса и от веры в исторические закономерности. А это вместе с усложнением перспектив выдвинуло на первый план специфику и трудности познания социокультурных явлений.

Эти тенденции сказались в двух течениях, определявших развитие представлений о культуре в последние десятилетия XIX и первые десятилетия XX в., – *неокантианстве* и *неоромантизме*.

Неокантианцы Баденской школы (Риккерт, Виндельбанд) развили учение об уникальности каждого события человеческой истории, исходя из чего выдвинули индивидуализирующий метод и идиографическое понимание задач исторического познания (в противовес номотетическим – нацеленным на выявление законов – задачам естествознания и некоторых социальных наук). Неокантианское представление о культуре служило целям размежевания научных методик – естествоведческой и гуманитарной. Природный объект, с точки зрения неокантианцев, получает культурный смысл лишь как социально значимое явление, как носитель общественного отношения, средство связи между конкретными людьми. Культура, по Риккерту, и есть сфера индивидуальных значений, ценностей. Это определение “культуры (вообще)” и – позже – такое понимание культуры развивал Клакхон.

Неокантианец Кассирер (Марбургская школа) отделил эти значения от реалий. Человек, по Кассиреру, создал собственный идеальный мир – систему символов, призванных облегчить мышление о мире. Но эта система произвольно созданных символов одновременно отделяет человека от практического мира, заставляя действительность от разума. Культура и есть искусственная, условная, символическая вселенная, в которой живет человек. Она получает свою специфику не от материала, использованного для построения символов, а от их формы. Позже эти идеи нашли продолжение в структурализме.

Романтические традиции немецкой “исторической школы”, отброшенные эволюционистами, вскоре (уже в 80-90-е годы) были подхвачены “*антропологеографией*” Ф. Ратцеля, из которой в начале XX в., подавив идею прогресса и единства человечества, выросли обширные течения миграционизма, диффузионизма и – отчасти – *энвайронментализма*. “Культура (вообще)” снова утратила реальный смысл. Исследования свелись к прослеживанию территориальных, генетических и контактных соотношений народов, к оценке их роли в конкретной истории. В плане культурной истории это означало сопоставлять локальные культуры, определять их этнический характер, их связи и соотношения с расовыми и политическими общностями.

Националистически настроенные миграционисты (типа Косинны) рассматривали национальную (этническую) культуру как выражение национального духа и, следовательно, как результат и одновременно средство национальной интеграции. Культура для них выступала как накопитель и передатчик традиционных форм творчества и бытия. Это означало распространение понятия культуры на все

сферы творчества народа, включая материальную: устройство жилища, утварь и т.п. Кроме того, отсюда убеждение в стилистической однородности: каждой культуры, в том, что возможно опознать культуру по любому ее элементу. Отсюда также внимание к нормативной функции культуры.

Диффузионистам (Берлинская и Венская культурно-исторические школы, американская “историческая школа” в этнографии, Манчестерская школа Э. Смита) такое понимание культуры не годилось: им ведь нужно было проследивать контакты между культурами, влияния, передвижение идей. Об исконном единстве и однородности культуры не могло быть и речи. Каждая культура оказывалась механической, весьма разнородной суммой явлений, унаследованных и воспринятых у соседей, – “вещью из лоскутков и клочьев” (“a thing of shreds and patches”), как ее определил Лоуи (Lowie 1921: 441).

В большой мере этот подход связан с неокантианским представлением об уникальности каждого события истории. Однако неокантианское понимание культуры здесь приспособлено к нуждам диффузионизма. В чистом виде неокантианское (Баденской школы) представление о “культуре (вообще)” отличало ее от природных явлений как сферу ценностей, значений, налагаемых на объекты людьми в процессе общения. Диффузионисты же на этой основе создали представление о “(частной) культуре” как механической сумме таких значений, таких ценностей. Но в центре внимания оказалась у них не “культура (вообще)” и даже не “(частная) культура”, а отдельное конкретное культурное явление (тот или иной обычай, тот или иной вид оружия или украшения и т.п.), его распространение из первоначального очага, его продвижение из культуры в культуру, его индивидуальная судьба.

Поскольку передача вещей сама по себе не поддерживает традиции и не реализует влияния, если не происходит усвоение идей, именно идеи и объявляются составом культуры. Вещи в нее не входят. Культура – это совокупность норм. Индивиды и общества выступают носителями культуры, но не ее творцами. Культура не определяется обществом или психологией индивидов, и ее явления объясняются из других очагов ее же сферы (культурализм). Культура выступает трансцендентной, автономной по отношению к социальной и биологической реальности – Кребер выразил это определением: “суперорганическая” (Kroeber 1917). В ней акцентируется все традиционное, стереотипное, повторяющееся, а явления творческие и уникальные оказываются случайными и вне культуры. Таким образом, в индивидуализирующем рассмотрении культуры у диффузионистов проявился своеобразный аспект: индивидуализация “черт” культуры не означает индивидуализации личностей и поступков.

4. Дивергенция: вневременные концепции. Диффузионистская концепция культуры господствовала по 20-е годы включительно, а в 30-е годы ее влияние пошло на убыль. Одних не устраивали в ней бессвязность и неупорядоченность культуры, других – нормативная ригидность, конформизм, третьих – нематериаль-

ность, четвертых – культурализм, отрыв от экономической сферы. Уже в 20-е годы возникли и скоро ее оттеснили новые концепции, во многом диаметрально расходящиеся. Сказались кризис буржуазного либерализма и поляризация политических сил в связи с наступлением империализма, потрясениями первой мировой войны и победой коммунизма в России. Гносеологическая рефлексия предшествующей поры и увлеченность истоками, историей сменились прагматическими интересами, постановкой проблемы практического действия, попытками очертить объективные факторы, с которыми приходится иметь при этом дело. На первый план в науках о человеке и обществе выступила проблема соотношения индивида с объективно существующими социальными силами – техническими, организационными и идейными. Последние (под названием “коллективных представлений”) еще Дюркгейм на рубеже веков описал как автономную систему, составляющую каркас общества (у последователей Дюркгейма – культуры). Многие идеи функционализма и структурализма восходят к *французской социологической школе Дюркгейма*.

Функционалисты (Малиновский и др.) презрительно отвернулись от гипотез о развитии и происхождении различных культурных институтов – занялись практически полезным (для колониальной администрации) выделением функции каждого такого института в современной жизни конкретного изучаемого общества, оценкой значения каждого такого института для всего данного общества в целом и для сохранения этого общества в сложившемся виде. Для функционалистов культура – это система взаимосвязанных и взаимосогласованных средств поддержания жизнедеятельности отдельного общества (социального организма), средств с четко распределенными между ними постоянными функциями. На первый план в культуре выступает сеть функциональных связей и отношений, в большой мере инвариантная, а конкретные формы средств и их исторические истоки оказываются несущественными.

Связность (системная организованность) и схематичность (от инвариантности) представлений о культуре характерны также – и даже еще более – для структурализма, однако здесь эти качества реализуются на ином уровне. Исследователей интересуют не реальные функциональные связи между социальными институтами, а отстоявшиеся в общественном мышлении изучаемого общества, в идеологических представлениях, в социальной психологии – и выраженные в них формально – постоянные и более общие соотношения между отображениями феноменов реального мира. С точки зрения структуралистов, эти соотношения образуют некую глубинную весьма жесткую структуру, в которой заключен ключ к пониманию жизнедеятельности данного общества или нескольких обществ, у которых такие структуры схожи. Смысл того или иного института выводится не из его реального функционирования, а из позиции его возможного референта в такой структуре.

Эталон такой структуры изучен в языке – в его морфологических парадигмах, фонологических системах и т.п. (Соссюр, Трубецкой, Якобсон, Ельмслев и др.), и разработка распространена на другие сферы жизнедеятельности общества (Сепир, Уорф, Пайк, Барт). Такая же структура усмотрена в конфигурациях

(patterns) народной психики (М. Мид, Р. Бенедикт, Нортроп) и вообще в надиндивидуальных коллективных представлениях (“проективных системах”) – в языке, психике, мифологии (Леви-Стросс). Для структуралистов культура – это, прежде всего, знаковая система, априорно существующая в коллективных представлениях и навязываемая индивиду (энкультурация).

Это представление о культуре (с его философским обоснованием в неорационализме Башляра) близко неокантианскому Марбургской школы (Кассирер), но более абстрактно: символ Кассирера все-таки привязан к содержанию, тогда как знак свободен от него и зависит от взаимоотношения форм, от других знаков.

Структурализму родственна концепция *эмергентизма* (Леви-Брюль, Леруа-Гуран, в какой-то мере Фуко). В ней делается упор на замкнутость культурных систем, на разовость и внезапность их смены, на разрывы между эпохами, на эмергентность появления новых качеств. Подобные системы не связаны инвариантами, и аналогии между ними не могут служить средством объяснения. При такой трактовке культура прошлого (или чужая культура современности) оказывается для исследователя кантовской “вещью в себе” – объективно существующей, но непознаваемой в своей сути. Исследователю остается на место объяснения подставлять описание. Поэтому ветвью эмергентизма оказывается *дескриптивизм* (Гриоль, Леруа-Гуран).

Еще одна концепция нередко причисляется к течению структурализма, хотя на деле разделяет с ним лишь некоторые идеи; она больше продолжает неокантианскую традицию, очистив ее от диффузионистского налета и приспособив к новым запросам. У диффузионистов культура была обесчеловеченной, надиндивидуальной, индивидуализация “черт” культуры не была связана с индивидуализацией личностей и поступков.

Между тем именно такая индивидуализация, или, можно сказать, *персонализация*, потребовалась большой группе исследователей индетерминистского толка (назовем их *персоналистами*), для которых ход истории определяется не какими-то законами, а свободной волей отдельных личностей. Американская часть этой группы (Редфилд, Линтон, Холлоуэлл) занялась изучением индивида в ситуации контакта и взаимодействия культур (аккультурация) и перехода из одной культуры в другую (транскультурация), когда сильнее всего проявляется известная независимость личности от культурной системы. Британские представители этого направления (ученики Рэдклиф-Брауна Эванс-Причард и др.) поставили поведение человека в зависимость от социокультурного контекста (“теория единого социального поля” и “теория социальной сети”). Для всех этих ученых на первый план в культуре выступила зависимость ее проявлений в каждом случае от личного выбора и конкретной ситуации. Культура оказалась прежде всего системой ценностей и значений, очень многообразной и изменчивой. Именно эти ценности и значения, их сохранение, передача и зависимость от контекста стали предметом специального изучения для Клакхона.

С иной стороны выпячивают личностную определенность культуры немецкая “*философская антропология*” (Макс Шелер), а затем ее разновидность – “*биологическая антропология*” (Гелен). По Шелеру, надживотность человека – в духовности и личностных качествах, то есть в свободе личности от родовых инстинктов. Гелен находит этому биологическое обоснование: человек теперь плохо оснащен инстинктами, он – биологически недостаточное существо. Чтобы выжить, он вынужден обрабатывать, переделывать и среду (создавать новую среду) и самого себя. Он вынужден к такой деятельности, из нее и возникает культура. Культура – это совокупность обработанных или созданных предметов вместе со средствами работы, мысленными и вещественными. Поскольку она должна компенсировать недостаточность врожденных импульсов, она оказывается их продолжением и институционализацией, она внеисторична, удерживаясь вне эпох и над классами; изменение ее требует чрезвычайной осторожности. Консервативная тенденциозность такого определения достаточно очевидна.

Все эти концепции, возникшие в 20-е годы и широко развернутые к середине века, характеризуются непререкаемым рассмотрением каждого элемента культуры в некой синхронной системе – в структуре или в контексте – и, в еще большей мере, чем предшествующие концепции, – отказом от исторической перспективы, от идей развития, прогресса. Культуру они изучают в основном не только вне времени (как те), но и вне реального *физикогеографического* пространства.

Естественно, что такой полный отказ от констатации крупных линий движения во времени и пространстве ведет к возрождению идеи *циклизма*, к постулированию круговорота жизни, цикла, проходимого каждой культурой отдельно от других. Эта идея разрабатывается разными школами “*философии жизни*” и зависимыми от них историками (Шпенглер, Тойнби и др.). Отказ от идеи прогресса означает уклон к *культурному релятивизму*, к признанию всех культур и всех культурных явлений равноценными. В век национально-освободительных движений в колониях, в век стремительного подъема Японии европоцентризм явно устарел.

Но отказ от европоцентризма – от уверенности исследователя в том, что его собственная культура выше, а значит, лучше всех, от привычки судить о явлениях других культур по нормам и критериям своей – сопряжен здесь с дискредитацией и упразднением любых критериев оценки: исторического блага и ущерба, достижений и потерь. Применительно к определениям культуры это выражается в требовании убрать из определения аксиологические (оценочные) показатели, сделать определение свободным от оценки (приятия, одобрения, целополагания и т.п.) – просто констатирующим. Все ранние определения культуры носили явно аксиологический характер, эволюционистское было скрыто аксиологическим, миграционистское и диффузионистское – также, правда, в меньшей мере (хотя в определениях и не содержатся прямые требования оценки, она подразумевается делением народов на “высшие” и “низшие”, утверждением превосходства традиционного, стереотипного). Концепции межвоенного времени решительно отвергают аксиологизм.

В нашей литературе принято выделять некую особую школу “культурного релятивизма” (Херскович и др.). На деле такой особой школы нет. Релятивизм и дезаксиологизация характеризуют всю группу концепций и школ межвоенного времени – начиная с философии Шпенглера и функционализма Малиновского, а Херскович лишь сформулировал эту тенденцию отчетливее и острее других.

5. Обновление. Но в послевоенное время ситуация изменилась. Расширение социалистического лагеря и влияние социалистических идей в разных странах, распад колониальных империй и образование “третьего мира” поставили ребром вопрос о генеральном пути развития человечества, о причинах и значении локальных различий. Сохранение отсталых народов в рамках традиционного уклада оказалось нереальным и бесперспективным. Принцип равноценности культур отделен от принципа равноправия народов и существенно ограничен, принцип равноправия доведен до признания права всех народов на высокий уровень жизни и на достижения современной цивилизации. А это потребовало общечеловеческих критериев прогресса, чтобы можно было отличать своеобразие культур, равно развитых, от специфики отсталых по сравнению с передовыми. И, что еще труднее, отличить специфику отсталости от своеобразия коллективной индивидуальности. Сказалось и влияние марксизма.

Быстро выросший *неоэволюционизм* (Гордон Чайлд, Л. Уайт, Дж. Стюард, М. Салинз, Сервис, Харрис, Карнейро, Фрайд) восстановил в правах идею прогресса и детерминизм, занявшись выявлением закономерностей развития. В отличие от эволюционизма XIX в. неоэволюционизм не чурается проблемы революций (правда, хозяйственных и культурных, а не политических), а в основе всего развития полагает не идеи, а рост техники (технологический детерминизм). Кроме того, неоэволюционизм вынужден признать и как-то объяснять локальные различия, которые эволюционизм XIX в. просто игнорировал. Рядом положений неоэволюционизм близок марксизму, но отличается, прежде всего, тем, что не учитывает роли производственных отношений и субъективного фактора – активности личности и социальных слоев в классовой борьбе и революционной смене отношений. У неоэволюционистов люди выступают пассивными исполнителями непреложных законов истории, а революционные действия, по сути, не нужны (культурный материализм).

Для объяснения локальных различий в таком жестко predetermined развитии пришлось обратиться к географическому фактору и признать важную роль природной среды. Неоэволюционизм включил в себя традицию *энвайронментализма*. Это ясно выразилось в “теории многолинейной эволюции” Дж. Стюарда, а особенно – в определении культуры, которое предложил, Л. Уайт. По Уайту, культура – это не только накопитель энерговооруженности человеческого общества, но и средство адаптации человеческого общества к природной среде. Естественно, что облик и изменения культуры оказываются в зависимости от ресурсов и от изменений природной среды.

Сопоставление и обобщение концепций, представленных в данном обзоре, с учетом их социально-исторических функций и динамики позволяет взглянуть на понятие “культура” по-новому в двух ракурсах: историческом и теоретическом (или – что в данном контексте то же – философско-социологическом).

6. Выводы исторического плана. Нетрудно заметить, что абстрактное понятие “культура” и соответствующий ему освобожденный от узких конкретно-технических атрибутов термин *культура* соотнесены с обобщенными характеристиками общества и человека. Это понятие и термин появились в век Просвещения, в период между Английской и Великой Французской буржуазными революциями, в достаточно очевидной связи с идеологическими представлениями поднимающейся буржуазии, осознавшей свои потребности, значение и задачи.

Поскольку буржуазия объективно выступала тогда гегемоном всего народно-освободительного движения, законным представителем народных масс и во многом – выразителем их чаяний, – субъективно, в самосознании буржуазии ее потребности и интересы выступали как разумные и справедливые права и цели всего народа и человека вообще. Особенности буржуазного отношения к миру, к людям, и вещам, особенности буржуазных психологии и поведения, буржуазного понимания принципов общественной организации и функций общества, – всё это буржуазным идеологам свойственно было идеализировать, распространять на все классы, на всех людей и объявлять общечеловеческими характеристиками или, по крайней мере, идеалами. Таковыми оказывались: опора на труд и уважение к труду; тяга к материальному обогащению; расхождение между материальными интересами и духовными устремлениями и их разделенность; индивидуализм; почитание свободной воли как сублимация лозунга свободы предпринимательства; организация государства по принципу “общественного договора” и более того – освящение демократии; требования национального единства, равенства прав и мирного сотрудничества классов и. т.д.

На этой основе и формировалось понятие “культура”. В нем аккумулировались такие черты, которые в их совокупности сейчас современный человек, отодвинутый от зарождения этого комплекса перспективой времени и обогащенный социально-историческим опытом, воспринимает скорее как “буржуазную культуру”, чем как “культуру (вообще)”. Но прилагалось это понятие тогда к явлениям гораздо более широким, многообразным и общечеловеческим, существовавшим, конечно, и тогда, но не имевшим еще иного понятийного выражения. Их втискивали в узкие рамки буржуазного понимания и оформления, что обуславливалось еще и действительной ролью буржуазии и буржуазной интеллигенции в развитии современной общечеловеческой культуры. Это обстоятельство позже ввело в заблуждение крайне левых идеологов пролетариата: они восприняли все культурное наследие человечества как сугубо буржуазную культуру, непригодную для социалистического общества и заслуживающую только одной судьбы – на слом.

Любопытна также трансформация понятия культуры от этапа к этапу истории капитализма. В разные периоды и в разных школах на первый план в понятии культуры выступали разные особенности.

В первых концепциях культуры подчеркивалась благотворность *искусственной обработки* природных задатков человека просвещением. Это рассматривалось как необходимая подготовка индивида к новым устоям общества, к перестройке общества и к жизни в новом обществе. Дух перемен вдохновлял мыслителей, и культура выступала средством перемен. Новообразования, *творчество* составляли ее суть, индивид был ее носителем. Буржуазия подымалась на борьбу, вела за собой народные массы и стремилась обеспечить свободное созидательное индивидуальное участие каждого соотечественника в этой борьбе.

В первой половине XIX в., когда буржуазия обосновалась у власти в ведущих странах Западной Европе и в каждой стране была озабочена консолидацией своего государства или своей нации, над индивидом была поднята и введена в сердцевину культуры идея целостного, *единого общества* – в виде *народного духа (Volksggeist)* или *государственного интереса (raison d'etat)*. Соответственно нормам капиталистической конкуренции и политике захвата колоний *национальные культуры* были обособлены, противопоставлены друг другу и расположены на ступенях иерархии – “своя” культура в каждой такой иерархии оказывалась наверху. Все заметнее буржуазия ведущих стран сторонилась революционных идей, и в концепциях культуры это сказывалось подчеркиванием непрерывности существования, постепенности изменений, солидности традиций. Культура все больше сводилась к *традициям*.

К последней трети XIX в. – времени апогея лидерства буржуазии в Западной Европе – этот комплекс черт был сформулирован в наиболее общей форме как концепция культуры, основанная на постепенной эволюции и на единой иерархии прогресса. И взглянул буржуазный бог на землю и увидел, что мир хорош. Удовлетворенность положением порождала ощущения естественности и понятности накопленных достижений человечества. Чтобы определить культуру, достаточно было описать сумму этих достижений. Культура рассматривалась как явление хотя и надприродное (в смысле: добавленное человечеством), но развивающееся естественно – по законам, которые подобны законам природы, а то и просто по тем же законам, что и природа.

Когда же в конце XIX – начале XX в. лидерство буржуазии в прогрессе человечества пошатнулось и появились опасения, что господство ее стало клониться к упадку, в культуре привлекли внимание буржуазных мыслителей как раз те особенности, которые противоречат взгляду на нее как на развивающееся явление, детерминируемое законами. Или, по крайней мере, такие особенности, которые затрудняют выявление законов. Эти черты: *уникальность* ее элементов, *ненаблюдаемость* мысленных факторов, столь важных в ней, ее *постоянство* (стереотипы на первом плане), ее *независимость* от *социальных сил* (ввиду полной автономно-

сти или ввиду направленности на адаптацию к природе, а значит, зависимости от природных условий).

Сначала эти идеи выступали в комплексе (диффузионизм и родственные концепции), потом, с 20-30-х годов, в связи с общим кризисом буржуазной идеологии и идейным разбродом, они разрабатывались и абсолютизировались порознь, в разных отдельных одновременных концепциях. Для них всех, однако, характерно нечто общее – *отказ от перспектив развития*, от идеи прогресса, вневременное рассмотрение культуры (функционализм, структурализм и родственные им концепции). Разочарование в идее прогресса вместе с кризисом европоцентризма привели к устранению оценочных характеристик из концепции культуры (*дезаксиологизация*).

Главной заботой буржуазной социологии в это время стала стабилизация положения, и в культуре теперь увидели совокупность средств *стабилизации общества и регулирования* его отношений с индивидами, другими обществами и природой.

В последнее время появились компромиссные концепции, нацеленные на учет и ассимиляцию революционных идей при сохранении ведущей роли основных принципов буржуазного понимания культуры.

7. Советские концепции культуры (очень краткий обзор). В советской научной литературе разработано несколько концепций культуры. Для всех этих концепций характерны некоторые общие черты, отличающие эти концепции от культурологии Запада: признание неразрывной связи культуры с обществом (нет никакой “культуры зверей” и никакого общества без культуры), убеждение, что труд является основой культуры, увязка культуры с исторической практикой человечества. Но в рамках этого согласия есть существенные различия в представлениях и дефинициях.

По одной советской концепции (Арнольдов 1960; 1973; Арзаканьян 1961; Основы 1976), культура понимается как творчество человека и коллектива, как творческий процесс, его средства и результаты. Эта “*процессуальная*” концепция хорошо объясняет динамическую природу культуры и подчеркивает роль личности, но пасует в объяснении стабильности и преемственности культуры, а стереотипы и нормы выпадают из культуры.

Как раз устойчивость, стабильность, живучесть культуры подчеркивается в другой концепции – “*функциональной*” (Баткин 1969; Соколов 1972). Она выдвигает на первый план функции культуры (особенно стабилизирующие) и отстаивает идею полифункциональности культуры. Именно по этой последней причине данной концепции трудно ухватить существенные характеристики культуры.

Третья концепция, “*неоаксиологическая*” (Альтеревич 1966; Межуев 1968; 1977), видит за частными мотивами человеческой деятельности их общенсториче-

ский смысл и содержание (как диалектический критерий оценки культурных явлений, критерий прогресса) и рассматривает культуру как совокупность общественного в человеческом существовании. При таком рассмотрении, однако, теряется разница между обществом и культурой, исчезает и смысл различения, и это не искупается преимуществом, которое дается критерием прогресса.

В четвертой концепции (Артановский 1967; Маркарян 1969; 1973; Бромлей 1973; Каган 1974) культура определяется как вид деятельности (включая ее средства и результаты), которая специфична для человека как вида. Преимущества этой, можно сказать, “*антропологической*” концепции состоят в ясном взаимоотношении между понятием культуры и фундаментальными понятиями социологии и естествознания. В такой форме дефиниция остается, однако, слишком общей и скорее ведет к задаче, чем к решению. Дело в том, чем отличать человека от других животных. Стремясь ухватить это отличие, Э.С. Маркарян подчеркивает “технологический характер” культуры и видит в ней средство *адаптации* человека к природной среде, чем он развивает “адаптивный вариант” этой концепции. Как специфическую для человека он рассматривает адаптивно-адаптирующую деятельность,

Представители пятой концепции (Лотман 1970; Гуревич 1969: 391) видят суть культуры в знаковой системе. Это “*семиотический*” подход, который близок трактовкам некоторых польских исследователей (Kłoskowska 1968; Tabaczyński 1971). Этот подход позволяет уловить родство культуры с языком и подробно разработать некоторые аспекты ее развития (механизмы преемственности и т.д.), но приводит к сильному обеднению культуры и оставляет без внимания всё, что не имеет знаковой функции и не может служить символом.

Существует еще шестая, “*прагматическая*”, концепция, приверженцы которой исходят из того, что система исторического материализма завершена. Поэтому, полагают они, не требуется вписывать в эту систему еще и “культуру” как новую для нее фундаментальную категорию, а нужно выбрать из числа ее производных частных категорий такую, которую было бы удобнее всего обозначить термином *культура*. В качестве таковой они видят *исторический тип духовной жизни общества* в его целом и в его внутренней связности, с ценностями на первом плане. Как находящиеся вне культуры рассматриваются ее “материальные основы” – способ производства (Чесноков 1964: 344) или даже всё, что обозначается термином *материальная культура*. Тем самым термины *культура* и *духовная культура* оказываются синонимами (Яковлев 1978). Преимущество этой позиции покоится на том, что теоретическое понятие здесь совпадает с общеупотребительным понятием политической практики. Но вряд ли может быть успешным такое сильное отрешение от научной традиции, по которой “культура” ведь противопоставляется “натуре” (природе) и выступает как фундаментальное понятие.

Из всех этих концепций культуры концепция Э.С. Маркаряна разработана наиболее детально, и она применялась как единственная в докладах ереванского

симпозиума. Естественно, она и оказалась в центре дебатов. В этой концепции адаптивная функция культуры выступает на первый план. Этим концепция Маркаряна схожа с концепцией Лесли Уайта, с которым Маркарян дискутирует в отдельной работе. В принципе адаптивности культуры заключается зерно энвиронментализма, и, чтобы воспрепятствовать такому развитию своей концепции, Маркарян характеризует культуру не как *адаптивную* систему, а как *адаптивно-адаптирующую*. Его концепции нельзя отказать в цельности, эlegantности и многообразии возможностей применения. Адаптационная характеристика культуры позволяет обосновать включение в культуру средств производства, объяснить (по крайней мере, частично) локальную дифференциацию, установить приемлемые критерии прогресса, которые бы генетически связали историю культуры с докультурным, животным состоянием ее творцов.

Но в концепции Э.С. Маркаряна есть и ряд противоречий, которые на симпозиуме вызвали критику.

Для цельности концепции, прежде всего, необходимо, чтобы адаптация, как во времена Геккеля, понималась как приспособление к условиям природы. Сегодня биологи видят эту часть среды и отношения с ней лишь как часть проблемы (которую они обозначают как *автоэкологию*). Они выделяют в адаптации еще и второй аспект – взаимоотношения между группами приспособляющегося вида в процессе приспособления к природе (*синэкология*). Без учета таких взаимоотношений понимание адаптации представляется сегодня неполным. Это ведет к тому, чтобы рассматривать адаптацию полнее – как приспособление соответствующей группы к окружению вообще. Именно этот подход теперь обычен в экологии культуры. Такой современный взгляд на адаптацию делает затруднительным определение культуры через адаптацию: в дефиниции выступает порочный круг, ибо оказывается, что культура частично адаптируется к самой себе.

Этнические различия вряд ли можно объяснить через приспособление к различным условиям природной среды: люди живут по-разному и в практически одинаковых условиях, и это вряд ли можно возвести только к традициям, которые вызваны теми же различиями в природных условиях. Проведем мысленный эксперимент. Представим себе абсолютно нивелированную природу – будет ли это означать исчезновение основы для этнических различий? Достаточно лишь указания на то, сколь незначительна роль естественных границ и различий как условие сегодняшних политических, религиозных, языковых и культурных барьеров, чтобы понять, что культура и при одинаковой природной среде не будет повсюду одна и та же. Сколь резко она будет различаться в различных областях, зависит от того, насколько велик размер оптимальных коллективов, которые постоянно находятся в контакте и смешиваются. Такие очаги будут отличаться друг от друга и при одинаковой среде. Для человечества характерна ведь известная свобода выбора, относительность и случайность форм культуры в границах, предопределенных действием закономерностей. Даже для решения одних и тех же экономических, социальных и эстетических задач возможны разные конструктивные решения, разное воплощение.

Приспособление к внешним условиям (адаптивная деятельность) и даже приспособление внешних условий к собственным потребностям (адаптирующая деятельность) отличает не только людей. Но при определении культуры исследователи ищут как раз специфику человека, его отличия от животных – это исходная задача Э.С. Маркаряна при определении культуры.

На симпозиуме приводились возможные кандидаты на роль *differentio specifica* человека. И.С. Кон при этом обращал внимание на сверхситуативную ориентацию человека – многие культурные элементы (в противоположность действиям и продуктам животного поведения) оторваны от ситуации прямого применения. Ю. В. Бромлей напоминал о полифункциональности многих элементов культуры. Для К.В. Чистова существенно, что в человеческом обществе средство часто оборачивается целью, а цель – средством. Отсюда важно учитывать семиотические функции элементов культуры. Далее было указано на параллелизм культуры и языка, на роль личности и др. Мне кажется, что в этом много правды, но это только часть того, что мы ищем.

На мой взгляд, прослеживая главную функцию культуры, нужно исходить из того, что в отличие от привычек и продуктов жизнедеятельности зверей, которые свойственны индивиду и предназначены ему от рождения, привычки и изделия человека, его обычаи, нормы и проч. – одним словом, культура, существуют только в обществе, наделяются обществом каждому индивиду и в высокой степени программируют его поведение. Поведение животного в значительной степени программируется генетически, поведение же человека – главным образом иначе. Культура, прежде всего, есть этот иной, особый способ, особое средство социального программирования поведения каждого человека. Если так, то важнейшие, определяющие аспекты рассмотрения культурных механизмов находятся в информационной и коммуникативной сфере, а главные пункты ориентации при понимании движущих сил культуры – в сфере социальных отношений, социально-исторического развития (Клейн 1981в, 1981г; 1987). При таком “социально-кибернетическом” подходе найдут объяснение как феномен личности, так и традиция, семиотическая насыщенность, пластичность культурных форм и т.д. В работах Э.С. Маркаряна, частично и у Ю.М. Лотмана, Э.В. Соколова и др. намечены основы такого понимания, но они там не выступают на первый план.

8. Теоретические выводы. Таков вкратце путь изменения понятия “культура” в научном мышлении: под воздействием изменяющегося соотношения социальных сил в обществе. При большом количестве и сильном расхождении школ и при значительном разнообразии таких абсолютизаций их взаимное противопоставление и обобщение способны помочь сложению более полной и объективной картины изучаемого фрагмента мира, хотя, конечно, сумма абсолютизируемых черт вовсе не обязательно должна совпасть с ним – она может и не обеспечить полноты рассмотрения. Задача не сводится к простому суммированию; требуется

теоретический синтез, основанный на собственных методологических принципах и ведущий к новому представлению о культуре.

При определении такого фундаментального понятия обществоведческих и антропологических наук, как “культура” представляется разумным исходить из функций этого понятия. Но не тех функций, которые оно призвано исполнять в произвольно заданной системе понятий того или иного современного теоретика, а функций, которые оно исполняет в жизни науки, во всей совокупности ее теорий, относящихся к данному фрагменту действительности, отражающих в своей взаимодополнительности разные стороны этого реального фрагмента и учитывающих сравнительно полно требования научной практики. Разумеется, историографический обзор должен оказаться полезным в этом деле. Но фундаментальные понятия такого масштаба, как “культура” являются, как правило, полифункциональными (Маркарян 1972: 36; 1973: 26; Межуев 1977: 4), и перечень функций, накопленный в ходе обобщения опыта науки, оказывается весьма пространным, как, например, перечень Э.В. Соколова (1972: 92-159). Правда, у Соколова речь идет не о функциях *понятия* “культура”, а о функциях культуры как *реального явления*, но одни должны быть отражением других.

Автора этого длинного перечня упрекают в бессистемности, неупорядоченности, аморфности перечня, в уравнивании всех функций – в плюрализме и эклектичности (Каган 1974: 233-234; Яковлев 1978: 15). Выдвигается требование обнаружить главную решающую функцию понятия культуры (Маркарян 1973: 26) – функцию, которая оказалась бы порождающей все остальные, выражала бы закон внутренней упорядоченности явления (Каган 1974: 234) и, стало быть, выступала основополагающей для определения. Такой функцией многие исследователи считают отличие человеческой деятельности от животной жизни, выявление *специфики социальной жизни человека*. Эта функция выступает в оппозиции “культура” – “натура” (Маркарян 1969: 6-7, 11; 1973а: 26-27; 1973б: 3). Есть, однако, и возражения против такого выбора: при нем “культура” становится заместителем понятий “общество” и “человек (как вид)”, вбирает в себя все социальное и всё человеческое, дублирует другие понятия (Яковлев 1978: 17-21).

Конечно, противопоставление природному, естественному налицо во всех концепциях культуры, но далеко не во всех оно оказывается главным аспектом. Было ли оно исходным генетически? Можно ли считать его порождающим? Как раз историографический обзор с выявлением социально-исторических задач, решавшихся с помощью понятия культуры, мог бы дать ответ на этот вопрос.

Здесь существенно то, что понятие культуры введено в науку и обиходную речь только в эпоху буржуазных революций буржуазными мыслителями, в ходе подъема, буржуазии к господству в обществе, с утверждением буржуазного самопознания. Из этого обстоятельства следует, что, по крайней мере, по своему происхождению и первоначальному смыслу понятие “культура” как-то связано с такими потребностями в осознании социальной действительности, которых в до-

капиталистических обществах не было. Поэтому, хотя на первый план в формальных определениях культуры и выступает зачастую противопоставление человеческого бытия животному (оппозиция “культура” – “натура”), на деле, видимо, не это оказалось порождающим фактором для понятия. Такое противопоставление существовало и ранее, хотя и в иных формах (человек – венец творения, образ и подобие Божие, исключительный обладатель души и т.п.). Это теологическая антропология.

Возвышение буржуазии приводило к росту и подъему городов, к распространению принципов городской общины на все население страны, на всю нацию (Ревзин 1977: 43) и к возникновению буржуазного общества (не случайно слова *буржуа*, *бюргер* происходят от слова *Burg* – “город”). Понятие культуры родилось в явной связи с новыми функциями, правами и значением городской общины, с ее разрастанием на все общество. Не случайно термины *культура* и *цивилизация* – от *civis* ‘город’ – часто оказываются взаимозаменяемыми терминами (Арзаканьян 1961: Соколов 1972: 28-32). Рождение этого понятия связано с ростом гражданского самосознания (русское *гражданин*, как и немецкое *Bürger*, по первоначальному смыслу – ‘горожанин’). Оно связано также с появлением феномена личности (понятие “культурный человек” первично, “культура человечества” – вторично). Противопоставление природе, “натуре”, видимо, производный компонент понятия “культура”, хоть он и привел к закреплению за понятием именно этого термина. Это противопоставление явилось как бы философской экстраполяцией, идеализацией, возведением в абсолют другого, более актуального в общественной жизни реального противопоставления: на практике, ассоциируясь с *воспитанностью и образованностью*, культура противопоставлялась невежеству. В ней буржуазная просвещенность противостояла феодальному мракобесию, городская светскость – деревенской темноте и забитости, личность как гражданин свободного общества – крепостному конформизму.

Это последнее новшество – личность как гражданин свободного общества – принесло с собой новые проблемы, новые трудности. Сложное по структуре, оно содержит в себе еще одну оппозицию: “личность” – “общество”. Регуляция соотношений индивида с обществом всегда была проблемой, всегда в ней таились скрытые противоречия интересов. Но теперь, когда и личность, и общество конституировались как самоценные факторы, впервые оппозиция из скрытой стала явной.

И у животных поведение особей программируется в интересах вида, но коллектив в этом не участвует (или почти не участвует). Очень жесткая программа, превращающая иной раз коллектив в коллективный организм, существует у насекомых (пчелы, муравьи) – она выражена в инстинктах (безусловных рефлексах), передаваемых от особи к особи, от поколения к поколению генетически и формируемых естественным отбором. Более гибкая программа определяет деятельность млекопитающих и птиц – ее пластичная часть состоит из условных рефлексов, приобретаемых особью при жизни. Эта часть формируется индивидуальным опы-

том животного и в очень малой мере передается другим особям. Здесь преодолён автоматизм поведения, но коллектив (стадо, стая) не превращается в единый организм, который был бы способен накапливать и развивать коллективный опыт. У человека же выработалась способность передавать и эту часть программирующей информации в больших объемах от особи к особи негенетическим путем и поэтому гораздо быстрее и свободнее. Коллектив получил возможности накапливать и развивать индивидуальный опыт своих членов – он снова превратился в единый организм (социальный организм), но при сохранении большей свободы выбора за индивидами в жизненных ситуациях (Маркарян 1969: 28-30).

Та программа деятельности индивидов, которая хранится, накапливается и развивается обществом на основе общественной практики, фиксируется в нормах, и является весьма гибкой, пластичной. Это и есть культура. Поведение индивида, определяемое этой программой, в силу ее гибкости и многозначности, в большой мере автономно от нее. Такой индивид, осознавший эту автономность, есть личность.

Степень строгости норм может быть различной (см. Лотман 1971). Автономность сопряжена с некоторыми противоречиями и рождает проблему, осознанную в буржуазном обществе.

Просвещение, обработка естественных задатков человека, “обработка души” (*cultura animi*) была расценена как средство решения этой проблемы, средство регуляции отношений между личностью и обществом в новых условиях, средство подготовки нового индивида (осознавшей себя личности) к жизни в новом обществе (гражданском обществе). Первоначально культура и мыслилась как явление, характерное только для Нового времени. Лишь потом оно было экстраполировано на прошлое человечества. И действительно, если понятие возникло только в XVII в., это не значит, что и само явление возникло только тогда: просто оно было лишь тогда замечено, когда была осознана предлагаемая им задача.

Постепенно стало выясняться, что одного просвещения недостаточно для решения этой задачи, и эта сердцевина понятия “культура” стала обрастать дополнительными компонентами. На нее наращивались, правда, чаще порознь, различные другие элементы, способные послужить средствами такого регулирования (нормы, стереотипы, традиции, творчество и т.д.) или добавить важные характеристики этих средств (искусственность в противоположность “естественности”, то есть природности; системность; семиотическая насыщенность; производственно-техническая детерминированность и т.д.).

Не во всех концепциях, но и многие буржуазные мыслители пришли также к осознанию того факта, что эта регуляция взаимоотношений общества с индивидом осуществляется не посредством генерализации потребностей изолированного индивида (“робинзона”), не суммированием вкладов индивидов, не через “общественный договор” индивидов и т.п., а путем воздействия общества на индивидов, путем *социализации индивидов*. Стало ясно, что это воздействие осуществляется с

помощью информации, “производимой”, накапливаемой и хранимой в обществе и уделяемой обществом каждому индивиду. Вне общества, без общества индивид не только не способен приобрести человеческий облик и обеспечить себе человеческое существование, но и вообще, как правило, не в силах прожить. Для жизни ему необходимо, по крайней мере, пользоваться результатами общественного производства (а также другими благами общения); для включения в общественное производство, распределение и потребление ему необходимо уметь жить в обществе, состоять в системе отношений и т.д., а для этого – быть приобщенным к культуре. Она включает его в общество, знакомит его с условиями и требованиями жизни в обществе, приучает соблюдать и дисциплинированно изменять их, а значительную часть их превращает в его (индивида) внутренние потребности. Таким образом, культура оказывается системой средств пластичного, гибкого социального программирования поведения людей.

Это и есть ее главная функция, порождающая все прочие и основополагающая для определения, насколько можно судить по теоретическому осмыслению предпринятого историографического обзора. Как этой функцией порождаются прочие, показать легче, чем выделить ее как основополагающую (подробнее об этом см. Клейн 1987б).

Таким образом, культура – пластичная и многозначная фиксированная в нормах программа деятельности индивидов, формируемая, хранимая, накапливаемая и передаваемая обществом на основе общественной практики, в частности и общественного производства. Она наделяется обществом каждому члену общества и гибко детерминирует индивидуальное поведение.

Это особая система средств хранения и передачи социального опыта, превращающая его в орудие гибкого программирования общественного поведения индивидов и в орудие частичного предопределения жизни последующих поколений устоявшимся опытом предыдущих (традицией).

Эта система средств отличает человека от других животных главным образом тем, что является искусственной, условной, допускает изрядную свободу выбора, сопряжена с символизацией. Конкретно эта система выражается в вещах, искусственных объектах, поведении, идеях и соматике людей (телесном облике). Ее продукты суть в то же время ее компоненты и ее орудия. Системность носит организационный характер и выражается в функциональных связях между компонентами культуры, в частности – и в функциях вещественных объектов.

Глава 8. Материальная культура и духовная культура

1. Постановка проблемы. Отмечая, что общая историография культуры в нашей науке “носит пока ущербный характер”, М.П. Ким подвергает критике “старую традиционную схему, по которой создавались и создаются книги по истории культуры досоциалистических эпох”, – схему механического объединения отраслевых описательных очерков: по искусству, литературе, просвещению, хозяйству и т.д. (Ким 1975: 2-4). Действительно, если не считать периодизации, единственным способом внесения структурности в такую сумму очерков была дихотомия “материальная культура” – “духовная культура”, но и эта дихотомия не отличалась и не отличается ясностью.

Вышедший более полувеска назад двухтомник “История культуры Древней Руси” (История 1948) имел, казалась бы, четкую структуру: подзаголовок первого тома гласит “Материальная культура”, второго – “Общественный строй и духовная культура”. В первый том вошли главы, посвященные сельскому хозяйству и промыслам, ремеслу, населению и жилищу, одежде, пище и утвари, средствам и путям сообщения, торговле и торговым путям, деньгам и денежному обращению, военному делу, оружию и крепостям, – словом, не просто вещественным памятникам, но в основном материальному производству, распределению и потреблению. В главах второго тома рассматривались социально-политический строй, право и суд, религия и церковь, язык и письмо, фольклор и литература, просвещение и разные виды искусства, причем в некоторых главах рассмотрение строилось на основе вещественных памятников.

В создании обоих томов наряду с Институтом истории АН СССР участвовал Институт истории материальной культуры АН СССР. Между тем соответствующего Института истории духовной культуры в нашей системе научных учреждений не было и нет (правда, в обиходе духовную культуру называют просто “культурой”, учебные же институты культуры и Министерство культуры все-таки есть), а Институт истории материальной культуры вскоре был переименован в Институт археологии. Одной из причин была невозможность рационального распределения тематики по этим двум рубрикам. В свое время велись жаркие споры о предмете истории материальной культуры (Равдоникас 1930; Быковский 1932; Смирнов 1932), но удовлетворительное решение так и не было найдено.

Да и в указанном издании лишь на первый взгляд распределение четкое. Оружие, крепости и военное дело, по принятому в издании критерию, не должны были войти в первый том: они не относятся к производству, распределению и потреблению – война, как известно, есть продолжение политики другими средствами, а политика принадлежит к социальным отношениям в широком смысле. стало быть, по логике, это материал для второго тома. Но составителям показалось неудобным оторвать оружие от орудий, а укрепления от поселений, и в этом есть свой резон: и орудия труда, и оружие представляют собой инструменты в ши-

роком смысле, жилища и укрепления являются сооружениями, но общая основа для такого объединения может быть только одна – иное понимание материальной культуры: как совокупности вещественных компонентов культуры, вещественных памятников. Таким образом, составители сбились на старый, отброшенный ими критерий деления. Но тогда в первом томе не место торговле и не хватает памятников архитектуры, живописи и т.п. Во втором томе лишь неразделенность “общественного строя” и “духовной культуры” завуалировала неясную позицию главы о праве и суде: входят ли они в духовную культуру?

Многозначность терминов *материальная культура*, *духовная культура* создает неудобства в разграничении тем и приводят к взаимонепониманию в дискуссиях (тем более, что эта многозначность не всегда осознается), а шаткость критерия разбивки порождает неполноту охвата проблем в общих обзорах, сбивчивость ракурсов рассмотрения ряда тем.

Нередкие полвека назад очерки “История материальной культуры” (Бронштейн 1928; Гредескул 1930) теперь не появляются (последняя книга этого типа переводная и носит иное название: “Происхождение вещей” – Липс 1954), а авторы общих курсов или разделов по истории культуры СССР или другой страны избегают крупного деления культуры на фракции и предпочитают дробное деление на компоненты, отчего структура обзоров, получается рыхлой и расплываются генеральные линии развития объекта, его общие конфигурации. Традиционная схема деления явно оказывается неудовлетворительной. Почему?

2. В контексте философии. Сами термины *материальная – духовная* имеют философский статус, содержательно раскрываются и, казалось бы, корректно применяются именно в философии, а для обозначения составных частей культуры они стали использоваться в силу той традиции, по которой культура долго воспринималась и дефинировалась как чисто философская категория. Такое употребление терминов оказалось не очень удобным; оно-то и ведет к многозначности и скрытым смысловым сдвигам.

Приведя ряд выдержек из философских работ, где идет речь о материальной и духовной культуре, и, сопоставив эти выдержки с исследованиями историков, философ Б.Д. Яковлев, восклицает: “Об одном и том же говорят историки и философы или же о совершенно разных вещах? Или, может быть, на разных языках? И только ли с историками расходятся пишущие о культуре философы или же, если позволительно так выразиться, со всем «нефилософским человечеством?»” (Яковлев 1978: 17).

Расхождение явно кажется ему нетерпимым, и вина возлагается на философов. Между тем расхождение не так уж неправомерно: ведь методический подход к феномену и ракурс рассмотрения у этих наблюдателей различный, а философы пользуются указанными терминами как раз по праву.

С точки зрения философа, деление на материальное и духовное, на бытие и сознание является исчерпывающим. Это еще не гарантирует единства взглядов, но спорным остается лишь вопрос (словами Яковлева): “каков, так сказать, критерий материальности?” и, следовательно, где провести границу. Одни философы считают материальной всю предметно-практическую деятельность людей, включая социально-политические отношения, другие – ограничивают материальное экономическим базисом (производственными отношениями), то есть только тем, что складывается “не проходя через человеческую голову”. Яковлев (1978: 25-27) доказывает логичность первого решения. При этом он, однако, отмечает, что разграничение проводится философами в рамках глобального определения культуры, при котором она охватывает все социальное и практически совпадает с обществом. Яковлев убежден в бесполезности такого дублирования понятий, но сам предлагает нечто подобное: ограничить культуру вообще пределами духовной культуры (Яковлев 1978: 17-22). Это означает, по сути, оставаться в рамках того же глобального определения (только разрезанного пополам), тогда как напрашивается иной выход – поискать более специфическое, работоспособное и плодотворное определение культуры вообще.

Историки культуры, этнографы, социологи сделали немало таких попыток, и было бы несправедливым отвергать этот путь только потому, что многие выдвинутые предложения не лишены слабостей и несут на себе следы методологической односторонности и ограниченности тех или иных школ. В частности, представление о культуре как системе средств социального программирования деятельности коллективов и индивидов (Клейн 1987б; 1991а: 347), еще не обсуждавшееся в литературе, возможно, окажется более широко пригодным (как надеется автор этих строк).

Однако при любом специфическом, не глобально-философском определении культуры дихотомия “бытие” – “сознание” становится недостаточной. Признавая корректность философской дихотомии культуры для целей философского осмысления, А.К. Уледов призывает “осознать неполноту разделения культуры на материальную и духовную” за пределами философии (Уледов 1974: 27). Действительно, философские термины *материальная-духовная* начинают приобретать другой смысл, используются для других понятий, и это использование нельзя признать корректным. В то же время ограничиться философским подходом к культуре при решении конкретных частнонаучных задач тоже нельзя.

Б.Д. Яковлев, высказывая надежду, что со временем термины *культура* и *духовная культура* станут синонимами в философии (подобно тому, как они являются синонимами: в обиходном языке), утверждает: “Понятие материальной культуры едва ли необходимо в системе философских категорий” (Яковлев 1978: 22). Что ж, не будем решать за философов, необходимо ли им такое понятие в эксплицитной форме, строго дефинированное и включенное в систему категорий. Но, во всяком случае, если понятие культуры формируется в практике конкретных наук (истории, этнографии и др.) и если требуется философский его анализ, то именно

в таком анализе уместно и оправдано разделение на материальное и духовное по принципу *tertium non datur*. Как раз в самих конкретных науках это не получается: употребление этой пары терминов оказывается ограниченным или условным и требует существенных оговорок.

3. В конкретных науках. Когда на Западе культура трактуется как совокупность духовных ценностей или идей и т.п., задача размежевания духовной и материальной культуры, естественно, не возникает. Сама эта задача возникла в науке, в частности в советской науке, когда марксистское осмысление культуры привело (по мнению некоторых советских философов, не необходимым образом) к включению в нее материальных компонентов.

Задача размежевания оказалась особенно актуальной для двух групп исследователей: первую составили археологи, вторую – теоретики культурной политики и историки. Этнографы этим делением вообще всерьез не интересовались.

4. Традиционный подход археологии: критерий объективации. Археологам нужно было в любой культуре выделить ту часть, ту фракцию, которая, выйдя из функционирования, способна по истечении долгого времени хотя бы частично сохраниться. Им нужно сопоставить ее с тем, что непосредственно не доходит до археолога. Термины *материальная – духовная* были использованы для обозначения дихотомии: вещественные – невещественные компоненты. Когда археологи говорили об “истории материальной культуры”, они имели в виду попросту историю вещей в широком смысле: орудий, оружия, жилищ, мебели, утвари, повозок, одежды, предметов искусства, регалий и т.д. Подобное словоупотребление сохраняется в археологии на практике по сей день, несмотря на отдельные попытки изменить его.

Это не вполне корректное использование терминов: в число невещественных входят действия, поведение (танцы, ритуалы и т.п.), которые не являются в собственном смысле слова духовными (мысленными, идеальными). Их даже можно трактовать как материальные, если не отождествлять материальность и вещьественность. Но археологи эту часть культуры вообще игнорировали.

Как отметил Э.С. Маркарян, деление культуры на материальную и духовную не позволяет выделить и “соционормативную культуру” (средства организации) как относительную сферу исследования (Маркарян 1969: 86-87). Между тем значение средств организации для программирующей функции культуры исключительно важно.

Этнографы как раз потому и остались в стороне от споров о материальной и духовной культуре, что в эту схему не укладываются сферы культуры, наиболее важные для этнографии.

5. Функциональный подход историков и культурологов. Для второй группы исследователей – теоретиков культурной политики и историков культуры, специализирующихся на изучении эпохи классового общества, – значение проблемы состояло в том, что классовое расщепление одни компоненты культуры затрагивает (прежде всего: идеологию), другие (в частности технику) – нет, соответственно по-разному надлежит оценивать части культурного наследия, по-разному осуществлять культурную преемственность (Баллер 1969: 40-41; Каган 1974: 190-191).

Эта потребность породила тенденцию объединить под названием материальной культуры все, что связано с техникой, обслуживает ее и не носит непосредственно классового характера, а под названием духовной культуры – всё, что связано с идеологией, обслуживает ее и имеет ярко выраженную классовую природу. При этом культуру в большой мере уподобляли обществу: в ней тоже оказывались базис и надстройка (Зворыкин 1964).

Такое словоупотребление опять же оказалось сбивчивым по смыслу: при таком критерии в материальную культуру приходится включить ряд наук (математику, физику, технические, прикладные науки и др.), хотя они, совершенно очевидно, состоят прежде всего из идей, мыслей и по прямому смыслу слов должны относиться к духовной активности людей. А такие объекты, как храмы, статуи, грампластинки и т.п. приходится включать в духовную культуру, хотя они вполне материальны. Кроме того за бортом остался быт, т.е. средства, которые не обслуживают ни технику или даже производство в широком смысле, ни идеологию или даже надстройку в широком смысле (включая политику), а обслуживают личное потребление, семейную и домашнюю жизнь людей. Так что и здесь ряд неувязок.

Тем не менее, эта тенденция становится все более сильной, распространяется на круги исследователей, первоначально в ней не заинтересованных, и в разных вариантах, с разными обоснованиями реализуется в теоретических работах культурологов.

Так, Э.В. Соколов о делении на материальную и духовную культуру пишет:

“Провести между ними грань, по принципу «из чего сделан» предмет, по-видимому, невозможно. Иначе пришлось бы отнести искусство, существующее всегда в какой-то телесно-вещной форме, к материальной культуре, а, скажем, знания о выплавке металлов – к культуре духовной. Правильнее будет считать материальной культурой те вещи, орудия, навыки, знания, которые являются продуктами материального производства или обслуживают материальную жизнь общества. К духовной культуре следует отнести продукты духовного производства, идейное систематизированное содержание основных форм общественного сознания, а также эстетические ценности, выраженные средствами искусства... Различие материальной и духовной культуры является, таким образом, функциональным” (Соколов 1972: 64-66).

Схожую трактовку находим у М.С. Кагана (1974: 188-220), который в материальную культуру включает не только вещи, но и производственные отношения

(“материальное общение” людей), семейно-брачные и социально-организационные институты (“соционормативную культуру” Маркаряна, обычно относимую к духовной), физкультуру, игры, медицинскую практику. А в духовную культуру Каган включает жизненное проектирование (идеалы, планы и т.п.), знания, ценности и духовное общение. Кроме того, Ц.Г. Арзаканьян и М.С. Каган выделяют на равных правах с теми двумя еще третью сферу культуры – художественную, в которой, как поясняет Каган, уравновешенно сочетаются материальные и духовные компоненты (как будто они не сочетаются в науке, технике и многом другом или как будто можно объективно зарегистрировать меньшую уравновешенность сочетания!).

В.Е. Давидович и Ю.А. Жданов (1979: 191-192) считают, что деление на материальную и духовную культуру имеет ограниченный характер и может применяться только в определенных целях.

Э.С. Маркарян, ранее признававший рациональность распределения культурных элементов по способу объективации в вещах или в идеях и знаках (Маркарян 1969: 86, прим. 38), позже изменил свою точку зрения и прямо выразил согласие с Соколовым, отнеся к материальной сфере производство и быт, а к духовной сфере – “соционормативную культуру” и средства производства знаний – “когнитивную культуру” (Доклад 1974).

Это подробно мотивировано в его книге 1983 года. Он готов признать, что правы Давидович и Жданов, но лишь при условии, что и в случаях применимости будет указан не вещественный определитель, не “субстратный” критерий деления.

“Дело в том, – поясняет он, – что при обычной «субстратной» интерпретации материальной и духовной культуры исходят из того, представляют ли те или иные ее элементы материальные или духовные образования”. Философ не заметил, что он сказал буквально следующее: при выявлении материальной и духовной культуры не должны учитываться материальность и духовность. Он продолжает: “Но такой подход оказывается совершенно неэффективным во многих познавательных ситуациях”. И приводит пример:

“Скажем, имеет ли значение для понимания внутренней природы таких явлений культуры, какими являются египетские пирамиды или готические соборы, характеристика того весьма ощутимого материального субстрата, из которого они изготовлены? Можно с уверенностью сказать, что нет. Субстратная характеристика в указанном и во многих других случаях мало что может дать для действительно-го объяснения явлений культуры. Исходя из этого, а также учитывая, что любой элемент культуры всегда есть определенное сочетание материального и духовного начал, исследователи подчас приходят к выводу об эвристической бесплодности деления культуры на материальную и духовную.

Мы не склонны соглашаться с этой крайней позицией. ... Но для того, чтобы подобное деление было полезным, основанием его следует считать не субстратную, а функциональную характеристику явлений культуры. ... Используя предложенный

критерий, можно и египетские пирамиды, и готические соборы с полным основанием отнести к элементам духовной культуры, ибо основная их функция состояла в воздействии на духовный мир человека, на его психику” (Маркарян 1983: 75-76).

Ю.И. Мкртумян считает, что в археолого-этнографической литературе господствует четырехчленная схема деления культуры (на “хозяйственный быт”, “материальную культуру”, “общественно-семейный быт” и “духовную культуру”), а двухчленная схема является просто ее стяженным вариантом. Схему эту в обоих вариантах исследователь считает неудовлетворительной и противопоставляет ей свою, также четырехчленную, которая включает: “культуру первичного производства”, “культуру жизнеобеспечения”, “соционормативную культуру” и “гуманитарную культуру” (научные знания, искусство и т.п.) (Мкртумян 1978).

Однако все эти и другие авторы признают трудность, нечеткость, условность такого разделения. Некоторые даже констатируют, что “в настоящее время все отчетливее выявляется тенденция, согласно которой материальную и духовную культуру нельзя рассматривать порознь как две сферы человеческой деятельности, и что недостаточно указать на их диалектическую связь. Они просто нерасчленимы (Давидович и Белолипецкий 1974: 54).

Многие отмечают, что духовная культура предстает перед исследователем в какой-либо материальной форме, хотя бы знаковой, а материальная культура не может быть включена в практику без посредства сознания и духовной культуры. Дело не только в тесной взаимосвязи материального с духовным и не только в трудности распределить функции культуры по двум рубрикам (то, что Уледов назвал “неполнотой” схемы), но и в обычной полифункциональности элементов культуры и в переплетенности видов деятельности в каждой сфере. Именно поэтому так трудно распределить элементы культуры по их функциям в культуре, по их связям со сферами деятельности: которые обслуживают производство, которые – потребление, которые – социальную организацию или коммуникацию, обмен знаниями... Нож может служить и орудием, и оружием, и инструментом потребления и знаком статуса, и определением этнической принадлежности, и указателем ситуации.

Именно этим Ю.В. Бромлей мотивирует “определенную ограниченность возможностей морфологического анализа культуры на основе выделения отдельных сфер деятельности” (1973: 50) и отмечает преимущества второго критерия деления – традиционного для археологии.

6. Функциональный подход в археологии. Однако нельзя сказать, чтобы археология осталась совсем в стороне от попыток содержательного функционального деления культуры. В археологии все же возникла и эта тенденция. В советской науке она проявилась впервые именно в структуре “Истории культуры Древней Руси” и выросла из проблемной ситуации, отчетливо выраженной позже Б.А. Рыбаковым (1970), который применил к осмыслению археологического материала

по древнерусской культуре ленинское положение о двух культурах в одной национальной культуре. В американской “новой археологии” аналогичная ситуация связана с выделением по археологическим материалам и в культурах доклассового общества ряда субкультур: мужской и женской, возрастных, профессиональных и т.п. Задачи оказались структурно схожи с задачами историков. Это породило ту же тенденцию функционального распределения компонентов культуры. В “новой археологии” она получила теоретическое выражение и методическую разработку.

В 1962 г. в своей основополагающей для всей школы статье “Археология как антропология” лидер этого направления Люис Бинфорд (Binford 1962) предложил функциональный подход к культуре и ввел разделение всего культурного материала, добываемого археологами, на три категории: “технофакты” (это “материальная” культура Соколова и Маркаряна), “социофакты” (это “соционормативная” культура Маркаряна) и “идеофакты” (это “когнитивная” культура Маркаряна). Так что эта система уже работает и работает ряд лет. А каковы же результаты, что произошло дальше с этими технофактами, социофактами, идеофактами?

Десять лет спустя Бинфорд признался:

“Перечитывая эту статью сегодня, я начинаю понимать критиков, которых так потешали термины «техномический», «социотехнический», «идеотехнический». Я. взял их из концепций Уайта поздней ночью, когда писал эту статью в состоянии фрустрации. Моя позиция, полагаю, была состоятельной: все материальные предметы функционировали не в одной лишь материальной подсистеме исчезнувшей культуры. Но эта позиция была все же немного наивной... Я могу припомнить чикагских студентов и себя самого, как мы пытались операционализировать средства для разбивки материала по таксономическим ячейкам, которые были бы изоморфны этим трем широким категориям первичной функции.

Мы подолгу обсуждали морфологические характеристики деталей или композиций варибельности, которые могли бы послужить различительными признаками «техномических» или «социотехнических» артефактов. Это кажется глуповатым (somewhat silly), когда оглядываешься; мы, конечно, так и не решили удовлетворительно нашу задачу. Мы стали, наконец, понимать, что каждый артефакт имеет свойства, относящиеся в широком смысле ко всем трем подсистемам. Нет артефакта, который бы как таковой имел только свойства, относящиеся к его первичному функциональному контексту” (Binford 1972: 17-18).

Но если все вещи содержат нечто от производства и потребления, если все они технофакты, то все вещи, которые мы находим при раскопках, относятся к материальной культуре. И одновременно все они предварительно спроектированы и оформлены, с ориентировкой на некие нормы или на отклонение от них, все они дают нечто для познания духовной культуры, все они социофакты и идеофакты. Таковы и произведения искусства. Статуи материальны, и в этом нет ничего губительного для их духовной функции: это не мешает им иметь идейное содержание и производить эмоциональное воздействие.

Каган и Маркарян сознают эту сопротивляемость культуры предложенному ими способу разбивки, но надеются преодолеть сопротивляемость материала. Каким образом? Выделением в каждом случае решающего вклада в соотношении материального и духовного начал, выявлением доминантной функции.

Приходится опасаться, что это предложение толкает нас к тупику, из которого только сейчас выбрался Бинфорд. Во-первых, в большинстве случаев вряд ли удастся подобрать объективный критерий и меру измерения для такой оценки – определение грозит вылиться в борьбу субъективных оценок. Не случайно уже сейчас так разнообразны и спорны распределения компонентов культуры по двум функциональным сферам. Во-вторых, в культуре цель и средства часто меняются местами (что было средством, становится целью, и наоборот) (Merton 1936: 112). Доминантность функций меняется: что было генетически доминантным, становится вторичным в актуальном плане. А главное, предложение выделить доминантную функцию опасно для археологии, ибо применительно к археологии это предложение толкает нас на весьма ригористичную и искусственную разбивку – отнесение одних вещей к “материальной культуре” (в смысле: к производству и быту), других – к “духовной культуре” (соционормативной и когнитивной или гуманитарной). Это разбивка, при которой, естественно, будут упускаться вторичные функции. В одной группе будет игнорироваться материальная основа, в другой – идейное содержание, символические значения. Зачем нам это? Это ли методологически плодотворный путь? Позволительно усомниться.

Действительно ли неэффективно в познавательных ситуациях деление на духовную и материальную культуру по субстрату, как это утверждает Э.С. Маркарян? Рассмотрим его пример с египетскими пирамидами и готическими соборами и добавим к ним схожие памятники – мегалиты (дольмены и галерейные гробницы), курганы, круглые городища. Сравним их как потенциально исторические источники с другими историческими источниками – духовными по “субстрату”: хрониками, договорами, мемуарами, преданиями и т.п. Ясно, что первые ничего нам не скажут об именах исторических деятелей, не назовут народы, оставившие эти памятники, да и события, от которых они остались, нужно реконструировать гипотетически, опираясь на сведения из второго ряда источников. Получается другая познавательная ситуация, и нужны другие методы исследования. В первом случае – археология, во втором – письменное источниковедение и история (Клейн 1978).

7. Предложения: расчленение планов. Причина шаткости и сбивчивости критериев разделения, по-видимому, в том, что, как правило, исследователи стараются дать одномерное рассечение культуры и даже расположить компоненты в своей классификации однолинейно. А культура – многомерный, многоаспектный феномен, и не надо совмещать ее разные планы. Если вспомнить ее родственность

языку (Pike 1955) и правомерность уподобления их в структурном анализе, то прежде всего не следует смешивать (применим здесь термины структурной лингвистики) *план выражения* и *план содержания*.

Археологов при подготовке понятийной сети для их источников, при оценке места последних в культуре и при разработке методов формального анализа интересует именно *план выражения*. Если воздержаться, хотя бы временно, от употребления терминов *материальная* и *духовная* (ввиду их многозначности), то в плане выражения, имеющем дело с формами существования объектов (идеальной и материальной), с наличием, степенью и характером их “объективированности”, “опредмеченности”, четкое деление предложено Ю.В. Бромлеем (1973: 47-49). По его мнению, культура делится на:

1) “интериорную” (существующую в сознании людей) и

2) “экстериорную” (объективированную во внешнем мире),

а последняя (то есть объективация первой) существует в трех формах:

а) в знаковых системах, преимущественно в словесном языке (в устной речи и письменности),

б) в поведении и действиях,

в) в опредмеченных результатах действий, то есть в вещах, артефактах.

Бромлей колеблется в вопросе о том, какие из этих компонентов, рационально включать в понятие культуры – все или только объективацию или еще уже: без языка. Получается культура

1) в самом широком смысле,

2) просто в широком смысле и

3) в узком смысле,

но иерархия и связь компонентов ясны. В *плане выражения* это деление является логичным и исчерпывающим. А уж если желательно использовать термины *духовная* и *материальная* (ввиду их привычности), то они более всего подходят к крайним ячейкам этой классификации: к *интериорной* культуре (А) и к *опредмеченной* (овеществленной) части *экстериорной* (Бв), хотя условность должна быть оговорена: нужно снять философскую широту и бинарность этой пары категорий. Ведь между ними располагается еще ряд ячеек.

Конечно, археологов интересует и *план содержания*, ибо он важен для интерпретации археологических источников, для построения палеоистории культуры, так что попытки Бинфорда, Мкртумяна и других не случайны.

В плане же содержания возможно деление культуры в нескольких ракурсах (то есть собственно это не один план, а несколько планов). При таком делении представляется целесообразным исходить из понимания культуры прежде всего как системы средств социального программирования деятельности человека (Клейн 1987б). Если расчленим культуру соответственно тем *отраслям деятельности, которые она программирует*, то получим сферы: а) производства, б) транспорта, в) распределения благ, г) жизнеобеспечения (жилище – питание – одежда), д) социального устройства и политики, е) идеологии. Применяя к этим

подразделениям термины *материальная* и *духовная*, пришлось бы несколько сфер покрыть первым термином и одну последнюю – вторым, причем это означало бы сужение и обеднение представлений о духовной жизни (она ведь не исчерпывается идеологией) и ничем не обогатило бы содержание и методику исследований. Если расчлнить культуру соответственно тем *средствам, которыми программируется* деятельность, то можно различать средства: а) функционально-технические, б) конструктивные (разные варианты решения первых), в) сигнификативные (семиотические), г) художественно-эстетические, и похоже, что этим список исчерпывается (Лебедев 1979).

Если же расчлнить культуру соответственно ее *функциям*, то подразделений будет столько, сколько можно выделить этих функций, и только в этом плане появятся такие подразделения, как “соционормативная культура”, “коммуникационная”, “этно-традиционная”, “проективно-разрядочная” и др. (Соколов 1972: 92-168; ср. Каган 1978).

Такова та реальность, которая посложнее вульгаризованной бинарной оппозиции “материальное” – “духовное” и жесткой триады “технофакты” – “социофакты” – “идеофакты”.

Наличие возможностей разного расчленения культуры на крупные многокомпонентные фракции и неадекватность бинарных расчленений необходимо учитывать при изучении истории культуры. В разных фракциях культуры по-разному протекают процессы передачи культурной информации, по-разному формируются традиции, осуществляется взаимодействие этнических культур, по-разному складывается социальное расслоение, по-разному отлагается информация о прошлом, в различных видах источников. Для истории культуры нашей страны, с ее многоэтническим составом и прослеживаемой на протяжении тысячелетий культурной преемственностью, возможность уловить и адекватно выразить эти различия имеет особое значение.

В этой статье я анализировал только употребление этого деления в советской науке. Между тем те же споры шли и в зарубежной науке. Вообще вопрос о материальной культуре интересует всех, прежде всего археологов и музейных работников (Ellsworth and O'Brian 1969; Lang 2003; Bouchli 2004 и др.). С 1997 г. в Лондоне издается даже журнал – “Журнал по материальной культуре”.

Глава 9. Культурогенез и археология

1. Культурно-исторический процесс. В книге “Изучение преисторического развития” (“The study of prehistoric change” – Plog 1974) Фред Плог с некоторой узостью взгляда писал, что к изучению развития, процесса изменений археологию обратил Роберт Брейдвуд. На деле археология занималась этим с самого начала – еще стилистические компаративисты во главе с Винкельманом, затем прогрессисты – как Томсен и Ворсо, потом эволюционисты всех мастей, в том числе и неозволюционист Брейдвуд.

Динамика существования культур в истории называется у американцев “культурным процессом”, а у нас – “культурно-историческим процессом”. Мне представляется, что русский термин, хотя и более громоздкий, точнее выражает суть явления. Термин *культурный процесс*, по буквальному смыслу слов, подразумевает всякое существование и изменение, происходящее в культурах и с культурами. Археологизация, формирование источников – это тоже такой процесс. Между тем по обычному словоупотреблению имеются в виду не всякие процессы, происходящие в культурах и с культурами, а развитие культур, развертываемое в истории, естественной и социальной.

Бинфорд считал, что изучение культурного процесса резко усилилось за военные и послевоенные годы и связывал это с неозволюционизмом, к которому примкнула “новая археология” – “процессуальная археология” (Binford 1968a: 7). О содержании этого процесса Бинфорд писал:

“Чаще всего процедура состояла в приравнивании процесса к трансформационной последовательности форм, в норме суммируемой в стадиальной классификации. Вторая, или иногда альтернативная процедура состояла в проведении сравнительного исследования темпоральных и пространственных изменений археологически известных культурных форм, в выявлении определенных тенденций или закономерностей” (Binford 1968a: 14-15).

Дэвид Кларк, по верному замечанию Плога (Plog 1974: 9), ратовал за применение моделей, которые имеют в виду изменение вообще, а не просто изменение артефактов. Под изменением вообще здесь понимается изменение культуры и общества. По мнению Плога, “если археологический источник чем-то является, он является источником о долговременных изменениях” (Plog 1974: 11). Это, конечно, преувеличение для красного словца, но доля истины тут есть.

Как соотнобразится с культурно-историческим процессом сама *история*? Термин *история* имеет в русском языке по меньшей мере два значения: как наука и как (изучаемый) процесс. Вопрос ставится, естественно, о втором значении. *История как процесс* в своем обычном течении мало присутствует в археологическом материале, она появляется лишь в конечных выводах как реконструируемая

действительность прошлого. Ближе археологу *история культуры*, точнее – *история материальной культуры*. Хотя и она присутствует лишь как реконструкция, но реконструкция непосредственная.

Понятие *культурно-исторического процесса* близко понятию *истории совокупной культуры* человечества (или его части), выражая его общую суть, освобожденную от конкретности. Таким образом, это теоретическое понятие, и археологи выходят на него лишь в теоретических и обобщающих работах, выявляя законы этого процесса и их конкретные проявления.

Между сторонниками “новой” (процессуальной) археологии и их противниками из лагеря традиционной археологии состоялся знаменитый спор о приоритете – по поводу выявления причин коллапса цивилизации низинных майя: что должно быть сначала – история или процесс? (Sabloff and Willey 1967; Flannery 1967; Erasmus 1968; Binford 1968c; Watson et al. 1971: 27-28). Традиционные археологи (Сэблф и Уилли) настаивали, что сначала нужно выяснить ход исторических событий, определить конкретные русла истории, а уж потом выводить законы “культурного процесса”. “Новые археологи” же (Бинфорд и Эразмус) возражали: чтобы выявить и верно понять ход событий, нужно знать законы, которые его обуславливали, а значит – изучить культурный процесс. Думается, что они ошибались: законы, которые помогают выявить конкретные события, это не те законы, которыми обусловлен культурно-исторический процесс. Чтобы понять события, нужно знать *законы формирования археологических источников* – скажем, как миграции отражаются в следах и остатках. А чтобы понять ход событий, нужно знать, почему люди мигрировали, то есть движущие силы истории, *законы движения народных масс* (Клейн 2009а: 206-212).

В обычных же исследованиях археолог-практик имеет дело с конкретными культурами и их следами и остатками, реконструируя детали их функционирования в прошлом. Их роль и место в культурно-историческом процессе предстает ему не непосредственно в динамике, реализованной во времени, а в ее пространственном отражении – в стратиграфии, в последовательности залегания остатков. Действуя в этом поле, археолог выявляет организованность, структурированность материала. Он находит его организованным в *археологические культуры*, которые являются для него трансформированным и обедненным отражением *более полных живых культур* далекого прошлого (а они могли бы быть описаны *этнографией*, если бы таковая в далеком прошлом существовала). Видение же культурно-исторического процесса заключается в том, что археологические культуры в каждом обследуемом регионе располагаются в культурной стратиграфии одна над другой, то есть в переводе на язык исторической динамики сменяют одна другую, образуя хронологическую последовательность.

Эта *смена культур* вроде бы естественна, образуя ступени развития, но на деле она представляет собой чрезвычайно загадочный феномен, в котором состоит основная загадка археологии.

2. Смена культур – “проклятый вопрос” археологии. В каждой науке есть свои “проклятые вопросы” (Сержантов 1972: 94). Археолог выявляет порядок в археологическом материале, прослеживает регулярность изменений этого порядка и старается объяснить исторически и социологически эти изменения и эту регулярность. Загадка археологической науки – дискретность изменений, выраженная в смене культур. *Почему одна археологическая культура приходит на смену другой обычно в готовом виде?* Какие жизненные феномены прошлого стоят за этим археологическим эпифеноменом? История археологической науки показывает, что каждая очередная центральная (или, как иногда говорят, общая) теория археологии вырастала как новая попытка ответить на этот вопрос.

Эта проблема занимала меня с начала 70-х годов и впервые изложена в “Вестнике” Ленинградского университета (Клейн 1975).

1. *Постановка вопроса и первое решение.* Дискретность есть фундаментальное свойство, присущее миру. Она проявляется и в культурном развитии. Казалось бы, *преемственность* между поколениями, необходимая для развития или хотя бы для поддержания культурного уровня, подразумевает *непрерывность развития* (и она постулировалась учеными), но нет, на деле в развитии всегда есть *разрывы постепенности*, есть революции, *смена четко различаемых культур*. В этом парадокс развития.

С тех пор, как фактуальные наблюдения установили дискретность материальной культуры во времени – будь то смена стилей, технологических “веков”, “эпох” и “индустрий” или “культур” – загадочность этого феномена неотступно стоит перед археологом. Смущает не самый факт изменчивости: к нему давно привыкли. Смущает именно дискретность этого процесса, наличие резких и внезапных перемен. Почему и как одна археологическая общность высокого ранга (“стиль”, “индустрия”, “культура” и т.п.), просуществовав некоторое время и изменяясь очень постепенно, вдруг целиком сменяется другой? Откуда появляется эта новая совокупность и почему так внезапно? В этом вопросе фокусируется то понимание динамики исторического развития, которое обеспечивает коррективную реконструкцию прошлого и предсказание будущего.

Вот почему фундаментальная идея каждой новой ведущей археологической теории, в сущности, оказывалась прежде всего попыткой ответить на этот вопрос – объяснить *сменность*² в истории материальной культуры. Этот вопрос остается главным и сейчас для общей теории археологии. Он принадлежит к так называемым “проклятым вопросам” науки – тем, ответ на которые чрезвычайно трудно найти, и найденные ответы то и дело сменяются новыми.

² Термины смена, сменность, сменностный удобно прилагать к таким изменениям, в результате которых на месте одной сложной качественной специфики (а не отдельного свойства) относительно быстро, внезапно оказывается другая. Это понятие шире понятия “скачок”, “революция”, охватывая кроме них и другие виды полных внезапных изменений, в частности “замену” (связанную с вмешательством извне).

Эволюционисты (Мортилье, Питт Риверс, отчасти Монтелиус и др.) старались устранить парадокс развития, объявить иллюзией. Всё дело, мол, в missing link, в недостающем звене. Вот будут найдены все звенья, тогда и восстановится непрерывная постепенность. Они представляли себе эту историю как непрерывный и постепенный единообразный для всего человечества прогресс. Они, конечно, замечали дискретность крупных археологических рядов (секвенций³), выявляя их в основном в виде стратиграфических колонок и порайонных периодизаций и даже использовали эту дискретность для установления цезур, когда нарезали свои “периоды”, “этапы” и “эпохи”. Но эволюционисты считали, что эта дискретность свойственна не самому культурно-историческому процессу, а лишь его отражению в археологических материалах и обусловлена лакунарностью и фрагментарностью последних. Всякий разрыв преемственности они трактовали как хронологический разрыв, хиатус, так сказать, “цель”, всякую цель – как лакуну в наших знаниях. Разрывы, имеющие характер переключения, поворота, качественной перемены и отражающие действительную смену культур (такие разрывы будем называть “*кluftами*” (от нем. *Kluft* – трещина, расселина), в их представлениях почти или вовсе не фигурировали. Дальнейшими поисками требовалось лишь заполнить лакуны, чтобы процесс предстал во всей полноте как континуум. Missing link (“*недостающее звено*”) – вот было главное средство объяснения разрывов между культурами одной секвенции. Они полагали, что как только заполнятся лакуны (найдутся missing links), так и восстановится постепенность. Много заботы уделялось перебрасыванию мостиков через разрывы-щели с помощью выявления “*перешитков*” и “*прототипов*”. С той же целью экстраполировали выявленные отрезки линий эволюции и интерполировали звенья их других секвенций, в том числе элементы и целые структуры живых культур (“*этнографические параллели*”).

Однако количество материалов быстро нарастало, лакуны заполнялись, находились всё новые звенья, некоторые разрывы исчезали, но в целом разрывов становилось, пожалуй, не меньше, а больше. Постепенной линии преемственности не обнаруживалось. Многие незначительные на первый взгляд трещины по умножении материалов подымались на уровень важных разрывов, а между некоторыми, казалось, прочно сцепленными и логически последовательными звеньями эволюции вклинивались совершенно чуждые культуры и комплексы (такую роль сыграли, например, месвич, ориньяк, пещерная живопись и др.) – и генетическая секвенция превращалась в колонную. С признанием этих фактов совпали перемены в идейной ориентировке ведущих групп археологов в конце XIX в., стимулированные крупными социальными сдвигами и конфликтами в мире, что и привело к

³ Под секвенцией я понимаю последовательный диахронический ряд культур одной местности (колонная секвенция) или одной культурно-генетической линии (генетическая секвенция, которая может оказаться и этногенетической (этногенетическая секвенция). Позже во избежание биологических ассоциаций я переименовал генетическую секвенцию в трассовую.

кризису эволюционизма. Теории, приведшие ему на смену, определялись новыми попытками дать ответ на тот же вопрос.

2. *Пространственные концепции.* Миграционизм (Брейль, Обермайер, Коссина и др.) был основан на признании ключевых и допущении, что почти всякая смена культуры означала на деле замену ее сторонней культурой, принесенной новым, пришлым населением. Этим и надеялись объяснить разрывы – полноту изменений, их внезапность, а иногда и хронологический интервал (щель) между ними. У Брейля и др. (полицентрический миграционизм) новые культуры могли приходиться из разных районов (нередко их попросту выводили из районов плохо изученных), у Коссины (моноцентрический миграционизм) – только из северной части центральной Европы, из “*прародины* индогерманцев”, где констатировалась автохтонность. “Прародина” связывалась с “*пранародом*”, “*празыком*” и ... не “*прарасой*”, а просто *расой*, потому что в этом плане возможность изменений вообще не предусматривалась. У Брейля многие секвенции рассматривались как колонные, у Коссины выделялись и генетические, но все генетические расходились, как лапки паука, из Северной Германии и Скандинавии.

Дальнейшее расширение фактуальных знаний привело к закрытию многих белых пятен на археологических картах. Это сильно затруднило подыскание возможных исходных очагов для сменяющих друг друга культур. Методы, которыми прослеживались миграции и строились генетические секвенции Коссины, оказались недостаточно строгими (особенно миграционное истолкование отдельных типов) и допускающими иные и даже противоположно направленные построения, чем и не преминули воспользоваться многие археологи (Шухардт, Борковский, Костшевский, Брюсов и др.). В сочетании с дискредитацией идеологических стимулов и выводов миграционизма (особенно в политизированных версиях, а больше всего – в расистской) это привело к кризису и распаду миграционизма.

Теория передачи культуры посредством влияний и заимствований (точное название было бы: трансмиссионизм) исходила из предположения, что при смене культур обычно народы в массе своей оставались на прежних местах, а передвижке подлежали (на основе контактов между народами) лишь сами элементы культуры, иногда по отдельности, чаще целыми блоками (“*адгезия*” Тайлора, “*культурный фронт*” Шахермейера), а то и всем или почти всем составом культуры (“*аккультурация*” Тойнби). Трансмиссионизм родственен миграционизму (и там, и тут смена культур сводится к замене культур, движение – к передвижке, развитие во времени – к развертыванию в пространстве) и, подобно ему, может быть полицентрическим и моноцентрическим. Поскольку, однако, воздействие мыслилось преимущественно односторонним (“высших” на “низшие”, более передовых на отсталые), а передовые центры многочисленными и долговременными, то на практике трансмиссионизм оказывался в основном моноцентрическим, т.е. диффузионизмом. Культурно-исторический процесс сводился к “*диффузии*” – передаточному распространению, центробежному просачиванию достижений культуры из

одного центра во все стороны (египтоцентрический диффузионизм Эллиота Смита и Перри, вавилоцентрический – Делича и Винклера, шумероцентрический – Раглана, панориентальный диффузионизм Софуса Мюллера, Чайлда, Шахермейера и Милойчича и др.). Диффузионисты искали корни каждого резкого новшества на стороне. Их приносят влияния и заимствования. Надо обратиться к белым пятнам на карте, там хранятся истоки этих заимствований, там можно проследить их корни и восстановить преемственность и постепенность. Ныне белые пятна закрыты, а постепенность не восстановлена.

Поднявшись почти одновременно с миграционизмом и пережив расцвет несколько позже, диффузионизм ненадолго пережил своего собрата. Смертельную рану нанесли ему открытия самостоятельных цивилизаций и отдаленных районах Земного шара – Индии, Китае и особенно – в Америке, которая, по словам Дэниела, дает “как бы контролируемый лабораторный эксперимент” (Daniel 1962: 99), которого так не доставало. Отрезвлению способствовали также успехи общего подъема народов мира к самостоятельному культурному творчеству, опровергающие самый принцип единичности и исключительности изобретений (*инвенций*). Известное значение имел пересмотр удобной для панориентального диффузионизма “короткой хронологии” европейских древностей, вызванный результатами радиоуглеродного метода, – это был *coup de grace*.

Марксисты объясняли каждую резкую смену культур социально-экономическими преобразованиями и политическими революциями, марристы считали, что и язык так обновляется. Но жизнь показала, что в культуре и в языке эти взрывы не приводят к резким сменам, а они всё-таки налицо.

В советской археологической литературе полемика с зарубежными идейными противниками обычно ограничивалась архаической по аргументации критикой миграционизма и диффузионизма, определенной еще установками (в какой-то мере прогрессивными для своего времени) Равдоникаса и Кричевского. Между тем это уже была борьба с тенью прошлого, уводящая от критического разбора современных концепций.

Одновременно с миграционизмом и диффузионизмом сошел со сцены их заокеанский аналог, проследивавший развертывание материальной культуры не в конкретном, а в абстрактном пространстве *формальных* сходств и различий. Американские таксономисты (МакКерн, Рауз, Сполдинг и др.) с 30-х гг. измеряли и оценивали эти данные и строили разные схемы соотношений (нередко практически полезные), не пытаясь искать новые объяснения смены стилей и культур, – пока не натолкнулись на обвинение в бесплодности...

3. *Концепции взрывной трансформации*. Оригинальный ответ на все тот же вопрос о характере смены стилей и культур предложил в первые десятилетия XX в. Ростовцев. Не отрицая миграций и влияний, но интересуясь и автохтонными традициями, он перенес центр тяжести на *смешение и скрещивание* разнородных культурных элементов как главный фактор образования нового.

Так как экономически и политически обусловленные крупные социальные потрясения и этнические столкновения, падая на переломные, кризисные моменты истории, служат как бы спусковым механизмом для явлений смещения и скрещивания, резко усиливая их, и так как смешивание создаст иное сочетание старых элементов, которое уже само по себе является новым, инновацией, а взаимодействие скрещиваемых элементов вдобавок приводит к их видоизменению, то в результате быстро возникает новая культура или новый стиль. В этой концепции, которую можно было бы назвать комбинационизмом, впервые внезапность смены культур не объявляется кажущейся и не сводится непременно к замене, а трактуется как *взрыв*. Если учесть широкий территориальный охват, обычный для Ростовцева, то, по сути, реконструировалась быстрая перестройка структуры, *взрывная трансформация*. Однако для Ростовцева развитие в значительной мере сводилось к перебору различных комбинаций одних и тех же элементов, а в его понимании движения через кризисы присутствовали элементы циклизма. Между тем ускорение жизни и небывалые сдвиги делали прогресс все более заметным в современном мире, а объединение разных отраслей археологии приводило к тому же эффекту в приложении к древностям. Все это подтачивало фундамент комбинационизма.

Когда советские археологи 1926-1935 годов (Арциховский, Брюсов, Равдоникас, Кричевский и др.) строили “метод восхождения” как устой “марксистской археологии” и “теорию стадиальности” как археологическое соответствие “яфетической теории” лингвиста Марра, то в их распоряжении были не только общие установки диалектического и исторического материализма, тогда еще поверхностно усвоенные, и не только языковедческие эталоны Марра, но и археологические разработки Ростовцева, значение которых в подготовке теории стадиальности и социологических толкований археологического материала было больше, чем может показаться на первый взгляд. Тезис об этнических скрещиваниях, тогда еще весьма слабо реализованный в лингвистике и выродившийся у Марра в упрощенную схему пирамиды и фантастическую игру с четырьмя корневыми элементами, был в археологии представлен весьма солидными и серьезными штудиями Ростовцева. Способность видеть в конкретной смене культур взрывную трансформацию, постулированную Марром абстрактно, также была в известной мере подготовлена Ростовцевым. Не прошло бесследным и длительное внимание Ростовцева к экономическим и социальным факторам как стимулам культурного развития.

Важным достижением тогдашней советской археологии было восстановление в правах принципа поступательного развития. Не просто взрывы, а *диалектические скачки* (с подъемом не более высокую ступень), не движение по кругу, а подъем по спирали, не просто ряд трансформаций, а прогрессивное развитие по стадиям, ряд “*стадиальных трансформаций*” – так выглядела теперь секвенция. Но для объяснения таких подъемов уже недостаточно было учитывать кризисные вспышки скрещиваний или даже связывать кризисы с экономическими и социаль-

ными сдвигами. Оказалось необходимым интерпретировать сами перестройки структур, сами переходы культур на все более высокие уровни, как следствие прогресса техники, в конечном счете – орудий производства. Правда, признавалось запаздывание надстройки по отношению к базису, но для археологов тех лет, с их упрощенным пониманием марксизма, было естественно оценить клюфты как свидетельства всеобъемлющего характера и быстрого распространения “стадиальной трансформации” на все сферы культуры, как свидетельства близкого совпадения цезур в периодизации развития разных сфер культуры. Отсюда прямолинейная логика вела к поискам возможностей совмещения отдельных клюфтами культур с социально-экономическими формациями или хотя их этапами, а клюфтов позднего времени – с революциями. Эта социологическая вульгаризация наталкивалась на сопротивление фактического материала.

Дело усугублялось еще тем, что увлеченные новизной и революционностью теории ее адепты абсолютизировали ее положения, стремясь подогнать все явления под намеченные схемы. Это привело к полному практически отрицанию миграций и влияний, к утверждению повсеместной *автохтонности*, к отождествлению колонных секвенций с генетическими и игнорированию реальных генетических секвенций. Вульгаризаторское внедрение прямолинейного производственного детерминизма и смешение всех видов смены культур (отождествление их со скачком) препятствовало подлинному проникновению в механизм скачка. Не случайно, признавая клюфт в теории, на практике стадиалисты (например, Круглов и Подгасцкий) возвращались к аргументации эволюционистов и стремились обнаружить “стадиальные переходы”, то есть модификацию старого missing link: в разрыве они все-таки подсознательно видели не клюфт, а щель, под щелью понимали лакуну, которую и старались заполнить.

Таким образом, в “теории стадиальности” назревали внутренние противоречия, и поиски выхода из них можно видеть в посмертно опубликованных тезисах Кричевского (1946). Догматизация, связанная с общей обстановкой тех лет, тормозила рост и развитие “теории стадиальности”, а в 1950 году эта теория была попросту ликвидирована без замены другой. На два десятилетия в советской археологии установился бестеоретический период.

4. *Поиски внешних причин.* В 1968 году Джакетта Хокс констатировала: “За последние два десятилетия произошло крушение систем и теорий, коренившихся в довоенном прошлом” (Hawkes 1968: 261). Это верно за одним исключением.

Экологическая школа (Крофорд, Фокс, Грэйем Кларк), возникшая почти в одно время с комбинационизмом, существует до сих пор. Представители этой школы также не отрицают клюфты и не придают большого значения миграциям и влияниям. Смену, а точнее перестройку культур в их представлении вызывают изменения экологии, географической среды, главным образом – климата. Это энвиронментализм (географический детерминизм). У современных энвирон-

менталистов воздействие климата на культуру происходит не вообще, а через ее базисную часть экономику. Но этим ученые никак не могут объяснить все клюфты изменениями климата, и далеко не всё в сменяющей культуре удастся возвести к природным изменениям.

5. *Упор на ограниченность познания.* В послевоенной Западной Германии на месте растаявших школ Косинны и Шухардта возникло новое научное течение (Эггерс, Гахман, У. Фишер, Кирхнер и др.), патриархом которого является Вале с его теорией латентного формирования культуры.

Еще в 1941 г. Вале выступил с критикой учения Косинны, а вскоре после войны критика учения Косинны стала в Западной Германии обязательной основой для разработки новых методических принципов (Эггерс, Прейдель, Гахман, Коссак). Уверенная реконструкция миграций допускается в редчайших случаях и принимается лишь при наличии весомых и разносторонних доказательств, роль миграций в истории сугубо ограничивается. В исследовательской практике господствует автохтонизм. Отвергается непременно отождествление культур с этносами, провозглашенное Косинной.

Вале видит в смене культур процесс имманентной трансформации. Неравномерность, спазматичность он считает неотъемлемым свойством культурно-исторического развития, различая периоды бурного творчества и периоды тихо текущей жизни – как он выражается, “питающие периоды” и “поедающие периоды” (*Nährperioden – Zehrperioden*). Чем же объясняется у Вале быстрота смен культур? Тем, что культуры не создаются крупными обществами, а навязываются им маленькими группами и творческими личностями – лидерами (*Führerpersönlichkeiten*).

Однако, по принципам вероятности, в редкой сети, которую археология забрасывает в океан прошлого, застревают материальные остатки лишь достаточно крупных общностей. Пока новая культура вызревает в недрах маленькой группы или в творчестве гения и уме вождя, она ускользает от наблюдения археологов, а входит в их поле зрения лишь с того момента, когда охватывает крупные массы людей и широкие пространства. Но именно это распространение происходит быстро, как лесной пожар, – вот почему на экране археологии новая культура обычно появляется как бы внезапно и в готовом виде. Ее формирование происходило скрытно, недоступно, латентно.

Эта концепция основана на убеждении в том, что все люди и даже народы делятся на тех, кто делает историю (*die Geschichte machen*), и тех, кто историю получает (*die Geschichte erleiden* – кто истории подвергается). По этому убеждению, у истоков всего нового стоит никакими жесткими правилами не связанная творческая личность, индивид, деятельность которого управляется его свободной волей и не детерминирована социальными законами. Поэтому облик новой культуры ни в чем нельзя предсказать, опираясь на знание наличных предпосылок, поэтому же зачастую тщетно пытаться вывести новые культуры из предшествующих. Культурно-исторический процесс распадается на отдельные периоды, связь между которыми

утрачена. “Разрывы (Klüfte)..., – пишет Вале, важнее, чем кажется по археологическим материалам” (Wahle 1964: 108). Здесь, как у Гамлета, “разорвана связь времени”. Генетические секвенции распадаются, остаются только колонные секвенции, которые и надлежит изучать в границах естественно-географических районов.

В этом индивидуалистическом индетерминизме есть, конечно, влияние современной философии экзистенциализма, с ее культом свободной роли индивидуума, а в археологическом превознесении *Führerpersönlichkeiten* угадываются отзвуки того периода, который недавно пережила Германия. Эти исходные принципы Вале явно опровергаются всем ходом истории, извергающей те *Führerpersönlichkeiten*, которые пытаются нарушить ее законы, повернуть историю вспять. Никакими археологическими материалами концепция латентного формирования культуры не подтверждается и даже не проверяется: это ведь гипотеза *ad hoc*. Ее единственным обоснованием является именно неизменное наличие ключевых моментов между культурами в секвенциях – и то этот смысл приобретает лишь при условии априорного отказа от всех прочих истолкований (лакун, миграций, влияний, скрещений, детерминированных экономически или экологически трансформаций и проч.), что невозможно.

При всем наличии у Вале и его сторонников ряда ценных методических положений, в целом его концепция неприемлема, и я не знаю заметных применений ее за пределами Западной Германии, кроме исследований Мальмера в Швеции.

В англо-саксонских странах в послевоенное время развилось другое новое направление. Исторический опыт неудач мировой археологии в попытках однозначно и окончательно объяснить смену культур – опыт, ставший особенно заметным в связи с кризисом и падением нескольких важнейших теорий сразу, – был осмыслен как свидетельство невозможности объяснить смену культур вообще. Объяснить надлежало лишь саму невозможность объяснения, для этого оказалось заманчивым вернуться в известном отношении к эволюционистам и поставить под вопрос дискретность археологического материала, реальность археологических культур, а вместе с тем и реальность всех границ между ними – хронологических и территориальных (в Америке это Бру и Форд, в Англии – Дэниел, Хокс и Пигготт). Но если эволюционисты принимали все разрывы за объективно существующие лакуны и надеялись на их заполнение, на реконструкцию непрерывного и всеобщего процесса, то современные исследователи сочли, что все разрывы и границы в принципе условны, *релятивны*, так как культуры (равно и типы) не выявляются в материале, а искусственно и субъективно формулируются исследователем и налагаются на материал. Один из представителей этого направления Дэниел опасался (Daniel 1968: 92), не назовут ли это направление “субъективной археологией” (*subjective archaeology*).

Каждый из предлагавшихся ответов при проверке (с накоплением фактов) в одних случаях подтверждался, в других – отклонялся. Его применимость оказывалась ограниченной, а построенная на его базе центральная теория археологии

– считалась односторонней (Daniel 1950; 1962). В результате в археологии созрело представление о том, что каждая из предшествующих теорий предлагала абсолютизацию одного из реально возможных объяснений. Г. Дэниел, впав в пессимизм, предлагал вовсе отказаться от построения широких теорий. К. Ренфру предпочитает плюралистический выход: признать равные возможности проявления за любым фактором (Renfrew 1972). Но чем же руководствоваться при выборе в каждом конкретном случае? Субъективной оценкой обстоятельств, раз нет общего критерия и правил.

Для эволюционистов имело смысл изучать разрывы (чтобы их заполнить для реконструирования эволюционной цепи) и имело смысл изучать “эпохи” между разрывами (как реальные, хоть и случайно нарезанные куски континуума эволюции, само содержание и сама последовательность которых уже интересны). Для указанных же исследователей изучение культур и разрывов утратило смысл: разрывы всего лишь произвольно нарисованы археологами на материале, а типы и культуры релятивны и случайны.

Правда, изучение даже условно ограниченных культур могло бы еще остаться оправданным как средство изучения (по выборкам) общих закономерностей развития, если бы эти современные исследователи искали такие закономерности. Не ищут. Вместе с западногерманскими индетерминистами они считают культурно-исторический процесс детерминированным, но делают более последовательные выводы из предложения этого принципа к археологии, с ее оторванностью от современности, односторонностью, лакунарностью и фрагментарностью источников. Ведь задача “составления прошлого из обломков” (piecing together the past), как ее обозначил Чайлд, только в том случае выполняема, если в этом прошлом действовали доступные нашему пониманию закономерности. Если же не было, то возможности историко-культурной реконструкции минимальны. Поэтому скептицизм, в большой мере присущий и западногерманским индетерминистам (он выразился в постановке и разработке полезной проблемы внутренней критики источников), у их англо-американских единомышленников заходит значительно дальше – не ограничивается трактовкой разрывов культур, а разливается по всей проблематике археологии (этногенез, социальные отношения, идеология и проч.), перерастая в гиперскептицизм, а то и агносцитизм. Что же остается изучать археологу? Самые частные детали и самые общие характеристики.

Однако идеи этого направления коренятся не столько в анализе самого материала, сколько в философской ориентировке исследователей и в их отчаянии перед обнаружившейся сложностью задачи, в разочаровании от того, что столько простых решений отпало.

Английский и американский гиперскептицизм – лишь крайнее ответвление более широкой концепции.

В исследовательской практике отход от изучения культур и секвенций означает концентрацию интересов на отдельной “округе” (*locality*) – полном наборо-

ре остатков жизни одной конкретной первобытной общины в их функциональных связях – в *сопряжении*. Они рассматриваются лишь в очень конкретном *контексте* и на безграничном фоне всей мировой культуры, нередко с отказом от этнографических аналогий.

Провозвестником этого “сопрягательного” или “контекстного” направления выступил в 1948 г. американец У. Тэйлор; соотечественники стали развивать его идеи в систему методов и понятий (Уилли, Адамс, Форд, Чжан и др.); позже активно включились англичане (Дэниел, Пиготт, Кр. Хокс). Элементы такого подхода можно заметить и у исследователей других стран – Швеции (Мальмер), Бельгии (де Лэт), Франции (Леруа-Гуран) и т.д.

Таким образом, подход, объединяющий индетерминистов, агностиков, эмергентистов, исходит из убеждения в том, что разрыв между культурами или эпохами нормален и непреодолим для исследователя. Так, П. Вале считает, что культуры произвольно творятся гениальными личностями и что поэтому эмбриональный период развития культуры, проходящий в умах этих личностей, археологам не уловить. На руинах довоенных теорий, крушение которых отметила Джакетта Хокс, сложился как бы единый фронт ряда западных теорий – от ФРГ до США – под знаменем индивидуализирующего индетерминизма. Два десятилетия они задавали тон в археологии.

Между тем объективность культур и разрывов в секвенциях подтверждается тем, что материалы из новых полевых открытий, какими бы методами их ни классифицировать, обычно группируются все в те же периоды, укладываются в те же границы. Остается слабой и ограниченной также исходная философская установка этого направления. В самом деле, чем, собственно, обоснована узкая дилемма: либо однозначные детерминации, либо никакой?

В своих попытках однозначно решить этот вопрос каждая из прежних теорий разработала то или иное действительное явление прошлого (поступательная преемственность, миграции, диффузия и т.д.). Соответственно разрабатывались и необходимые понятия, развивались связанные с этими идеями методы исследования (типологический, картографический и др.). Абсолютизация тех или иных действительных явлений приводила к односторонности выводов и искажению общих результатов. Вкладом современных теорий является учет неполноты археологического знания (стимулировавший разработку внутренней критики археологических источников, статистические методы оценки достоверности и т.п.), но именно эту неполноту и абсолютизируют современные теории.

6. *Новые рубежи*. Симптомом их кризиса явилось становление к концу 60-х гг. “новой археологии” или направления процессуалистов в США (Л. Бинфорд) и Англии (Дэвид Кларк, Ренфру). С позиций *системного подхода* эти исследователи задались материалистической целью выявить законы “культурного процесса” посредством математического анализа изменчивости и взаимосвязанности культурных элементов. Л. Бинфорд и Н. Дэвид применили в качестве систем-

ного объяснения концепцию гомеостаза Р. Эшби. Они рассматривали взаимосвязь между популяцией первобытных охотников и популяцией крупных животных как систему ("хищник – жертва"), находившуюся в подвижном равновесии. Толчком, способным необратимо вывести систему из равновесия и обусловить переход от присваивающего хозяйства к производящему, Бинфорд считает демографический взрыв и подыскивает внешние обстоятельства (природные изменения), способные такой взрыв породить. Таким образом, потребовался внешний толчок, что находится в противоречии с притязаниями "новой археологии" на объяснение изменений внутренними закономерностями системы. Д. Кларк объясняет резкое преобразование культурной системы наличием "бассейнов равновесия" на пути ее развития, т.е. таких устойчивых состояний, в которых она способна пребывать подолгу, находясь в сбалансированных отношениях со средой. Но что выбивает культурную систему из "бассейна равновесия", этого Кларк не объясняет.

К. Флэннери и К. Ренфру заметили, что верная системного подхода, избранная Л. Бинфордом и Д. Кларком (знающая лишь один вид обратных связей – негативные), позволяет объяснить внутренними процессами лишь устойчивость, живучесть культурных систем, но без обращения к внешним толчкам не способна объяснить развитие, рост, прогресс, да и вообще резкое преобразование – смену культур. Флэннери и Ренфру обратились к другой версии системного подхода – к концепции эквивинальности Л. Берталанфи (учитывающей направленность саморазвития органических систем) и ко "второй кибернетике" М. Маруямы, выдвигающей на первый план позитивные обратные связи. С точки зрения этих авторов, в саморегуляции культуры возникают лавинообразные процессы взаимной интенсификации subsystem, приводящие в конечном счете к крупным сдвигам. Источник развития помещается как бы между subsystemами, а ведь вполне очевидно, что лишь одна из subsystem вводит в систему энергию и материальное сырье – система производства. Непонятным остается, почему в одних случаях процессы затухают, в других – нет и в чем причина скачкообразности изменений. Чтобы объяснить последнее, Ренфру обратился к математической "теории элементарных катастроф" Р. Тома. Применение математического аппарата этой теории к археологическим ситуациям весьма затруднительно из-за информационной неполноты и преобразованности археологических данных.

Однако дискретность и структурность культурных систем они при этом анализе игнорируют, как и преобразования информации в источниках, а смену систем пытаются объяснить эклектически – взаимодействием равноправных факторов (плюрализм), хотя на практике предпочитают демографический фактор (новая абсолютизация). Их системный подход опирается на традиции экологической школы и при объяснении культурных трансформаций ориентирует на поиски внешнего толчка (Хилл). С их точки зрения, археологические культуры – это как бы скелеты живых культурных систем прошлого, а каждая новая культура объясняется как структурное преобразование старой. В свою очередь демографический фактор ставят в зависимость от экологии. Между тем в археологической

культуре представлена только вещественная часть культуры живого общества, причем представлена неполно и в преобразованном виде. То есть дискретность и смена археологических культур является лишь отражением дискретности и смены этнографических культур прошлого. То, что новые археологи трактовали как изменения под воздействием экологических изменений, вполне могло на самом деле оказаться преобразованием материала уже в археологических источниках под воздействием факторов археологизации.

Из-за этих слабостей “новая археология” оказалась не в силах добиться перевеса над “контекстным” направлением. Показателем разочарований явились обозначившиеся в начале 70-х годов явления распада в “новой археологии”: ее раскол (“schism”) на три группировки – дедуктивистов (Бинфорд, Фриц, Плог, Уотсон), аналитиков (Дэвид Кларк) и разрабатывающих модели регуляции (Флэннери, Ренфру), а также отход научной молодежи (“старомодных юнцов”).

Уже в середине 70-х инициативу теоретического развития перехватили вышедшие из недр “новой археологии” ее критики, усомнившиеся в благотворности сосредоточения непосредственно на “культурном процессе” прошлого и призвавшие не игнорировать преобразования информации в источниках на путях их археологизации. Они потребовали тщательного изучения самого формирования археологических источников (“бихевиорная археология”). Лидером их был ученик Бинфорда Майкл Шиффер, но Бинфорд и сам быстро стал активным деятелем нового направления.

В середине 80-х популярность завоевали противники “новой археологии” как технологического модернистского направления – “постпроцессуалисты” во главе с Яном Ходдером. В духе постмодернизма, в большой мере восстановив идеи гиперскептиков и подавившись влиянию “критической теории” западного марксизма, они вообще поставили археологическое познание в зависимость от субъективных установок исследователей, определяемых их социальными интересами.

В самое последнее время возродились идеи неэволюционизма, формируя новый вариант эволюционистской концепции (инициатором этого направления стал Роберт Даннел). Прежние варианты эволюционизма строились на идеях Спенсера, Даннел же положил в основу идеи Дарвина – *селекционизм*. С этой точки зрения новации в культуре определяются демографическим фактором и естественным отбором – не только в популяциях людей, но и в массе культурных элементов (вещей, идей, инвенций, типов) – это концепция мемов.

Нетрудно заметить, что теории сменяли одна другую, отвергая предшествующие, а частенько возобновлялись в новом обличье. Задача же заключается в том, чтобы, не отказываясь от полезных вкладов прежних и существующих теорий, преодолеть их ограниченность, снять односторонние выводы и найти более общее и цельное решение “проклятого вопроса” археологии, включающее в себя рациональные зерна рассмотренных теорий как частные случаи (см. Клейн 1972).

Нужна такая фундаментальная идея, которая бы позволила объединить все реально действовавшие факторы в одну иерархическую систему, устанавливающую соотношения факторов в процессе смены культуры. Задача построения центральной теории археологии сводится, таким образом, к выяснению общих условий преемственности и смены культур – условий, которыми и определялось включение тех или иных факторов в процесс.

3. Коммуникационная теория культуры.

1. *Поиски фундаментальной идеи.* Почему обычно одна культура приходит на смену другой сразу и в готовом виде? Вокруг ответа на этот “проклятый вопрос” археологии формировались общие теории археологии. Каждая из них предлагала в качестве ответа абсолютизацию одного из реально действовавших факторов (эволюция, миграции, диффузия, качественный скачок в производстве, смена среды и т.д.). Ныне эклектики предлагают плюралистическое равноправие всех факторов в объяснении смены культур и настаивают на неправомерности общих теоретических решений. Выбор нужного фактора в каждом отдельном случае ставится в зависимость от неповторимого сочетания конкретных условий, оценка которого оказывается субъективной.

Задача построения центральной теории археологии сводится к выяснению тех общих условий преемственности и смены культур, которыми и определялось включение тех или иных факторов в процесс. Нужна новая фундаментальная идея, которая бы оказалась перспективной в этом плане.

Идеи для построения общих теорий археологии приходили из разных источников: частью наследовались от прежних теорий археологии, частью создавались самостоятельно, частью (и нередко это были фундаментальные идеи) заимствовались из других лидирующих наук (“экстенсивный тип научного развития”). В связи с этим и сейчас взоры археологов обращаются в поисках фундаментальной идеи то к языкознанию, то к экономической географии и т.п. Но чтобы поиски были успешными, надо ясно определить, какого рода идею необходимо найти.

Смена культур – это не только смена материала, но и смена порядков, это явления организации и дезорганизации. Археологическая культура есть преобразованная материальная часть живой культуры, а живая культура в современной науке рассматривается как накапливаемая человечеством программа информация, передаваемая от поколения к поколению внесоматическим путем. Информацией и явлениями организации и дезорганизации занимается кибернетика (в широком смысле этого слова, как комплекс наук), это ее специальный предмет, и обращение к ней становится наиболее целесообразным.

С точки зрения кибернетики, культуру рассматривают как функционирующую информационную систему, но попытка построить общую теорию археологии на этой базе, объединяющей функционализм и структурализм с теорией

информации и собственно кибернетикой (Дэвид Кларк), не удалась: для археологии требуется иной подход, исторический. Культура интересует нас не столько как функционирующая информационная система, сколько как момент исторического развития, как предмет ориентированных изменений, как этап культурно-исторического процесса.

В этом плане из всех отраслей кибернетики (в широком смысле) наиболее перспективно привлечение *теории коммуникации*. С точки зрения теории коммуникации, культурно-исторический процесс может быть представлен как система передачи информации от поколения к поколению. В этом случае проблема преемственности и смены культур обернется проблемой стабильности и нестабильности системы коммуникации, а условия стабильности и нестабильности этой системы окажутся общими условиями включения разнообразных факторов смены культур в культурно-исторический процесс.

Проблема стабильности и нестабильности системы (проблема надежности, эффективности, живучести системы) – как раз тема, наименее разработанная в теории коммуникации. К тому же применительно к археологии и истории культуры в ней возникает ряд специфических особенностей, и требуется особая разработка этой проблемы. Здесь возможны формализация, оснащение математическим анализом и подключение ряда других отраслей знания (семиотика, социальная психология и др.).

2. Соединение информационного подхода с историческим.

Смена культур – это не только смена материала, но и смена порядков, следовательно, это процессы организации и дезорганизации, процессы информационные, кибернетические. Культуру все чаще понимают как ту накапливаемую человечеством информацию, которая составляет программу, а эта программа передается от поколения к поколению путем обучения и фиксируется внесоматически, а в итоге социально ориентирует деятельность людей (Маркарян 1969: 57, 61; Markarian 1973). Операционные выводы из этих представлений даны в разработках, направленных на то, чтобы рассмотреть культуру как *функционирующую информационную систему* (Черныш 1968; Моль 1972; Bohannan 1973).

Д. Кларк применил понятийный аппарат кибернетики к построению центральной теории археологии (Clarke 1968). Однако упомянутый “проклятый вопрос” оставлен у него без ответа. Культуру Кларк рассматривает как систему информации, поступающей исследователю. Информационный же характер самого культурно-исторического процесса, информационная природа культуры мало участвует в построении теории.

Если учесть природу культуры как информации, передаваемой от поколения поколению, то придется заключить, что из всех отраслей кибернетики наиболее перспективно привлечение *теории коммуникации*.

С точки зрения теории коммуникации, культурно-исторический процесс может быть представлен как система передачи информации от поколения к поколению. Эта возможность уже рассматривалась в науке (Черныш 1968; Моль 1972; Beals et al. 1968; Bohannan 1973; Schmitz 1975). Но осталось незамеченным и неиспользованным самое важное для центральной теории археологии, а именно: что в этом случае *проблема преемственности и смены культур* обернется *проблемой стабильности и нестабильности системы коммуникации*. Отсюда с логической необходимостью следует: условия стабильности и нестабильности системы как раз и окажутся общими условиями включения разнообразных факторов смены культур в культурно-исторический процесс. Исследуйте стабильность и нестабильность информационно-коммуникационной системы культурно-исторического процесса – и вы получите иерархически организованную систему взаимодействия факторов, приводивших к смене культур.

3. *Условия стабильности*. Проблема *стабильности и нестабильности* выступает в других приложениях кибернетики как проблема *надежности, эффективности, устойчивости, живучести системы связи*. Археология не сможет воспользоваться готовыми схемами – они большей частью рассчитаны на другие потребности, и таких схем крайне мало.

Вопросы, связанные с проблемой живучести сети, очень важны, однако, когда я занялся этой задачей, они были практически не разработаны (Рогинский 1967: 121; [см. также Рогинский 1981], однако Клейнрок 1970). В качестве первой попытки сформулировать основные условия стабильности, нарушение которых приводит к смене культур, в работе (Клейн 1972) был предложен, так сказать, на языке связистов, сжатый перечень, пополненный в статье (Клейн 1981г).

А) Существование панелей, на которых держатся звенья сети. В телефоне и радиоприемнике это плата, в компьютере – шина. Этими панелями являются социальные организмы, в которых только и могут люди функционировать как носители культурной информации. Без этих коллективов и вне их люди либо не имеют культуры (дети, “воспитанные” животными) либо теряют ее (“робинзоны”). Для каждого уровня развития культуры существуют свои минимальные и максимальные размеры социального организма, необходимого для поддержания производства и культуры. Снижение численности членов коллектива ниже минимального уровня ведет к распаду этого коллектива. Его члены уносят в новые формирования некоторую часть культурной информации, но многое теряется, какие-то утраченные традиции заменяются новыми. При переходе максимального уровня происходит сегментация социального организма, с более плавной передачей культуры дочерним формированиям.

Б) Наличие интенсивных контактов между поколениями. Если что-то нарушилось в приемнике или телефоне, мы же сразу обращаемся к проверке контактов. Где-то контакт барахлит. А в культуре? Контакты между поко-

лениями? Нарушение этих контактов вызывается такими факторами, как возрастное разделение труда и раннее выделение молодежи из семьи, потеря авторитета традиционного опыта в связи с изменением обстановки (“конфликт поколений”), вмешательство более сильных соседних обществ и т.п. Предельный случай такого рода – дети, вскормленные животными; достаточно ярким примером также служат беспризорные дети и “безотцовщина”, с их большей подверженностью уклонам к асоциальному поведению. При таких нарушениях прорываются инстинкты, подавленные культурой. “Мысленный эксперимент” в художественной литературе – “Повелитель мух” Голдинга.

В) Емкость сети, складывающаяся из совокупной пропускной способности каналов и вместимости резервуаров памяти. Каналы передачи культурной информации (семья, школа, коллектив постоянного общения, профессиональный коллектив) по сути совпадают с субкультурами (половозрастными, профессиональными и т.п.). Резервуары памяти связаны с фольклорной и письменной традициями. Эти характеристики изменяются в сторону приращения – с усложнением общества (увеличение числа каналов) и с развитием средств связи, хранения и переработки информации (Колчин и др. 1970: 4). Разрушение части сети приведет к убыванию ее емкости и, следовательно, к гибели части информации и частичному разрыву преемственности. Вероятно, такой характер имело крушение Микенской цивилизации, когда погибла дворцовая субкультура с ее письменностью.

Г) Повторяемость информации, необходимая для правильного восприятия, прочного запоминания и точного воспроизведения (наше обычное телефонное: *алло, алло!*). В культуре можно выделить разные естественные *циклы повторяемости* событий (*повседневные* – утренняя зарядка, умывание, чистка зубов, завтрак и т.д., *сезонно-годовые* – сельхозработы, домашние заботы – заготовка дров, утепление окон и т.п.) и более редкие, как смены правителей и т.п., праздники, и более редкие циклы – *жизненный*: рождение, учеба, свадьба и т.д., *политический* – как смены правителей и т.п.). Нарушения этих циклов (от падений интенсивности производства, гибели специализированной группы членов общины и т.п.) способны привести к разрыву преемственности в этой части культуры. Разные по продолжительности периода циклы имеют разную вероятность утраты: чем период короче и повторяемость больше, тем цикл прочнее.

Д) Собственная связность потока информации, т.е. отсутствие перерыва или плавность изменений самого состава информации, вводимой в сеть. Резкие изменения этого состава, однако, вызываются социальными сдвигами, природными катаклизмами и т.п. Сами темпы и характер изменений различны в разных субкультурах, например, в мужской и женской: женская традиционнее, в мужскую новации проникают легче. Особо изменчивы молодежная и детская субкультуры, поскольку они построены в известной мере на оппозиции субкультурам взрослых.

Е) Функциональная взаимозависимость, *густота связей* элементов культурной информации.

“Понятно, – пишет Э.В. Соколов, – что чем больше интересов связано с данным элементом культуры, тем большим числом связей он соединен с остальными ее элементами, тем с большей силой он будет удерживаться. В результате новаторства и заимствований количество элементов в культуре общества всегда несколько больше того, которое может быть в ней прочно удержано. Поэтому между элементами культуры возникает своеобразная конкуренция, в результате которой более изолированные элементы оказываются вытесненными” (1972: 84).

Здесь в своеобразном преломлении выдвигается проблема сравнительной ценности элементов культуры.

Ж) Организованность, под которой подразумевается не просто наличие порядка, структурности в системе, а специфические параметры этой организованности: жесткость структуры и сложность. Жесткость структуры выражается в институционализации, в наличии и строгости регламентации, стандартов. Сложность выражается в разнообразии и многообразии элементов и в наличии иерархии, соподчиненности элементов. Такой системе выпадение одного из элементов наносит меньший ущерб. С другой стороны, в системах с жесткой структурой и сложным строением, с наличием управляющих элементов, изменения, если уж происходят, то рывком, т.е. оказываются более полными и спазматическими.

Нарушение этих условий (а – ж) может привести к смене культур.

4. *Перспективы разработки.* Многие параметры, показательные для характеристики этих условий и включаемых ими факторов, доступны формализации и измерению, равно как и общая оценка стабильности. Последняя сводится к измерению близости (сходства) комплексов и соотношению результатов с временем изменений. Такой подход потребует сложных и трудоемких подсчетов, а следовательно, – более интенсивного привлечения ЭВМ. В ряде случаев для раскрытия механизмов преемственности и ее нарушений в рамках этих условий потребуются привлечение данных социальной психологии, этнографии, семиотики. Открываются новые возможности контактов с другими науками. Но главное, что открывается в такой постановке, – это подступ к объективному решению основного парадокса культурного развития (проблемы смены культур) со всей доступной на нынешнем уровне науки полнотой.

5. *Возможности применения.* Предложенная здесь концепция имеет две основных возможности применения.

А. Теоретическое применение. С помощью этого механизма можно объяснять те разрывы в культурной преемственности и те культурные изменения,

которые до сих пор оставались загадочными или имели плохие объяснения. Так, археологи часто сетуют на необъяснимость резкой смены погребального обряда при отсутствии смены населения. Объяснением могут оказаться и коммуникационные факторы, связанные с изменением демографической ситуации. Если это было общество, в котором молодежь стала часто уходить из общины и оседать на новом месте, у археологов нет надежды найти там точное повторение погребальных сооружений исходного очага: молодежь могла и не успеть “натренироваться” на родине в проведении похорон. Подобные объяснения могут оказаться полезными в археологии, этнологии, истории культуры.

Б. Прагматическое применение. Приводя в движение те или иные блоки выявленного механизма, можно осуществлять “мягкое” (т.е. косвенное) руководство культурой – вместо повелений или запретов просто изменять условия ее развития. Такое руководство окажется и более действенным.

Это касается не только административных мер по ведомству культуры. Так, скажем, в исправительно-трудовых лагерях (где мне довелось провести некоторое время и где существует особая субкультура) издавна сложились злостные традиции бесчеловечного обращения одной части заключенных (верхней “масти”) с другими. Никакие репрессии не исправляют положения: доминирование “воров” над “мужиками” и “чушками”, зверства и произвол воров (“беспредел”) и мучения подвластных возрождаются всё снова и снова (см. Самойлов 1993; Клейн 2010). Антрополог порекомендовал бы разрушить каналы передачи этой традиции (отделить новопоступающие контингенты от старых), а также систематически разрушать символическую систему кастового деления и идентификации (следить, чтобы все был одеты одинаково). Я предлагал осуществить это в лагере, и начальство вдохновилось. Но не успели. Я, к сожалению (в этом плане), вышел на свободу, а начальника перевели в другой лагерь. Такой эксперимент был загублен! Более радикальное решение (и на мой взгляд, оптимальное) – ликвидировать лагерь, заменив их тюрьмами с одиночным заключением на более короткие сроки. Другой пример безуспешной борьбы с подобными традициями – “дедовщина” в армии. Как представляется, изложенная концепция применима и к этой проблеме (возможные рекомендации: изменение состава панели, смена канала, передающего традицию, и т.д.).

6. *Путь через секвенции.* Специфика археологического отражения прошлой действительности (Клейн 1978) сказывается в исследовательской стратегии археологии. Познание археологического материала приходится начинать с того, чтобы преобразовывать пространственные отношения в отношения во времени путем *стратификации*. Из-за *компрессии* в археологическом материале (взаимопроникновения разновременных явлений) этого часто оказывается недостаточно. К стратификации добавляют *эволюционно-типологический* анализ, связанный с привлечением внеархеологических опор (моделей функционирования и развития).

А. От колонных секвенций к трассовым. Однако далее археолога ожидает коренной подвох: по результатам стратификации и эволюционно-типологического упорядочения возникает *иллюзия автохтонной преемственности*. Для ее преодоления предложена концепция *секвенций*. Под секвенциями понимаются хронологические последовательности культур. Суть концепции – в различении двух видов секвенций: материал предстает археологу в *колонных секвенциях* (хронологических рядах культур одной местности), а реальные процессы культурно-исторического развития протекали более прихотливо и откладывались в *генетических (трассовых) секвенциях* (т.е. рядах культур, связанных генетической культурной преемственностью вне зависимости от территории). Археолог призван перевести организацию материала из колонных секвенций в трассовые (Клейн 1973а: 299-300; 1973б; Klejn 1976). Перевод осуществляется реконструкцией конкретных миграций и влияний, автохтонности, сегментаций и скрещений.

Естественно, что особое значение приобретает методика реконструкции этих явлений, объединяющих пространственные соотношения и генетическую преемственность культур во времени. На примере миграций можно убедиться, что в таких задачах, при таких условиях невозможно найти простой и единый критерий доказанности. Увязка ни по какому-либо одному признаку (способу погребения, формам керамики и т.п.), ни по целому устойчивому набору таких признаков не дает надежной реконструкции. Нужна более гибкая методика, основанная на учете *компонентов контекста и структурном анализе* реконструируемого культурного феномена (в частности, феномена миграции) с построением его моделей, включающих в себя аналогичные компоненты (Клейн 1973б).

Б. Коммуникация в трассовых секвенциях. Восстановление линий преемственности от культуры к культуре затрудняется тем, что пространственные переброски культурных комплексов – не единственная причина разрывов, фиксируемых в секвенциях. Иными словами, разрывы есть не только в колонных секвенциях, но и в трассовых. Объяснить разрывы второго типа пытались разными факторами – то социально-экономическими и политическими переворотами, то природными катаклизмами, то неувлчивостью культурных явлений в эмбриональном состоянии для археологии и т.п. (обзор и критику см.: Клейн 1975). Каждый из них имеет шансы оказаться действительной причиной разрыва, но нужна более широкая концепция, позволяющая исследователю выбирать те или иные факторы в зависимости от контекста. Начавшаяся кибернетизация социальных наук (Арутюнов и Чебоксаров 1972; Маркарян 1977: 57-63) позволяет разработать такую концепцию на основе *теории коммуникации* (Клейн 1972; 1981г).

Концепция эта заключается в том, что культурно-исторический процесс рассматривается как коммуникационная система, передающая информацию от поколения к поколению. В этом случае проблема преемственности и смены *живых* этнических культур артикулируется и формулируется более четко и становится более доступна формализации и математизации. Предмет выяснения теперь составляют: а) *стабильность и нестабильность* системы коммуникации и б) *непре-*

рывность и связность передаваемой культурной информации. Смена же *археологических культур* внутри трассовой секвенции рассматривается как проекция этого хода изменений живых культур на плоскость археологических остатков. Это значит, что учитываются все изменения, обнаруженные в секвенции, за вычетом тех, которые объяснены критикой источников (внешней и внутренней) и переходом от колонных секвенций к трассовым.

Сформулировать в общем виде факторы (а), которыми обусловлены стабильность и нестабильность системы коммуникации, — не самое трудное в этой задаче, ибо надежность систем связи давно заботит специалистов по *технике* связи, и они накопили перечень таких *общих* факторов (обеспеченность контактов, избыточность информации и т.п.). Гораздо труднее верно установить *культурные* эквиваленты этим формально определенным факторам, открыть их содержательный облик (например, в чем выражаются и чем измеряются контакты между поколениями и т.п.). Попытка такого рода сделана (Клейн 1972; 1981г).

Факторы же (б), которыми определена связность информации, поступающей в систему коммуникации, целиком лежат в сфере социальной, и дело сводится к обработке методов обнаружения их по археологическим следам.

А. Общие вопросы

1. Понятие диффузии. Грубо говоря, история изучает ход событий в человеческом обществе и культуре – то, что у нас привыкли называть культурно-историческим процессом. При этом, естественно, выявляются преемственность и изменения. С XIX века этот процесс представляется как развитие, эволюция. Ведутся споры о ее темпах, этапах, содержании, движущих силах, причинах. Однако в силу разделения человечества на разные народы, с противоречиями между ними, гораздо раньше люди обратили внимание на территориальную сторону этого процесса: проходит ли он на месте или вовлекаются другие территории. Какие страны и народы были передовыми и влиятельными, какие им следовали и подчинялись.

В силу этого в археологии, преистории и ранней истории очень употребителен термин *диффузия*. Происходит он от латинского слова *diffusio* (распространение, растекание, расплывание, рассеивание). Термин этот первоначально применялся в естествознании, где он обозначал распространение жидкости или газа большой концентрации сквозь мембрану в такую же среду с меньшей насыщенностью. Эллиот Смит, медик по образованию (каких в археологии было немало в начале XX века), перенес этот термин на культурные процессы. Смит и Перри обозначили им распространение культурных элементов из более высокой египетской культуры на все остальные, причем средства распространения мыслились разные – как миграции, так и влияния. С этих пор историки культуры (также этнологи и особенно археологи) стали обозначать этим термином распространение некоего культурного явления или комплекса явлений из одного центра в другие.

Таким образом, термин вошел в обиход науки позже, чем термин *эволюция*, но понятия диффузии и ее разных видов, представление о диффузии зародилось раньше: миграции и воздействия одних народов на другие реконструировались гораздо раньше – с библейских времен.

Диффузию часто противопоставляют эволюции (White 1945). Это не очень корректно и связано с противостоянием эволюционизма и диффузионизма, о чем дальше. Точным антонимом диффузии является *автохтонность* (от греч. *авто* ‘само-’ и *хтонос* ‘земля’) – местная ограниченность культурно-исторического процесса, самостоятельное и независимое существование.

По первоначальному смыслу этого термина в археологии, диффузия может осуществляться двумя разными способами – миграцией населения и передачей (трансмиссией) идей – влияниями и заимствованиями (рис. 59). В последнее время вошли в обиход более детальные обозначения с использованием термина *диффузия*: для миграции с вытеснением местного населения – *demic expansion* (*экспансия населения*), для проникновения мигрантов и смешения с мест-

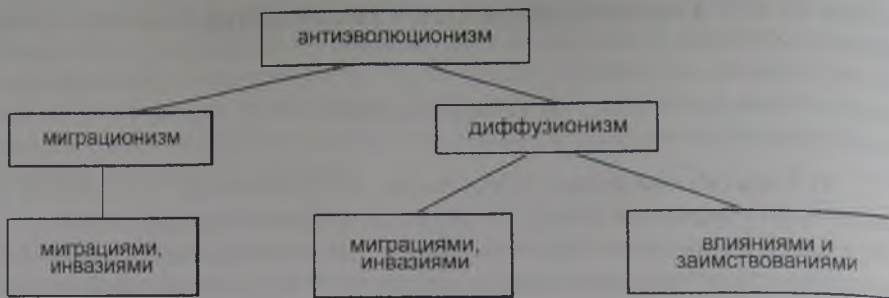


Рис. 59. Традиционная группировка течений диффузионизма/миграционизма.

ным населением – *demic diffusion* (диффузия населения), а для трансмиссии – *trait adoption diffusion* (буквально: диффузия посредством восприятия черт). Детализировать можно и дальше, но удобнее использовать отдельные простые термины, чем составные. Таких основных всё-таки два: *миграция* и *трансмиссия*.

2. Диффузионизм как течение. *Культурно-историческая археология и культурно-исторические школы* – это общее обозначение той научной среды, в которой проявлялось влияние “Антропогеографии” и в которой властителем дум был Вирхов. Это обозначение отражало предмет преимущественного внимания ученых – культуры и их связи. Но ведущая объяснительная концепция этой среды требовала другого обозначения, которое бы выражало отношение этих ученых к “проклятому вопросу” археологии – вопросу о причинах смены культур в историческом процессе.

Гораздо более употребителен для обозначения всей концепции термин *диффузионизм*, хотя ранние представители концепции пользовались им редко и свою позицию им не обозначали.

Эволюционисты не отвергали родство и образующую родство диффузию, они лишь придавали им подчиненное значение. Прогресс достигался не ими. У эволюционистов, по выражению Р. Лоуи, “эволюция возлежала мирно бок о бок с диффузией” (Lowie 1937). Ее признавал Тайлор, у археологов даже трудно разобрать, эволюционист Монтелиус или диффузионист. Даже тяготеющий к эволюционизму Бастиан много говорит о диффузии. А Маретт написал целую книгу “Диффузия культуры” (Maret 1927) – правда, уже в период кризиса эволюционизма, даже в самом конце этого периода, и направленную против гипердиффузионистов.

Понятие диффузии эволюционисты часто упоминали, потому что оно объясняло и обуславливало родство сходных явлений, *гомологию* – то, что эволюционисты часто отвергали, отставив нечто противоположное – *конвергенцию*.

схождение разнородных культурных явлений. *Конвергенция* – это независимое происхождение схожих явлений, их сходство в силу действия единства человеческой природы, человеческой психики и действия одних и тех же закономерностей в схожих природных условиях. Любопытно, что противоположное диффузии понятие – автохтонность – не образовало особого течения в науке, формируя лишь тенденцию в разных течениях – *автохтонизм* (тут подчеркивается местное происхождение), или, как его называл Кристофер Хокс, *иммобилизм* (подчеркивается неподвижность). Это была как бы норма, нечто, подразумевавшееся само собой, а диффузию надо было выявлять и доказывать.

Когда же диффузии придается определяющее значение в истории и диффузию начинают использовать как преимущественный способ объяснения сходств между явлениями разных мест, налицо *диффузионизм*. То есть диффузионизм – не признание диффузии, а ее абсолютизация (White 1945). Главная догма диффузионизма заключается в убеждении, что схожим культурным явлениям нельзя приписывать независимое происхождение. Нельзя потому, что поведение людей неподвластно какой-либо сильной детерминации социальными законами, обстоятельства слишком своеобразны, и если сходство налицо, то это надо объяснять контактом, родством. Вера в подражательность человеческой натуры также способствовала затем развитию этого течения. Именно это течение и вошло в жизнь с “Антропogeографией” Ратцеля.

С термином *диффузионизм* связано три несообразности в обиходной археологической и этнологической терминологии.

1. Диффузионизм, миграционизм, трансмиссионизм. Первая несообразность касается разграничения и соподчинения этих *-измов*.

Поскольку постепенно диффуционисты стали склоняться к мысли, что главным средством диффузии были влияния и заимствования, а не миграции, сам термин *диффузионизм* у многих закрепился именно за таким распространением. Поэтому он стал, особенно у археологов, противопоставляться термину *миграционизм*. То есть миграционизм и диффузионизм стали рассматриваться как равнопорядковые понятия, как обозначения двух смежных течений (например, Adams 1968; Nachmann 1987: 188). В то же время определение диффузионизма остается прежним и связывается с диффузией. Каждый из этих способов абсолютизировался, стало быть, реализовались в истории и *миграционизм*, и *трансмиссионизм*. Но последнего термина не было в историографии. Отсутствие этого термина и приводило к сбивчивости в распределении ученых по школам и к двусмысленности термина *диффузионизм* (получался диффузионизм в широком и в узком смысле). Диффузионизм есть общее понятие, а миграционизм и трансмиссионизм – это его две разновидности (рис. 60).

Каждый из этих подвидов диффузионизма характеризуется собственной спецификацией главной догмы диффузионизма. В миграционизме признается родство, общее происхождение схожих культурных явлений из разных мест, и оно моти-

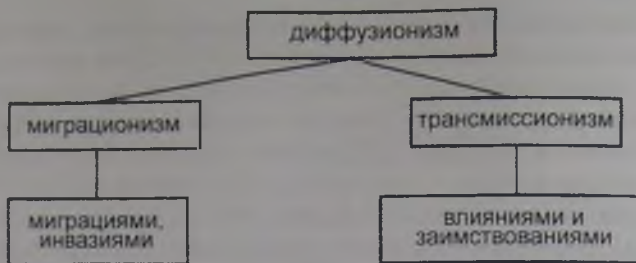


Рис. 60. Предлагаемое упорядочение понятий и течений диффузионизма (Л.С. Клейн).

вируется тем, что культурные особенности зависят от неотъемлемого “народного духа” или биологической природы человеческих групп. Миграционисты ссылаются и на ограниченность природных коммуникаций. В трансмиссионизме как раз эти коммуникации признаются весьма интенсивными, а человеческая тяга к подражанию – гораздо более сильной и распространенной, чем творческие способности.

2. Теории влияний и прочего. Вторая терминологическая несообразность касается обычной практики раскрывать каждый из этих *-измов* описательными выражениями со словом *теория*: *теория миграций*, *теория диффузии*, *теория влияний и заимствований* и т.д. Подразумевается, что, скажем, *теория миграции* и *миграционизм* – это одно и то же, соответственно *теория диффузии* и т.д. Такая подмена терминов недопустима. Диффузия, миграция, трансмиссия – всё это реальные процессы, отложившиеся в материале, так же, как эволюция, конвергенция и т.п. Изучение их сопряжено с трудностями, нужны методы и критерии их опознания, стало быть, изучение их нуждается в теоретической разработке. Нужны теории миграции, трансмиссии, диффузии, эволюции (Rowe 1966; Burton-Brown 1967; Shennan 1995).

Так, шведский географ Торстен Егерstrand (Т. Hägerstrand, род. 1916) из Лунда прославился разработкой именно теории миграций и диффузии – их параметров и характеристик вообще. Это соотношения между процессами и расстояниями, скорость и характер распространения инновации, способы картографирования. Он выделил типы диффузии, этапы диффузии – первичная стадия, стадия собственно диффузии, стадия сгущения, стадия насыщения. Его книги – “Продвижение волн инновации” (1952, “The propagation of innovation waves”), “Протекание диффузии с хорологической точки зрения” (1953 на шведском, англ. перев. “Innovation diffusion as a spatial process”, 1968).

В 1970-х – 80-х теорию диффузии разрабатывали Э. Эммерман и Л. Кавалли-Сфорца на материале неолитизации Европы и с привлечением популяционной генетики (по распределению групп крови). Они установили заселение Европы с

Ближнего Востока, отнеся его к неолиту. Несколько позже Оксфордская группа исследователей во главе с Брайаном Сайксом (Bryan Sykes) анализом митохондрий в клетках установила, что лишь небольшая часть населения Европы сохранила следы близкой родственности ближневосточному, и что такое население расположено по Дунаю (культура линейно-ленточной керамики). В Англии, скажем, нынешнее население показывает признаки преемственности (близкородственных связей) от местного мезолитического, а вовсе не от ближневосточного населения. В эти споры включились палеогенетики и археологи – Марек Звелебил и др. Они научились отличать миграцию от трансмиссии по распределению генов. подтвердили это анализом радиоуглеродных дат (быстрая или постепенная смена мезолита неолитом) и выделили в неолите Европы территории, заселенные мигрантами с Ближнего Востока, и территории, куда проникали только культурные достижения (рис. 61).

Правда, исторически сложилось так, что каждая из этих теорий особенно интенсивно разрабатывалась определенной научной школой, абсолютизировалась ею, становилась ее знаменем и основой одностороннего гиперболизированного учения. Эти доктрины и выдвигающие их научные течения обычно обозначают



Рис. 61. Неолитизация Европы с Ближнего Востока и территории, ассимилированные неолитическим образом жизни без заселения по результатам кооперации археологии с палеогенетикой (Zwelebil and Lilly 2000).

ются как *-измы*: эволюционизм, диффузионизм и т.д. Но это не должно служить поводом к отождествлению той или иной теории с абсолютизирующим ее течением и соответствующей школой. Ведь тогда критическое отношение к крайностям такого *-изма* неизбежно будет перенесено на монополизированный этой школой раздел теории и затормозит его разработку, да и положительные наработки данного *-изма* ускользнут от внимания. Так не раз и бывало. Вспомним гонения на миграцию и диффузию в советской науке, неприятие миграционных построений в западной науке последних десятилетий (Adams et al. 1978), забвение реальных достижений миграционистов или диффузионистов.

3. Центростремительность и центробежность. Третья несообразность заключается в том, что в историографии терминологически сравнительно четко выражено разделение диффузионизма по средствам осуществления диффузии – деление на миграционизм и трансмиссионизм (или узкий диффузионизм в старом обозначении). А на деле здесь-то как раз граница нечеткая, размытая, с плавными переходами и разными сочетаниями. Ратцель и Фробениус – скорее миграционисты, Гребнер – диффузионист широкого профиля, Эллиот Смит в ранних работах отводил больше места миграции, в более поздних – больше трансмиссии, но во всех он диффузионист.

Зато в историографии совершенно не выражено терминологически другое, гораздо более резкое разделение диффузионизма – по территориальным конфигурациям движений. А между тем оно имеет большое значение для историографии, так как во многом зависит от идеологии. Оно тесно связано с социально обусловленным выбором моделей для реконструкции и сильно сказывается на политической актуализации концепций.

Две основные конфигурации диффузии служат идейными затравками всех школ диффузионизма и позволяют разграничить два направления как в миграционизме, так и в трансмиссионизме (рис. 62).

течения связи	в общем охвате	в фокусе (в исследуемом районе)
	полицентрический	центростремительный
	моноцентрический	центробежный

в общем охвате	в исходном районе	в конечном районе
миграция	эмиграция, исход	инвазия, иммиграция
трансмиссия	влияние	заимствование

Рис. 62. Направления миграционизма и трансмиссионизма и соотношения связанных с ними понятий (Л.С. Клейн).

По одной схеме, направленность диффузионных движений не детерминирована, они могут проходить в любых направлениях, могут исходить из разных очагов. Постулируется, что каждое изобретение (или сочетание изобретений) сделано лишь однажды и распространяется из этого очага во все остальные места своего ареала, как и положено по догме диффузионизма, но каждый такой пункт может оказаться в любом месте, в ином по отношению к другим – их совпадение возможно, но не обязательно. Это *полицентрический диффузионизм*. Когда этот подход прилагают к изучению культурной истории одной страны или одного района, то дело обычно сводится к тому, что каждому (или почти каждому) явлению в культуре этой страны или этого района подыскивают истоки где-либо вне этой территории. С разных сторон миграции и влияния то и дело направляются в этот очаг, как бы сбегаясь в середину. Полицентрический диффузионизм выступает в этом случае как *центростремительный диффузионизм*.

По другой схеме, диффузионные движения строго организованы, направляются из одного центра (*моноцентрический диффузионизм*) и расходятся из него во все стороны (*центробежный диффузионизм*) или вводятся в одно русло (*однонаправленный диффузионизм*). Естественно, что моноцентрический диффузионизм часто предстает как центробежный: его сторонники обычно из числа тех, кто сосредоточил свои усилия на изучении страны, признаваемой исходным центром диффузии. Такие концепции получают названия типа *египтоцентризм*, *шумероцентризм* или *панвавилонизм*, *пангерманизм*.

Страну, принимаемую за исходный центр всех культурных благ, сторонники этих концепций исключают из обычного диффузионного объяснения инноваций. Здесь всё возникает самостоятельно, автохтонно, и по отношению к данной стране диффузионизм этого типа оборачивается своей противоположностью – *автохтонизмом*. Так, Коссинну у нас принято трактовать как крайнего миграциониста, но в Германии-то его называли крайним автохтонистом!

3. Диффузионизм и политика. Как можно заметить, многие из тех, кто инициировал географический подход к культурным проблемам, оказались врачами; они обратились к антропологии от медицины или зоологии: Ратцель (аптекарь, затем зоолог), Вирхов со всеми его помощниками, как увидим далее, Риверс со всеми его сторонниками (Хэддон, Селигмен и др.), Эллиот Смит. Что в это время и в этом регионе вовлекало как раз этих людей в культурную антропологию? Полагаю, что это видно лучше всего у Вагнера, Ратцеля и Вирхова. Для них существовала очевидная параллель между биологической и культурной деятельностью человека – как для эволюционистов. Это был позитивистский взгляд. Они стремились получить ответ на те же проблемы, которые занимали эволюционистов, но исходя из другого мировоззрения. Они принимали дарвиновскую эволюцию, но не любили ее. В движениях народов как биологических единиц и (по аналогии) в движениях их творений (включая идеи) они искали источник изменений в культурах и основу формирования культур.

Многие из этих самых людей втянулись в политику: Вирхов, Риверс и Шмидт. Политические идеи, осознанно или нет, направляли выбор их ученых концепций.

Часто ученые придерживались полицентрического (центростремительного) диффузионизма – все движения направлялись извне в страну. Политического звучания такая трактовка имела мало, разве что подчеркивала смешанность культуры, отвечая либеральным взглядам. Иногда с помощью такого вынесения за границу источника власти и могущества делался намек на традиционную неспособность местного населения справиться самому со своими проблемами – это было на руку аристократическому слою, особенно его иностранным фракциям. Гораздо больше политики было сопряжено с моноцентрическим диффузионизмом.

В центральноевропейских странах, где остро стоял вопрос о территориях и этнических взаимоотношениях, моноцентрический диффузионизм вторгался в эти споры и обращался больше к миграциям – приобретал форму *центробежного миграционизма*. Исконность обитания как бы обосновывала “исторические права” на спорные земли, а древние завоевания создавали прецедент и вместе со ссылками на чистоту и несмешанность, а также на древнюю высоту культуры давали повод для притязаний на старшинство между народами. Националистически настроенные ученые этих стран помещали древний исходный центр в своей стране, а окрестные территории оказывались сферой притязаний. Особенно этим отличались немецкие археологи и физические антропологи – Косинна, Шухардт, Гюнтер (*германоцентризм*).

Западноевропейские народы (англосаксы и романцы) не имели в новейшей истории таких территориальных притязаний. Их идеологи притязали лишь на приоритет своих народов в наследовании доминирующей роли (и вообще в культурном наследии) средиземноморских цивилизаций древности – римской, греческой, иудео-христианской и других восточных. Не имея возможности помешать диффузионный центр реалистично в свои страны (ну, нет ничего подходящего в фактах), они помещали такой центр далеко на Восток, например в Египет. Столь дальнейшее размещение центра их не смущало: это всё же их общий обширный культурно-исторический регион, более того – сфера их нынешнего доминирования. В нем действуют всё те же диффузионные процессы, раньше центр их помещался на юго-востоке, ныне центр сместился к северо-западу, всё нормально.

Но раз центр размещен так далеко, а народы на всем пути очень разнородные, реконструировать миграции нереалистично. Главным средством диффузии тут оказываются влияния и заимствования, а диффузионизм (он проявляется и в археологии и в истории культуры) сводится к *моноцентрическому трансмиссионизму*. Таким и оказался “*египтоцентризм*”.

Идеологические соображения, подспудно или открыто стоявшие за диффузионистскими течениями, далеко не всегда раскрывались так прямолинейно и просто. Англичане были не единственными, помещавшими центр мировой культуры на Востоке. Немцы имели там и свои предпочтения.

Для самой науки не политическое звучание антропологических *-измов* имеет реальную важность, а нечто противоположное: средства, которые они разрабатывали для доказательства выводов, выдвигавшихся в русле концепции, были эти выводы желанны или нет.

Б. Миграционизм и миграции

4. Миграции в системе диффузионизма. Основоположник антропогеографии Ратцель, так же как и его вдохновитель Вагнер и ученик Фробениус, говоря о локальности культур и их передвижении, имели в виду в основном их перенос движущимся населением, то есть миграции населения: “у культур нет ног”. Для них, равно как и для Флиндерса Питри, Артура Эванса, Брейля, Косинны, которых мы называем миграционистами, *миграция* была стандартным объяснением культурных сходств и ответом на загадку происхождения того или иного культурного новшества.

Объяснение это – традиционное, популярное в эпоху антикварианизма и охотно использовавшееся романтиками. Оно опиралось на исторически засвидетельствованные нашествия и переселения народов – библейские и сообщаемые античными авторами или средневековыми хрониками (готы, вандалы, татаро-монголы). Авторы подобных объяснений охотно прибегали к ссылкам на экспансию морских и торговых народов, создававших торговые форпосты и выславших колонии, как греки или финикийцы. Еще в 1887 г. братья Э. и Л. Сире, открывшие в Испании культуру Лос Миларес – могилы с металлом и укрепленные городища, – сочли их форпостами финикийских торговцев. Если финикийцы основали такие колонии на месте, где нынче Марсель, почему не могли в Испании? В 1913 г. братья признали, что культура эта раньше финикийской морской экспансии и, стало быть, колонии должны были основывать не финикийцы, а эгейцы крито-микенской культуры. Но объяснение осталось в принципе тем же.

Новые основания миграционных объяснений зародились тоже не в археологии, а пришли в нее из смежных наук, прежде всего из биологии и антропологии. Мориц Вагнер, классик по образованию, получил свою идею миграций из *дарвинистской биологии*. В ней подразумевается, что размножение, конкуренция в поисках пищи (а часто также опустошение занятых ареалов) и борьба за выживание порождали тягу к освоению всё новых территорий и соответственно к миграциям, и это был естественный путь развития. Так происходило расселение любого вида. В процессе такого развития происходила дивергенция, а затем и филиация вида, появление новых видов, и они также вынуждены были осваивать новые ниши и новые территории.

Этому естественному закону был подчинен и человек как вид. Он заселил из первоначального очага широкие территории и стремился заселить всё новые земли. *Физическая антропология* включилась в изучение этого процесса и в сво-

ем специальным разделе (как *палеоантропология*) стала проследивать расселение человеческих рас, во всё более и более дробном разделении, и их борьбу на археологических картах. Разумеется, коль скоро борьба, то сразу же встал вопрос и о биологическом превосходстве одних рас над другими. Для англосаксонского мира это был, прежде всего, вопрос о превосходстве белой расы над черной и красной (над неграми и индейцами), превосходстве, которое бы оправдывало колониальное завоевание и эксплуатацию территорий, заселенных “цветными”. Тут пригодилась и теория эволюции – в частности *полигенизм*, учение о происхождении разных рас от разных видов обезьян. Видным полигенистом в Англии был Хант (Hunt). Но и моногенистский вариант не исключал расистских выводов. Пригодилось спенсеризанство – так наз. “социальный дарвинизм”, то есть учение о выживании наиболее успешных рас, дающих всё более прогрессирующее потомство. А отстали те, которые оказались по тем или иным причинам биологически неприспособленными. Это уже применимо и к сравнению разных подразделений внутри белой расы.

Но более интенсивно занялись таким сравнением идеологи немецких правящих кругов, поскольку, выйдя позже других на арену мировой империалистической политики, немцы (в лице их правителей) чувствовали себя обделенными и имели претензии к своим европейским соседям. Их поэтому интересовала такая теория, которая бы обосновывала их превосходство над соседями и, следовательно, право на лидерство и господство.

5. Расовая теория. По прихоти истории, доктрина о превосходстве нордической расы появилась впервые не в Германии, а во Франции. Задолго до революции граф де Буланвилье (Boulainvillier) первым (1727) додумался до идеи, что господствующий слой Франции происходит от германского племени франков, а низы – от завоеванного теми галло-романского и кельтского населения. Выведение знати от иностранных корней всегда и везде тешило ее самолюбие. Граф Артур де Гобино (Arthur de Gobineau, 1816-1882) в середине XIX в., расширив эту идею, объявил в своем “Рассуждении о неравенстве человеческих рас”, что не только Франция, но и весь мир обязаны всеми культурными достижениями арийской расы, которая вторглась из Азии и оставила в белокурых европейцах своих самых чистых представителей. Кстати, немцев он таковыми не считал, а евреев ценил высоко. Приноравливая учение уже именно к немцам, его всячески популяризировал в Германии друг Гобино композитор Рихард Вагнер (Richard Wagner, 1813-1883), основавший вместе с Г. Шеманом в 1894 г. даже специальное общество – “Объединение Гобино” (Gobineau Vereinigung). Черпая свое вдохновение для музыкального творчества в образах древнегерманской мифологии, Вагнер в своих политических писаниях разжигал агрессивные и националистические инстинкты, особо выдвигая, между прочим, антисемитский акцент. Рассорившись со своим бывшим покровителем композитором Мейербером, он перенес свою ненависть на всех евреев.

Однако всё это оставалось на уровне дилетантских наблюдений и “рассуждений” со ссылками главным образом на облик выдающихся индивидов и древние изображения. Чисто антропологические исследования не давали не только подтверждений расовой теории, но и надежды на возможность таковых. Рудольф Вирхов, десятки лет трудившийся над задачей опознать древние взаимоотношения и передвижения народов в распределении их расовых типов (по древним черепам и современным измерениям), примерно к 1890 г. отчаялся и отказался от этих попыток: расы не удавалось связать с этносами. Группа антропологов (Пенка, Вильзер, Аммон) выдвинула еще в конце XIX века догадку о единстве и скандинавском происхождении расового типа “индогерманцев”, но обоснования были дилетантскими. В немецкой науке, с ее традиционным культом обстоятельности и фундаментальности, эти неудачи не могли остаться без последствий – расовая теория претерпела известную трансформацию.

Англичанин Хустон Стюарт Чемберлен (Houston Stuart Chamberlain, 1855-1927), зять Вагнера, стал автором первого немецкого труда о культурутрегерской роли германцев в истории, вышедшего в 1899 г. под названием “Основания девятнадцатого века”. Чемберлен придал расизму мистический характер, ослабив биологическую сторону: для него, англичанина, важно не тело, а дух. “Кто своими делами проявит себя германцем, тот германец, какова бы ни была его родословная”. “Можно легко стать евреем, ... достаточно только иметь случайные сношения с евреем или читать еврейские газеты”. Это придало учению известную гибкость и защитило наиболее уязвимые места (черноволосых гениев и завоевателей можно было объявить “арийцами по духу”), но в то же время несколько размыло жесткий и четкий вначале каркас учения, перенесся акцент с биологических проявлений на культурные.

С этих пор и в этом виде гобинизм распространился в Германии. Кайзер читал своему сыну вслух книгу Чемберлена и очень старался увеличить ее популярность среди офицеров в армии (Daniel 1950: 110-111). Но попытки вернуть расовой теории ее биологическое обоснование не прекращались. Одновременно с книгой Чемберлена в Германии во Франции вышла книга Ваше де Ляпужа (Vacher de Lapouge) “Арисц и его роль в обществе”. Автор собрал уже немало фактов в пользу распространения светлого нордического расового типа у “индогерманцев” (правда, игнорируя факты противоположного характера). Немецкий профессор Зиглин (Sieglin) выступил в 1901 г. с докладом, в котором заявлял, что древние греки, италики и даже семиты – блондины. Но этого было мало, и в целом конкретные культуры оставались несвязанными с чистыми расовыми типами, а вся картина выглядела запутанной.

За первое десятилетие XX века положение, однако, изменилось. В 1908-1915 гг. гейльбронский антрополог и археолог Шлиц, отойдя от огульного рассмотрения широких географических районов, исследовал краниологические серии из памятников конкретных культур европейского неолита и сумел показать, что каждой из них присущ свой особый физический тип населения. Дальнейшая

группировка этих серий привела к совпадению антропологических характеристик с археологическими критериями объединения в три круга: нордический, шнуровой керамики и ленточной керамики.

В 20-е годы этой проблемой занялся антрополог Ганс Гюнтер (Hans Günther), который, расширяя круг привлекаемых материалов, стал всё более и более целеустремленно направлять всю эту работу на обоснование расовой теории. Вскоре он уже выделил в Европе 5 рас, из которых “нордической” наиболее близка “западная” (по старой терминологии, “средиземноморская”), “восточной” – “восточнобалтийская” (к ней относятся славяне), а особняком стоит “динарская” (по старой терминологии, “альпийская”). Прослеживая их в палеоантропологических материалах (из археологических памятников), Гюнтер затем подбирал живых индивидов (в частности известных исторических деятелей современности), соответствующих своими физическими характеристиками этим расам (например, “нордическую” расу у него представляли Фридрих Вильгельм III и фельдмаршал Мольтке, “восточнобалтийскую” – Достоевский и т.д.).

Перенесение известных (и достаточно субъективных) характеристик психики, характера и жизненных результатов этих лиц на древние народы позволяло разрабатывать биологическое объяснение культурных и исторических явлений, а произвольность выбора индивидуальных представителей обеспечивала свободное достижение желательных выводов. Для националистически настроенных людей, эмоциональных, субъективных и предубежденных, этот наглядный способ доказательств обладал огромной убедительностью. В самом деле, вот решительный и ясно мыслящий победитель Мольтке – ну, разве не типичный германец? Вот Достоевский с его слабавольными полубезумными героями – о эта загадочная “славянская душа”! А что немецкому фельдмаршалу можно было противопоставить Суворова или Ломоносова – это никак в голову не приходило.

Характерен и нарочитый подбор фотоснимков массовых представителей современных рас: “нордические арийцы” представлены эстетически привлекательными (по крайней мере для автора) лицами, представлять славянство отобраны как можно более отгалкивающие физиономии, с уродливо гипертрофированными “расовыми признаками”. Недаром еще достаточно молодым Гюнтер добился бешеного успеха в послеверсальской Германии (к 1928 г. вышло уже 12 изданий его “Расоведения немцев”) и впоследствии некоторое время он был основным теоретиком расоведения в III Рейхе. Успех его был недолгим; он разонравился заправилам нацистской политики, о причинах чего поговорим дальше. Поскольку Гюнтеровская антропология стала базой для археологии Косинны, к вопросу о Гюнтере мы и обратимся еще раз, рассматривая учение Косинны.

Расовые предубеждения англичан и французов не шли так далеко, но биологическое превосходство западноевропейцев над другими народами казалось несомненным, всякие достижения на Востоке казались естественным приписать пришельцам белой расы, а термин *раса* применялся достаточно часто историками

как синоним термина *народ*. Однако к XX веку авторитетные антропологи уже восставали против такого отождествления. Как бы ни определять расу, по каким бы измерениям ни устанавливали ее границы, становилось всё более очевидно, что почти в каждом народе намешано несколько рас, а каждая раса включает в себя не только разные народы, но и разные языковые семьи, говоря на неродственных языках.

6. Индоевропейское языкознание как база миграционизма. Немногим позже расовой теории появилось более уважаемое порождение миграционных объяснений и обоснование миграций – в индоевропейском языкознании (Томсен 1938). В начале XIX века вышли работы немецкого лингвиста Франца Боппа (в 1816 г.) и датчанина Расмуссена Раска (в 1818 г.), в которых они установили родство по грамматическому строю и звуковому оформлению греческого, латыни, персидского, германских языков, а Бопп еще добавил и санскрит из Индии. Вся эта группа родственных языков по предложению Клапрота (1823) стала называться *индогерманской* (потому что исходными для сравнения были немецкий, родной для Боппа и Клапрота, и санскрит). Впоследствии это обозначение приобрело националистический оттенок, подчеркивая особую роль германцев, и другие ученые стали называть эту группу *индоевропейской*.

В этих языках много похожих слов одного смысла (или близкого смысла), и можно установить, каким звукам одного языка какие звуки другого в этих словах регулярно соответствуют. Якоб Гримм в 1822 г. присоединил к этим основополагающим работам первый том своей “Немецкой грамматики”, в которой была дана не столько грамматика, сколько сравнительным методом восстановлена история немецкого языка – звуковые законы, т.е. регулярные перемены звуков в словах в определенных ситуациях (в частности так наз. “передвижение согласных”). Теперь можно было уже предположить, как эти родственные слова, представляющие в сущности варианты одного слова, разошлись от единого звучания. Обратите внимание на то, что это не были наивные сравнения любого слова из любого языка с любым иным по созвучию и смыслу, каких много было раньше и каких немало сейчас в писаниях дилетантов. Это были регулярные системы совпадений в точно определенных ситуациях, правила, законы. На основе сравнительного языкознания Адальберт Кун стал заниматься историей слов и основал в середине XIX века новую отрасль языкознания – *лингвистическую палеонтологию*. А в конце XIX века Гуго Шухардт предложил объединить прослеживание развития смысла слов с исследованием судеб самих вещей и на месте изучения слов и вещей (“Wörter und Sachen”) построить “историю слововещей” (“Sachwortgeschichte”).

Сначала предполагалось, что санскрит древнее всех других индоевропейских языков, и они развились от него. В 1863 г. Август Шлейхер (August Schleicher) в своем главном труде “Компендиум сравнительной грамматики индогерманских языков” и в брошюре 1863 г. “Дарвинизм и наука о языке” построил общую

историю индоевропейских языков в виде родословного древа. В начале он предположил единый индоевропейский *праязык*, от которого отпочковывались сначала *праязыки* нынешних индоевропейских семей – праславянский, прагерманский и прочие, а дальнейшее деление привело к нынешнему многообразию индоевропейских языков. Шлейхер восстановил этот *праязык* и поверил в свою гипотезу настолько, что даже написал связный текст (небольшую басню) на этом гипотетическом *праязыке*. По его мнению, это *праязык* был наиболее близок к санскриту. Первым актом деления *праязыка* у него было расхождение германских и славяно-балтийских языков от всех прочих. В 1871 г. Август Фик выступил с другим родословным деревом – у него на первом шагу распада индоиранские отошли от прочих (рис. 63). Далее появились иные предложения.



Ветви:

- а. Азиатская (Индо-иранская)
- б. Обще-европейская
- с. Южно-европейская
- д. Северо-европейская

Рис. 63. Генеалогическое древо индоевропейских языков по А. Фикку (из книги В. Томсена – Р. Шор 1938).

Но ясно было, что при любом варианте деления первоначальная область обитания праиндоевропейцев была невелика, иначе бы в ней не сложился единый язык. На основании изучения восстанавливаемой лексики праязыка ряд ученых попытался очертить культуру пранарода и природу прародины (первые опыты – Адольф Пиктэ, книга 1859 г. “Происхождение индогерманцев, или первобытные арья” и Отто Шрадер, книга 1883 г. “Сравнительное языковедение и первобытная история”). С этого времени начались поиски прародины. Одни (как Пиктэ и Шлейхер) помещали ее в Индии или в южнороссийских степях, другие – в Центральной Европе или в Подунавье. Так или иначе, из этой первоначальной области (*прародины*) индоевропейский народ (*пранарод*) расселялся на все территории нынешнего обитания индоевропейских народов, и в ходе этого расселения утрачивалась связь между группами далеко расселившихся людей, а так как язык всё время обновляется, то со временем начиналось расхождение в языке, доходившее до формирования особых языков. Кроме того, заселяя новые земли, праиндоевропейцы смешивались с тамошним местным населением, говорившим на других языках, и навязывали им свой язык. Но те усваивали его с искажениями, и это также приводило к изменению индоевропейской речи на этих территориях под влиянием местной прежней речи (*субстрата*) и образованию новых индоевропейских языков (“теорию субстрата” выдвигали итальянский лингвист Грацидио Асколи и немец Гуго Шухардт).

Аналогичные модели были созданы и для неиндоевропейских языков – для финноугорской семьи, семитской и др. У каждой предполагался праязык, прародина и пранарод.

Расселялись ли пранароды медленно и постепенно или быстрыми бросками, но гипотеза праязыка и прародины делала совершенно необходимыми *миграции* из прародины на все области нынешнего расселения, а может быть, и еще шире – на другие земли, откуда впоследствии пришлось уйти. Вот археологи и реализовали эти идеи: Валс, Чайлд и Мария Гимбутас вели индоевропейцев из восточноевропейских степей, Мух и Косинна – из Северной Европы, Гамкрелидзе с В.В. Ивановым и Ренфру – из Анатолии.

7. Демографическое, социальное и археологическое изучение миграций. Археолога, конечно, интересуют общие работы о миграциях (Latham 1851; Hönigsheim 1929; Неаре 1931; Kurth 1963), особенно причины миграций, хотя сами по себе они – дело не археологии, а истории (также преистории) и социологии. Поэтому “законы миграции” демографа XIX века Рэвенштейна (Ravenstein 1885; 1889), равно как и “теория миграций” социолога XX века Ли (Lee 1966) меня здесь занимать не будут. Рэвенштейн выделяет три фактора, взаимодействие между которыми рассматривает для установления законов. Эти факторы – толчок (*push*), тяга (*pull*) и средства (*means*). Всё это касается причин миграций. Преисторические аспекты этой темы я затрагиваю в работе “Генераторы народов” (Клейн 1974а; см.

также Долуханов 1978), а в ряде работ они рассмотрены применительно к разным разделам преистории (Kölmann 1976; Косарев 1972; Мерперт 1978; Титов 1982; Shilov 1989). Как осуществляются миграции – тоже не собственно археологическая задача. Это поле этнографии и культурной антропологии (Haddon 1911 = Геддон 1923; Braukämper 1992; 1996; Zamojski 1995 и др.). Археолога подобные разработки и сведения интересуют лишь как подспорье для прояснения проблем с археологическим материалом, а вот как миграции отражаются в археологическом материале – это дело самой археологии.

Как ни странно, в пору расцвета миграционизма миграционисты-археологи не создали системы критериев по определению археологических следов миграций – чего-либо подобного критериям Гребнера-Шмидта. Отдельные замечания исследователей можно выявить (особенно Preidel 1928; Tischler 1950; Knopf 2002), но это разрозненные высказывания, а чаще критерии просто подразумевались. Это критерий *внешнего источника* (или в другом повороте – *внешнего выдвигения*). Это также критерий *комплексный* (“*лекальный*”) – на новом месте должен проявиться целый комплекс признаков исходной культуры (как по лекалу), хотя выдвигался и принцип *pars pro toto* (часть вместо целого), делавший значимым и один тип. Это, далее, критерий *этнических показателей*, намечающий выборку специфических показателей, по которым можно устанавливать этническую преемственность (и, следовательно, миграцию или автохтонность), а по другим нельзя. И так далее.

Систематизировали эти критерии два археолога – Ирвинг Рауз в Америке (Rouse 1958; 1986) и я в России (Клейн 1973а; 1999), сделана также попытка в Германии (Burmeister 1996). До этих работ формального перечня доказательств не было, и полнота их заведомо не соблюдалась. Впрочем, если вдуматься, то это не так уж странно: в полноте критериев проверки и доказанности миграций были заинтересованы как раз не миграционисты, а их противники, и, в конце концов, критериев было установлено так много, что примени их все – ни одна миграция не будет признана, даже самая что ни на есть реальная.

Ведь что такое миграция с точки зрения этих критериев? Вышли оттуда, пришли сюда, что имели – принесли с собой, маршрут усеяли тем, что теряли по дороге... А было ли в жизни всё так просто? Миграции древних племен не были похожи ни на эту модель, ни часто друг на друга. Они были все очень разнообразны – этому учит этнография. Переселенцы отрывались от родины, еще не зная, куда идут. Чаще всего их гнал голод, иной раз давление соседей. Не сразу попадали в конечный пункт. Не оставляли по могиле на каждом привале. Недолго сохраняли отечественные традиции, да зачастую и не все традиции знали (если не все слои общества снимались с места). Являясь в земли чужих богов, старались приспособиться. Новое впитывали жадно, легко. И выйдя через сотни лет к землям, на которых почему-либо смогли задержаться, приносили туда лишь часть того, что имели первоначально, зато много – захваченного по пути.

Сейчас выясняется, что критерии разные для разных типов миграций, и работы по классификации миграций (Hertz 1930; Kulischer 1932; Penk 1936; Hochholzer 1959 и др.) приобретают интерес. Раньше все попытки установить критерии делались вообще, без различения видов миграций.

В. Трансмиссии и трансмиссионизм

8. Влияния и заимствования в системе диффузионизма. Однако в ряде случаев миграционное объяснение не подходило, не говоря уже об общем отвержении миграционизма (Clark 1966; Adams 1968; Adams et al. 1978), а разительные сходства были налицо или какое-либо новшество появлялось в культуре неизвестно откуда. Но либо антропологические различия мешали признанию миграции, либо сходство или новшество охватывало лишь некоторые элементы культуры. В этих случаях, если исследователи оставались приверженными диффузионистскому мышлению, приходилось прибегать к объяснению *трансмиссией*, передачей – *влиянием* и *заимствованием*. Этих исследователей называют *диффузионистами* в узком смысле, а рациональнее называть их *трансмиссионистами*.

Хорошее изложение этой идеи находим у Чайлда:

“Я предполагаю, что главные технические изобретения и открытия – колесная повозка, гончарное колесо, намеренная плавка меди, вращающийся жернов, коса – все были сделаны только однажды и распространялись из единого центра. В преисторической археологии это представляется полезной рабочей гипотезой или эвристическим принципом, пока не найдены объективные основания против этого” (Childe 1950: 9).

Подобно миграционизму, наиболее ярко проявившемуся поначалу в биологии, географии и этнологии, трансмиссионизм зародился и получил свое теоретическое обоснование не в археологии, а в других науках – в психологии и культурной антропологии. Посему придется начать изложение темы с экскурса в эти науки. Да и в последующем изложении обращение к смежным наукам останется актуальным, поскольку некоторые видные фигуры, относимые к этому течению в археологии, занимались одновременно и смежными науками, нередко в связи со своими преисторическими и археологическими исследованиями.

9. Психологическое обоснование имитации. Почему люди поддаются *влиянию*? Какую вообще роль играют влияния в социальной жизни? Известно, сколь большую роль играет *имитация*, *подражание* в поведении обезьян. Но то обезьяны. Распространяется ли это на всех приматов? Сколь подвластен этому человек?

На основе анализа разного рода митингов, массовых беспорядков, мятежей, революционных событий, сектантских сборищ итальянский криминолог Ши-

пио Сигеле (Sighele, 1868-1913) пришел к выводу, что в толпе люди ведут себя не так, как вели бы по одиночке. Человек, по его мнению, жесток и преступен по природе. В толпе у людей ослаблен рациональный самоконтроль, развязаны инстинкты, люди становятся разнузданными и обладают повышенной *внушаемостью*. Поэтому толпа склонна к злу. Сигеле изложил эти мысли в книгах “Преступная толпа” (1891, русск. перев. 1894) и “Психология сект” (1895).

Сигеле жил недолго. Его идеи поддержал французский врач и публицист Гюстав Лебон, проживший долгую жизнь – 90 лет (Le Bon, 1841-1931). Он был старше Сигеле более чем на четверть века, но почти на два десятилетия пережил своего итальянского коллегу. Дворянин, получивший классическое образование, он в университете изучал медицину и стал доктором, но без практики. После ряда медицинских статей отправился добровольцем на Франко-Прусскую войну 1870-71 гг. Этот опыт породил его статьи о поведении человека в условиях тотального поражения. Наблюдение Парижской Коммуны и ее разгрома обратило его к *коллективной психологии*. Его книги появились почти одновременно с книгами Сигеле – “Психологические законы эволюции народов” (1894, русск. перев. 1906), “Психология толп” (1895, русск. перев. “Психология народов и масс” 1896, нов. перев. “Психология социализма”, 1995), “Французская революция и психология революций” (1912).

В исходных принципах он примыкает к Спенсеру: “Если бы природа не была безжалостна к слабым, мир был бы заселен уродами и монстрами”. Соответственно, социализм он считает утопией, губительной для демократии. “Демократия косвенно породила социализм и от социализма, быть может, и погибнет” (Лебон 1995: 362).

Осуждая революции и социализм, он писал о чувстве анонимности и безответственности, обуревающей человека в толпе. Поэтому толпа обладает особыми качествами, которых нет у каждого индивида в отдельности, “коллективной душой”.

Вообще он считал, что в Европе наступила эра толпы. Разумное критическое начало индивида подавляется иррационализмом масс, коллективным сознанием. Лебон писал о *психологическом заражении* и *внушаемости* “человека толпы”. “Толпа” или “масса” – это группа людей, собравшаяся в одном месте и воодушевленная общими чувствами. Люди, как бараны, готовы следовать за своим лидером. Лидер же потому и оказывается лидером, что обладает аффектированным темпераментом, агрессивностью и истеричностью, а это часто следствие психических отклонений. Таким образом, толпа идет за психопатами – параноидальными личностями или особями с уклоном к маниакально-депрессивному психозу.

Лебон указывает на апостолов. “Эти люди находятся как в полубреду”, в патологическом состоянии. “Нельзя быть апостолом чего-либо, не ощущая настоящей потребности кого-либо умертвить или что-либо разрушить” (Лебон 1995: 124). Разумеется, ради блага человечества. “Торквемада, Боссюэ, Марат, Робеспьер – все они считали себя кроткими филантропами, мечтающими о счастье человечества” (там же, 129).

“Ни одно из крупных верований, руководивших человечеством, – замечает Лебон, – не происходило от разума. То, чем в высшей степени обладают верования и чем разум не будет владеть никогда, это удивительная способность связывать между собой вещи, не имеющие никакой связи, превращать самые явные заблуждения в самые очевидные истины... Верования эти не поддаются логике, но управляют историей” (там же, 122).

Демократические критики чувствовали себя оскорбленными отождествлением народной массы с иррациональной толпой и отмечали у него идеализацию толпы зевак или преступной шайки в качестве толпы вообще. Полностью аморфной толпа редко бывает. Рациональный индивид, противостоящий иррациональной толпе, это идеализация индивида. Но лидеры и диктаторы с энтузиазмом увлекались Лебоном. Президент Теодор Рузвельт не расставался с его книжкой о психологических законах; Лебона тщательно штудировали Плеханов и Ленин, Муссолини и Гитлер.

Из исследователей этого же толка наиболее известен ровесник Лебона французский юрист и социолог Габриэль де Тард (Tarde, 1843-1904). Вначале это был провинциальный служащий, занимавшийся проблемами преступности. Тард начинал, как статистик Кетле – с причин преступности. В 1886 г. он выпустил книгу “Сравнительная криминология” (*La criminologie comparée*). В отличие от итальянской криминологии (Ломброзо) он выводил преступность не из биологических и расовых особенностей преступников, а из их социальной среды и психологии – как Кетле. Но Кетле выявлял статистикой общие законы, а конкретные поступки личностей были для него не важны – это лишь факты для выведения средних цифр. Для Тарда же важны были именно личности, потому что он не верил в Дюркгеймовское выделение общества в самостоятельную субстанцию. Он не принимал аналогий с организмом, отвергая вообще эволюционные модели. Для него общество – это только сумма индивидов. Их взаимодействие и рождает все общественные процессы.

Уже в следующей книге “Законы подражания” (“*Les lois de l’imitation*”, 1890, русск. перев. 1892) он развил свое понимание общественных процессов. Законы, действующие в обществе, это, прежде всего, законы воспроизводства явлений, *законы подражания*. Эти законы психологические. Они действуют на индивидуальном уровне, точнее – на уровне взаимодействия индивидов. Социология, таким образом, – это коллективная психология. Среди введенных Тардом законов такие: подражание идет “изнутри наружу” (от содержания, а не формы); оно идет “сверху вниз” (от господствующих классов к низшим слоям). Тард учил, что законы общества нельзя смешивать с законами истории, то есть *законами развития* общественных структур. Эти законы образуются на основе первой группы законов, психологической. Те исходные, основные.

С помощью законов подражания люди адаптируются к социальной среде. Почему какие-то поступки, какое-то поведение вызывает подражание? Для Тарда слова *групповое сознание, коллективное сознание, душа толпы* – мистицизм, недо-

стойный науки. Но и нельзя сказать, что психика индивидов абсолютно гетерогенна, ибо в этом случае не было бы взаимопонимания при общении. В индивидуальном сознании есть общие элементы, они могут сливаться, порождая массовые импульсы.

Но элементарное социальное отношение – передача веры или желания. Простейшая модель – *гипноз* (хотя реальный гипноз – конечно, крайний случай). “Общество, – чеканит свой афоризм Тард, – это подражание, а подражание – род гипнотизма” (1892: 89).

Изобретение, будучи раз сделано, затем расходится концентрическими кругами, пока не встретит другое изобретение и другое подражание. Происходит логическая дуэль подражаний. Социальные процессы, происходящие в обществе, – это *адаптация, повторение и оппозиция*. Методы исследования – “археологический” (выявление истоков подражания) и статистический.

Все эти идеи Тард развивал и в своих следующих книгах. Их он писал уже в ином качестве. В 1894 г. он был назначен директором криминальной статистики в Министерстве юстиции. Эти книги: “Социальная логика” (“La logique sociale”, 1895, русск. перев. 1901), “Социальные законы” (“Les lois sociales”, 1898, русск. перев. 1906), “Универсальная оппозиция” (“L’opposition universelle”, 1897), “Очерки по социальной психологии” (“Études de psychologie sociale”, 1898a), “Мнение и толпа” (“Opinion et la foule”, 1899b, русск. перев. “Общественное мнение и толпа”, 1902).

С 1900 г. Тард – профессор современной философии в Коллеж де Франс, но преподавал он там всего около четырех лет. Едва перевалив за 60, он умер.

Тарда тоже критиковали немало. Закон распространения имитации “сверху вниз” не универсален – христианство появилось как раз в низах. Разные виды подражания у него смешаны: убеждение, преклонение перед авторитетом и слепая вера (панургово стадо). Социальная мотивация выбора образцов для подражания у него вообще не рассматривается. Чем подготовлен успех идей революционеров и новаторов – Люгера, Мюнцера и прочих? По Тарду, не нестерпимостью гнета, не назревшей силой новых слоев, а пропагандой, “заразой”.

Тем не менее, Тард был очень влиятелен – особенно за рубежами Франции, в Америке (Джеймс Марк Болдуин, Эвард Росс, Франц Боас). Есть и специальные работы о подражании в первобытном обществе (Tischler 1954). Думается, что Тард наряду с Ратцелем, у которого были схожие идеи о природной консервативности и неизобретательности человека, способствовал созданию той интеллектуальной атмосферы, в которой имитация стала представляться неотъемлемым свойством человеческой природы, а культурные влияния – естественным объяснением сходств, культурные круги – простейшей конфигурацией распространения изобретений и открытий.

10. Поддержка трансмиссий в языкознании и фольклористике. Трансмиссионизм также находил себе поддержку в языкознании. Так, в 1870 г. вышла

книга Виктора Хена (или Гена – Victor Hahn) “Культурные растения и домашние животные в их переходе из Азии в Грецию, Италию и остальную часть Европы, историко-лингвистические очерки”. А в 1872 г. Иоган Шмидт построил иную модель образования индоевропейской семьи языков, совершенно отличную от Шлейхеровой, – *теорию волн*. По ней, языки разных групп изначально находились приблизительно на своих нынешних местах и в ходе контактов влияли друг на друга, заимствуя друг у друга слова и грамматические формы. Так и складывались сначала более тесные семьи – германская, славянская, романская и другие, а потом они объединились в индоевропейскую (рис. 64).



Рис. 64. “Теория волн” И. Шмидта (из книги Томсена/Шор 1938).

не в 1910 г. издал индекс фольклорных мотивов, указав предположительно место происхождения каждого. Его опыт усовершенствовал и развил американец Стит Томпсон (Stith Thompson), издав в 1932-37 гг. “Указатель мотивов фольклорной литературы” в 6 томах (второе издание 1955-58). Затем это направление утратило привлекательность, потому что фольклористы осознали его ограниченность: говоря о месте возникновения, оно не выявляло причины.

Как видите, и миграция, и трансмиссия культуры находят поддержку и обоснование не только в самом археологическом материале, но и в ряде смежных наук. Не в одних и тех же. Скажем, миграционизм находит поддержку в биологии, а трансмиссионизм нет: какая же трансмиссия возможна в биологии, когда признаки связаны с генетическим материалом? Полосатость невозможно объяснить передачей от зебры к тигру. Но всё же перед нами общенаучное движение мысли, нашедшее отражение в археологии.

В фольклористике зачинателем трансмиссионизма явился немецкий лингвист-санскритолог Теодор Бенфей (Theodor Benfey, 1808-1881) из Гёттингена. Так же, как шотландский писатель Уильям Коулстон (William Coulston), он считал, что все фольклорные мотивы распространялись из Индии во все стороны. Другие филологи нашли другие истоки распространения, но принцип диффузии путем влияний и заимствований получил широкое признание и применение. Финский фольклорист Антти Аарне

Глава 11. Археологические признаки миграций

I. Предисловие. Судьба этой главы странная. Я написал основной ее текст на рубеже 1972 и 73 гг. как доклад для выступления на IX Всемирном конгрессе антропологических и этнографических наук в Чикаго. Ввиду нестандартности моих взглядов мне нечего было и думать об участии в археологическом конгрессе, а в этнографическом – можно было попробовать. Но и туда меня не пустили. А вот доклад взяли. И он был напечатан в Москве на русском языке как отдельная брошюра небольшим тиражом в серии докладов советской делегации – “Археологические признаки миграций” (Клейн 1973а).

Конечно, доклад проходил многостепенную проверку, в ходе которой сначала мне предложили сократить количество ссылок: оказалось слишком много иностранцев и вообще нерусских фамилий, а потом велели увеличить его за счет русских ученых. Затем статью переводили (уж не помню, то ли на английский, то ли на французский язык) для зачитывания на конгрессе (без меня) и печатания в трудах конгресса. Однако потом, как я ни старался, кого только из зарубежных коллег ни привлекал на помощь, я не мог отыскать эту работу ни на английском, ни на французском языках. Очевидно, “бесхозные” доклады не зачитывались и не публиковались.

Остались только брошюры на русском языке в нескольких профильных библиотеках страны. Однако и этим брошюрам не везло. С одной стороны, читательский спрос на них был очень велик, значит, они оказались нужны. Свообразным показателем полезности является то, что из библиотеки ИИМК эту брошюру просто похитили, потом заменили другим экземпляром. Мой собственный экземпляр кто-то “зачитал” – взял и не вернул. Я заказал ксерокопию, но и та исчезла. С другой стороны, эту работу очень редко упоминают в печати, ссылок на нее почти нет. Вероятно, она приглянулась не теоретикам, а практикам – не для упоминания в дискурсе, а для попыток применения. Лишь двое очень уважаемых мною теоретиков как-то сказали мне, что считают ее одной из лучших моих работ. В глубине души я с ними согласен.

Впрочем, с тех пор вся разработка проблемы критериев доказанности миграций пошла в СССР и других “соцстранах” по намеченному мною пути – разделения миграций по типам. В одной важной работе о миграциях я нашел явное использование моей брошюры – в большой статье В.С. Титова “К изучению миграций бронзового века”. Это был доклад Титова на теоретическом семинаре в Москве, сделанный в 1976 г. и опубликованный в 1982. Там и определение темы мое (название главы у него: “Об археологических признаках миграций”), и список критериев тот, который сформулировал я, и с теми же своеобразными обозначениями критериев (территориальный, хронологический, локальности), и увязка критериев с типами миграций проделывается, что я и предлагал. То есть у Титова представлена развернутая реализация моей программы. Но нет даже упоминания

моего имени. Это понятно: сборник подписан к печати в декабре 1981 г. – к тому времени я уже более полугода находился в тюрьме, участие КГБ в моем деле ни для кого не было секретом, и отовсюду ссылки на меня аккуратно вычеркивались. Это тоже способствовало забвению моей работы.

Спустя четверть века она оказалась мало известна и почти недоступна большинству специалистов. Поэтому я очень обрадовался предложению журнала “Стратум” опубликовать ее повторно, так сказать, вторым изданием, и занялся подготовкой ее к печати. Однако поскольку исчезли цензурные ограничения и соображения “проходимости”, я не стал делать точную копию, а предпринял восстановление первоначального текста по черновикам, внося в публикацию всё, что вычеркнуто. Кроме того, я пополнил литературные данные, умножил примеры – как-никак прошла четверть века. Но основа работы осталась без изменения.

А спустя еще полтора десятилетия я включаю работу как главу во второй том “Археологического исследования”.

Тех, кто удивится обилию ссылок на старые работы, я прошу всё же не забывать, что эта основа заложена сорок лет тому назад. В тех случаях, когда такие работы приводятся как иллюстрации, как примеры реализации той или иной модели, не так уж важно, когда они написаны. Более современные примеры каждый может подыскать и сам.

Сразу же оговорюсь: в предшествующей главе, в разделе Б7 я уже отмечал, что на мой взгляд, общие причины и законы миграций – это дело не археологии, а истории (также преистории) и социологии. Поэтому я ими здесь не занимаюсь, сосредоточивая интерес только на том, как миграции отражаются в археологическом материале.

2. Миграционизм, автохтонизм и секвенции. Археологический материал предстает перед археологами более или менее четко сгруппированным в *археологические культуры*, в которых отложились в преобразованном виде этнографические (но не обязательно этнические) культуры живых обществ прошлого (Klejn 1971; Клейн 1991а: 123-208). С этим связан ряд иллюзий, очень мешающим в работе. Для преодоления эти иллюзий я ввел концепцию *секвенций*.

Из-за специфики самого материала (наличие многослойных памятников) и еще больше из-за особенностей современной организации научных исследований (разделение по странам, лакунарность обследования) исходная группировка культур оказывается их локально-диахроническим соединением. Археолог получает культуры как бы нанизанными на стержни локальных колонок сравнительной стратиграфии и составляющими локально-диахронические ряды – *колонные секвенции* (рис. 65). Таков, например, выявленный Городцовым на Донце ряд культур: ямная, катакомбная, срубная и т.д.

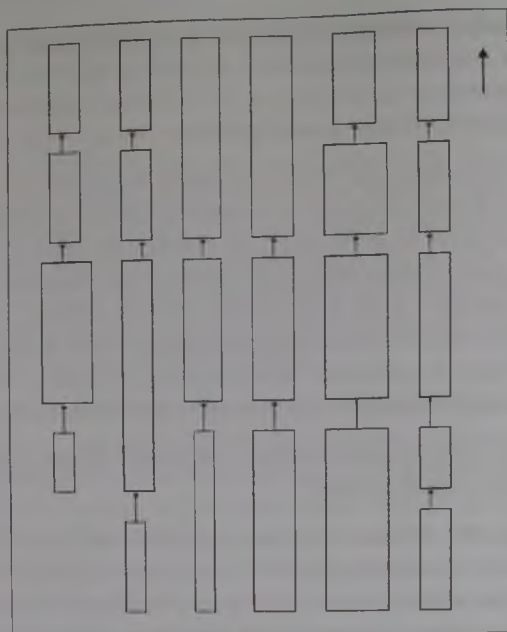


Рис. 65. Колонные секвенции. Стрелка справа показывает направление времени. Прямоугольные ячейки обозначают культуры. Стрелки, соединяющие их, отображают иллюзорную преемственность, лишь в некоторых случаях совпадающую с реальной.

Так как в смене культур внутри каждого такого ряда в общем и целом обычно наблюдается культурный прогресс, то рождается иллюзия, что этим рядом представлено реальное непрерывное развитие одного и того же населения. К тому же такой быт ближе представлению ученого и кажется ему более реалистичным. Как писал Уэйс, “одно дело сидя сегодня в удобном кабинете где-нибудь в Оксфорде или Гёттингене, переселять неолитический народ из Малатии в Фарсал, но было совсем другим делом для неолитического народа тысячи лет назад переселяться со всеми манатками (*lock, stock and barrell*)” (Wace 1958: 31). Наивность и неисторичность подобных рассуждений видна сходу. Сентенцию Уэйса можно повернуть и против его идеи: одно дело сидеть сегодня в удобном кабинете где-нибудь в Афинах и удерживать неолитический народ в чудесной местности, а совсем другое дело для неолитического населения выбирать между смертью на месте (от эпидемии, глада, мора, смуты или нашествия) и бегством – *lock, stock and barrell* – на поиски лучших земель. О мотивах можно расспросить бесчисленных сегодняшних мигрантов.

Постоянное и повсеместное независимое существование народностей – это иллюзия, и основанная на ней концепция (*наивный автохтонизм*) обходится очень бесхитростным обоснованием – подразумеваемым “законом наименьшего

движения”, на который, впрочем, позже появляются и прямые ссылки (это подмечено в работе Adams et al. 1978: 505).

Этой иллюзии мешает дискретность звеньев указанного ряда – *археологических культур* в колонной секвенции. Культуры резко сменяют одна другую, и корни каждой выявить довольно трудно. Происхождение каждой культуры – чрезвычайно дискуссионный вопрос (Клейн 1975). Чтобы обосновать иллюзию постоянного независимого местного развития, предпринимаются попытки выявить сквозные эволюционные линии в типологии (местные традиции, сквозные типологические ряды) и ведутся поиски недостающих звеньев между культурами. С упомянутым рядом культур так поступали Круглов и Подгаецкий, Кривцова-Гракова и др.

Чем менее успешны эти попытки и поиски, тем больше повода для противоположной иллюзии – принимать каждую смену культур в колонной секвенции за результат *инвазии*, вторжения иноземцев, прихода нового населения (*инвазионизм* или *наивный миграционизм*). Так трактовал свой ряд культур сам Городцов. Так расценивали смены культур в регионах своих раскопок К. Кенъон, Дж. Рейснер, Л. Вули.

Выбор между той и другой иллюзиями мог определяться самим материалом, его изученностью или идейной предрасположенностью исследователей. Так, эволюционизм третьей четверти XIX века, хотя и не имел ничего против миграций, создавал систему, в которой для объяснения ситуаций обращаться к миграциям не было необходимости, а факты, служившие аргументами миграций, задействовались иначе. Смена культур объяснялась прогрессивным развитием, сходства культур разных территорий объяснялись конвергенцией. Кризис идей прогресса, рост национализма и геополитических претензий в конце XIX – начале XX века приводили к усилению роли миграционных толкований.

Для обеих наивных крайностей была характерна одна и та же методическая ограниченность: поиски доказательств велись только внутри данной колонной секвенции. Между тем памятники, сочетающие черты обеих культур – более ранней и более поздней, – почти всегда налицо: не только при местном развитии, но и при смене населения – как результат смешивания и скрещивания пришельцев с остатками туземцев (Клейн 1961: 12-13; 1968б; Членова 1963: 48; 1967: 6).

С другой стороны, и дискретность развития тоже проявляется не только при смене населения – к тому же эффекту могут приводить и природные катаклизмы, и социальные сдвиги, и т.п.

Возникает представление о том, что никакая автохтонность культуры не выглядит правдоподобной без сравнения предполагаемых местных корней этой культуры с возможными внешними ее корнями, уходящими в культуры других колонных секвенций. И что, с другой стороны, никакая инвазия не вправе претендо-

вать на убедительность без демонстрации таких внешних корней, превосходящих по обоснованности материалом предполагаемые внутренние, местные корни.

От изначально заданных колонных секвенций надо перейти к *трассовым секвенциям* – рядам культур, соединенных последовательно по принципу культурной преемственности вне зависимости от территориального расположения (рис. 66). Ведь именно в этих, а не в колонных секвенциях протекал культурно-исторический процесс (Klejn 1976; 1981в, 1981г). На схеме в некоторых случаях стрелки культурных традиций связывают культуры одной колонной секвенции (по вертикали) – это автохтонная преемственность. Тут трассовая секвенция совпадает с колонной. В других случаях стрелки связывают культуры разных колонных секвенций (по диагонали) – это трансмиссии (импорты, влияния, заимствования). В третьих случаях такие мостики преемственности между колонными секвенциями образуются жирными линиями – это миграции.

Концепция двух типов секвенций и выдвинута мною для преодоления наивного автохтонизма и наивного миграционизма.

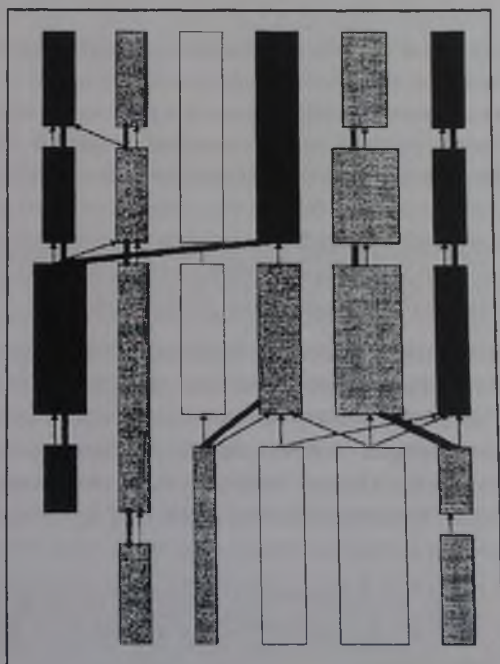


Рис. 66. Трассовые секвенции. Стрелки, которыми связаны культуры, обозначают традиции, а жирные соединительные линии обозначают основные линии преемственности. Культуры, объединяемые в одну секвенцию, связаны этими линиями и показаны одинаковым тоном заполнения.

3. Миграционизм и трансмиссионизм. Понятие секвенций – мое нововведение, но соответствующие ему реалии в материале наметились давно. К выявлению и прослеживанию таких секвенций археологи обратились на рубеже XIX и XX вв. Сразу же выяснилось, что трактовка этих секвенций также может быть двойкой. Снова возникают две иллюзии.

Одна порождается привычной увязкой определенной культуры с определенным населением и сводится к представлению, что идея не передается без прихода ее носителя. Как утверждал Ф. Ратцель в “Антропогеографии”, “распространение этнографических предметов может совершаться только через человека, с ним, при нем, на нем, особенно же в нем, т.е. в его душе как зародыш идеи формы. Этнографический предмет передвигается вместе с его носителем...” (Ratzel 1912: 442). “У культуры нет ног” (“Die Kultur hat keine Beine”), – говорил его ученик Л. Фробениус (Frobenius 1898: XIII). Контакт людей действительно необходим, но он может осуществляться и на границе ареалов, без переселения. Ошибка заключается в том, что трассовая секвенция принимается за историю культуры одного населения и почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонной секвенции в другую принимается за миграцию – как у Брейля. Это *миграционизм*.

Противоположная иллюзия вытекает из преувеличения роли торговли и других контактов в распространении культуры. “У идей есть крылья” (“Ideas have wings”), – заявил М. Уилер (Wheeler 1952: 185). Эта концепция сводится к тому, что трассовая секвенция совершенно освобождается от связи с одним и тем же населением и понимается как история определенного комплекса идей, а почти каждая переброска трассовой секвенции из одной колонки в другую рассматривается как горизонтальная *трансмиссия*, передача культуры посредством культурного влияния и заимствования – как у Шахермейра. Это *трансмиссионизм*.

Здесь есть структурная аналогия с первой парой крайностей: ситуация во многом та же, только внутренними или внешними связи и корни культур выступают не по отношению к колонной, а по отношению к трассовой секвенции.

На практике абсолютизация роли миграций, с одной стороны (это миграционизм), и влияний – с другой (это трансмиссионизм), выступали обычно не в обрисованном выше чистом виде, а в своеобразной идеологической арранжировке. Косинна поставил прослеживание древних миграций на службу геополитике – идеологическому оружию германского империализма. Эллиот Смит положил влияния и заимствования в основу концепции диффузионизма, построенной как проекция отношений современного колониализма на далекое прошлое. В одном случае Центральная Европа, в другом – Египет выдвигались на роль исходного очага и главного центра культурного развития всего Старого Света. Шла вообще борьба за приоритет народов в культурном развитии в основном между археологами центральноевропейского происхождения, с одной стороны, и восточноевропейскими археологами, а также археологами, считавшими свои народы наследниками средиземноморского очага и цивилизаций Древнего Востока, с другой.

Ни миграция, ни трансмиссия здесь не требовались для объяснения каждой переброски травяной секвенции из одной колонной в другую, а лишь для объяснения перебросок *центробежных* по отношению к предпочитаемому очагу; внутри же очага предполагалась автохтонность. Такой *центробежный миграционизм* (собственно, соединяющий миграционизм с *автохтонизмом*) реконструирует расселение (это *археологический экспансионизм*), а такой *центробежный трансмиссионизм* реконструирует *диффузию* (и называется *диффузионизмом*).

По географическим условиям сторонникам центрально-европейского или восточноевропейского приоритета в культурном развитии удобно было воспользоваться археологическим экспансионизмом (Косинна, Шухгардт, Костшевский, Сулимирский), а поклонникам древневосточного наследия и претендентам на него исключительно или преимущественно для своей страны (это были в основном археологи западноевропейского района, весьма удаленного от стран Ближнего Востока, – Эллиот Смит, Гордон Чайлд) пришлось прибегнуть к диффузионизму.

Впрочем, у ранних диффузионистов миграциям отводилась ведущая роль в распространении культуры (Smith 1929), а у поздних – по крайней мере важная (Childe 1950). Поскольку на практике диффузия предполагалась осуществлявшейся посредством как миграций, так и влияний, диффузионизм можно рассматривать как общее обозначение, а миграционизм и трансмиссионизм – как две его разновидности.

Реакцией на эти злоупотребления были попытки противопоставить указанным очагам другие и повернуть миграции Косинны вспять (Childe 1926; 1950; Borkovskij 1933; Брюсов 1958; 1961; 1965; Gimbutas 1961; 1979 и др.). Эта тенденция преодолевала не методическую слабость миграционистских и трансмиссионистских концепций, а лишь их геополитическую направленность.

Другим вариантом реагирования на дискредитацию косинновских “14 походов индогерманцев” и всех этих переселений из неких *vaginae gentium* были попытки почти или вовсе отказаться от идеи миграций (Мещанинов 1928; 1931; Кричевский 1933; Clark 1966; Adams 1968; Renfrew 1967; 1973; Skjølsvold 1981). Как в Советском Союзе, так и на Западе этот *критический* (или *рафинированный*) *автохтонизм* подпирался концепциями закономерного независимого развития под действием внутриобщественных факторов. Что это за концепции? В советской науке это были стимулированные марксизмом “метод восхождения” и теория стадильности, на Западе – “процессуальная археология”. При их принятии для объяснения социокультурных изменений просто отпадала нужда в миграциях и трансмиссиях.

Адамс с соавторами (Adams et al. 1978: 504-505) называют автохтонность “развитием на месте” (*in situ development*), а так как от этого словосочетания трудно образовать название для течения, то они называют его “изоляционизмом”. Уилер называл “сепаратизмом” (Wheeler 1952: 180). Хокс (Hawkes 1987: 202) отчеканил для концепции автохтонного развития ярлычок “иммобилизм”, который понравился Хэрке (Härke 1998). Но этот ярлычок по смыслу термина (“учение о

неподвижности') охватывает не только приверженность к автохтонному развитию, но и к трансмиссиям: население-то при них остается неподвижным. Так что в им- мобилизм войдут и автохтонизм, и трансмиссионизм. Имобилизм противостоит не диффузионизму в целом, а только миграционизму.

Между тем на фоне кризиса "процессуальной археологии" скепсис относительно миграций стал казаться неоправданным (отчасти Adams et al. 1978; Neustupny 1982; Rouse 1986; но особенно Kristiansen 1991; Anthony 1990; 1992; Champion 1992; Mortensen 1992; Burmeister 1996; Härke 1998). В конце концов за- силье этой скептической тенденции породило впечатление, что "с водой выбра- сывают и ребенка" – из западных археологов первым эту формулу использовал, кажется, Ренфру (Renfrew 1987: 3), а статья Д.У. Энтони так и называется: "Ми- грация в археологии: ребенок и вода из ванны" (Anthony 1990, см. также 1992; Soffer 1993: 67). В 1996 г. вышел целый номер журнала, посвященный миграциям (Archäologische Informationen 19, 1 & 2). Гораздо раньше увлечение миграциями возродилось в Советском Союзе в результате кризиса теории стадиальности (об этом см. Klejn 1977: 13-14).

4. Идеология и объективность. Все эти *-измы* приводили к тому, что не- редко трактовка, предпочитаемая тем или иным исследователем, была предопреде- лена его принадлежностью или склонностью к тому или иному течению. Само же течение формировалось не без воздействия политических движений и их идеоло- гии. Конечно, сказывались и другие факторы – новые полевые открытия, изобре- тение новых методов, возникновение современных ситуаций, способных породить у исследователя убеждение в естественности тех или иных трактовок (напрашива- ющиеся аналогии, скажем, войны с массовыми переселениями). Но закономерная смена научных течений и ее связь с политическими движениями была достаточно наглядна и убеждала историографов в наибольшей важности именно этого факто- ра в формировании научных теорий.

Особенно преуспели в разработке такого понимания марксисты, в част- ности советские марксисты. Они разработали изощренную технику выявления "классовых корней" любого научного течения, а отсюда заключали к наличию "со- циального заказа" в основе любой теории, любой гипотезы. Эта техника была при- менена и к проблеме миграций (Мещанинов 1928; 1931). Любое обращение к ми- грационной трактовке или, не дай Бог, интерес к подобным явлениям (например, у Чайлда – ср. Богаевский 1931) приравнивались к увлечению миграциями, а это увлечение расценивалось как миграционизм. Миграционизм же рассматривался неизменно в связи с шовинизмом, расизмом и империалистической агрессией. А поскольку нередко такая связь была действительно налицо (например, у Косинны) и придавала осмысленность истории науки, подобные обобщения выглядели ре- спектабельно, и как-то терялось, что даже у самых заядлых миграционистов могут быть и верные наблюдения. Я об этом писал в своей статье о Косинне (Klejn 1974).

Общую установку марксизма на выявление классовых корней франкфуртские марксисты развили в методический принцип: если научные взгляды определяются прежде всего социальной позицией ученого, то тщетно проверять его выводы на соответствие фактам. Он видит их сквозь “идеологические” очки, да и мы, проверяя его, – так же, только сквозь другие, столь же искажающие очки. Надо критически оценивать прогрессивность его общественной позиции, а кроме того – и свою позицию проверять с этой точки зрения, самокритически. Эта “критическая теория” вошла в методический арсенал постпроцессуализма и оказала огромное влияние на рассмотрение острых проблем археологии, в частности – проблемы миграций (Shennan 1988; Gamble 1993; Härke 1998).

После всех ее разоблачений остается, правда, непонятным, как быть с тем, что и эту критику и самокритику приходится вести, глядя сквозь те же очки. Стронники “критической теории” верят, что само осознание своей и чужой предвзятости способно выправить положение. Но в каждом случае где гарантия, что эта предвзятость оценена правильно?

Для советских марксистов вопрос этот не имел смысла: принадлежность к прогрессивному классу, к его авангарду – коммунистической партии, сама собой обеспечивала объективность. Таким образом, для них партийность не противоречила объективности, давала высшую объективность. Но пафос критической теории состоял в плюрализме мнений, в отрешении от партийности. Не говоря уже о том, что сама реальность такого отрешения средствами “критической теории” под вопросом, отрешение от партийности не равно освобождению от субъективности.

Ни эти средства, ни упование на интерсубъективность не дают полной гарантии от элиминации субъективного фактора. Только разработка формальных критериев проверки гипотез и строгость их соблюдения могут обеспечить тот максимум объективности, на который вообще наука способна. В этом ведь суть научности. Это как с соблюдением общественного порядка: у многих личностей может проявиться осознанная или неосознанная тяга его нарушить, и тщетно уповать на их самоконтроль или на выяснение причин такой тяги. Но если есть продуманные законы, а общество следит за их выполнением, то порядок соблюдается.

На практике, когда исследователь приступает к конкретному исследованию преемственности и сходства культур, нередко он неосознанно склонен заведомо к какой-то одной трактовке. Но и в этом случае другие трактовки маячат перед ним как возможности – как ожидаемые возражения со стороны противников. Для исследователя же, который желает сохранить объективность, все три трактовки выступают как правомерные гипотезы, которые необходимо рассмотреть. Так, исследуя изменения с наступлением бронзового века в Западных Альпах, А. Галле (Gallay 1981) построил схему принципиально возможных объяснений, в которой предусмотрены все три модели, причем в тексте указано, что компоненты этих моделей могут взаимодействовать в разных сочетаниях (рис. 67). Каждый *-изм* из-

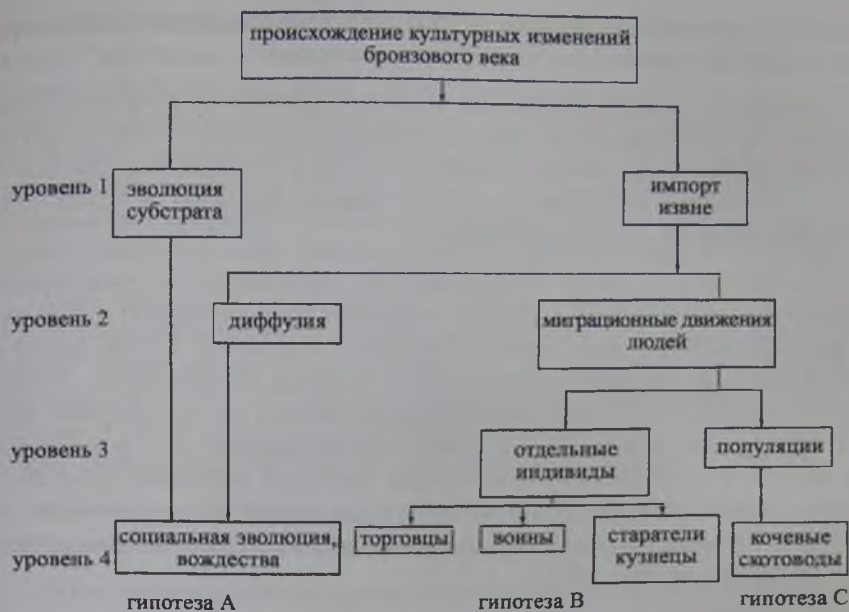


Рис. 67. Объяснительные модели для перемен в культурах бронзового века Западных Альп по А. Галле (Gallay 1981). Уровни 1-4 это последовательные стадии логического развертывания объяснения.

бирал только одну из этих моделей. Но каждый отдельный исследователь учитывает, обязан учитывать и проверять все три. К каждой, в том числе и к миграциям, применять продуманные и проверенные критерии доказанности.

5. Первичный критерий доказанности миграции – критерий внешнего источника. В спорах между этими направлениями отработывались методы и критерии археологического выявления миграций (Preidel 1928; Penk 1936; Tischler 1950; Schlette 1977 и др.).

Как констатирует Бурмейстер, “Часто практикуемый метод выявления миграций принадлежит к стандартному репертуару археологических исследований: это картирование археологических признаков”. По массовой концентрации признаков выделяется основной очаг (“Kerngebiet”) их распространения, из которого, как предполагается, они происходят. Чтобы могла идти речь о миграции, “мигрирующее население должно выйти за границы этого археологически определенного пространства” (Burmeister 1996: 13). Таким образом, напрашивается критерий внешнего источника для каких-то элементов, обнаруженных на той территории, куда миграция мыслится направленной (Trigger 1968: 40-41). То есть эти элементы должны быть опознаны как чуждые для местной культуры, а массовые аналогии

им, а равно и прототипы их должны оказаться на другой территории. Этот критерий естественный, он вытекает из самой сути миграции.

Но карты распространения, как отмечает Бурмейстер, допускают тройное толкование. Распространение явлений за пределы их основного очага может быть результатом миграции, но может представлять собой импорты (как таковые опознаются – см. Olausson 1988) или культурное влияние. Характер методики определялся спецификацией – что это за элементы.

Для Коссины и других исследователей, исходивших из романтического представления о культуре как эманации народного духа (*Volksgeist*) или функции расы, культура во всех своих частях и элементах мыслилась самобытной и своеобразной для каждого народа. Возможность адаптации привнесенных элементов сводилась к минимуму. Каждый элемент рассматривался как характерный для некоторой культуры и только для нее одной. Отсюда принцип *pars pro toto* (часть вместо целого) и возможность проследить миграции населения даже по отдельным типам вещей (Kossinna 1905; Jackson 1917; Wace and Blegen 1939; Burton 1979). Скажем, расселение индоевропейцев по находкам каменных боевых топоров (Брюсов и Зимина 1966).

Смягченным вариантом этого принципа была концепция “этнических показателей” (*ethnische Marker*), согласно которой не любые, а только лишь некоторые элементы культуры тесно связаны с этническим характером населения и позволяют археологам проследить расселения и переселения. Споры развернулись о том, какие же элементы имеют преимущественное право на статус таких показателей. – способ погребения (Артамонов 1947: 81; 1949: 133, 142, 157; Погребова 1977) или лепная керамика (Кеное 1959; Косарев 1972: 26), или только техника ее выделки (Gifford 1928: 253; Кожин 1964), или только ее орнаментация (Фосс 1952: 65, 69-77), или стиль наскальных изображений (Сooke 1965), или типология кремневой индустрии (Формозов 1957), или структурные соотношения ее характеристик, выявляемые факторным анализом (Greaves 1982), или устройство жилищ (Сальников 1954: 251; Третьяков 1962: 41) и т.д.

6. Комплексный (лекальный) критерий. Между тем еще Косинна вынужден был, защищаясь от критиков, откровенно признаться, по крайней мере, на словах необходимость проследить ареалы и сдвиги ареалов целых культур, т.е. *комплексных сочетаний культурных элементов*. Позже критика концепции “этнических показателей” со стороны Гёрнеса, Шрадера и др. (см. Кнабе 1959; Захарук 1964: 15; Klejn 1974) привела к утверждению *комплексного критерия миграции*.

По этому критерию, для доказательства миграции нужно зафиксировать на новом месте весь комплекс форм, представленных на старом (Schuchhardt 1926: 2). Уилли обозначает этот феномен как “вторжение целостным блоком ме-

стонахождения" (*site unit intrusion*) (Willey 1953; 1956). У. Адамс с соавторами выделяют "миграции, установленные на основании распространения местонахождений" (*site-based*), как более убедительные, чем "миграции, установленные на основании распространения признаков" (*trait-based*) (Adams et al. 1978: 488). Культура нового ареала мыслится как бы воспроизведением культуры старого ареала, копией, вычерченной по тому же лекалу, – соответственно Джеймс Диц (Dietz 1968) назвал этот критерий "лекальным" (*template criterion*). В основе этого критерия лежит убеждение в том, что миграции переносят неизменную культуру.

Гане, ученик Коссинны, писал: "А с переселяющимися народами переселяются и формопроявления их борьбы за существование, их обычаев, их мировоззрений" (Hahne цит. по Kossinna 1911: 271; также Брюсов 1957). Так же представлял себе миграции Л.Н. Гумилев. Он считал, что не мигранты изменяются под воздействием новой среды, а среду они себе выбирают такую, чтобы было можно сохранить свои навыки (1967: 94-95). Это убеждение – еще одна иллюзия.

Критика учения Косинны накопила ряд "упрямых фактов" о ложности или несовершенстве, недостаточности лекального критерия:

а) ряд зафиксированных письменными источниками миграций древних народов не прослеживается в виде полных передвижек культур (Cook 1960; Palmer 1961; Mellaart 1966), а потому археологическими средствами неуловим, и

б) наоборот, встречаются (хотя и редко) такие передвижки культур в местах, где по письменным источникам, жило одно и то же население, что показали Вале, Эггерс и др. (Wahle 1941; Eggers 1950; 1959).

Вторая категория "упрямых фактов" объяснима диффузией культуры или неполнотой письменных источников. А вот с первой категорией разобраться труднее.

Все больше накапливается соображений о том, что культура на новом месте и не может оказаться точной "лекальной" копией исходной культуры (Бернштам 1951: 117; Mandera 1957: 131).

Здесь действуют три фактора.

Первый – *эффект усреднения*. Даже при наличии континуума эволюции (что не обязательно) в археологии процесс предстает разделенным на этапы, каждый из которых характеризуется усредненными параметрами (Ford 1954). Эти средние, конечно, дальше друг от друга, чем параметры стыков обоих этапов, обычно недоступные прямому выявлению, и увязываются лишь путем интерполяции (Klejn 1969a).

Второй фактор – *миграционная трансформация*. Сама миграция – встряска, которая приводила к быстрой трансформации культуры. Разрыв старых связей и установление новых, выход из старой системы отношений, перемена природной и социальной среды, ослабление старых норм и авторитетов – все это по-

рождало резкую перестройку культуры пришельцев (Hertz 1930: 62; Клейн 1968б; Nachmann 1970). Как известно, викинги, приплывая в новые страны, снимали с носов кораблей изображения своих богов, чтобы не разгневать местных божества. Многие пришельцы, даже завоеватели (как, например, монголы) относились с пиететом к божествам местного населения – считалось, что на своей земле они сильнее.

Третий фактор – *неидентичность состава*. Имеется в виду, что состав мигрантов и несомой ими культуры обычно не идентичен тому комплексу компонентов, который был в наличии на родине мигрантов.

У этого фактора есть два фиксируемых момента: *исходная неидентичность* и *конечная неидентичность*.

Для объяснения исходной неидентичности состава применима концепция *субкультур* (Deetz 1965; Clarke 1968: 234-244): в миграцию очень часто отправляется не все общество и не пропорциональный срез всех его слоев и сегментов (репрезентативная выборка), а одна из фракций – напр., молодые мужчины – воины или (если речь идет о ближнем и постепенном просачивании) женщины, выходящие замуж, или ремесленники и т.п. (Клейн 1963).

Для объяснения конечной неидентичности было предложено две гипотезы. В основу обеих легло следующее наблюдение: исходные очаги компонентов ново-прибывшей культуры часто оказываются в разных местах – корни культуры расходятся в разные стороны. Например, тип могилы донецкой катакомбной культуры восходит к средиземноморским катакомбам, главные формы керамики и боевых топоров – к североевропейским культурам кубков, курильницы имеют аналогии на Дунае и т.д. (Клейн 1962а; 1968б).

Гипотеза обходной миграции (Клейн 1962а; Клейн 1963; 1967) предполагает подвижную группу населения, прошедшую по всем этим очагам и вобравшую там в свою культуру данные разнородные компоненты.

Гипотеза кооперированной миграции (Nachmann 1970) предполагает, что активная группа мигрантов часто вовлекала в движение осколки соседних племенных групп с весьма широкого ареала, и культурные компоненты, захваченные ими из родных мест, быстро сплавлялись в единую культуру.

Нужно иметь в виду, что возможна *иллюзорная неидентичность состава*. Иллюзию создает недоработка классификации в исходном очаге или в конечном или в обоих: когда негомогенная масса культурных элементов принята за гомогенную (культура не разделена на локальные или нехронологические варианты, которые объективно, хотя и в скрытом виде, в ней присутствуют и на деле весьма различны). Предварительная проверка гомогенности культур становится необходимым условием выявления преемственных связей, а дифференциация – средством коррекции сомнительных ситуаций, сомнительных эффектов неидентичности состава (Клейн 1968б; 1969).

Все три рассмотренных фактора – эффект усреднения, миграционная трансформация и неидентичность состава – подрывают приложимость критерия декальности.

7. Другие критерии. Наряду с ним нередко применялись еще два – *критерий неподготовленности* и *критерий стыка*.

Критерий *неподготовленности* является как бы вывернутым наизнанку одним из доказательств преемственности. Таким доказательством преемственности считается постепенность развития с длительной подготовкой изменений. Внезапность же изменений толкуется как результат вторжения иноземцев. Если смена одной культуры другой не происходит плавно, то нужно искать внешний источник этой другой культуры. Даже резкое и быстрое увеличение населения уже побуждает подозревать, что не обошлось без пополнения извне.

В.С. Титов добавляет к этому особый случай неподготовленности: если изменения, затрагивающие различные стороны жизни общества, не являются прогрессивными, то есть естественными для обычного развития (прогресс он считает нормой), их можно объяснить “другой традицией, отнюдь не свойственной данной культуре”, то есть они принесены другой культурой, “зачастую более примитивной и варварской по сравнению с предшествующей” (1982: 91-92).

Асборн Хертейг критикует этот критерий: это археологический стереотип, который не учитывает возможность скачков в развитии (Herteig 1955). Не учитывается здесь и другая возможность – медленного просачивания иноземцев.

В критерии же *стыка* есть два аспекта – хронологический и территориальный.

Хронологический сводится к требованию, чтобы принимаемая за исходную культура, будучи древнее новой, все же имела с ней стык во времени или, по крайней мере, не была отделена от нее слишком большим интервалом (этот интервал не должен превышать реалистичное время, необходимое на само передвижение). При существовавшей приблизительности хронологических определений критерий стыка в этом аспекте обычно не доставлял больших затруднений.

Сложнее обстояло со вторым аспектом – *территориальным*. Он заключался в требовании, чтобы обе культуры исходная и конечная – либо занимали соседние или даже взаимоналегающие ареалы, либо были соединены цепочкой или полосой памятников промежуточного типа – следов движения мигрантов (а при интервале во времени – следов более или менее длительного пребывания мигрантов на промежуточных территориях). Такое требование отчасти было психологической проекцией хронологического аспекта на территориальный, отчасти вытекало из убеждений в том, что первобытные миграции имели только “ползучий” характер медленного поэтапного продвижения. Дальние разовые переселе-

ния представлялись нереальными – несмотря на очевидные конкретные примеры, засвидетельствованные письменными источниками и этнографией (Haddon 1911; Геддон 1923; Гупіеніеcki 1952)!

8. Перестраховочность критериев. Все три критерия – локальности, восточности и стыка – были призваны застраховать исследователей от произвольного конструирования миграций. Но в совокупности они оказались явно перестраховочными и столь эффективно работали в этой своей роли, что сделали невозможной констатацию даже таких миграций, без принятия которых факты необъяснимы – например, перемены в СМ III на Крите (ср. Клейн 1971). Если эти критерии применить ко многим хорошо засвидетельствованным миграциям (дорийцев, киммерийцев, готов, герулов, вандалов, гуннов и др.), то окажется, что эти миграции не существовали!

Между тем сугубым скептикам – таким, как Э. Хори и Ирвинг Рауз и этих критериев мало.

Э. Хори выдвигает четыре критерия:

- 1) на исследуемой территории должно оказаться существенное количество новых культурных элементов, не имеющих местных прототипов;
- 2) формы и стили местного материала в последних слоях изменяются;
- 3) есть внешний очаг происхождения новых культурных элементов, там их прототипы;
- 4) элементы, используемые в качестве индикаторов миграции, должны существовать в одной и той же форме и в одно время в исходном очаге и на освоенной новой территории (Haurv 1958).

Рауз довел число критериев до пяти:

“1) идентифицируй мигрировавший народ как вторгнувшуюся общность в районе, где он оказался:

- 2) проследи эту общность ретроспективно до ее прародины;
- 3) удостоверься, что все проявления этой общности одновременны;
- 4) установи наличие благоприятствующих условий для миграции и

5) покажи, что другие гипотезы – такие, как независимое изобретение или диффузия признаков – не лучше удовлетворяют фактическому состоянию дел” (Rouse 1958: 64; см. также 1986; рец. Wells 1987).

Адаме считает, что смена элементов материальной культуры, особенно в керамике, способе погребения и обитания, необходима для конституирования миграций, но ее недостаточно. Нужно еще привлечь данные лингвистики, физической

антропологии и других смежных дисциплин, а также учесть косвенные данные стратиграфии и территориального распространения находок. Только применение всех этих критериев даст надежную констатацию переселения (Adams 1968: 144).

Число их нетрудно и увеличить, читая критику миграционных гипотез, тогда как и трех названных выше критериев уже слишком много.

9. Конфликтная ситуация. Но если без этих критериев (с одними лишь “этническими показателями”) недостаточна надежность, а с применением этих критериев недостаточна чувствительность методики, то как же быть? Которая из этих двух ситуаций меньше зло?

Одни исследователи предлагают примириться с первой ситуацией и признать, что наши выводы о миграциях носят *вероятностный* характер. Задачу этнографической разработки археологической теории миграции они видят в том, чтобы изучением стабильности различных компонентов культуры оценить их сравнительные возможности как “этнических показателей” и тем создать базу для оценок вероятности оправдания конкретных миграционных гипотез (Gjessing 1955).

Другие предпочитают исходить из второй ситуации и примириться с неизбежностью того, что многие миграции от нашего наблюдения ускользнут. С этой точки зрения за отправной пункт в проверке миграционных гипотез надо принять *предельные случаи* – археологические казусы, представляющие *абсолютно недвусмысленно* феномен миграции. *Степенью близости к этим эталонам* будет определяться уровень достоверности сомнительных случаев. Сомнение же истолковывается в пользу местного, автохтонного развития. “Действительно, – пишет Мейнандер, – у археологов нет никакого «правила винта», по которому можно было бы отличить миграцию от аккультурации или диффузии; однако принято, что если один из критериев указывает на преемственность населения данной области, то она считается доказанной. Подобно тому, как в уголовном праве бремя доказательства лежит на обвинителе, в археологии доказательство миграции – дело ее защитника, он должен также объяснить ее побудительные причины, ведь популяции и роды не переселяются без серьезных оснований” (1982: 11). Указав, что в суде обязанность доказывать “лежит на обвинителе”, Мейнандер не объяснил, почему в археологии она должна лежать “на защитнике миграций”. На чем вообще основана “презумпция автохтонности”?

Из-за разнообразия миграций этнографическая разработка теории миграций считается бесперспективной для поисков археологических критериев выявления миграций (Nachmann 1970). Да и вообще роль миграций в истории и само их количество сводятся к минимуму (Thompson 1958b: 1-3; Renfrew 1969: 152-153; Trigger 1970: 32 и др.).

Титов считал, что причина всех затруднений “состоит в том, что все критерии миграции, которые назывались выше, – это критерии априорные, выведен-

ные отнюдь не из изучения реальных исторических миграций, прослеженных и археологически, а критерии чисто логические, теоретические” (1982: 92-93). Да нет же. Если он имел в виду меня, то моей теоретической работе предшествовали проработки конкретных предполагаемых миграций – катакомбной культуры (Клейн 1961; 1962а; 1966; 1968б; Klejn 1963), скифов (Клейн 1963; 1980в) и дунайцев (этих на Крит – Клейн 1971), а через несколько лет после брошюры о критериях появилась мои статьи о миграциях индоариев (Клейн 1980а; Klejn 1984) и фригийцев (Клейн 1984). Да и другие авторы, на которых я ссылался (Адамс, Гахман, Мальмер, Рауз), разработали свои критерии на конкретных миграциях. А лучшим опровержением мнения Титова является то, что после своего разбора конкретных миграций он говорит о тех же критериях, внося лишь спецификации в их применимость.

Оба предложения – и готовность принять ненадежные реконструкции на основе вероятности, и готовность выявить лишь наиболее очевидные миграции, близкие к эталонным, – не могут удовлетворить. Без математического оформления оценка вероятности сведется к словесным оговоркам о неполной достоверности. Научная практика показывает, что такие оговорки легко теряются и гипотезы автоматически превращаются в констатации фактов (Пендлбери 1950: 24-25; Eggers 1959). Упор на предельные казусы слишком ограничивает возможности исследования, а трудности сравнения с эталонами открывают простор для субъективизма.

10. “Прямые” и “косвенные” показатели. С вероятностным подходом связано различие “*прямых*” и “*косвенных*” среди археологических показателей миграции. При узком и несомненно более строгом понимании “*прямых показателей*” в границы понятия попадают только антропологические свидетельства (Malmer 1962: 806-808). При широком понимании – также резкие изменения в каком-либо археологическом типе и в языке текстов (Adams 1968: 197). Тогда к косвенным отойдут лишь свидетельства о сопутствующих или вызывающих миграцию событиях (например, стихийные бедствия, военные разрушения и т.п.), а также данные об общих связях и соотношениях фактов, напр., возможная ориентировка покойников лицом к прародине (James 1957: 133-135).

Суть отделения прямых от косвенных – *постулат о безусловной доказательственности первых, если они доброкачественны и обильны*. Однако даже авторитет антропологических свидетельств за последние десятилетия сильно упал, возможности этих данных представляются ныне более скромными и ограниченными, чем прежде – антропологические признаки оказались более изменчивыми, чем предполагалось (Washburn 1953; Gejvall 1955; Livingston 1964). И наоборот, некоторым косвенным показателям придастся столь большое значение, что их элиминация рассматривается как опровержение самой возможности миграций для данной среды (напр. Kurth 1963; Nachmann 1970: 279-327).

11. Разновидности миграций и их следов. Здесь многое зависит, конечно, от того, какая *разновидность миграций* имеется в виду.

Видимо, в этом и следует искать ключ к решению проблемы.

Разнообразие миграций противоречит на деле не этнографической разработке критериев выявления миграций, а лишь стремлению абсолютизировать частные критерии, действительные для отдельных разновидностей миграций, абсолютизировать и переносить их на все миграции вообще.

В основу разработки критериев должна лечь *классификация миграций* (опыты такой классификации предлагаются в ряде работ (Honigsheim 1928; Hertz 1930; Heape 1931; Kulischer 1932; Sorre 1954; Hochholzer 1959; Авербух 1970; Дьяконов 1983 и др.).

Ю.В. Бромлей (1973) сводил все варианты миграций к двум видам: 1) переселения народов (или во всяком случае больших групп населения) и 2) микромиграции (переселения небольшими группами, преимущественно отдельными семьями). Это деление он выбрал потому, что оно сказывается на судьбах мигрирующего этноса: в микромиграциях он более подвержен воздействиям и размыванию. Но это важно и для судьбы культур, а значит, для археологических следов. Вольфганг Ден (Dehn 1979: 15) выявил у кельтов четыре типа миграции: 1) удаление из популяции избытка населения, главным образом молодежи; 2) выселение группы с женщинами, детьми, скотом и другим добром на новые территории; 3) военные экспедиции; 4) этнические движения, вызванные экономическими причинами.

Эвжен Неуступны (Neustupny 1981) различает 1) экспансию заселенности (*settlement expansion*) – постепенное расширение территории, занятой неким народом, и 2) переселения популяции (*population movements*) – разовые драматические события. У них разная природа явления, разная скорость и разная направленность. Должны быть и разные археологические следы. В другой работе Неуступны различает три вида миграций в густо заселенную область: 1) экспансию (так он называет миграцию с полным или частичным уничтожением местного населения), 2) заселение пришельцами промежутков между ареалами местного населения (осуществимо в основном если пришельцы и аборигены занимают разные экологические ниши и не соревнуются за земли), 3) инфильтрацию – обоснование пришельцев прямо в тех же ареалах и даже (чаще) в тех же селениях, где продолжает обитать коренное население (Neustupny 1982). В другом месте той же работы он упоминает четыре вида миграций: колонизация, экспансия, инвазия и инфильтрация (Neustupny 1982: 287). Очевидно, второй пункт здесь расчленен: для него остаются инвазия (простое вторжение?) и колонизация (с овладением территорией и установлением господства?).

Кристиансен (Kristiansen 1991: 219-220) делит все миграции прежде всего на полномасштабные (*full-scale*) и выборочные (*select*). В свою очередь полномасштабные делятся на три типа: 1) перемещения силой государства, империй, 2) из-за социальных конфликтов и племенной вражды, 3) от экологического и экономического давления. Выборочные переселения делятся на четыре типа: 1) завоева-

ния, 2) движения купцов, 3) основание торговых станций и колоний, 4) выселение трудовых групп и изгоев. Нетрудно заметить, что в основу вторичного деления Кристиансен положил мотивы переселения. Сомнительно, чтобы это непосредственно сказывалось на археологических следах.

В советской археологии типы миграций рассматривались в тесной связи с социально-экономическим развитием общества, поэтому деление шло по эпохам. Н.Я. Мерперт (1978) выделяет три “модели” миграций – для палеолита, неолита и энеолита. Первая модель характерна для охотников-собирателей и вызвана прямо изменениями в природной среде – движением ледников, трансгрессиями и регрессиями морей, сдвигами ландшафтных границ, миграциями животных, стихийными бедствиями. Эти миграции носили характер *переселений* и особенно характерны для палеолита. Вторая модель определяется экономическими факторами, в частности давлением избытка населения вследствие демографического роста при ограниченных возможностях производства. Хозяйство экстенсивное – осваиваются новые регионы. Это в основном неолитическое *расселение*. Третья модель обусловлена экономическими и социальными причинами – экономическим и социальным неравенством, борьбой за источники сырья, за возможности эксплуатации и за власть над народами и территориями. Эта модель появляется с металлом. Она связана с *завоевательными походами и военными вторжениями*.

Испанский археолог Гонзало Руис Сапатеро на основе мерпертовской классификации построил три структурных модели миграции: 1) модель передвижения небольших групп, 2) модель непрерывной (мы бы сказали “ползучей”) экспансии – Эммерман и Кавалли-Сфорца называют этот тип миграции “волной продвижения” (Wave of Advance – см. Ammerman and Cavalli-Sforza 1979) и 3) модель выброса разовых миграций, в основном на дальние расстояния – Хуфмен назвал этот тип “моделью дробовика” (Huffman 1970). Руис Сапатеро предложил графические схемы всех трех моделей (рис. 68-70) и привел археологические примеры



Рис. 68. Модель передвижения небольших групп охотников-собирателей по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: fig. 2). F1, F2, F3 – последовательные стадии продвижения фронта экспансии.

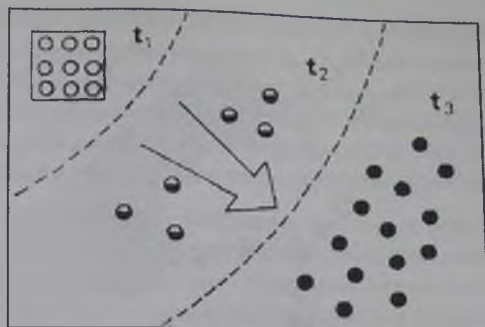


Рис. 69. Модель непрерывной экспансии (“Волна продвижения”) по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: fig. 3A). Миграция реализуется радиальным продвижением на короткие дистанции. В последовательные периоды времени (t_1 , t_2 , t_3) на разных этапах продвижения отлагаются серии памятников, которые несколько отличаются одна от другой, отражая модификацию культурных характеристик с течением времени.

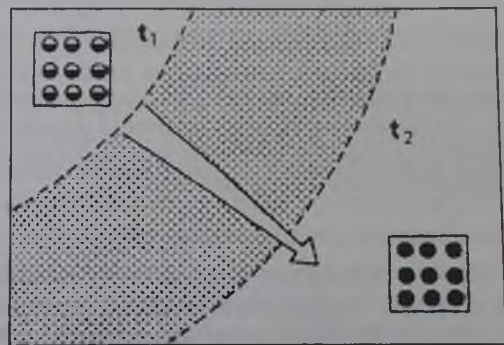


Рис 70. Модель разовых миграций по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: fig. 3B).

(Ruis Zapatero 1983). Когда Бурмейстер строит общую модель миграции (рис. 71), он в сущности имеет в виду только один ее вид – непрерывную экспансию (в виде инфильтрации или колонизации), при чем на схеме показаны лишь долговременные взаимоотношения первой волны дочерних поселений с метрополией, тогда как обычно эти дочерние поселения сами становятся источником дальнейшей экспансии.

Для бронзового века Титов выделил три типа миграций. В основу деления он положил не причины миграций, а соотношение между местной и пришлой культурами – между субстратом и суперстратом. “Ведь именно это соотношение известно археологу лучше, чем причины миграции” (1982: 99-101, 140-143).

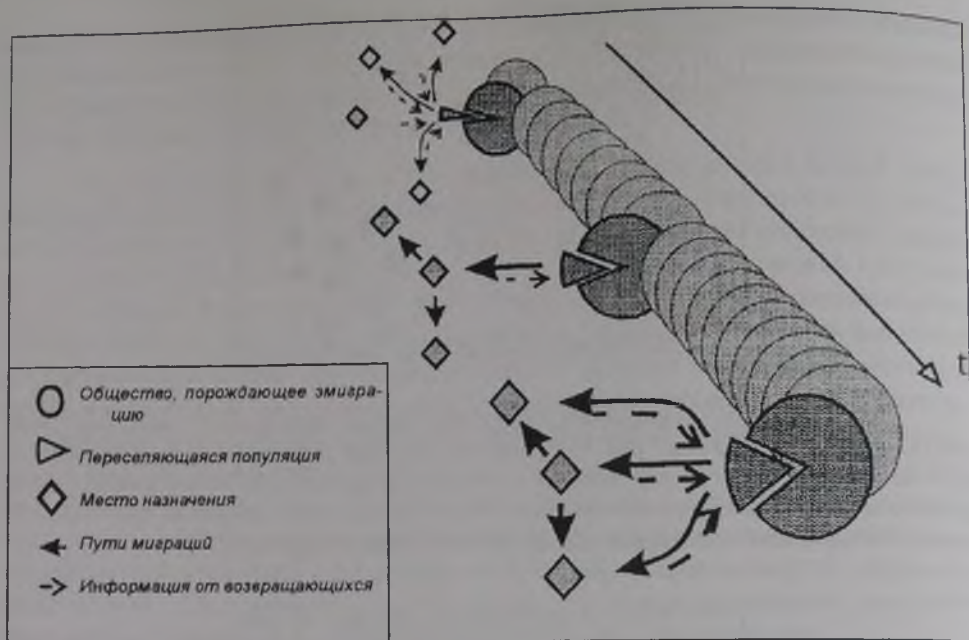


Рис. 71. Модель миграционного процесса по Штефану Бурмейстеру (Burmeister 1996: Abb. auf der Seite 19). Показан со стороны источника неоднократных миграций: на траектории существования этого общества некоторые фазы дают миграционные выбросы, а дочерние поселения сохраняют связи с основным очагом.

В миграциях первого типа субстрат совершенно или почти не ощущается. Примеры – миграция культуры Эздрелон в Палестину, экспансия культур боевого топора и шнуровой керамики. Тут возможны три варианта: 1) новая культура появляется в районах ненаселенных, слабо населенных или покинутых прежним населением, 2) новая культура долго не входит в контакт с местной (как ямная культура на Балканах) и 3) местная культура целиком подавляется пришлой. Источник всех трех в основном – сегментация племен. Так проходила неолитизация Европы. Не испытывая влияния со стороны местной культуры, пришлая не отличается от своей материнской. Поэтому к миграциям этого типа приложимы как критерии локальности, так и хронологический и территориальный.

В миграции второго типа культура пришельцев значительно ниже по уровню, чем местная, и пришлая культура почти не накладывает отпечатка на местную культуру. Таковы: миграция семитских кочевников-аккадцев на шумерские территории в начале раннединастического времени, западносемитская или аморитская инфильтрация в Месопотамию и Палестину, хуррийская экспансия, индоевропейское (лувийское и хеттское) вторжение в Анатолию. Таким же, по-видимому, было вторжение греков в Эгейский мир. Проследить такие миграции археологу очень

трудно. В таких случаях археолог делает выводы преимущественно по данным письменности, лингвистики и антропологии. Критерий локальности не работает. Имеют иногда значение косвенные признаки: резкие, иначе необъяснимые изменения в направленности развития культуры, опустошение и запустение целых регионов. Миграция имеет вид инвазии или инфильтрации. Это миграции бронзового века, особенно миграции кочевников в область оседло-земледельческих культур.

К третьему типу относятся миграции, в которых пришлая и местная культуры с самого начала предстают перед археологом смешанными, а в чистом виде суперстратной культуры нет. Примеры – миграция “династической расы” (“почитателей Гора”) в Египет, хирбет-керакская экспансия в Сирии и Палестине, инвазия гиксосов в Египет, возможно, прибытие “микенцев” в Грецию. Пришлые черты могут модифицироваться в новой среде, а могут исчезнуть. Критерий локальности неприменим (полный объем пришлой культуры ведь и не выявлен), а территориальный и хронологический применимы. Титов отмечает три варианта этого типа: в первом новые черты (пришлого населения) с самого начала выступают в смешении с местными; во втором лишь отдельные черты заставляют говорить о миграции; в третьем суперстрат – это небольшой набор, а субстрат в разных областях разный (как у культуры колоколовидных кубков).

Приведенные классификации показывают, что различные виды миграций должны оставлять разные археологические следы. Одно дело миграция всего общества (результат – передвижка целой культуры), другое – миграция одного сегмента общества (результат – отпочкование части субкультуры). Постепенное просачивание и разовый бросок, мирное проникновение и военное нашествие, с вытеснением, а то и уничтожением старого населения или с его ассимиляцией и т.д. – все виды миграций оставляют разные археологические следы.

12. Частные критерии. Вопрос об археологических критериях миграции должен решаться на первых порах для каждого класса миграций отдельно. Дело не в применимости или неприменимости каких-то критериев к тому или иному типу миграции. Критерии применимы к миграции вообще, ко всем типам миграции. Дело в положительном или отрицательном ответе на сформулированный в соответствии с данным критерием вопрос. Как показывает анализ Титова, ответ на один и тот же вопрос может оказаться положительным для разных типов миграции. И не все ответы должны оказаться положительными, чтобы можно было признать наличие миграции. Разные сочетания ответов могут оказаться свидетельствами миграции, но разных типов миграции.

Описывая инфильтрацию как вид миграции, Неуступны (Neustupny 1982) разбирает три археологических примера: культура шаровидных амфор в Чехии (ее носители, по Неуступному, живут на поселениях ривначской культуры), культура шнуровой керамики в Латвии (на субнеолитических поселениях) и культура колоколовидных кубков в Венгрии (на поселениях культуры Мако). Упоминает еще

и предположительное проживание людей со шнуровой керамикой на поселениях культуры Овернье в Швейцарии. К сожалению, он не приводит ни одного этнографического примера, хотя такие имеются. “Инфильтрация, как мы ее называем, не напоминает ничего подобного среди современных популяций” (Neustupny 1982: 290). Между тем в этнографической литературе описаны случаи такого “симбиоза” – например, в Африке тано (тева) уже третий век живут среди хопи (Redfield 1961: 30).

Неуступны отмечает, что в археологии этот вид проявляется специфически: а) пришлое население не основывает собственных поселений, б) не теряет собственную культуру в течение многих поколений и в) равномерно покрывает обширные области. Слияние инфильтрировавшейся культуры с местной происходит после длительного периода сосуществования. Думается, что всех этих признаков вместе взятых маловато для констатации постулированного исследователем вида миграции. Требуется еще и обнаружение носителей обеих культур на одном и том же поселении.

Еще один признак инфильтрации, археологически улавливаемый, – мирное сосуществование обеих групп населения. В основе инфильтрации лежит сегментация племен. Отдельные семьи поселяются в качестве меньшинства среди инокультурного населения, но сохраняют при этом свои социальные связи с другими семьями, переселившимися в соседние селения. Поскольку такая миграция была сравнительно легкой, мирной, бесконфликтной, она позволяла в случае демографического избытка в исходном очаге за короткий срок освоить обширные пространства по соседству. Результат же взаимодействия местной и пришлой культур зависит от их развитости, соответствия местной природе и количественного соотношения.

Неуступны признает, что при скудости археологических материалов следы инфильтрации будет трудно отличить от результатов торгово-обменных отношений. Еще сложнее будет идентифицировать инфильтрацию, если обе культуры известны только по погребениям. Исследователь считает, что это обстоятельство скрывает от наших глаз многие преисторические миграции. Он склонен подводить под постулированный им вид миграции многие ситуации первобытности, в частности неолитизацию Европы во многих случаях. Вероятно, еще более близка этому типу славянская колонизация лесной полосы и славянизация финских племен, хотя здесь пришельцы селились скорее всего отдельными поселениями.

Таков один из видов миграции и таковы его археологические признаки.

13. Структурный состав миграции и ее компоненты. Среди археологически фиксируемых признаков миграций можно будет различать признаки *большей или меньшей степени общности*. Можно будет увязать разные признаки с определенными видами миграций и рассматривать каждый вид миграции как ком-

бинацию разных событий, оставляющих своеобразные следы. Собственно говоря, признаки должны быть приписаны не видам миграций непосредственно, а специфическим видам более частных событий, которые могут быть связаны с определенными видами миграций. Так что, изучая археологические следы, мы выявляем лишь признаки определенных событий и по сочетанию этих признаков получаем в конце сочетание таких событий, а затем уже можно посмотреть, какой вид миграций состоит из таких событий.

Такие операции требуют структурно-логического анализа каждого вида миграций как *системы событий*. Начинать, видимо, надо с общего понятия миграции. Так, в 1973 г. я отмечал (Клейн 1973а: 3), что широкое понятие *миграции* включает в себя три крупных компонента: *эмиграция* + *переселение* + *иммиграция*. Для полноты спереди к ним можно было бы добавить предмиграционное состояние – *мотивацию* миграций, а сзади – *последствия* миграции. Кристиансен (Kristiansen 1991: 219) различает в каждой миграции (он предпочитает называть их “переселениями популяций” – *population movements*) три основных компонента: вторжение чуждой группы (“переселение”), путь миграции (“связь”) и материнскую культуру (“происхождение”). Его “происхождение” приблизительно соответствует моей *эмиграции*. *Переселение* у него оказывается в двух разных значениях, во втором оно равнозначно более употребительному *иммиграция* (ср. Muhre and Muhre 1972). Употребительное также понятие “инвазия” обозначает частный случай иммиграции – это массовая и насильственная разновидность иммиграции (см. Adams et al. 1978: 488). Терминология Кристиансена неудобна, но само деление представляется мне рациональным. Скажем, в общее понятие “пути” (у Кристиансена “связь”, у меня “переселение”) войдут не только конкретные данные, но и категории прохождения: происходило ли оно на смежных землях или на расстоянии, на близкую или далекую дистанцию, прямо или “обходным” путем.

В борьбе против миграционизма Клайв Гэмбл (Gamble 1993) анализом структуры передвижения популяции вообще подрывает само понятие миграции как объяснительного средства. Сходства на больших расстояниях в культуре палеолита он объясняет накоплением постоянных передвижений в следовании за дичью. Ссылаясь на Кларка и Линдли, К. Гэмбл дает ряд определений понятиям, связанным с миграцией: “миграция” у этих исследователей – только дискретное кратковременное событие, включающее в себя движение из одного типа мест в другой между областями, различающимися по природной среде. Миграция у них только событие, тогда как передвижение может быть и процессом, а результат один. “Рассредоточение” (“дисперсия”) – более общий, но всё еще короткий во времени процесс распространения личностей или групп на незаселенные ими прежде территории. “Колонизация” – более широкомасштабный процесс расширения области существования некой группы, включающий в себя прочное освоение прежде не занятых данной группой территорий и не использованных ею ниш. И т.д.

Предложенные Гэмблом модели, раскрывающие механизм таких передвижений для палеолита, вызвали опровержения (Ott 1993; Soffer 1993). Принятая им

терминология также неудобна, так как игнорирует сложившуюся традицию словоупотребления: *миграция* – есть самый общий термин для переселения людей насовсем, употребляющийся независимо от различия областей. Что же касается продолжительности осуществления (событие или процесс), то, как можно было видеть, многие исследователи, занимавшиеся этой темой, в своих классификациях не отбрасывают постепенное длительное просачивание, считают его разновидностью миграции, тем более, что на микроуровне (применительно к отдельным людям и семьям) трудно провести границу различения. И, что для археолога главное, на макроуровне мало различимы результаты. Если уж выделять миграции как только события, то тогда надо принять термин *передвижения* (или, как у Кристиансена, *переселения популяций*) для общего обозначения и сделать именно это понятие главным объектом исследования. Всё сведется только к передвижке терминов.

Для анализа структуры пригодится предложение Титова – учесть разные соотношения культур пришедшей и местной при миграции. Именно это сделал для истории древнего мира (в основном III и II тыс. до н.э.) И.М. Дьяконов (1983). У него рассмотрены следующие типы изменений этнического состава в результате миграции: 1) полное истребление мигрантами местных жителей – он считает это возможным, только если последние были чрезвычайно малочисленны и слабы; 2) полное выселение с захваченной территории – мыслимо как а) самих мигрантов, так и б) вытеснение ими туземных жителей (это также исключительная редкость); 3) разреживание, т.е. частичное (иногда весьма сильное) истребление или вытеснение первоначального населения – это бывает в результате завоевания, но нет ясных данных, чтобы такие завоевания приводили к коренным этническим метаморфозам; 4) частичное насильственное смещение больших групп населения (массовая депортация) – это возможно лишь в условиях существования сильных государств и мощных средств принуждения; 5) частичные добровольные перемещения (как скотоводов, так и земледельцев). Последний тип возможен в трех вариантах: а) нашествия-набеги скотоводческих племен, совершавшиеся без женщин и с целью грабежа; б) захват мелких государств небольшими группами кочевников-скотоводов; в) добровольное смещение земледельческой популяции – уход части ее на смежные или заморские территории из-за возникновения избытка населения. Избытком же населения вызван и еще один тип соотношений: б) постепенное растекание населения из центра, где создался его избыток. Это бывает в земледельческих районах.

Более обобщенно разные последствия миграции классифицированы и показаны на схеме у Руиса Сапатеро (рис. 72). На схеме перечислены: 1) “абсорбция” пришедшей культуры в местную, 2) “экстерминация” (истребление) местной культуры, 3) “ассимиляция” местной культуры, 4) “пространственно-временное сосуществование” обеих культур и 5) вытеснение и “замещение” местной культуры. Возможно представить и б) “реставрация” – уничтожение или вытеснение пришедшей культуры. Каждое из этих соотношений оставит определенное сочетание археологических следов.

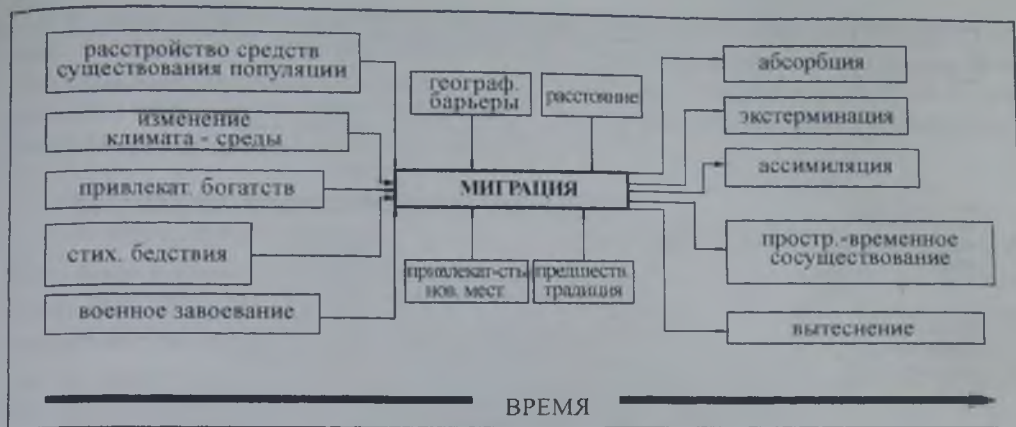


Рис. 72. Модель феномена миграции: причины, обстоятельства и последствия, по Руису Сапатеро (Ruis Zapatero 1983: Fig. 1).

Именно увязка определенных категорий археологических фактов с определенными разновидностями событий как *структурными компонентами* миграции позволит перейти от накопления частных критериев разновидностей миграций к *общей теории археологических критериев миграций*.

Деление свидетельств на “прямые” и “косвенные” выступит сугубо относительным. Каждая категория сигналов о миграции окажется прямым свидетельством для одного из возможных структурных компонентов миграции (например, для демографического взрыва или для военного нашествия) и косвенным – для ряда других компонентов. А вот привело ли включение этого фактора в данном случае к переселению народа или его части и, наоборот, было ли оно необходимо для осуществления такого события (то есть дает ли его отсутствие право отрицать такое событие) – это уже зависит от места данного компонента во всей системе данной разновидности миграции.

Это зависит также и от того, в каких вообще разновидностях миграции он способен участвовать и способен ли он участвовать в иных системах событий – не миграционных. Вполне возможны случаи, когда наличные факты в силу их многозначности или из-за малочисленности неполностью удовлетворяют критериям доказанности миграции, но и не противоречат миграционной гипотезе.

С таким пониманием связан *отказ от любых презумпций* – как миграции, так и автохтонности или трансмиссии культуры. Каждая из этих гипотез должна доказываться особо, и невозможность в каком-то случае доказать одну из них не означает автоматического утверждения другой, а только повышает ее шансы на утверждение. Есть только одна презумпция в науке. Она гласит: если ничего не доказано, то ничего утверждать нельзя.

Виды событий

Разовая дальняя миграция всего народа
Разовая миграция всего народа в соседнюю местность
Дальнее переселение фракции народа
Переселение фракции народа в соседнюю местность
Военное нашествие
Военные набеги
«Ползучая» экспансия («волна передвижения»)
Массовая депортация



Компоненты	Археологические следы
Демографический взрыв в исходном очаге	Увеличение числа памятников на единицу времени
Стихийное бедствие в исходном очаге (неурожаи, изменение климата, эпидемии и т. п.)	Уменьшение числа памятников на единицу времени, данные естественнонаучные
Социальные коллизии в исходном очаге или давление извне	Появление городищ, вооружённость
Эмиграция полная (или почти полная)	Исчезновение памятников данной культуры в её ареале и появление их в другом
Эмиграция частичная с разделением (отпочкование колонии)	Появление памятников данной культуры в новом ареале при сохранении их и в старом
Эмиграция частичная (удаление избытка населения — молодых)	То же, но в новом ареале не все её традиции налицо
Эмиграция частичная (уход воинов в поход, удаление изгоев религиозных, этнических или социальных)	То же, но в новом ареале главным образом её военные или другие особые комплексы и традиции
Постепенное передвижение на дальнее расстояние	Могут остаться памятники и находки на промежуточных территориях
«Марш-бросок» на дальнее расстояние	Никаких следов на промежуточных территориях
Обходная миграция	Следы одной из мигр. групп на территориях других
Кооперированная миграция	Таких следов нет
Перемещение в соседнюю местность	Смежность территорий обеих культур
Военный поход	Находки оружия, опустошение местности
Контакт на границе ареалов	Дисперсия находок культуры за её границей с другой
Иммиграция — постепенное просачивание (торговцев, брачующихся, рабов, наемной рабочей силы, поселенцев, кочевников)	Соответствующие находки и комплексы убывают в числе по мере удаления от границы
Иммиграция — вторжение	Местонахождения пришлой культуры равномерно покрывают всю территорию
Инвазия (военный захват, завоевание)	Гибель крепостей и посёлков, следы осады и штурма, упадок культуры
Захват власти небольшой группой воинов или кочевников	Выделение богатых погребений по чужеродному обряду плюс антропологич. данные
Изменение мигрантов под воздействием новой среды	В комплексах пришлой культуры примесь местных черт
Абсорбция пришельцев	Только ранние комплексы пришлой культуры чистые, в остальных преобладание местных черт
Сосуществование пришельцев с аборигенами	Комплексы обеих культур вперемежку
Ассимиляция местных жителей	В местных комплексах всё больше черт пришлой культуры
Подчинение местных жителей	Комплексы пришлой культуры — с оружием и в центре, вокруг — местной и без оружия
Вытеснение местных жителей	Исчезновение местных комплексов в прежнем ареале и появление их вне его
Разреживание аборигенной популяции	Уменьшение густоты встречаемости местных комплексов
Истребление прежних жителей	Исчезновение местных комплексов и замена их пришлой культурой

Рис. 73. Схема археологического проявления миграций: соотношения между видами миграций, их составными компонентами и археологическими следами. Жирными горизонталями разделены группы компонентов миграции, относящиеся к пяти различным основным частям ее структуры – мотивировке, эмиграции, передвижению, иммиграции и последствиям.

На моей таблице (рис. 73) представлены примерные соотношения между видами миграций, их составными компонентами и археологическими следами последних. Из компонентов первую группу составляют *причины миграций* – их выявление усиливает доказанность миграции, но не является необходимым, и они не имеют строго избирательного распределения по видам миграции. Обычно они пополняют число косвенных доказательств. Вторую группу составляют разновидности выхода из исходного очага (*эмиграция*). Третью группу составляют разновидности *передвижения* из исходного очага в конечный. Четвертую группу составляют типы *иммиграции* – прибытия иноземцев в конечный очаг. Именно компоненты, входящие во вторую, третью и четвертую группы, распределены избирательно по видам миграции и сочетание их является определяющим для вида. Пятую группу составляют *последствия миграции* для мигрантов и аборигенов. Эти компоненты снова не имеют строго избирательного распределения по видам, они вносят спецификацию в любой вид.

Хотя компоненты миграции помещены на таблице в тесной увязке с археологическими следами (в широком смысле) и эти две колонки сомкнуты, на деле, строго говоря, такого сугубого соответствия нет, потому что события и вещи живой культуры не отлагаются в археологическом материале такими, какими они были. Между событиями, как и вещами, живой культуры и их археологическими следами огромное расстояние во времени и множество разрушительных и искажающих процессов и факторов. Одинаковые события и вещи могут привести к разным археологическим следам, а остатки от разных событий и вещей могут столь упроститься и обедниться, что приобретут одинаковый вид.

Нужно также учесть, что, дабы избежать усложнения, на таблице совершенно не показаны те иные, не миграционные события (трансмиссионная диффузия, конвергентные местные инновации и т.п.), в которых могли участвовать по отдельности те же компоненты, которые в другом сочетании образуют миграцию. Не показаны и те иные компоненты, от которых могли остаться те же археологические следы. Доказательство и реконструкция миграции гораздо сложнее, чем это может представить любая схема, но схема позволяет ориентироваться в многообразии фактов и выбрать оптимальный путь доказательства и реконструкции.

Резюме. Выявление древних миграций археологическими средствами производится в широком масштабе со времен Косинны и ранних работ Брёйля. Однако упрощенный метод выявления, выдвинутый Косинной и его учениками

(по одному типу вещей), отвергнут в новейшее время. После работ Вале, Эгерса и Гахмана археологам приходится отказаться и от комплексного принципа (принципа “лекальности” перемещения культуры). Нет еще новой методики выявления миграций на археологическом материале.

Некоторые исследователи (Уилли, Чжан Гуанчжи) пришли к выводу, что для разработки таких методов нужно построить на этнографическом материале теорию миграций. Но попытка Ёссинга (Гессинга) построить такую теорию отвергнута его коллегами, а Гахман считает, что такая теория и невозможна ввиду разнообразия миграций. Он предлагает взять за отправные точки абсолютно явные археологические ситуации и решать в каждом случае особо, полагаясь на здравый смысл и археологические аналогии, а во многих случаях просто признать решение невозможным.

Мне представляется более перспективным другой путь. В основу разработки должна быть положена классификация реальных миграций, засвидетельствованных в этнографии и истории, а вопрос об археологических признаках должен решаться для каждого класса миграций отдельно на основе анализа структуры миграции (как набора типичных событий, типичных компонентов). Не исключается и установление признаков, общих для нескольких или многих классов.

Признаки не всегда окажутся ясными и недвусмысленными, не всегда можно обнаружить миграцию по археологическим материалам, но чтобы отделить достоверные миграции, необходимо сформулировать критерии доказанности миграции. Однако если материал не удовлетворяет этим критериям, это еще не значит, что налицо автохтонность. Для ее утверждения нужны свои критерии доказанности.

Часть III. Разработка проблем этногенеза

Глава 12. Этнос

1. Понятие об этносе. С самого начала появления в археологии понятия археологической культуры и конкретных археологических культур они были идентифицированы с этносами. Затем эта идентификация была подвергнута сомнению, но так полностью и не отвергнута, и этносы всё время фигурируют в археологических исследованиях. Археологи часто ставят и пытаются решать проблемы происхождения народов, этногенеза, так что нужно разобраться с тем, что такое этнос.

Термин “*этнос*” в переводе с греческого означает ‘народ’. Но наше употребительное *народ* – слово многозначное, с расплывчатым значением. Это и ‘население государства’, и ‘люди, говорящие на одном языке’, и ‘люди общего происхождения’, и ‘простые массы’ по отношению к элите. Слово “этнос” в греческом столь же многозначно, но в русском оно чужое и введено как термин, чтобы обозначить понятие более точное, более ограниченное и в то же время универсальное. Мы применяем термин *этнос* к такому употреблению слова *народ*, в котором оно покрывает определенную общность людей – не всякую: не социальный слой, не лингвистическую общность, не географическое объединение, а – какое?

Понятия “нация”, “национальность”, “народность”, “племя” рассматриваются как виды этноса. То есть мы интуитивно чувствуем, что есть нечто общее, что их связывает и отличает от других общностей – класса, партии, расы, профессиональной корпорации, мафии.

Благодаря всеобщности и точности “этнос” всё чаще заменяет “нацию” в теоретических и политических суждениях (точнее, слово *этнос* вытесняет слово *нация*). Мы говорим о межэтнических конфликтах, а не о межнациональных – на Кавказе, в Югославии. Мы говорим о праве этносов на самоопределение, обсуждаем (доказываем или отрицаем) право этносов на отделение от того или иного государства, на сепаратизм. Что есть этнос? Чего достаточно для его самостоятельности, для права на выделение, на отделение?

Мы говорим о теории этноса Гумилева: о цикличности, о пассионариях, о стадиях жизни этноса – а в какой стадии находится русский народ? Гумилев утверждает: есть этносы-паразиты. Это евреи, но не в Израиле, а здесь. Там они перестали быть паразитами, а здесь были и остаются паразитами. Подразумевается, что их труд (в интеллигентных профессиях или в торговле и финансах) – не труд. Трудом достоин называться только физический.

Советский академик Бромлей (кстати, из рода капиталистов английского происхождения) пишет, что признаком этноса является *эндогамия* – браки только внутри этноса. А как быть со смешанными браками, которых всё больше? Как вообще определить этническую принадлежность?

Можно вообще не вписывать в паспорт ничего этнического, как это и делается во многих странах на Западе (после падения советской власти российская администрация пошла по этому пути). Исчезнет ли от этого сама проблема? Перестанут ли люди ощущать свою национальность, различать себя и других по этническим характеристикам? Когда отменили необходимость вписывать в паспорт национальность, ожидалось, что это одобряют все народы России, кроме русского, но оказалось наоборот: возражения раздались именно со стороны бывших “младших братьев” – они почуяли в этом угрозу русификаторского нажима.

В современной англоязычной литературе более употребительно для обозначения этнических различий не слово *этнос* (*ethnos*), а слово *ethnicity*, которое можно перевести как “этничность”. В этом слове я по употреблению нашел следующие значения:

- 1) этническая общность, этнографическая группа, этнос;
- 2) этническая самобытность, этническое своеобразие;
- 3) этническое самосознание, сознание принадлежности к этнической группе.

Есть там еще и термин *этническое сообщество* (*ethnic community*). Различаются следующие его виды:

- 1) “этническая категория” – совокупность признаков, иногда и совокупность людей;
- 2) “этническая группа” – совокупность людей, организованная и самоидентифицирующаяся;
- 3) “этнонация” – этническое сообщество, претендующее на политический статус и нередко добывающее его.

2. Истоки традиционных определений. Первое научное определение понятию этноса, первое не только для нашей литературы, но и, насколько я могу судить, для мировой дал С.М. Широкогоров – русский этнограф, оказавшийся в Гражданской войне на белой территории Дальнего Востока и оставшийся с белоэмиграцией в Китае. В 1923 г. он издал в Шанхае книгу “Этнос”. На границе двух империй, на стыке двух великих наций, двух миров, в пору великих испытаний для русского народа, когда его части оказались в рассеянии, было естественно обратить внимание на их этнические особенности, контрастирующие со всей социокультурной средой, на то, что они унесли с собой и сохранили на чужбине.

Широкогоров определил этнос так:

“Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимыми и освящаемыми традицией и отличающимися ею от таковых других групп” (1923: 13, 122).

Как видим, на втором месте стоит происхождение (хотя и ограниченное признанием). То есть этнос фактически приравнивается к расе. В соответствии с этим Широкогоров (1923: 28) причислял этнос к биологическим общностям. Это было понятно на стыке двух столь разных физически этносов, как русские и китайцы. К тому же такое понимание соответствовало бытующему наивному представлению самих народов и не раз смутно проявлялось в литературе.

Несмотря на эту ограниченность и на тавтологию (зачем два термина для одного понятия?), это было чрезвычайно ёмкое, продуманное и практичное определение. Многие последующие были слабее и хуже его, но оно было надолго забыто. На Западе – потому что было опубликовано малоизвестным автором в малотиражной книжке на русском языке. У нас – потому что принадлежало белоэмигранту и находилось под запретом.

Кроме того, первоначально советские исследователи вообще отвергали интерес к этносу. По тогдашнему марксистскому представлению, нездоровый интерес к этносу был признаком национализма и путем к шовинизму. В.И. Равдоникас в знаменитой брошюре “За марксистскую историю материальной культуры” в 1930 г. утверждал: “носителем, субъектом, материальной культуры является общество, а не так называемый этнос, – понятие, в сущности, фиктивное...” (Равдоникас 1930: 21).

Интерес к этносу возродился только к концу 30-х годов, когда назревала война и чувства национальной гордости и патриотизма стали остро необходимы. Советский начетнический, схоластический марксизм исходил (и должен был исходить) из сталинской дефиниции. У Сталина не было определения этноса. Сталин не пользовался этим термином. Но у него еще в 1913 г. в статье “Марксизм и национальный вопрос” было дано определение нации. Оно было общеизвестно в Советском Союзе, его заучивали в вузах наизусть. Сейчас я его наизусть и продиктую:

“Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, vznikшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры”.

Общность происхождения и расы здесь отсутствует вообще.

Это определение появилось до революции в борьбе против австрийских марксистов. В Австро-Венгерской империи подвластным нациям жилось лучше, чем в царской России, по крайней мере, австрийские марксисты были в этом убеждены. Они считали, что в будущей социалистической революции венграм, чехам, сло-

вакам, словенцам, хорватам и другим отделяться от Австро-Венгерской империи не нужно. Достаточно добиваться культурной автономии в рамках Австро-Венгерской империи. Империю не нужно разрушать, а нужно строить социализм всем вместе в одной общей стране. Поэтому австрийской марксист Отто Бауэр (1909: 136) не признавал территориальную целостность и обособленность признаком нации (скажем, немцы в империи жили не только на сплошной немецкой территории Австрии, но и рассеянно в Чехии, в городах славянских регионов). Не считал он признаком нации и особую экономику, для него достаточно было общности характера на почве общности судьбы плюс (с колебаниями) общность языка.

Сталин же принадлежал к русским марксистам-большевикам. Эти видели слабость русского рабочего класса и, ведомые Лениным, рассчитывали в революции на большую помощь не только со стороны беднейшего крестьянства, но и со стороны национально-освободительного движения окраин России. Разжигая сепаратистские настроения, большевики приманивали союзников лозунгом национального самоопределения вплоть до отделения. Таким образом, Ленину и Сталину нужно было такое определение нации, которое давало бы ей безусловное право на территориальное и государственное отделение. Так сформировалось сталинское определение нации – к признакам, собранным австрийскими марксистами, было добавлено то, что нужно для обособленного государства, – отдельная территория и самостоятельная экономика, а для этого и единый язык. Это способствовало борьбе против властей Российской империи, но это же впоследствии облегчило распад Советского Союза.

Таким образом, это определение было создано не для выяснения научных истин, не для понимания истории, а для удобства партийной политики. Большевики были вообще не за национальное, а за территориальное и производственное объединение единомышленников. Оно давало им дополнительные преимущества: в таких условиях было легко добиваться раскола общества по классовым основаниям, а в рассеянных сообществах трудно проводить такой раскол, там сами обстоятельства требуют объединения по языку, а не по классу. Евреям России было не рекомендовано создавать свою отдельную социалистическую партию (Бунд), нужно было вступать в территориальные партии.

Да и впоследствии территориальность создавала удобства администрирования: есть территория – есть нация, нет территории – нет нации. Рассеянные – не нация. Есть проблемы с нацией – выселить и расселить: нация исчезает (немцы России, татары Крыма, чеченцы, ингуши, калмыки).

Правда, в Советском Союзе оказалось много таких национальных общностей, которые нациями было трудно признать: некоторые признаки отсутствовали. Не говоря уже о рассеянии русских за пределами сплошной русской территории (принадлежат ли они к русской нации?), а также татар, немцев, ряд наций просто рассеян по всей стране, не имея сплошной территории – евреи, цыгане. Ну, евреям искусственно создали крохотную национальную территорию на Дальнем Востоке

– Биробиджан. Но евреи туда не спешили собираться. Кроме того, многие племена Сибири явно не доросли до формирования наций – их территория, хотя и сплошная, не обладала ни единым управлением, ни экономическими связями. Для обозначения всех этих общностей и пришлось вводить сначала термины, отличные от термина *нация*, но родственные ему – *национальность*, *народность*, *племя*, а потом и более общий термин, *охватывающий их все*. Тут и был использован термин *этнос*, уже бытовавший в этнографии для схожих надобностей.

Советские обществоведы, нуждавшиеся в марксистских опорах для теории этноса и привыкшие к начетничеству, быстро сообразили, что коль скоро нация – современный вид этноса, то для марксистского (идеологически выдержанного) определения этноса можно использовать сталинское определение нации. Нужно только отнять от этого определения специфический признак, характеризующий именно нацию (отличающий ее от родственных образований), и в остатке получим набор признаков, общий для всех видов этноса, – определение этноса.

Какой же признак отличает нацию от других, более ранних образований? Ну, нации сформировались в XVIII-XIX веках как следствие развития капитализма, роста буржуазии, и большинство обществоведов пришло к выводу, что этот признак – экономическое единство. Отнимите этот специфический признак нации – и на ее месте оказывается более общее понятие – этнос (эта логика прямо изложена в статьях Каммари 1949; Козлов 1967).

В зарубежной науке определения “этничности” искали более свободно, но, как правило, тоже на основе сочетания разных признаков.

3. Этнические признаки. Так в науке сложилось представление об *этнических признаках*. Советскую науку отличало представление о четком наборе этих признаков. В мировой науке набор был шире и свободнее. Да и в советской науке после смерти Сталина и разоблачения “культы личности” придерживаться стандартного набора стало необязательно.

В американской литературе этнические признаки называются *индикаторами этничности* или *этническими маркерами*. Считается, что они наследуются, а определяются персональным выбором. То есть что маркеры – это объективные реалии: они существуют, даже если не признаются самими носителями или другими индивидами.

С самого начала определение этноса через список признаков наталкивается на огромные трудности. В советской науке этот вопрос обсуждался особенно упорно в первые послевоенные и постсталинские десятилетия. Рассмотрим же эти признаки в их определительной функции.

1. Язык – во всех определениях первый признак. Многие придают ему решающее значение в определении этноса и склонны считать, что в подавляющих

случаях его одного достаточно. Но на английском языке говорят ныне многие нации – англичане, американцы, австралийцы, канадцы, это также государственный язык в Индии и Южной Африке. На немецком языке говорят немцы Германии, австрийцы, часть Швейцарии. Другие части швейцарской нации говорят на французском и итальянском. Бельгийцы говорят на двух разных языках: французском и валлийском, но считают себя одной нацией. Украина говорит на двух разных языках: Западная Украина – на украинском, Восточная – на русском. Евреи мира вот уже больше тысячи лет говорили на двух неродственных языках – йидиш и ладино (сефардский), оба не тождественны ни древнееврейскому, ни ивриту. Значит, общности языка недостаточно для определения этноса, и не всегда она вообще значима (Токарев 1964; Агаев 1968).

2. Территория у многих этносов сплошная и единая. Но не у всех. Не говоря уже о том, что у многих народов есть *диаспора* – рассеянная по другим странам часть народа, некоторые народы имеют *анклавы* в других странах (оторванные куски сплошного заселения) – например, немцы Поволжья, а есть и народы, вообще не имеющие сплошной территории и живущие только рассеянно, повсюду, как цыгане и как до недавнего прошлого евреи. С другой стороны, единая сплошная территория не гарантирует этнического единства. Немцы Германии и Австрии рассматривают себя как самостоятельные этносы, хотя у них один язык и они заселяют сплошную территорию. Территории румын и молдаван сомкнуты, да и язык у них по сути один, но это разные нации, разные этносы. У них разные государства (Кушнер 1951; Козлов 1971б).

3. Культура, на первый взгляд, столь же характерна для этноса, как язык (Пименов 1975). Но на деле еще менее показательна, ибо значительно легче заимствуется и распространяется (Арутюнов 1980). Это легче увидеть на примере материальной культуры. В Восточной Прибалтике живут три народа – эстонцы, латыши и литовцы. Границы между ними проходят по горизонталям. А в культурном отношении Прибалтику делят на две зоны, граница между которыми проходит по меридиану, прорезая все три этнических ареала. Материальная культура России за послевоенное время столь кардинально, повсеместно и всесторонне изменилась, что археолог будущего мог бы принять это за завоевание России западноевропейским народом (Härke 2004). А на деле было противоположное: в войну Россия победила Германию. С этносом может совпадать не полностью весь комплекс культуры, а только некоторые компоненты, а какие – заведомо не установить (Шенников 1967).

4. Психика, психический склад – это то, что часто именуют национальным (этническим) характером (Арутюнян 1966). Ну, это и вовсе почти неуловимо. Или скорее определимо только в общенародном масштабе, а не у каждой отдельной личности. Иными словами, это признак только интегральный, а не дифференциальный. То есть можно сказать, что итальянцы в массе, в среднем темпераментнее, чем финны, но любой отдельный финн может оказаться темпераментнее отдельного итальянца, почему пользоваться этим признаком для отнесения к

конкретному этносу нельзя (Джанджильдин 1971: 146-152). Не говоря уже о том, что в большинстве эти признаки оказываются при ближайшем рассмотрении не объективной реальностью, а традиционными клише, мифическими стереотипами соседей (легкомысленные любвеобильные французы, жадные евреи, глупые чукчи) или националистическими самообольщениями (русская духовность) (Козлов и Шелепов 1973). Только некоторые статистически вроде бы оправданы (деловитые практичные американцы). А когда в редком случае натолкнешься на реальный, экспериментально установленный признак, он оказывается характерным для нескольких этносов сразу (Кон 1968, 1971). По словам Токарева (1964: 44), понятия “психический склад”, “национальный характер” в проблему определения этнической общности ничего, кроме тумана, не вносят.

С этим признаком мы окончили стандартный восходящий к Сталину набор и переходим к признакам из более широкого репертуара.

5. Единство происхождения – признак, выдвинутый Широкогорвым (1923) и поддержанный Шелеповым (1967). Это признак еще библейский – в Библии народы различались по происхождению от единого предка, и это было в древности общим местом. Все скифы – от Скифа, все эллины – от Эллина. Но на деле в русское население вошли балтские народности от Прибалтики до Поволжья, севернее от них – финские народности лесной полосы до Урала (Балановская и Балановский 2007), татары в Поволжье и ираноязычные сарматы в степях. Русский народ и сейчас продолжает пополняться из разных источников. Английский народ сложился из нескольких корней: германоязычные англо-саксы, кельтоязычные бритты и пикты и франкоязычные норманны. Компоненты французского народа – германоязычные франки и кельтоязычные галлы. В то же время евреи и арабы – одного племенного корня: семитского, но это разные этносы, да и арабы делятся на разные, нередко враждующие этносы.

6. Название и самоназвание – признак, который некоторые считают важным для обособления этноса. Но этнические ярлыки очень непрочны связаны с этносами. Многие названия – не самоназвания, а даны соседями (Бромлей 1983: 45-48, 56-58; Дьяконов 1984). Сами немцы называют себя не немцами и не германцами, а “дойче”. “Руоси”, “руоссилайнен” было первоначально финским названием шведов, а славян они называли “веняя” (видимо, от венедов); только после воцарения в славянских землях норманнской династии Рюриковичей, подвластных им славян стали называть Русью. Французы получили название от германского племени франков. Осетины раньше назывались ясами, до того – аланами. У Гомера греки не назывались греками, и даже более древнее имя эллины как общее название всего этноса не употреблялось. Греки назывались в эпосе то ахейцами, то данаями, то аргивянами. Все народности, проживавшие в Северном Причерноморье, назывались у греков скифами. Всех, кто прибывал на Русь с Запада, восточные славяне называли немцами – вероятно, потому, что те не могли разговаривать ни на одном из славянских языков и были для славян немыми. А свой язык был для славян “язык словенск”, от “слова” (слово *язык* означало на древнерусском и ‘народ’).

7. Самосознание – вроде бы более присущее этносу свойство. Этнос должен осознавать свое отличие от других, свою общность (Кушнер 1949; Козлов 1967а; 1967б; 1974; Агаев 1967). Но для больших народов это свойство проявляется отчетливо только на его окраинах. В центральных областях, откуда до границ и не добраться, люди могут жить веками, не имея контакта с чужими для осознанного противопоставления себя другим. Да и не всегда в условиях контакта противопоставление акцентируется. Белорусы западных областей на вопрос об их национальности часто отвечали: “мы тутэйшыя” (здешние) или “вясковыя мы” (деревенские), либо называли себя то русскими, то поляками (в зависимости от ситуации). Самосознание может отличаться от определения по другим признакам. Сам я ощущаю себя русским еврейского происхождения, но по паспорту, родству и восприятию меня другими я еврей. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что самосознание – “явление вторичное, производное от объективных факторов”, и отказывают ему в ранге “решающего свойства этноса, его своеобразного демиурга” (Бромлей 1983: 196).

8. Религия – то, что сплачивает людей в конфессиональные общности, нередко совпадающие с этническими, более того – это бывает и разделительным признаком этносов: поляки католики, русские – православные. Еще того сильнее: людей одного и того же языка часто религия разделяет: в Югославии славяне одного языка давно разделились на три этноса: сербы (православные), хорваты (католики) и боснийцы (мусульмане). С другой стороны немцы-католики и немцы-протестанты не стали двумя этносами, так же как французы-католики и французы-гугеноты. Стало быть, религия важна как признак этноса, но она то сплачивает людей в этносы, то нет, то разделяет этносы, то нет (Пучков 1973).

9. Экономика – признак, подобающий только нации (по исходной логике рассуждения от нации к этносу), но возможный при расширительном толковании и для этноса: общность не как связи, а как сходство экономических показателей. Но и это далеко не всегда налицо (Козлов 1970; Бромлей 1972).

10. Государство – еще один объединительно-разделительный признак. С теми же качествами. Многие национальные государства объединяют в основном людей одного языка, культуры, религии и проч. (Франция, Дания, Швеция, Норвегия, Польша). Но есть государства, которые объединяют по несколько, даже по много этносов – Россия, Индия, в прошлом – Австро-Венгрия, Османская империя. А есть государства, которые разделяют один этнос: Сербия и Черногория, Албания и Косово, некоторые считают, что таковы Германия и Австрия, Румыния и Молдавия. Я уж не говорю о случаях, когда этнос разорван между инациональными государствами: курды в Ираке, Турции и Иране.

11. Раса – признак вроде бы опознавательный. Но опознать по расовым признакам национальность можно лишь иногда, по контрасту с окружением в результате дальней миграции. Евреев по типу лица, носа, глаз можно выделить в России, потому что, происходя генетически от населения аравийских степей, ев-

реи сильно отличаются своим физическим типом от славянского населения Восточной Европы, но в Италии и Испании отделить евреев от местного населения, испытавшего в средние века сильную примесь арабов, почти невозможно. И наоборот, русские севера и русские с Кубани и Дона сильно отличаются друг от друга физически. На Кубе живут разные расы, но все они, включая негров и мулатов, – кубинский этнос. В Мексике и Перу часто уже трудно различить, кто по происхождению индеец, кто португальского или испанского происхождения, кто метис, хотя там есть и сохранившиеся чисто индейские племена. Даже среди евреев нет расового единства. Несмотря на длительное отсутствие больших примесей среди евреев есть голубоглазые, есть блондины с веснушками, много рыжих, хотя среди родственных арабов таких нет (вероятно, это результат нашествия XIII в. до н.э. из Европы на Палестину и Египет, где это были “народы моря”). Наибольшая расовая чистота – на окраинах материков (Норвегия, Корея), всё остальное население сильно перемешано (Козлов и Чебоксаров 1982).

Итак, ни один из признаков, выдвигавшихся на роль этнических показателей, не является ни достаточным для этнического различения, опознания и определения, ни необходимым для него. Он может быть определяющим, может и не быть.

Однако если каждый не решает, то, возможно, нужно брать все признаки вместе, а если нет всего набора, то нет и этноса. Но коль скоро каждый признак в отдельности не обязателен, то и все вместе тем более не обязательны. Тогда, быть может, какую-то часть набора? Но какую именно часть? Сколько признаков и какие?

Ведь если исходить из прошедшей перед нашими глазами реальности, то сгодиться может любой набор! Это значит: то одно, то другое сочетание, то третье. Похоже, что так. Но тогда какое-то строгое определение просто невозможно. Где же для него основа? Невозможно ясно указать, в каких случаях, с какими сочетаниями признаков есть этнос, а в каких его нет.

В начале XX века в этом духе высказался немецкий марксист Карл Каутский, очень ясно и трезво мысливший, – он лучше всех переложил “Капитал” Маркса (в его изложении всё понятно) и оказался прав в споре с Лениным о диктатуре пролетариата во главе с коммунистической партией. Он говорил, что диктатура пролетариата неизбежно сведется к диктатуре партии над пролетариатом, а диктатура партии неизбежно сведется к диктатуре ЦК над партией, а диктатура ЦК столь же неизбежно выродится в единоличную диктатуру вождя над всеми. Ленин с пеной у рта уверял, что “демократический централизм” предотвратит это зло. Прав оказался социал-демократ Каутский. Вот этот самый Каутский писал:

“Национальность – это общественное отношение, которое постоянно меняется, которое при разных условиях имеет различный смысл – словно Протей, постоянно ускользающий из наших рук, когда мы хотим его схватить...” (Каутский 1908: 4).

4. Основные концепции. Ясно, что если не примиряться с этой пессимистической сентенцией, то надо найти некую основу для выбора такого сочетания признаков или такого условия для сочетания признаков, которое бы удовлетворило реальному положению дел. Современные концепции этноса ищут такие условия.

1. Основная советская концепция (комплексная или начетническая) зарождалась спонтанно и никем индивидуально не формулировалась как нечто оригинальное. Она естественным образом вытекала из всего корпуса советской обществоведческой науки, идеологически выверенной и на истмате основанной, – из стандартных учебников истмата, из многих серых диссертаций, из столь же серых лекций и докладов. Из всей атмосферы. Опорной формулировкой оставалось сталинское определение нации. Почти все плясали от него. Только постепенно начинали и в ней сомневаться.

Этнос, по этой концепции, есть социально-историческая категория и не может быть иной. В лучшем случае (это поновее) социокультурная. Социокультурная – значит не биологическая. Она выражена в объективных явлениях, которые и надлежит определить. Противоположное не рассматривалось, потому что это был бы субъективный идеализм.

Далее не выраженный в словах ход рассуждений – на поверхности. Раз не биологическая, значит, в признаки могут входить язык и культура, но не могут входить раса и происхождение. Раз объективная реальность, значит, в признаки может входить территория, но не может самосознание.

Порок концепции был в том, что она была мертворожденной. Сама же советская власть на практике с ней не считалась: в документах национальность определялась не по социальному состоянию, месту жительства, языку или культуре, а исключительно “по крови” – выбирать можно было только из национальностей родителей (при происхождении от смешанного брака).

2. Одноплановые концепции. Отход от такой установки побудил открыть глаза на этническую реальность – нет такой жесткой связи разных этнических признаков непременно внутри одного социального организма. Тот или иной признак может отсутствовать. А могут ли отсутствовать два признака? Ну, если каждый из них может, то и два сразу могут. А три? И т.д. В пределе это ведет к выделению одного признака, которым и должен определяться этнос. На этот логический путь вступили некоторые исследователи. У одних этот признак – общность языка (Агаев 1968), у других – самосознание (Козлов 1967), у третьих – культура (Чебоксаровы 1971; Артамонов 1969; 1971). Это, собственно, лишает термин *этнос* смысла и превращает его в дубликат других терминов (ведь понятие, оказывается, одно).

3. Описательная (идиографическая) концепция. Исследователи пытались приспособить понятийный аппарат к отражению исторического процесса в его многообразии общностей (Дьяконов 1958; Токарев 1964; Лашук 1967; Бе-

пьявский 1967; Воробьев 1967). Одни стали противопоставлять этнос нации как генетически предшествующий тип общности – совершенно иной природы, с другими признаками: общность религии, общность происхождения. Другие, не включая нацию из видов этноса, старались выделить признак, чуждый ей, но очень важный для этноса в целом, например, общность происхождения (Шелепов 1967).

В этой концепции дефиниция тоже сводится к минимуму признаков, в пределе – к одному.

4. Комбинационная или политетическая концепция. В этой концепции принято мнение, что из большого количества признаков этноса ни один не является всеобщим и достаточным (Токарев 1964), а требуется некое сочетание ряда признаков. Оно может быть разным, но непременно большой набор. Однако в этом случае совокупность этносов получается диффузной, а критерий принадлежности каждой конкретной общности к этническим окажется неясной.

В итоге разработки всех этих концепций становилось всё более ясно, что исходить нужно из общей классификации человеческих групп, обществ и из потребностей дифференциации изучения человечества в разных аспектах – историческом, биологическом, географическом, экологическом, языковом, культурном, политическом и т.д. В этом многоаспектном изучении обратили внимание на остаток, который не укладывается в другие аспекты, но многое в них определяет и требует особой науки – этнографии.

5. Этноландшафтная концепция Гумилева (она же популяционная). Концепция эта развивалась с 1964–67 г. выпущенным из лагеря талантливым историком Л.Н. Гумилевым (Гумилев 1964–73; 1967а, 1967б, 1979/1989), которого официальная наука не признавала, но которого скрепя сердце допускала, рассматривая это как экспериментальный шаг, как доказательство своей либеральности. Сын расстрелянного поэта Николая Гумилева и преследовавшейся поэтессы Анны Ахматовой, он вызывал всеобщее сочувствие. В официальную историю (журналы, институты) его не пускали, а пристраивали его в географии, этнографии и археологии. Однако не только историки, но и археологи и этнографы (не только придерживавшиеся партийной линии, но и инакомыслящие) – все до одного – его идеи сторонились, а полуобразованная публика валом валила на его лекции и копировала его машинописные тексты. Идеи его были нестандартными и уже одним этим привлекательными.

С другой стороны, и Гумилев, наученный горьким опытом, вел себя сдержанно, прикрывался ссылками на Маркса и Энгельса, принимал некоторые постулаты правящей идеологии (даже критиковал Широкого за “механическое перенесение зоологических закономерностей на историю” – 1989: 70) и сходиллся со всё более заметным уклоном верхов к русскому национализму.

Гумилеву, естественно, претила советская идеология, хотя отдельные мысли Маркса и Энгельса, отдельные положения марксизма он принимал, но никак не

крайний экономизм и социологизм, сводившие всё и вся к обществу, его экономике и политике. В коммунистической идеологии ему был противен также безудержный интернационализм, вылившийся в национальный нигилизм ранних советских лет. В тяжелые годы репрессий его поддерживало сознание того, что он по рождению принадлежит к старой русской национальной элите, к дворянству (хотя дворянство получил только его дед). Надо полагать, ему было неприятно наводнение обеих столиц и органов власти нацменами из самых низов. В то же время он знал, что в его матушке есть тюркская кровь (прабабка Ахматовой была крымской татаркой). Отчасти поэтому с теплотой воспринял в 1956-66 гг. от П.Н. Савицкого идеи евразийства и отрицал татарское иго. Кроме того, Гумилев – человек верующий, атеистический материализм также был ему чужд, разгадки этноса он склонен был искать скорее в духовной сфере. Этот комплекс идей – антисоциологизм, национализм, элитарность, обращение к психике и таинственным силам космоса – сказались в его концепции.

По Гумилеву, этнос – природное явление, форма существования вида *Homo sapiens*. “Этнос в своем становлении – феномен природный” (1971б; 1989: 20). Он тесно связан с ландшафтом, природной средой. Изучать его должна этнология в рамках географии (тут сказались и его личная судьба – его прибежище в географии). Этнос, – утверждал он, – это порода людей, почти вид (1989: 41). Но если “порода”, то это уже не география, а биология. И действительно, в другом месте Гумилев добавляет: выделение этноса “отражает некую физическую или биологическую реальность” (1989: 94). Он рассматривает этнос как *популяцию*, а это понятие физической антропологии. Так что критика Широкогогорова была только маскировкой.

По мнению Гумилева, принадлежность к этносу “воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит ощущение” (1989: 49). Но что же люди ощущают? Если вдуматься, что Гумилев подразумевал в основе такого ощущения “окружающих”, то это “этнические стереотипы поведения”, нормы, которые формируются средой и передаются традицией – воспитанием. То есть, это культура.

Этнос он определял так:

“Устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени” (Гумилев 1989: 131).

Выходит, найден самый бросающийся в глаза признак? Но тут противоречие: в культуре, явно противостоящей природе и лишь взаимодействующей с ней, пусть и в рамках ландшафта, Гумилев не позволял себе усмотреть системообразующую силу. Нет, это не единственный признак и не главный. Нужно вернуться к сочетанию, а какое сочетание выбрать – неясно.

Гумилев с ехидством посмеивался над попытками отыскать решающее сочетание признаков этноса: “Нет ни одного признака, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет” (1989: 94). Ключик к выходу он нашел в системном подходе биолога Бергаланфи, сформулированном после войны. Этнос – это не перечень признаков, не скопище людей, похожих друг на друга, “не арифметическая сумма человекоединиц” (1989: 99), а система, которая характеризуется прежде всего *связями между своими компонентами*. Что же поддерживает эти связи, эту целостность системы этноса? Чтобы ответить, нужно обратиться к возникновению каждого отдельного этноса – что его выделило и сплотило?

С одной стороны, Гумилев был ярким сторонником чистоты этноса. Для устойчивой передачи “стереотипов” важна эндогамия – браки должны заключаться только внутри этноса, не с чужаками. Он громкогласно выступал против смешанных браков, благоразумно не называя это *апартеидом*. Даже перевирал биологические законы, утверждая вредность и гибельность метисации. Говорил о “народах-химерах”, “народах-паразитах”. С другой стороны, он знал и не отрицал, что в каждом этносе намешано множество компонентов: в русском – финноугры (меря, мурома, мещера и др.), балты (голядь), сарматы, половцы, татары (откуда фамилия Ахматовых) и т.д. Как же разрешить это противоречие? Что за “фактор икс” противоречие снимал?

Идея Гумилева такова: смещения только тогда благотворны, когда вдруг обильно, кучно нарождаются особо одаренные и энергичные личности (он назвал их “пассионариями” – на термине сказалась несомненно кличка лидера испанской компартии предвоенных и военных лет страстной Долорес Ибаррури – “Пассионария”). Происходит это очень редко и лишь в некоторых местах вследствие биологических мутаций под действием излучения из космоса. А ландшафт – это как бы плавильный котел этногенеза.

Что за излучение? Какими физическими приборами улавливается? Как воздействует на человеческие яйцеклетки? Почему только в некоторых местах Земного шара? Почему следствием оказывается рождение пассионариев, а не дебилов? Никаких доказательств не приводится. Их нет. Гумилев мог подразумевать вмешательство Всевышнего, но тогда это другой разговор не научный, а теологический. Слабы и другие положения.

“Этнос ... явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях” (1989: 35, также 39-40, 70, 240). А брак, собственность, дипломатия и многое другое тоже ведь существуют и при рабовладении, и при социализме, и при капитализме – что же, и они не социальные явления?

Гумилев заявлял: от нации так же невозможно отрешиться, как от пола. Ан нет, возможно! Я знаю русского человека, которому наша жизнь, советская жизнь (он ее отождествлял с русской) настолько осточертела, что он еще в советское вре-

мя досконально выучил немецкий (говорит без русского акцента), воспользовался фиктивным браком, выехал в ГДР, сменил имя и фамилию, и теперь он немец.

Гумилевские “стереотипы поведения” далеко не всегда реальны. На поверку чаще всего они оказываются стереотипами восприятия данного этноса другими этносами с позиций этноцентризма. *Этноцентризм* – явление, замеченное австрийским социологом Людвигом Гумпловичем и разработанное американцем У.Г. Самнером. Явление это заключается в том, что народ обычно воспринимает всё свое и привычное как благо, как красивое и благородное, а всё чужое – как зло, как низкое и смешное. Стереотипные характеристики соседних этносов складываются на основе исторических условий, отношений и профессиональных предпочтений (Le Vine and Campbell 1972).

В русском народном представлении евреи выступали как жадные и трусливые, а грузины – как воинственные. Но войны с арабами показали евреев Израиля как отличных воинов, а война с Абхазией и затем в Осетии изрядно подмочила воинственную репутацию грузин. В ушах навязли разговоры о русской духовности и западноевропейской бездуховности. Между тем отношение к деньгам, к оплачиваемой работе, к культуре, к искусствам социально обусловлено, и нынешняя возможность сравнений на основе личного опыта (теперь ведь можно ездить и смотреть) демонстрирует полную бездоказательность подобных утверждений.

Концепция Гумилева – излюбленная (и, скажем прямо, благодарная) мишень для критиков (Бромлей 1970а; 1971б; Козлов 1971а; 1974а; Артамонов 1971; Итс 1989; Лурье 1990; Клейн 1992; Белков 1993; Мосионжник 2010 и др.).

Концепции, подобные Гумилевской, можно встретить и на Западе. Так, в книге П.Л. ван ден Берге “Этнический феномен” (Berge 1981) этнос трактуется как врожденное свойство человека, как проявление неодолимых, “самоопределяющихся” генов. На Западе сторонников таких взглядов называют “примордиалистами”: для них этнос основан на первозданных (primordial) узах – расовой общности, общности происхождения, наличии общих предков.

6. Новосоветская концепция Бромлея (также популяционная) – появилась в печати с 1968 года (Бромлей 1969, 1970б, 1971а, 1973, 1983). Ю.В. Бромлей, подобно Гумилеву, тоже из верхов советской интеллигенции: он сын известного античника профессора Сергеева, родился от незарегистрированного брака с машинисткой, происходившей из рода заводовладельцев Бромлеев, эмигрантов из Англии. Дед его (отец Сергеева) – знаменитый артист Станиславский. Но Бромлею повезло – лагеря его миновали. Благодаря способностям, хорошему образованию и протекции он сделал успешную научную карьеру, стал директором Института этнографии, позже академиком. На нем лежала задача противопоставить концепции Гумилева что-то достаточно новое и достаточно советское.

Бромлей отверг географический уклон Гумилева. Этнос, по Бромлею, – никак не природное явление, а, конечно, социально-историческое. Чтобы выявить

главный, решающий среди признаков, Бромлей предложил взять этнос в ситуации критической, угрожающей его целостности – какие признаки окажутся самыми прочными. Он имел возможность опереться на советскую реальность: к постсталинскому времени Москва и Ленинград были наводнены приехавшими на постоянное жительство людьми из национальных республик и евреями, а в республиках появились массы русского населения. Было уже полно смешанных браков.

Озабоченный сохранностью этносов, Бромлей ввел в перечень признаков новый признак – *эндогамию* (предпочтение браков внутри этноса) как стабилизатор этноса (Бромлей 1969). С эндогамией этнос превращается в популяцию, как у Гумилева. Эта эндогамия теперь то и дело нарушалась. В такой ситуации остальные признаки этноса ведут себя по-разному: одни оказываются прочно привязанными к этносу, сохраняясь за его осколками и в диаспоре (рассеянии), другие – нет.

Группируя признаки по-новому, Бромлей разделил этнос на два аспекта – интегральный и дифференциальный. Интегральные проявления – те, что выступают только в целом народе, описывая всю массу людей, но не обязательно каждую личность, – он отнес к понятию “этнос в широком смысле”, а те, что выступают в каждой личности, дифференциальные, он отнес к “этносу в узком смысле”. Первый он назвал “*этносоциальным организмом*” (сокращенно – *эсо*), второй – “*этникосом*” (в переводе с греческого ‘этнический’). Скажем, русское гостеприимство характеризует весь народ, но какой-то отдельный русский может быть и негостеприимным. Это признак эсо. А вот русский язык – на нем говорят все русские, каждый в отдельности. Это признак этникоса. Общность территории, экономики и государственности суть признаки этноса в широком смысле, но не каждый член этноса привязан к ним – на диаспору они не распространяются. А вот культура, стереотипы поведения – признаки этноса в узком смысле (Бромлей 1970б; 1971а).

Признаки эсо закреплены за ним слабее – при раздроблении эсо люди могут и не унести с собой эти характеристики, а вот признаки этникоса держатся очень прочно. Однако рассмотрим их. Даже язык – непрочный признак этникоса: его можно сменить, как и религию. Культурные навыки тоже. Эндогамия слабеет. Собственно, прочными признаками этникоса остаются только расовые особенности и их основа – общность происхождения. Как производный – самосознание.

Для основы понятия, его логически цельной структуры, осталось то же, что у Гумилева. За пределами декларации – всё те же “психические стереотипы” и та же “эндогамия”. У Бромлея нет филиппик против смешанных браков, нет оскорблений в адрес других народов, но суть концепции та же!

Оба ученых столкнулись лоб в лоб в журнале “Природа”, развернувшем в 1970 г. дискуссию об этносе (Гумилев 1970, 1971б; Бромлей 1970, 1971б). Спор был жаркий, но спорили-то два варианта одной концепции, при чем за Гумилевым был приоритет.

Ученик Гумилева К. Иванов опубликовал статью (1985), в которой весьма ясно писал о заимствовании Бромлеем идеи концепции у Гумилева (позже выяснилось, что Гумилев был реальным соавтором этой статьи – Лавров 2000: 329). Перед смертью Гумилев и сам ясно высказался, что его теория “приписана академику Ю.В. Бромлею, цитировавшему положения автора без отсылающих сносок” (Гумилев 1993: 11).

Различия между концепциями, конечно, есть, есть и оригинальные идеи Бромлея. Но обе концепции, при всем различии их формирования, отражают один и тот же рост этнических акцентов в послевоенном и послесталинском советском мировоззрении, рост националистических чувств в противостоянии с западным миром. Снижение веры в близость коммунизма и в непреложность вообще пути к нему незримо назревало в советском обществе и ослабляло все советские идеологические позиции. Поэтому спасение было в переносе акцентов на национальные отличия, на исконность традиций, на кровное родство всех, кто на нашей территории. По крайней мере, всех основных. Всё русское поднималось на щит как особенное и заведомо лучшее, чем на Западе. Одновременно шла либерализация – можно было чуть отклоняться от догм.

7. Социально-психологическая (или социопроективная) концепция. Более того, в закоулках тихих академических институтов шло частичное и подспудное, без громких деклараций, освобождение от вульгарных марксистских догм. Проводили его иногда вполне в остальных отношениях идеологически выдержанные товарищи, иногда нейтральные эмпирики, иногда скрытые диссиденты. Но их всех жизнь толкала в одном направлении.

Отличную от Гумилева и Бромлея концепцию предложили В.И. Козлов (с 1967 г.), К.В. Чистов (с 1972 г.), и я к ней присоединился (в печати Klejn 1981). Козлов тогда ортодоксально придерживался партийной идеологии и боролся с ее нарушениями (в том числе и с Гумилевым – 1971б, 1974а), но, обладая строптивым нравом, сохранял независимость суждений. Чистов был вдумчивым интеллигентным эмпириком, упирившим на здравый смысл. Я сомневался в марксизме и часто выступал на краю дозволенного (а мыслил за краем). Наша концепция отрешилась от догмы считать все культурные явления непременно материальными. Да оно и марксизмом разрешалось, только не проводилось на практике. Академия истории материальной культуры была создана в первые же годы советской власти и существовала десятилетиями, существует и до сих пор – в виде Института. А Вольная академия духовной культуры была закрыта немедленно.

С точки зрения социопсихологической концепции, этнос потому и неуловим, изменчив, что не является материальной субстанцией, единицей классификации реальных общественных явлений. Он есть общность субъективных представлений, то есть категория *социальной психологии*, а не истории материальной культуры или истории других реалий.

По Козлову (1967; 1974б) и Чистову (1972), основной признак этноса – *общность самосознания*, выраженная в самоназвании. Другое дело, что общность

эта не самопроизвольна, не свободна от всякой зависимости от реалий жизни. У нее всегда есть объективная основа. Основа для этого психического единства – объективная общность, общность реалий, – но любая, любых признаков, как угодно сложившаяся. Где одних, где других. Где языка, где религии, где территории, где государства и т.д.

Я внес поправку: это общность не самосознания, а просто *сознания*. Ибо важно не только то, к какому этносу ты себя относишь сам, но и то, к какому этносу тебя относят другие. Будучи чукчей, ты можешь объявить себя англичанином, но другие этого не поймут.

Мотивировкой самосознания (как и сознания соседей) является убежденность (не обязательно верная) в *общности происхождения*. Пришлые люди или местные, но непременно требуется, чтобы они, по общему представлению, появились на этой территории вместе. От одного предка или разных, но давно, так сказать, исконно вместе. Под общим происхождением, как угодно мифически оформленным и бытующим в народном сознании, выступает реальная *общность исторических судеб*.

На Западе также есть близкая концепция, и, пожалуй, она является на Западе преобладающей. Так Д. Хайем пишет:

“Класс и этничность являются, конечно, двумя основными измерениями социального порядка, которые обычно воспринимаются американцами как взаимно перпендикулярные друг к другу. Этничность – это узы, сравнимые с родственными, они основываются на предположении об общих предках и сетью традиций связываю-ют людей, стоящих на разных уровнях социальной иерархии” (Higham 1982).

Этнонациональную группу рассматривают как близкую к “родственной” также Кейес, Кван и Шибутани, У. Коннор и др. (см. Glazer and Moynihan 1975).

Отрадно, что у нас эта концепция, по всей видимости трезвая и здравая, возникла независимо от Запада, еще при советском режиме, при засилье догматической идеологии. Есть и заметные отличия советских сторонников этой концепции от западных. Поскольку, по крайней мере, некоторые из западных рассматривают этнос как ситуационный образ, как организационную конструкцию для реализации коллективных целей, их в Америке называют “инструменталистами”. В инструментализме есть привкус неверия в историческую обусловленность формирования этноса, отзвук убеждения в полной свободе воли, пусть и коллективной. Советские ученые этой убежденности чужды. Но основной спор между инструменталистами и примордиалистами шел по линии признания или непризнания реальной биологической основы у этноса. Социопсихологическая концепция этноса не признает важной роли “породы людей” в основе этноса.

Биологизирующая идея присутствует и в этой концепции, но лишь как миф, осознаваемый учеными. По этой концепции этнос есть *народная биологизация социально-психологической общности, опирающаяся на какие-то объектив-*

ные, наглядно объединительные признаки. В конкретных ситуациях этнографии и истории социально-психологическая общность представляется как кровное родство, как племенная общность. Нужды нет, что в реальности этого может и не быть – за этносом кровное родство может не стоять и чаще всего не стояло. Но оно есть в головах, в идее.

Для начала *русская идея* это идея о кровном родстве всех русских. Она, конечно, миф. Но свою роль в консолидации этноса этот миф сыграл. Негативная сторона этой мифологизации, однако, в том, что в нынешних условиях, в условиях многонациональных государств и усиливающейся межнациональной чересполосицы этот миф стал играть вредную роль, становясь базой для разжигания межнациональной розни и для распада многонациональных государств. В то время как в Европе наблюдается противоположная тенденция – к формированию многонациональной общности, к разрушению мифов о кровном родстве. В этом контексте полезно помнить, что у нас за плечами – не кровное родство, а общность исторических судеб. Она, конечно, сплавляла людей в народы, нередко противопоставляла одни народы другим, но и соединяла.

Поскольку этносы существуют повсеместно и нет людей вне этносов, значит, человеку свойственно подводить свои социальные связи под отношения родственные. Если человеку свойственна такая биологизация социальных отношений, а эта биологизация опасна, то не состоит ли интеллигентная рефлексия в дебиологизации?

8. Конструктивистская концепция. На рубеже тысячелетий в России получило влияние инструменталистское понимание этноса, пропагандируемое директором Института этнографии В.А. Тишковым. В условиях межэтнических конфликтов и локальных войн у него развилось естественное отторжение национализма и своеобразная неприязнь к самому понятию этноса. Стала выходить серия его статей, среди которых выделяется “Забыть о нации” (1999), и в завершение этой серии – книга “Реквием по этносу” (2003).

Критика Тишкова направлена на понимание этноса как некоего организма, как бы физического тела, имеющего четкие границы (*эссенциалистская концепция этноса*). По его мнению, попытки воссоздать этносы, искусственно склотить этническую солидарность, имеющую приоритет над всеми другими солидарностями, ведет к вспышкам национализма и сепаратизма. Этнос – дело социального сознания и самосознания. Поэтому в большой мере это результат искусственного формирования, конструирования (*концепция социального конструирования*). То же и нация, хотя у нее более тесная привязка к государственным границам. Тишков (2000) назвал нации “воображаемыми общностями” и призвал отказаться от них как от искусственных и вредных.

Против того, что он называет эссенциалистской концепцией этноса Тишков выдвинул популярную на Западе концепцию *этничности* (Тишков 1997). Он отказывается рассматривать ее как первичную, коренящуюся в природе человека

потребность в идентичности с крупным коллективом родственников, близко схожих по культуре и языку людей. При этом суть понятия этничности остается у Тишкова несколько туманной. Пусть суть этноса в психике, но воплощения вполне реальны.

Несмотря на слабую поддержку в научном мире России, концепция Тишкова была поддержана властями, которые нашли в ней удобное идеологическое средство для борьбы с растущим национализмом, особенно – с сепаратизмом национальных окраин.

5. Специфика этнического. В чем же суть отличия этнической общности от других видов общности – языковой, территориальной, профессиональной, классовой? Обнаружение места этничности в социальной психологии, перемещение понятия этноса туда не снимает этого вопроса. Ведь есть своя особая психология, свое самосознание и у класса, и у граждан государства, и у обитателей страны, и у носителей определенного языка.

Многие психологи указывают на этническую *солидарность* как определяющую особенность этноса. В психологии издавна подчеркивается важность психологического деления: “мы – не мы”, “свои – чужие”. Эта обособляющая и сплачивающая идея лежит в основе этноса и порождает чувство этнической солидарности, заставляющее членов этноса поддерживать друг друга, предпочитать общаться с одноплеменниками, придерживаться эндогамии, сплачиваться в войне и т.д.

Но есть ведь и классовая солидарность – ее нещадно эксплуатировали большевики: “пролетарии всех стран соединяйтесь”. Есть партийная солидарность, поскольку членов партии объединяют общие политические цели. Есть профессиональная, корпоративная солидарность, поскольку есть общие интересы у всех, скажем, медиков или у всех учителей. У всех студентов. У всех ученых. На этом основано профсоюзное движение и международные организации профсоюзов, научные конгрессы. Словом, есть солидарность разного плана.

Конечно, у членов класса солидарность может и не проявляться, у членов профессиональной корпорации тоже: конкуренция разделяет их и превращает в противников. Могут быть и у жителей страны территориальные раздоры. Но ведь и внутри нации, внутри этноса нередко бывают разлад, склоки, схватки за те или иные блага или за первенство. Это не нарушает общую тенденцию солидарности, к которой апеллируют примирители и которая в конечном счете восстанавливается. Так чем же этническая солидарность отличается от других?

Я вижу только одно существенное отличие – в целях. Тут имеет значение государственность, но не как необходимый признак, а как цель. Более точное определение этой цели – *социальный организм*. Это понятие введено в нашу науку Ю.И. Семеновым в 1966 г. и повлияло на Бромлеевскую идею этносоциального организма (эсо). Социальный организм – это конкретное общество, обладающее

устойчивостью и потенциями самостоятельного существования: оно достаточно велико для самообеспечения в принципе, имеет все необходимые слои и классы (Семенов 1966).

Так вот в отличие от других видов солидарности *этническая солидарность направлена на воспитание или поддержку идеи обособления отдельного социального организма со всеми классами и слоями, со своим особым управлением, со своей значительной территорией и значительным народонаселением (достаточными для самообеспечения и обороны)*. Имеется в виду *независимое государство или, по крайней мере, автономное образование*. Всякий этнос, имеющий государственное оформление, дорожит им. Всякий этнос, не имеющий его, лелеет мечту о нем. Если такой мечты нет, нет этноса.

Споры о том, являются ли евреи отдельным этносом, шли долго. Те, кто отрицал это, ссылались на отсутствие единого языка и вообще утрату собственного языка. Противники ссылались на цементирующую роль религии. Изгнанные две тысячи лет тому назад из Палестины, евреи молились, повернувшись в сторону Иерусалима, а на праздниках твердили формулу: “Сегодня здесь, а завтра в Иерусалиме”. По прошествии двух тысяч лет сохранившие свою идентичность собрались в Палестине, отвоевали свою землю и создали государство Израиль. Доказали свое существование как этноса.

Противоположный случай я вижу в Белоруссии. Там стремление к национальной самостоятельности никогда не было сильным. В Белоруссии это всегда был только вопрос национальной элиты – очень тонкого слоя, к тому же изрядно прореженного сталинскими чистками. Масса населения оставалась к этому равнодушной. Белорусский язык был языком деревни, а деревенская жизнь утратила привлекательность, идеалы ушли в городскую жизнь. “Союзная республика” была сформирована искусственно, в большой мере для показухи. Всё население говорило и говорит на русском языке, только с белорусским акцентом и небольшой примесью белорусских слов – на *суржике*. Белорусский язык – это язык радио и некоторых газет. Мой покойный друг, белорусский писатель и страстный патриот дома, в семье, говорил по-русски.

В Западной Белоруссии, в городе Гродно, вскоре после войны было открыто около десятка школ, все русские, одна из них – польская и одна – белорусская. В этой белорусской школе только один из нескольких параллельных классов был реально белорусским. Когда польскую школу закрыли, ее сделали русской. Потом передумали и первого сентября объявили, что школа будет белорусской. Услышав об этом, белорусы, родители с детьми, ринулись к дверям. Директор велел запирать двери. Родители с детьми стали прыгать в окна (зал был на первом этаже). Так белорусы продемонстрировали свою “приверженность” своему языку.

Демонстративное стремление Белоруссии объединиться с Россией опирается на равнодушие народа к своей особой (нерусской) национальной идентичности. Для национальной элиты это может быть неискреннее стремление (политиче-

ский маневр), но для народа Белоруссии выбор между двумя перспективами диктуется исключительно соображениями экономической и политической природы.

Иное дело Украина. Там идея национальной самостоятельности всегда теплилась и, по крайней мере, западная часть страны говорит по-украински и стоит на страже своей "самостийности".

Итак, в основе этнического самосознания лежит идея существовать самостоятельной очень-очень большой семьей и жить на отдельной территории, сплошным массивом. Пусть эта самостоятельность и будет относительной (ныне полная независимость от международного сообщества недостижима и не нужна).

Тема этноса этой главой не исчерпана. Есть в литературе разработки об этнических процессах, о типах этносов, об этнических взаимоотношениях, об этноцентризме и космополитизме и т.д. Но чтобы заниматься этими проблемами, нужно было прежде всего понять, что такое этнос и ознакомиться со спорами по этому вопросу.

В заключение я бы хотел сказать, что белорусский, да и еврейский примеры (если брать не только евреев Израиля, а большинство евреев мира) показательны в одном отношении. Они показывают, что замыкание в рамках этнической идентичности, не является непреложным и неизбежным. Замечательный историк И.М. Дьяконов (1958) показывал, что на Древнем Востоке вообще массы людей, при всей приверженности своему языку, пребывали в неопределенном, диффузном этническом состоянии. Нынешний мир, похоже, движется к такому же положению. Негры в Вашингтоне, евреи в Нью-Йорке, индусы в Лондоне, турки в Берлине, алжирцы в Париже, азербайджанцы в Москве, русские в Риге то порождают конфликты, то сосуществуют в гармонии с коренным населением, но не уезжают, медленно ассимилируются, внося и свои вклады в местную культуру и быт, и все вместе сигнализируют о взаимопроникновении и взаимопереплетении этносов в беспрецедентном масштабе. Не станет ли мир будущего одним многоэтническим мегаполисом? И сохранятся ли в таком мегаполисе этносы в своем нынешнем виде?

Будучи русским еврейского происхождения, находясь на стыке двух этносов, я, быть может, острее многих ощущаю зыбкость этнических рубежей. И учусь понимать, что в душе человека есть ценности помимо принадлежности к этносу и что некоторые, пожалуй, выше.

6. Этнос и археологическая культура. В первом томе в главе об археологической культуре (гл. 10) я уже рассматривал вопрос о соотношении археологической культуры и этноса (раздел 3, версия 7, также раздел 4). Здесь достаточно лишь напомнить о выводах и обобщить их, одновременно углубляя понимание.

Теперь ясно, что трудности установления соответствия археологической культуры этносу упираются не только в сложность и многозначность определения археологической культуры, но и в зыбкость и диффузность определения этноса.

Если этнос – категория социальной психологии, которая проецируется на любые материальные общности, лишь приписывая им общее происхождение, то ясно, что этнос может совпадать в границах с любой такой общностью – языка, религии, экономики, материальной культуры, каких-то ее частных проявлений. Добро бы если бы эти общности принципиально совпадали, образуя одну общность, так ведь этого нет. Значит, совпадая с одной из таких общностей, этнос может не совпадать со всеми остальными. В частности, и с материальной культурой, проявляющейся в археологии как археологическая культура.

Вдобавок из первого тома мы получили представление, что археологическая культура не образует цельного блока, а состоит из не вполне совпадающих общностей, имеющих разные ареалы распространения: одно дело погребальный обряд, другое – тип жилища, третье – керамическая орнаментация, четвертое – металлические изделия и т.д. Любой из этих компонентов может иметь этническое значение, а может и не иметь.

Значит, прежде всего, нужно определиться с принципиальным объектом поиска. Заведомо ясно, что невозможно искать по археологическим данным убежденность в общем происхождении, солидарность и преемственность в этом деле. Это совершенно бесперспективно. На деле ее и не ищут. Задаваясь целями выяснить этногенез, пытаются определить происхождение славян, германцев, финнов, северокавказцев, тюрков и т.д. и принадлежность к ним предков современных народов, то есть выясняют происхождение языковых семей и принадлежность предков к ним. Этногенез незаметно сводят к плоттогенезу. Или пытаются определить антропологические параметры населения, преемственность, автохтонность и миграции народных масс, то есть этногенез сводят к расогенезу. Наконец, в последние десятилетия, осознав эти сдвиги, стали ограничиваться рассмотрением чисто культурных аспектов истории социальных организмов – организованных масс людей, имеющих общую историческую судьбу, сводить этногенез к культурогенезу.

Между тем по современным впечатлениям мы знаем, что эти социальные организмы носят отчетливо этнический характер, резко различаются друг от друга и нередко соперничают и враждуют. Эти различия и эта вражда традиционны, уходят в историю и отражены в письменных источниках. По крайней мере, в какой-то части они уходят и в дописьменный период.

А с другой стороны, мы знаем, что каким-то материальным общностям люди приписывают и приписывали этническое значение, считая их свидетельствами общего происхождения. Всякий раз (кроме современности и письменных сведений) мы только не можем знать, какие общности в данном случае для этого выбраны. Значит, задача состоит в том, чтобы по вторичным, косвенным данным установить с наибольшей вероятностью, какими сигналами может быть помечено предполагавшееся общее происхождение людей в данном конкретном случае. Это могут быть специфические амулеты, своеобразный костюм, некое оружие, какие-то общие действия – в частности, война, миграция и т.п.

Глава 13. Понятие об этногенезе

1. **Термин.** Историю каждого современного народа обычно начинают с вопроса о его происхождении – этногенеза. По буквальному значению слов, *этногенез* (от греч. *этнос* – народ и *генезис* – происхождение, рождение) означает происхождение народа (или народов). Термин этот употреблялся академиком Н.Я. Марром вместе с аналогичным *глоттогенез* (происхождение языка или языков) и родственными – *этногония*, *этногонический процесс*. В заглавии одной своей статьи П.Н. Третьяков использовал гибридный (от *этногенеза* и *этногонического процесса*) термин *этногенетический процесс*, но он не прижился.

2. **Этногенез: традиционный подход.** В прошлом веке проблемой этногенеза занимались в основном лингвисты, и этногенез рассматривали просто как аспект глоттогенеза. С рубежа XX в. усилиями Г. Косинны центр тяжести проблемы сместился в область археологии и антропологии, а этногенез превратился в функцию и срез расогенеза и культуругенеза (Klejn 1974). Методологической основой этого совмещения было неоромантическое представление об органическом единстве всех параметров этноса как проявлений “национального духа”. Естественно было полагать, что при такой сопряженности они должны были, в динамике проходя сквозь всевозможные исторические катаклизмы, держаться вместе – не разрозниваясь. Отсюда следовал вывод, что эти параметры этноса не могут восходить к разным очагам. Иными словами, если какой-то этнос и сложился из компонентов разного происхождения, то с каждым из них он должен был получить весь комплекс характеристик языковых, культурных, расовых и пр., с более крупным вкладом – всего побольше, с менее значительным – всего поменьше, но непременно всего, предпочтительно – в одной и той же мере для всех параметров.

А отсюда надежда проследить “ретроспективным методом” (от современности в глубь веков) этническую преемственность по генетическим или по типологическим связям в материальной культуре. Соединение различных видов источников, фактов из разных наук мыслились полезным для взаимной компенсации пробелов, вызванных утратами – и только.

Когда с 40-х гг. XX в. советская наука, исходя из новых социальных потребностей, заинтересовалась проблемами этногенеза (Klejn 1977: 13-14; Bulkin, Klejn and Lebedev 1982: 272-275), она была подготовлена к тому, чтобы воспринять именно эти методические принципы, хотя и основывалась на иной концепции.

Дело в том, что с середины 20-х годов, когда советские археологи стали осваивать марксизм, их понимание марксистских положений было на первых порах упрощенным, сугубо прямолинейным и схематичным, выявляя изначальную зашоренность марксизма. Обусловленность надстроек базисом, а базиса – производительными силами (особенно орудиями труда) была понята как жесткое взаим-

нооднозначное соответствие, столь тесное, что оно должно приводить к полному совмещению всех факторов во времени и пространстве (т.е. как только введено орудие нового типа, сразу же происходит перестройка всего общества, всех его сфер). Подобные взгляды держались и просуществовали очень долго – от метода восхождения А.В. Арциховского (1929) до социологической трактовки археологических периодов (Пиотровский 1961). При таком подходе социокультурная система воспринималась как нерасчленимое целое, и это было перенесено на этнос, поскольку в нем видели (под влиянием канонического определения нации) прочный этносоциальный организм.

С усилением теории стадильности, вообще отрицавшей роль конкретных этнических корней и заменявшей их всеобщей смазкой, проблемы этногенеза, несмотря на марровские речения, ушли из советского обихода. Но в связи со сменой идеологических ориентаций советского режима в непосредственно предвоенное, военное и послевоенное время *этногенез*, долго у нас игнорировавшийся, стал основной проблемой советской археологии. Она волновала сначала всех, а потом... Да и потом многих – как патриотически и шовинистически настроенную часть публики, так и противников таких взглядов. К вопросам происхождения народов влекла и простая любознательность, подогреваемая общим вниманием к “корням”, “почве”, “первоосновам”, “предкам”. *Происхождение народов* – грубое первое приближение к пониманию темы – постепенно сдвигалось в сторону трактовки понятия *этногенеза* как *этнической истории*.

Последнее препятствие к признанию “ретроспективного метода” и “этнического истолкования” культурной преемственности исчезло после падения (в 1950 г.) “теории стадильности” и восстановления концепции праязыка.

Уверенность в регулярности корреспонденций между частями социокультурной системы (техникой, одеждой, литературой и т.п.) приводила к убеждению, что в разных видах источников – вещественных, письменных и др. – историческая действительность отражается одинаково (Быковский 1932). Это значит, что в принципе достаточно и одного вида источников для получения информации, способной обеспечить реконструкцию исторического прошлого, в частности этнической истории. Если так, то археология имеет, по крайней мере, то преимущество, что ее источники дают картину, лучше развернутую во времени и в пространстве, и обильнее пополняются. Вот и стала археология главной при решении проблем этногенеза.

Правда, временами вспоминали про “комплексный принцип” – не очень ясную, многозначную декларацию, затверженную еще с 20-х годов (Никольский 1923), но смысл ее (для проблемы реконструкции) видели исключительно в обеспечении взаимной компенсации лакун, а механизм интеграции – в простом сложении сведений. При главенстве археологии и уверенности во взаимном подобии различных видов источников такая интеграция оборачивалась дилетантскими вылазками из археологии в другие науки (лингвистику, топонимику, фольклористику) за недостающими сведениями.

Из-за политической подпитки этнической проблематики в послевоенном Советском Союзе проблемы этногенеза разрабатывались более интенсивно, чем где бы то ни было, и с опережением. На Западе к этим проблемам обратились на несколько десятилетий позже. Уже 6-й том Материалов и Исследований по Археологии СССР, вышедший в 1941 г., назывался “Этногенез восточных славян”. Новоназначенный директор Института истории материальной культуры историк А.Д. Удадьцов в 1944 г. в Академии наук выступил с докладом “Теоретические основы этногенетических исследований”, а прежний директор М.И. Артамонов в 1945 г. прочел доклад “Археологические теории происхождения индоевропейцев”, напечатанный в 1947 г. в Вестнике Ленинградского университета. В 1949 г. он уже опубликовал статью “К вопросу об этногенезе в советской археологии”. В том же году вышла статья этнографа С.А. Токарева “К постановке проблем этногенеза”. В 1951 г. он вместе с Н.Н. Чебоксаровым поместили в “Советской Этнографии” статью “Методология этногенетических исследований на материале этнографии”. Методологическим декларациям соответствовала обширная практика конкретных исследований.

Это время (послевоенные пять лет), когда я был студентом. Это статьи, которые я читал как последнее слово науки, которыми зачитывался и которые сравнивал и старательно продумывал. М.И. Артамонов был руководителем моих курсовых работ. Советские работы по этногенезу продолжали выходить и позже (Рогинский 1969; Окладников 1973; Алексеев 1979; 1986; 1989; Итс 1982 и др.). К ним присоединялись работы ученых из социалистических стран “народной демократии” (Тодоров 1949; Hensel 1975; Sellnow 1977 и др.).

В западной науке работы по конкретным проблемам происхождения индоевропейцев и их отдельных ветвей велись с середины XIX века. Косинна, с конца XIX века поставивший археологию на службу этим задачам и политическим целям германского национализма, дискредитировал саму проблематику. Поэтому как раз в послевоенное время этим долго почти никто не занимался. Первые проблески интереса (возможно, под влиянием Восточной Германии) можно видеть в работах критиков Косинны – Гахмана, Коссака, Крюгера о германцах (например, Krüger 1966). Но развернулись теоретические работы по осмыслению этногенеза с середины 80-х (Studien 1985; Bernhard und Kander-Pålsson 1986; Roosens 1989; Typen der Ethnogenese 1990 и др.).

Хотя изложение истории каждого современного народа обычно начинается с вопроса о его “происхождении” (этногенезе), нельзя сказать, что это ясно сформулированный вопрос. Ныне, когда значительно яснее расплывчатость и, так сказать, виртуальность понятия “этнос”, когда связь между “этническими признаками” оказалась непостоянной и непрочной, происхождение народа перестало быть четкой целью археологов и распалось на ряд взаимосвязанных, но самостоятельных вопросов. Еще неправомернее стало решать вопросы происхождения целых семей народов, скажем, славян, индоевропейцев, тюрков. Они могут не иметь общей культуры, расы, единого корня.

Как только пробуешь его уточнить, сразу же выясняется, что тут нужно установить, *когда, где и из каких компонентов сложился (или из какой среды выделился) этнос, который можно идентифицировать с тем или иным современным этносом или связать с ним прямой преемственностью; когда и как этот последний появился на своей нынешней территории* (Клейн 1969а). Иными словами, вопрос о происхождении народа или более широкой этнической общности (“семь народов”) обретает разумный смысл, лишь если мы сформулируем иначе: какой древний этнос можно идентифицировать с этим современным народом или связать с ним прямой преемственностью, а затем сведем дело к вопросам о том, когда, где, как и из каких компонентов сложился (или из какой среды выделился) этот древний этнос (Клейн 1969).

Со времен Г. Косинны решению этих вопросов приписывалось политическое значение. Предполагалось, что у определенного народа тем больше прав на его нынешнюю территорию, чем раньше его предки на нее вступили, и что его притязания на соседние земли тем основательнее, чем древнее на них следы его предков и чем дольше они там жили. В то время как агрессоры для обоснования своих притязаний ссылались на “историческое право” и подкрепляли это указаниями на археологические следы пребывания и походов своих отдаленных предков, археологи обороняющейся стороны видели свой долг в том, чтобы опровергать эти факты, чтобы доказывать, что таких следов нет и что “вообще ваших предков тут не было”. Для обеих сторон считалось почетной задачей доказать *автохтонность* своего народа. Обе стороны опирались на одно и то же представление об “историческом праве” и работали одинаковыми средствами: старались изучить материальную культуру народа, которая была освещена письменными источниками, чтобы затем отыскать корни этой культуры в определенной археологической культуре предшествующего времени. Это делалось в убеждении, что культурной преемственности всегда соответствовала этническая (и возможно языковая) преемственность, а археологическая культура во всем существенном совпадает с этносом (*ethnische Deutung* – этническое истолкование).

Эта исследовательская традиция подвергалась уничтожающей критике – я проделал обзор и систематизацию этой критики (Klejn 1974), – но традиция оказалась очень живучей.

Нет надобности исследовать этногенез с этой целью и невозможно работать этой методикой.

Почему нет надобности? Потому что за этим стоит неэффективная и порочная аргументация. Нет никакой уверенности, что существовало постоянное автохтонное развитие определенного населения, как нет уверенности и того, что может удасться проследить миграцию как раз из “требуемого” района. В таких случаях факты доказывают вовсе не то, что требуется доказать, но и опровергают не обязательно то, что требуется опровергнуть. Народы распространялись в пре- и раннеисторические эпохи вовсе не так, как это удобно для поддержки подобной

аргументации. А притягивать факты за волосы – даже с искренней верой и добрыми намерениями – не идет на пользу делу: построение может обрушиться, и это будет только на пользу противникам.

К. Маркс указывал на порочность подобной аргументации. Так же он оценивал ее опору на принцип “исторического права”, которое всегда готово служить прихотям почитателей древности (Маркс 1870/1960: 276). Не говоря уже о ненадежности применяемого археологического метода проследить такие “права”, на деле легко увидеть, в какую переменчивую, авантюрную и обоюдоострую игру могут быть втянуты современные народы таким интересом к древности. Ибо у многих современных народов можно найти в прошлом дальние миграции, у некоторых – фазы очень широкого, хотя и временного, распространения, а после таких вспышек – снова территория ужималась и “величие” исчезало, оставляя лишь эпос и археологические следы. Уже Марксу была ясна неизбежность миграций в древности (Маркс 1957: 567), и ему было известно, что некоторые регионы земли были долгое время “генераторами народов” и выбрасывали миграцию за миграцией (Клейн 1974). Какой реальный смысл имело бы в качестве политического идеала современных народов требовать их возврата в районы и границы проживания их далеких и даже не столь далеких предков – венгров за Урал, американцев в Европу и т.д.? Как далеко в прошлое должна быть отодвинута “норма”? Где логическая граница? Кому это нужно? Не народам.

Вопрос о политическом значении археологии нужно вообще решать глубже и осмотрительнее. В советской действительности я вообще затратил немало усилий, чтобы доказать, что К. Маркс и Ф. Энгельс были решительно против зависящего от политической конъюнктуры извлечения фактов из далекого прошлого и видели политическое значение науки о древности в открывании законов истории и корней антропогенеза (Клейн 1968а). Сейчас нет надобности в ссылках на классиков марксизма, но государственная идеология с ее патриотическими интересами продолжает вторгаться в археологию с неменьшей силой, и не только у нас.

Почему невозможно далее исследовать этногенез традиционной методикой? Потому что представления об этносе, на которых она основана, оказались иллюзией и дискредитированы. Согласно современным представлениям об этносе и этническом развитии, чтобы выяснить происхождение народа, нужно ставить по отдельности вопросы о происхождении его людского состава (так сказать, живой силы), его языка и его культуры. Корни и судьба этих его компонентов (и даже частей каждого из них) могут быть различны для каждого. Каждый из этих компонентов не связан исключительно с этническим самосознанием и этнонимом, хотя язык коррелирует с ними чаще других. Гораздо реже коррелирует с ними материальная культура. Как язык, так и материальная культура могут состоять из разных компонентов, происходящих из различных источников.

При этом среди компонентов языка всегда есть важнейший – тот, из которого происходит решающий вклад: грамматическая структура и основной словар-

ный состав. В материальной же культуре соотношение отдельных частей может быть произвольным. Поскольку материальная культура состоит из различных частей, происходящих из разных предшествующих культур, по мощности и характеру отдельных вкладов не определить, с каким из них сопряжена основная языковая преемственность – возможно, с большим, возможно, с меньшим, а может быть, и с таким, величина которого для археологов практически равна нулю; и неясно – с керамикой, кремневой индустрией или способом погребения и т.д.

Представления об археологии, ее возможностях и границах и специфике ее предмета не остались неизменными. Дело не только в том, что материальная культура не проявляет простой, регулярной и однозначной сопряженности с этническим самосознанием, этнонимом и языком. Дело еще и в том, что исследуемая археологическая культура вовсе не идентична материальной культуре прошлого. Ее реконструкция гораздо менее проста, чем это казалось тем, кто уравнивает возможности археолога и историка в решении проблем истории, в том числе проблем этногенеза. Она может лишь поставлять информацию для исторического синтеза (Клейн 1978; 1991а: 190-208).

3. Этногенез: новый подход. С середины 50-х годов и особенно в 60-е годы этнографы и лингвисты отказались от упований на археологию, и даже в среде археологов стало нарастать скептическое отношение к построенным до того концепциям этногенеза и приемам, которыми они были построены (Клейн 1955; 1969а; Третьяков 1962; 1966; Монгайт 1967; Артамонов 1967). Археологам-эмпирикам кажется, что к этой переоценке привело накопление “безобразных фактов”, разрушивших “красивые гипотезы”. На деле к переоценке привел новый взгляд на факты, новый подход (Клейн 1978; Klejn 1982), связанный с общим изменением атмосферы в общественных науках и норм исторического мышления. Он заставил по-новому оценить факты, известные прежде, и увидеть факты, ранее ускользавшие от внимания.

Изменились представления и об этносе, и о характере детерминации социального развития, и об археологических источниках.

1. Из нескольких концепций этноса, развивавшихся в советской этнографии (социопопуляционная, ландшафтно-популяционная, социопсихическая (обзор см. в предшествующей главе и в Klejn 1981), ни одна не постулирует жесткой, регулярной связи между материальной культурой, языком и этническим самосознанием, отраженным в обладании этнонимом. Исследователи все больше склоняются к мысли, что этнос – категория социального сознания, способная отражать разные виды объективных общностей в социальном бытии, в зависимости от исторической ситуации. Следовательно, нет резона ожидать прочных связей между первичными этническими показателями в сфере идей (самосознание, опознавание окружающими, этноним), с одной стороны, и объективными параметрами (язык, вещественная культура, расовые особенности и т.п.) – с другой.

2. Мы знаем теперь также, что производственная и экономическая детерминация не абсолютна, что части социального организма связаны между собой не так жестко, как предполагалось, и что его развитие отнюдь не сводится к простому следованию всех структур на всех уровнях малейшим перипетиям развития орудий. На каждом уровне, у любой крупной части социального организма имеются и собственные законы, есть свое автономное развитие (в рамках, predetermined развитием целого), есть свои пути, этапы и события, никак не затрагивающие то, что происходит в других частях.

Это значит, что пути преемственности и важные рубежи в сфере языка не обязательно те же, что и в сфере материальной культуры или расовых характеристик. Установив определенные связи групп населения по одному из таких параметров (будь то во времени или в пространстве признаков), мы не в праве механически переносить их на другие сферы. Нельзя чисто логически выводить для других параметров связи такой же сравнительной интенсивности, скажем, заключать от материальной культуры или от расы к языку или политическому объединению.

Археологам особенно трудно отрешиться от старого подхода – он не только в работах старшего поколения ученых. Так, в добротном современном исследовании процессов ассимиляции мери славянами мы сталкиваемся с такой оценкой поселка, материальная и духовная культура которого была смешанной:

“Однако этнос основной части населения... остается славянским, что в археологическом материале подтверждается соответствующим удельным весом (авторы хотели сказать: долей. – Л.К.) элементов материальной культуры при сохранении определяющего элемента погребальной обрядности – сооружении курганов” (Леонтьев и Рябинин 1980: 76).

Между тем хотя в данной среде процессы культурной, языковой и этнической ассимиляции действительно протекали параллельно, наша уверенность в этом основана не на теоретических постулатах, а на знании конечных результатов – современного состояния. Но из современного состояния (завершенной во всем ассимиляции) неправомерно делать выводы об одинаковых темпах и путях ассимиляции иных процессов в разных сферах (и, следовательно, неправомерны заключения, подобные процитированному).

При скрещивании народов (этническом смешении) победу языку того или иного народа может обеспечить политическое или торговое преобладание данного народа или большее количество женщин с его стороны, но господство в материальной культуре может оказаться у другого народа, ибо ее дает экономическое превосходство или большее соответствие местной среде. Со своей стороны, в расовом отношении их может затмить третий народ, ибо победу расовому типу может дать общее количественное преобладание или перевес доминантных генов над рецессивными (так, южная или восточная раса обычно забивает северную или западную). В итоге у народа, образовавшегося на основе скрещивания, язык, материальная культура и расовый тип в таком случае окажутся поступившими от разных предков,

может быть, и с разных сторон. Культурная ассимиляция не обязательно связана с крупной инфильтрацией населения, а та и другая не всегда ведут к передаче языка.

Отпадает и “ретроспективный метод”: он предусматривает однолинейное продвижение в глубь веков по руслу культурной преемственности, но так правомерно было бы искать лишь языкового предка, продвигаться по языковой преемственности. Ведь это язык (в своей главной структуре) имеет лишь один корень, культура же – много, а среди них вряд ли можно угадать тот, который сопряжен с главным языковым предком того же народа.

Стало ясно, что претендуя на выдвижение целостных концепций этногенеза, археологи на самом деле реконструировали лишь культуригенез (тема, впрочем, сама по себе небесполезная и могущая способствовать решению проблем этногенеза).

3. Наконец, новый подход к археологическим источникам еще более дискредитировал претензии археологии на “самоуправство” в проблематике этногенеза. Археологи начинают осознавать специфику своих источников – их односторонность, фрагментированность, лакунарность и, главное, их разрыв с современным сознанием. Этот разрыв обуславливает преобразованность информации, получаемой из археологических источников (Клейн 1978: 26–62), к тому же иной чем из письменных, где фигурируют наиболее легко усвояемые сведения о происхождении народов.

Очевидно, даже в самой реконструкции культуригенеза не обойтись простым “составлением прошлого из обломков” (piecing together the past), как это называет Г. Чайлд (Childe 1956), – необходима гораздо более сложная процедура синтеза с привлечением внеисточниковой, внеархеологической информации.

Этногенез же – особая историческая проблема, несводимая ни к глотто-, ни к расо-, ни к культуригенезу. Эта проблема в узкой постановке подлежит ведению этнографии, исторической и социальной психологии и поздней истории, черпающей свои сведения из письменных источников. А в широкой постановке она требует интеграции всех названных и ряда других наук (лингвистики, включая ономастику, археологии, палеоантропологии и др.) и ставит задачу синтеза разных источников. В некоторых вопросах эта широкая постановка возвращает ведущую роль лингвистике, в частности, когда нужно выяснить, из какой среды выделился данный народ, т.е. когда заходит речь о происхождении не одного народа и его языковых родственников, а всей так называемой *семьи народов* (славян, индоевропейцев и т.п.), строго говоря, *языковой семьи*, еще точнее – языковой общности этих народов (Клейн 1969а).

4. **Критика ретроспективного метода.** Археология в решении вопросов этногенеза слепа и может применить свою большую силу лишь с помощью поводыря – лингвистики. Признавая за археологией ведущую роль в исследовании этногенеза, археологи неминуемо должны были ухватиться за *ретро-*

спективный метод исследования: это на данном поприще единственный путь, по которому археология может продвигаться без повода. Но далеко ли она пойдет, не упав?

Ретроспективный метод заключается в поэтапном прослеживании истоков культурных традиций, в выявлении генетических корней археологических культур, так сказать, по цепочке. От культур достоверно славянских, культур раннеисторического славянства, хорошо определимых по письменным источникам, надлежит продвигаться в глубь веков, к тем культурам, которые уже не освещены письменностью, но генетически связаны с теми по археологическим данным, являясь, таким образом, предковыми, исходными, от них – еще на ступень глубже и т.д. Имеется в виду, что вытаскивая из тьмы веков цепочку культурной преемственности, мы тем самым вытаскиваем и цепочку языковой эволюции. Этот метод, мельком намеченный уже Монтелиусом (Montelius 1885/1888) и декларированный в работах Косинны (Kossinna 1896: 8, 13; 1911, 8, 17), был признан главным и даже единственным в работах наших археологов: "...единственный удовлетворительный метод, который может быть применен здесь, – это метод ретроспективный – от известного к неизвестному"..., – отметил Н.Я. Мерперт (1961: 3). "Единственно надежный путь ретроспективного изучения истории славян, суть которого заключается в переходе от известного к неизвестному", – характеризует этот метод М.И. Артамонов (1967: 32), выражая почти общее мнение археологов (см., например, Удальцов 1949; 1953; Ляпушкин 1968: 26).

Наиболее категорично высказался К.-Г. Отто:

"Этническая интерпретация тесно связана с ретроспективным методом исследования. Правомерность для археологии освещать историю народов или племен и племенных групп таким путем ретроспективно – неоспорима. Очевидно, сегодня нет больше никаких серьезных возражений против этого; это значило бы отрицать по отсталости историческое развитие вообще или оспаривать участие археологии в реконструкции древнейшей истории..." (Otto 1953: 2-3).

Но, во-первых, выше уже было отмечено, что преемственность в материальной культуре вовсе не всегда, не обязательно и не однозначно совпадает с преемственностью в языке. Во-вторых, оказалось, что часто корни той или иной археологической культуры расходятся в разные стороны, связывая ее с разными археологическими культурами предшествующей поры; какому из этих корней отдать предпочтение в увязке с генеалогией языка – и вовсе неясно. Таким образом, чуть ли не на каждом этапе пути приходится останавливаться на развилке дорог и гадать, какую из них выбрать для дальнейшего продвижения. Более полувека тому назад я охарактеризовал этот метод исследования как "движение вслепую, наугад" (Клейн 1955: 271 – статья была сдана в редакцию в 1953 г.). Затем с критикой ретроспективного метода выступили также Л. Килиан и А.Л. Монгайт (Kilian 1960; Монгайт 1967: 62, 67-68). За истекшее время это стало еще более очевидным, но приверженность археологов к этому методу почти не убывает.

Иначе говоря, способ исследования этногенеза, казавшийся естественным, – постепенно продвигаться вглубь веков от этапа к этапу и от культуры к культуре (“ретроспективный метод”) – оказался негодным. Мы не знаем, какие археологические культуры соответствовали этносу, и, что важнее, у каждой культуры было много корней. Археология не в состоянии определить, с которым из них сопряжена передача языка, этнического самосознания и этнонима (Клейн 1955: прим. 6; 1969).

Набросанные здесь представления, образующие отправной пункт для нового подхода (Клейн 1955; 1962а; 1968а; 1968б; 1969а; 1969б; ср. Монгайт 1967), очень туго принимаются археологами, но давно уже соответствуют представлениям советских и постсоветских этнографов.

5. Уточнение целей. Естественно, возникает вопрос, зачем тогда вообще нужно выяснять (и нужно ли знать), где и когда чьи предки жили – просто для удовлетворения чьей-то любознательности? Или: Что *нужно* из явлений и процессов этой сферы исследовать? Что *могли бы* археологи исследовать и как?

Знать это необходимо не для обоснования “исторических прав” того или иного народа на землю, в принципе бездоказательных (Klejn 1974b: 19-20, 31-32), а для возможности безошибочно увязать разновременные явления, проследить реальные русла культурно-исторических процессов и “оживить” некоторые древние останки, опираясь на родственные им современные явления. Поэтому выяснение этногенеза – не частная и не конъюктурно-политическая задача, а необходимый аспект исторических и археологических исследований, требующий непредвзятого изучения (Klejn 1977: 13-14).

При современном понимании этноса и законов этнического развития (Бромлей 1973; Klejn 1977: 29), выясняя происхождение народов, надо *по отдельности* ответить на вопросы о происхождении его населения (так сказать, живой силы), его языка и его культуры. Истоки и судьбы их (и даже частей каждого из них) могут быть разными. Ни один из этих компонентов не имеет исключительной сопряженности в судьбах с этническим самосознанием и этнонимом, хотя чаще с последними коррелирует язык, гораздо реже – материальная культура.

Знать, где и когда жили предки определенной группы современного населения прежде всего важно для самих археологов. Ибо только если они это знают, они в состоянии безошибочно соединять разные явления одно с другим, проследить реальные течения культурно-исторического процесса и оживлять некоторые древние остатки, опираясь на близкородственные или современные явления. Иначе было бы легко ошибиться и увидеть прогресс там, где лишь оказываются новопришельцы из развитого центра, которые при этом лишились части своего культурного наследия или, наоборот, возвести культурную революцию к смене населения. Поэтому выявление истинной преемственности не является особой

задачей, зависящей от политической конъюнктуры, а есть необходимый аспект исторических и археологических занятий, требующий непредвзятого исследования (Клейн 1977: 13-14).

Так, целесообразно ли при такой установке обозначать цель исследования как “этногенез” в расхожем общеисторическом значении этого слова? “Этнос” и “этнический” – это многозначные, гибкие, растяжимые понятия, которые не обязательно содержат в себе весь комплекс признаков (Токарев 1964: 53; Чебоксаров 1964). Они опознаются четче всего как раз по таким признакам, которые археологу прямо не доступны: язык, наименование, самосознание и связанные с этим политические традиции, притязания (проблема суверенитета), симпатии и антипатии (проблема солидарности). Но при новой, только что сформулированной целенаправленности исследований для нас особенно важно узнать как раз не это о населении, оставившем нам памятники. К тому же при прежней целенаправленности как раз этносы и были главным объектом реконструкции. А при новой целенаправленности они утрачивают это значение, по крайней мере для ее реализации.

Для этого существенно нечто иное: что и в прошлом имелись устойчивые группы людей, каждая из которых по разным причинам имела одну для всей группы материальную культуру, долго ее удерживала и передавала от поколения к поколению. Тем самым образовывались каналы для передачи культурной информации, и в этих рамках протекало культурно-историческое развитие, осуществлялся культурно-исторический процесс. Вот это важно!

И как раз это мы можем проследить археологическими средствами, по крайней мере ряд отраслей этого процесса. Вопрос о характере живых связей, которые выявляются в определенной открытой нами культурной общности – будь то этнические, политические, религиозные, экономические или другие связи, – конечно, интересен, но всё же это вторичный, производный вопрос. Ответ на него не столь важен для реализации обозначенной задачи. Скорее важны открытие культурных общностей в их преемственности, заполнение лакун и разрывов в ней, а тем самым и происхождение культур, *культурогенез*.

Некоторые авторитетные советские археологи, как мне представляется, уже раньше приблизились к этой смысловой ориентировке, но не решались порвать с прежней установкой. В осознании новых целей и при продумывании вытекающих отсюда следствий они не продвинулись последовательно и решительно. Например, М.И. Артамонов пришел к выводу, что археологи в состоянии проследить только преемственность в материальной культуре, тогда как языковую преемственность, нередко избирающую другие пути, они не могут ухватить. Но так как он не хотел отказаться от термина *этногенез* и связанного с ним прежнего статуса археологических исследований, он просто идентифицировал этнос и культуру и объявил именно материальную культуру важнейшим и определяющим признаком этноса (Артамонов 1971). К такой же (или близкой) позиции пришел П.Н. Третьяков (1970). Оба исследователя, по сути, пришли к понятию, которое принципиально

отлично от современного этноса, хотя и обозначается тем же термином. Эта подмена повела к сбивчивости в изложении, потому что сами Третьяков и Артамонов, проследившая развитие и приближаясь к современности, незаметно от констатации культурной преемственности соскальзывают на мысль о языковой преемственности. Напротив, А.П. Окладников (1973) различает два понятия: “этногенез” и “культурогенез”. В последнее время о культуурогенезе пишет В.С. Бочкарев и повторяет за ним, приводя сводку всех употреблений термина, А.В. Бондарев.

Исследование проблем этногенеза и реконструкция культурно-исторического процесса также отнюдь не просты. Для их пояснения как раз и важно вскрыть механизм передачи культурной информации, причину изменений, характер реальных отношений (включая этнические как одну из возможностей). И здесь исследователи наталкиваются на камни преткновения.

6. Камни преткновения. Это сильно затрудняет исследование ввиду односторонности и неполноты каждого из основных видов источников. Пока этнос представлялся постоянным, жестким сочетанием одних и тех же компонентов, можно было пробелы каждого из видов источников компенсировать сведениями из других видов, предполагая соответствия, параллелизм в смежных видах источников (“смешанная аргументация”, по терминологии археологов Германии Г.-Ю. Эггера и Р. Гахмана, “круговая порука”, по выражению Д.А. Мачинского). На деле эта установка приводила к тому, что один источник превращался в ведущий, основной, а остальные оставались лишь подлаживать к нему.

Теперь эта возможность отпала, потребовалось обеспечить чистоту прослеживания каждого компонента вглубь веков. Значит, нужно независимо исследовать разные виды источников – каждый вид по отдельности – особой наукой: один – лингвистикой, другой – археологией, третий – антропологией и т.д. (“регрессивная пурификация”, по формулировке Р. Гахмана), а уж потом проводить синтез результатов (Eggers 1950; 1959; Nachmann e. al., 1962; Nachmann 1970a).

Археология, на которую еще недавно возлагались главные надежды в разработке этногенеза (ибо она обеспечивает перспективу времени), оказалась в особенно тяжелом положении. Во-первых, все ее понимание прошлого зиждется на принципе *актуализма* (применение современных, неархеологических закономерностей к прошлому), и в ней уже на исходном этапе исследования неизбежно привлечение посторонней, внеархеологической (этнографической, культурно-антропологической и др.) информации: описание находок в терминах культуры, первичная реконструкция сооружений и т.п. (Moberg 1969: 159-166; Клейн 1973а). Во-вторых, культурно-исторический процесс предстает в археологии не связно развернутым в виде континуума, а *разорванным, блочным*, разбитым на дискретные куски (“археологические культуры” – Клейн 1970; 1975), между которыми исторические и генетические связи неизмеримо трудно установить. Это “проклятый вопрос” археологии (Клейн 1975; 1981г). В-третьих, эти связи не только по-

дивариантны (т.е. могут быть восстановлены по-разному из-за неполноты сохранившихся материалов), но и *многолинейны* (каждая культура связана не с одной предшествующей, а со многими – Клейн 1962а; 1968б) и *многозначны* (каждая линия культурной преемственности или родства может по-разному сопрягаться с языковой и биологической преемственностью или родством).

Поэтому естественный, как казалось, способ выявления этногенеза – двигаться обратным путем поэтапно от культуры к культуре вглубь веков (“*ретроспективный метод*”) – оказался непригодным: неизвестно, которые археологические культуры совпадали с этносами, а главное – корней, истоков у каждой культуры много, и археология не в силах установить, с которым из них была сопряжена передача языка, этнического самосознания и этнонима (Клейн 1955; 1969а).

Всё это побуждает критически отнестись к обоим упрощениям – и к популярной у нас до сих пор “смешанной аргументации”, то есть использованию аргументов из разных наук – увязок на разных стыках по разным критериям, и к радикализму ряда западных археологов, абсолютизирующих идею “пурификации”. Археология сама не в силах не только решать проблемы этногенеза, но и понять свои собственные материалы, осмыслить их связи и порядок. Конечно, необходимо предотвращать преждевременное подключение неархеологической информации (аналоги, параллели, современные стереотипы) к разбору каждого археологического контекста в отдельности. Но забота о “чистоте” исследования не должна отрезать доступ неархеологической информации в исходные данные для общего решения проблем (Клейн 1974; Klejn 1974а).

Еще отчетливее эта картина проступает в проблеме происхождения семьи народов, понимаемой как некая этническая общность. Рассмотрим вопрос о происхождении славян в этом плане.

7. Вопрос о происхождении славян.

1. Состояние проблемы. Еще совсем недавно вопрос о происхождении славян был такой же дежурной темой популярных лекций, как вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе. Ныне оба вопроса исчезли из репертуара лекториев. Но один исчез потому, что недалеко уже его простое и окончательное решение (глупо же выдвигать рискованные гипотезы в предвидении близкого полета на Марс), а второй пришлось снять оттого, что гипотезы, которые считались солидными, рушатся на глазах авторов, а решение, казавшееся близким и почти готовым, отодвинулось куда-то в смутную и неопределенную даль (ср. Рыбаков 1962:3; Третьяков 1962; Артамонов 1967: 62, 69).

Однако такого результата и следовало ожидать, потому что из двух названных вопросов этногенетический крайне невыгодно отличается от астрономического самой постановкой: в то время как в астрономическом вопросе все элементы были четко определены (известно, что понимается под жизнью и что такое Марс) и

сугубо ограничена искомая связь между ними, так что оставалось только разработать средства достижения и проверки этого четко ограниченного места, вопрос этногенетический поставлен в самой что ни на есть неясной и расплывчатой форме.

Что значит “происхождение”, “этногенез”? Что имеется в виду под “славянами”, “славянством”? Что, собственно, конкретно нужно выяснить? Ведь от уточнения этих вопросов зависит правильный выбор методов и материалов для решения.

2. *Происхождение.* В разные периоды исследования этой проблемы ученые по-разному конкретизировали основную задачу. В период, когда эту проблему решали в основном на письменных источниках, для занимавшихся ею историков задача состояла в том, чтобы отыскать *предков* славян среди “знатных народов” древности – скифов, иллирийцев и пр. На весь XIX в. главенство в решении этой проблемы перешло к лингвистам, а для них вначале суть дела заключалась в том, чтобы выяснить *причины родства* славянских языков, построить их *родословное древо*, восстановить предковые формы. Во второй половине XIX в., сопоставляя эти предковые формы с географической средой и прослеживая реликтовую топонимику, старались определить древнейшие границы славянской земли (*праща родины*). В первой половине XX в. проблемой почти безраздельно завладели археологи, которые к этой традиционной задаче прибавили *хронологический* интерес: как далеко в глубь времен уходят эти границы? Скажем, для советских археологов в середине века суть дела сводилась к тому, чтобы выяснить, как давно заселили славяне территорию Среднего Поднепровья и *откуда они пришли*.

В широком обиходе у историков “происхождение народа” понимается обычно наподобие происхождения отдельного человека: есть родители (предки), место рождения и первоначального обитания (исконная родина), а также время рождения. Последнее в концепции, формировавшейся под воздействием “яфетического учения” академика Н.Я. Марра о языке, понималось как исторический момент, в который из различных племенных групп внезапно возникло качественно совершенно новое образование, новый этнос, не существовавший прежде, с новым языком.

Но уже тогда В.В. Мавродин выступал против такого ограничения.

“Когда мы ставим вопрос о происхождении славян, – писал он в 1945 г., – мы, собственно говоря, допускаем ошибку, так как подобного рода постановка проблемы недопустима. Славянство в своих *ab ovo* корнях так же древне, как и человечество, и, реставрируя гипотетических предков славян, мы дойдем до неандертальца” (1945: 15). Однако такая идея противоречила концепции стадиальности. В те времена исследователь должен был сделать существенную оговорку, “поэтому на вопрос, когда же складывалось славянство, мы должны прежде всего ответить вопросом: а о какой стадии формирования славянства будет идти речь?” (1945: 15).

Речь шла, конечно, о последней: в предшествующие периоды славянство попросту еще не было славянством с точки зрения марровской стадиальности.

Крах “яфетического учения” повлек за собой отказ от упрощенных представлений о стадийных трансформациях. В.В. Мавродин (1956) снова поставил под сомнение правомерность самих терминов *происхождение славян, этногенез славян*, теперь уже в бескомпромиссной форме:

“Нельзя ограничить разыскания о древнейших судьбах славян каким-то определенным периодом, объявив его временем «происхождения славян», «этногенеза славян», как это имело место в наших исследованиях... Народ, поскольку речь идет не о нации, а о человеческом коллективе, состоящем из отдельных людей, имеющих своих предков, о категориях этнических, вечен и «родиться» не может” (1956: 27).

Таким образом, задача определения родителей была заменена задачей выяснения всей родословной.

“Эту мысль, конечно, нельзя утрировать”, – добавлял В.В. Мавродин, напоминая о времени, когда не было славянских языков. Но для него это не значит, что снимается отказ от ограничения: ведь “переход языка из одного качества в другое происходит крайне медленно и без резких граней, взрывов и перерождений” (1956: прим. 1). Поскольку же проследить всю родословную – задача пока нереальная, границы исследования приобретают условный характер: “...вопрос о «происхождении славян», об «этногенезе славян» должен быть заменен вопросом о том, каким наиболее ранним периодом можно датировать известные нам на данном этапе развития науки о языке древнейшие сведения о славянской речи” (1956: 28).

Если, однако, подходить ко всякому народу, этносу как к исторической категории, то надо бы несколько уточнить формулировки. Народ долговечен, но не вечен. Ряд народов исчез без следа – “погибоша, аки обре”. Несомненно, было и намного позже неандертальцев время, когда славян не существовало не только по имени – когда не было и славянской речи, когда далекие предки славян говорили на языке, которого никто из нынешних славян не понял бы, как не понимает рядовой француз латыни. Даже “Слово о полку Игореве” приходится переводить на современный русский язык. Был ли процесс изменения языка настолько постепенным, что всякое отделение современного состояния от предшествующего окажется сугубо условным? Даже в этом случае, далеко не доказанном, мы вправе были бы отличать предковое состояние от современного и говорить о возникновении нового языка, хотя бы “момент” превращения и был неуловим. Когда ребенок превращается в юношу, а тот – в старика? Нет таких моментов, и все же мы четко отличаем юношу и от ребенка, и от старика.

Если так, то переориентировка исследователя с “родителей” на “родословную” народа лишь увеличивает объем задачи, не изменяя ее характера. Прежняя задача превращается в часть новой: ведь “родители” входят в “родословную”.

И все же, уподобляя происхождение народа происхождению отдельного человека, мы и впрямь непозволительно упрощаем вопрос. А сами выражения *этногенез, происхождение народа* действительно неудачны, если рассматривать их

как нечто большее, чем предварительное и приблизительное заглавие, — как точное определение сути вопроса. Такое уподобление и такие выражения были бы правомерны и в этом плане, если бы процесс этнического развития (этническая история) был бы и в самом деле подобен генеалогии какой-то семьи, т.е. если бы он сводился к простой *сегментации* племен и народностей и их *расселению*, если бы все богатство культуры того или иного народа заключалось бы в том, что он получил по наследству от кровных предков и что сам сумел из этого первоначального ядра развить и усовершенствовать (впрочем, этим дело и у отдельной семьи не всегда ограничивалось).

Но этническое развитие шло не такими простыми прямолинейными путями, а гораздо более сложными. Огромное место в этнической истории занимали общение и *взаимодействие* племен и народностей, процессы *диффузии*, различные *влияния*, *заимствования* и *ассимиляции*. И, что особенно важно отметить, эти процессы в одно и то же время могли протекать по-разному в разных сферах жизни общества: одно дело — в языке, другое — в производстве, третье — в искусстве или религии, четвертое — в быту или политике и т.д. Вполне может оказаться, что основа языка определенного народа происходит от одних племен (причем не обязательно от тех, чей физический тип унаследован главной массой народа), важные части материальной культуры и некоторые языковые формы — от других, иные — от третьих, искусство, религия, политические традиции и прочее — все от разных предков, из разных источников, с разных сторон. Могут, конечно, обнаружиться и совпадения, даже наверняка какие-то совпадения найдутся, но сколько, какие и в чем — это невозможно предопределить. Следовательно, установив происхождение определенной археологической культуры, мы вовсе не решим автоматически вопрос о происхождении языка, на котором (или языков, на которых) говорили носители этой культуры.

Вклад переселенцев с востока в материальную культуру болгарского и венгерского народов составляет примерно одинаковые доли, но в языке болгарского народа от волжских болгар осталось всего три слова (включая самоназвание), а венгры говорят на языке, принесенном с Урала. Римское культурное влияние охватило разные народы с одинаковой силой, везде — от Испании до Подунавья и Поднепровья — сложились схожие провинциально-римские культуры, но в Румынии, Франции и Испании после этого остались романские языки, происходящие от вульгарной латыни, а в Британии сохранился язык местного населения. Французы унаследовали самоназвание у германского племени франков, язык — у римлян, физический тип — у кельтов, а материальную культуру — из разных источников. На Кавказе издавна распространился ряд общих форм материальной культуры, складываясь в культурное единство, но это не сопровождалось распространением одного языка или хотя бы языков одной семьи. Язык осетин — иранский, в материальной культуре преобладают кавказские традиции, антропологический облик кавказский и т.д., и т.п. (см. также Монгайт 1967).

Поэтому, если смотреть с точки зрения специальной методологии или, лучше сказать, исследовательской техники, то *нет вопроса о происхождении конкрет-*

ного народа, а есть группа родственных, связанных между собой вопросов, – это вопросы: о происхождении языка этого народа, о происхождении его материальной культуры (производственной и бытовой), о происхождении его духовной культуры – фольклора, искусства, религии, о происхождении его социальных и политических традиций, наконец, о географическом и расовом происхождении этого народа. Каждый из этих вопросов, несмотря на связь со смежными, имеет свою специфику и может дать иное, чем те, решение. Н.Я. Марр не признавал возможности разных ответов на вопросы о происхождении разных сфер жизни и культуры одного народа. “...могут ли, – риторически спрашивал он (1926/1935: 310), – расходиться изыскания ученых по доисторическим языковым древностям и доисторическим вещественным древностям, если они идут методически правильно?” Могут.

Так обстоит дело с происхождением народа. В еще большей мере это должно относиться к происхождению более обширных общностей, охватывающих целые группы народов. Уже по одной этой причине вопрос о происхождении славян должен был бы распасться на ряд вопросов, в большой мере самостоятельных – о происхождении славянской языковой общности, о происхождении славянской материальной культуры и отдельных ее элементов, о происхождении фольклорного богатства славянских народов, славянского народного искусства, о географическом и физическом происхождении самих славян.

3. *Славяне*. Но как только мы произведем такую разбивку, тотчас возникнут сомнения в правомерности самой постановки этих вопросов. А существует ли в реальности славянский расовый тип? Существуют ли особая общеславянская материальная культура, особое славянское искусство, общность славянского фольклора и т.п.? Иными словами, что такое “славяне”, “славянство”?

Давно известно, что *общеславянского расового типа нет*. Этот факт подтвержден антропологами (Трофимова 1948; Дебец 1948; Дебец и др. 1951; Седов 1952; Алексеева 1956; Бунак 1962; Попов 1959; Постникова 1967 и др.), хотя не нужно быть антропологом, чтобы видеть, что болгары и сербы гораздо более похожи на румын, итальянцев и даже кавказцев, чем на белорусов и северных великорусов, которые в свою очередь более близки литовцам и финнам. Нет и единой материальной культуры славянства, объединяющей все славянские народы и отделяющей их от других народов (Нидерле 1909; Zelenin 1927; Moszyński 1929-1934; Толстов 1930). Нет сейчас и одной для всех славян религии: в России и Болгарии распространялось православие, поляки – католики, в Чехословакии много протестантов и т.д. Славян выделяет из других народов Европы и связывает в одну группу *только (или почти только) языковая общность* (см. Виноградов и Кузнецов 1951; Петрусь 1951).

Это ставилось под сомнение Т. Лером-Сплавинским. Он отстаивал существование “далеко зашедшей общности в культурном развитии между славянскими народами”, которая все еще “играет немалую роль в культурной жизни всех славян”. Чем, однако, доказывается это положение?

“Другие народы, посторонние, совершенно извне отдают себе отчет об этом факте гораздо лучше нас самих: поэтому также встречается у них как в прошлом, так и сейчас трактовка всех славянских народов как какого-то единства, то ли в культурном смысле, то ли в политическом, обозначение их общим названием – славян, Slawen, les Slaves, the Slavs – хоть для народов, говорящих на романских или германских языках, никто не применяет общего названия вне области языкознания” (Lehr-Splawiński 1954: 9).

Но, конечно же, в этой “трактовке”, ничем не подтверждающей культурную общность, отражаются современные политические связи и представления, обоснованием которых служит все то же языковое родство, и в той мере, в какой подобные политические идеи касались других народов, возникали и в отношении тех народов аналогичные “трактовки”: мало ли говорилось совсем недавно о “культуртрегерской миссии германцев”; разве мы не слышим ежедневно об “англосаксонском мире”? Романские народы этой трактовке подвержены меньше ввиду их сильной территориальной расчлененности, затруднявшей выдвижение идей политического объединения (слишком далеки испанцы от румын). Да и сам Т. Лер-Сплавинский, переходя к фактической разработке своего положения, ограничивается все тем же языковым родством славян.

Не будь языкового родства славян, славянской языковой общности, вопрос о происхождении славян вообще не появился бы, его бы просто не было – как нет, скажем, вопроса о происхождении балканцев или о происхождении кавказцев.

Следовательно, вопрос о происхождении славян в основе сводится к вопросу о *происхождении славянской языковой общности*: как получилось, что славянские народы говорят на родственных языках, откуда это родство? Только в такой постановке вопрос имеет реальный, конкретный смысл. Это значит, что *вопрос о происхождении славян* – в основном *вопрос лингвистический* и должен решаться прежде всего средствами языкознания (ср. Арциховский 1946; Попов 1954; Филин 1962: 63-75). В.В. Мавродин в цитированной выше статье (1956: 25) также высказался за такое, понимание вопроса, но мотивировал это ссылкой на то, что язык – основной признак этноса, т.е. на принцип, оспариваемый другими авторами (Захарук 1964: 14-15; Гумилев 1967). Поддерживая здесь эту мысль В.В. Мавродина, я предлагаю иную аргументацию.

4. *Выбор концепции*. В языкознании принципиально (абстрактно) возможны и на деле выдвигались различные ответы на этот вопрос – марристская концепция сплава и трансформации первоначально разнородных и инородных языков есть один из таких ответов. Каждый из таких ответов влечет за собой особую, отличную от других конкретизацию дальнейших шагов исследования.

Однако поскольку на современном уровне развития лингвистики почти безраздельным авторитетом и признанием пользуется теория *празыка*, есть смысл рассмотреть лишь то направление исследований, которое вытекает из этой теории.

С признанием предложенного сужения всей проблемы становится допустимой и даже требуется дальнейшая детализация термина *происхождение*. Что значит определить происхождение славянской языковой общности на базе теории праязыка? Это значит, прежде всего, реконструировать по мере возможности то первоначальное языковое образование (**славянский праязык**), из которого выделились славянские языки, выяснить условия его существования и установить, когда, каким образом и по каким причинам произошло это разделение, что в свою очередь требует изучения роли, помимо праязыка, также и других факторов – языковых субстратов, примесей, влияний и т.п. Строго говоря, достигнув этого, задачу можно считать решенной, а вопрос исчерпанным: мы выяснили, как получилось, что славянские народы говорят на родственных языках.

Но при такой постановке остается за пределами рассмотрения другая сторона дела: как сложились отличия этой семьи языков от прочих (ведь то, что их связывает между собой, одновременно в какой-то части отличает их от других). Поэтому теоретически оправдана и более широкая постановка вопроса, при которой все рассмотренное – это лишь первый этап исследования. Второй заключается в том, чтобы, продвигаясь в глубь веков, *проследить судьбу этого первоначального языкового образования (славянского праязыка) вплоть до момента его появления на свет, т.е. до его выделения из более обширного языкового образования – балтославянского праязыка или даже славянобалтогерманского праязыка* (ср. Lehr-Splawinski 1954: 53). “Родословная” славянства уходит еще дальше, но исследование вопроса “о происхождении славян” на этом во всяком случае кончается, так как далее этот вопрос уже смыкается с вопросом “о происхождении индоевропейцев” и перерастает в него.

На заре собственной письменности и цивилизации (конец I тыс. н.э.) славянские народы обладали весьма схожей материальной культурой, распространение которой хорошо совпадает с указаниями многочисленных письменных источников о границах расселения славян этого времени (Арциховский 1946). Культура славян предшествующей поры (VIII-X вв.), представленная роменско-боршевскими и другими памятниками, уже по ареалу и все еще хорошо освещена письменными источниками, так что ее идентификация со славянами в общем не представляет затруднений (Ляпушкин 1956). Спустившись еще на ступеньку ниже (VI-VIII вв.), мы находим на еще более суженном ареале культуру пражского типа, значительно слабее освещенную письменными источниками (скудные сведения византийцев и готов об антах и склавинах), но весьма полно связанную с роменско-боршевской культурой генетически по всем основным показателям культурного комплекса (Ляпушкин 1961; Артамонов 1967). На следующей ступеньке мы не находим ничего подходящего и не можем пока ступить ни шагу далее (Артамонов 1967; Ляпушкин 1968: 6-8).

Правда, многие культуры предшествующих периодов истории на этих и смежных землях нам известны и археологически даже неплохо изучены, но в которой из культур, непосредственно подстилающих культуру пражского типа, следует

видеть предков славян или хотя бы основной источник возникновения пражского культурного комплекса, сказать невозможно. Неясно также, была ли в то время у славян одна культура, ограниченная сравнительно небольшой территорией, как считают П.С. Кузнецов (1952) и И.И. Ляпушкин (1961: 208), или несколько культур, как полагает П.Н. Третьяков (1962: 15-16).

Еще совсем недавно археологи строили (а некоторые и до сих пор строят) длинную цепь археологических культур, долженствующих продлить славянский этногенез в глубь веков на тех же землях, которые позже были славянскими. Для наших археологов необходимым звеном этой цепи считалась черняховская культура II-V вв. н.э.; она выводилась из зарубинецкой культуры II в. до н.э. – II в. н.э., та в свою очередь – из культуры оседлых племен Геродотовой Скифии и т.д. (у польских археологов цепь шла через пшеворскую культуру к лужицкой и дальше).

Ныне один из главных создателей этой цепочки П.Н. Третьяков уже не считает черняховскую культуру целиком славянской. “Трудно, – пишет он, – найти другую такую группу древностей, которая вызвала бы столько споров и, я бы сказал, принесла столько неприятностей археологам, как эта культура” (1962: 9). (Отмечу, что неприятности приносила не культура, а метод ее включения в славянский этногенез). П.Н. Третьяков, как и многие другие археологи, трактует теперь черняховскую культуру как многоэтничную (1962: 9-10), а М.И. Артамонов (1967: 48-49) добавляет к этому, что ее главными создателями были все-таки готы и другие германские племена и что она была полностью уничтожена гуннами.

У ряда археологов еще остаются надежды сохранить зарубинецкую культуру в качестве опорного звена этой цепи, однако один из них, П.Н. Третьяков, признал, что старая концепция, включавшая зарубинецкую культуру в славянский этногенез, рухнула. “Мы, археологи-слависты, – пишет он, – в свое время тяжело переживали крушение гипотезы о зарубинецко-черняховско-славянских связях, «оказавшись у разбитого корыта»” (1966: 119).

Попытки П.Н. Третьякова и других археологов построить новую цепочку от зарубинецкой культуры к культуре исторических славян – не в Среднем Поднепровье, а севернее – остаются спорными и не имеющими достаточного обоснования в материале (Седов 1967; Артамонов 1967: 52-55; Ляпушкин 1968: 8-9, прим. 22).

Связь зарубинецкой культуры со скифскими памятниками и вовсе слаба (Артамонов 1967: 45). Что же касается популярного соображения о наличии предков славян среди оседлых племен Скифии, то оно опровергается простым указанием Геродота на то, что у всех скифских племен был один язык, а лингвистами установлено, что это был язык иранский (см. Клейн 1955: 263-266).

Таким образом, все три звена сломались.

Причины всех этих неудач с решением проблемы происхождения славян археологическими средствами многие археологи видят в недостаточной разработанности фактуальной базы, в неупорядоченности теоретических понятий и тер-

минологии, в пагубном воздействии предвзятых схем, связанных с “наивно патристическими” эмоциями (Третьяков 1962: 3-4; Артамонов 1967: 30-31, 38, 62-63, 69). Стоит лишь преодолеть эти препятствия – и археология уверенно двинется дальше ретроспективным методом в глубь веков к предкам славян. Между тем рассмотренный опыт исследований как раз показывает, что не годится сам метод, связанный с нечеткой постановкой проблемы происхождения славян, с переоценкой роли археологии в решении этой проблемы и с неправильным пониманием “кооперации” археологии с лингвистикой.

Глава 14. Синтез информации

1. Кооперация наук (к сравнительному источниковедению). Задача синтеза информации из разных видов источников встала перед археологией в XX веке. Прежде всего было заведомо ясно, что разные науки дают разную информацию, разные сведения о прошлом и дополняют друг друга – Лотта Хедегер (Hedeager 1978: 212, fig. 22) удачно показала это на примере торговли: разные науки дали сведения о разных предметах торговли римлян с кельтами и германцами (рис. 74). Но в XX веке археологи осознали, что эти сведения об одном и том же часто не совпадают – разные науки освещают факты прошлого с разных сторон, и надо как-то определить, что же там было на самом деле (Wahle 1941; Eggers 1950; 1959: 262-270; Клейн 1978; 1995: 104-108 и др.). Это была прежде всего проблема увязки сведений *письменных источников* с данными *археологии*, а истолкование археологических находок на основе знания *этнографии* подспудно существовало

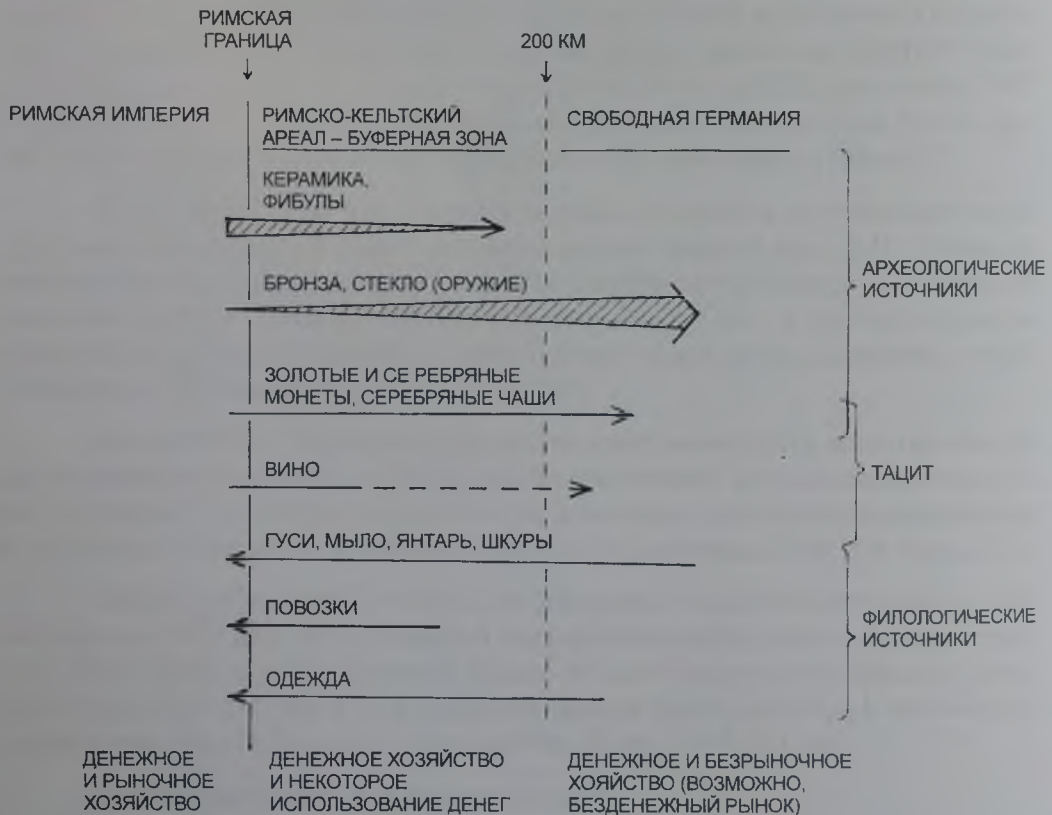


Рис. 74. Статьи торгово-обменных отношений между Римской империей, “буферной зоной” и Свободной Германией по разным видам источников (Hedeager 1978, fig. 22).

с самого начала археологической науки, в XX веке оно было лишь эксплицитно осознано. Эта задача оказалась насущной и для событийной истории и относительно экономической истории или социальной (см., например, схему Х. Штойера (Steuer 1982) – рис. 75).

Но дело не ограничивалось названными тремя науками. В тематике этногенеза еще в конце XIX века также встала проблема увязки выводов *лингвистики* с заключениями археологов. С самого начала встала и задача увязки археологии с *физической антропологией*. Эта кооперация мало касалась социальной истории, но в проблемах этногенеза и антропогенеза выступила уже в конце XIX века, а ныне присоединяет и мощный потенциал *палеогенетики*. В кооперацию также втягивались *фольклористика*, *нумизматика*, изучение *топонимики* и другие науки.

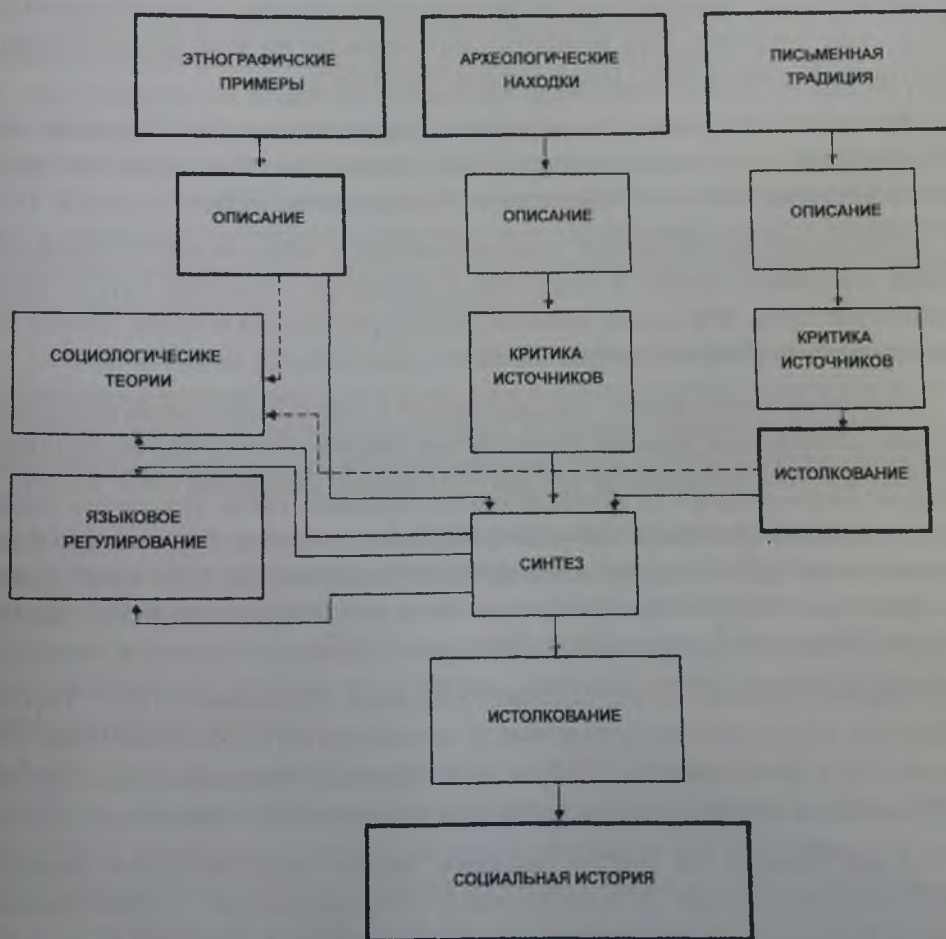


Рис. 75. Схема социально-исторической интерпретации путем кооперации трех наук (Steuer 1982, Abb. 1). Воспроизводится в сокращении (убрана детализация).

В течение первой половины XIX века на археологию возлагались наибольшие надежды, по крайней мере, в решении проблем этногенеза, во второй половине века постепенно это стало осознаваться как переоценка ее возможностей. Впрочем, переоценка роли археологии в этом вопросе означает не только недооценку возможностей лингвистики, но, как это ни парадоксально, также недооценку возможностей самой археологии.

1. Возможности лингвистики. Лингвистика обладает рядом самостоятельных возможностей для решения поставленной задачи (на примере славян):

1) изучение связей между славянскими языками позволяет реконструировать генеалогическое древо этих языков, т.е. характер и последовательность разделения праязыка (Бернштейн 1961; Филин 1962);

2) изучение степени разобщенности славянских языков (размах расхождения) сравнительно с другими даст некоторое представление о длительности раздельного существования, хотя точность глоттохронологии явно преувеличена ее энтузиастами (Кузнецов 1952; Bergsland and Vogt 1962);

3) определение места славянской семьи в индоевропейской системе очерчивает круг ближайших родственников и тем самым в какой-то мере очаг происхождения (Георгиев 1941: 46-47; Korinek 1948; Эндзелин 1952);

4) изучение фонетических, грамматических и лексических особенностей отдельных славянских языков и диалектов в сравнении с языками других систем вскрывает субстраты, тем самым намечая районы расселения и сужая поиски первоначального очага (Lehr-Splawinski 1946);

5) изучение фонетических, грамматических и лексических связей всех славянских языков с отдельными языками других систем намечает этнические вклады (включения) одних в другие или каких-то третьих в те и другие (Мавродин 1956: 40-41);

6) изучение лексических заимствований, их состава и относительной хронологии позволяет наметить древнейшие контакты славянства с соседями и определить характер и очередность этих контактов, и тем самым в какой-то мере пути расселения (Vasmer 1913 и др. работы; Мартынов 1962);

7) анализ состава общеславянского словаря (Будилович 1887; Трубачев 1968) помогает обрисовать материальные, в частности географические (Берг 1948; Меркулова 1965; Budziszewska 1965) и культурные (Moszyński 1957; Трубачев 1959; 1960; 1966) условия существования праславянской народности.

Это уже многое. Но лингвистическим данным явно недостает пространственной, хронологической и вещественной определенности: территориальная локализация расплывчата, хронология лишена абсолютных значений и даже в относительных – приблизительна. А значение слов за тысячи лет могло во многом измениться, и нет уверенности в том, что древний их смысл мы понимаем правильно и что точно представляем обозначаемые ими реалии (ср. Трубачев 1966).

Поэтому привлечение на помощь смежных наук, способных осветить именно эти темные стороны, есть насущная необходимость.

2. *Возможности смежных наук (в том числе археологии).* Большой частью эти вспомогательные исследования способны поддержать только седьмое из перечисленных направлений лингвистических изысканий: *палеогеографические, палеоботанические, палеозоологические, палеоклиматические* разработки должны хронологически прокорректировать устанавливаемые лингвистикой данные об условиях существования – без такой коррекции возможны существенные ошибки. Так, отсутствие в праславянском словаре названия бука побуждало исследователей помещать прародину к востоку от ареала современного распространения бука, но палеоботанические исследования показали, что в древности ареал бука был много уже и край его проходил гораздо западнее (Kostrzewski 1946; Lehr-Splawiński 1954: 57-58).

Топонимика еще недавно мыслилась примыкающей к этому же, седьмому, направлению лингвистических исследований: область чисто славянских гидронимов трактовалась как издревле славянская прародина. Теперь специалисты пришли к выводу, что такая “чистота” говорит лишь о характере смены населения (внезапность и полнота вытеснения), а не о древности заселения (Мартынов 1964: 85-86). Вместе с констатацией ареалов иноязычных местных названий это относится к изучению субстратно-суперстратных отношений, так что соответствующее, шестое, направление собственно лингвистических изысканий оказывается единственным участком стыка с топонимикой.

Антропология (физическая) считалась наукой, способной решить проблемы миграций и преемственности, пока раса отождествлялась с народом и его языком в своих границах. Значительная часть XIX века проходила под этим девизом. Однако критика Косинны поубавила уверенность в этом тождестве, этнография и история поставили много примеров несовпадений. В XX веке мало кто решался сводить поиски прародин и пранародов к поискам очагов происхождения рас или расовых типов. Сейчас палеоантропологические (главным образом палеоостеологические) изыскания помогают при решении вопросов о преемственности между культурами, о конкретных миграциях, устанавливая передвижки населения, но археологи всё больше сознают, что язык мог двигаться иначе, чем культура, распространяться иными путями.

В последние десятилетия XX века *палеогенетика* переняла на себя многие функции физической антропологии в деле антропогенеза и этногенеза. Исследования ДНК в хромосомах Y (передающихся только по мужской линии) и митохондрий (передающихся только по женской) позволило по анализам образцов слюны, взятых у современных особей, устанавливать их генетическое родство с другими людьми. Родство устанавливается по накоплению мутаций, и люди группируются по ним в “гаплогруппы”. По связям этих гаплогрупп удалось установить генеалогические древа огромной глубины – вплоть до первоначального человечества

(установлено, что первоначальное расселение шло из Африки). Хронология этих ветвлений также устанавливается (по подсчетам мутаций), пока шатко и очень приблизительно. Но по ряду причин и гаплогруппы не совпадают с народами, языками и даже с расами. Всё же палеогенетические исследования представляют собой большое подспорье в решении проблем этногенеза, в поисках путей расселения человечества, особенно на ранних стадиях (палеолит, мезолит). Еще больше они обещают по мере накопления данных о ДНК и митохондриях ископаемых людей (эти данные гораздо труднее добывать).

Возможности сотрудничества лингвистики с *археологией* наиболее широки. Несомненно, археология так же как палеогеография, палеобиология и т.п., способна уточнить и конкретизировать выводы по общеславянскому словарному составу, подставить под него реальную общественную и культурную основу. Эта связь с седьмым направлением лингвистических изысканий означает поиск такой археологической культуры или таких культур, которые наиболее соответствовали бы характеристикам, определенным по словарному составу, с таким именно типом хозяйства, общественной структурой, особенностями быта и т.п.

Археология, далее, изучая реальные процессы культурных связей – диффузию, влияния, торговые сношения и т.п., – строит канву для хронологической, пространственной и культурной конкретизации тех контактов, которые устанавливаются шестым направлением лингвистических изысканий. Выявляя археологическими средствами автохтонное развитие, миграции, культурные ассимиляции и скрещивания, мы поддерживаем третье, четвертое и пятое направления лингвистических изысканий и создаем каркас для реконструкции распада и расселения праславянской общности.

Примыкающие к двум первым направлениям лингвистических изысканий попытки ретроспективно проследить этот процесс археологически (двигаясь от культур исторически достоверных славянских народов вглубь веков по культурам), правомочны лишь как частный прием археологических разработок, – прием не только не универсальный, но и весьма несовершенный, недостоверный, рискованный. Это своего рода прикидка, способная приобрести значимость лишь при многообразной проверке и поддержке каждой детали другими приемами. Более надежны и перспективны поиски соответствий тех или иных событий и перемен, устанавливаемых археологически, тем событиям, которые отложились в субстратно-суперстратной стратиграфии языков, в языковых контактах и т.п. В исследовании проблемы происхождения индоевропейцев именно таким путем шел один из первых противников Косинны Отто Шрадер (см. Schrader 1907; 1911). Те этнические идентификации, которые в статике не удаются из-за возможного несовпадения границ этноса и археологической культуры и многозначности объяснений археологией культурной общности, с гораздо большей достоверностью выявляются в динамике, ибо связи и движения не имеют многозначного смысла – либо они существуют, либо нет.

Таким образом, археология способна помочь лингвистике на всех направлениях лингвистических исследований проблемы этногенеза, причем на многих направлениях гораздо более плодотворно, чем на том узком участке, к которому ретроспективный метод исследования культуры приложим.

2. Проблема синтеза в исследованиях по этногенезу.

1. *Задача синтеза.* Когда объяснительные возможности самостоятельного археологического изучения трассовой секвенции исчерпаны, дальнейшее углубление знаний об отраженном в ней культурно-историческом процессе можно добыть путем соединения полученных данных со столь же основательно проработанными данными других наук, полученными из других видов источников. Ввиду того, что все они освещают разные компоненты этногенеза, не коррелированные жестко (т.е. часто не дающие изоморфных соответствий), задача такого *синтеза* – межотраслевого, *интеграционного* – нелегка.

При простом сопоставлении и сложении результаты разных наук – археологии, письменной истории, топонимики, антропологии и др. – то совпадают, то нет: источники часто говорят о разных сторонах единой действительности. Даже одно явление выглядит по-разному в разных ракурсах. Нужно выявить генеральные линии развития, установить, как выглядело то целое, части и стороны которого обрывочно и по-разному отражены в разных группах источников.

Для этого предлагалось или всемерно сужать охват темы, чтобы один исследователь мог дотошно осваивать разные виды источников и чтобы, таким образом, легче было улавливать в разных видах источников взаимосвязанные детали (Nachmann 1970b), или отыскивать явления, которые по своей специфике неизбежно должны были схоже отразиться в разных видах источников (Nachmann 1970b; Клейн 1974б).

Между тем для надежной интеграции нужна, видимо, иная, почти противоположная установка: 1) максимально расширить поле обозрения (ибо тогда станут заметнее *крупные конфигурации*, выражающие структуру целого) и 2) особое внимание уделить *динамике* событий – миграциям, войнам и т.п. (ибо динамические конфигурации обычно более специфичны, чем статические, благодаря столкновениям контрастных форм). Поэтому синтез сопряжен с обобщением и историческим подходом (Klejn 1973). Методически ущербны поспешные попытки непосредственно “увязывать” отдельные изолированные данные из разных видов источников – например, “осмысливать” отдельные археологические находки и памятники с помощью подбора этнографических аналогий, делать “исторические выводы” по каждому раскопанному памятнику, причислять археологию “под историю”.

В синтезе два этапа. Сначала надлежит включить находки в археологические системы – типы, типологические ряды, культуры, секвенции и т.д. (это *пер-*

вичный синтез – археологический), и только после этого приступать к *интеграции, к историческому синтезу*: процессов с процессами, систем с системами.

Эта ступень начинается с переводом информации с языка вещей на язык событий, с языка археологии на язык истории. Здесь прямо задействован археолог. Затем следует открытие первичных взаимосвязей событий, освещение закономерностей процесса и т.д.

Здесь уже историк перенимает эстафету от археолога, даже если это один и тот же человек, выступающий в двух разных ролях. Археология и история не лежат рядом друг с другом, а одна за другой, и выход в конечный синтез принадлежит истории, с приставкой *до-* или без нее.

2. *Отказ от “уравнений”*. Старая методика интеграции опиралась на постоянное, регулярное совмещение (“уравнение”) языков, культур, рас и т.п., то есть разноплановых единиц из разных аспектов социокультурной жизни, на совмещение ячеек, выработанных разными дисциплинами – археологией, этнографией, палеоантропологией, лингвистикой и др. Многие советские археологи приравнивают археологическую культуру к этносу и уверены в совпадении границ этой этноархеологической общности с языковыми. Г. Косинна присоединял к этому еще и расовую общность.

При проверке такие совмещения в одних случаях подтверждаются, в других – нет (Eggers 1959; Монгайт 1967). Это значит, что нет принципиального совпадения. Нет для него и теоретических оснований (Клейн 1970; Klejn 1982: 171-181). Несмотря на многократные попытки, не удастся обнаружить для таких ячеек сужающие спецификации, которые бы позволили все же прочно совместить хотя бы некоторые разновидности ячеек – такие-то виды археологических культур с такими-то видами языковых и других исторических общностей. По-видимому, вообще правомерность или неправомерность такого совмещения зависит не от видов и рангов общностей, не от их формальных характеристик, а от ситуации. Правила же оценки ситуаций в этом плане не разработаны. Да и сама перспектива их разработки предполагает обращение к общему сопоставлению разных видов информации, к широкому охвату сопоставляемых систем, т.е. к междисциплинарному синтезу.

Археологические материалы, этнографические сведения, письменные источники, лингвистическая информация и проч. освещают жизнь и культуру с разных сторон, отражают разные аспекты, а если и одни аспекты, то по-разному. Получается как бы проекция на различно расположенные плоскости – проекции, которые и не должны друг с другом совпадать. Простое их совмещение ничего не дает, кроме недоразумений.

Скажем, карта расселения народов, очерченная древними авторами, была зачастую политической, иной раз архаизирующей и искусственной. В археологических материалах отложилась группировка по типу хозяйства и по особенностям быта. Лингвистическая классификация населения отражает контакты и общность

исторических судеб, антропологическая – генетическое родство. Этнографы фиксируют как этническую чаще всего группу людей, охваченную общим самосознанием, самоназванием, солидарностью и оппозиционной выделенностью из среды; они фиксируют и как-то соотносят с этническими также формирования религиозные, военные и др. Они могли бы выявить подобные отношения и в отдаленном прошлом, если бы могли его наблюдать. Но тогда бы ячейки их классификации не совпали с археологическими, антропологическими и др. А современные не совпадают и поныне, так как не только не совмещены “рамки видеоискателей” различных наук (археология, этнография, лингвистика и проч. фиксируют разные вещи), но вдобавок этносы преобразуются в ходе истории неоднократно и до неузнаваемости. Достаточно сравнить румын с даками, болгар и казанских татар с булгарами, караимов с хазарами, ассирийцев (айсоров) Ленинграда/Петербурга с ассирийцами Ашшурбанипала.

Конечно, совпадения разноплановых ячеек (языков, археологических культур) этносов и т.п. возможны. В таких удачных ситуациях синтез если не сводится к простой кооперации, то начинается с нее, и вся задача сильно облегчается. Но такие случаи редки. А если налицо несовпадение, то как от этого негативного результата перейти к позитивным выводам?

3. Стратегия синтеза. Если уподобить результаты участвующих в синтезе наук проекциям исчезнувшей объемной структуры древнего мира на разные плоскости и в разных ракурсах, то суть междисциплинарного синтеза, его главная задача, заключается в том, чтобы правильно расположить эти проекции относительно друг друга и отыскать связи между их элементами, позволяющие провести в многомерном пространстве линии от одной проекции к другой, необходимые, чтобы мысленно восстановить объемную структуру.

Правильное расположение проекций относительно друг друга состоит в том, чтобы от каждой источниковедческой дисциплины брать то, что она вправе давать для синтеза; скажем, не ожидать от этнографии сведений по относительной хронологии – их должны дать археология, естествознание и частично лингвистика; не ожидать от археологии данных по абсолютной хронологии – она может лишь использовать такие данные, полученные от естественных дисциплин и письменных источников. Не ожидать от фольклора адекватного и связного изложения событий истории, не ожидая от него верной расстановки исторических деятелей, не ожидать сведений о действительном родстве народов – фольклор дает сведения о мифологических системах, духовной жизни, некоторых подробностях быта и т.д.

Чтобы правильно соединить мысленными линиями изоморфные точки разных проекций одной структуры, можно отыскать и опознать ключевые точки на каждой проекции, установить их изоморфность соответствующим точкам других проекций и проследить за параллельностью линий, чтобы не сбиться в соедине-

нии,— связать раннее с ранним, позднее с поздним, рядовое с рядовым и т.д. В реконструкции этногенеза ариев, скажем, такими изоморфными точками будут два факта: многочисленные находки шильев в погребениях степной катакомбной культуры II тыс. до н.э. и арийское происхождение слова *ara* — “шило” в финно-угорских языках (Клейн 1980а: 38; Klejn 1984: 64). Если таких изоморфных точек нет или слишком мало для понимания, нужно построить модель, в которой имелись бы точки, изоморфные порознь точкам проекции; такая модель способна послужить посредствующим звеном для увязки проекций без их гомоморфизации. Так, в нашем примере с этногенезом ариев напрашивается модель степного (арийского) воздействия на лесное (финно-угорское) население.

Для успешного выполнения задачи синтеза желательно соблюдать следующие условия.

1. Синтез перед синтезом. Источники не только односторонни, но и фрагментированы. Это не позволяет свести разные проекции в одну объемную модель системы, пока эти проекции не избавятся от хаотической мозаичности, не приобретут облик структур, сплошных конфигурации. Это значит, что междисциплинарный синтез должен быть подготовлен: ему предшествует внутриотраслевой синтез источников.

Археологи склеивают горшки, объединяют вещи в замкнутые комплексы, группируют материал, получая типы и культуры, связывают их в колонные секвенции (последовательности культур для каждого региона). Палеоантропологи склеивают черепа, реконструируют скелеты, обобщают измерения и получают расы. Этнографы увязывают отдельные наблюдения в целостные представления об обряде или обычае, изучают взаимодействие и роль разных обычаев в функционирующей системе культуры и т.д.

К концу этой работы информация, полученная из источников для каждой отрасли отдельно, связана в крупные конструкции, не имеющие самостоятельного значения, но способные послужить строительными лесами и составными частями (панелями, фермами) для возведения заново — дальнейшим синтезированием — существовавшего и функционировавшего некогда здания или архитектурного ансамбля — культуры в статике и динамике.

Конкретнее, какие крупные конструкции имеются в виду? У археологов это система трассовых секвенций (т.е. генетически связанных культур), заполненных сигналами о событиях и сведениями о функционально определенных и семиотически осмысленных вещах и комплексах, у этнографов — система культурных норм, этнических традиций и стадияльно распределенных пережитков, у палеоантропологов — схема эволюции физического типа человека, дивергенции человечества и общая картина генетических связей и метисации разветвившихся групп. у специалистов по письменным источникам — это распределение сведений по их первоисточникам, а первоисточников — по векам и странам, а также внесение коррекций, обусловленных выявлением тенденциозности авторов.

Итак, постулируется запрет на дурную манеру вводить частные выводы (о составе инвентаря какого-либо могильника или о соотношении обрядов в нем и т.п.) непосредственно в междисциплинарный синтез – подыскивать им сразу этнографические параллели, исторические объяснения и т.п. Прежде всего нужно эти частные данные ввести в систему своей науки (в археологии это системы хронологические, культурно-типологические и др.).

Конечно, такая работа проводится внутри каждой отрасли особо, ее средствами. Западногерманские археологи возвели этот принцип в абсолют, выдвинув требования “регрессивной пурификации” (Eggers 1959; Nachmann, Kossack und Kuhn 1962; Nachmann 1970). В их требовании есть разумное зерно – преодоление навыков “смешанной аргументации”, утверждение адекватности методов специфике материала. Но абсолютизация этого требования нереалистична, по крайней мере для археологии: с самого начала ей приходится обращаться к смежным отраслям за “внеисточниковой информацией” для первичного осмысления своих материалов (Клейн 1974; Klejn 1974). Важно, однако, ограничивать этот поток внешней информации косвенными (применительно к нашей теме – неэтническими) сведениями, чтобы он обеспечивал только общую ориентацию на определенных шагах процедуры.

2. *Сохранение неопределенности.* Если при стыковке результаты разных источниковедческих наук совпали, то проблема, конечно, решается просто. На такой счастливый случай Р. Гахман и его соратники наткнулись, изучая земли “между германцами и кельтами” римского времени. Анализ письменных источников показал, что противоречащее археологической карте сообщение Цезаря о Рейне как о границе между кельтами и германцами отражало не этническую, а военно-политическую ситуацию, и то в субъективном представлении Цезаря, возникшем из скрещения литературной традиции, опроса информаторов и требований момента. Этот анализ выявил некие племена, жившие за кельтами, к северу, но не близкородственные тем, кого римляне называли германцами (называли, видимо, по ошибке – это ведь не их самоназвание). Археология обнаружила на этой территории культуру, не схожую ни с латенской (которую уверенно приписывают кельтам), ни с ясторфской (как полагают, германской). А топонимика засвидетельствовала здесь же ареал местных названий, отличающихся от кельтских и германских. Сложив эти данные, исследователи получили некую третью народность (позже ассимилированную), к которой и отнесли этноним “германцы” в качестве исконного самоназвания (Nachmann et al., 1962).

Когда же Р. Гахман попытался применить ту же методику к миграциям гóтов (Nachmann 1970) – более сложному казусу, в котором несовпадение не удалось снять так легко – простой поправкой одного из трех частных результатов (письменной истории, археологии, топонимики), синтез не получился, машина забуксовала, и исследователь механически и насильственно перенес полученный в одной науке результат на смежные дисциплины, навязав им избранное (и сомнительное!) решение (Клейн 1974).

Главная трудность синтеза именно в том, как поступать в подобных случаях. Если частные результаты запросто складываются, то синтез есть, но нет проблемы синтеза. Если же они не складываются, то есть проблема, но нет синтеза. Надо выяснить, почему их не удастся сложить, несмотря на учет разноаспектности источников. Пусть нет прямых совпадений ячеек, но должны быть соответствия между ними. Если их нет, значит в каком-то результате ошибка, может быть, не одна и не в одном. Как же их обнаружить? В каждой науке начинать с какого-то этапа заново? Но если перед тем ученый работал строго и причина ошибки неясна, то вновь будет получен тот же результат. А если можно было по тем же данным и теми же методами прийти к другому результату, то на каком основании был избран этот и где гарантия, что новый окажется более приемлемым? Надо бы вовремя перебрать всю полноту возможных решений.

Здесь-то и зарыта собака. Как правило, у профессионально подготовленных ученых ошибка при интерпретации сведений источников заключается не в нарушении причинно-следственных связей, не в выборе заведомо невозможного решения, а в неоправданном сужении выбора, в преждевременной фиксации решения. Такова была ошибка Р. Гахмана: избранная им в результате критики письменных источников локализация прародины готов была не единственно возможной – письменные источники допускают и ряд иных трактовок.

Нельзя забывать односторонность каждого вида источников и вытекающую отсюда многозначность фактов. Эта многозначность обуславливает принципиальную неопределенность решений – неопределенность, которая должна выражаться не только в вероятностной оценке, но и в многовариантности решения, в сохранении нескольких “степеней свободы”. Синтез ведь затем и нужен, чтобы всячески компенсировать односторонность информации каждой отдельной дисциплины. Именно в ходе синтеза постепенно, поэтапно уменьшается многозначность фактов, число “степеней свободы”. Но пока синтез не завершен, приходится сохранять неопределенность решений. Даже к последнему этапу синтеза каждая из участвующих в нем дисциплин должна представить не готовое однозначное решение, а весь диапазон решений, допустимых при данном составе фактов. Располагая такими наборами решений, исследователь может выбрать из каждого и соединить те решения, которые оптимально подходят друг другу. Если и к концу синтеза останутся возможными два-три варианта решения, то лучше признать это, чем вводить в заблуждение себя и других. Возможность надежно добиться однозначности кроется не в интуиции и не в исчислении вероятности, а в расширении базы синтеза – в подключении новых видов источников, новых методов, новых фактов.

По палеолингвистической характеристике природной среды, локализация финно-угорской прародины остается спорной: одни лингвисты помещают ее в Предуралье, другие – в Зауралье (Казанцев 1979). Археологические линии пресмственности, как водится, могут поддерживать любую из этих версий (ср. Третьяков 1966: 17-18; Ласло 1972: 7-9; Бадер 1972; Мейнандер 1974, 1982). Однако установ-

лены контакты финно-угорского праязыка с индоиранским и индоарийским (Абаев 1972). В свою очередь ариев (праиндоиранцев), и в частности индоариев, локализовали по-разному – от Средней Азии до Северного Причерноморья; индоарии действительно обитали и тут и там, но в разное время. Контакт их с финно-уграми наиболее реалистично реконструировать в раннем бронзовом веке на территории, примыкающей с севера к местам их раннего обитания в Понтокаспийских степях (Клейн 1980а; Klejn 1984; Клейн 1987). Тем самым подкрепляется предуральская версия локализации прародины финно-угров.

3. *Приведение к "общему знаменателю"*. Необходимо отрешиться от привычки мыслить шаблонными уравнениями, доверять поверхностным совпадениям или различиям (ареалов, количественных распределений и т.п.) и поспешно обобщать значения таких частных совпадений или различий, возводя их в ранг этнических показателей. На множестве примеров Ю. Эггерс (Eggers 1959) показал, как часто за такими совпадениями стоит не этническая общность, родство или преемственность, а только частное сходство позиций в торгово-обменных отношениях или в развитии ремесел. И наоборот, резкие расхождения нередко объясняются не противостоянием разных народов, а всего лишь частным различием в погребальном обряде или в материале данного вида изделий (в степени их сохранности).

Если, однако, с помощью внутренней критики источников конкретизировать и ограничить значение конфигураций (например, ареалов того или иного типа), обнаруженных в материале, т.е. установить строже, уже и скромнее, о чем действительно мы вправе непосредственно заключать, то задача облегчится. Ведь тем самым будут определены точнее места этих конфигураций в реконструируемой системе – станет ясно, о каких свойствах этноса, событиях или идеях этнической истории они говорят; и тогда уже мы сможем задуматься над тем, как эти свойства, события или идеи могли бы отразиться в других видах источников, сможем поискать такие отражения, обратившись к аналогичным конструкциям, предоставленным смежными науками. При таком подходе связь получается не прямой (не непосредственной), а через модель, иногда не с одним посредствующим звеном, а многостепенной.

Скажем, на первый взгляд наличие или отсутствие погребений литейщиков, захороненных с соплами, матрицами и т.п., говорит о степени развитости металлургии (так это и трактовали многие археологи). Но, сопоставив эти комплексы с наличием инструментов в могилах, В.С. Бочкарев показал, что здесь просто проявляются различия в погребальном ритуале – сказывается, было ли принято в данной культуре класть в могилу инструменты (Бочкарев 1979). Можно пойти дальше и предположить различие в представлениях о потустороннем мире: рассматривалось ли пребывание там как продолжение земного существования (с перенесением туда земного статуса и земных занятий), или потустороннее существование представлялось резко отличным от земного. Отсюда возможность установить связи этих археологических культур с религиозными системами древних

народов – системами информации, которые отрывочно донесены до нас другими видами источников.

4. Поиски многосигнальных индикаторов. Очень важно отыскать такой аспект темы, в котором можно было бы ожидать наибольшего сходства между сохранившимися отражениями исчезнувшей структуры на разных плоскостях, т.е. надо выбрать такой фактор древней жизни, который хорошо освещен в разных видах источников и в каждом из них выступает наиболее однозначно и прямолинейно. Такие свойства при подгонке и стыковании разных одноплановых конструкций, представленных источниковедческими дисциплинами на междисциплинарный синтез, позволяют выявить изоморфные места – точки для стыка.

В реконструкции одной этнокультурной общности варварской Европы (древних германцев) Р. Гахман считает таким удобным аспектом (особенно для увязки археологических данных со сведениями письменных источников) сферу культа: о ней есть письменные сообщения античных авторов, и она весьма полно представлена в археологических материалах (группировка по погребальному обряду и т.п.). Кое-что из культовых явлений сохранилось пережиточно в крестьянской культуре средневропейского населения, многое находит аналогии в живом обиходе отсталых народов мира. Поскольку культовые объединения, согласно Р. Гахману, играли большую роль в этнокультурных контактах, то он считает, что в конечном счете это сказывалось и на распределении диалектов (Nachmann 1971).

Возможно, что Р. Гахман преувеличил организующую роль и статичность религии варварской Европы. Проблематично сопоставление религиозных объединений с языковыми общностями. Однако направление поисков перспективно.

В разных ситуациях, вероятно, хорошими многоязычными текстами для увязки в синтезе могут послужить такие аспекты социокультурной жизни, как торгово-обменные отношения, земледелие и скотоводство, гастрономические обычаи, одежда, жилье.

5. Генерализующий подход. Требуется максимально расширить поле обозрения, ибо тогда станут заметнее крупные конфигурации, выражающие структуру целого, и легче будет определить места тех или иных деталей – точек на проекции. Собственно, это то же самое, чего археологи добиваются в поле, предпринимая раскопки широкой площадью, делая разрезы и зачерчивая их целиком или крупными участками.

Можно ли уверенно определить местоположение скифов-пахарей, не накладывая на карту весь скифский квадрат Геродота? (см. Артамонов 1949; Клейн 1961; Рыбаков 1979; Яйленко 1983). Можно ли выяснять происхождение армян, не исследуя сегментацию и расселение индоевропейских народов, вне истории всего Причерноморья – от Закавказья до Балкан. Можно ли археологически и этнически идентифицировать венедов Птолемея, не разместив на карте всех их соседей и не

проследив их локализацию на картах более ранних и более поздних авторов? Так же обстоит дело и с готами. Одних готов, да еще только центральноевропейских, совместить с определенными археологическими культурами чрезвычайно трудно. Но если взять сразу все готские этнические формирования и одновременно иметь в виду локализацию и идентификацию гепидов, бастарнов, герулов, вандалов, маркоманов, лугиев, антов и др., сопоставлять же их не с одной избранной культурой, а с археологической картой всей Европы, то задача окажется гораздо доступнее, и готскую группу можно будет наметить (Щукин 1977; Wołagiewicz 1986)

6. Рассмотрение в динамике. Динамические конфигурации вообще более специфичны, чем статические, и легче опознаются, видимо, из-за того, что изменчивость во времени более интенсивна и энергична, чем в пространстве (изменения чаще и резче). Кроме того, в развороте времени легче проследить проявления одной и той же идеи, связать воедино разные ее объективации, соединить параллельными траекториями их изоморфные точки. А это позволяет восполнить пробелы: на их места можно интерполировать недостающие части из параллельных траекторий. Естественно, конструкции, подводимые к итоговому синтезу каждой отдельной дисциплиной, сильно выигрывают в полноте и легче стыкуются.

Используя этот принцип и прослеживая, с одной стороны, судьбу венедов и антов по устной традиции разных веков, зафиксированной в письменных источниках (зачастую более поздних), а с другой стороны, динамику археологических культур того же времени, Д.А. Мачинский (1976; Мачинский и Тиханова 1976), на мой взгляд, получает более убедительные общие соответствия и лучшую основу для этнических идентификаций ранних славян, чем удается другим исследователям.

7. Сосредоточение на катаклизмах. Здесь имеется в виду стремление ухватить резкие сдвиги и трансформации, активную деятельность. Есть смысл уделить особое внимание именно такой мобильности субъектов истории и преистории, таким событиям — миграциям, войнам, дальним торговым предприятиям и т.п. Ведь ситуации коллизий, конфликтов обычно более специфичны, чем спокойное развитие. Их легче опознать благодаря тому, что они приводят к столкновениям первоначально не связанных, чуждых друг другу, контрастных форм.

Так, проследив одновременное продвижение многих компонентов материальной культуры (типов жилищ, керамики, гребней, фибул и т.п.) из Северной Европы в Поднепровье как раз в момент, к которому письменные источники приурочивают приход туда гóтов (II в. н.э.), М.Б. Щукин (Щукин 1977 и др.) весьма серьезно обосновал гипотезу о ведущей роли гóтов в сложении Черняховской культуры.

Таковы основы стратегии синтеза, знаменующей собой новый подход к исследованию этногенеза. Этот подход отвергает руководящую роль одной одноаспектной науки и заменяет его всесторонней и сбалансированной междисциплинарной интеграцией. На смену простым “уравнениям” и совмещениям ячеек он выдвигает сложную и многостепенную увязку широкоохватных структур. Конеч-

но, такая смена подхода делает исследования по этногенезу более трудными для эмпириков, вовсе недоступными для дилетантов и совершенно непривлекательными для энтузиастов априорных идей о том, откуда “должны” происходить те или иные народы. Что ж, это обычная и не слишком высокая плата за приближение к истине и становление науки.

4. Этногенез и модель генеалогического древа (проблема кооперации археологии с лингвистикой).

1. Археология: иллюзия и реальность. У лингвистов есть одна иллюзия относительно археологии, которую многие археологи разделяют. Построив красивое генеалогическое древо происхождения языков (от праязыка к дочерним и “виучатым”), лингвисты ожидают найти этому древу точное соответствие в археологии – в генеалогическом древе происхождения археологических культур – с тем, чтобы наложив одно на другое, получить для своего древа недостающие ему координаты места и времени. Если современная археология не может предоставить лингвистике такое древо, то это рассматривается как досадная, но временная задержка, обусловленная недоразвитостью археологии – нехваткой собранных материалов или несовершенством методов, недостатком старания или злой волей (приверженностью априорным концепциям в угоду национальным амбициям разного рода). Предполагается, что с дальнейшим накоплением материалов и с их более совершенной обработкой, с повышением объективности такое древо археологи обязательно построят. Что это произойдет вот-вот.

И археологи стараются оправдать эти надежды. Но у них получаются десятки взаимоисключающих вариантов древа (гипотез о происхождении индоевропейцев уйма), и нет объективных критериев установить один вариант, отвечающий реальности. Эта ситуация не имеет перспектив положительного решения. Напротив, *единого древа культур, построенного на независимых основаниях и соответствующего древу языков, нет и не будет построено никогда. Это принципиально невозможно.* Этногенез и культурогенез не совпадают.

Дело в том, что язык наследуется в основном как целое и изменяется только сугубо постепенно, иначе он не может функционировать. Во всех ситуациях взаимодействия и смешивания языков один остается основой, а другой дает примеси, более значительные в фонетике, менее – в лексике (слабо затрагивая основной фонд), еще меньше – в морфологии. Культура же может передаваться частями, может собираться из компонентов разного происхождения, взятых из разных источников, – в любых сочетаниях и пропорциях, может изменяться быстро и радикально (рис. 76). Через каждые несколько сотен лет она претерпевает внезапные и коренные преобразования. На каждом этапе образуются, по сути, новые культуры, у каждой – не один корень, а несколько; они расходятся в разные стороны, и выбрать “главный” невозможно, потому что ни количественные, ни качественные критерии – что ни взять за основу: керамику, способы погребения, устройство жи-

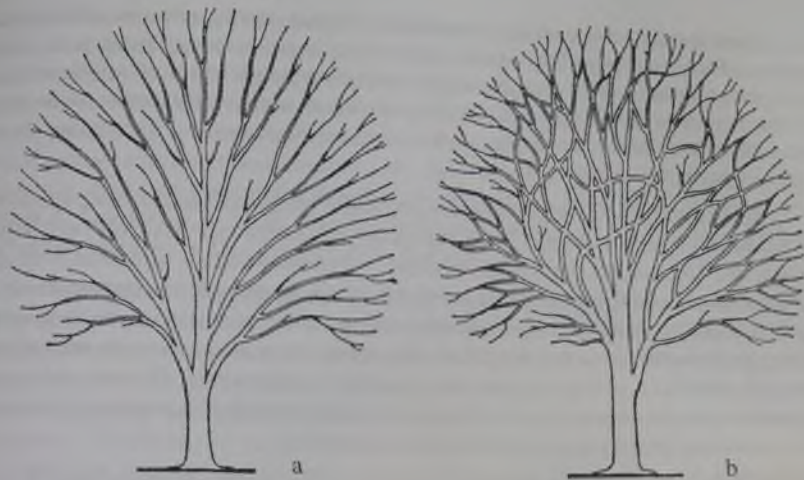


Рис. 76. Древо органической филогении (а) и культурная филогения (b) по А. Крёберу (Kroeber 1948) Язык следует первому типу филогении, археологическая культура – второму.

лица и т.д. – не способны определить, с каким из вкладов сопряжена языковая преемственность. В каждом случае это происходит по-своему.

Поэтому нити культурной преемственности образуют не древо, а сеть, из которой свои древесы археологи нарезают по произволу, в основном – чтобы угодить лингвистам. У лингвистов не бывает споров о происхождении любого индоевропейского языка, если он достаточно полно представлен. Нет споров, принадлежит ли польский язык к иранской ветви или к славянской, или к германской. Споры же о происхождении культур представляют не исключение, а правило. Существует по несколько гипотез о происхождении каждой археологической культуры. Большой частью все они верны, выбрать “самую верную” невозможно. На деле археологи, двигаясь ретроспективно по линиям культурной преемственности и стремясь нащупать соответствие языковой преемственности, вынуждены через каждые несколько шагов останавливаться на развилке и гадать, какую из нескольких дорог избирать (Клейн 1955: 271; 1969а: 30).

Для выбора они могут использовать только внеархеологические критерии, потому что внутри археологии таких критериев нет. Лишь в исключительных случаях, при особо благоприятных обстоятельствах (длительная изоляция или резкое и целокомплексное переселение и т.п.) археологи могут собственными силами, по своим данным сделать надежное суждение о преемственности. Обычно же, осознанно или неосознанно, за нитью Ариадны они обращаются к лингвистике.

Есть и еще одна иллюзия, связанная с археологией, которую лингвистам следовало бы учитывать. Лингвисты знают, что у них в лингвистике есть лишь очень слабая возможность упорядочивать материал по абсолютной хронологии – это глоттохронология Суодеша. А вот археология, полагают лингвисты, располагает истинной возможностью строить абсолютную хронологию и предлагает лингвистике надежную опору в этом.

На самом же деле в археологии нет вовсе опор для абсолютной хронологии. Археология имеет внутри себя только возможности строить относительную хронологию. Построить нечто аналогичное глоттохронологии Суодеша в археологии невозможно. Ведь если язык имеет стабильную грамматическую систему и даже в лексике не может изменяться ни слишком быстро, ни слишком медленно, то культура не является системой и способна изменяться любыми темпами, менять темпы и изменяться разными темпами в разных своих частях. Поэтому все свои абсолютные опоры археология берет извне – в письменных источниках, палеонтологии, геологии, радиохимии, дендрохронологии и т.д.

Другое дело, что она поднатрела в этом изыскании внешних опор, в упорядочении своих относительных дат и сведения их в сложные системы, а затем в надевании этих систем на внешние опоры абсолютной хронологии. Но это не ее собственные опоры, и она меняет свою хронологию, когда изменятся эти внешние опоры. Такими случаями и являются две радиоуглеродные революции – первая произошла в 1950-е годы, когда радиоуглеродный метод углубил многие датировки на сотни лет, а вторая в конце 1960-х – начале 1970-х, когда были выстроены колонки дендрохронологии протяженностью в десять тысяч лет, и радиоуглеродные даты стали выверены (калиброваны) по дендрохронологии. Это углубило даты еще больше, для энеолита – на добрую тысячу лет. И вот уже четвертое десятилетие археологи строят хронологию в этом новом ключе.

2. Лингвистика: преодоление иллюзий. Подобно тому, как лингвисты уповают на археологию, и археологи в свою очередь питают наивные надежды, что у лингвистов всё в порядке. Что генеалогическое древо индоевропейских языков, пройдя столетнюю обработку, приняло оптимальную форму и другим вырасти не могло. А это тоже иллюзия. Остаются разногласия и в вопросе о количестве ветвей, и об их взаимном расположении (какое выше на стволе, какое ниже), и о тех соках, которые по ним переданы листьям, и о прививках – где и от чего они сделаны. Похоже, что и это не случайные и легко устранимые разногласия, а разногласия неизбежные, коренящиеся в противоречии между живой изменчивостью языкового материала и ригидностью модели генеалогического древа.

Генеалогическое древо в идеале предполагает классификацию языков, соответствующую аристотелевым принципам непротиворечивого членения объема понятий: всё раскладывается по ящичкам по единому критерию, без остатка, без взаимоналожения. Схема более или менее соответствует результатам биологической эволюции. На деле же в языковом материале мы имеем скорее не классифи-

кацию, а типологию в Гётевском смысле: материал роится в многомерном поле признаков, выделяются кластеры, а разграничить их можно по-разному, в зависимости от избранных критериев. Это следствие сложности и переплетенности истории человеческих коллективов – этносов. В природе виды не скрещиваются, не обмениваются признаками. Иное дело человеческие коллективы, их языки. Да, языки взаимодействуют как системы, но когда сталкиваются близко родственные диалекты, системы становятся открытыми. История же индоевропейцев, как показали К. Бругман и А. Мейе, была на большом протяжении историей взаимодействующих диалектов. Отсюда путаница изоглосс.

Открывшая эту путаницу ареальная школа лингвистики занялась изучением отдельных явлений, за которыми для нее исчезли вообще языки и семьи. Предпринимались и попытки сменить модель генезиса языковых семей: теория географического варьирования Г. Шухардта, теория волн И. Шмидта, пирамида Н.Я. Марра, лингвистический союз Пражской школы, языковая непрерывность Бубриха – Толстова. За исключением последней они не удержались в науке. В большинстве лингвисты остаются приверженными традиционной концепции и продолжают считать, что модель праязыка, из которого произрастает генеалогическое древо, сохраняет свою значимость и свой облик, хоть и с поправками на размытость границ и изначальную расчлененность праязыка на диалекты. Это в теории.

На практике же, восстанавливая раннюю историю индоевропейского массива на уровне диалектов и близкородственных языков, лингвисты последних десятилетий придерживаются совершенно иной модели. В их исследованиях мы обнаруживаем диалекты меняющими свои связи. То они образуют одни общности, то, перегруппировавшись, другие, а в языковом материале от этих группировок оседают изоглоссы: медиопассив на *-r* против медиопассива на *-oi/moi*, относительное местоимение *k^ois* против *ios* и т.д. Таковы работы В. Георгиева, В.В. Мартынова, О.Н. Трубачева.

Вместо динамики генеалогического древа в этих исследованиях предстает нечто, что можно было бы назвать моделью *контрданса*: все взаимодействуют в медленном танце, образуют пары, тройки и четверки, а через каждые несколько па, почти не сходя с места, кавалеры меняют дам. Но бывает, что те перебегают вовсе в другие построения.

Это неплохо отвечает тому, что находит в своих материалах археология. В ней всё реже настаивают на принципиальном совпадении культуры и этноса (как это было у Брюсова 1956) и всё чаще говорят о многозначности понятия “археологическая культура”. Говорят о возможности по-разному истолковывать археологические культуры (этнос, политическое объединение, религиозная общность и т.п.), о полиэтничных культурах (подразумеваются многоязычные), о перегруппировках населения по-новому в новых культурах (Кнабе 1959; Монгайт 1967; Клейн 1991а: 145-153).

Конечно, культура отражает некую общность населения на определенном этапе, но сколь прочную – судить трудно. Конечно, от этой общности наверняка остался отпечаток в языке – некий пучок изоглосс, но сложился ли в этих рамках единый особый диалект или язык, сказать трудно.

Таким образом, в модели контрданса археологической культуре в принципе соответствует не диалект или язык, а пучок изоглосс. Я не говорю здесь вместе с В. Пизани, что “реальны для нас только изоглоссы” (Pisani 1947: 62). Несомненно, существовали языки и языковые семьи. Но археологической культуре соответствует не такой язык из конкретной языковой семьи, не срез одной из ветвей генеалогического древа, а, так сказать, связка нитей, которые в дальнейшей истории могут быть перевязаны иначе, в ином сочетании, в иные связки.

Задача лингвистов – определить относительную хронологию подобных связок (через диахронию звуковых законов, тенденции грамматического развития и т.п.). Задача археологов – уточнить территорию и абсолютную хронологию образования этих пучков изоглосс, с учетом того, что последующие миграции, может быть, изменили среду, в которой эти пучки изоглосс отпечатались.

Для применения модели генеалогического древа остаются лишь поздние этапы глоттогенеза, когда взаимодействовали уже не диалекты, а родственные языки. Но и здесь требуются существенные оговорки.

3. *Миграции*. Миграции не только изменяют последующую среду, не только расширяют (или сужают) поле событий. Они могут внести резкие перемены в саму расстановку участников, перетасовать их и развести соседей на дальние края и, наоборот, сомкнуть диалекты, прежде весьма удаленные друг от друга.

Реконструкция миграций археологией – дело очень трудное, но благодарное. Трудное оно потому, что критерии археологического распознавания миграций шатки, археологические маркеры (признаки, следы) миграций неустойчивы, диверсифицированы по видам миграций. Но в учете этого обстоятельства кроется и возможность объективного распознавания и реконструкции миграций (Клейн 1973а, 1999).

Польза же от выявления миграций очень велика.

Во-первых, выявленные миграции дают возможность проследить истинное развитие общества – образно говоря, читать историю не склеенную из разных книжек. Ведь развитие шло не в рамках определенной местности, а в рамках определенного человеческого общества – там, где это общество проживало. Если оно передвинулось, то передвинулось и развитие. Слепо прослеживая развитие в одной местности, мы незаметно для себя переключаемся с одного развития на другое. Правда, обычно при смене населения всегда какая-то часть прежнего остается, но всё же это будет другое развитие, имеющее под собой другую логику.

Для избежания этого сбоя я ввел в археологию концепцию *секвенций* (Клейн 1973а). Секвенцией я назвал последовательность культур. Суть концепции

в различении двух видов секвенций – колонные я отличаю от трассовых. Под *колонными* я имею в виду ряды культур, последовательно сменяющих друг друга в одной местности. В этом виде перед нами предстает материал, и появляется искушение истолковать его как последовательное развитие одного населения, хотя это не всегда так.

Под *трассовой секвенцией* я понимаю развернутую во времени цепь культур одного конкретного общества вне зависимости от территории, занимаемого им на разных этапах его существования. Эти культуры связаны преемственностью, хотя и не всегда на одной и той же территории. Развитие нужно проследить в трассовой секвенции, а не в колонной. Эта аксиома очень туго прививается в археологии, хотя всё же прививается (Щукин 1979; Манзура 2002: 245). А для выявления трассовых секвенций нужно распознавать миграции.

Во-вторых, в статичном существовании этносы нередко трудно различимы для археолога в силу диффузности границ и возможностей распространения культуры на соседей. Именно дальние миграции позволяют археологам лучше распознать такие этносы. В дальних миграциях сталкиваются заведомо чуждые друг другу этносы, различие их становится недвусмысленным (Клейн 1988).

Иное дело, что связь мигрировавшего этноса с исходной территорией и культурой не столь легка, как это представлялось еще недавно. Постепенно археологи стали избавляться от иллюзии, что с этносом передвигается вся его старая культура в неизменном виде. А с этим убеждением были связаны сверхстрогие критерии выявления миграций – непременно нужно было найти и показать точное и полное подобие культуре пришельцев на их старом месте, а таких подобий обычно и не находится. Народ редко уходит в миграцию в полном виде и со всей культурой, чаще это, скажем, только молодые воины-мужчины или (при контактах соседних народов) только женщины, поступающие в замужество. А миграция – это такая встряска, что культура сильно и быстро изменяется в ходе миграции.

4. *Генеалогическое древо и дельта реки.* Существенным изъяном модели генеалогического древа являлось то, что в эту модель вложена неосознанная идея равномерного расширения индоевропейской территории лучеобразными непересекающимися миграциями – как растекается пролитая сметана. Еще Косинна в 1911 году рисовал 14 походов индогерманцев в неолите, несущих индогерманскую культуру и язык во все концы Европы, и ему подражал Брюсов (1957), только исходный очаг он перемещал из Германии в нашу степь. А до него это проделывали Эрнст Вале, Чайлд и одновременно с ним – Гимбутас. Этот центробежный миграционизм не очень далеко уходил от автохтонизма, какими бы дальними ни казались постулируемые им миграции. Во-первых, ядро оставалось несдвигаемым с места (Косинну в Германии звали автохтонистом, а не миграционистом), а во-вторых движение виделось очень правильным – это была не переброска, это было расширение ареала. Уже Мейе говорил: “группировка языков, наиболее близких друг к другу, свидетельствует об их первоначальном расположении: произошло распространение этих

языков, а не их перемещение” (1938: 420). Такая картина вязалась с господствовавшими в археологии представлениями о нереальности дальних разовых миграций, о достоверности лишь медленного, “ползучего” распространения (доведенного до идеала в Ammerman and Cavalli-Sforza 1979; ср. Neustupny 1982).

Эта приверженность оставлена многими российскими археологами еще два-три десятилетия назад (Клейн 1968б; 1971; 1973; Мерперт 1978 и др.), а сейчас страх перед дальними миграциями начал изживаться и в зарубежной археологии (Anthony 1990; Härke 1998). Становится понятно, что индоевропейцы всегда были очень подвижным населением, что на деле были у них и неожиданные переброски с одного конца индоевропейского ареала на другой, противоположный. Достаточно лишь напомнить о тохарах, галатах, готах и вандалах. Идея дольменов принесена на Северный Кавказ с дальнего запада (с Пиренейского полуострова и из Центральной Европы), как и в Иорданию и, может быть, в Болгарию.

Что существенного эта неучитываемая возможность вносит в истолкование лингвистических фактов?

Во-первых, при определении заимствований обычно дальние совпадения исключаются как заведомо нереальные – они относятся к разряду случайных. Это неправильно. Никакие контакты нельзя исключать, всё возможно.

Во-вторых, продумывая распространенность некоторых локальных явлений, лингвисты, естественно, рассматривают как взаимосвязанные образования лишь те, что расположены на смежных территориях. Но те народы, которые сейчас разобщены, могли быть соседями в прошлом. Скажем, передвижение согласных, объединяющее германские языки с фракийским, фригийским и армянским, предполагает, что все их предковые диалекты находились в центре Европы. Включая армян и тохаров.

В-третьих, как осуществляется реконструкция праиндоевропейского словаря? Формируя ее принципы, Мейе понимал, что сохранность одной лексемы во всех группах индоевропейских языков – редкость, “поэтому, – писал он, – приходится под ИЕ словами понимать слова, общие нескольким ИЕ диалектам при условии, чтобы они представляли все фонетические и морфологические изменения, характеризующие те диалекты, к которым принадлежат, и чтобы исторические свидетельства не указывали на позднейшее их появление” (Мейе 1938: 382). Но эти условия не всегда удается гарантировать. Поэтому на практике в определении древности лексем и вообще редких явлений дальний их разброс считается свидетельством восхождения к общему фонду. Достаточно всего нескольким из индоевропейских языков, но разбросанным на противоположные концы индоевропейского ареала, иметь схожие формы, чтобы эти формы были объявлены восходящими к индоевропейскому праязыку. А ведь эта территориальная удаленность схожих форм друг от друга может быть результатом позднейших миграций, перенесших эти формы из положения изоляции народов в положение контакта. То есть эти формы могут быть локальными.

А отсюда могут быть очень важные коррективы в картине индоевропейского глоттогенеза: то, что обычно относят к общиндоевропейскому фонду и что в глазах лингвистов характеризует праиндоевропейскую культуру и среду, на деле может относиться к более позднему времени. Быть результатом дальних странствий, так сказать, перелетов с одного конца Европы на другой.

К этому добавляется то, что такое же проецирование поздних явлений на праиндоевропейское время происходит и в истории культуры, но там проецируются обычно те явления, которые являются общими для всех индоевропейцев в более позднее время. Так, праиндоевропейцам приписываются кремация как основной способ погребения и боевые колесницы. Между тем оба явления возникли слишком поздно, чтобы быть праиндоевропейскими. Они возникли тогда, когда уже существовали отдельные индоевропейские языки.

Поэтому было бы лучше представлять происхождение индоевропейских языков даже на поздних этапах не в виде древа, а в виде *дельты реки*, рукава которой делятся и сливаются по-новому (рис. 77). Наглядный образ набросан в моем популярном очерке об индоевропейцах (Клейн 1984 – но конкретизация путей развития там произвольна). И то образа дельты недостаточно – надо еще представлять, что эти рукава могут перебрасываться с одного края дельты на другой по туннелям или акведукам. А если уж представлять древо, то с очень переплетенными и сращивающимися ветвями – таких в природе не бывает.

5. *Метод совмещения и ретроспективный метод*. Таковы трудности, возникающие при попытках согласовать данные археологии и лингвистики на базе модели генсалогиического древа. Поэтому остаются две возможности реконструкции, из которых одна – рискованная: сразу перенестись к истокам и идентифицировать среду и время обитания индоевропейцев, исходя из их словаря и глоттохронологии. Е.Е. Кузьмина называет это “методом совмещения” (1994: 265). Это прыжок сразу к пранароду, праязыку и прародине. Рискованность этого прыжка состоит в том, что глоттохронология не гарантирует точности своих определений; названия же растений и животных переходили с одного на другое и табуировались; культурная лексика заимствовалась, и заимствования не всегда удается отличить от собственного фонда; наконец, в одной среде существовало по несколько совершенно различных культур. Очень трудно реконструировать чистый праязык, да в таком четком виде он и не существовал. Трудно определить его территорию и ареал, потому что с тех пор изменились географические характеристики (климат, природа, иногда и очертания рек и морей), менялись и значения слов. Еще труднее ассоциировать этот язык (и народ) по таким зыбким признакам с определенной археологической культурой, потому что нет уверенности в этническом характере наличных культур, а часто их несколько в этом районе.

Вторая же возможность – ретроспективно продвинуться от каждого исторически засвидетельствованного индоевропейского народа, насколько позволяют

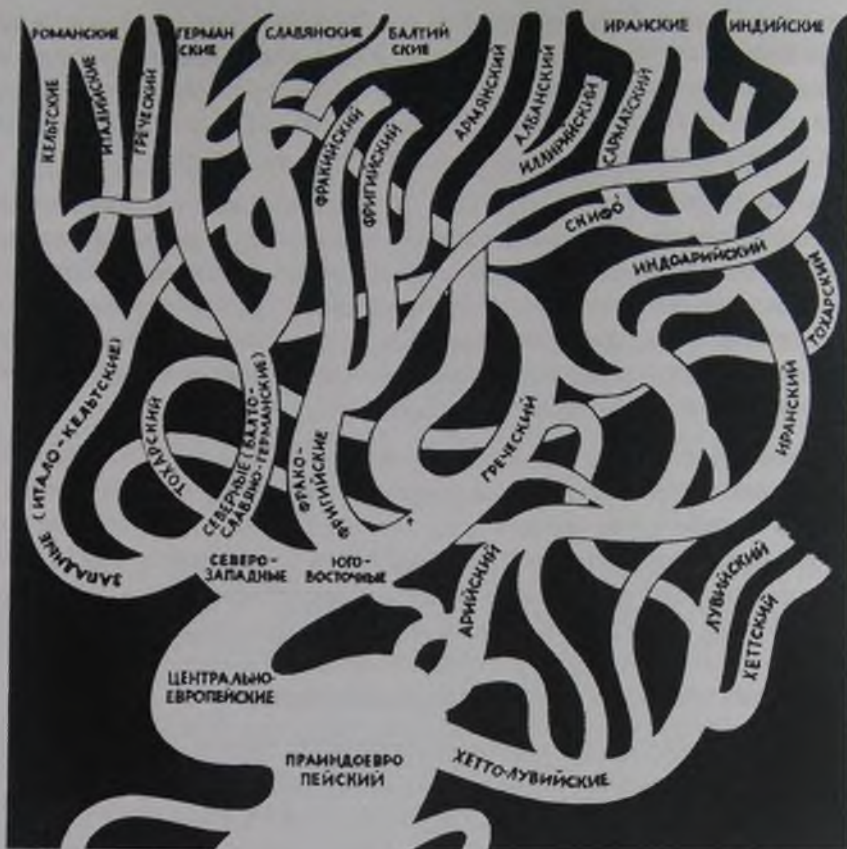


Рис. 77. Модель дельты реки в приложении к развитию семьи языков (Клейн 1984).

материалы, вглубь веков, учитывая доисторические миграции. Многие считают этот метод главным, ставят его на первое место (Кузьмина 1994: 264). Одно время советские археологи применяли исключительно вариант этого метода, названный Л.А. Гиндиным и Н.Я. Мерпертом “локалистским” (1984: 7), – ограничивали действие метода территориями нынешнего размещения народа, предки которого разыскиваются. Как это мягко формулирует Кузьмина, суть варианта “заключается в доказательстве непрерывной последовательности и преемственности археологических культур на определенной территории с сохранением основного комплекса до известных исторических этнических групп” (1994: 63). Сама Кузьмина (1994: 64) настаивает на необходимости сочетать этот метод с “методом этнизирующих признаков”, функционально не обусловленных, но главным признает “ретроспективный метод”. Отвергая гипотезы об индоиранской принадлежности носителей катакомбной и абашевской культур, Кузьмина аргументирует свою позицию так: гипотезы отвергаются, “во-первых, потому, что не может быть использован при-

знаваемый нами решающим ретроспективный (1994: 222) метод, так как не установлены их прямые потомки и их языки...”.

Ретроспективно двигаться вглубь веков можно только, пока народы прослеживаются историческими свидетельствами. Дальше проникать этим методом могут только лингвисты, сводя воедино языковые ветви в одно генеалогическое древо и двигаясь от ветвей по стволу к корням. Для археологов *ретроспективный метод* бесполезен, как я уже объяснял в начале: корней у каждой культуры много, какой выбрать? Если лингвисты имеют в своем распоряжении много ветвей и должны (нередко ощупью) продвигаться к стволу, то у археологов в руках ствол одной культуры, а продвигаться нужно к корням, всегда ощупью, и найти тот, на котором нужный клубень, а только съев его, увидишь языковое древо.

То есть археологи оказываются перед перевернутым деревом, или можно так сказать: ствол у них в руках, а корней много и они расходятся в разные стороны, какой из них был сопряжен с передачей основного языка, непонятно. Теоретически мог быть сопряжен любой. Нет корреляции между интенсивностью языкового и культурного вкладов. Норманны господствовали во всех русских городах, в культуре их вклад очень заметен, самоназвание народа происходит от них, а в язык вошла горстка слов. Волжские булгары захватили земли придунайских славян, а в язык вошло только три слова, в том числе самоназвание. С другой стороны, дорийские диалекты заполонили в начале I тыс. до н.э. всю Грецию, историки твердят о дорийском нашествии, а в археологии миграция с севера для этого времени не прослеживается.

Всё же у археологов до сих пор не переводятся охотники работать ретроспективным методом.

Я не раз критиковал ретроспективный метод применительно к археологии. В то же время начинать свой путь археологи несомненно должны ретроспективным методом — пока они движутся вместе с историками, опирающимися на письменные источники. В Индии — до периода, освещенного Ригведой, в Иране — Авестой и сообщениями клинописных табличек, в Греции — до пределов критомикенской письменности. В каждом из этих районов нужно найти археологические культуры, соответствующие картине, обрисованной письменными источниками. Только создав эту базу, так сказать, подвинув трамплин, насколько возможно, вперед, совершить прыжок. Или точнее, несколько прыжков — к последовательным сочленениям ветвей древа, всё более близким к общеиндоевропейскому стволу. Это тоже продвижение, носящее, в общем, ретроспективный характер, но в таком продвижении видны одновременно все сочленения языкового древа впереди, так что археологи, останавливаясь на каждом развилке своего противоположно ориентированного древа, будут иметь перед глазами всё языковое древо и смогут выбрать на своем древе путь, ведущий к индоевропейскому стволу.

Глава 15. Демографический анализ материалов

1. **Вводные замечания.** *Демография* занимается в основном современным населением – его составом и динамикой: изучает размеры, половозрастной состав и скорость роста разных популяций, смертность, рождаемость людей, а также плотность населения территорий. Археологов занимает демографическое изучение первобытного, древнего и средневекового населения. Это продолжение демографии в прошлое называется *палеодемографией*. С 60-х годов стало выходить много книг, описывающих эту науку (Angel 1969; Brothwell 1971; Massat 1973; Howell 1976; Piontek and Czerniak 1988; Jackes 1992; и др., современный обзор см. Bocket-Appel 2008).

Свою обобщающую работу, сначала изданную как большая обзорная статья, потом как книга (Hassan 1978; 1981), Фекри Хассан назвал “Демографическая археология”. Название правомерное, но в применении к работе Хассана как раз неподходящее. Дело в том, что он различает две отрасли палеодемографии, которым посвящено две части его работы: одна извлекает из археологических материалов данные о населении, а другая занимается применением палеодемографических выводов к объяснению особенностей древнейшей истории и социокультурного развития. Но “демографической археологией”, собственно, должна быть названа первая часть, а вторая скорее могла бы называться “демографической преисторией” (или “раннеисторической демографией”), как, например, (Cook 1972; Petersen 1975). Демографию современных отсталых народностей и вообще демографические различия между народами изучает родственная отрасль – *демографическая антропология* (например, Swedlund and Armelagos 1976; Zubrow 1976).

В Советском Союзе палеодемографические исследования стали появляться с 70-х годов XX века. Статья антрополога В.П. Алексеева (впоследствии академика и директора Института археологии АН СССР) “Палеодемография СССР” появилась в “Советской Археологии” в 1972 году (Алексеев 1972). В следующем году московский археолог П.М. Кожин (1973) подготовил для IX Международного конгресса антропологических и этнографических наук в Чикаго доклад “Археологические обоснования палеодемографических реконструкций”. В книге В.М. Массона (1976) об экономике и социальном строе древних обществ используются данные палеодемографии. Стали появляться специальные работы по палеодемографии (Демография 1978; Яблонский 1980 и др.). В середине 80-х появилась статья Яблонского (1985) “Палеодемография” в отечественной “Демографической энциклопедии”.

Демографическая археология (современный ее обзор см. Chamberlain 2006) охватывает не все и даже не самые богатые материалы для демографических выводов. Гораздо больше сведений происходит из физической антропологии – *палеоостеологии* (изучение костных остатков людей – см. Stirland 1999) и в последнее время *палеогенетики* (анализ ДНК и митохондрий). Определение пола, возраста, расовой принадлежности и болезней – почти целиком из палеоантропологических исследований, так что тут рядом с археологической демографией располагается еще одна отрасль, которую также можно было бы назвать демографической антропологией (имея в виду физическую антропологию). Но так как “антропология” за пределами России охватывает и культурную и даже ассоциируется преимущественно с ней, то для исследований по извлечению демографических данных из физической антропологии (ср. Krzywicki 1934; Génoves 1969a; 1969b; Acsádi & Nemeskéri 1970; 1974; Hoppa and Vaupel 2002), нужно подыскать другое название – *антропологическая палеодемография* или *палеоантропологическая демография*, но это дело соответствующих конференций или крупных авторитетов в этой специальности.

Здесь нет надобности рассматривать эту отрасль подробно, хотя археологические данные занимают и в ней важное место: ведь позиция остеологических материалов во времени и истории определяется сугубо археологическими средствами (Marciniak 1995: 110). Займемся демографической археологией и в какой-то мере применением ее данных в преистории и ранней истории.

2. Демографические модели в объяснении движущих сил эволюции. Тесня производственный фактор, продвигавшийся Карлом Марксом, религиозный, на который упирал Макс Вебер, на первое место среди движущих сил эволюции всё больше выдвигался демографический фактор. Неозволюционисты всё чаще осознавали его значение. Гордон Чайлд связывал с действием этого фактора происхождение скотоводства и земледелия. Две работы особенно способствовали этому выдвиганию демографического фактора: “Условия сельского хозяйства” датской экономистки Эстер Бозеруп и “Пост-плейстоценовые адаптации” американского археолога Люиса Бинфорда (Boserup 1965; Binford 1968). “Давление перенаселенности”, “демографические взрывы” стали заполнять теоретические работы преисториков.

Именно эта конкуренция с производственным фактором марксизма задерживала развитие демографии в Советском Союзе, а вместе с тем – и палеодемографических исследований. Только после хрущевской оттепели и начала международной напряженности наши археологи начали осторожно вводить демографические данные в свои концепции прогресса. Интерес к демографии стал общемировым.

В археологии этот интерес выражается в исследованиях динамических соотношений между величиной населения, ростом его и *потенциальной емкостью* (carrying capacity) экосистемы.

Рост населения высчитывается по формуле

$$N_t = N_0 e^{rt},$$

где N_t есть величина популяции по истечении период t , а N_0 – начальная популяция. База естественного логарифма e приблизительно равна 2,718. В этом случае r может принимать любую величину, а рост популяции экспоненциален. Если скорость роста популяции пропорционально уменьшается с увеличением популяции, такую конфигурацию называют логистической. Логистическая кривая сигмоидна, то есть имеет S-овидную форму. Она описывает первоначальный медленный рост, который переходит в быстрый подъем и оканчивается постепенным замедлением.

Этот тип роста выражается следующей формулой:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{(K-N)}{K} r N,$$

где K – максимум возможного размера популяции, dN/dt – скорость роста популяции.

Логистическая конфигурация роста населения неудивительна, ибо природная среда любого района может вынести только некоторый максимум людей, называемый *потенциальной емкостью* района. Это понятие вошло в обиход преисториков, антропологов и археологов в середине XX века и широко употреблялось уже через четверть века (Zubrow 1975; Glassow 1978). Но тогда же стала звучать и критика этой концепции: трудно хорошо рассчитать объем доступной пищи; максимум населения ограничен периодом года, когда ресурсы доступны; худые периоды оставляют долгие спады в населенности – с протяжением на тучные годы и т.д.

Многие виды животных редко достигают максимума, регулируя свою численность. Практика контроля населенности есть и среди людей – от позднего вступления в брак до умерщвления лишних детей.

В обществе обычно действует экономически-демографический эквilibrium (*EDE*), то есть подвижной баланс между экономикой, основанной на природных ресурсах района, и его заселенностью. Он является функцией отношения между величиной населения в некоторое время (P_t) и потенциальной емкостью (C):

$$EDE = f(P/C).$$

Хассан предлагает рассчитывать потенциальную емкость для отрезка в три поколения, то есть в 60 лет. При этом производительный потенциал (RP) делится на уровень потребления (SL):

$$C = f(RP/SL).$$

Отсюда общая формула:

$$EDE = f(P, SL/RP).$$

По Хасану (Hassan 1978: 76), из этой формулы видно, что в некоторых случаях увеличение населения, повышение уровня потребления или уменьшение ре-

сурсов может нарушить баланс и вызвать экономически-демографический стресс. Но это ясно и без этой формулы.

Более существенно, что, по эмпирическим наблюдениям, реальные популяции существуют значительно ниже уровня потенциальной емкости своей природной среды, составляя процентов 20-60 от потенциального максимума. Это предохраняет их от периодических непредсказуемых колебаний природных условий. Поэтому Хассан выделяет оптимальную емкость (C_o) (оптимальную для человеческого выживания) и критическую (C_c) – более близкую к максимуму. Такая чередовка экстремальными стрессами каждые 10-20 лет.

Многие считают, что именно такие стрессы ведут к технологическим скачкам, к революционным сдвигам. Хассан и Каугилл возражают. Во-первых, у общества есть ряд других способов преодоления бедствий: перестройка базы питания, расширение набора ресурсов, улучшение технологии хранения продуктов, изменение привычек потребления, обмен с соседями, умерщвление детей и стариков, эмиграция и прочее. Во-вторых, в критический момент у популяции просто нет необходимого запаса времени для кардинальных инноваций, их испытания и внедрения. Так что механизм, ведущий к переменам, какой-то иной.

Тем не менее, Хассан рассматривает в трех особых разделах (Hassan 1978: 77-87) объяснительные модели роли демографического фактора в развитии охотников-собирателей, в происхождении земледелия и скотоводства, в происхождении цивилизации. Нет надобности пересказывать их здесь. Ведь это, как я уже отметил, модели преисторические, непосредственно к археологии не относящиеся. Они лишь включают археологические данные о демографии в общеисторический синтез наряду с другими данными – палеоантропологическими, пре- и раннеисторическими, биологическими (палеоботаника, палеозоология), палеогеографическими, экономическими и т.д.

А вот как эти данные о демографии добываются в археологии, какими методами и в чем они состоят, должно занимать археолога.

3. Демографические цели и методы в археологии. Разговор о демографических методах в археологии Хассан начинает с печальной констатации:

“В настоящее время бедность археологических данных, годных для археологического анализа, препятствует работе и расстраивает. Обычно археологические разведки и раскопки предпринимаются с очень малой заботой о демографических результатах или вовсе без всякой заботы о них. Так что если даже демографические данные налицо, они обычно неполны, неточны или ненадежны” (Hassan 1978: 51).

При этом Хассан имеет в виду не только археологические методы, но и методы палеоантропологические, исторические и другие, применяемые в демографических целях. В этом разделе я буду использовать его обзор как основу.

а) *Определение пола, возраста, рождаемости и смертности.* Совершенно ясно, что в этом наибольшую роль играет физическая антропология, в частности палеохистология. Так что эти исследования принадлежат в основном другой отрасли палеодемографии (хотя Хассан именно эту методику называет *палеодемографией*). Но и археология вносит в эти определения некоторую лепту. Даже при отсутствии четких указаний со стороны костей (при плохо сохранившихся костях, кенотафах, кремнях и т.п.) можно составить представления о поле и возрасте по сопровождающим вещам, иногда по обряду.

Пионерами в этой области считаются у французов Анри-Виктор Валуа, у немцев Франц Вейденрейх, у американцев Дж. Л. Энджел (Vallois 1937; Weidenreich 1939; Angel 1947).

Пропорции мужчин и женщин, взрослых и детей в обществе дают некоторое представление о характере общества и его условиях существования. Только не следует забывать, что пропорции в могильнике отнюдь не отображают прямо те, которые существовали в живом обществе – не только потому, что некоторые фракции общества могли быть захоронены в других местах и другими способами, но и потому, что в силу разной продолжительности жизни взрослых и детей те группы, которые скопились в могильнике, не соответствуют тем, что существовали в каждый момент истории живого общества: за время жизни одного взрослого могло жить и умереть несколько детей. В каждый момент истории на каждого взрослого будет приходиться небольшое число детей, а в могильнике детей на каждого взрослого накопится гораздо больше. Это было отмечено в разделе о внутренней критике археологических источников.

В демографии исследуется непосредственно не тот или иной народ, а *популяция* – население определенной территории, причем популяция условно предполагается стабильной (без примесей пришельцев и без ухода эмигрантов), а внутри нее выделяются *когорты* – совокупности сверстников, поколения. Для более детального исследования популяции составляются *таблицы продолжительности жизни* (смертности, вероятности дожития) той или иной когорты.

В 1970-е годы на основании обобщения многих таблиц была составлена таблица средней продолжительности жизни (Acsádi and Nemeskéri 1970; Weiss 1973), принятая за модельную (Model Life Table). Она позволила выявлять и оценивать аномальные явления в конкретных таблицах и искать им объяснения. Так, на модельной таблице видна высокая смертность детей в ранних обществах (до 10 лет доживает чуть больше половины родившихся), а на сравнительной таблице продолжительности жизни (Moore et al. 1975) видно, что в натуфийской неолитической выборке число доживших до 10 лет – 96 процентов, что совершенно нереалистично. Просто в ней дети большей частью не представлены. Зато в сельской Англии ок. 1700 г. число взрослых значительно превышает нормы, заданные модельной таблицей, отражая сравнительно высокий уровень жизни (рис. 78).

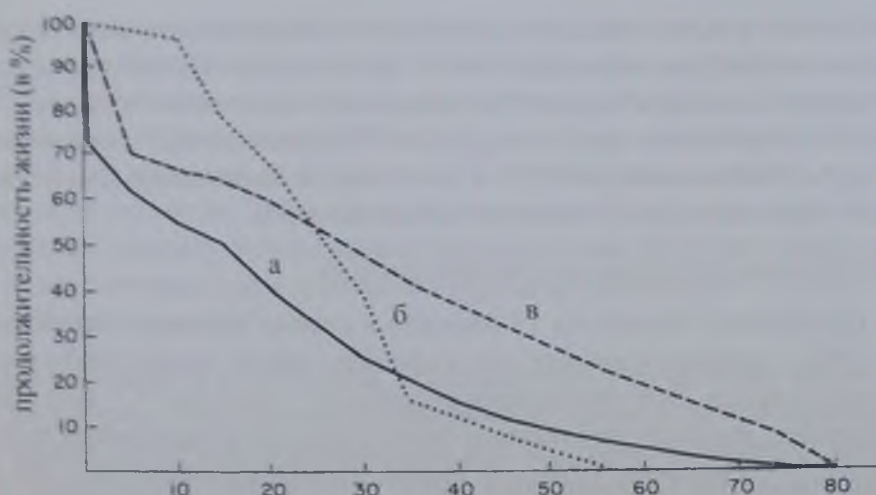


Рис. 78. Кривая выживания для а) модельной популяции, б) неолитической натуфийской популяции из пещеры Хайоним (по Бар Йозефу и Горену 1973), в) сельской английской популяции ок. 1700 г. н.э. (по Коксу 1970) (из Hassan 1978, fig. 3.1).

Рождаемость и смертность непосредственно не наблюдаемы археологами, но о них и их изменениях можно судить по продолжительности жизни в разных обществах и в разные времена, а она определяется по возрастным пропорциям покойников в могильниках. Есть сводки (Acsádi and Nemeskéri 1970; Weiss 1973 и др.), показывающие, насколько продолжительность жизни различалась в разные времена, хотя максимальный диапазон жизни различается мало. Но в первобытные времена были значительно выше детская и женская смертность (при родах), а также смерть от несчастных случаев и болезней.

б) *Расчет размера популяции по заселенным площадям.* Жилища. Для популяций с постоянными жилищами размер популяции может быть примерно рассчитан исходя из заселенной площади. При этом, конечно, принимается за постоянную величину, не слишком отличающуюся от средней, норма жилой площади (“метраж” в российском быту) на человека, тогда как она очень различна в разных обществах. Поэтому приводимые расчеты очень предположительны и нуждаются в спецификации по категориям.

Ш. Ф. Кук с несколькими соавторами опубликовал в 50-е и 60-е годы ряд работ, в которых используя этнографические данные из Калифорнии, заключил, что дома на одну семью аборигенов близки к 11,1 кв. м. Принимая семью за 6 человек, это составляет 1.86 кв. м на человека. Есть и более просторные жилища, но это на более крупные семьи или многосемейные. В таких домах первым 6 особям уделено по 2.32 кв. м, а каждому следующему – по 9.29 кв. м. (точность в сантиметрах здесь искусственная, образованная при переводе в другую систему из округленных футов, скажем 9.29 м – это 100 футов).

Б. Соудски в 60-е годы, изучая длинные неолитические дома из Польши, принял во внимание разное использование пространства. Не всё оно использовалось как жилая площадь, а только 67%, остальное – кладовки и коридоры. Четыре очага в доме он истолковал как оставшиеся от четырех семей. Его методику применил Сарунас Милисаускас в 1972 г. к таким же неолитическим памятникам. По ней, каждая семья получала участок дома длиной в 5 м.

Всё это были детальные, но частные расчеты.

По усреднению данных из 18 обществ в разных регионах демограф Рауль Нэрролл в 1962 г. пришел к выводу, что в среднем каждая особь требует около 10 кв. м жилой площади. Эта упрощенная формула $F = 10 P$, где F = пол в жилище, а P = популяция, является упрощением более сложной логарифмической формулы $F = 21,7 P^{0,84195}$. В начале 1970-х Л. Бинфорд с сотрудниками счел эти расчеты населения слишком заниженными (то есть жилье несоразмерно просторным), а С. ЛеБланк высказался о неточности использованных данных.

В 1974 г. Сэмьюел Кэсселбери, изучая многофамильные дома по этнографическим данным восьми культур, получил другие результаты. Он вывел, что на каждую особь в таком доме приходится 6 кв. м. Это оказалось близко к расчетам Соудского и Милисаускаса.

В 1970-е Н. Хилл и Ф. Плог применяли разные методы для достижения той же цели. Хилл, получив в своих расчетах по этнографическим данным 2,8 кв. м на человека, при 6,1 человек на хозяйство, применил к ним фактор в 22% на оставленные дома. Он рассчитывал количество хозяйств тремя различными методами: по числу очагов, по числу жилых помещений и по числу хозяйственных ям. У него получилось 4,55 кв. м на человека, 120 человек в поселении (по методу Нэролла получалось 55, по методу Соудского-Милисаускаса – 182).

Плог, изучая пуэбло, исходил из расчета: число помещений в пуэбло = пространству мусорного холма в кв. м. + 4.0. Он рассчитал, что максимальная заселенность в 78% была только на пике развития, а в периоды между пиками равнялась половине этого числа.

Поселение. Всё это шла речь о площади жилищ. Но можно провести расчеты и по площади всего поселка, включая межжилищное пространство.

Изучая стоянки охотников-собирателей в Калахари, П. Уисснер пришел к таким выводам: для группы в 10 человек каждый из них в среднем располагает пространством в 5,9 кв. м. Для более крупной группы в 25 человек такое пространство возрастает до 10,2 кв. м.

Для Древнего Востока число сельских и городских жителей определяется по формуле

число обитателей = константа X площадь местонахождения,

ствe константа — это число особей на единицу площади в современных деревнях и городах данного региона или в других археологических местонахождениях (Наскин 1978: 58). Здесь явно не хватает коэффициента, отличающего древние нормы от современных. Г. Фрэнкфорт в 1950 определял норму для древней Месопотамии в 20-34 кв. м. на человека. Р. Брейдвуд и Ч. Рид добавили к этому, что в современном поселке на холме Эрбил среднее составляет 19 кв. м на человека. В 1974 Ренфру пришел к выводу, что в позднем бронзовом веке Эгейского мира население было не столь плотным, как в шумерских городах, и располагало 30 кв. м на человека, а в неолите — даже 50 кв. м.

В Мезоамерике в 1970-е годы исследователи, рассчитывая число жителей древних поселений, пользовались современными нормами площади на человека в селах и городах. Имея широкий диапазон, они исходили из толщины культурного слоя для определения к какому концу шкалы расположить ближе конечный результат — к меньшему или большему.

Всё это выглядит не очень заслуживающим доверия. Ш.Ф. Кук и Р.Ф. Хейзер в 1965 г. показали, что в Калифорнии поселения размером от 370 до 9200 кв. м. (то есть большие, превышают меньшие в 25 раз!) имеют одно и то же число жителей — в 30 человек. Дж. Маркус, соратница и супруга Кента Флаэинери, в 1976 г. нашла, что корреляция между площадью поселения и числом обитателей слаба и не позволяет дать надежные демографические расчеты.

• Объем отложений. Если определить объем отложений, получающийся от одного жилища, то по объему отложений от всего поселка, даже если он не весь раскопан, можно рассчитать число жилищ в нем и, соответственно, число жителей. В Древнем Иране, Элб Дж. Эммермен, Л. Кавалли-Сфорца и Д.К. Уэйдджер приняли на каждое жилище по 20 кубометров отложений, а так как поселение Али Кош состояло из 15 тысяч кубометров отложений, то легко было вычислить число жилищ в нем — 750. Но это число явно завышено: не все дома использовались в течение всего времени жизни поселка. Для более реалистичных расчетов числа одновременных жилищ в поселке нужно знать продолжительность жизни поселка и вероятную длительность использования дома. Применяется формула

$$N = (V \times T) : (H \times P),$$

где N есть число домов, существовавших в поселке одновременно, T — это вероятная длительность использования дома, V — объем отложений поселка, P — длительность обитания на местонахождении. Так, приняв 20 кубометров за объем отложений от дома и 15 лет за длительность использования одного дома при продолжительности жизни поселения в 750 лет и 15 тысячах кубометров его объема, мы получаем, что в нем одновременно могли существовать всего 15 жилищ. При 5 обитателях дома это дает общую численность жителей поселка в 75 человек.

• Региональные вычисления населенности. Определение населенности региона производится суммированием результатов по поселениям реги-

она. Численность населения местности (значительной территории – страны, края) можно определять по числу поселений с предполагаемо известным числом обитателей. Скажем, для ашёля на территории Молдавии В.М. Массон (1996: 39-40) отмечал четыре достоверных стоянки (диагностированных как базовые стойбища) и две предположительных подобных. Между тем С.Н. Биби́ков (1969: 20) для территории Украины допускал, что нам известна лишь половина существовавших стойбищ. Отсюда Массон делает вывод, что в ашёле на молдавской территории обитало 10-12 локальных охотничьих групп. А так как средней величиной охотничьей группы он считал 25 человек (от 20 до 40-70), то территорию в 20 тыс кв. км, по его мнению, заселяло 250-300 человек.

В этих расчетах слишком много недоказанных допущений. “Поправка Биби́кова” слабо мотивирована. Полагаю, что количество не зафиксированных археологами стоянок во много раз больше. Те стойбища, которые зафиксированы, приходится на период в сотни тысяч лет, тогда как каждое из них существовало несоизмеримо меньшее время. Вряд ли хотя бы две из этих стоянок были одновременны. Рассчитывать население нужно иначе.

Большой же частью вообще все поселения региона суммировать невозможно, и приходится обходиться репрезентативными выборками.

В 1975 В.М. Массон и В.И. Маркевич (1975; Массон 1980) опубликовали результаты изучения трипольского общества в северной Молдавии (на территории в 8 тыс. кв. км). По размеру они разделили поселения на четыре категории – от мелких до “суперцентров”. Плотность застройки в них составляла ок. 300 кв. м на жилище в укрепленных поселениях и ок. 700 кв. м. в неукрепленных. Плотность же населения в дотрипольском неолите составляла 0,52 человека на кв. км при числе поселений 3,8 на тысячу кв. км. В раннетрипольской культуре соответствующие цифры 2,5 и 4,9, причем 90% населения живет в мелких поселениях. В среднем триполье те же показатели – 12,8 и 16,7, причем 66% населения живет в средних и крупных поселениях. В позднем триполье показатели падают: 8,7 и 12,1, а в мелких поселениях живет 54% населения. Таким образом, авторы проследили и динамику некоторых демографических показателей.

• Итоги. Обзор Хассана показывает, что наиболее высокая корреляция достигается между населением и количеством помещений или жилой площадью. На основе работ Орката и Плога Хассан в 1978 г. составил схему влияния данных обитания на демографические параметры (рис. 79).

в) *Определение размеров популяции по артефактам.* В принципе это возможно, но мало применяется. Черепки использовал Д.У. Шварц в 50-е годы северо-западной Аризоне (плато Колорадо) для определения величины популяции. Крашенная керамика, предварительно датированная по дендрохронологии, была разделена на периоды по 25 лет, названные “ячейками обитания” (*habitation units*). Подсчитывалось количество поселков, обитаемых в каждом их 25-летних отрезков. Частота “ячеек” рассматривалась как показатель величины

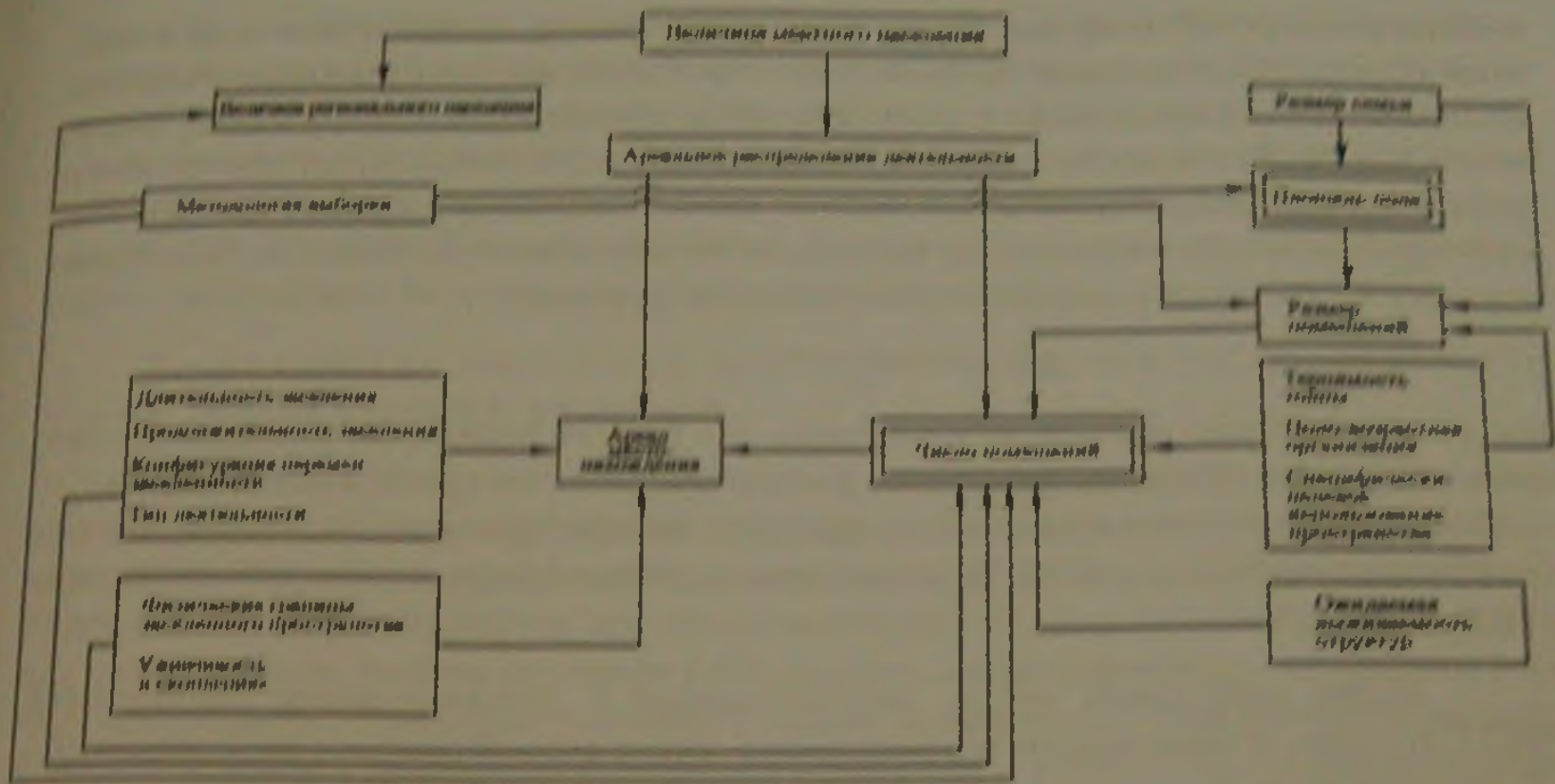


Рис. 79. Влияние условий обитания на демографические параметры по Хасани (Yassari 1978, fig. 3.2).

населения. Методика слишком сложная и ограниченная предварительными условиями.

Для той же цели цели использовались все черепки, что было проще. Основываясь на этнографических данных, Ш.Ф. Кук в 1972 г. определил отношения веса черепков к объему местонахождения и отношения керамики к величине популяции на знаменитых пазубо Пекос, используя опубликованные числа черепков там.

В 1966 г. К. Тернер и Л. Лофгрэн, изучая музейные коллекции из ряда мест Северной Аризоны, определяли размер семьи из отношения объема семейного котла для варки пищи к объему индивидуальных мисок для еды. Они получили результат в 5,3 особи как средний размер семьи и диапазон от 4,5 до 7,0 особей. Отсюда вычисляли размер всей популяции.

Э.В. МакМайнот к 1960 г. разработал методику для определения относительного величина популяции и назвал полученные цифры "показателем интенсивности использования" (*Use Intensity Index*). Он определял его по формуле

$$UII = 1 - n(D/P),$$

где n — это число местонахождений в регионе за период в P лет, а B — относительная густота появления артефактов всех видов, измеряемая по шкале от 1 до 3.

2) *Определение размеров популяции по пищевым остаткам.* Поскольку человек потребляет ограниченное количество пищи в день, размер по-

пуляции может быть определен по количеству одного продукта или всей пищи, если время существования поселка известно. С сороковых годов такие подсчеты производились для кьеккенмеддингов, а также для береговых и островных местонахождений. Так, в исследовании Р. Эшера (Ascher 1959) подсчитан общий объем протеина, содержавшегося в моллюсках местонахождения, и затем он делен на дозу протеина из моллюсков на человека в течение периода обитания. Население поселка RP (resident population) рассчитано по формуле:

$$RP = fVdmp / nT$$

где f – пропорция раковин на поселении, d – густота появления раковин, m – вес мяса моллюска на грамм раковины, p – вес протеина на грамм мяса моллюска, T – число лет обитания на местонахождении и n – доза протеина из моллюсков, потребляемого человеком в год (критика этих расчетов содержится в работе Glassow 1967).

Более надежный метод, разработанный Г. Мюллер-Беком (Müller-Beck 1961), состоит в умножении минимального числа особей каждого вида животных на средний вес их мяса. Так получается общий вес мяса (M). Величина населения может быть получена путем деления полученной суммы на ежедневные потребности одного человека в мясной пище (R), умноженные на период обитания (T):

$$RP = M / R \times T$$

Разумеется, при этом надо учитывать, что часть мяса потреблялась не на поселении, а непосредственно в местах охоты (или забоя скота – у скотоводов), что часть времени люди вообще могли жить не на поселении, что группа могла иметь несколько мест обитания, меняя их от сезона к сезону, и т.д.

Львовский археолог А.П. Черныш (1980) по количеству людей, размещавшихся вокруг очагов в палеолитическом жилище, и количеству съеденного ими мяса (исходя из костных остатков) определял длительность существования жилища. По его подсчетам, в мустье ок. 30 человек обитали в жилище 11 месяцев (хотя в отдельных случаях до 2 лет), а в позднем палеолите в жилище обитало ок. 70 человек, но всего 6,5 месяцев: стало необходимым двигаться вслед за стадами северного оленя.

Из всех этих методов Колин Ренфру считает наиболее плодотворным определение палеодемографии по заселенным площадям – жилищам и поселениям (Renfrew and Bahn 1999: 399). И всё же он заканчивает свой обзор печальным выводом: “Однако оценки населенности для широких регионов в течение преистории остаются не более, чем догадками” и выражает надежду, что усовершенствование методов и пополнение материалов в будущем приведет к тому, что наши догадки станут более правдоподобными (ibid., 400).

4. Экологические ресурсы и плотность населения. Плотность населения – один из параметров, связанных с величиной населения: величина населения –

это плотность населения, умноженная на размер территории. Разные параметры природной среды влияют на величину и рост населения, и, выявляя эту зависимость, можно по известным природным свойствам района и времени вычислять искомые демографические параметры. Они несколько разные для изучения охотников-собирателей (палеолит-мезолит и лесной неолит) и земледельцев-скотоводов (неолит, бронзовый и железный века). Рассмотрим сначала первую серию методов – нацеленных на изучение охотников-собирателей.

А. Плотность населения охотников-собирателей в зависимости от экологических ресурсов.

а) *Выпадение осадков.* Поскольку выпадение осадков сказывается на растительности, то есть на пищевых ресурсах района, а то и на величине населения, можно вычислить коэффициент зависимости. В 1950-е – 1970-е годы Дж.Б. Бёрдселл (J.V. Birdsell) изучил эту зависимость на 123 (впоследствии 164) племенах австралийцев, выбрав из серии в 409 племен самые зависимые от уровня выпадения осадков. Сначала он установил общий коэффициент зависимости (между уровнем осадков в дюймах и густотой населенности в количестве человек на квадратную милю), равный 0,81. Впоследствии он испытал 65 разных параметров, характеризующих влажность климата, и нашел, что наибольшую корреляцию с плотностью населения дает медиана выпадения осадков. Несколько исследователей испытали эту методику на других примерах (в Америке и Африке), и их кривые получились похожими на кривые Бёрдселла.

Трудность этой методики заключается в том, что уровень осадков в палеоклимате недоступен непосредственному наблюдению и является гипотетическим, а кроме того, коль скоро конкретные цифры Бёрдселла получены на примерах с заведомо высокой зависимостью, они не характеризуют норму.

б) *Богатство ресурсов.* Плотность населения зависит также от богатства природных ресурсов района, характеризуемой показателем количества природных ресурсов на единицу территории. В 1960-е М.А. Баумхоф вычислил такие показатели для желудей, дичи и рыбы в некоторых районах Калифорнии и сопоставил их с густотой населенности в на территориях местных племен аборигенов. Он получил зависимость, выражаемую формулой:

$$\text{плотность населения} = 3 (\text{индекс желудей}) + 2 (\text{индекс дичи}) + 3 (\text{индекс рыбы}) - 210.$$

в) *Первичная производительность.* Под первичной производительностью понимается производительность зеленых растений, потому что ими кормятся травоядные, а теми – остальные животные. Таким образом, хотя зависимость плотности населения от такой производительности района во многом непрямая, она базовая. Задавшись целью выявить эту зависимость, Кастил подсчитывал в Северной Америке калорийность пищи от территориальной единицы за год и делил ее на потребности человека в год, надеясь рассчитать максимально дости-

жимую плотность населения, которую затем уменьшал на некий фактор, чтобы получить вероятную реальную плотность. При этом он учитывал осложнения: реальная производительность будет представлять лишь некую долю от чистой производительности, трофические уровни потребления различны, различны и уровни потребления на человека в год, как и сезоны в годовом цикле потребления.

Доля чистой производительности устанавливалась наобум. Кастил, основываясь на исследованиях Х.Т. Одума, взял цифру в 0,5%. Для охотников-собираателей Хассан считает ее очень раздутой. Э.С. Диви считал реалистичной цифру в 0,1% для человечества в целом.

г) *Восстановимые природные ресурсы.* Имеются в виду те ресурсы, которые можно потреблять без ущерба для природного потенциала района. Плотность населения охотников-собираателей зависит от потенциала природных ресурсов, уровня эффективности извлечения потребных материалов (включая пищу) и уровня потребления. Для установления зависимости Хассан разработал формулу, в которой PD (плотность населения в особях на квадратный километр) равна дроби, в которой числитель –

$$[\sum_{i=1}^n F_i N_i],$$

а в знаменателе L .

В этой формуле F_i – объем в килограммах i -го вида пищи на квадратный километр (равный оптимальному наличному объему этого вида пищи Y_i , умноженному на некую константу), N_i – питательное содержимое в калориях, граммах или миллиграммах и т.п. на килограмм съедобной порции этого вида пищи, L – это среднее потребление этого питательного компонента, потребное на одну особь.

Эта формула может быть упрощена, если применять энергию пищи в калориях, процентное содержание мяса в питании по весу, 2700 кал/кг для мяса, 1500 кал/кг для рыбы, пропорцию использования животной биомассы в 5% в год и константу (X) в 0,126.

Для эскимосов карибу Хассан получил плотность населения в 0,0073 чел/кв. км – результат, хорошо соответствующий плотности в 0,010 чел/кв. км, измеренной Э.С. Бёрчем в 1972 г. у асиагмиут, который первоначально были охотниками карибу.

В.М. Массон (1990: 62-63) сообщает расчеты биомассы для палеолита и для трипольской культуры, но без ссылок и без уточнения. Для одной локальной группы палеолитических охотников он считает необходимой территорию в 400 кв. км.

Б. Методы определения величины населения у земледельцев-скотоводов. В значительной части эти задачи решаются на основе письменных источников и “прямого исторического подхода” (с опросом ближайших индейцев), но и археологические средства решения применяются. Известные археологи (Роберт Карнейро, Гаролд Конклин, Джордж Каугилл и др.) проводили такие

исследования. Простой логический путь – вычисление зависимости величины населения (P) от 1) наличной пахотной земли (A_1), 2) площади земли, требуемой на одну семью (A_f), и 3) размера семьи (n) по формуле (Cowgill 1962):

$$P = n(A/A_f).$$

Другой способ основан на вычислении величины популяции из общего урожая определенного злака, например, зерновых или бобовых, и уровня потребления этого растения на человека в год. Кук использовал этот подход, вычисляя популяцию Майя, по формуле

$$P = Y(A_1 - A_2)/C,$$

где A_1 – это общая площадь обрабатываемой пахотной земли в акрах, A_2 – необитаемая или необрабатываемая пахотная земля, Y – ежегодный урожай данного злака и другого растения в фунтах, C – ежегодное потребление этого растения M на человека. Но эта формула не учитывает землю, находящуюся под паром или на время заброшенную при подсечно-огневом земледелии. А ведь она регулярно выпадает из той, что приносит урожай.

По оценке Ренфру (Renfrew and Bahn 1999: 399), все методы выведения плотности населения из животных и растительных ресурсов региона уступают в плодотворности и надежности определению размера населения из обираемых площадей.

В. Определение темпов роста населения. Р. Карнейро и Д.Ф. Хилз (Hilse) вывели ежегодный прирост населения в неолите, равный 0,1%, исходя из величины населения Древнего Востока в 50-100 тысяч в начале неолита и 1-12 млн ок. 4000 г. до н.э. Более точно, эти цифры говорят о росте в 0,08-0,12% в год. Для периода, предшествующего неолиту, предложено ускорение в 0,03%.

Для палеолита предлагались ускорения на порядок меньше: в 0,0015-0,003%, а средним для палеолита считается 0,002%.

Карнейро и Хилз проводили свои вычисления по формуле

$$N = N_0 e^{rt},$$

где r есть ежегодное ускорение роста населения, N_0 есть начальная популяция в момент 0, а популяция N_t – конечная в момент t .

Это же отношение может быть выражено равенством $\log N_t = \log N_0 + r(1+r)t$, применявшимся Карнейро и Хилзом, или, что то же, $N_t = N_0(1+r)^{2t}$ – формула, применявшаяся Дж.Л. Каугиллом.

Сводную таблицу-схему опубликовал Ренфру в своем учебнике (рис. 80 – Renfrew and Bahn 1991: 400), и характерно, что темпы роста населенности от палеолита к современности возрастают по логарифмической шкале (см. колонку цифр справа).

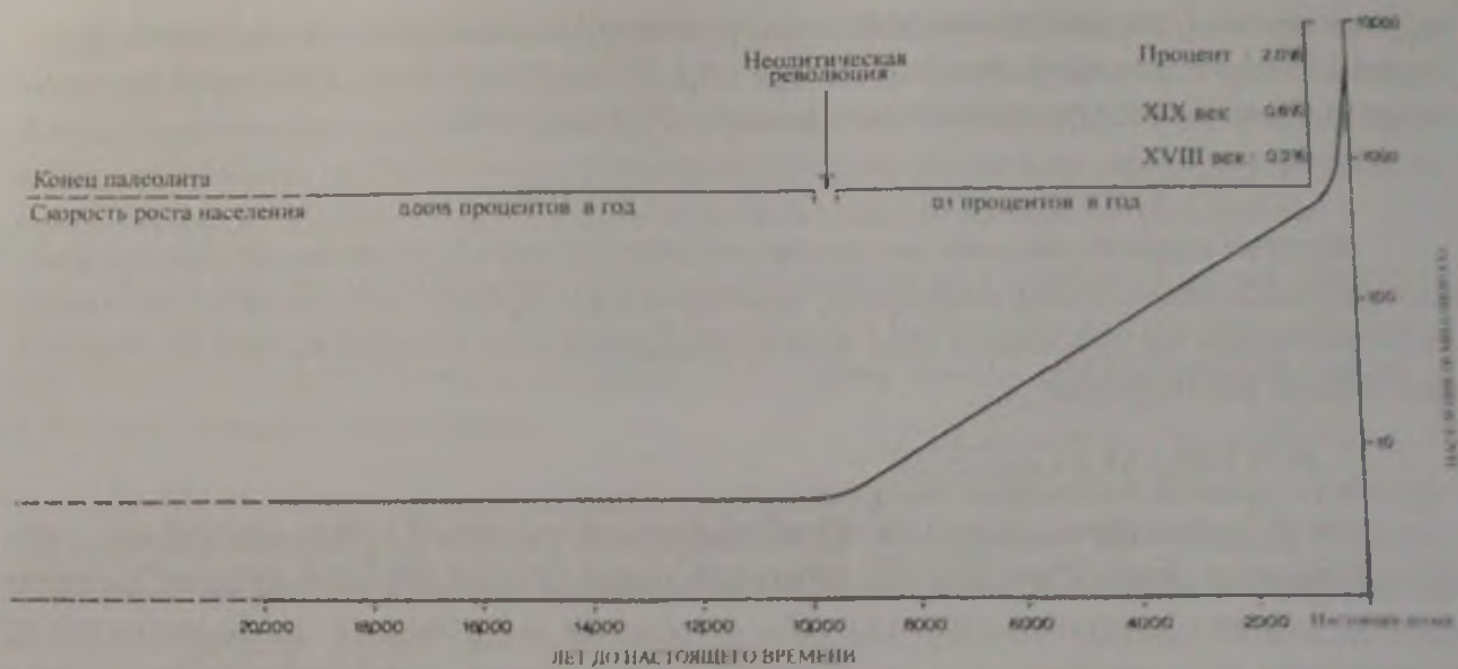


Рис. 80. Темпы роста населения в мире с конца палеолита (Renfrew and Bahn 1999: 400).

Таковы методы, разработанные в археологии для получения демографических данных. Наряду с антропологическими и другими данными они обеспечивают возможность рассмотрения роли демографического фактора в культуре и эволюции. Конечно, всегда следует иметь в виду степень гипотетичности многих выводов палеодемографии и высказывавшиеся предостережения скептиков (Wocjet-Appel and Masset 1982; Piontek and Weber 1990).

Глава 16. Реконструкция хозяйства

1. Археология и концепции экономики. Прежде, чем сообразить, что говорят археологические материалы о хозяйстве давнего населения, очевидно, необходимо представить себе, о чем в этом плане археологические материалы *могут* говорить, то есть что по экономике археологам есть смысл искать в археологических материалах, какие экономические особенности и системы прошлого.

За последние три века в науке (в основном в этнографии, социокультурной антропологии, истории и политэкономии) сменилось несколько влиятельных концепций первобытной и раннеисторической экономики. Каждая из них диктовала некую предпочтительную модель реконструкции экономики по археологическим материалам, и каждая имеет сейчас своих сторонников среди ученых. Более того, каждая имеет за собой серьезную аргументацию, то есть в материале есть некий набор фактов в ее поддержку, пусть и не обеспечивающий полного охвата. А смена концепций нередко вызывалась не столько исчерпанием аргументации, сколько изменением общественной идеологии. Поэтому все они должны быть учтены при реконструкции, и начать стоит с краткого обзора этих концепций.

Меркантилизм. В XV-XVIII веках мыслители рассматривали экономику исключительно как сферу воздействия государей: как они установят, с какой настойчивостью и волей проведут свои решения, так и будет существовать хозяйство страны. Предполагалось, что разумный государь, заботясь о благосостоянии подданных, покровительствует отечественным купцам и ремесленникам (меркантилизм – от итал. *mercante* ‘купец’), вводит пошлины на ввоз иностранных товаров (протекционизм), поощряя экспорт.

Соответственно этим представлениям антиквариату того времени интересовались инсигниями власти и доспехами властных особ, а также всё чаще сменяли ренессансный интерес к греческо-римским антикам интересом к отечественным древностям. Они отличали местные вещи от импортных. Экономика сама по себе вообще не представляла для них существенного интереса – археология занималась прежде всего искусством.

Либеральный утилитаризм. С эпохой Просвещения шотландец Адам Смит, опираясь на разделение труда, рост мануфактур и опыт промышленной революции, выступил против государственного вмешательства в экономику, за свободный обмен товарами. В “Исследовании о природе и причинах богатства народов” он писал, что естественная организация общества требует *laissez-faire* (франц. ‘отпустить действовать’), то есть предоставить свободу (*liberty*) предпринимателям, ибо благодаря разделению труда рационально думающий «экономический человек» практикует взаимно выгодный обмен. Это утилитаризм – от англ. *utility* ‘полезность’, ‘выгодность’.

В начале XIX века банкир Рикардо, развивая эти идеи, определил доход предпринимателя как стоимость товаров минус зарплата работникам и разделил его на ренту, процент и прибыль. Рента идет не за труд, а за счет природных качеств земли (учитывая ее разные плодородие, выгодность расположения и т.п.), процент идет с денег (тот, кто собрал и вложил их, то есть составил капитал, должен что-то за это получить – оправдание существования банкиров и фабрикантов), а прибыль – от вложенного труда. Тем самым Рикардо дискредитировал справедливость дохода землевладельцев – лордов и помещиков.

Соответственно этим представлениям антикварии, превращавшиеся в археологов, обратили внимание на способы изготовления античных вещей, на смену материалов и техники (введя три века – каменный, бронзовый и железный). Значительного развития достигла нумизматика, и ее понятия (тип, датировка) стали переноситься на археологические древности, как бы подводя к денежной оценке вещей.

Марджинализм (формальное или неоклассическое направление). В середине XIX века – начале XX-го первые мировые экономические кризисы потрясли предпринимателей и умили веру в благодетельность свободного рынка (Шлиман очень живо описывает эти потрясения в автобиографии). Джевонс, Маршалл и другие экономисты, впечатленные радикальными изменениями мирового рынка и их воздействием на цены, стали исходить из того, что стоимость товаров определяется не трудом работников, а спросом и предложением на рынке. То есть ценами на рынке. В частности стоимость они определяли “предельной” ценой – той, за которую можно продать последнюю еще покупаемую вещь данного типа. Это “теория предельной полезности”. Различия между ценами являлись для них источником ренты, прибыли и процента.

Фундаментальное понятие этой теории – ограниченность средств (вещей никогда не бывает достаточно). Блага, которые имеются в неограниченном количестве (например, воздух), не являются экономическими. Отсюда предельность всех величин – предельная полезность, предельные издержки и т.д. Когда же их мало, необходима экономия. А с нею и экономика. Предел – по-английски *margin* “марджин”, чем и обусловлено название этого направления.

С 1930-х годов экономическая антропология занималась уже не только первобытными обществами, но и крестьянскими (в которых есть товарно-денежные отношения, рынок). Формальная концепция предполагала, что экономическая теория должна быть одна для австралийских аборигенов и лондонских капиталистов. В этом духе написаны книги Р. Фёрса, Д. Гудфеллоу, М. Херсковица (Firth 1929; 1939; 1946; Goodfellow 1939; Herskovits 1940; 1952).

Экономическую основу общества, в которой производство и труд занимают большое место, экономисты этого направления стали подменять более общим понятием “subsistence” ‘средства к существованию’ (более узкое значение – ‘пропитание’), особенно в применении к первобытным и ранним обществам. Натуральное крестьянское хозяйство стало называться *subsistence economy*.

Поскольку рынок стал для этих экономистов основным источником стоимости, археологи, находившиеся под влиянием этого направления, стали обращать много внимания на торгово-обменные отношения в прошлом – на предметы обмена и торговли, на пути торговли, на сети экономических связей, на импорты (благо, с их помощью можно и датировать). Один из лидеров диффузионизма, “король археологии” Оскар Монтелиус опубликовал в 1910 г. большую работу “Торговля в преистории” (Montelius 1910/1911), позже с работами на ту же тему выступили известные археологи Э. Шпрокхоф (Sprockhoff 1930; Schaal 1931; Jahn 1956; Wheeler 1965; Grünert 1979 и др.).

Марксизм. Во второй половине XIX века немецкий экономист и политик Карл Маркс в своих трудах, особенно в “Капитале”, вернулся к идеям Смита и Рикардо и разработал *теорию прибавочной стоимости*: рабочий продает капиталисту свою рабочую силу, которая производит больше, чем стоит сама. Стоимость отличается от цены: цена определяется спросом и поэтому переменчива, а стоимость обусловлена производством. Стоимость труда определяется временем, необходимым на его воспроизведение – обеспечение жизни рабочего и его семьи, а производит она значительно больше товаров. Меновая стоимость их определяется не субъективными оценками (их “предельной полезностью” и т.п.), а общественно необходимым трудом на их производство. Вот разница между стоимостью рабочей силы и стоимостью производимых ею товаров и составляет прибавочную стоимость, которую капиталист кладет себе в карман и присваивает. За счет этой эксплуатации капиталист и богатеет.

Маркс выводил из этого мораль – что это положение несправедливо и должно быть отменено: капиталистическое общество должно смениться социалистическим, где распределение будет определяться исключительно вложенным трудом, а не капиталом или рентой, а удовлетворение потребностей общества будет определяться не свободным рынком, а общенародным управлением по плану, заранее разработанному и учитывающему все потребности. Но как этого достичь? Централизация производства на фабриках и заводах означает возникновение крупных рабочих коллективов, просвещение которых приведет к осознанию ими своих интересов и к пролетарской революции – смене общественно-го строя.

Маркс не учитывал, что плановое хозяйство не может конкурировать со свободным рынком по полноте и гибкости учета многообразных потребностей людей, а ликвидация перспектив личного обогащения приведет к уравниловке, которая неизбежно повлечет за собой ликвидацию стимулов к труду и упадок производства. Практика это многократно доказала. На деле избранные правители и распределители благ как правило превращались в таких же эксплуататоров, каковых перед тем устраняли. Маркс сводил человека к узлу экономических отношений, совершенно не учитывая биологическую природу человека. Таким образом, марксизм является таким же утопическим учением, как все предшествующие социалистические учения.

Между тем недовольные своим положением и своим общественным устройством всегда находятся, и марксизм всегда имеет более или менее активную среду для бытования. За время своего существования марксизм разработал не только систему догм (в разных вариантах), но и систему понятий, терминов и правил для анализа общественных общностей, истории их и экономики – систему, позволяющую выявлять развитие производства, разные формы эксплуатации, революционные тенденции и т.п.

Согласно “историческому материализму” (составной части марксистской аргументации) общество (как система связей) состоит из *базиса* и *надстройки*. Базис складывается из *производительных сил* (людей и орудий с другими средствами производства) и *производственных отношений*. Надстройки – это социальные отношения и идеи. Суть учения в том, что развитие производительных сил определяет изменения в остальных сферах. “Ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталом” (Маркс 1847/1955: 133). В советском марксизме была построена схема продвижения мира к коммунистическому будущему по пяти или шести ступеням – *социально-экономическим формациям*, каждая со своим уровнем производства, своим социально-политическим строем и своей идеологией. Эти формации – первобытная, возможно, азиатская, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и социалистическая как первая ступень коммунистической.

Первоначально были жестко определены уровни производства (соответственно техники) для каждой, впоследствии реализация была усложнена: в разных природных условиях один и тот же уровень мог обусловить разную социально-экономическую формацию: скажем, если в условиях средиземноморского климата бронзовый век был основой для цивилизации (письменности, государства и проч.), в умеренном климате Северной Европы на этой основе возникали только варварские народности, а для цивилизации требовался железный век.

Ясно, что поэтому марксисты обращали больше внимания не на уровни производительных сил, а на производственные отношения. Для археологов важны были первые формации – от первобытной до феодальной. Эти формации разрабатывались марксистскими экономистами. В Германии Г. Кунов (1926) описал “Первобытный коммунизм” (но в отличие от Маркса и Энгельса увидел в нем частную собственность и товарообмен), в России Н.И. Зибер (1983; 1959) рассматривал первобытное общество в марксистском духе еще в XIX веке. Но господствующим в российской науке это стало только после Революции и захвата марксистами власти. Итоговое советское изложение представлено в книгах Г.Е. Маркова (1979) “История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе” и А.М. Румянцева (1987) “Первобытный способ производства”.

Поскольку марксизм всё время пребывал в яростной борьбе с другими течениями, советские археологи особенно в межвоенное время старательно искали доказательства марксизма. Нужно было обнаружить соответствия марксистским

экономическим понятиям и законам производственных отношений: коллективной собственности в первобытной общине, появления товарообмена на ее поздних этапах, имущественного неравенства в эпоху ее разложения. Это было тем более необходимо, что реальная жизнь всё время демонстрировала неконкурентоспособность социализма по сравнению с капитализмом: “иностранные” стало привычным синонимом “превосходное” (“фирма!”). были неувязки и в археологическом материале: по Марксу, сильнее всего изменяются орудия. Но археология показывает, что украшения (фибулы) развиваются куда быстрее орудий, а всего быстрее изменяются орнаменты. Можно лишь говорить о том, что изменения орудий влиятельнее, чем украшений.

Немецкая историческая школа в политэкономии. Более того, появилось и опровержение (фактами!) центрального теоретического положения исторического материализма – что всё здание общества зиждется на производительных силах и изменяется с ними. В политэкономии второй половины XIX века основная тенденция, ведшая от меркантилизма к маржиналистской школе, приняла в Германии особо радикальный характер. Там, при доминировании юнкерства пережитки бюрократического феодализма были очень сильны и капитализм развивался без свободного рынка, испытывая тормозящее воздействие разных сил. Экономисты историческим анализом устанавливали зависимость экономики от факторов права, этики, психологии, религии и т.п. Так складывалась *немецкая историческая школа* в политэкономии (В. Рошер, Г. Шмоллер и др.).

Наиболее известным представителем этой школы был Макс Вебер, который занимался римской аграрной историей, средневековыми торговыми обществами и проч. В 1905 г. он выпустил свой знаменитый труд “Протестантская этика и дух капитализма” (Weber 1905/1965). В нем он показал, что капитализм достиг интенсивного развития в странах, где победил протестантизм (Англия, Голландия, Швеция, США), а отстали католические страны (Испания, Италия, Австрия, отчасти Германия) и православные (Россия, Греция). Почему? Потому что католицизм и православие возводили в достоинство аскетизм, отказ от труда ради молитвы (Бог даст), отвержение богатства, уход в монастырь. Протестантизм же учил, что труд – священное призвание человека, а честно накопленные богатства – богоугодное дело. Достоинствами считал честность, аккуратность, бережливость, трудолюбие.

В 1916-1919 гг. вышел обобщающий труд Вебера “Хозяйственная этика мировых религий” (см. также Вебер 1923). В нем он рассмотрел выделение *индустриальных* обществ в массе *традиционных* (введя эти обозначения).

Труд Вебера оказался очень влиятельным и многих отвращал от слепой веры в то, что “изменения в материальной сфере движут всем”, но в археологии непосредственно это мало сказывалось, так как главные выводы Вебера больше сосредоточены на более поздних этапах.

Исследования престижной экономики. Две работы, опубликованные после Первой мировой войны, еще больше подорвали общую убежденность

в материальных интересах первобытной экономики и особенно в ее рациональности. Это работы Бронислава Малиновского и Марселя Мосса.

Малиновский, поляк из Австро-Венгерской империи, поселившийся в Англии, стал основателем функционализма. Желая увидеть социальные институты в функциональном взаимодействии, он изучил в 1915-16 гг. хозяйственную жизнь меланезийцев на Тробрианских островах и опубликовал результаты в 1920-22 гг. В книге "Аргонавты западной части Тихого океана" он описал обычай *кула* – как бы торгово-обменные отношения, в которых два вида предметов – браслеты и ожерелья из раковин двух видов циркулируют, передаваясь от племени к племени по круговому маршруту навстречу друг другу без всякой практической надобности. Их не носят, их только передают с церемониями. Это дело престижа и поддержания связей – *reciprocity*, то есть социальная взаимобязанность. Престиж обеспечивается не обладанием, а способностью участвовать в даче и отдаче.

Марсель Мосс, племянник и ученик основателя социологизма Дюркгейма, в 1925 г. опубликовал работу "Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаическом обществе". Социальные факты он рассматривал включенными в социальную систему. Он показал, что дарение – это форма обмена, так как предусматривает непременно отдачу, отдарок. Если нет вещественного отдарка, то наступает изменение отношений, зависимость от дарителя. Исследовался индейский обычай *потлач* – аналог русского "почестного пира", где производилась очень затратная раздача даров – в обмен на престиж.

Эти две работы о важности неэкономических стимулов первобытной экономики, как и труд Вебера, послужили ступенями к развитию политэкономии *субстантивизма*. Из марджиналистов Фёрс всё же отмечал глубокие различия между первобытной и капиталистической экономикой. В капиталистической индивид анонимен и безличен, взаимозаменяем. Значимы только его функции. В первобытных и крестьянских экономиках индивид персонифицирован, он занимает определенное поле в силу своего социального положения и переместить его нельзя. Действовал принцип: от каждого по его сословным обязательствам, каждому по его правам в этой системе.

Эти размышления Фёрса обозначают его подвижку в сторону следующей концепции, естественную после Великой депрессии 1929-1933 годов.

Кейнсианство и субстантивизм. После Второй мировой войны на месте бывших колоний оказался всё умножающийся ряд независимых стран – Третий мир. Сам капитализм изменился – пришлось считаться с социальным соперником – профсоюзами, левыми партиями, социалистическими государствами, а рынок всё больше сотрясался кризисами. Война же за передел стала очень опасной для всех ввиду наличия атомной бомбы. Пришлось сделать упор на регулируемую роль государств и международных организаций. В повестку дня вошел не свободный рынок, а регулируемый.

В первой половине XX века Мейнард Кейнс выпустил написанную в этом духе книгу “Общая теория занятости, процента и денег”, в которой предлагал проводить ограниченное, но активное вмешательство государства в экономику (сдерживание монополий, замораживание зарплат и цен), а также преодолевать бережливость, стимулируя расходы и инвестиции. Кейнс получил за это титул барона и вошел в палату лордов Британии, став чрезвычайно влиятельным, несмотря на грубые ошибки в экономических предсказаниях. Кейнс имел решительного и влиятельного противника в лице австрийца Фридриха фон Хайека, который был стойким сторонником полного либерализма, обвиняя всякий социализм и всякое внедрение планового хозяйства в навязывании рабства.

Работы же Вебера, Малиновского и Мосса обратили экономистов к истории. В ней они стали отыскивать доказательства возможности уменьшить роль рынка в экономике вообще. Есть тут и противоположная возможность истолкования: не показывают ли эти исследования, что пока господствовали вне рыночные силы, производство пребывало в скудном состоянии?

Венгр Карл Поланьи, обосновавшийся в Америке, издал в 1944 г. книгу “Великая трансформация”, в которой доказывал возможность регулирования рынка вне рыночными факторами, ссылаясь на древние общества. В 1957 г. он выпустил труд “Торговля и рынок в ранних империях”. Формальному подходу, связанному с понятием “экономить”, он противопоставил подход к хозяйству содержательный, *субстантивистский*, рассматривающий производство, распределение и потребление благ вообще. Институты экономики связаны с мотивами и стимулами человека к производству.

В рыночных странах свободный рынок управляет спросом и предложением, то есть страх перед голодом и погоня за прибылью. Социальная ситуация заставляет людей участвовать в этом. А в архаических обществах в производство ведут другие факторы – кровные узы, правовое принуждение, религиозные обязательства, верность сюзерену и т.д. (мы могли бы также добавить из нашего нынешнего опыта: клановые связи, блат, близость к власти). Экономика там занимает другое место в обществе – она погружена, встроена в общество. Специально экономических институтов либо нет, либо они не играют существенной роли. Их заменяют социальные институты, человеком движут не экономические интересы, а мотивы социальные.

Поланьи выделяет три основные формы экономической интеграции общества: рыночный обмен, реципрокность (взаимность в обмене дарами) – в первобытных обществах и редистрибуция (перераспределение благ властями) – в ранних империях, архаических обществах (к этому близки и некоторые современные).

Ученик и последователь Поланьи, Джордж Далтон подробнее разработал эти формы, особенно в крестьянских обществах с некоторым наличием рынка (Dalton 1967; также Nash 1966; Gazel 1967; Gudeman 1986). В нашей этнографической литературе Ю.И. Семенов (1973) выступил за субстантивизм, Н.А. Бутинов (1979) – против.

Поскольку те социальные факторы, которые эта концепция предполагает в первобытных и древних обществах, археологически гораздо труднее уловимы, чем чисто производственные, археологам здесь меньше возможностей применить свои материалы. Здесь больше значения приходится придавать возможностям корреляции между свидетельствами обмена и распределения благ, а также их интенсивностью, с одной стороны, и чисто социальными, неэкономическими явлениями – с другой.

В современной науке ряд представленных здесь традиций имеют своих сторонников и развиваются дальше с переменным успехом, воздействуя на интересы археологов то меньше, то больше.

2. Типичные ошибки в реконструкции хозяйства. Коль скоро в советской марксистской схеме развития общества и хозяйства разные модели хозяйства были жестко привязаны к этапам развития (к социально-экономическим формациям), требование *историзма* неуклонно предъявлялось ученым в реконструкциях. То есть каждая модель должна была четко соответствовать исследуемой эпохе – первобытному обществу, рабовладельческому, феодальному и т.д. Всякие отклонения рассматривались как *анахронизмы*, их практически два рода: *модернизация* и *архаизация*. С меньшей четкостью, но эти же отклонения считаются грехом и в немарксистских исследованиях.

Модернизация в повседневной жизни считается положительным явлением – если не целью, то средством достижения народного благоденствия. В исторической реконструкции она насматривается как недостаток и ошибка. Под модернизацией здесь разумеется неправомерное осовременивание прошлого, помещение современных явлений или явлений позднего времени в ранний контекст. Так сказать “янки при дворе короля Артура”. В анекдотических случаях это когда в цивилизации майя усматривают телеграф, египтянам эпохи пирамид приписывают современные знания астрономии и химии, а восточнославянских предков задолго до Киевской Руси называют русичами и вооружают мечом и щитом. Не стоит называть греческих и римских полководцев генералами, сатрапов – губернаторами, а думских бояр – конгрессменами.

С другой стороны, аналогии с современностью лежат в основе всего нашего понимания прошлого. Мы не можем без них обойтись, без них нет понимания. Мы хорошо понимаем современные явления, привыкли к ним, умеем их использовать, и переносим это знание на аналогичные и близкие явления прошлого, временно игнорируем различия, отвлекаемся от них. Это и дает нам (пусть неполное) понимание явлений прошлого, чуждых и далеких. Ошибка состоит в полной утере различий из вида. А различия совсем забывать нельзя: они дают нам ощущение расстояния во времени, приспособленность к историческому контексту.

Архаизация как частная ошибка встречается реже. Ее применяют, когда склонны подчеркнуть отсталость какого-нибудь общества по сравнению со сво-

ей эпохой или его традиционность, связь с предковой культурой. В повседневной жизни архаизация – это стилизация под арханку (прием искусства, лишь иногда уместный), в литературе – оснащение речи героев старинными словами. Изредка термин *архаизация* употребляют как антоним термина *модернизация* – для обозначения стремления вернуть общество к предыдущим состояниям, в противовес прогрессу. Эта тенденция имеет некоторую связь с архаизацией в исторической реконструкции – с тягой подчеркивать и воспевать архаичные явления. В исторической реконструкции под архаизацией понимается неправомерная примитивизация исторического явления, помещение древнего явления в позднейший контекст – вплоть до современного. Парадоксальная иллюстрация – Иван Грозный в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”.

Нередко архаизация является невольным следствием незнания. До труда Б.А. Рыбакова все мы не представляли себе развитие ремесел в Киевской Руси, а до находок берестяных грамот экспедицией А.В. Арциховского в Новгороде не ожидали, что письменность применялась столь интенсивно в средневековых русских городах. До находок Артура Эванса на Крите и Карла Блегена в материковой Греции было немыслимо предполагать, что греческий язык существовал на Крите и в Греции за тысячу лет до античности и имел письменность до финикийского алфавита. Оказывается, всё это было невольной архаизацией. Удревнение многих исторических явлений оказывается общей тенденцией развития науки (и радиоуглерод резко удревнил хронологию энеолита и бронзового века, и находки ископаемых гоминид удревнили человеческий род на несколько миллионов лет), так что архаизация как общее явление оказывается весьма распространенной.

Рецепт ее избегания (любой архаизации – как сознательной, так и невольной) прост и труден. Он заключается в как можно более полном знании контекстов. Контекста, в котором оказалось явление, и контекста, в котором оно является естественным. А это предполагает знание аналогичных явлений и их контекстов. И логики развития данного комплекса явлений.

Если обобщить оба рода ошибок – модернизацию и архаизацию, – то можно выявить и общий облик ошибки, обобщить отклонение – неправомерно всякое отрешение от исторического контекста. Отвлечься от контекста бывает полезно при классификации явлений, при их категориальном изучении, но при реконструкции нужно сообразовать явление с его контекстом, ибо в ином контексте оно может иметь другие функции и даже дугой облик.

А если так поставить вопрос, то выявится и третий вид ошибки, еще не учтенный в нашем обзоре – отсечение от контекста, современного явлению, то есть приписывание явления к другому современному контексту, без сбоя во времени. Назовем это отклонение *сдвигом контекста*. Вместо контекста кочевнического может быть подставлен контекст земледельческий, вместо погребального – жилищный, вместо могилы – клад (в прошлом очень частый сбой). Помню, одна молодая исследовательница поделилась со мною своим удивлением: в раскопанном

ею поселении все жилища были очень тесными и в каждом лежало по покойнику. Существенные различия могут иметь и разнокультурные контексты: молоточковидные булавки в ямных и катакомбных погребениях лежат на груди покойного, а в северокавказской культуре – у головы, в районе прически. По-видимому, они исполняли там другую функцию.

3. Типология и функции. Недавно Ю.Л. Шапова (2011) опубликовала книгу “Материальное производство в археологическую эпоху. Концепция и модель”. Это развитие ее прежних идей, из которых выхода на реконструкцию конкретных археологических структур не обнаруживается. В своем “Введении в вещеведение” (2000) Ю.Л. Шапова поместила главу “Функциональная систематика древностей”. В ней она формирует систематику древностей, исходя из предложений Л.А. Хурсина и С.М. Бреховских с соавторами по упорядочению современной системы функциональных взаимодействий: “Систематика служебных функций современного материального производства ориентирована на изучение и упорядочивание материального производства, экологических функций и функций сферы услуг” (2000: 93).

Между тем современная система имеет совершенно другие приоритеты (упор на машины) и другое распределение материалов (далеко не столь важны и разработаны украшения и емкости). В ней другое отношение к фрагментированному материалу и другое членение материалов вообще. Она не подходит к организации археологических данных (см Клейн 2005б). Но правильно подмечено, что функциональная систематика, важная и для других сфер, для хозяйства, для познания материального производства имеет особое значение.

Очевидно, что требуется разработка специальной систематики для археологии, в которой будут традиционные археологические рубрики – по материалу: кремь и обсидиан, мягкий камень, кость, керамика. По функции – орудия, оружие, утварь, сооружения. По сохранности – целые вещи, фрагментированный материал, следы (см. Клейн 1978: 90-100, 112-114; 1993: 178-180, 274-276).

Первое, по чему мы судим о функциональном назначении артефактов – это их материал и особенно форма, то есть то, что в археологическом обиходе называется *типологией*. Как отмечает Шапова, “функция предмета мало зависит от материала, из которого вещь изготовлена, и тем более от технологии, декора и т.д.” (2000: 96). Это сказано чересчур категорично. Функции металлической посуды и глиняной, золотых сосудов и бронзовых хотя и схожи, но различны. Стальной или бронзовый меч – это оружие, деревянный – это только макет или игрушка. Сравните у нас ножи стальной и костяной (книжный, для разрезания страниц). Но верно, что от формы предмета функция зависит больше.

Создавая *типологическую систематику*, то есть прежде всего расклад категорий (нож, топор, наконечник стрелы, горшок и т.д.), строго говоря, мы могли бы каждую категорию и каждый тип именовать условно буквенными или цифровыми

обозначениями, и некоторые пуристы так и поступают. Но ради удобства оперирования *категориями* в описаниях и изложениях, исходя из обычной настроенности нашей психики на запоминание скорее осмысленных слов, чем сухих букв и цифр, мы предпочитаем по старинке именовать наши категории обиходными словами, в которых совершенно четко выражено их предполагаемое функциональное назначение. Даже типы, не говоря уж о категориях, мы норовим назвать по внешнему виду, как бы это ни было громоздко – семилопастное височное кольцо, семилучевое височное кольцо, волнисто-линейный орнамент, шнуровая керамика, ямочно-гребенчатая керамика.

Это не просто практически удобный прием. Со времен канонической схемы В.А. Городцова мы и теоретически объединяем в категорию вещи предположительно одного функционального назначения (хотя бы оно еще не могло считаться доказанным), а под тип подводим исторически обусловленный (в своей общности, в своих границах распространения) вариант этой серии вещей. Иное дело, что для типов (как и для культур) мы всё больше предпочитаем названия не по форме, а, если не буквами и цифрами, то по первому месту нахождения (андроновский сосуд, топор бородинского типа). Названия по форме держатся только по традиции (ямная, катакомбная, срубная культуры, грузик Дьякова типа).

Напомним, что “функция древних вещей мало и плохо известна нам”, Щапова пишет: “Археологи глубоко убеждены, что функция предмета и его форма связаны между собой настолько, что по форме и по наличию определенных признаков можно судить о его функции” (2000: 102-103). Правда, она оговаривает, что “функция одной и той же вещи может быть разной в разных контекстах”. Несмотря на эту всеобщую убежденность в правомерности умозаключений от формы к функции (по логике), насколько я могу припомнить, никто конкретно эту методику не формулировал и этим не занимался. Методикой заключений по аналогии занимались, есть ряд работ по этой тематике, а вот логикой формы – нет.

Это связано с отсутствием в археологии определителей артефактов, аналогичных тем, которые наличествуют в других науках, имеющих дело со стандартизированным материалом. Есть определители растений по цветам и листьям, определители минералов, монет, даже языков, а вот определителей археологических находок нет. Под определителями я имею в виду не всякие обширные собрания материала (листай и наткнешься на некое), а такие, в которых по ступенчатому перечислению признаков (от общих к частным) можно добраться до позиции обследуемого объекта в системе. Археологическая систематика разработана эволюционно и хронологически, но не логически как система. Вероятно, это связано с тем, что до сих пор археология не была массовым увлечением, а узкие круги специалистов и любителей специализировались по отдельным отраслям археологии, материал которых знали избирательно.

В форму входят а) внешний облик предмета – его очертания и характер поверхности, а также б) морфология – членение на составные части и в) тектони-

ка – строение предмета, его структура. Собственно, термин *морфология* означает просто наука о форме, но под влиянием грамматики *морфология* стала обозначать состав предмета.

Для заключений от формы артефакта к его функциональному назначению первостепенное значение имеют две вещи: а) логика оценки приспособленности артефакта данной формы к выполнению тех или иных функций и б) подбор аналогий в быту и в этнографии к артефактам такой формы с определением их использования в этих ситуациях. Для предметов раннеисторических нередко находится их название и описание в письменных источниках – как, скажем, писало (острие для процарапывания букв на бересте), эпинетрон (наколенник для ткачихи), братина и т.п.

Надо бы привести эти формы и их истолкование в систему, собрав материалы и отметив степень доказанности корреляции форм с функцией. Хотя очевидно эта задача видится археологам слишком простой и не стоящей труда. Если всё же кто-то поставит ее перед собой, предстоящие действия ясны.

В разработке логического пути от археологического материала к определенной функции нужно будет исходить из материальных форм предметов. Скажем, определить вещи удлиненной формы с утяжелением на одном конце и рукоятью (местом, удобным для захвата рукой) на противоположном. Эти предметы наиболее удобны как орудия для дробления объектов обработки и как оружие ближнего боя и ударного действия (для разможающих ударов дубиной или булавой). Можно также выделить емкости – как предметы с полостью и максимальной экономией материала вне этой полости, так что она сверху открыта, а со всех остальных сторон окружена сравнительно тонкой стенкой. Эти емкости используются, если они из твердых материалов, как утварь – сосуды для пищи, из мягких материалов – для хранения сыпучих и жидких продуктов и веществ (мешки и бурдюки), при уподоблении формы кистям рук и стопам ног и голове – как перчатки, обувь и шапки.

Систематику предметов по их внешней форме нетрудно составить, используя геометрические (стереометрические) фигуры и материалы, а в оценке их функциональных возможностей – исходить из логики, простейшей механики и опыта.

Есть нечто общее у всех ножей (клинок, острое лезвие, рукоять). Вещи, похожие на нынешние топоры, с металлическим тяжелым клином, у которого есть проух, лезвие и обух, а в проух вставлено деревянное топорное, – естественно определить как топоры для рубки дров или бревен. По формам керамической посуды мы различим сковороды для жарки, кувшины для жидкости, горшки для варки, чаши для питья, ковши для зачерпывания и т.д. Мы отличим парадную посуду от хозяйственной по тонкости и выделке, украшенности. Логика и наш практический опыт побуждают нас считать остродонную посуду больше приспособленной для закрепления в песке или костре, круглодонную посуду пригодной для переноски и перевозки в обвязке и сетках, плоскодонную – для установки на ровном поде

печи, на полу жилищ или на столе. Впрочем, опыты С.А. Семенова (1965: 222) показали, что круглодонная и остродонная посуда лучше выдерживает сушку, чем плоскодонная, и он объясняет этим ранние, неолитические формы керамики. Но позже плоскодонную всё же выделяли и сушили, так что этот вывод не вполне убедителен. Есть сотни форм, в которых мы угадываем приспособленность к необходимым функциям, удовлетворяющим потребности нашего тела и наших простейших жизненных операций по добыванию пищи, обогреву, изготовлению одежды, постройке жилища и т.д.

Конечно, в реальной жизни категории и их группы, бывает, с трудом можно разграничить. Так орудия охоты и оружие весьма схожи по форме и многие предметы применимы в обеих функциях. Обычно, однако, оружие отличается большей заботой об эстетике – войне всегда старались придать престижный статус (как, впрочем, и ритуальной охоте знати). Сосуды для питья воды и опьяняющих напитков различаются столь же радикально: вторые обычно делаются более эстетичными. Еще труднее разграничить оружие и инсигнии власти (скипетры, булавы, доспехи), а также украшения и инсигнии власти и статуса (диадемы, ожерелья, браслеты, перстни).

Но логика и аналогии полностью отказывают в определении предметов, совершенно неупотребительных в современном быту и неизвестных ранее исследователю вообще. Непонятны по своему функциональному назначению грузики Дьякова типа, молоточковидные булавы ямной и катакомбных культур, зооморфные “скипетры” энеолита, палеолитические Венеры, биноклевидные трипольские сосуды и т.д. Существуют десятки гипотез, а однозначного решения нет. Возьмем грузики Дьякова типа. Это конусовидные глиняные поделки с вертикальным каналцем, нижний обод часто с нарезками. Высказывались разные предположения: что это или грузики для ткацких станков, или грузила для рыболовных сетей, или пряслица, или предметы ритуального назначения (обычное объяснение для непонятных вещей). Наиболее вероятным мне представляется, что это крышечки для небольших масляных ламп (в отверстиях находят нити – от фитиля?). Но и остальные объяснения не исключаются. Так называемые зооморфные “скипетры” энеолита – вовсе не скипетры: у них нет проуха для рукоятки, а заполирована только передняя часть; задняя оставлена шероховатой – для захвата рукой?

Еще больше предметов и сооружений, которые, вроде бы, определены, но полного понимания их функций не достигнуто. Понятно, что в дольменах хоронили покойников, но в большинстве дольмены пусты. Каменные стелы в степях нередко находятся в погребениях, но во вторичном залегании. Как они связаны с покойниками и связаны ли? Катакомбные курильницы с отделением внутри – явно сосуды культовые, но использовались ли они для воскурений или для поения птиц, предполагающего в них души умерших (об этом, вроде бы, говорят этнографические аналогии)? Каменные боевые топоры-молоты, обильно рассыпанные по степи и лесостепи, – это оружие или символы власти и статуса? А каменные булавы с четырьмя выпуклинами?

4. **Технологические анализы и реконструкция.** Всякое хозяйство складывается из орудий, материалов и навыков по их использованию, а всё это объединяет определенная система организации, которая отражается в том, что теоретики называют моделью. Восстанавливать картину прошлого археологам (как и следователям) приходится по следам и остаткам, а для этого применять свои знания аналогичных сохранившихся структур (это знания типичных материалов и предметов – такими знаниями обладал Шерлок Холмс), а также технологические анализы наличных остатков и следов.

Под технологическими анализами я понимаю здесь не только анализы технологии изготовления вещей, но всякие анализы состава и структуры вещей и веществ, применяющие технические средства – от лупы до электронного микроскопа и от весов до рентгенофлуоресцентного спектрометра. Анализы механические, оптические, химические и т.д.

• **Функционально-трасологический анализ** занимает видное место в изучении орудий и объектов работы (от англ. *trace* ‘след’). Это исследование функций вещей по следам их использования и изнашивания. Разработал его в 1930-е – 1970-е годы ленинградский (петербургский) археолог С.А. Семенов (1957; Semenov 1964). За рубежом этот анализ тоже применяется (Olausson 1980; Vaughan 1980). По-английски он называется *use-wear analysis* ‘анализ использования и изнашивания’. К названию этого метода его разработчики добавляют еще и обозначение “экспериментальный”, а один из них, Е.Ю. Гиря (Giryu 1996), поясняет, что это не обычный эксперимент, как в других науках, а эксперимент, сопряженный с моделированием, – модельный эксперимент. Суть метода заключается в том, что мельчайшие следы, остающиеся на каменных (в частности кремневых) и костяных орудиях от длительной работы (заполированность лезвия, лощение, шлифовка, царапины и т.п.) изучаются под бинокулярным микроскопом под изрядным увеличением (в десятки раз) и сравниваются с такими же следами на экспериментальных моделях, то есть с нанесенными в эксперименте следами от известных исследователю операций. Таким образом, выясняется, в каких действиях участвовал предмет.

До разработки этого метода функции предметов устанавливались в основном по их материалу и форме, исходя из логики и этнографических аналогий (включая в них бытовую современность).

Изучение следов в ряде случаев внесло ясность. Кремневые концевые скребки оказались орудиями не для резания, а для бахтармения кожи – ими работали, двигая их фронтально брюшком вперед (рис. 81). Кремневые ланцетовидные острия из Костенок I, по форме весьма напоминающие наконечники стрел с выемкой сбоку и так и аттестуемые (такие же в Виллендорфе и Гримальди), как оказалось, имеют следы употребления, вполне аналогичные следам на ножах, – заполированность на острие и лезвии. Ясно, что они исполняли функцию ножей для потрошения (рис. 82). Функция кремневых резцов подтвердилась поперечными штрихами-царапинами в рабочего конца (рис. 83). Ножевидные кремневые



Рис. 81. Микрофотографии следов шлифовки на концевой скребке (1-4) и плоскости работы концевым скребком (5) по С.А. Семенову (1957, рис. 311).

пластинки из Сибири с заглаженной стальной пласти струною зашлифованность только в своей узкой верхней части, но с обеих сторон лезвия. Для них пришлось предположить употребление как у охотничьих и пастушеских верунов — в виде специализированного столового ножа для еды мяса, когда мясо подается на полоски и так жарится или варится. Такая узкая полоска заглаживается одним ударом ножа снизу подается и отрывается (рис. 84). Без функционального-эволюционного анализа это применение этнографической лезвие не является доказательств.

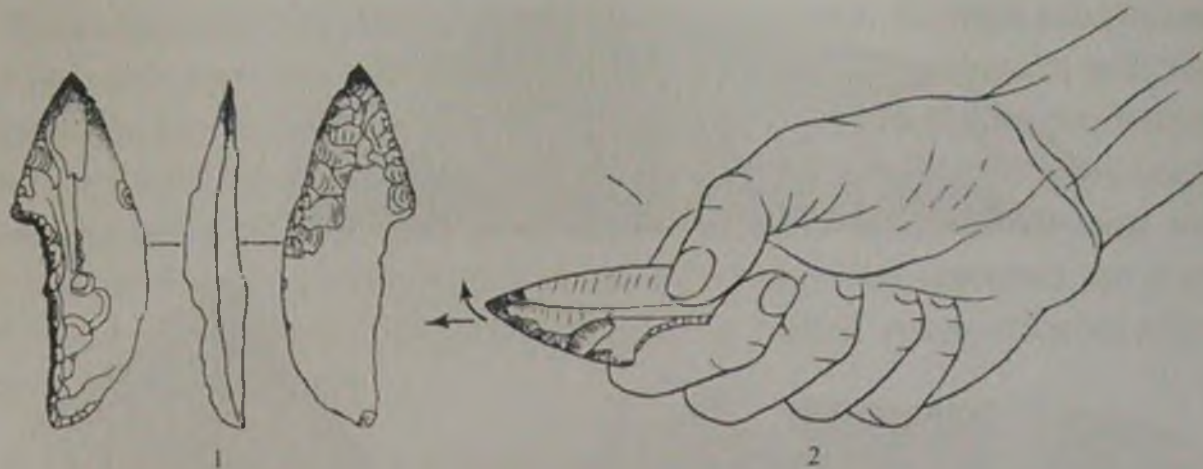


Рис. 82. Наконечник с выемкой (1) и способ работы им (2) по С.А. Семенову (1957, рис. 36).

Исследование кремневых ножевидных пластинок из раскопок С.Н. Бибиковым раннеземледельческого (трипольского) поселения Лука-Врублевецкая показало, что у них часть лезвия заполирована до зеркального блеска, а на заполированной поверхности видны поперечные штрихи и овальные лунки (от выдернутых ядрышек) с углублением в одну и ту же сторону (рис. 85), говорящие о работе по стволам злаков быстрыми движениями на себя. Семенов реконструирует жатвенные ножи, насаженные на рукоятку и употребляемые в виде серпов (рис. 86).

Подверг Семенов обследованию и песчаниковые парные полуцилиндры с желобком посередине, называемые выпрямителями древков стрел. В.А. Городцов определял их как литейные формы для стержней, А.В. Добровольский – как тиски для протягивания ремешков, но А. Тальгрэн, А.А. Иессен и другие сошлись на том, что это выпрямители древков стрел. Подразумевалось, что когда пара сложена, образуется каналец, сквозь который протягивается древко стрелы. Семенов, рассмотрев под бинокулярным микроскопом такие неолитические полуцилиндры из раскопок А.П. Окладникова под Верхоленском (один из них – с недоведенным до конца желобком), определил, что традиционное определение близко к истине, но тоже не верно – это абразивы для затачивания костяных шилообразных орудий (рис. 87). Выпрямление древков производилось распариванием, а не протягиванием. Протягиванием могло бы осуществляться полирование или лощение, но это удобнее делать порошком и кожей. Так что придется обозначать эти предметы с оговоркой: “так называемые выпрямители древков стрел”.

Также подвергнуты исследованию у Семенова костяные орудия, определенные им по следам изнашивания как лощила для кожи и для керамики, землекопные орудия (мотыги, кирки, лопаты), разбивальники для ремней (для их размягчения и растягивания) и т.д.

Конечно, функционально-трассологическому анализу могут быть подвергнуты и украшения, утварь, оружие, но для определения функций орудий он применяется больше всего (Коробкова 1993; Гиря 1997; Korobkova 1999). Война же в

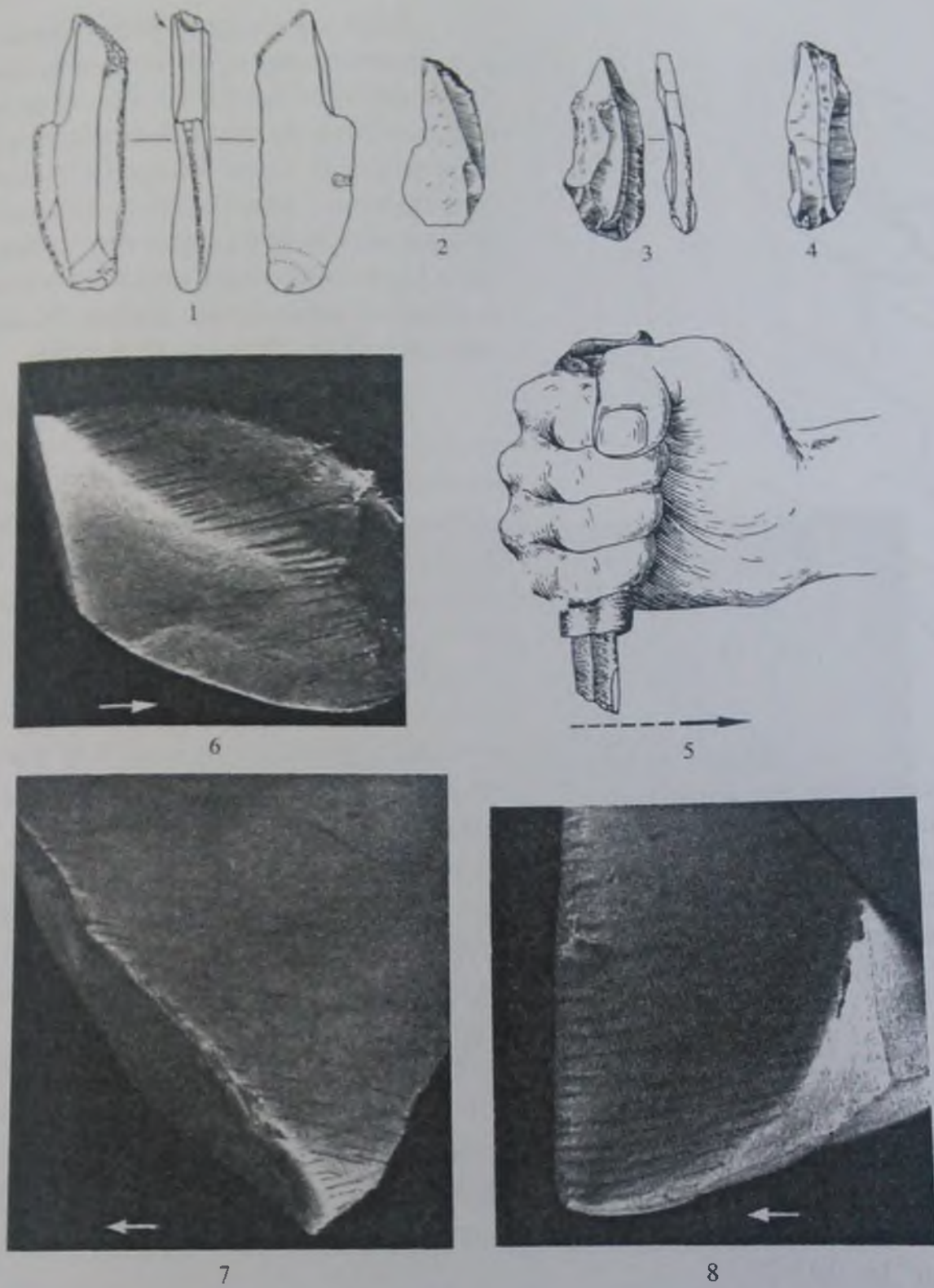


Рис. 83. Резцы из Мезина и Мальты (1-4) и способ работы им (5), а также микрофотографии следов изнашивания на резцах из Тимоновки (позний палеолит) по С.А Семенову (1957, рис. 38).

первобытном обществе может рассматриваться как вид производства, а значит, оружие – наравне с орудиями. Во всяком случае охотничье оружие в отношении социальных функций неотличимо от рабочих инструментов. А утварь в значительной части относится к хозяйству.

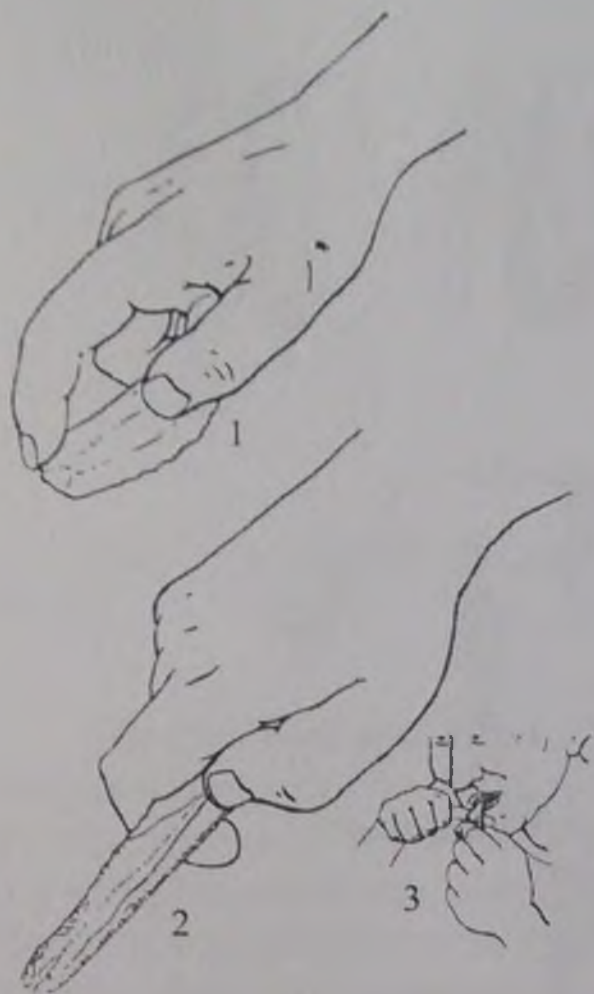


Рис. 84. Два типа мясных ножей в позднем палеолите по материалам Мальты и Костенок (1-2) и подрезка сырого мяса у рта во время еды (Семенов 1957, рис. 42).

1995) и в монографиях основных исследователей Черных, Рындиной, Щаповой и др. и в учебнике Щаповой (1988) “Естественно-научные методы в археологии”. Очень хороший сжатый обзор этих методов представил Я.А. Шер в совместной с А.И. Мартыновым книге “Методы археологического исследования” (Мартынов и Шер 2002) – это 10-я глава этой книги, названная “Состав и технология древних материалов” (с. 203-213).

Состав вещества древних предметов уже не определяют простым химическим анализом. Это очень трудоемко и наносит заметное повреждение самому предмету: требуется проба не менее двух граммов, ее нужно растворять в различных химикалиях, осадок прокалывать и взвешивать. Теперь для определения состава пользуются спектральным анализом: 15-20 миллиграммов, то есть в сто раз меньшее количество вещества, сжигают в пламени вольтовой дуги и, пропустив свет через призму, получают спектр, в котором каждому химическому элементу отведено природой свое место. Чем больше этого элемента, тем интенсивнее обозначится его линия. Спектральный анализ отработан в промышленности и затем в

Работы Семенова подверглись критике и уточнениям в работах англичанки Рут Тринкхэм (она показала, что штрихи и бороздки Семенова не столь универсальны, как он считал), а затем введение электронного сканирующего микроскопа позволило Лоренсу Кили из Оксфорда (некоторое время работал в Чикагском университете) улучшить возможности определения следов (Keely 1974; 1980; Knutsson 1988; van Gijn 1990).

• Химические и микроструктурные анализы материалов – другой видный источник познания археологами древних орудий и процессов производства. Здесь прежде всего должны быть названы анализы керамики и металлов. За рубежом они проводятся с довоенного времени, но широко развернулись с 30-х годов XX века (Tite 1972; Rottländer 1983). В нашей стране вехами развития этих методов стали два сборника 60-х годов – “Новые методы в археологических исследованиях” и “Археология и естественные науки” (Новые 1963; Археология 1965), хотя были монографии и в предшествующее десятилетие. Последующее развитие отражено ряде сборников (Использование 1978; Новое 1979; Методы



2

Рис. 85. Кремневые жатвенные ножи из Луки Врублевцевой (1) и микрофотографии рабочего лезвия одного из них (2) (Семенов 1957, рис. 52).

криминалистике. Он очень чувствителен: позволяет улавливать очень небольшие примеси – в одну сотую процента, то есть в одну десятитысячную состава.

Этот анализ обеспечил возможность устанавливать источники добывания кремня для орудий неолита и распространение кремня торгово-обменными отношениями (Ковнурко 1963), керамики (Гражданкина 1965; Митричев 1965), стекла (Безбородов 1956; 1963; 1965; Шапова 1963; 1965; 1972; 1983). В русском стекле Шапова выявила семь рецептов изготовления стекла – от заимствованного у византийцев до калиево-свинцового стекла из дешевого местного сырья. Химический состав керамики в основном состоит из кремния, алюминия, кальция, титана,

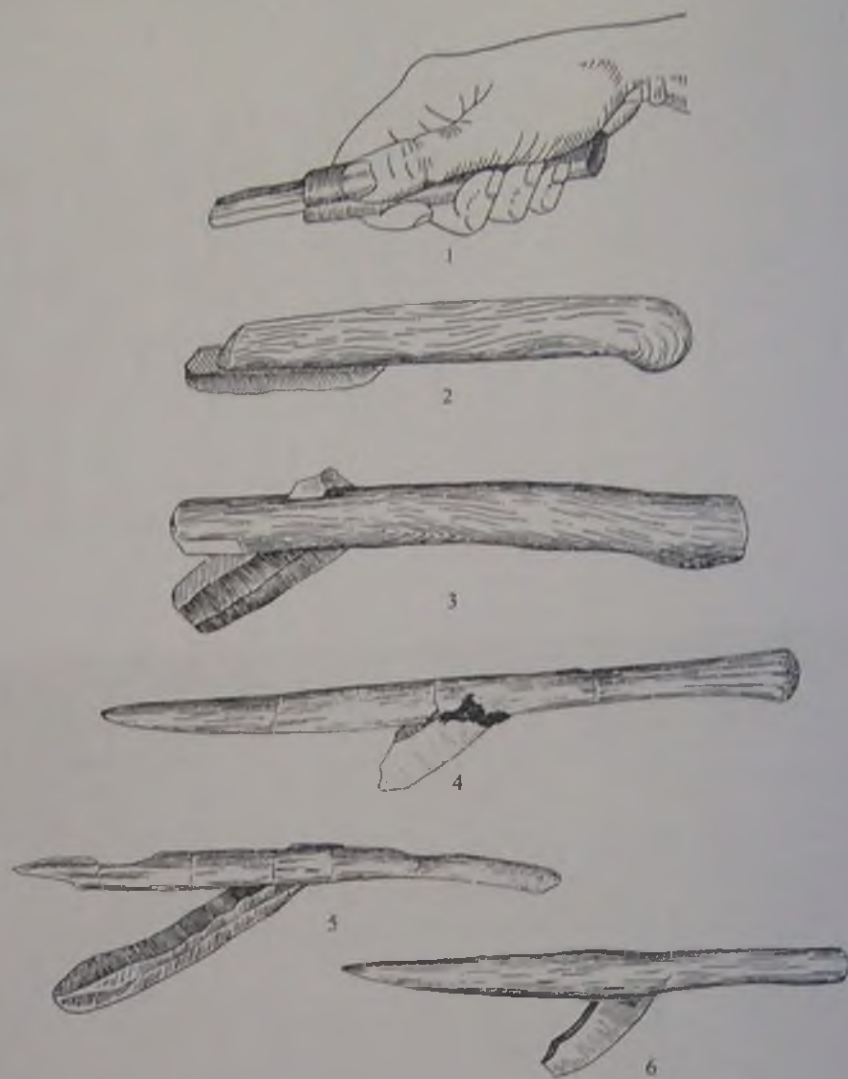


Рис. 86. Способы насадки жатвенных ножей из Луки Врублевецкой (1-3) и крменвые серпы в деревянных руколятках из Швейцарии (4-6) (Семенов 1957, рис. 53).

магния, натрия и железа, а сопутствующими примесями выступают медь, калий, барий, никель, хром, ванадий, цинк, свинец, олово, цирконий и молибден. Этой свиты примесей вдобавок к разной доле основных элементов достаточно для выделения устойчивых групп керамики – каждой со своим источником сырья.

Э.В. Сэйр и Б.У. Смит проанализировали древнее стекло на присутствие 26 химических элементов тремя методами: фотометрией пламени, колориметрией и оптическим эмиссионным спектрометром. Были установлены разные виды стекла, различимые по составу: стекло II тыс. до н.э. из Египта и всего Средиземноморья было типичным стеклом с содой и известью, содержащим большую примесь магния; стекло последних веков до н.э. из Греции, Малой Азии и Персии отличалось примесью сурьмы и имело не столь большие примеси магния и калия. Римское стекло имело меньше сурьмы и больше марганца, чем другие виды. И т.д.

Особенно большие успехи достигнуты в изучении металлических сплавов бронзового века (Селимханов 1960; 1965; Черных 1965; 1966). Визуальными

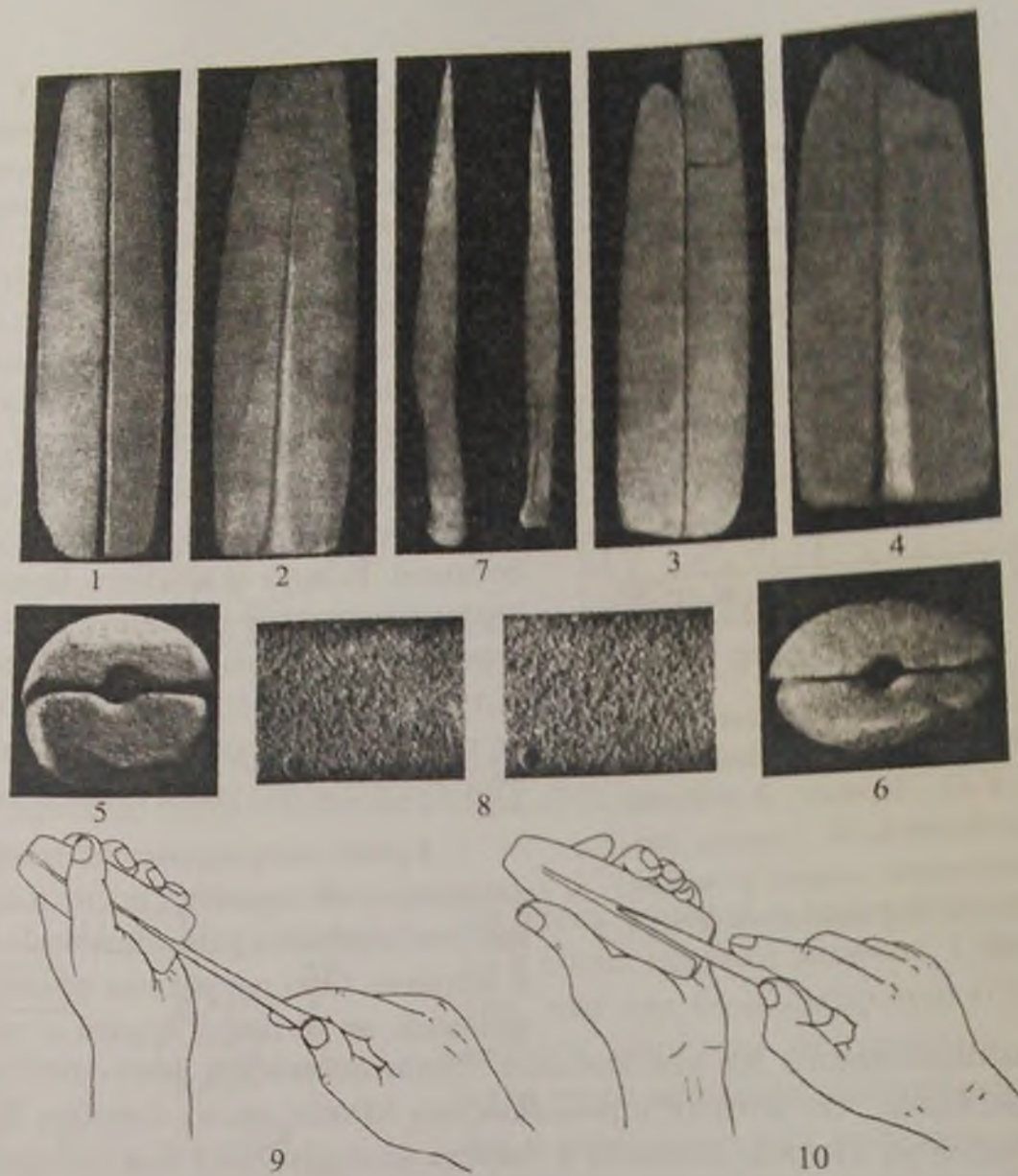


Рис. 87. Абразивные инструменты из Верхоленска (1-6), костяные шилья (7), микрофотографии их рабочей поверхности (8) и способы затачивания шильев (9-10) (Семенов 1957, рис. 70).

оценками археологи различали медь и бронзу, но только спектральным анализом удалось выяснить, что бронза как сплав меди с оловом (оловянистая бронза) появилась у нас не в начале бронзового века и больше в Уральском регионе, а ранний бронзовый век и Кавказский регион довольствовались сплавом меди с мышьяком (мышьяковистой бронзой). Мышьяк в концентрации до 8% придает бронзе высокую прочность, а в более высокой концентрации бронза теряет прочность, но зато становится легкоплавким и вдобавок приобретает красивый серебристый оттенок. Так вот оказалось, что орудия и оружие имеют концентрацию 3-8%, а украшения и пуговицы – с примесью мышьяка 8-15% (рис. 88). В Средней Азии (Тулхарский могильник) медь оказалась в сплаве с цинком – это латунь. В других районах был сплав с сурьмой (сурмянистая бронза).

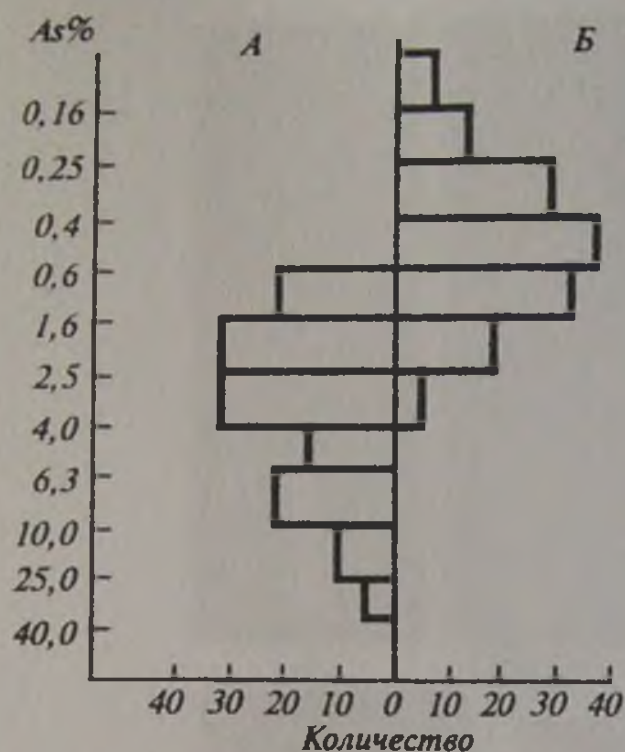


Рис. 88. Распределение концентраций примесей мышьяка в бронзе по Е.Н. Черных: А – бусы, подвески и булавки, Б – ножи, топоры, наконечники стрел и копий, серпы (из книги Мартынова и Шера, 2002, рис. 39).

руды и выплавленного из нее металла. Устанавливается масс-спектрометром. Раньше считалось, что жители шлимановских Микен своего серебра не имели – импортировали из Египта, Испании и прочих центров. В 1970-е годы немецкие и английские исследователи по анализу стабильных изотопов (их четыре) примеси свинца в серебре установили, что все микенские серебряные изделия бронзового века сделаны из местных греческих руд – Лаврионских (близ Афин) и с о. Сифноса в Эгейском море (рис. 89). Даже египетские импортные вещи (они были из афинского серебра, хотя и сделаны в Египте)!

Аналогичным образом исследуются источники мрамора скульптурных и архитектурных древностей, только измеряется соотношение изотопов углерода (C_{12} и C_{13}) и кислорода (O_{18} и O_{16}). Таким образом было установлено, из каких карьеров происходил мрамор ряда греческих памятников (с гор Петеликон и Гиметус близ Афин или с островов Наксос и Парос) (рис. 90).

Есть и другие методы обследования вещества: рентгеновский флуоресцентный метод (когда возбужденное рентгеном вторичное свечение дает спектр, который и исследуется), метод обратного (отраженного от исследуемого образца) рассеивания бета-лучей от какого-либо радиоактивного изотопа. Самым мощным из подобных методов считается нейтронно-активационный анализ, но

В природных залежах нет чистой меди, руды всегда содержат разные примеси, и от них остаются микропримеси в изделиях. Анализ набора этих микропримесей позволяет устанавливать рудные источники металла (Денисов 1963). Характеристики основных горнорудных центров нашего региона Евразии (Балкано-Карпатский, Кавказский, Уральский, Казахстанский, Среднеазиатский) известны.

Ранее считалось, что металлургия меди и бронзы распространялась из Месопотамии, Египта и Южного Ирана. Спектральный анализ и радиоуглеродное датирование установили, что в Малой Азии металлопроизводство возникло минимум на тысячу лет раньше, а на Балканах такой очаг существовал уже в IV тыс. до н.э.

Кроме микропримесей такой же опознавательный характер носит и соотношение стабильных и радиоактивных изотопов в металле. Оно разное для разных рудных залежей, но остается одним и тем же для

руды и выплавленного из нее металла.

Устанавливается масс-спектрометром. Раньше считалось, что жители шлимановских Микен своего серебра не имели – импортировали из Египта, Испании и прочих центров. В 1970-е годы немецкие и английские исследователи по анализу стабильных изотопов (их четыре) примеси свинца в серебре установили, что все микенские серебряные изделия бронзового века сделаны из местных греческих руд – Лаврионских (близ Афин) и с о. Сифноса в Эгейском море (рис. 89). Даже египетские импортные вещи (они были из афинского серебра, хотя и сделаны в Египте)!

Аналогичным образом исследуются источники мрамора скульптурных и архитектурных древностей, только измеряется соотношение изотопов углерода (C_{12} и C_{13}) и кислорода (O_{18} и O_{16}). Таким образом было установлено, из каких карьеров происходил мрамор ряда греческих памятников (с гор Петеликон и Гиметус близ Афин или с островов Наксос и Парос) (рис. 90).

Есть и другие методы обследования вещества: рентгеновский флуоресцентный метод (когда возбужденное рентгеном вторичное свечение дает спектр, который и исследуется), метод обратного (отраженного от исследуемого образца) рассеивания бета-лучей от какого-либо радиоактивного изотопа. Самым мощным из подобных методов считается нейтронно-активационный анализ, но

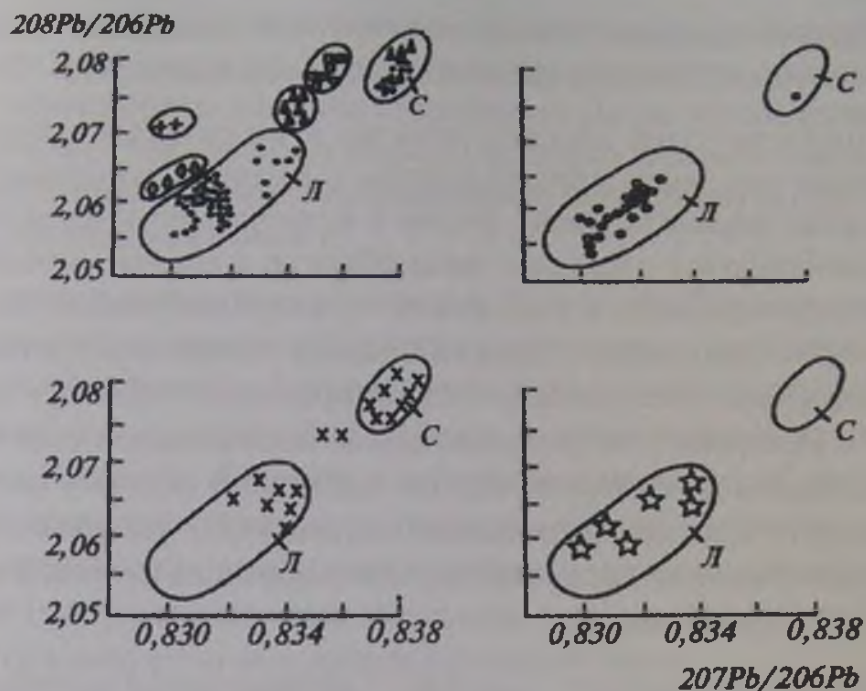


Рис. 89. Изотопный анализ свинца в серебре из разных древних выработок: Л – Лаврион, С – Сифнос (из книги Мартынова и Шера, 2002, рис. 50).

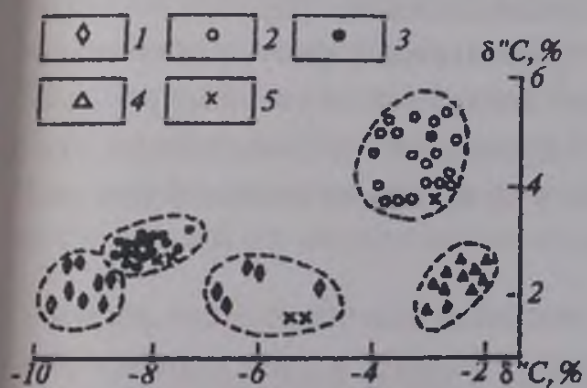


Рис. 90. Сравнение образцов мрамора от архитектурных деталей и скульптур (эти образцы отображены геометрическими знаками) с образцами из карьеров (отображены крестиками) по содержанию изотопов кислорода (из книги Мартынова и Шера 2002, рис. 51).

он очень дорогой и применим пока только к очень важным задачам. Состоит он в том, что при бомбардировке (облучении) любого вещества нейтронами, атомные ядра этого вещества захватывают нейтроны и начинают сами излучать энергию, а энергия каждого вещества имеет свою позицию в спектре. Этот анализ чрезвычайно чувствителен: он действует по тому же принципу, что и спектральный анализ, но фиксирует не сотые, а миллионные доли процента. Таким методом в Музее искусств Мичиганского университета было установлено, что на выставке сасанидского серебра из разных музеев половина экспонатов оказалась подделками: они были изготовлены из чрезвычайно очищенного серебра, недостижимого в древности.

Структура (микроструктура) вещества – особый предмет анализа, очень важный для определения функции орудий (по целесообразности), а также процесса и результатов работы, зафиксированных в материале объектов работы. Из микроструктурных особенно применимы в археологии петрографический и

металлографический анализы. Эти анализы требуют использования микроскопов и изготовления шлифов. Техника отработана в промышленности

Петрографический анализ камня и керамики заключается в том, что рассматривают под микроскопом шлифы с камней или керамики и изучают структуру вещества: видны размеры, форма и встречаемость зерен минералов, эта конфигурация своеобразна у каждого вида объекта, и по ней определяется у камней – связь с месторождением, а у керамики – минералогический состав глины, ее структура и по этим признакам – древний карьер глины, послуживший источником для керамики (Круг 1965; Сайко 1965; Бобринский 1978; Rye 1981; Bronitsky 1986; Rice 1987). Поскольку петрографические исследования дорогостояты для археологов, исследования делаются не наобум (на всякий случай – авось, что-нибудь интересное покажут), а по предварительно выдвинутым четким вопросам – поиск источников сырья, обнаружение путей торгово-обменных отношений и связей, выяснение технологии производства.

Металлографическому анализу подвергаются шлифы с металлических изделий. Первые заметные опыты появились на периферии (Тавадзе и Сакравелидзе 1959). По таким исследованиям Н.В. Рындина (1965; 1971; 1998) устанавливала источники и технологию металлургии и металлообработки меди в трипольской культуре. Она показала, что уже в раннетрипольское время существовали и некоторые навыки обработки медных изделий у трипольских земледельцев. Однако разговоры украинских энтузиастов о том, что трипольская культура опережала все культуры мира, оказываются явным бредом, поскольку четко установлено, что одновременные культуры Румынии и Болгарии (Караново VI и Гумельница) уже знали литье, тогда как на Украине оно появляется у трипольцев только в поздне-трипольское время.

Черных разработал детально аналогичные вопросы для обширного региона Восточной Европы и прилегающих областей Азии и выявил в этих странах ряд очагов развития металлопроизводства в бронзовом веке. Металл майкопской культуры разделился на две группы: высоконикелевую (содержание никеля 3-4%) и безникелевую (тысячные доли процента). Первая – привозные изделия с юга, а вторая – местные. Фатьяновская культура резко отличалась по металлу от одновременных степных культур – те применяли мышьяковистую бронзу с Кавказа, а фатьяновцы – чистую медь.

Металлография железа показала, что в гальштатской Европе железо ковали, иногда железные клинки превращали в стальные посредством науглероживания железа и его закалки, но освоена технология производства стали была уже в латенское время.

Железолитейным производством и обработкой железа в Киевской Руси занимался Б.А. Колчин (1953), чья книга остается до сих пор основным обобщением, хотя по Восточной Европе есть и обобщения поновее (Терехова и др. 1997; Завьялов и др. 2001).

Путь от установления химического состава вещества и его микроструктуры к модели его производства лежит через группирование вариантов состава и структуры (тут применяется обычная статистика). Далее устанавливаются их связи с вариантами производства, располагаемыми исследователем по пространственной изменчивости (тут имеет значение и нахождение источников сырья и влияний) и в эволюционной последовательности.

На этом пути основных исследователей этих проблем ожидает искушение безоглядно увлечься возможностями своего материала и своей методики, действительно огромных. Это ведет их к преувеличению научной значимости полученных выводов, в самом деле чрезвычайно ценных, к непомерному расширению вытекающих из них следствий. Некоторые из этих исследователей по образованию и основной профессии естествоведы и техники, другие – археологи, специализировавшиеся на применении естественно-научных методов, но все они неизбежно ограничивают и централизуют свои интересы, а это влечет за собой переоценку места достигнутых результатов в археологической науке.

С.А. Семенов полагал, что функционально-трассологический метод отменяет применимость типологического метода и типологии вообще, делает их ненужными. Ю.Л. Щапова вывела из своих революционных исследований стекла выводы об археологическом вещеведении и археологической морфологии вообще, для которых ее кругозор оказался недостаточным. Она отыскивала в естественных науках отдельные структуры, к которым старалась подладить структуры археологии. На основе своих исследований Черных объединил области вокруг Черного моря в Циркумпонтийскую провинцию, придав ей ранг этнического блока, даже вывел из него происхождение индоевропейцев. Это представляется преувеличением значимости связей по металлопроизводству.

5. Природная среда и хозяйство. К технологическим анализам, основанным на применении естественных наук (физики, химии и т.п.) и техники, примыкают подобные анализы, основанные на других естественных науках, более связанных с землей и природной средой обитания (геологии, почвоведении, географии, зоологии, ботанике, экологии и т.п.). Эти анализы также чрезвычайно важны для реконструкции экономики прошлого, поскольку собирают сведения об экологии, о среде обитания, об охоте, скотоводстве и земледелии – о сферах хозяйства, для археологов не менее важных, чем производство орудий из камня и металла и утвари из других материалов. Значительная часть этих анализов позволяет реконструировать климат (Bradley 1985), изменения которого даже по признанию марксистских ученых воздействовали на экономику, а по мнению ученых экологической школы, были определяющими для ее развития. Опять же эти анализы дают сведения и о некоторых других сферах жизни, скажем, о фармакологии и потреблении наркотиков, о материале для строительства жилищ (кости мамонта), для обуви (кожа), украшений (рог) и т.п., но для реконструкции хозяйства эти анализы – основа (Evans 1978; Shackley 1981).

Палеозоологические (в основном остеологические) определения используются археологами истари (Cornwall 1957/1974; Ryder 1969; Olsen 1970; Chaplin 1971; Brodrick 1972; Read 1974; Casteel 1974; Animals 1983-84; Klein and Cruz-Uribe 1984; Davis 1987; Rackam 1994; O'Connor 2004/2008). Из не-остеологических определений упомяну насекомых и моллюсков (Даниловский 1941; Speight 1976; Evans 1973).

Когда мы принимаемся за анализ костного материала памятника (Hesse and Warnish 1985), первым долгом встает вопрос о том, остались ли эти кости от человеческой трапезы или занесены животными. Конечно, самое надежное – обнаружить на костях зарубки орудий или следы грызущих зубов. Первые имеют V-образное сечение и прямые стороны, тогда как вторые – U-образное сечение и нерегулярные очертания (наблюдение американского исследователя Олдувайских гоминид в 80-е годы; ныне функционально-трасологический метод даст более точные определения).

Для оценки костного материала нужно определить сезонность контакта с животными, от которых он остался (Monks 1981). Ясно, что мигрирующие виды животных были доступны только в теплое время года, зиму они проводили в теплых странах. Для рыб, уплывающих метать икру в некоем особом месте в определенный месяц, только там они доступны для лова в это время, в других местах они присутствуют в другие времена. Поскольку приплод домашние животные приносят также в определенное время, по возрасту забитых детенышей можно судить о месяце забоя.

О значении внутренней критики источников в этом деле я говорил в разделе об остеологической статистике (см. также Lyman 1979; Speth 1983; Grayson 1984). Там были приведены данные о разнице между подсчетами костного материала каждого вида животных по *фрагментам*, по *особям*, по *убойному весу*, а каждый из этих способов подсчета по-разному характеризует значение данного вида животных для экономики исследуемого общества (последний, разумеется, наиболее объективно).

Далее нужно сообразить, представлены ли здесь костяки полностью или только фрагментами, а где-то остались прочие части скелетов. Где производилась разделка туши и как она производилась (работа американца Теодора Уайта о разделке туш у индейцев – White 1953/4). Ну, а часть костей от использованных животных могла быть вообще не представленной на памятнике. Например, индейцы Калифорнии никаких костей от лосося не выбрасывали – они их мололи в муку и потребляли. От потребления крови и личинок (а из этнографии мы знаем, что они потреблялись в пищу) вообще не остается следов. Кости конечностей несут самые мясные куски, и их уносили с мест разделки, оставляя на месте остальное, в частности черепа. Вот эти кости, объекты меньшей заинтересованности, и есть лучшая основа подсчетов. Вообще же надо не забывать, что, хотя главной мясной пищей человека всегда и везде были травоядные, птицы и рабы, но шли в пищу и хищники, грызуны, насекомые.

Шли ли в пищу тела людей, неясно (Arens 1979). Антропофагия, каннибализм ныне (после работы Мэри Расселл и др.) отрицается даже относительно палеолитического человека из Крапины: мясо с костей снималось не для поедания, а для перезахоронения, это обряд – есть этнографические аналогии. Но, вероятно, каннибализм всё же существовал, хотя больше в ритуальных целях, чем для насыщения.

Однако подсчетами и общей оценкой сравнительного значения видов анализ костного материала не ограничивается. Важное место занимают определения характера связи животных с человеком – дикие это виды или домашние (проблема доместикации). Это проблема, далеко не всегда простая (Bökönyi 1969; Jarman and Wilkinson 1972; Clutton-Brock 1981). У одомашненных животных зубы и челюсти становятся меньше, зубы на них расположены теснее. Меняется микроструктура зубов и костей – у домашних полости для костного мозга больше, кости не столь прочны. Часто проблема решается не только по морфологии костей, но и по половозрастному составу серии костей: ведь забой скота отличается от естественного результата охоты (преимущественный забой самцов, молодняка и т.п.). В результате половозрастной состав стада по статистике – иной, чем дикой стаи (табуна и т.п.). В диком стаде бывает убыль молодняка и престарелых особей – в результате деятельности охотников или хищников (такие особи легче становятся жертвой).

Именно половозрастной состав стада позволяет судить и о типе скотоводства: молочное ли это хозяйство или мясо-молочное, мясное (крупный и мелкий рогатый скот), шерстяное (мелкий рогатый скот), или животные использовались в основном как тягловая сила (волы, лошади, верблюды). В мясном стаде больше подростковых и юных особей, в молочном – больше взрослых самок. По экстерьеру можно судить, сторожевые, ездовые или охотничьи животные налицо (собаки). У тягловых животных на костях могут быть признаки специфических болезней – остеоартрита, сбитых ног.

При реконструкции самых ранних стадий существования человечества (палеолит) приходится иметь в виду, что животный мир был тогда совсем не таким, как ныне – и распространение животных было другим (скажем, стада северного оленя в палеолите паслись в тундрах на месте нынешней Франции), и сосуществовали с человеком совершенно вымершие виды животных – мамонт, шерстистый носорог, саблезубый тигр, пещерный медведь. Это имеет значение не только для датировки, но и для реконструкции экономики – охота на эти виды животных имела особый характер, отличный от охоты на современные виды. На такого крупного и умного животного, как мамонт, и такого страшного хищника, как пещерный медведь или пещерный лев, возможны были только облавная охота или устройство ловушек, западни.

Малая фауна тоже вносит свой вклад в определение хозяйственной деятельности. Так в прибрежном собирательском хозяйстве каменного века немалое место

занимали *кьеккенмеддинги* – раковинные кучи. Моллюски, от которых остались раковины, разных видов, и по ним можно судить о пище людей и вообще о природной среде памятника, которой в большой мере определялись хозяйственные особенности.

Есть анализ, который касается как функции орудий, так и видов животных, к умерщвлению и разделке которых они применялись. Это анализ следов крови (гемоглобина) на лезвиях, который, оказывается, сохраняется и 100 тысяч лет. Канадец Т. Лой определял по этим следам, что кремневыми остриями были убиты лось, олень карibu, медведь гризли, морской лев (Loy 1983).

Палеоботанические исследования (Dimbleby 1967; Renfrew 1973; Clark 1975; Meyen 1987; Pearsall 1989; Мейен 1990; Zastawniak 2003), хотя и позже, чем работа с фауной, но также заняли место в археологическом реконструировании экономики. Макрофлора сохраняется хуже, чем фауна, но микрофлора (споры, пыльца, фитолиты и др.) – лучше.

Стволы деревьев (куски бревен) и другие части растений (листья, плоды, косточки) иногда попадаются в сравнительно сохранном виде археологам (от раннего времени – окаменевшие, от более позднего – высушенные или законсервированные в особых почвах) и могут служить для палеонтологических анализов. В частности помогает восстанавливать и климат (Fritts 1976). Сезонность и здесь определяется (Monks 1981). Незрелые виноградные косточки, сохранившиеся в слое гибели урартского города Тейшебаини, взятого скифами в около 585 г. до н.э. и раскопанного Б.Б. Пиотровским, незрелые же косточки арбуза в желудке сторевшей коровы, цветки трав указали на месяц взятия города – такое состояние растительности приходилось на первую половину августа. Но они также говорили о занятиях жителей Урарту.

Аналогична проблеме различения домашних и диких животных проблема *различения культурных и диких растений*. Многие виды не изменяют свою морфологию при переходе в культурное состояние. Бобовые растения не дают четких различий между культурными и дикими, а вот злаки различаются довольно четко: дикие мало пригодны для использования. При окультуривании стержень становится менее ломким, распространение семян естественными факторами уже не нужно, человек заинтересован в сохранении семян в колосе до жатвы.

Споро-пыльцевой (палинологический) метод – это ныне основной метод палеоботанического исследования (Гричук и Заклинская 1948; Нейштадт 1952; Pokrovskaja 1958; Gray and Smith 1962; Bryant and Holloway 1983; Dimbleby 1985; Faegri et al. 1989/2007; Traverse 2008). Споры и пыльца растений оказались очень устойчивыми к воздействию среды, они у каждого вида растений свои, четко отличающие растение от других видов, и массово рассеиваются насекомыми и ветром по территории. Различая и подсчитывая под микроскопом наличие разных видов спор и пыльцы в образце культурного слоя, можно составить себе хорошее представление о составе растительности этого участка местности в

то время, когда отлагался данный культурный слой. А раз у нас есть точное количественное представление о составе растительности, то несложно вывести отсюда представление о ландшафте и климате этого участка в данное время. Точных карт палинология не дает, так как ветром споры и пыльца разносятся очень далеко, но колебания состава растительности во времени отражает хорошо.

Располагая эти описания диаграммой в виде хронологической шкалы, можно получить наглядное представление об изменениях растительности, климата и смене *ландшафтов* для каждой местности. Особенно наглядно и доказательно такая диаграмма выглядит, если разные ее образцы получены из разных слоев одного и того же раскопа. А располагая свои данные на карте, можно получить карту ландшафтов с зонами растительности и с климатическими зонами, в которых протекала хозяйственная деятельность человека. Где-то преобладает трава, где-то – кустарник, где-то – лиственные леса, где-то – хвойные (Нейштадт 1957; Долуханов 1963).

Эта методика была придумана шведским ботаником Леннардом фон Постом в начале XX века и к нашему времени развилась в обширную систему исследований, охватившую все археологические изыскания, особенно эпохи мезолита, неолита и бронзового века. Поскольку смена растительности и климатов ныне четко расписана в каждой местности по эпохам (Шепли 1958), определение позиции на палинологической шкале служит теперь неплохой датирующей меткой, то есть по споро-пыльцевой диаграмме можно ныне определять хронологию археологических объектов (Долуханов и Знаменская 1965). Но это вторичное использование.

Основное же использование споро-пыльцевого анализа заключается в точном и полном определении природной среды археологического памятника, экологии общества того времени, а с тем и его хозяйственной активности – палинологическая диаграмма дает сведения не только об окружающей природе, но и о составе домашних растений – злаков, огородных культур, садовых деревьев и кустарников и т.д. Можно судить и о состоянии полей (по набору сорняков). Можно делать выводы о вырубке лесов а связи с распространением пашен – по общему изменению состава растительности.

На этой основе географическая школа британских археологов достигла выдающихся результатов в изучении европейского мезолита и неолита (Кларк 1952).

Прочие методы исследования микрофлоры – это изучение некопаемых кутикул, фитолитов и диатомовых водорослей. *Кутикулы* – это верхний слой эпидермы листьев, состоящий из кутина, он достаточно жесткий, чтобы сохраняться. У каждого вида кутикулы свои, и отчасти можно приравнять их к спорам и пыльце. *Фитолиты* – это маленькие кристаллики кремния из клеток растений, они тоже различаются по видам. Под объективом микроскопа можно подсчитывать и их. У домашних растений фитолиты больше (Piperno 1988). *Диатомовые (одноклеточные) водоросли* образуют коричневатую слизь в воде и составляют значительную часть питательного планктона. Они имеют панцирь из кремнезема, который у каждого вида диатомей свой и хорошо сохраняется после их умирания. А видов

диатомей тысячи, и по ним можно судить о водном режиме и климате – к каждому приспособлены свои виды. Поэтому изучая диатомовый ил и диатомы в разных слоях, можно составить представление об изменениях климата не хуже, чем по спорам и пыльце (Batterbee 1986). Все эти методы в сущности явились расширением споропыльцевого метода на смежную микрофлору.

Есть еще некоторые виды анализов, выявляющие пищевые остатки. Вскоре после войны немец Йоханес Грюсс анализировал под микроскопом остатки содержимого в питьевых рогах северных германцев из торфяников. Это оказались пиво и мед (совсем как в русской сказке: “мед-пиво пил”). На лезвиях орудий (годятся те, которые не мыты в лаборатории) американец Фредерик Брюер обнаружил мелкие частицы растений, с которыми этими орудиями работали. На внутренней поверхности сосудов химическим анализом (спектральным хроматографом) установили наличие жирных кислот и аминокислот, по которым можно судить о рецептах блюд. Немецкий химик Рольф Ротландер смог распознавать на черепках (в том числе неолитических) горчицу, растительное масло, в частности оливковое, сливочное масло. В амфорах немецкого железного века он обнаружил следы оливкового масла и вина, в римской амфоре – пшеничную муку. Четко различимы три группы остатков: от бобовых, от прочих наземных и от морских растений. Химик Джон Эванс нашел на неолитической вазе с Кипра следы опиума.

Геоморфологические, геохимические, гидрологические и почвенные анализы, сконцентрированные на самой земле (Перельман 1989; 2000; Cornwall 1958; Clarke 1971; Limbrey 1972; Courty et al. 1990), дополняют информацию, получаемую от анализов биосферы – палеонтологических, палеоботанических и палинологических. Все эти анализы осадочных пород и почв, морен и трансгрессий моря рисуют палеогеографию в целом (Марков 1960; Долуханов 1963; Первобытний 1974; Палеоэкология 1977; Природа 1981; Проблемы 1993) и, конечно, связь археологических памятников с ней (Shackley 1975). Значительная часть этой информации посвящена истории оледенений (Боуэн 1981; Лазуков 1989). Хорошая сводка данных содержится во второй и третьей главах учебника “Палсолитоведение” (Дервянко и др. 1994: 22-68).

Географическая и геоморфологическая картина земной поверхности, высота участков земли и уровень моря, ветры и климат и их изменения в течение жизни человечества определялись параметрами земного шара, его космической регулярностью движений и распределением материков и океана. В ледниковый период, охватывающий почти всю историю человечества, чередовались оледенения и межледниковья, вызванные прежде всего изменениями в уровне солнечной радиации, получаемой каждым полушарием (для нашего климата – северным) из за движений Земли, хотя сказывались и внезапные космические и глобальные катастрофы (падение крупных метеоритов, взрывы вулканов).

Поскольку водной поверхности на земном шаре больше, чем земной, изменения океана, его наполненности, химии, температур и т.п. сказывались на состоя-

них материков (Butzer 1983; Raikes 1984). Образцы, взятые со дна океана, позволили воссоздать историю изменений его температуры за последние два миллиона лет. История оледенений восстановлена астрономами (уровень солнечной радиации), геоморфологами (ледниковые морены, прорытые таянием ледников речные русла с джужками, отложенные ими же варвы – ленточные глины и т.д.). Составленные представителями разных наук хронологические диаграммы совпали – одно и то же количество оледенений, та же продолжительность каждого, один и тот же сравнительный размах, всё совпало (“кривая Миланковича”).

Каждое оледенение продолжалось несколько тысяч лет, ледниковый щит спускался с Гренландии и покрывал пол-Европы – над местом нынешней Москвы толщина льда составляла несколько километров. Южная часть Европы составляла приледниковую тундру. По ней гуляли свирепые ветры и бродили мамонты и северные олени. Люди, как мы теперь знаем достоверно по раскопкам, носили одежды, похожие на малахал нынешних обитателей тундры. В периоды оледенений разница температур между экваториальными и полярными регионами возрастала на 20-25%, и скорость ветров с юга была на 50% сильнее, чем в периоды межледниковий.

Изменения температур устанавливаются анализом ископаемых *фораминифер* с разных слоев дна океана. Фораминиферы – это микроскопические простейшие организмы с раковинами разной формы – виды их в разных температурных режимах разные. Когда ледники росли, вод в них втягивалась, уровень океана понижался, изменялась соленость воды и, соответственно, глубина проживания определенных видов фораминифер. Есть фораминиферы, у которых раковины по форме спиралевидны, как у улиток, но в холодные периоды закручены влево, а в теплые – вправо.

Другой способ определения температур – это анализ масс-спектрометром пропорций *изотопов кислорода* (O_{16} и O_{18}) из ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды и в раковинах фораминифер со дна океана. При таянии ледников понижалась пропорция кислорода O_{18} , при похолодании – повышалась. Дело в том, что когда теплые массы воздуха двигались из экваториальных и умеренных широт в приполярные области, они теряли с дождем и снегом воду, обогащенную изотопом 18, а оставшаяся влага оказывалась богаче изотопом 16 (Chappell and Shackleton 1986).

Судьба ледникового щита отражалась на земном рельефе. Когда щит рос, вода в него втягивалась, и общий уровень мирового океана понижался, прибрежные районы обнажались. Возникали перешейки между Британией и материковой Европой, между Сибирью и Аляской. С другой стороны, повышающийся вес щита давил на участки земли под щитом и они опускались в океан. Возникали Ламанш и Берингов пролив. Колебания Ламанша по глубине достигали 120 м, а перешеек на его месте бывал в ширину более 1000 км. Балтийское море было то морем, то озером, то же и Черное море. Таким образом, в приледниковых районах возникали *трансгрессии* (наступления) моря, в далеких от ледника – *регрессии* (отступления). В межледниковьях происходили обратные процессы.

Эти изменения рельефа называются *структурными*, они отличаются от независимых от климата *тектонических*, вызываемых геокосмическими причинами – медленными движениями материковых плит по коре земного шара (наездами одной на другую с горообразованием в месте стыка, расхождением плит с тенденцией к опусканию поверхности), извержениями и взрывами вулканов, падениями крупных метеоритов.

Для археологов это означает необходимость и возможность выявить прежнюю географию земли – ту, в которой происходили интересующие их события и процессы. Акустическими средствами (в силу разной плотности) выявлялись линии затопленных берегов. Наоборот, античный город Эфесс был поглотен, но сейчас находится в нескольких километрах от морского берега. Коралловые рифы, образуемые только в море, сейчас могут находиться на суше далеко от берега.

Особую сферу изучения представляет реконструкция ледниковых событий – оледенений, межледниковий, отступления ледникового щита с Европы, послеледниковых событий. Границы ледника (по событиям в Альпах) определяются моренами, отложениями ленточных глин (*варв*) и *лэсса* – желтоватой пыли (из илистых частиц от талых вод), надуваемой ветрами на освобождаемые от ледника поверхности. Лэсс отлагался только в холодные сухие периоды, когда ил подымался ветром с непокрытых травой приледниковых поверхностей. Таким образом, лэсс – индикатор древнего климата (а в послеледниковое время лэссовые пространства становились удобнейшей территорией для раннего земледелия). А в теплые и влажные периоды лэсс не отлагался, а покрывавшие его леса образовывали почвы – до следующего похолодания. Теперь это *погребенные почвы* – их тоже изучают (спорово-пыльцевым и другими видами анализа).

Все вместе эти сведения обрисовывают с большей или меньшей полнотой и достоверностью природную среду, в которой существовали исследуемые памятники и представленные ими популяции, передают разные аспекты этой среды, а также их изменения от эпохи эпохе. Мы представляем себе разные природные *ландшафты* разных местностей и их смену на протяжении жизни человечества. Это позволяет воссоздавать и осознавать природную среду как основу, в которой происходило существование и развитие исследуемых доисторических и раннеисторических обществ (Aston 1985). В силу фрагментарности данных о прошлых временах реконструкция ландшафтов достигается только кооперацией разных наук – “комплексным методом”.

В давней статье о комплексном методе реконструкции природных условий голоцена (последледникового периода) Ю.А. Заднепровский и Г.И. Кислякова (1965) называли пять компонентов этого комплексного изучения: 1) геоморфологические исследования, 2) спорово-пыльцевой анализ и другие виды изучения растительных остатков, 3) почвоведческие анализы, 4) геохимические исследования отложений (связь климата с преобладанием тех или иных химических элементов

– меди, титана, никеля, хрома и т.д.) и 5) изучение остеологических остатков. Они наметили такую последовательность в изучении палеоландшафтов:

“Прежде всего, на изучаемой территории необходимо выделить современные ландшафты, в пределах которых находятся изучаемые археологические памятники, затем приступить к выяснению генезиса самого ландшафта и его индивидуальных особенностей. Послед этого, применяя все изложенные выше приемы исследования, необходимо установить границы и природные особенности ландшафтов в интересующую нас эпоху” (Заднепровский и Кислякова 1965: 237).

Мы можем по-разному относиться к вопросу, волнующему марксистов, – прав ли экологический (или географический) детерминизм, была ли природная среда главной движущей силой эволюции, – но что эта среда так или иначе определяла облик древних обществ, что изменения природных условий сказывались на жизни обществ и что связь между природными условиями и хозяйством была, никто не отрицает. Следовательно, по облику одного можно с известной определенностью (пусть и неполной) судить об облике другого.

В современных археологических трудах, посвященных древнейшей экономике, обильно используются все эти специальные анализы. И археологи, которые специализируются на соответствующих темах, нередко сами умеют делать эти анализы и во всяком случае должны знать эти методы настолько, чтобы уметь ими пользоваться, распознавать степень их качественности и достоверности. Изредка археолог делает какой-то из этих методов своей главной исследовательской специальностью (или естествовед, для которого по образованию и специальности такой метод является профильным, осваивает проблематику затронутой части археологии настолько, что это становится его профессией). Это индивидуальные проявления интеграции наук.

6. Археологические свидетельства видов хозяйства. Пути использования полученных данных пролегают через *частные модели*, в которых исследователи собирают эти данные для их дальнейшего включения в более общие модели хозяйства страны и эпохи. Часть этих частных моделей реконструирует отдельные отрасли быта – жилища, транспорт (Piggott 1983), пищу (Brothwell and Brothwell 1969), другая часть – отдельные отрасли производства: собирательство (Bailey 1983; Stephens and Krebs 1986), охоту, рыболовство, скотоводство (Шнирельман 1980), земледелие (Curwen and Hatt 1953; Fussell 1966; Struever 1971; Семенов 1974; Bender 1975; Spiess 1979; Fowler 1983; Barker 1985; Шнирельман 1989), производство каменных орудий (Семенов 1968; Семенов и Коробкова 1983), керамическое ремесло, металлургию. С торгово-обменными отношениями мы уже частично заходим в реконструкцию социальных отношений.

Совершенно иная группа моделей нацелена на реконструкцию хозяйственных систем разных эпох – палеолита (например, Замятнин 1960; Бибииков 1969),

неолита (Брюсов 1956; Behrens 1975), бронзового века (Sherratt 1994) или железного века. Или даже отдельных культур (Бибиков 1965).

В самом деле, как мы действуем, когда, раскопав памятник, приступаем к реконструкции его хозяйственной системы? Мы бросаемся читать литературу по тем отраслям хозяйства, которые чем-то зафиксированы в памятнике. Мы ищем аналогии в этнографии, а еще более уповаем на обобщения, проделанные коллегами на основании этнографических аналогий и археологического материала. Разумеется, мы особенно рьяно отбираем памятники соответствующей эпохи и подходящего региона, еще уже – той же культуры, отыскиваем аналогичные памятники с более богатыми сведениями по данным отраслям хозяйства.

Часто это материалы и модели из лучше исследованных стран – Дании, Англии, Германии, Польши. Ну, приходится делать поправки на изменчивость культуры, на отдаленность местности, на то, что перед нами другой вариант, и всегда иметь это в виду.

Все подобные исследования, потенциальные источники материалов и моделей, обобщаются в истории материальной культуры (Марков 1979). История воссоздает динамику этих моделей, показывает их в развитии и смене, то есть позволяет найти место и тем явлениям, которые отклоняются от намеченных моделей по другой причине – по эволюционной стадильности, поместить их в линиях экстраполяции. Некоторые работы посвящены именно моделированию процесса развития (Earle and Christenson 1980).

Затем собранные сведения синтезируются в общих моделях хозяйства, которые и обнаруживают их нестыковки и устраняют по мере возможности. Эти общие модели хозяйства разрабатываются в археологии в соответствии с принципами нескольких школ – марксистской (Румянцев 1987), неозволюционистской (Sahlins 1972), процессуальной (Binford 1968) и особенно британской географической (Кларк 1952; Clark 1989; Higgs 1972; 1975). Первая исходит из примата производительных сил и принципов диалектики (в частности из промышленных революций), вторая – из плюрализма факторов и постепенности эволюции, третья – из демографического давления на общество и системного подхода, четвертая – из примата природных сил, прежде всего климата (см. Клейн 2011б).

Однако все эти школы признают деление всех хозяйственных систем на две большие группы, в общем сменяющие одна другую (хотя остатки первой доживают в отдельных закоулках мира до современности). Это *присваивающее хозяйство* (когда основными отраслями являются собирательство, охота и рыболовство) и *производящее хозяйство* (основанное на земледелии, скотоводстве и ремесле, впоследствии развивающемся в промышленность). Обе эти группы хозяйственных систем интересуют археологов, и перерастание первой во вторую целиком попадает в то время, которым археологи занимаются (Шнирельман 1989).

Для построения всех подобных моделей важны опознавательные маркеры, по которым разные отрасли и виды хозяйства опознаются в археологических материалах.

Скажем, отрасли производства прежде всего определяются остатками орудий производства, а орудия делались из разных материалов, и эти материалы входили в употребление в разные эпохи один за другим (Hodges 1964; 1971; MacGregor 1983; White 1984). Сначала естественные материалы, наличные в природе – камень, дерево, кость, кожа, потом материалы искусственные, создаваемые человеком – керамика, металл и сплавы, стекло. Искусственные входили в обиход по степени доступности, по трудности производства. Для производства керамики (Anderson 1984) нужен обжиг, а он достигается при сравнительно невысокой температуре в 500-800°C. Из металлов свинец плавится при самой низкой температуре в 327°, но мало пригоден для орудий – мягок, медь плавится при более высокой температуре в 1083° (а с нею – серебро 960° и золото 1063°), железо – выплавляется из руды при температуре 800°, но для горячейковки нужна температуры в 1000-1200°, а чтобы превратить его в чугун, требуется более высокая температура в 1540°. Для плавки стекла из песка нужна температура в 1723°, но с примесью соды и извести ее удается снизить до 850°.

Для изготовления орудий до металлов камень в силу своей твердости был основным материалом, а из камней наиболее пригодным для орудий с режущим лезвием или острым концом был кремний. Поэтому видом кремневой индустрии определяются эпохи палеолита, мезолита и неолита, да и в бронзовом веке она занимала значительное место.

Давно отработаны отличия человеческих изделий от природных камней, нередко несущих на себе следы случайных ударов. Человек наносил удар целенаправленно с близкого расстояния резко и обычно параллельно поверхности. В месте удара получался ударный бугорок, а от него по кремню расходились ударные волны, застывшие на поверхности скола. Подобные сколы изредка получаются и в природе, но систематичности и целенаправленности не имеют.

С развитием кремневой индустрии целенаправленность всё отчетливее формировала стандартные формы орудий. Сперва из природных желваков кремня оббивкой изготавливались грубые *чопперы* (по всему миру) и более симметричные *ручные рубила* миндалевидной формы (эпохи ашэль в Европе). Затем природные желваки кремня обтесывались, обретая формы *нуклеусов*, сначала дисковидных, потом призматических или цилиндрических – это было подготовленное сырье. От них специальными *отбойниками* откалывались *отщепы* с острыми краями, которые подправлялись *ударной ретушью* – мелкой оббивкой. Так формировались орудия разной формы – *резцы, скребки, проколки* и т.д. В верхнем палеолите появилась и расцвела в неолите *отжимная ретушь* – ее наносили *отжимником*, снимая очень плоские чешуйки, иногда по всей поверхности орудия. Тогда же появились *ножевидные пластинки*, которые, как полагают, отщеплялись от нуклеуса и из ко-

торых формировались орудия – те же скребки и др., а также ножи. Из цельных желваков изготавливались в неолите кремневые клиновидные топоры.

Теперь установлено (Д.И. Крэбтри, ср. Барбара Пёрди и Х.К. Бруке), что уже в солютрейское время кремневые орудия тоже нагревали (до 350-400°), от чего они становились более твердыми, но и более ломкими (и более блестящими).

Функции же орудий определяются, как уже сказано, типологией форм, изучением следов употребления и этнографическими аналогиями. Длину режущего края орудий, получавшихся от одного нуклеуса, Лорен Элели выражает такой последовательностью: олдувай – 5 см, ашель – 20, мустье – 100, граветт (верхний палеолит) – 300-1200. Таков прогресс кремневой техники.

Кремень нередко имеет приметные местные особенности (цвет, рисунок, примеси), по которым можно идентифицировать его источник. Мины, оставшиеся от его древней добычи, иногда попадаются археологам и подвергаются раскопкам.

Более мягкие кристаллические породы камня (диорит, мрамор, песчаник, порфир) употреблялись для каменных проушных топоров, боевых топоров-молотов, статуэток, а в поздних культурах (от неолита до цивилизаций) – для строительства мегалитов, храмов, статуй. Для их обработки использовалась техника пиления, сверления, шлифовки.

В керамике (Бобринский 1978; Anderson 1984; Shepard 1985) главное техническое различие: лепная от руки и сделанная на подставке, а потом на гончарном круге. Признаки их общеизвестны. Различия по культурным традициям есть в составе глины, в примесях (отошителях, чтобы горшки не растрескались при сушке). Это могут быть дресва (дробленый щебень), шамот (дробленая керамика), песок, трава и проч. Керамика, хотя и может быть обожжена при низких температурах, всё же уже в неолите иранских местонахождений Тепе Гавра и Сузы обжигалась в горнах с температурой в 1000-1200°. Горны с отделениями для посуды и топлива, с продухами есть на месопотамских и египетских изображениях и представлены в археологическом материале.

В отличие от керамики стекло доходит до археологов очень редко, потому что, как и металл, шло в переплавку. То, которое дошло до нас, может сообщить немало о состоянии общества – о техническом прогрессе и об уровне жизни (Frank 1982).

Конечно, мины и карьеры существовали и для добычи кремня и других пород камня, и уж, конечно, для добывания соли, но рудники по настоящему стали разрабатываться для нужд металлургии (Shepherd 1980).

Металлургия меди и бронзы (Coghlan 1951; Forbes 1955-1956; Tylecote 1987) начиналась с чистой меди, которую выплавляли из оксидных и карбонатных руд и подвергали холодной ковке и отжигу (нагреванию и быстрому охлаждению для закаливания). Добавка 10 процентов олова превращала металл в бронзу и делала

его более твердым. Но на Ближнем Востоке от четверти до трети всего металла имело примесь не олова, а мышьяка, придававшая ему твердость и серебристый цвет. Бронза и плавилась при более низких температурах, чем чистая медь. Когда освоили отливку, сначала отливали в открытые формы, потом в закрытые (обычно складные из двух половинок), потом в форму с утратой восковой модели (в полость складной матрицы заливали воск, остывшую восковую модель обкладывали глиной и обжигали, а на место вытекшего воска заливали металл).

Из металла кроме обычных литых орудий расковывали листовый металл, на котором можно было штамповать, гравировать и орнаментировать его техникой *peroussé* (выбивание точечного орнамента с изнанки).

Железо, как уже сказано, может быть добыто из своих окислов в руде при температуре в 800° , вдвое ниже его точки плавления, но надо еще освободить его от пустой породы – кремнистой, известняковой и прочей. Чтобы выплавить этот шлак, в домнице достигается температура в 1100° с помощью поддувания воздуха мехами. Ковка производится в кузнице, и набор инструментов кузнеца известен – молоты, шипцы, наковальня и прочее. Далее прогресс состоит в науглероживании железа. Тут нужны гораздо более высокие температуры – выше полутора тысяч градусов. Если примесь углерода колеблется от 1,5 до 5%, то температура плавления снижается до 1150° , а металл становится твердым и ломким – получается чугун. Если же удастся нормировать примесь в пределах 0,3-1,2%, то металл становится прочным и гибким – получается сталь (Coghlan 1956).

Обратимся к биологическим материалам. Прежде всего эти материалы определяют условия, необходимые для самого существования человечества, – экологию прошлых эпох (Butzer 1982). *Фаунистические* остатки через описание охоты и скотоводства, а *флористические* – через собирательство и земледелие собираются в комплекс, выделяемый в западной науке как *subsistence*, то есть нацеленный на обеспечение (или поддержание) жизни (Lyman 1982). Это прежде всего питание людей, но можно сюда включать и одежду, устройство жилищ и кое-что еще. Как замечено в британском учебнике (Renfrew and Bahn 1999: 233), точным и достоверным свидетельством употребления тех или иных продуктов в пищу является только нахождение их в желудке древних людей (изредка такая возможность появляется – как в болотных трупах) и в копролитах (окаменевший кал), все остальные доказательства – косвенные. Но их много и они весьма разнообразны, а поступая от разных источников, они в совокупности рисуют довольно надежную картину. Важно предотвратить ошибочные выводы от чрезмерного обобщения частных определений. Для этого нужно, чтобы образцов для определений было много и они происходили из разных мест.

Об анализе *доступных ресурсов района* (site catch analysis) я уже писал в первом томе (см. также Vita-Finzi 1978; Roper 1979; Findlow and Ericson 1980). Далее, для работы с костями нужно определить вид и сезон охоты или характер скотоводства, затем способ разделки туши и применявшиеся приемы хранения и

потребления мяса, рыбы и молочных продуктов (Binford 1981). Для работы с растительными остатками надо бы выяснить вид и сезонность собирательства или земледелия. Нужно знать перечень и последовательность трудовых операций, скажем, над злаками: пахота, посев, жатва, молотьба, очистка от соломы, веяние, просеивание зерна, сушка, помол (зерноотеркой или жерновами), сеяние муки, сушка в печи, сортировка, измельчение. Каждой операции отвечает свой тип орудий -- их нужно знать.

Наконец, приготовление пищи тоже может быть реконструировано (Gilbert and Mielke 1985). С помощью метода *электронного спин-резонанса* устанавливают ныне и температуру варки. Отличают кипячение при 100° от выпекания при 250°. У человека из Линдау (британский болотный труп) пища запекалась полчаса при 200°. Поскольку присутствуют ячменные отруби, это не каша, а недрожжевой хлеб из муки грубого помола.

Если иметь в виду основные производственные системы, собирательство могло бы быть установлено по весьма грубым копательным орудиям, по примитивным зерноотеркам, а в остальном его средства и следы редко попадают в археологических раскопках, так что его наличие предполагают по общей картине примитивного хозяйствования и по этнографическим аналогиям этому уровню хозяйствования. Некоторое подспорье может представить анализ хозяйственных отбросов в жилищах и в хозяйственных ямах.

Для охоты мы располагаем значительно более обширным набором свидетельств и помимо костного материала. Это кремневые и позже металлические орудия охоты и обработки продуктов охоты -- наконечники дротиков, стрел, ножи для разделки туш, скобели и скребки для обработки кожи. О рыбной ловле говорят гарпуны, грузила для сетей и, конечно, кости рыб.

Скотоводство оставляет после себя, кроме костей домашнего скота, прежде всего постройки -- хлевы, загоны, а также телеги и колесницы с дышлами, игом и оглоблями, стрекала. О запрягании коней и верховой езде говорят также удила и стремяна, украшения сбруи.

От земледелия остаются орудия обработки почвы -- мотыги, сохи и плуги (обычно металлический лемех), серпы (кремневые и металлические), косы, мельничное оборудование (жернова), а также сооружения для обработки продукции -- тока, амбары,

Четкие следы остаются от керамического производства (на более поздних стадиях -- ремесла), от металлургии меди, бронзы, золота и серебра, железа. Это и горны, печи, и многие следы производства на самих изделиях.

По таким же следам можно обнаружить в прошлом наличие других отраслей хозяйства -- транспортных средств (колесниц, лодок, кораблей), оружия, жилищ и т.д. Конечно, нужно иметь в виду, что часто вместо артефактов налицо только их жалкие обломки, отпечатки, следы.

Разумеется, эти остатки дают лишь грубую ориентировку о наличии та-
кой-то отрасли хозяйства, уточнить же вид и особенности его в данном памятнике
помогают детали, в том числе и названные выше анализы – половозрастные харак-
теристики животных, набор видов домашних растений и сорняков, примеси в те-
сте керамики и т.п. Я уже не раз повторял, что археолог – в положении следователя
опоздавшего к месту события на тысячи лет. Но, как и современный следователь,
археолог вооружен многими анализами и методикой для оценки “вещественных
доказательств”.

Глава 17. Социологическая интерпретация

1. **Социальные отношения и их отражение в материальной культуре.** В 1973 г. в Саутэмптонском (Саутгемптонском, как у нас транскрибируют) университете состоялась инаугурационная лекция нового профессора кафедры археологии Колина Ренфру, выпускника Кембриджа, названная “Социальная археология” (Renfrew 1973). В этой лекции профессор был вынужден пояснять, что *социальная археология* не означает ни приглашения благодарных археологов на чай в Общество антиквариата, ни на коктейль в гостевую комнату Би-Би-Си. В английском обиходе “социальный” часто относится к “социальным работникам” и специалистам по связям с общественностью. Аналогичным образом у нас можно вспомнить отделы социального обеспечения (собес).

Вообще-то *социальный* в буквальном переводе с латыни значит “общественный”, от *социетас* – общество. Слово стало входить в моду с 30-х годов XIX века – с тех пор, как для обозначения учений о справедливости обобществления частной собственности был введен французом Пьером Леру термин *социализм*. Тогда же другой француз, Огюст Конт, придумал термин *социология* для науки об обществе, а в 40-х годах того же века обоими терминами воспользовались в Германии Маркс и Энгельс для разработки учения о будущем устройстве общества и о неизбежности пролетарской революции. В конце XIX века еще один француз, Эмиль Дюркгейм, сделал социологию и социологизм основой изучения общества, человека и культуры, распространив его на всё антропологическое знание. Он умер в 1917 году, когда появилось первое социалистическое государство и социализм стал на целый век всемирной практикой.

Как ни парадоксально, в социалистических государствах социология как конкретная наука о социальных отношениях была аннулирована. Оказалось, что объективное изучение реальных отношений в социалистических обществах опасно для этих обществ: результаты их существования неизменно приносили народу не благоденствие, а обнищание и катастрофы. Социология была подменена социологической философией (истмат). Но и в ней отрабатывалась та же понятийная система, что бывала в социологии, и схожая терминология. Общество рассматривалось как система отношений и оформляющих их институций, а в этих отношениях выделялась срединная часть, от которой были отделены, с одной стороны, экономические структуры, а с другой – ментальные и идеологические. В срединной части, *собственно социальной*, оставалось всё, что связано с цементированием общества в единое целое, с расслоением и дифференциацией, с иерархией и управлением, с властью и правом.

Это и закрепилось за выражениями *социальные отношения*, *социальные структуры*, *социальные связи*.

Срединное положение этих явлений в общественной структуре поддерживалось убеждением, что экономика располагается ниже, а идеи и менталь-

ность – выше. Марксизм это понимал как признание экономики основой всего общественного здания, базисом, а социальных явлений – надстройкой, идеологии – еще более зависимой надстройкой. В более традиционных и “не-материалистических” взглядах экономика рисовалась как нечто более низкое, приземленное по сравнению с идеями религиозными, художественными, возвышенными. А социальные связи помещались между этими слоями – политика, война, дело государей и знати. Именно в этой сфере в основном разворачивается история.

Когда археология стала рассматриваться как наука, связанная с историей, произвольно эта этажерочная структура спроецировалась на археологию. О двух смыслах выражения *социальные отношения* пишет и Е.П. Бунятян (1985: 26) в своей книге “Методика социальных реконструкций в археологии”, отмечая, что широкий смысл (охватывающий всё общество) нас в этой связи не интересует.

Но по своей специфике археология непосредственно имеет дело только с материальной культурой, а история как раз разворачивается как наука в сфере духовной культуры и социальных отношений в узком смысле. Значит, нужно проследить, как эти явления отражаются в материальной культуре. Были попытки отождествить материальную культуру с хозяйством, но эти попытки были оставлены: материальная культура выделяется не экономической ориентацией, а материальностью, вещностью. Такие явления, как оружие или символы власти не относятся к экономике, но являются материальной культурой.

Отражение этих явлений оказалось большей частью не прямым, не простым и не ровным. Даже сильно погруженная в материальную культуру экономика не так уж легко восстанавливается по материальным остаткам. Из орудий и построек, составляющих производительные силы общества, археологам достаются обычно лишь фрагменты, часто искаженные и загадочные, так же как из продуктов производства, изделий. Что уж и говорить об экономических отношениях. О них и судить надо по распределению и размещению производительных сил и остатков изделий.

Расположенные выше этажи общественного здания еще хуже отражаются в материальной культуре – тем хуже, чем выше они подняты. Эту истину первым констатировал в середине XX века британский археолог Кристофер Хокс (Hawkes 1954: 162). Он заметил, что легче всего восстанавливаются по археологическим следам и остаткам все-таки техника, хуже – хозяйственные связи и жизнеобеспечение, еще хуже – социальная (например, общинная) организация, а хуже всего – духовная жизнь общества (религиозные и философские идеи, язык). Таким образом, социальные явления в собственном смысле (организация, институции, иерархия, власть, политические структуры) у него оказываются на третьем снизу этаже, предпоследнем. И их интерпретация осознана как особая проблема, гораздо более трудная, чем реконструкция техники и экономики.

2. Формирование социальной археологии. В истории первобытного общества (или преистории) марксистские разработки материала о социальных отношениях появились давно. Работа Ф. Энгельса “О происхождении семьи, частной собственности и государства”, вышедшая в 1884 г., повлекла за собой целый ряд работ марксистских социологов и историков (Г. Кунов, К. Каутский, Г.В. Плеханов и др.). После завоевания власти в России ряд советских археологов включился в эту череду: А.Я. Брюсов с работой о социологическом значении жилища, С.В. Киселев и П.Н. Третьяков с аналогичными работами о поселении, В.И. Равдоникас и М.И. Артамонов с социальной интерпретацией совместных погребений в стелных курганах, А.П. Круглов и Г.В. Подгасецкий с выявлением имущественной дифференциации, П.П. Ефименко с палеолитическими венерами как свидетельствами матриархата – всё это в десятилетие: вторая половина 20-х и первая половина 30-х гг. XX века (Брюсов 1926; Киселев 1928; Равдоникас 1929; Ефименко 1931; Артамонов 1934; Третьяков 1934; Круглов и Подгасецкий 1935). Причем советские авторы проявляли явную тенденцию трактовать культурные изменения как результат социальных трансформаций под воздействием внутренних факторов, а не как свидетельство миграций и влияний.

После войны, когда государства “реального социализма” закалились в догматическом марксизме, ударившись в национализм и империалистические притязания, капитализм в мире предпринял ряд мер социального умиротворения, и ведущие западные государства как раз стали развивать умеренно социалистическую идеологию. На гребне этой волны археологи западного мира заинтересовались реконструкцией социальных отношений в древних обществах.

В 1962 г. в Америке Люис Бинфорд в работе (Binford 1962), знаменующей появление Новой Археологии, разделил факты археологии на три категории, в зависимости от того, какие явления они позволяют реконструировать: *технофакты* (технику и экономику), *социофакты* (общественные отношения) и *идеофакты* (мир идей). Впоследствии он признал это деление “глуповатым”, потому что такого четкого деления в реконструкции нет – по одному и тому же факту можно делать заключения и о технике, и о социальных отношениях, и об идеях изучаемого древнего общества. Однако несомненно, что некоторые группы фактов значительно больше, чем другие, говорят о той или иной сфере жизни, в частности и о социальных отношениях.

Год спустя, в 1963 г., норвежский археолог и этнограф Гуторм Ёсинг опубликовал в норвежском журнале “Folk” статью “Социо-археология” (Gjessing 1963), в которой он, исходя из тенденции интеграции наук (“холистического подхода”), предложил соединить археологию с культурной антропологией и другими науками в изучении первобытных обществ, их социального устройства и социальной эволюции. Эту концепцию он выставил на более широкое обсуждение в 1974 г. в международном журнале “Каррент Антрополоджи” (Чикаго), и она была напечатана на английском языке вместе с полученными отзывами ученых из разных стран в 1975 (Gjessing 1975). Я также участвовал в этом обсуждении и указал на пред-

шествующие работы советских археологов и некоторые западные работы схожего направления.

Я тогда посетовал, что в статье Ёссинга нет систематического подхода, не намечена структура реконструкции общества. Тогда я видел в ней три основные части: 1) детальное различение частей общества – производства и экономики, социальных структур и идейного мира, 2) перечисление явлений в археологическом материале, используемых для реконструкции, – конфигурации обитания, демографические параметры и планы могильников, распределение инвентаря, локализация типов и культур на карте, вариативность материала и проч., 3) оценка методологических принципов и средств продвижения от (2) ко (1).

За несколько лет до выступления Ёссинга в “Каррент Антрополоджи”, в Швеции Карл-Аксель Муберг предложил создать “социологическую археологию” (Moberg 1972), а еще год спустя британский археолог, выдвинувшийся в лидеры Новой Археологии, Колин Ренфру выступил в Саутэмптоне со своей инаугурационной лекцией “Социальная археология” (Renfrew 1973). Оба они думали не столько об интеграции наук, сколько о разработке того отдела реконструкции прошлой действительности, который укладывался в третью ступень “лестницы Хокса” и характеризовался значительной трудностью.

В брошюре Ренфру система оказалась наиболее разработанной. Он выделил в социальной археологии следующие разделы: 1) конфигурация обитания (settlement patterns) и демография, 2) социальная стратификация, 3) этнографические параллели, 4) изучение торгово-обменных отношений, 5) локализация местнахождений и 6) подсчеты трудовых затрат на сооружения. Разделы эти в самом деле есть, хотя их перечень здесь несколько неупорядочен по уровням (на деле они не образуют одного уровня, а может быть, и одного ряда).

Через пять лет в Америке вышел сборник статей “Социальная археология” (Redman et al. 1978), а позже Ренфру выпустил по социальной археологии также сборники статей (Renfrew 1984; Renfrew and Cherry 1986) и одновременно вышла монография Брэдли (Bradley 1984).

В это самое время в Советском Союзе с началом десталинизации стало по-свободнее, и возобновился интерес к социологическим осмыслениям археологического материала. Ряд симпозиумов по этой тематике в петербургском отделении Института археологии завершился выходом обобщающей книги директора этого отделения В.М. Массона (1976) “Экономика и социальный строй древних обществ”. В предисловии автор ссылается на С.Н. Замятина, так характеризующего прежнее состояние советских исследований по реконструкции первобытного прошлого:

“Данные археологии часто привлекаются только как иллюстрации тех или иных положений, априорно понимаемых... Возможности, заложенные в археологических источниках, используются далеко не полностью и подчас заменяются при-

ведением ставших уже привычными, неоднократно повторяемых традиционных выводов и немногих поверхностных этнографических сопоставлений” (Замятнин 1960: 80; Массон 1976: 4).

Массон формулирует: “Задача заключается не в привнесении социологии в археологию, а в выработке методики, позволяющей делать социологические выводы и заключения на массовых археологических материалах” (Массон 1976: 4). Таким образом, в создании этой книги, широко известной в СССР, проявился общий у нас в 70-е годы тренд к выработке строгих методов исследования, в какой-то мере стимулированный показной борьбой властей за искоренение хрущевского волюнтаризма и сумасбродства и возвращение к объективным научным методам.

Как явствует из дальнейшего изложения (из схемы 1 к первой же главе “Социологические исследования в археологии” – рис. 1 к гл. 1), по Массону, в социологические интерпретации входят все три сферы, перечисленные выше, – и экономика, и социальные отношения и структуры, и идеология. Главы 2 и 5 (“Добыча и производство продуктов питания” и “Вопросы палеодемографии и палеоэкономики”) явно относятся к экономике, хотя палеодемографию некоторые исследователи рассматривают скорее в связи с социальными отношениями. Главы 3 и 4 (“Древние промыслы и ремесла” и “Обмен, торговля, первобытные деньги”) можно рассматривать и с экономической и с социальной точек зрения. Главы 6-8, безусловно, относятся к реконструкции социальных отношений и структур. Это: “Планировка жилищ и вопросы общественной эволюции”, “От охотничьих стоянок к древним городам” и “Погребальные обряды и социальная стратификация древних обществ”.

Заметим: “социальная стратификация”. Перед тем выражение *социальная стратификация* отвергалось советской наукой как буржуазное: оно подразумевало деление общества на некие “страты”, тогда как советские идеологи догматично держались выражения “социальная дифференциация”, имея в виду, что надо выделять только “классы”, способные к классовой борьбе (Афанасьев 1993: 5). Инициатива Массона сигнализировала о приходе более толерантного отношения к мировому словоупотреблению – это стали синонимы. У Массона и в другом плане проявилось некоторое сглаживание споров марксизма с неозволюционизмом: вместо того, чтобы начинать рассмотрение с орудий производства, как было положено по марксистским догмам, Массон начинает его с *обеспечения пищей* – как во всех обзорах экономики на Западе. И в его схеме структуры общества производство продуктов питания выделено (рис. 91)

В 1990 г. Массон издал книжечку “Исторические реконструкции в археологии” (Массон 1990), где рассмотрел социологическую интерпретацию наряду с культурологической (куда у него вошли этнический и эволюционный аспекты), а в социологическую интерпретацию он по-прежнему включил экономику, социальные отношения и идеологию. Социология, конечно, задевает сферы экономики и ментальности, оставаясь тем не менее отдельной наукой; социальные отношения и

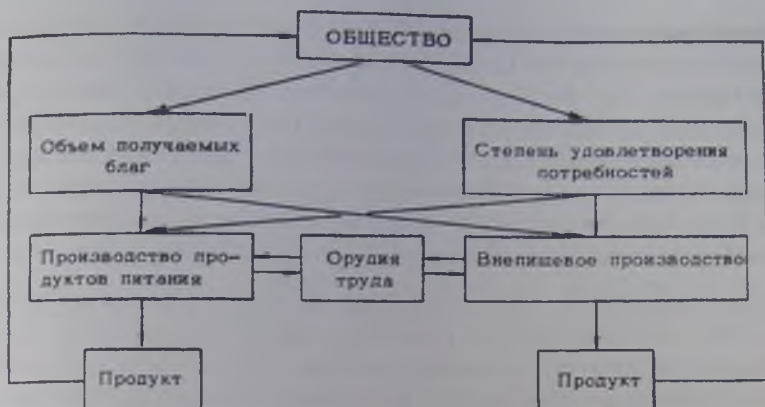


Рис. 91. Структура общества по В.М. Масону (1976, рис. 10).

структуры также охватывают технику и хозяйство, как и мир идей, и всё же это всё разные сферы. Социальные структуры и отношения лучше рассматривать как особую сферу для реконструкции, потому что они действительно имеют особенности, делающие их менее доступными, чем хозяйство и техника, но более доступными, чем мир идей первобытного человека.

В последние десятилетия XX века археологи дошли даже до стараний реконструировать формы власти и политические системы – появились работы по “археологии правительства” (Trigger 1974).

3. Социобиология и этология. Коль скоро мы занимаемся реконструкцией ранних стадий социальных отношений и структур в человеческих обществах, встает вопрос о том, с появления каких признаков вообще мы вправе констатировать наличие этих отношений и структур, как глубоко в прошлое они уходят, и что им предшествовало, а с другой стороны, как далеко в современность простираются предшествующие отношения и структуры. Ведь известно, что преистория или история первобытного общества охватывает большую часть существования человечества, а собственно история занимает лишь крохотную долю, и что на протяжении миллионов лет человечество подчинялось больше биологическим законам, чем социальным, да и сейчас еще биологические и вообще природные факторы играют в нашей жизни гораздо большую роль, чем это еще недавно принималось.

Есть интересные работы, в которых наличие общества, социальных отношений распространяется на животных и различие между человеком и животным усматривается в культуре (Carpenter 1942; Holloway 1969; Kümmer 1971; 1972). Есть, однако, работы, в которых как раз культура (или протокультура) признается и за

постройками и действиями животных (Hallowell 1955; 1960). Более того, с другой стороны, во второй половине XX века развилась *социобиология*. Социобиологи (К. Лоренц, Д. Моррис, Э.О. Уилсон и др.) отмечают огромное количество природных факторов, унаследованных от животных предков, в сознании и поведении современного человека и считают что, чтобы хорошо понимать современного человека и современное общество, необходимо изучать не только социологию и гуманитарные науки, но и *этологию человека* – науку, исследующую воздействие биологических инстинктов на человека и общество (Behrens und Padberg 1976; 1978).

Десмод Моррис (2001, ориг. в 1967) и советский автор Виктор Рафаэлевич Дольник (1994) особенно широко развернули картину воздействия инстинктов, унаследованных от животного состояния, на современных людей и их общественную жизнь. Тут и территориальность, и преданность своему узкому коллективу, и особенности сексуального поведения, и отношения иерархии, и инстинкт собственности и многое другое.

Вывод из этого напрашивается тот, что вся преистория, весь огромный период перехода от обезьяноподобного предка к человеку, и даже с захватом ранней истории, представляет собой поле конкурентного действия законов этологии (как биологической науки) и социологии (как науки социально-исторической). Следовательно, тут можно ожидать существования структур и отношений как биологических, так и социальных, с преобладанием первых в начале, а в конце – вторых. Первобытные семьи людей еще очень близки к гаремам человекообразных обезьян, а большие семьи патриархов и римских патрициев уже очень далеки от них. Первобытные орды еще смахивают на стаи обезьян и волков по своей структуре, а городские общества Иерихона и Чатал-хююка уже содержат зародыши современных.

В любопытной статье Ю.М. Плюсин (1994) проследил, как общеэтологические правила проксемики (науки о пространственном поведении в обществе) сказываются на организации полевого лагеря самих археологов.

Труд обезьян еще полностью инстинктивен, и, хотя условные рефлексy закрепляют случайные успешные операции, но они не передаются по наследству. Для перехода к переводу успешных операций в некую систему знаний, постигаемую обучением, нужен скачок к человеческому сознанию. У животных тоже есть некая система знаний, постигаемая обучением, подражанием, имитацией. Но она очень ограничена и большей частью заранее предписана. Она всегда одна и та же. Скажем, у хищников некая часть навыков охоты должна быть усвоена обучением. Чтобы расширить ее, нужно перевести информацию в знаковую систему. У зверей она переводится в звуковые сигналы и “жесты” (хвостом, оскалом, позой и т.п.). Но объем ее опять же ограничен. Скачок к неограниченному росту передаваемой системы знаний был достигнут с возникновением речи, для чего потребовалась мутация, изменившая некоторые связи в мозгу. Чтобы человек смог отвлечь сигнал от конкретной ситуации и превратить его в слово.

Мы пока не знаем, на какой стадии этих преобразований труд перестал быть инстинктивным и произошел сдвиг к целенаправленному изготовлению орудий впрок. Если обезьяна, воспользовавшись палкой или камнем как орудием, затем выбрасывает его по миновании надобности, то человек заостряет его специальными ударами и уносит с собой на новое место. Возможно, для этого также потребовалась некая мутация, причем другая – приведшая к более расчетливому и дальнему целеполаганию. Какая из этих мутаций произошла раньше, пока неизвестно, но вполне возможно, что целеполагающая – до речевой. Впрочем, возможно, что это одна мутация, давшая способность отвлекаться от конкретной ситуации – и в сигналах, и в трудовых операциях. Возможно, однако, что, наоборот, мутаций требовалось не две, а значительно больше.

Однако все они не означали немедленного “озарения” и воцарения человека в природном мире. Не означали “творения” человека. За каждой следовали десятки тысяч и сотни тысяч лет чрезвычайно медленного накопления успехов до следующего маленького продвижения.

4. Биологические и социальные структуры – репертуар реконструкции. Озадачиваясь реконструкцией семьи, общественных систем и разного рода структур прошлых эпох, мы действуем не вслепую. Перед нашим умственным взором маячат то смутные, то обретающие изрядную четкость модели этих структур, накопленные этнографией, культурной антропологией, этологией приматов, социологией и историей за предшествующие века развития этих наук. В богословии и в марксистской науке эти модели считались четкими и подлежащими лишь уточнению и конкретизации, в плюралистической науке Запада – расплывчатыми ориентирами, подлежащими проверке и замене, но имеются они и там и тут.

Креационистские библейские модели, популярные в богословии и в клерикалистских попытках согласовать научные факты с догмами Библии, это: акт творения, Адам и Ева как исходная пара людей, преадамиты как иная группировка человечества (неканоническая модель – откуда Каин взял жену, если дочерей у Евы долго не было?), Сим, Хам и Яфет как родоначальники рас или языковых семей, вавилонская башня как объяснение многообразия языков, избранный народ Божий (свой), семьи патриархов и т.д. Все эти модели ныне остались достоянием крайне необразованных людей и фанатиков веры, да чудачеством отдельных фриков от науки. Но в свое время они сыграли заметную роль в создании цельной картины прошлого, в поисках объяснения ряда явлений, в обращении к логике и истории. А тем самым в подготовке критического к ним отношения. Некоторые самые общие сходства с реальностью были угаданы – например, происхождение всех людей от одной исходной матери (“африканская Ева”, по митохондриям). Нет никакого резона полагать, что это не случайная угадка, а “прозрение”.

Гораздо более близки к реальности марксистские модели биологических и социальных структур, потому что в основе их – научные наблюдения и теорети-

ческие рассуждения, но односторонние и догматизированные, то есть закрепившие навсегда успехи определенного времени (середины XIX века). Это матриархат и патриархат, взятые из неточного прочтения Бахофена, моргановские стадии развития семьи – промисквитет, кровнородственная семья, пуналуальная семья, парная, патриархальная и моногамная. Промисквитет никогда не существовал как отдельная стадия (его нет и у обезьян), кровнородственная семья и подавалась как гипотеза, подтверждений ей не нашлось, пуналуальная семья оказалась ошибкой наблюдения – словом, вся ранняя часть схемы Моргана-Энгельса распалась. Далее это моргановские стадии развития общества от дикости через варварство к цивилизации (с делениями каждой на три ступени). Как названия периодов технического и культурного прогресса они остались, но их конкретный смысл сильно изменился, а главное – изменилось их значение в истории. Никто не располагает по ним этапы конкретной истории народов. Нашлись более важные вехи.

К марксистским клише, в свое время обязательным у нас, принадлежали “доклассовое общество”, “первобытный коммунизм”, “родовой строй”, “первобытно-общинный строй”, “азиатская формация”, “рабовладельческая формация”, “военная демократия”, “имущественная дифференциация”, “выделение ремесла”, “государство как машина эксплуатации” и т.д. Какие-то из этих клише утерjali обобщающую функцию (“родовой строй”), какие-то были дискредитированы с падением соответствующих идеалов (“первобытный коммунизм”, “государство как машина эксплуатации”), какие-то ушли в небытие с дезавуацией марксистской “пятичленки” или “шестичленки” (“первобытно-общинный строй”, “азиатская формация”, “рабовладельческая формация” и т.д.). Но какие-то остались (“имущественная дифференциация”, “выделение ремесла”), и в целом марксизм оказал существенное влияние на мировую науку. Не без воздействия марксизма влиятельные мировые школы обратились к экономической и социальной тематике и стали разрабатывать новые понятия для этого анализа.

Выделение классов, в частности, ремесленников и сейчас остается занятием археологов при реконструкции прошлого, и наработки советских археологов (Рыбаков 1948; Домашние 1970 и др.) не утратили интереса.

Неоэволюционизм находился под большим влиянием марксизма, и именно под этим влиянием Гордон Чайлд (Childe) к 1935 году разработал понятия “неолитической” и “городской революций”, приобретшие огромную популярность, а следом за ним были введены и другие революции, что у нас менее известно. Для начала в 1968 и 1973 гг. Р. Фойстель (Feustel) из ГДР различил две революции в палеолите: “охотничью” и “верхнепалеолитическую”, потом к ним прибавилась еще одна, самая ранняя – “человеческая” (скачок от обезьяны), которую ввели в 1989 г. Мелларс и Стрингер (Mellars and Stringer) в Англии. В 1964 г. Кентом Флэннери (Flannery) была введена “революция широкого спектра” или мезолитическая, в 1981 г. Эндрю Шерратом (Sherratt) – “революция вторичных продуктов” (использование шерсти, молока и тягловой силы животных), в 1994 Флэннери добавил между неолитической и городской “революцию рангов”, имея в виду усиление иерархических градаций.

Увеличение числа революций, конечно, уменьшило радикальность каждой из них. Затем неолитическая, а особенно городская революции утратили свою внезапность вообще. Происхождение города явно выступало не как событие, а как процесс, ранние города оказались без существенных признаков города вообще (протогорода) и заняли промежуточное положение между городами и большими селами (Sjoberg 1960; Kohl and Write 1977; Strahm 1988). А неозволюционизм вернулся к своему эволюционистскому статусу, чуждому революций. Нео- (новый) он за счет других обстоятельств (многовариантности, сопряженности с диффузией и т.д.).

Другая неозволюционистская разработка, очень популярная, была принята учениками американцев Л. Уайта и Дж. Стюарда. Ученик Стюарда Элман Сервис (Service) и ученик Уайта Маршалл Салинз (Sahlins) предложили новую классификацию ячеек социальной интеграции на разных ступенях культурно-исторического процесса. Критериями выделения послужили формы обмена и другие параметры. Прежняя схема основных ячеек организации общества (орда – род – племя – союз племен – государство) утратила авторитет. Существенным было введение между племенем и государством промежуточной ступени, которую эти авторы назвали “вождество”, или по-английски “чифдом” (в какой-то мере вождество соответствует “военной демократии” Энгельса). Схема получилась такой:

band – tribe – chiefdom – state (орда – племя – вождество – государство).

Это сформулировано наиболее полно в книгах Элмана Сервиса “Первобытная социальная организация” (Service 1962) – второе издание 1975 г. называлось “Происхождение государства и цивилизации”, и Марвина Салинза “Люди племени” (Sahlins 1968). Мортон Фрайд (Fried 1967) предложил иное членение, также применяемое: *эгалитарные* общества, *ранжированные* (с имущественным неравенством и неравенством статуса) и *стратифицированные* (с политическим контролем одного слоя над другим). Революция рангов Кента Флэннери имела в виду именно переход от эгалитарных обществ к ранжированным. Существует целая литература с дискуссией о том, какие именно признаки характерны для “вождества”, а какие – для предшествующих или последующих стадий организации, чем отличаются выдающиеся фигуры племенной эпохи (“великие люди” – great men) от таковых эпохи чифдома (“больших людей” – big men) и т.п. (Павленко 1989; Артемова 1991; Крадин 1995; Earle 1987; Skalnik 2004 и др.).

На этой основе Ренфру и Бан (Renfrew and Bahn 1991: 155) предложили археологам схему, из которой они убрали племя как не всеобщую форму. Получилось:

band – segmentary society – chiefdom – state (орда – сегментированное общество – вождество – государство)

с такими характеристиками:

Эволюция социальных структур (схема К. Ренфру и П. Бана)

	Орда	Сегментированное общество	Вождество	Государство
Количество населения	менее 100	до нескольких тысяч	5 000 – 20 000	обычно более 20 000
Социальная организация	эгалитарн. общество, неформальн. лидерство	сегментир. общество общеплеменные ассоциации походы малых групп	королевская иерархия воины высокого ранга	классовая иерархия во главе с королем или императором армии
Организация экономики	подвижные охотники-собиратели	оседлые земледельцы подвижные скотоводы	централизован. накопление и редистрибуция специализация ремесленников	централизован. бюрократия данничество налоги законы
Конфигурация поселений	временные стойбища	постоянные деревни	укрепленные центры ритуальные центры	города и городки пограничные укрепления дороги
Религиозные структуры	шаманы	жрецы календарные ритуалы	наследственный вождь с религиозными функциями	класс священников пантеистическая или монотеистич. религия
Архитектура	временные постройки (шалаша, чумы)	постоянные хижины курганы святилища	масштабные памятники (типа Стоунхенджа)	дворцы, храмы и др. публичные здания
Археологические примеры	все палеолитич. об-ва включая палео-индейские	все ранние земледельцы (неолит, архаические общества)	многие ранние об-ва с металлом и все формативные об-ва США, африканские царства	все древние цивилизации, напр. в Мезоамерике, Перу, на Ближн. Востоке, в Индии и Китае, Греция и Рим
Современные примеры	эскимосы, бушмены Калахари, аборигены Австралии	Пуэбло, ЮЗ США, горные жители Новой Гвинеи, нуэр и динка Вост. Африки	Индейцы СЗ побережья США, полинезийцы 18-го века, вождества в Тонга, Таити, на Гаваях	Все современные государства

Шведский археолог К.-Г. Шёгрэн (Sjögren 1986) делит сегментированные общества на два вида – общества с клановым родством – линиджем (lineage) и общества Большого Человека (Big Man societies), основываясь на статье Сервиса “Бедный – богатый – большой – вождь” (Service 1963). В обществах Большого Человека связи союзные и обменные доминируют над клановыми. Что же до вождества, то Ренфру, проанализировав книги Сервиса и Салинза, выделил двадцать признаков “вождества” для ориентировки археологов:

- 1) ранжированное общество;
- 2) перераспределение продукции организовано вождем;
- 3) больше густота населения;
- 4) количественное увеличение населения;
- 5) увеличение размера отдельных локальных групп;
- 6) больше производительность труда;
- 7) более четко определены территориальные границы;
- 8) общество более интегрировано и больше социоцентрических статусов;
- 9) есть центры, координирующие социальную, религиозную и экономическую деятельность;
- 10) частые церемонии и ритуалы для широких общественных целей;
- 11) подъем жречества;
- 12) связь с природной средой, поощряющая специализацию производства (и распределения), т.е. некоторая экологическая диверсификация;
- 13) специализация не только региональная или экологическая, но и путем вливания индивидуальных умений в большие кооперативные предприятия;
- 14) организация и развертывание общественных работ, иногда сельскохозяйственного назначения (например, ирригации) и/или для постройки храмов и пирамид;
- 15) усовершенствование в ремесленной специализации;
- 16) потенциал для территориальной экспансии – связанной с “подъемом и падением” вождеств;
- 17) уменьшение внутренних раздоров;
- 18) всеобъемлющее неравенство индивидов и групп в обществе, соединенное с постоянным лидерством, эффективным везде, кроме экономики;
- 19) отличительные одежды или украшения для лиц высокого статуса;
- 20) отсутствие настоящего правительства для решения вопросов легализированной силой (Renfrew 1973: 543).

Подобное выделение формальных критериев облегчает подведение конкретных случаев под те или иные намеченные этнографами и теоретиками социальные категории. Иные археологи в этом и видят конечную цель исследования. А, это эгалитарное общество! А, понятно – это чифдом! Но этими общими определениями почти ничего не сказано. Как раньше ничего не говорили ярлыки “матриархат”, “вторая ступень варварства”, или “военная демократия”. Если бы все

эти 20 признаков непременно бытовали вместе, тогда по обнаружению нескольких можно было бы предполагать наличие всех остальных и рисовать цельную картину. Но этого в действительности нет. В реальных обществах проявляется некое ядро из нескольких признаков, а сопряжение с ними всех остальных остается под вопросом – есть масса переходных состояний, пережиточных явлений и неожиданных ранних проявлений будущих состояний. Реальная жизнь противоречива и часто незаконна.

В своем выделении признаков “чифдома” Ренфру сознает опасность того, что “список признаков” может превратиться в конечную цель исследования. Он предлагает перейти к “более тонким и менее всеобъемлющим понятиям” (Renfrew 1073: 557). Действительно, “эгалитарное общество”, “чифдом” – всё это модели наиболее общих структур, а в распоряжении современного исследователя имеется и много более конкретных и частных: по разделению кочевников и земледельцев, по организации кочевых империй, по выделению не только ремесленников, но и жречества, купцов-воинов, колесничих, сословия всадников, по специфическому устройству общества викингов и т.д.

Возражая Колину Ренфру, Джозеф Тэйнттер пишет, что предложенный Ренфру выход – детализировать выделение социальных структур – не меняет принципиального подхода. Это “приведет нас к бесконечному умножению новых ячеек в эволюционной типологии, поскольку каждый археолог откроет, что его преисторическое вождество не совсем такое, как все другие. И в конце концов литература будет заполнена данными, отражающими «вождество типа 32а» или «вождество типа 32б»!” По мнению Тэйнттера, это всего лишь “умножение новых ярлыков, приложенных к первобытным обществам. Сосредоточить свои исследовательские усилия на том, как *называть* общества прошлого – пустая трата сил” (Tainetr 1978: 117).

Я думаю, что определения этого рода, классификация и терминология – не пустая трата сил. Этот широкий набор моделей помогает находить абрисы конкретных структур, отраженных в археологическом материале. Он позволяет представить материал в системе. Но было бы глупо ограничиваться этим и не сделать попытки реконструировать механизм функционирования этих категорий, их реальные связи и взаимодействия.

5. Пути реконструкции. Дальнейшая работа может быть организована несколькими путями.

Первый путь (назовем его функциональным) предполагает выявление в археологическом материале групп источников согласно функциональному назначению артефактов и памятников (например, поселения и жилища, погребальные комплексы, клады и т.д. или: каменный инвентарь, костяные изделия, керамика и т.д.), а затем продвижение от них к тем социальным группам и отношениям прошлого, о которых преимущественно ожидается информация в этих материалах. В

частности, из погребений обычно извлекают информацию о социальной стратификации, из поселений и жилищ — об образе жизни и устройстве семьи, из керамики — о торгово-обменных отношениях и локализации брачных ячеек. При *оценке информационных потенциалов* разных категорий источников и при рассмотрении *внутренней критики источников* это наиболее удобная последовательность операций и я прибегал к ней в первом томе этого труда (гл. 7, раздел 4).

Этот путь хорош тем, что исходит из стандартного, отработанного упорядочения материала, но на этом пути некоторая часть информации рискует остаться за бортом. В частности, та часть информации, которая не включена в преимущественно ожидаемую от данного вида источников. Скажем, информация о социальном расслоении не от погребений. Джулиан Томас (Thomas 1988) установил, что в мегалитах Англии есть свидетельства систематического перемещения костей, так что мегалиты служили только временными хранилищами останков. Он предположил, что это были центры ритуальных торжеств, не связанных непосредственно с погребениями, хотя и с участием останков предков. В.А. Алекшин (1986), рассматривая погребения земледельческого энеолита, обнаружил в этом материале шесть информационных блоков (об организации общества и иерархии, об имущественной и социальной стратификации, о патрилокальности и матриликальности брака, о типах семьи, о размерах общества и т.д.). Такой учет — это способ избежать упущений.

Другой путь (целевой) предполагает в основе исследования целеполагание. То есть прежде всего нужно наметить те группы социальных структур и отношений, которые мы намерены выявить и реконструировать, а затем подбираем те источники, от которых эту информацию можно ожидать. Если мы хотим реконструировать выделение некоего ремесла, то нужно будет разыскать мастерские этого рода, найти источники сырья, определить границы рынков, проследить распространение изделий из ремесленных очагов, их попадание в клады, узнать, есть ли особые погребения данного вида ремесленников и т.д. Если мы задались целью выявить хлебопашество, то надо поинтересоваться зёрнами злаков и сорняков, остатками полей со следами пахоты (иногда сохраняются под курганами), орудиями пахоты и других сельскохозяйственных операций, токами и зернохранилищами, керамической тарой со следами употребления для транспортировки зерна, отпечатками зерен и примесью соломы в керамике и т.д.

Этот путь обеспечивает более полный учет информации, но он требует более дотошного знания тех структур и процессов, которые только еще предстоит выявить. А это далеко не всегда в наличии.

Есть еще третий путь увязки материала с целями исследования — это через методику работы (назовем его *методоцентрическим*). Здесь в центр исследовательского внимания попадают конкретные приемы работы, методы интерпретации и реконструкции. Классификации, упорядочению здесь подлежат именно они, а уже через них мысль пробивается к подлежащим анализу материалам, с одной

стороны, и к социальным структурам и отношениям – с другой. Усилия исследователей направлены прежде всего на упорядочение старых и отыскание новых приемов интерпретации и реконструкции. Так, новым был найденный Джеймсом Дицем прием *исследования стилистических различий* в керамике (Deetz 1965) – обнаружилось неодинаковое распределение мотивов по жилищам: в одних поселениях смешанное, в других с четкими различиями между жилищами. Диц из этого вывел матрилокальность и патрилокальность брака, основываясь на том, что керамику делали женщины. Где муж переселялся в семью жены и женщины оставались жить с матерью, там они продолжали украшать керамику по ее примеру, а где жены переселялись в семью мужа, керамическая орнаментация смешивалась. Этот прием стал использоваться и другими.

Чтобы обеспечить полноту охвата, нужна классификация методов. Ее я еще не встречал. Очевидно, должны быть учтены методы *типологические* (или морфологические) – построенные на анализе формальных различий и варибельности форм, *локационные* (картографические) – на их размещении в пространстве, *эволюционные* – на их размещении во времени, *количественные* – на всяческих подсчетах.

Скажем, *функционально-типологические различия* вещей – как в инвентаре погребений так и материале жилищ – могут показать социальную стратификацию, но могут определить и культурно-этническую принадлежность, выявить миграцию, влияния или автохтонность. Метод Дица, основанный на стилистических различиях в керамике, может послужить примером *локационных* методов. *Подсчет трудовых затрат* на создание орудий и построек, на сооружение могил и т.д. может дать представление о размерах первобытных общин, о длительности пребывания, об эффективности хозяйствования, о социальной стратификации, об иерархии деятелей и т.д. *Подсчеты калорийности* продуктов охоты и животноводства могут выявить эффективность и долю этих отраслей хозяйства, а могут также показать различия в богатстве и социальном положении семей и общин, уровень благосостояния народа.

6. Поселения с жилищами и реконструкция. В литературе наиболее освещен первый путь – функциональный, от категорий материала. Взять, например, поселения и жилища.

Тут этот путь нашел выражение в большом количестве методологических работ – от советских марксистских разработок А.Я. Брюсова и С.В. Киселева на темы поселений и жилищ (Брюсов 1926; Киселев 1928) до детальных неэволюционистских штудий и книг Новой Археологии и других – книги Гордона Уилли (Willey 1953), сборников “Поселенческая археология” Чжана Гуанчжи (Chang 1968), “Человек, поселение и урбанизм” (Уско 1972) и “Ранняя мезоамериканская деревня” Кента Флэннери (Flannery 1976). В 1974 г. и в Ленинграде был проведен симпозиум по реконструкции общественных отношений на материалах жилищ и

поселений (Реконструкция 1974). В этих книгах и других подобных предлагались модели развития форм поселений, представлены были разные археологические материалы, воплощающие это разнообразие форм, и для города и деревни разных видов обосновывались разные возможности реконструкции общественных структур, вызвавших эти формы к жизни.

Соответствующий раздел в руководстве Ренфру и Бана включает в себя демографические подсчеты и локационный анализ ("теория центральных мест" Вальтера Кристаллера, полигоны Тиссена и т.п.), но в данном контексте это излишне, так как демография рассмотрена в другой главе, а локационный анализ – в первом томе. В дальнейшем изложении Ренфру и Бан описывают методы, применимые к разным этапам эволюции социальных систем: ордам, сегментированным обществам, чифдомам и т.д.

Некоторые исследователи задались целью выявить в этом разнообразии некую формальную систему, некую единую грамматику, к которой можно было бы подобрать соответствующие смысловые толкования форм. Так, в 1976 г. в большой статье "Пространственный синтаксис" в архитектурном журнале "Энvironment энд плэннинг" британские историки архитектуры Б. Хиллер, Э. Лимэн, З. Стэнсолл и М. Бедфорд предложили такую грамматику. Затем их работа была перепечатана в археологическом издании BAR 1978 (Hiller et al. 1976/1978a). Они разработали систему условных обозначений (язык символов) для представления различных элементов, образующих пространственные структуры при сооружении жилищ и поселений (рис. 92). Все теоретически возможные структуры они сгруппировали в 8 классов по возрастающей сложности (описываю грубо – ср. рис. 93): 1) открытое пятно, 2) закрытое (ограниченное) пятно, 3) соединение первого со вторым, 4) включение одного закрытого пятна в другое, 5) соединение двух закрытых пятен одним открытым, 6) включение двух закрытых внутрь одного закрытого, 7) включение двух закрытых пятен в одно открытое с присоединением двух закрытых ко всей конструкции извне, 8) включение трех закрытых в одно закрытое.

Они проиллюстрировали конкретными примерами эти классы структур, заявив, что этим исчерпываются все возможности. Они подвели под свои схемы постройки разных типов и веков – кивы Южной Америки и средневековый Лондон, пуэбло и квартал мастеров в Эль-Амарне, гугенотский лагерь и зулусский крааль, тюрьмы XIX века с радиальной структурой и древнеегипетский храм.

Так, они сравнивают круглые постройки, просматриваемые из центра, племени хакка в Китае и царский "великий крааль" зулусов (рис. 94) с британской тюрьмой по проекту Бивенса (1819 г.), устроенной по принципу "паноптикума" (рис. 95). Все они круглые в виде кольца или концентрических колец с диском внутри (тип 8 по их классификации). Но я бы мог противопоставить этому питерскую тюрьму "Кресты", корпуса которой тоже выстроены по принципу паноптикума, но имеют вид не колеса, а двух крестов (рис. 96).

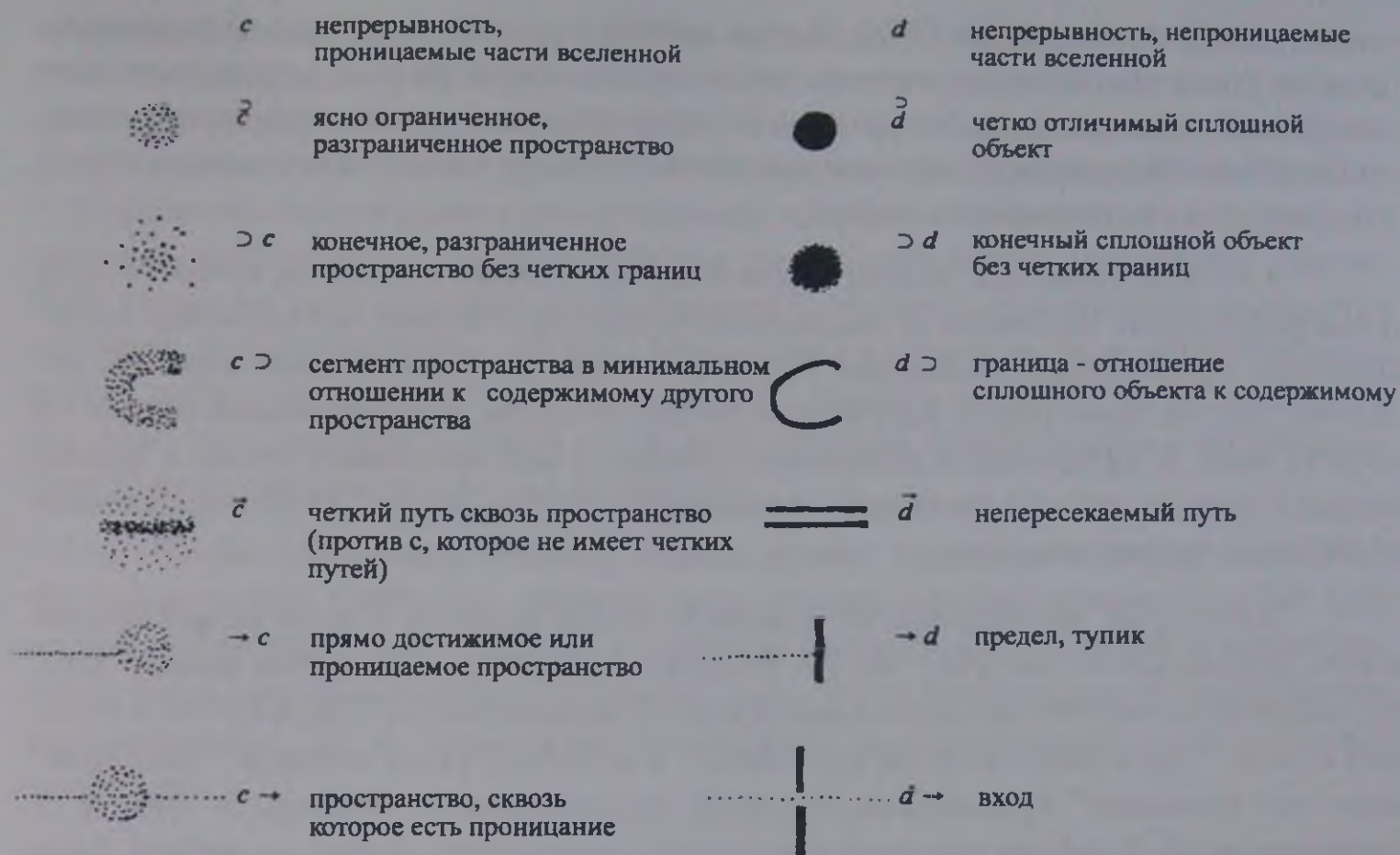


Рис. 92. Элементарный лексикон пространственного анализа по Хиллеру и др. (Hiller et al 1976/1978a, fig. 1).

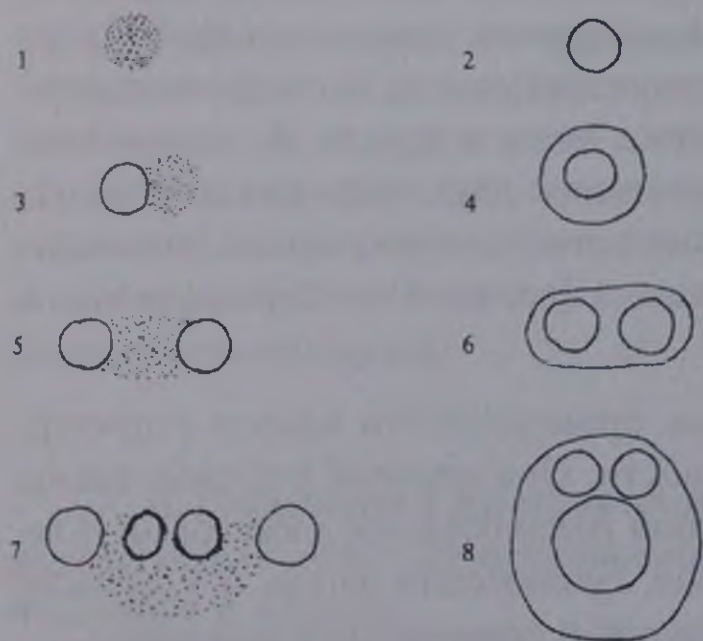


Рис. 93. Элементарные объекты "пространственного синтаксиса" по Хиллеру и др. (Hiller et al. 1976/1978a, fig. 3).

Далее авторы исходили из представления, что пространство — хоть и не простое отражение общества, но это "ряд стратегий в отношении к социальной форме, часто не дающих другой альтернативной базы для совмещения, чем продиктованная социальной структурой" (Hiller et al. 1978a: 376). Они усмотрели в пространственных конфигурациях проявление психологических тенденций (свободу распространения, связь-склеенность, иерархию и т.п.), которые и рекомендовали для толкования социальных интенций соответствующих форм. Получились такие выводы:

1) на низших синтаксических уровнях пространство является средством ухода от социального, а закрытое пространство является минимальным доменом, внутри которого социальное преобладает над пространством;

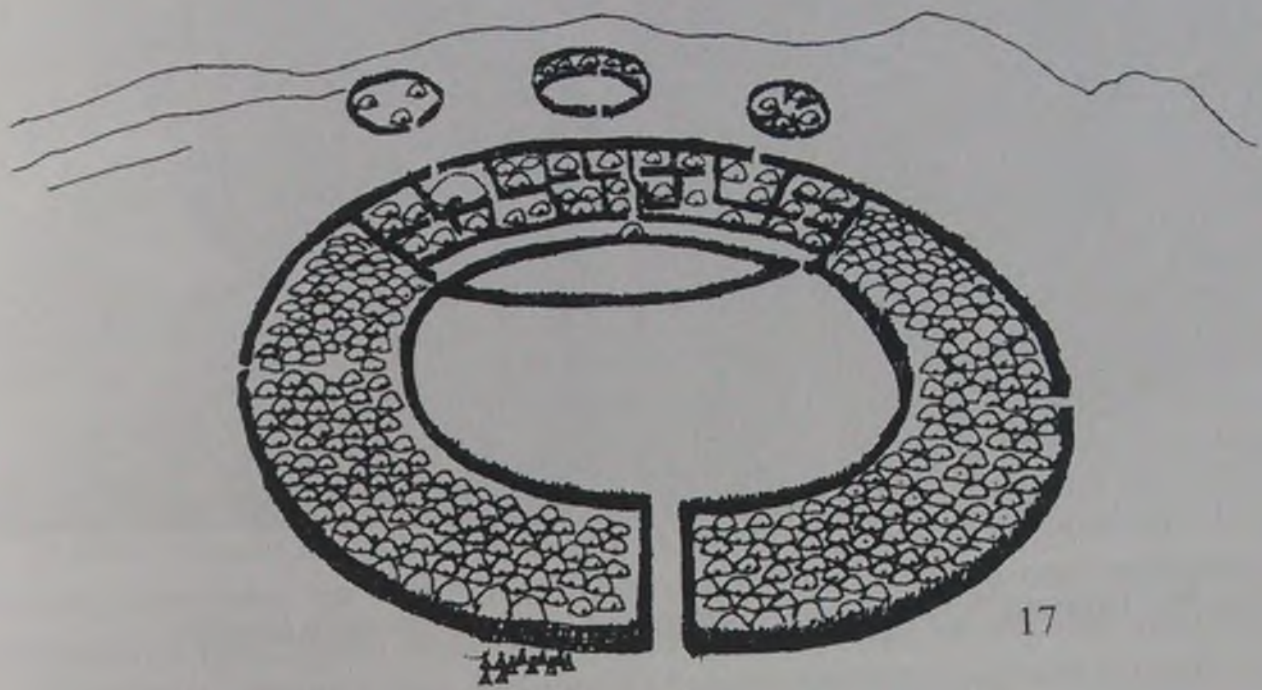
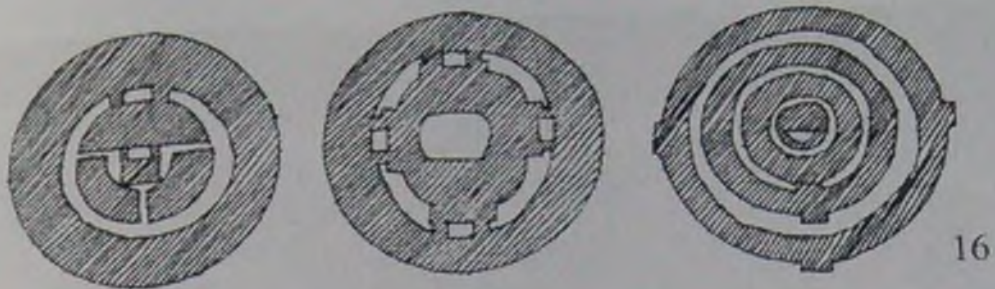


Рис. 94. Циркулярный план жилищ племени хакка в Китае и “великий крааль” зулусов в Африке (из статьи: Hiller et al. 1976/1978a, fig. 16-17).

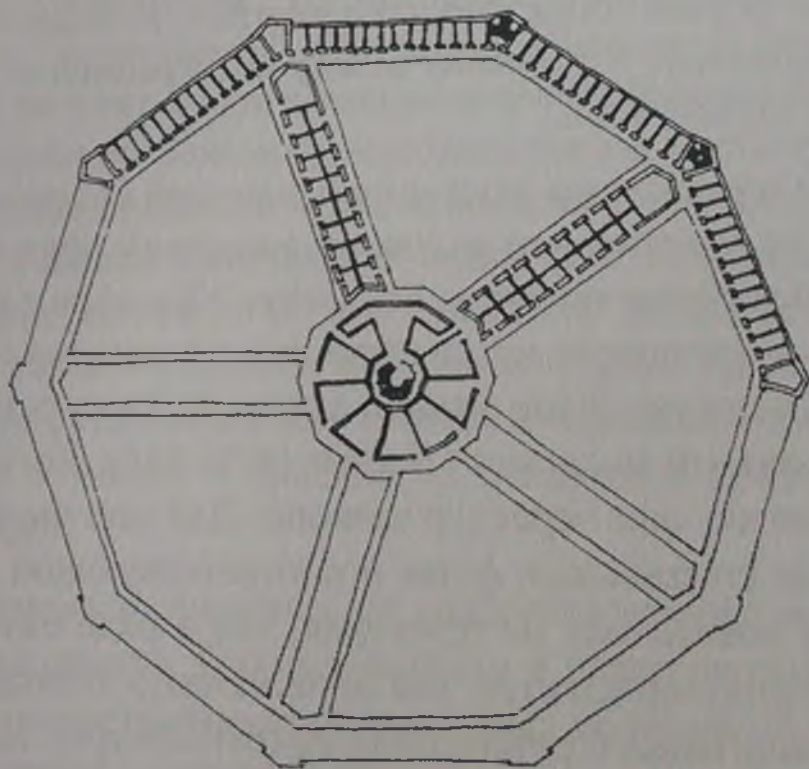


Рис. 95. План Бивенса тюрьмы на 600 заключенных в Британии (из статьи: Hiller et al. 1976/1978a, fig. 18).



Рис. 96. Тюрьма “Кресты” в Петербурге с высоты птичьего полета.

2) в открытых сооружениях синтаксисы высокого уровня собирают вместе в пространстве то, что социально дифференцировано, а в закрытых они разделяют то, что социально является тем же самым;

3) открытые формы “образуют альтернативную социальность несмотря на неоднородность (например, отношение между интеграцией городского пространства и разделением труда)” и т.д.

Против этой инициативы выступил известный социо-антрополог Эдмунд Лич (Leach 1978). Он отметил, что рядовому археологу вряд ли виден непосредственный смысл в “пространственном синтаксисе” Хиллера с компанией, но и для ухищренного социо-антрополога математическое оформление отношений не имеет отношения к реальности. “Мир вещей, который Хиллер и др. исследуют, не столь прост, как эти авторы полагают” (Leach 1978: 386). Когда они от топологии заключают к социологии, они чересчур наивны. Для них зависимость пространственных структур от социальных форм и соответствующей социальной психологии очевидна. Лич показывает на примерах, что в ряде случаев предложенное ими соответствие не подтверждается: где должна быть солидарность, ее нет, где предусмотрена централизация (группировка вокруг центра), всё рассредоточено и т.п. По всему миру старые города, со стеной и густым заселением, соответствуют третьему классу синтаксических структур, по Хиллеру и др., но имеют признаки шестого класса.

“Общий вывод таков, что несмотря на всю элегантность анализа Хиллера и др., вы не сможете использовать его, если не знаете ответа заранее. Археолог, у которого нет ничего, кроме общего плана сооружения, не может вывести из него, каким был порождающий синтаксис постройки. А если решится на это, скорее всего ошибется... Что нужно некоторым читателям сего тома, это знать, насколько применение этих синтаксических принципов может помочь археологу делать выводы о значении планов, открываемых его раскопками” (Leach 1978: 388).

Лич также указывает, что синтаксис Хиллера и компании топологически строится на планах сооружений и сводится к полигонам, тогда как на деле строения трехмерны и сводимы к полиэдрам.

В своем ответе четверо авторов отвергают это возражение: лестницы соединяют этажи, и верхние этажи можно просто рассматривать как продолжение нижних, проецируя их на одну плоскость. Кроме того, они ссылаются на то, что теории описывают не реальность с ее частностями, а лишь лежащие в ее основе морфологические условия. “... Мы предложили не аналитическое орудие, а теорию, на которой такие орудия могут быть основаны” (Hiller et al. 1978b: 404).

В 1984 г. Билл Хиллер и Джульен Хансон издали в Кембридже “Социальную логику пространства” (Hiller and Hanson 1984), и затем она переиздавалась неоднократно (я проследил издания до 2005 года), будучи весьма популярной в кругах теоретиков архитектуры. Но среди археологов применение теории Хиллера и его друзей незаметно.

Дело в том, что в проекте “синтаксиса пространства” рельефно выявились некоторые обычные просчеты многих методик социальной реконструкции по археологическим материалам. Эти методики, построенные на допущении социархеологических “коррелятов”, обычно не учитывают некоторых особенностей культуры. Они не учитывают *полисемичности* объектов культуры – того, что человеческое воображение экономно, изобретательно и пластично, что в культуре каждый объект может иметь не одно, а несколько соответствий в социальной сфере. Палка может использоваться как опора при ходьбе, как орудие боя или наказания, как символ статуса (стэк), как держатель для заплечной сумы. Обратное же, в культуре действует и принцип *эквивинальности*: одна и та же цель может достигаться разными средствами: для охоты на небольших животных можно воспользоваться луком, а можно – пращей, но сгодится и ловушка. Этого тоже эти проекты не учитывают.

По этой причине вычитывать из археологического контекста социальное содержание очень не просто. Прямолинейных и однозначных “коррелятов” мало. Нужно учитывать множественность допустимых толкований и на основании сочетания разных факторов и условий выбирать подходящее. Возможно, что-то стоит оставить многозначным. Но это вовсе не значит, что всякое социальное толкование невозможно и нужно отступить от задачи.

7. Погребальные данные и реконструкция. Посмотрим теперь на путь от категорий материала к реконструкции социальных категорий, исходящий от могильников и погребений. Здесь тоже постановка вопроса начинается с советских археологов-марксистов – Равдоникаса (1929), Артамонова (1934), Круглова и Подгаецкого (1935). До них богатые погребения, конечно, выделялись по масштабам сооружения и богатству инвентаря (царские могилы скифов), но далее этого дело не шло. На Западе же солидные ученые придерживались позиции А.(Э.) Крёбера, который считал, что погребальный обряд диктовался не социальным статусом умерших, а религиозными предписаниями и обстоятельствами смерти (Kroeber 1927). С теми или иными оттенками эта позиция повторялась у Чайлда в 1945 г. и у Аккоу в 1969 (Childe 1945; Ucko 1969).

Применяя марксистские представления и методические принципы, археологи ранесоветской плеяды занялись совместными погребениями мужчин и женщин в бронзовом веке, трактуя их как свидетельства наличия патриархальной семьи и обычая умерщвления жен на похоронах мужа. С точки зрения той плеяды археологов, эти явления иначе, чем усилением социальной роли мужчин при переходе к скотоводству, и нельзя объяснить.

Далее на четверть века советская археология, скованная сталинским режимом, не решалась затрагивать социальные темы. Только в шестидесятые годы интерес к ним начал оттаивать. Марксистские представления и простые измерения имущественного неравенства лежали в основе скромных разработок – деления скифов на социальные группы (Хазанов 1960).

В работе 1967 г. я (Klejn 1967) предложил выделять властных людей в катакомбной культуре не по количеству металла и не по каменным боевым топорам, как предлагалось, а по кремневым наконечникам стрел. Я предполагал их символическое значение (исходя из аналогий в этнографии: лук – вождь или царь, стрела – исполнительная власть) и подкрепляя сопряженностью с имущественным распределением. Но это предложение осталось незамеченным – возможно, потому, что не укладывалось в марксистские трактовки, а возможно, потому, что было опубликовано на немецком языке и не сопровождалось точными подсчетами. Близкая по сюжету, но о более позднем времени – работа Г. Коссака (Kossack 1974).

На Западе в 60-е годы тоже появился ряд исследований с социальной интерпретацией конкретных погребальных серий, особенно в США, где в это время усилился интерес к социальной проблематике и формировалась Новая Археология. Это работы Джеймса А. Брауна (опубликованные в 1971), Д. Майлза, Л. Кинга (Miles 1965; King 1969; Brown 1971). В них обильно применялась статистика. На рубеже 60-х и 70-х годов в Америке появилось несколько теоретических работ по этой тематике, сильно продвинувших исследования по этому направлению.

Теоретическая разработка реконструкции социальных структур на базе погребений начинается с работы Гэри Стикела в Калифорнии. Стикел (Stickel 1968) сформулировал, чем отличается эгалитарное общество от ранжированного по мате-

риалу погребений. По Стикелу, для эгалитарного общества характерны четыре признака: 1) преобладание артефактов, первоначально служивших в сфере техники; 2) символы статуса, добытые индивидуальными достижениями; 3) в комплексах они скорее разбросаны по индивидам, чем собраны в группы; и 4) они не наследуются, что видно по их включению в могильный инвентарь. Наоборот, ранжированное общество характеризуется такими признаками: 1) возрастание частоты символов статуса, 2) они распределены группами; 3) в погребальных комплексах существенная индивидуальная вариация, 4) наследование статуса, и символы не попадают в могилы. По Стикелу, в эгалитарном обществе различие между погребениями выражено скорее в количестве инвентаря, чем в качестве, тогда как в ранжированном обществе верхними слоями для инвентаря больше используются экзотические материалы.

Вскоре, в 1970 г., Артур Алан Сэкс защитил диссертацию с социальной трактовкой могильников и сформулировал ряд законов. Изучая мезолитические погребения Судана, он установил связь между социальным статусом покойного и обрядом. Чем более парадигматично организованы признаки погребального обряда (то есть чем более независимы их шкалы одна от другой, чем более свободно признаки разных шкал сочетаются), тем общество более эгалитарно и менее сложно организовано. Чем более признаки организованы древовидно, с иерархией по шагам процедуры, тем сложнее общество и тем ранжированнее. В эгалитарных обществах дети – одного статуса, а если ребенок погребен по особому обряду, значит, по Сэксу, у него социальный ранг от рождения. Сэкс пришел также к выводу, что выделенные кладбища появляются с возникновением наследования по мужской линии и соответствующей монополизацией ресурсов. Он проследил это на трех примерах (Saxe 1971). Впоследствии Голдстейн проверил это на 103 этнографических группах (Goldstein 1976), что не избавило вывод от нареканий.

Большое впечатление на археологов произвела работа Люиса Бинфорда, лидера Новой Археологии (Binford 1971; анализ этой работы см. Плахин 1993). Рассмотрев около сорока этнографических культур, Бинфорд пришел к заключению, что вариативность форм погребения определяется не столько религиозными нормами или обстоятельствами смерти, сколько социальным статусом умерших. Он нашел общий критерий для деления на социальные группы – *уровень трудовых затрат* на сооружение могилы и на сопроводительный инвентарь. Джозеф Тэйнтер (Tainter 1975; 1978), сделавший обзор всей литературы по проблеме, предложил перечень всех *действий* по погребению человека, а А.О. Добролюбовский (1982), переложивший сведения об этих разработках для русского читателя, внес замечание о делении трудовых затрат на *необходимые* (для всякого выполнения обряда) и *дополнительные* – по ним-то и выделять высшие социальные группы. Бишони (1994: 154-155) рассмотрел разные способы изменения трудовых затрат, а Ренфру (Renfrew 1993; 16-18) перенес этот способ реконструкции на святилища.

В работе Тэйнтера абсолютность заключений Стикела подвергнута сомнению: Тэйнтер приводит случаи, когда индейцы могут изымать ценные вещи

из погребального костра, заменяя их менее ценными – и картина для археологов меняется, представляя ранжированное общество как бы эгалитарным. Еще важнее, что, как констатирует Тэйнтер, и у Стикела и у Бинфорда всякое выделение социальных структур по погребениям сводится к анализу вариативности массового материала (*grave associations*), тогда как “погребальный ритуал – это процесс *символизации*. А природа символа такова, что отношение между формой символа и тем, что символизируется, произвольна или, в лучшем случае, условна. Учитывая это, нет необходимого резона, почему социальные различия должны быть символизированы погребальным инвентарем”. Да, для символизации высокого статуса часто используются драгоценности и художественные изделия. Грэйем Кларк опубликовал книгу “Символы отличия: драгоценные материалы как выражение статуса” (Clark 1986). Но по этнографическим данным Тэйнтер установил, что вещами статус символизируется всего лишь в менее чем 5% случаев (Tainter 1978: 121). Несколькими годами позже с аналогичными предостережениями выступили Д.С. Раевский и другие советские археологи (Петрухин и Раевский 1980; Антонова и Раевский 1984; Смирнов 1994).

В.М. Масон пришел к выводу, что в погребальном обряде сказывается не только социальный фактор, но и этнический (традиции), и сказываются оба через идеологию, а уж идеология отражается в обряде (рис. 97). Идеология оказывается не самостоятельным фактором, а передатчиком воздействий этнических традиций и социального фактора. Считаться нужно с ними. Между тем религиозные представления, на которых основан погребальный обряд, лишь в общем и целом находятся под воздействием социального фактора, а в своей конкретности чрезвычайно далеки от непосредственной связи с социальными структурами. Религиозный



Рис. 97. Отражение различных факторов в погребальном обряде по В.М. Масону (1990: рис. 17).

фактор можно считать третьей силой, воздействующей на погребальный обряд, – силой, в основном независимой.

И Сэкс, и Бинфорд, и Тэйнттер исходят из положения, что “погребальный ритуал – это система коммуникации, в которой определенные символы употребляются для передачи информации о статусе погребенного” (Tainter 1978: 113). Кому информация передается? Очевидно, богам и миру умерших. Это им нужно знать, каков был статус умершего в этом мире. Но все эти авторы не учитывали, что коммуникация, обозначенная символами ритуала, не ограничивается той функцией, которую они в ней увидели. Это еще и коммуникация с нами, археологами, она сообщает нам важную для нас информацию. И незаметно для себя эти авторы подставляли сообщение богам на место сообщения нам. Между тем нам она передает нечто совсем иное – информацию не просто о социальном статусе умершего в этом мире, а информацию о его позиции в мире ином, а ее он получил по разным причинам, из которых его социальный статус – только составная часть. На его позиции в мире ином отражается и его социальный статус, и его принадлежность к религиозной системе, и обстоятельства его смерти и его похорон, и надежды, возлагаемые на него его родственниками. Каким из этих факторов вызваны те или иные конкретные признаки погребения, трудно сказать.

В подтверждение трудностей Аккоу ссылается на казус ашанти из Ганы. Ашанти считают, что погребенный не должен быть обращен лицом к деревне. Но у них есть поверье, что мертвец может сам поворачиваться в могиле и оказываться лицом к деревне. Предупреждая эту возможность (и чтобы перехитрить мертвеца), некоторые ашанти кладут мертвеца именно лицом к деревне, чтобы, повернувшись, он оказывался затылком к ней. Аккоу называет подобные случаи “археологическим кошмаром” (Ucko 1969: 273).

Тэйнттер приводит еще более разительный пример. Аборигены с реки Лайн в Австралии делят кости взрослого покойника на три кучки. Плечевые кости, кисти рук, голени, лопатки, ключицы и ребра – в одну кучку. Бедрa, стопы, позвоночник и зубы – в другую. Коленные чашечки, грудина, верх позвоночника и челюсти – в третью. Одну кучку относят в ту лужу, где покойник был впервые найден его отцом как дух ребенка. Вторая связка должна быть отнесена к тому месту, где закопана веревочка, которой была перевязана пуповина новорожденного. Третью брат матери покойного (его вуй) относит к тому месту, где умерший мужчина прошел инициацию, а если это женщина, то туда, где она было намазана углем после первых родов. Череп мужчины кладется под камень, которым был отмечен его первый успех в охоте на кенгуру. Череп же женщины относится на место, где она впервые поползла.

Тэйнттер заключает, что легче всего “покачать головой, пробормотать нечто неповторимое и заключить, что интерпретация погребальных остатков невозможна” (Tainter 1978: 108). Но он считает, что сложность надо рассматривать скорее как расширение возможностей, чем как препятствие. Ну, такая сложность действует в одних случаях как заманчивая загадка, в других – всё-таки как препят-

ствие. Просто, реконструируя социальные структуры по могильным материалам, нужно не забывать, что наши модели действительны лишь в общем и целом, в массе, в среднем, а в каждом конкретном случае они могут быть искажены привходящими факторами.

Тэйнтон в 1978 г. обратил внимание на несопоставимость материалов разных исследователей и разных, даже смежных районов ввиду отсутствия единой статистики, единой системы показателей (Tainter 1978: 122-123). Он не знал, что уже в 1975 г. в Советском Союзе В.Ф. Генинг и В.А. Борзунов в совместной статье (1975) предложили такую единую систему, и она быстро обрела популярность, по крайней мере в киевской и уральской школах археологии (по местам работы Генинга руководителем). Однако в этой системе не всё было достаточно продумано, так как у обоих авторов не хватало теоретической подготовки и знания мировой археологии. Главным недочетом было жесткое деление признаков на функциональные категории: важные для социальной реконструкции, для анализа хозяйства и для этнического определения. Это было нечто напоминающее выдвинутые ранее Бинфордом технофакты, социофакты и идеофакты, к этому времени уже дезавуированные самим Бинфордом.

Команда Генинга развивала свою систему в коллективном труде (Генинг и др. 1990), но были и другие предложения (Каменецкий 1982а; 1983б; Смирнов 1997).

Сразу после работы Тэйнтонера, на рубеже 70-х и 80-х, на Западе было опубликовано еще несколько работ по реконструкции социальных структур на основе погребальных материалов (Hodson 1979; Goldstein 1980; Brown 1981; O'Shea 1981; 1984; Chapman et al 1981).

В России в 1975 г. была напечатана работа А.Д. Грача "Принципы и методика историко-археологической реконструкции форм социального строя (на курганных материалах Казахстана, Сибири и Центральной Азии)". О принципах и методике реконструкции там немного, но сама реконструкция проведена весьма полно и образцово по стандартным к этому времени критериям. За ней появилось еще несколько аналогичных работ – на других материалах (Лебедев 1977, Марковин 1982 и др.). Тогда же критерии социальной интерпретации срубных погребений предложил В.А. Отрощенко (1979; 1989).

Десятилетие с середины 80-х по середину 90-х в журнале "Советская Археология", ставшем за это время "Российской Археологией", проходила дискуссия о погребальной обрядности. Ее главным участником был В.С. Ольховский (1986; 1993; 1995), а главной темой, несколько схоластичной, было соотношение понятий "погребальный обряд", "способ погребения", "обычай" и др. Всё же эта дискуссия отражала возросший интерес археологов к этому роду памятников, а в конце дискуссии Ольховский пришел к практической и трезвой постановке вопроса – о необходимости выяснять: что имеется в виду под социальными структурами палеообщества, содержат ли археологические объекты социологическую информацию, возможно ли ее извлечь и какими средствами. Из других выступлений в дискуссии

отмечу статью С.А. Плетневой (1993) о возможностях выявления социально-экономических категорий по материалам погребений.

В это десятилетие несколько крупных работ по реконструкции социальных структур на основе погребальных материалов появилось в нашей стране, по-видимому, сказались общий дух перестройки и падение догматической советской идеологии. Это “Методика социальных реконструкций” Е.П. Бунятян, “Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ” В.А. Алекшина и “Древнейшие могильники Восточной Европы как памятники социальной истории” М.Д. Хлобыстиной (Бунятян 1985; Алекшин 1986; Хлобыстина 1993).

Для ученицы Генинга, Бунятян, занимавшейся скифскими памятниками IV – III веков до н.э. (то есть не ранними скифами) проблема заключалась в том, чтобы решить, было ли скифское общество этого времени первобытно-общинным, родоплеменным, или оно являлось классовым обществом, с государством и рабовладением. Именно об этом шел спор между историками. Была и средняя позиция – общество трактовалось как раннеклассовое, с монархической (наследуемой) властью, еще не обретшей всех атрибутов государства.

Для решения этой задачи автор проанализировал имущественную дифференциацию скифского общества, заведомо разделенного на три сословия – царский род, аристократию и рядовых общинников. Царские погребения отсутствовали в материале, знать была представлена крайне незначительно, и исследование свелось к выявлению в третьем сословии четырех групп. Бедное, зависимое население выявлено (оседлые жители), но рабов практически не было. Сравнение могильников разных районов показало дифференциацию и между ними, что дало повод автору видеть в этом результат территориального неравенства – даннических отношений, предполагаемых по письменным источникам. Она поддержала среднюю позицию – определила у скифов раннеклассовое общество, и эти выводы автора получили признание.

При чтении этой книги бросается в глаза, что выделение четырех категорий рядовых общинников, во-первых, сугубо условно – нет объективно выявленных в материале рубежей между ними. По количеству инвентаря и размерам могил проведены условные рубежи. Имущественное неравенство реально, но можно было разделить и на пять или на три категории. Почему глубины шахт, ставшие исходным критерием для деления погребений, нарезаны неравномерно с интервалами в 119, 59, 79 и 99 см (пятая группа – интервал в 456 см)? Объяснения нет. Во-вторых, нигде в таблицах эти четыре категории не фигурируют, разве что в четырех моделях связей между признаками (но это не критерий выделения). Есть дотошное распределение признаков, сравнение могильников, деление всего материала по полу и возрасту и т.д., а социального деления нет.

Я счел необходимым отметить это обстоятельство потому, что это очень распространенный недостаток многих социальных реконструкций: условные группы, произвольно намеченные исследователем и способные послужить лишь

общей характеристикой наличной градации, подаются как выявленные в материале реальные группы, чуть ли не сословия.

Алекшин сделал обзор погребений почти всего Древнего Востока. В начале книги в главе о погребальном обряде как историческом источнике он очертил в нем шесть информационных блоков. Первый отражает представления древних людей о мире мертвых и о способах перехода в потусторонний мир; второй касается половозрастных групп; третий позволяет установить социальное расслоение древних обществ; четвертый помогает проследить эволюцию форм семьи и брака; пятый вводит исследователя в культурогенез, помогая выявить происхождение археологической культуры; шестой блок – палеодемографический. Работа полезная, трезвая, но сугубо традиционная – никаких математических методов, кроме элементарных подсчетов. В книге нет даже ни одной таблицы, ни одного графика.

В книге Хлобыстиной собраны редчайшие памятники – мезолитические могильники Восточной Европы, их набралось около десятка, для сравнения добавлены раннеолитические. В отличие от книги Бунятян статистика отсутствует: материала мало. В основном налицо поло-возрастное сравнение и анализ совместных погребений в этом плане. Мужчины и женщины преобладали в разных могильниках, а дети вообще присутствуют в могильниках в крайне незначительном количестве – они явно погребались иначе, в других местах (ведь их должно быть намного больше, чем взрослых: они часто умирали и за время жизни одного взрослого могло смениться много детей). На этом основании Хлобыстина предполагает дислокальный брак и отсутствие интереса к наследованию.

Далее, она выявила обилие совместных одновозрастных и однополых погребений – только мужчин или только женщин. На этом основании она реконструирует семью на кровнородственной основе – типа родьи, с крепкой связью сиблингов. Для погребения женщины с двумя мужчинами она восстанавливает многомужество – “товарищество по жене”. Те могильники, в которых содержатся более понятные нынешним людям связи (парные погребения мужчины и женщины, погребения ребенка со взрослым) она трактует как более поздние памятники с отражением парного брака и матрилинейного или патрилинейного наследования. В Оленеостровском могильнике лидер с жезлом погребен с двумя женщинами по бокам – свидетельство многоженства.

В этой книге социальность представлена как семейно-родственные отношения в общине. Оригинальные толкования Хлобыстиной выросли в советской среде и несут на себе отпечаток моргановской эволюции семьи. В новой обстановке они не вызвали большого интереса, но подмеченные Хлобыстиной явления существуют, и в этнографии есть параллели, которые и стимулировали в свое время моргановские представления о ранней семье. Наблюдения Хлобыстиной заслуживают внимания.

В этот же период выходили в России и другие работы по реконструкции социальных структур на основе погребальных материалов (Отрощенко и Пустовалов 1991; Гей 1993; Бернабей и др. 1994), сопровождаемые новыми обзорами

иностранный и русский литературы по этому вопросу (Афанасьев 1993; Бишоппи 1994). В работе Отрощенко и Пустовалова (1991: 79) суммированы признаки выдающихся в социальном плане погребений: "1) показатели затраченного труда; 2) признаки состоятельности; 3) инсигнии власти; 4) особые ритуальные действия, связанные со смертью и погребением конкретного лица", и каждый из этих признаков детализован применительно к катакомбной культуре.

Между тем на Западе сначала гиперскептическое направление Дж.О. Бру и Дж.Э. Форда в США, а в Англии Г. Дэниела и С. Пиготта (середина XX века), затем постпроцессуалистские увлечения Я. Ходдера и его сторонников (80-е годы XX века) привели к появлению работ, отвергающих всякие попытки установить соответствие социальных структур с конфигурациями археологического материала (Pader 1982; Parker Pearson 1982; 1999). Они развивают тезис Тэйнтера, что социальный статус в основном символизируется, а символ не имеет прямых соответствий в символизируемых реалиях. Резко отличается глубокое исследование шведа К.-Г. Шёгрена (Sjögren 1986), который, исходя из западномарксистских теорий и примера Ренфру, проделал анализ шведских мегалитов. Он выделил в них покрытые длинными курганами как гробницы наиболее продвинутой прослойки, располагающей наибольшими возможностями мобилизации человеческих ресурсов. А исходя из того, что это небольшая прослойка, но распространенная и в Дании, он именно успешностью этой прослойки объяснил экспансию культуры воронковидных кубков.

Рубеж тысячелетий был отмечен появлением в "Российской Археологии" работ немца, проживающего в Англии, Г. Хэрке из Рединга (который передан в московском журнале как Харке из Ридинга) и русского исследователя С.Н. Савенко, подытоживших изучение этой проблематики в западноевропейской и американской науке для русского читателя (Харке и Савенко 2000а; 2000б). Это великолепные обзоры, очень нужные русской археологии.

В России же (включая ближнее зарубежье, продолжающее в осмыслении древности составлять с русским одно научное пространство) из работ последнего времени нужно выделить три книги: "Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья" С.В. Ивановой (2001), "Социальная структура срубного общества" В.В. Цимиданова (2004) и "Кочевники Евразии" Н.Н. Крадина (2007). Первой предпослана весьма полная история развития исследований по реконструкции социальных отношений. Сама работа построена в старом классическом стиле, с детальной классификацией, с подсчетами всякого рода, но без сериации и без новых видов математического анализа. Только проценты каждой категории и ее распределение по видам могил. Содержательный анализ очень глубок и интересен. Детально рассмотрены символы власти и престижа (в частности повозки и каменные проушные топоры).

Книга показывает, сколько можно сделать, не прибегая к компьютерно-математическим методам, но три размерные группы могил опять же выделены произвольно.

Не все другие выводы Ивановой бесспорны. Повозки и каменные проушные топоры ямной культуры рассматриваются как символы власти, причем не военной (они не сочетаются с другим оружием). Их мало на всю популяцию. Но сопряжены первые с медными кинжалами и серебряными украшениями, а вторые – с кремневыми орудиями и медными украшениями. И находимы в разных обрядовых группах. Зато как оружие, а не деревообделывающие орудия, рассматриваются кремневые клиновидные топоры, которые сочетаются в погребениях с другим оружием. Их еще меньше – тоже символы власти? Но их функцию надо бы устанавливать трасологическим анализом.

В книге Цимиданова примерно таким же традиционным образом исследована срубная культура. Сделан полный и детальный анализ каждой вещи инвентаря. Каждой черты обряда, всё картографировано – в книге много карт. В срубном обществе выявлены три группы населения: воины, жрецы и властители. Из математической обработки применено только вычисление удельного веса каждой черты в общей совокупности материала.

Книга Крадина содержит главу “Социальная структура ранних кочевников (по данным археологии)” (стр. 197-210), которая развивает более ранний текст (2005 года) в одноименной коллективной монографии. Эта глава дает очень полный обзор развития данных исследований за рубежом и в России, с выделением основных проблем и алгоритма исследований. За нею следует вторичный анализ Иволгинского городища гуннского времени, сделанный по следам монографии А.В. Давыдовой (там был анализ типа только что рассмотренного труда Ивановой), но с применением факторного и кластерного анализов. Давыдова выделяла пять групп у мужчин и четыре у женщин, Крадин – четыре группы у мужчин, пять у женщин.

Обобщая опыт реконструкции по погребальным памятникам, можно сказать, что эта реконструкция опирается на стремление людей представить покойников в мир иной с отражением их социального положения в этом мире. Поэтому она имеет четыре опоры: учет трудовых затрат на погребальные обряды, символизация статуса в вещах, количественные и качественные оценки инвентаря и территориальное группирование погребальных памятников.

В самое последнее время появилась интересная статья харьковчан С.И. Берестнева и Л.Н. Берестневой (2011), в которой вдобавок к социальному статусу покойных, реальному и символическому, указан еще один фактор, воздействующий на формирование погребального инвентаря: наделение покойного функциями посланника к потусторонним силам при восприятии его как жертвоприношения богам.

Как видим, реконструкция по погребальным материалам – наиболее разработанный раздел социальной археологии. Кроме поселений и погребений можно было бы рассмотреть и другие разделы реконструкции социальных структур по категориям источников –кладам, укреплениям, керамике, кремню, костяным изде-

лиям и т.д. Но это сильно расширило бы объем книги, и так немалый. А главное, эти две категории являются основными в реконструкции социальных структур.

8. Торгово-обменные отношения и реконструкция. Теперь попробуем рассмотреть один из целевых разделов реконструкции социальных отношений – торгово-обменные отношения.

Как я уже отмечал, весь этот раздел реконструкции социальных отношений разрабатывался издавна. Еще Монтелиус (Montelius 1910) написал работу “Торговля в первобытном прошлом”. Затем обширная статья “Торговля” появилась в энциклопедическом словаре преистории Макса Эберта; Р. Турнвальд изложил этнографическую сторону проблемы, а Э. Вале описал торговлю в первобытной Европе (Thurnwald 1926; Wahle 1926); другие разделы осветили другие исследователи. Классическими стали книги Г.-Ю. Эггерса “Римский импорт в Свободной Германии” и М. Уилера “Дальняя торговля римского государства в Европе” (Eggers 1951; Wheeler 1965). Рынки сбыта широко представлены в “Доисторической Европе” Г. Кларка, носящей подзаголовок “Экономический базис” (Clark 1952; Кларк 1953). В начале 70-х эта тема обсуждалась в Ленинграде (Обмен 1972). В методологическом сборнике ГДР была напечатана содержательная статья Гейнца Грюнерта “Обмен и торговля в раннеисторические времена” (Grünert 1979), выдержанная в марксистском духе, но информативная. В 1970-е – 80-е годы появился ряд сборников, посвященных торговле (Sabloff and Lamberg-Karlovsky 1975; Earle and Ericson 1977; Ericson and Earle 1982; Renfrew and Shennan 1982; Hrádth et al. 1988). В конце 80-х вышло содержательное исследование шведа Нильса Рингстедта о торговле и обмене с археологической точки зрения (Ringstedt 1987). В сборнике статей Ренфру (Renfrew 1984) вторая часть состоит из статей 70-х годов о торговле. В его совместном руководстве с Баном “Археология” (Renfrew and Bahn 1991) девятая глава трактует торговлю и обмен очень полно.

Эту главу Ренфру и Бан начали лапидарной фразой “Торговля – это центральное понятие в археологии” (Renfrew and Bahn 1991: 307). Разъяснение мы находим в статье Ренфру “Торговля как действие на расстоянии”: “В последние годы торговля стала одним из первостепенных фокусов археологического интереса”. Причин он приводит две: практическая состоит в том, что археологи в силах изучать торговлю по следам, а теоретическая – в том, что она соединяет две разделенные отрасли изучения – материальную и духовную.

“Археологу, – продолжает он, – изучение торговли представляется центральным для исследования общества из-за связи вещей и информации в большинстве обменов, это аспект включенности. Ведь если пойти на шаг дальше, то надо признать, что эта связь материального с социальным, вещей с информацией, эта включенность есть *нормальное* состояние общества...” (Renfrew 1975/1984: 86-89).

В советской археологии было принято избегать термина *торговля* применительно к первобытному обществу, исходя из марксистской увязки торговли с товарными отношениями: ведь они не вяжутся с натуральным хозяйством. То, что было при натуральном хозяйстве, у нас рассматривалось как “обмен”. Однако точное разграничение обмена и торговли было крайне затруднительным. С чего начинается торговля – или с разделения труда (специализации общин? отделения скотоводов от земледельцев? выделения ремесленников?), или с обнаружения излишков производства, или с зарождения денег, или с их перехода в монетную форму, или с появления купцов или с возникновения рынков? Этот вопрос рассматривался и археологами, по образованию немарксистскими (Jahn 1956) и также решался с большими колебаниями. Поэтому в конце концов четко делить перестали и стали говорить о “торгово-обменных отношениях”. Ренфру просто пишет: “Торговля, термин синонимный с обменом...” (Renfrew 1975/1984: 86).

При любом обмене вещами, даже при любом поступлении новых для данного общества вещей извне, как отмечает Ренфру, вместе с вещами поступает и некая информация об этих вещах и их прежних владельцах, более того, сами вещи есть также информация об этом. Но возможен и просто обмен информацией или услугами, без сопровождающего обмена вещами. Услуги сравнительно давно, а информация только в последнее время тоже стали товаром, стала возможной торговля услугами и информацией. В старину так не было. Стало быть, обмен шире торговли. Но археологи не изучают обмен услугами или информацией, они изучают обмен вещами.

Все вещи чужеродного происхождения в археологии называются “импортами”, но импорты вовсе не обязательно свидетельствуют о торговле и торговом импортировании. Такая вещь могла прибыть на данное место как *дар*, как *военная добыча*, как предмет *контрибуции*, *дани* или *натурального налога* или как *жалованье воину*. Это надо всякий раз устанавливать по контексту. Так, в отношениях римлян с сарматами римская керамика (тара для вина и масла) распространялась вблизи от границ римского государства (рис. 98), а наборы дорогой художественной посуды находятся далеко в тылу у римских соседей – у тех далеких аборигенных властителей, союз с которыми был римлянам полезен для сдерживания ближних соседей (рис. 99 – ср. Клейн 1979а) – это явно дипломатические дары. Каждая из перечисленных интерпретаций что-то говорит о социальной структуре прошлого, всякий раз иное, но как предмет *торговли* она говорит, пожалуй, больше всего.

Со времени открытия Малиновским *кулы* у меланезийцев (это 1922 г.) и работы Марсея Мосса “Опыт о даре” (это 1925 г.) стало ясно, что в первобытной жизни обмен вещами не был равнозначен торговле. Обряд дарения (с необходимыми отдарками) играл очень важную роль в поддержании достоинства первобытных людей, а в *куле* два типа престижных вещей циркулировали по кругу навстречу один другому, переходя от одной общины к другой безвозмездно, но обязательно – меланезийцы скрепляли этими церемониями взаимной передачи мирные отношения (рис. 100). В других подобных церемониях – *раздачи даров* (*потлач* у

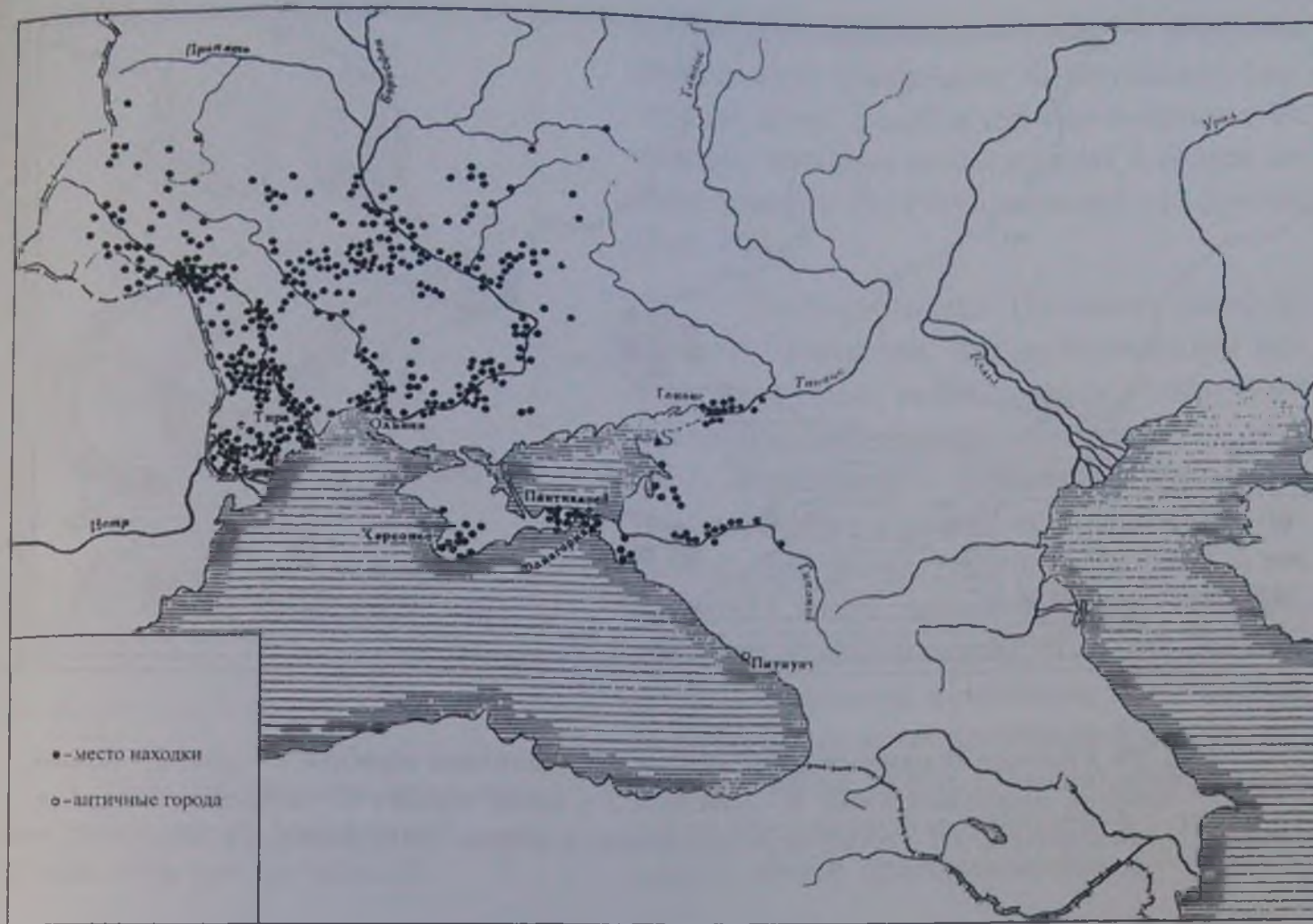


Рис. 98. Римские амфоры I в. до н.э. – V в. н.э. по В.В. Кропоткину (1970, рис. 1).

американских индейцев) — дарители соревновались друг с другом в щедрости, навязывании благодеяний и завоевании престижа. Они выигрывали искомые блага, но эти блага не имели экономического характера, хозяйственного значения и не преследовали материальной выгоды. Если иметь в виду, что торговля преследует получение материального эквивалента за вещь или даже выгоды, то это не торговля. Но в то же время ясно, что это родственные ей формы распределения благ и обмена, в каком-то смысле ее предшественницы.

В археологическом материале отражение циркуляции в обычаях, подобных куле, видят в распространении украшений из средиземноморских раковин *Spondylus* по нижнему и среднему Подунавью в неолите (рис. 101-102).

В 1940-е – 60-е годы Карл Полянй разработал субстантивистское учение об экономике первобытных и крестьянских обществ, где выгода не была главным принципом торгово-обменных отношений, где на распределение материальных благ действовали и неэкономические факторы — родство, сословная принадлежность и вытекающие из нее обязательства и привилегии и т.д. Он различал такие формы: 1) *реципрокность* (взаимность, взаимообмен равных партнеров), 2) *редистрибуцию* (перераспределение благ, при котором все блага, свободные от

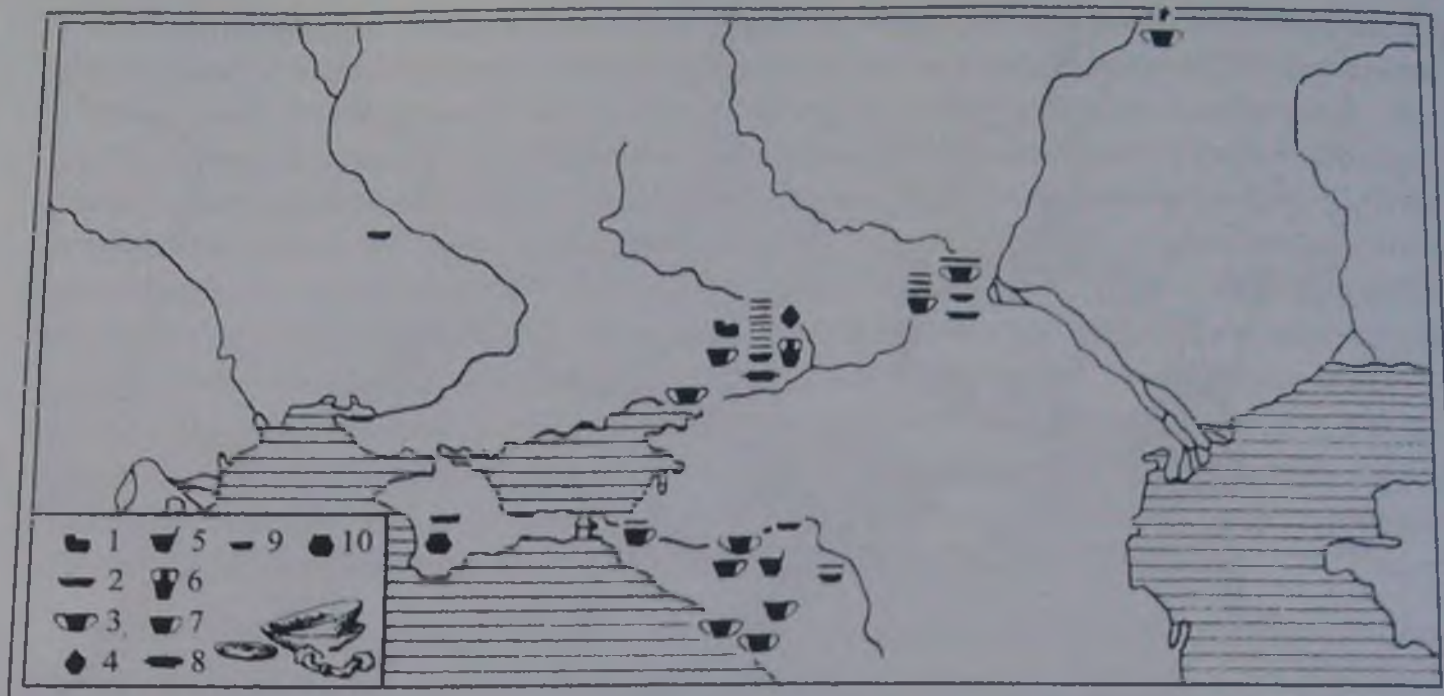


Рис. 99. Римское художественное столовое и туалетное серебро: 1 – аска; 2 – блюдо, миска; 3 – канфар, двуручная чаша; 4 – тиксида; 5 – ковш, черпак; 6 – амфора; 7 – кубок; 8 – таз; 9 – чаша-фиала; 10 – сосуд не установленной формы (Л.С. Клейн, 1979).

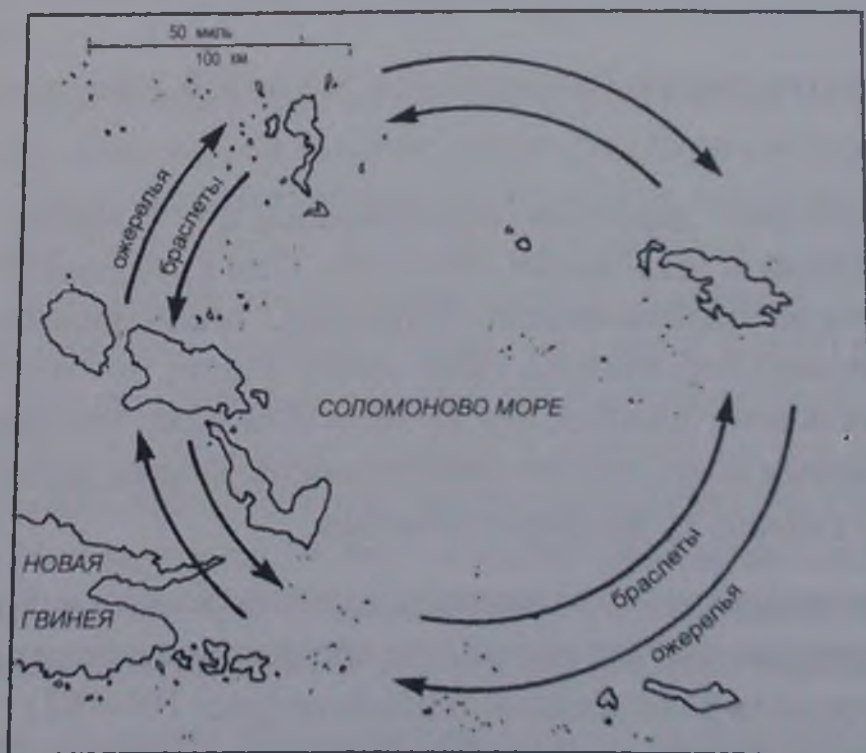


Рис. 100. Кула по К. Ренфру и П. Бану (Renfrew and Bahn 1991: 309).

непосредственного потребления стекались в центр распорядителю, а от него уже каждый получал, что ему полагалось) и 3) рыночный обмен. По форме археологических следов с редистрибуцией может совпасть рыночный порядок, где все

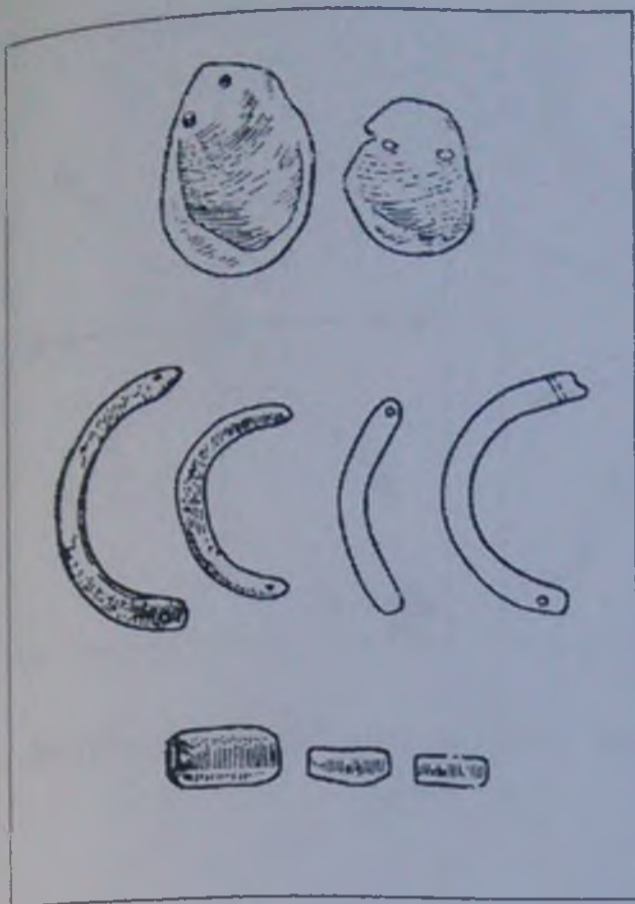


Рис. 101. Украшения из раковин *Spondylus* из Мраморного моря (Клейн 1968: рис. из табл. 13).

торгующие свозят свой товар в центр на рынок, куда прибывают и покупатели (частично те же люди) и где они покупают те товары, которых им недостает в обмен на свои товары. Но суть операций тут другая (рис. 103).

Последователь Поланьи, Джордж Далтон, подметил, что в трансакции поступают разные вещи: одно дело обычные предметы потребления (*commodities*), другое – первобытные драгоценности (*primitive valuables*). Первые – это кремьень, пищевые продукты, горшки. Вторые – это слоновая кость, янтарь, золото, серебро, цветные камни (нефрит, лазурит, жадеит и др.), предметы искусства, а из вещей, недоступных археологической фиксации, – яркие перья, ткани. Обычно обмен рядовыми предметами потребления – это один вид, а обмен драгоценностями – другой.



Рис. 102. Карта распространения раковин *Spondylus* из Мраморного моря (по Грюнерту – Grünert 1979, Abb. 3).

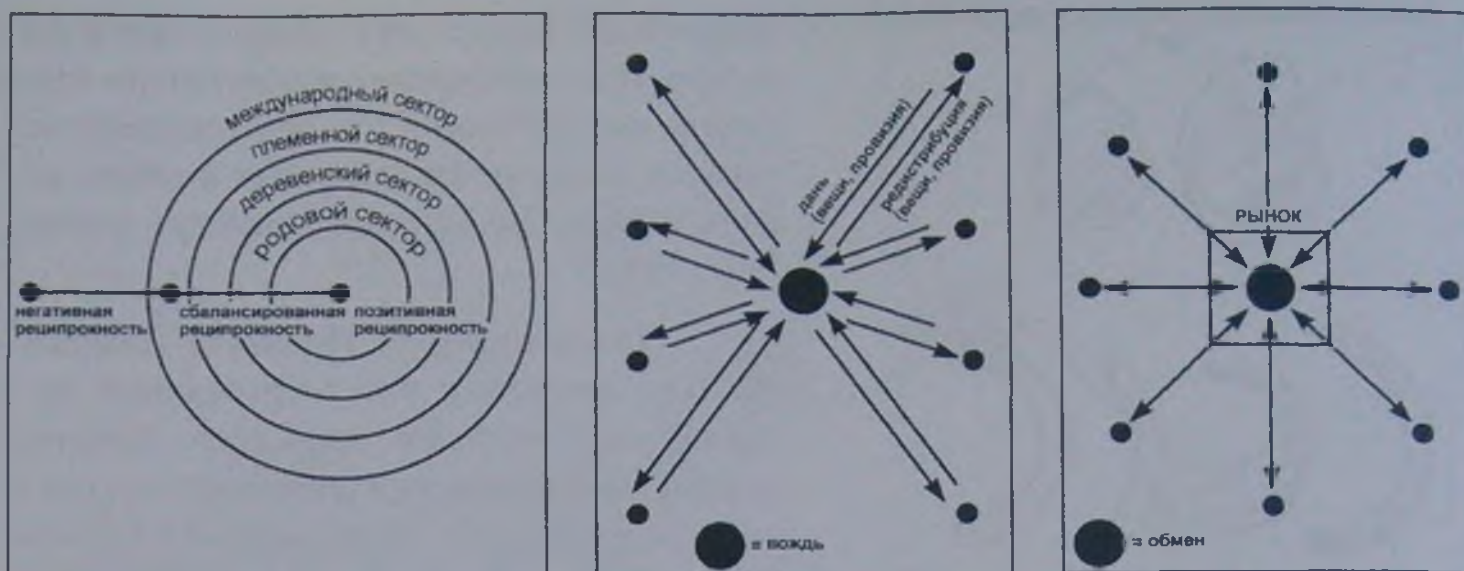


Рис. 103. Схема трех видов обмена по К. Ренфру: реципрокность, редистрибуция, рыночный обмен (Rebfrew and Bahn 1991: 310).

Они осуществляются в разных сферах общества, разными людьми, на разных расстояниях.

Определить пути и источники распространения обычных предметов потребления помогает анализ стиля и типологии, но больше всего – анализ химического состава. Так, в неолитическое поселение (культуры линейно-ленточной керамики) Мюддерсгейм близ Дюрена на западе Германии кремль поступал предположительно из Маастрихта (за 70 км, с территории Бельгии), охра, песчаник и камень скальных пород – из близлежащих местонахождений к востоку (20-60 км), но половина последнего была привезена из Сленжи близ Вроцлава в Польше, за 700 км (Schietzel 1965; Grünert 1979: 187-188; рис. 104). Медово-желтый кремль из Гран-Прессиньи расходился в неолите (рис. 105) по всей территории нынешних Франции, Бельгии и Голландии – в радиусе более 800 км (Nouel 1961; Grünert 1979, 190-191).

Сложный характер взаимоотношений разных рынков сбыта и мест производства драгоценных товаров хорошо виден на примере сокровищ из погребения VI в. до н.э. в местности Вис (Vix) в верховьях Сены (восточная Франция). Погребение связано с близлежащей резиденцией короля или князя на горе Лассуа. В могиле знатной женщины, с повозкой и в золотой короне весом в 480 г. находился высокий, более полутора метров, бронзовый кратер, вмещающий более 1100 литров. Он был отлит в греческой мастерской частями и составлен уже на месте, причем греческими буквами помечены части, которые надо было составлять. Такой котел должен был изготавливаться по договоренности или заказу, и на месте были мастера, которые знали греческий и умели обращаться с деталями (Joffroy 1954a; 1954b; Grünert 1979: 202-205). По карте в работе Р. Жоффруа можно видеть, что вещи из этого погребения (кувшины, стамнос, ситула, греческая керамика), судя по аналогиям, имели разные районы распространения в Южной и Восточной Франции, Западной Германии и Северной Италии (рис. 106).



Рис. 104 Источники важного минерального сырья поселения ленточной керамики Мюддерсгейм (Grünert 1979, Abb. 1).

Из форм обмена, засвидетельствованных этнографами, одной из самых ранних является “немой обмен” – предметы, предлагаемые одной стороной кладутся на границе территорий и владельцы удаляются. Затем приходят партнеры, кладут рядом свои вещи, предлагаемые в обмен, и тоже удаляются. Наконец, первые возвращаются и, если их предложенные партнерами вещи устраивают, то забирают их – и сделка состоялась. Немой обмен мы, археологи, можем только предполагать – выявить его не представляется возможным.

Более развитым является обмен с *прямыми контактами*.

Еще более продвинут обмен, в который поступают не накопившиеся излишки или случайно добытые предметы, а изделия или продукты, специально произведенные для обмена. Тут предметы потребления превращаются в *товары*. Это не вещи сделанные индивидуально на заказ или по надобности для своих, а целыми партиями на продажу. По таким сериям вещей, по матрицам для их отливки и т.п. *товарное производство* выявляется в археологии.

Обычно с этим связано *выделение ремесленников* – мастеров, специализировавшихся на производстве таких товаров: стрелочников, горшечников, колесничников, кузнецов, солеваров, стеклодувов. Они выявляются археологически специализированными погребениями, а также обнаружением мастерских, кладов мастеров (с инструментарием, запасами сырья, полуфабрикатами, браком произ-

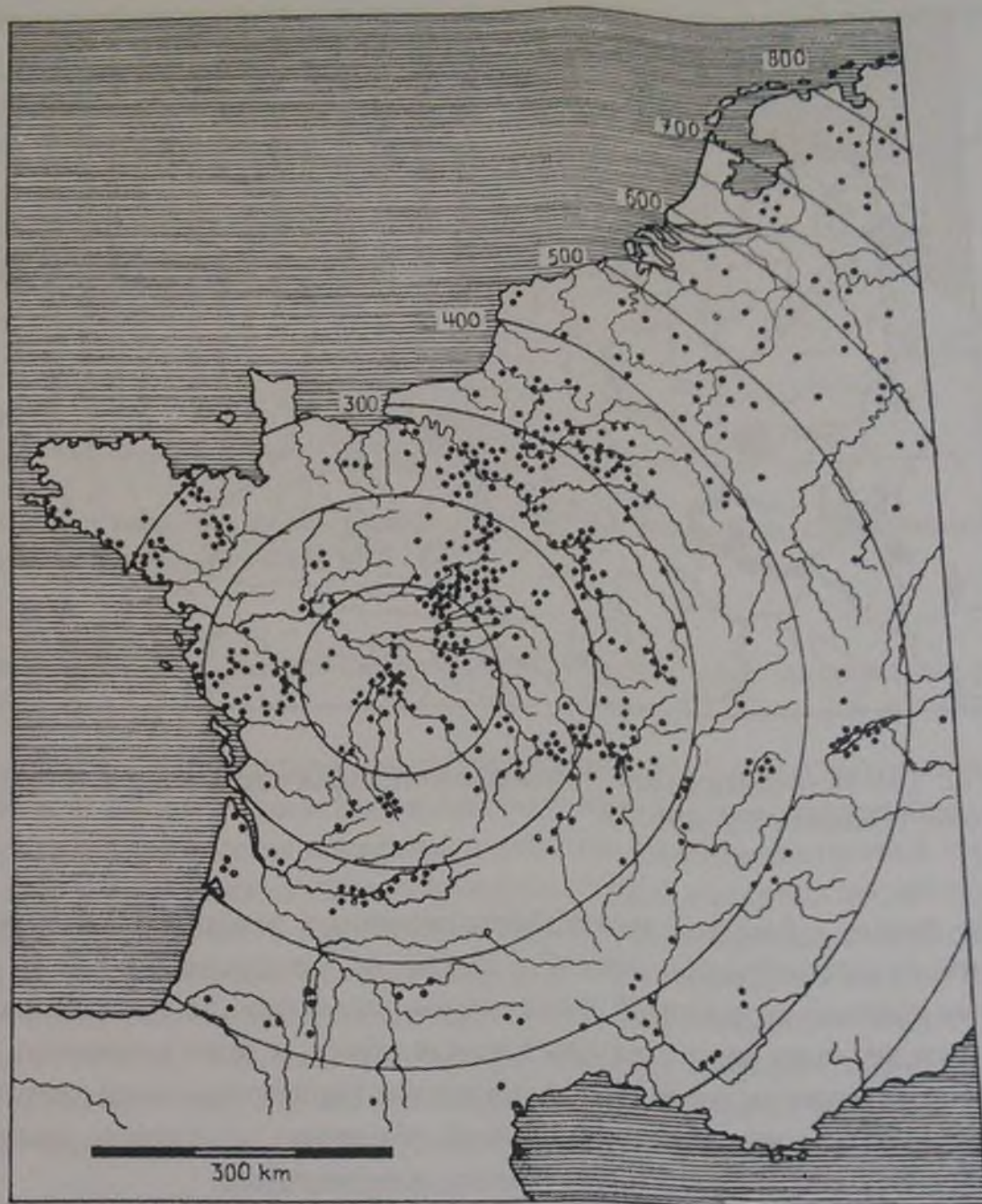


Рис. 105. Распространение орудий из кремня Гран-Прессиньи (Grünert 1979, Abb. 4).

водства). Были и странствующие мастера. Эти выявляются по походному сундучку с инструментами и по формам, рассчитанным на обслуживание разных локальных типологий. Такой набор выявлен на Ближнем Востоке, но сундучок позднебронзового века из Копанева близ Гданьска, сделанный из дубовой колоды с нишами для ряда бронзовых предметов (меч, серп, топор и кельты, фибула и проч.), рассматриваемый как набор образцов странствующего продавца, вряд ли мог служить для этого: слишком напоминает современного коммивояжера с последующим выполнением заказа, что в условиях того времени нереально (Uslar 1950; Grünert 1979: 193-194). Скорее это был домашний клад.



- Кувшины
- ▲ Стамносы
- ⊕ Ситулы
- ВИС и ГОРА ЛАССУА
- ГРЕЧЕСКАЯ КЕРАМИКА

Рис. 106. Богатое погребение в Вис: распространение некоторых греческих и этрусских изделий из этой могилы в кельтском ареале позднегальштатского – раннелатенского времени (гл. обр. 6-5 вв. до н.э.) (Joffroy 1954a).

Еще большее развитие означает появление людей, специализировавшихся на посредничестве в торговле, — купцов. Первоначальные купцы это обычно люди рискованные и вооруженные, то есть это воины-купцы (викинги — представители этой категории). А так как у них есть специфические предметы профессии (весы, коллекции товаров, средства транспорта), то и они могут быть выявлены по археологическим данным.

Высшую форму торговли, фиксируемую археологически, представляет *денежная* форма. Поначалу какой-то легко транспортируемый, измеряемый и широко распространенный товар приобретает функцию всеобщего средства обмена, всеобщей формы стоимости: вместо того, чтобы возиться с транспортировкой тяжелых или редких товаров, трудных для сравнения при оценке, люди прибегают к этому товару и приравнивают к ценности его единиц (штук) ценность любых товаров. Тогда достаточно иметь некоторое количество этого товара, чтобы приоб-

рести всё, что нужно. Этот товар начинает исполнять функцию денег – это *естественные деньги* (Gerloff 1947; Einzig 1951).

Таким товаром могли оказаться стандартные украшения из раковин или из металла, но чаще всего таким всеобщим платежным средством выступал скот. Это отразилось в языке. Лат. *pecus* ‘скот’ – *pecunia* ‘богатство’, гот. *faihu* (нем. *Vieh*) ‘скот’ – англ. *fee* ‘платёж, взнос’, санскр. *gura* ‘стадо’ – *rupia* ‘рупия, денежная единица’, др.-русск. *скотница* ‘сокровишница’. Есть в языке и следы других естественных денег – мехов (др.-русск. *куна* от *куницы*), рыб (исл. *fisk* от *рыбы* и др.).

Для какого-то периода это удовлетворяло потребности торговли, хотя у скота как денег были и неудобства: каждое отдельное животное великовато для удобного хранения и перевозки, а главное – его параметры изменчивы и не очень стандартны. С развитием металлургии эти функции всё чаще и бесповоротно брал на себя металл. Слитки (первоначально в виде бычьей шкуры), а также и другие было гораздо легче стандартизировать, а затем правители городов и государств стали отливать куски металла специально условленного веса и состава и свидетельствовать оттиском своей печати, что вес и состав металла точны. Так появились *монеты* (по преданию сперва у лидийцев, потом у ионийцев Малой Азии в VII в. до н.э.), и деньги приобрели монетную форму.

Поскольку это массовый материал, то со времени появления монет (в кладках, погребениях, на поселениях и т.д.) торговлю и рынки стало можно выявлять с большой точностью для каждого этапа, с точной хронологией и картографией. Здесь археология смыкается с *нумизматикой*. Нумизматика берет на себя установление типологии монет, их идентификацию, хронологию, а археология – их обстоятельства бытования в комплексах, в стратиграфии, обе науки – их картографирование, установление рынков и торговых путей. По арабским дирхемам на территории Поволжья прослеживается сфера интересов арабской торговли, по норманнским граффити на них (надписях, рисунках) – активность норманнов на этих путях.

Ренфру составил целый перечень видов торгово-обменных отношений, которые различимы по территориальным размещению партнеров и следы которых выявляются в археологическом материале. В книге Ренфру и Бана (Renfrew and Bahn 1991: 322) они представлены как таблица:

1. Прямой доступ к источнику благ, без обмена.
2. Взаимообмен с посещением места проживания одного из партнеров.
3. Взаимообмен со встречей на границе.
4. Торговля через ряд посредствующих звеньев (*down-the-line-trade*): товар переходит через много рук и границ.
5. Перераспределение (редистрибуция) из центрального места.
6. Обмен через рынок центрального места (села, города, ярмарка).

7. Торговля через независимого посредника (freelance or middleman trading).
8. Торговля с отправкой посланца.
9. Колониальный анклав (посланцы образуют целую колонию, чтобы торговать в чуждой среде).
10. Торговый порт (эmissары сходятся с обеих сторон в центральное место, находящееся не под юрисдикцией ни той, ни другой стороны).

Ренфру и Бан отмечают успешное применение “анализа снижения” в исследовании территориального распределения массового предмета торговли. В частности, при торговле через ряд посредствующих звеньев количества выявленного товара убывают с увеличением расстояния от источника распространения. Это естественно. Убывание лучше фиксировать не простыми цифрами, а, скажем, долями (процентами) от общего инвентаря (чтобы избежать нарушений от неравномерной сохранности и т.п.). Кривая падения проходит обычно по экспоненте (рис. 107). Если разметить гиперболически (с плавным увеличением интервалов) саму шкалу измерения количества товара, то кривая окажется прямой линией.

Даже само применение этого приема может дать интересные результаты. В Англии картировали керамику, обожженную в оксфордских горнах, и подсчитали

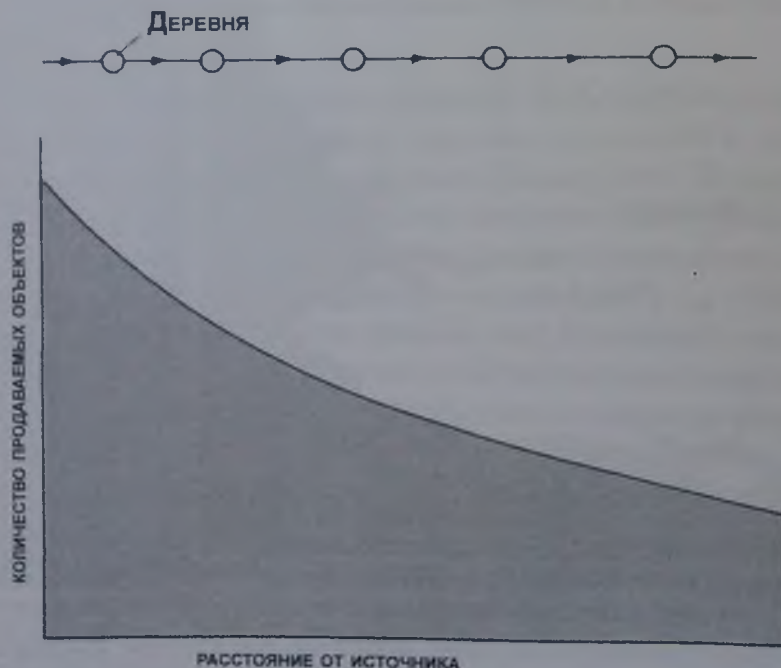


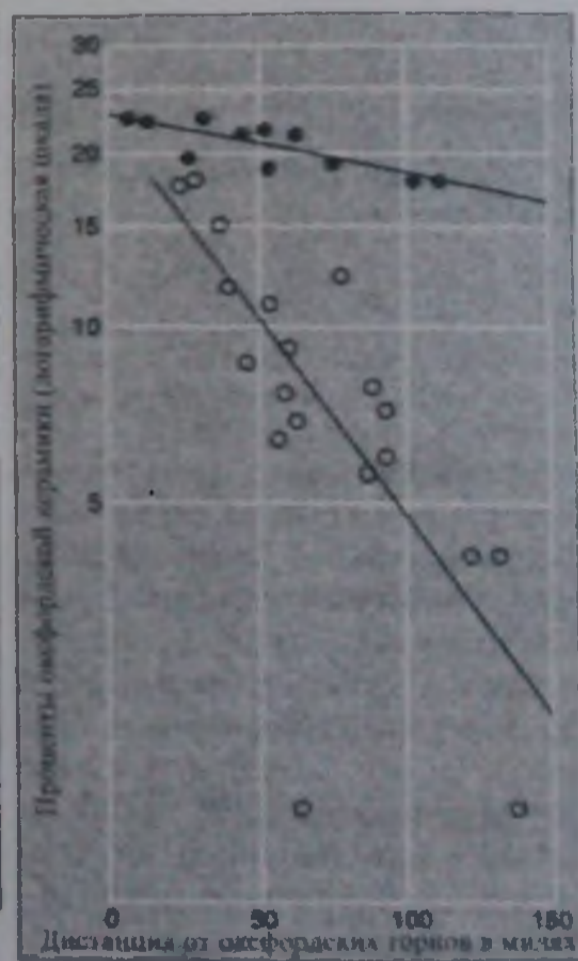
Рис. 107. Падение интенсивности торговли с расстоянием (по густоте находок) (Renfrew and Bahn 1991: 325).

ее количества (доли в общей керамике) в разных местах. Но вынесли на корреляционную таблицу не вообще, а порознь (а) те места, которые лежат вблизи крупных водных источников (моря, рек), и (б) те, которые вдали и водному транспорту недоступны. Получилось две линии падения: возле моря и рек убывание слабое, а вдали от них – сильное (рис. 108).

Прослеживая торговлю обсидианом на Ближнем Востоке Ренфру анализирует получившуюся кривую. Она на каком-то участке (200-300 км) от источника падает медленно и вовсе не по экспоненте, а затем резко срывается вниз и дальше падает по экспоненте (рис. 109). Этот участок он называл *зоной снабжения* (*supply zone*). А там, где падение резкое и экспоненциальное, – это *зона контакта* (*contact zone*). Первоначально Ренфру никак не объяснял эту закономерность, а деление материала на археологические культуры, имеющие реальное значение, он игнорировал (Renfrew 1969). Я еще тогда в дискуссии с ним подметил, что его перелом падающей кривой приходится на границы культур и, видимо, отражает выход за границы своей культуры (Klejn 1970). Ренфру же тогда придерживался обычного на Западе отрицания реальности археологических культур. Позже он признал, что, вероятно, тут действует один из его видов торговли “внутри культурного региона; это нужно понимать как внутреннюю торговлю с высокой частотой взаимодействия” (Renfrew 1975/1984: 124).



КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РИМСКОЙ КЕРАМИКИ ИЗ ОКСФОРДСКИХ ГОРНОВ



Убывание римской керамики из Оксфордских горнов с расстоянием. Места доступные водой и Оксфорда отмечены черными кружками, плохо доступные – светлыми.

Рис. 108. Оксфордская керамика: разное убывание в разных условиях (Renfrew and Bahn 1991: 324).

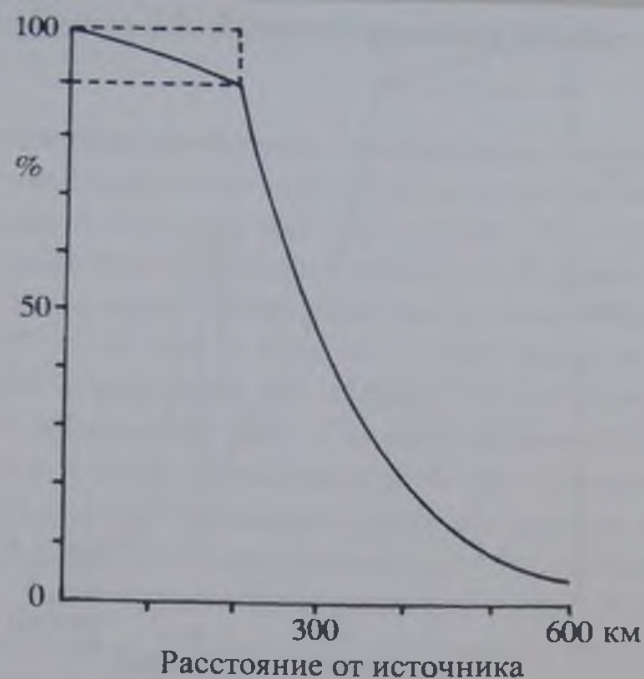


Рис. 109. Убывание интенсивности торговли обсидианом на Ближнем Востоке — кривая с уступом (Renfrew 1969, fig. 11).

На другой таблице-схеме (рис. 110) кривая не простая экспонента, а образующая пик — этим фиксирована направленная торговля в отдаленный пункт (или редистрибуция).

В археологии, особенно западно-марксистской, разрабатывается тема раннего, еще с первобытности, объединения торговых отношений в *единую мировую систему*. Эта тема инициирована американцем Иммануэлем Валлерстайном применительно к XVI веку нашей эры, к открытию Америки. Валлерстайн с известным (для исследуемого времени) резонансом говорил о взаимозависимости событий в разных уголках мира, о взаимодействии центра и периферии и т.д. (Wallerstein 1974). Ряд археологов перенес его выводы на древний мир, бронзовый век и даже неолит. Между тем хотя отдаленные одно от другого события на разных континентах Старого Света даже в те времена могли быть связаны цепью взаимозависимостей, но это была сугубо косвенная, опосредованная и случайная связь (Renfrew 1984: 82; Kohl 1987). Только временами, эпизодически в жизнь врывается прямое взаимодействие (при дальних миграциях) или общие судьбы (при глобальных катастрофах). Они, конечно, чрезвычайно интересны для археолога. Но никакой единой хозяйственной системы при господстве натурального хозяйства не существовало. Человечество всегда жило в единой экосистеме, но очень долго не с единой экономикой.

Подводя итог реконструкции торгово-обменных отношений, можно сказать, что основные приемы этой реконструкции базируются на типологическом (включая стилистическое) выделении локальных групп артефактов, технической

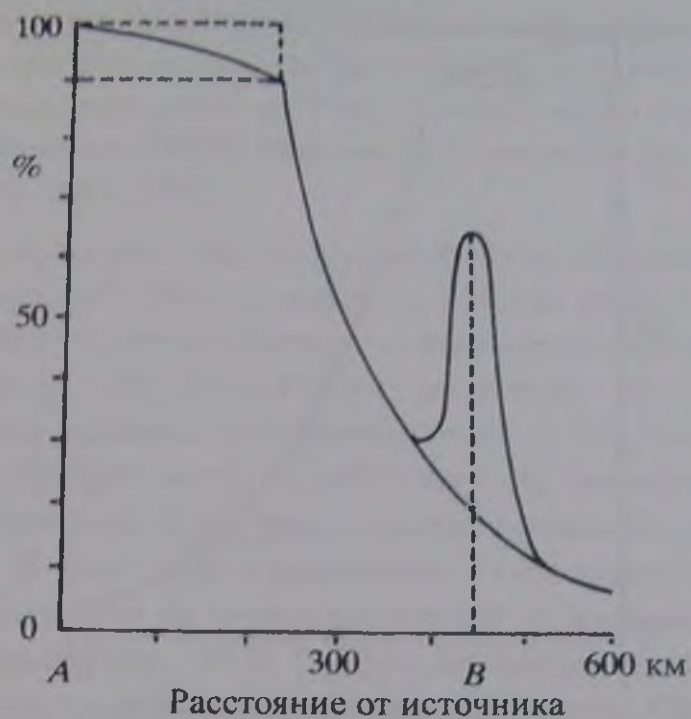


Рис. 1810. Убывание интенсивности торговли с расстоянием — кривая с пиком (Renfrew 1969, fig. 12).

их привязке к источникам сырья (а также к мастерским) и территориальном их обнаружении в отдаленных от очагов производства районах. Характеристика особенностей их распространения позволяет увязать формы распространения с известными по этнографии видами торгово-обменных отношений, но не только с ними (учитывать приходится и редистрибуцию, дары, дань, военную добычу и т.п.). Только анализ общей ситуации позволяет сделать выбор.

Глава 18. Реконструкция идей

1. **Методологические проблемы: когнитивная археология.** Методы познания идей и ментальности далекого прошлого по археологическим данным привлекли к себе внимание только недавно – на рубеже 70-х и 80-х годов XX века. Показательна смена ориентиров ведущего археолога Британии Колина Ренфру, в начале 70-х повернувшего своих британских коллег к освоению “социальной археологии” (Renfrew 1973). В начале 80-х он, к тому времени вернувшись из Саутэмптона в Кембридж и возглавив там кафедру преистории, выступает с инаугуральной лекцией “К археологии ума” (“Toward archaeology of mind” – Renfrew 1982). А в самой лекции к этому названию новой отрасли археологии приводится синоним: *cognitive archaeology* – *познавательная археология, археология познания*. Интервью с Колином Ренфру 2001 года называется “От социальной к когнитивной археологии” (Renfrew 2001). Вроде бы к этому его лично обратили его собственные раскопки святилища на о. Мелос и соответственно религиозная тематика, но тут явно сказались и более общие сдвиги археологической мысли.

Когнитивная археология была подхвачена в Америке Кентом Флэннери (другим лидером Новой Археологии, причем того же крыла, что и Ренфру) и стала увлечением многих. Буквально *когнитивная* означает ‘познавательная’. Но не методы и проблемы *археологического познания* составляют конек этого направления (хотя и не остаются совсем в стороне), и не *познавательная логика или психология первобытных людей* является его непосредственным предметом (хотя и затрагивается). Его суть – в ориентации археологии на исследование того, как отразилась в артефактах мыслительная деятельность людей отдаленного прошлого – их искусство, религия и символика.

По каким причинам установилось такое не очень подходящее обозначение, ясно. В 50-е – 60-е годы в США бурно развивалась *когнитивная антропология*, у которой название соответствовало ее идеям: понять, что и как думают исследуемые “примитивные” люди отсталых народностей (туземцы, аборигены) – как они классифицируют и категоризируют окружающий мир, какой смысл придают своим символам и образам. Этнологи (или культур-антропологи) стремились *познать* (раскодировать) содержание этих туземных образов и символов, понять, в каких формах туземцы познают мир. Считалось, что пока мы не узнаем, как сами туземцы воспринимают и классифицируют природу и свою культуру, мы не можем понять эту культуру (хотя наши классификации полнее и объективнее, так что речь должна бы идти о познании туземного мышления).

По сходству целей и археологи стали называть свою деятельность *когнитивной*. Вообще-то расшифровка древнего смысла артефактов и древних изображений издавна входила в задачи археологии, образуя в ней, именно в археологической интерпретации, едва ли не особый раздел. Есть множество старых работ по разгадке смысла и назначения палеолитических “Венер”, по назначению лаби-

ринтов, по распутыванию плетенки звериного стиля викингов, труды по древней символике, знаменитые работы академика Б.А. Рыбакова с усмотрением сказки о Кошечке на рогах (для питья) из Черниговских курганов и многое другое. Правда, градация доступности археологических явлений нашему познанию, предложенная в 50-е годы Кристофером Хоксом и относящая искусство и религию к наиболее трудноподдающимся объектам, была общепринятой. Очевидно, что призывы к взятию этой крепости имели смысл, но формирование направления зависло от того, какой арсенал теорий и методов его приверженцы создали и представили.

Не верили в такую возможность не только гиперскептики. Неоэволюционист Р. Даннел считал, что подобные потуги – бесплодная трата времени, а Бинфорд, хотя и выделял среди археологических материалов “идеофакты”, полагал, что заниматься такой “палеопсихологией” – вообще не дело археологов. В комментариях в сборнике Ренфру и Шеннана 1982 г. “Ранжирование, ресурсы и обмен” Бинфорд обрушивается с критикой на Ходдера, участника этого сборника, но в его инвективах слышится как бы предупреждение Колину Ренфру: “Мы не должны пытаться изучать мыслительные явления. На деле мы изучаем материальные явления... Мы не находим «окаменевшие» идеи, мы находим упорядочение материала...” (Binford 1982). Ренфру в этом разошелся с Бинфордом.

Как уже сказано, еще в 50-е – 60-е годы в США сложилась “когнитивная антропология” (Стивен Тайлер и др.), а в 60-е годы – близкое к ней течение – “новая этнография”. Задачи были схожие, но по отношению к живым народностям с первобытной культурой. Понять их психику, их классификации, структуру их понятийной системы. Задача археологов сложнее, поскольку речь идет о людях, давно умерших, а часто и язык их непонятен или неизвестен.

У самого же Ренфру этому предшествовали его занятия культовым памятником – микенским святилищем в Филакопи на Мелосе (серия статей 1978 и 1981 годов и книжка 1985 г.). Но за инаугурационной лекцией долго ничего аналогичного, методологического, не появлялось. И только в 1993-94 гг. вышли статья “Когнитивная археология” (Renfrew 1993) и (выпущенный в сотрудничестве с Э. Заброу) сборник “Древний разум: элементы когнитивной археологии” (Renfrew and Zubrow 1994).

В сборнике “Древний разум” Ренфру принадлежала статья “Археология религии” и вводная статья (ко всему тому) “К когнитивной археологии”. В ней Ренфру стремился показать отличия своего подхода к “идеофактам” и символам от появившегося подхода постпроцессуалистов, которых он называл “анти-процессуалистами”. Они идеалисты и уповают на интуитивное “понимание”, а он материалист (хотя и не такой прямолинейный, как Бинфорд) и хочет отыскать чисто научные средства установления зависимости между материальными остатками и древними идеями. Ренфру намечал разные виды работы археологов с древними символами: 1) выявление целенаправленных структур символического поведения, 2) планирования, 3) использования символов как мер, 4) в межличностных отно-

щениях, 5) в коммуникации со сверхъестественным миром, 6) воплощения реальности в изображениях.

На этом занятия Ренфру сей темой опять приостановились. Его соратник по серутанскому крылу Новой Археологии Кент Флэннери также перешел к изучению идей древнего населения – к когнитивной археологии. Ему было тем легче это сделать, что когнитивная антропология уже давно развивалась именно в США, и со второй половины 70-х годов наметились связи между когнитивной антропологией и первобытной археологией.

В 1993 г., одновременно со сборником “Древний разум” Ренфру и Заброу вышла и совместная статья Флэннери и его жены Джойс Маркус “Когнитивная археология” (Flannery and Marcus 1993).

Таким образом, два лидера особого крыла Новой Археологии, оставаясь верными ее методике и некоторым принципам, в сущности, отошли от нее в тематике и некоторых важных установках. Их привлекла возможность познавать древние идеи, семантику древних образов – возможность, изначально отвергавшаяся не только Хоксом, но и Бинфордом. Этот новый подход отчасти покоился на введенном Новой Археологией общем познавательном оптимизме, но еще больше был связан с интересом археологов к проблемам первобытного мышления и первобытной религии. Этот интерес, отразившийся в конференциях Петербургской 1991 г. и международной Лундской 2004 г., подогревался разгоревшимся общим увлечением мистикой и оккультными науками. О Лундской конференции редактор “Антиквити” Мартин Карвер не без иронии написал:

“Современный европейский археолог – уже не застенчивый статистик с «лестницей выводов» Кристофера Хокса на стене кабинета. Находить конфигурации и тенденции прошлого и объяснять их изменениями хозяйства и социального управления – это вчерашняя задача. Нынче с Гарри Поттером мы можем смотреть тайне в глаза и говорить о ней открыто, не просто обнаруживать, во что люди верили, но и решать, не стоит ли поверить в это самим... Колдовство и магия, были, кажется, во всем” (Carver 2004: 510).

В замечательном руководстве Ренфру и Бана “Археология. Теория, методы и практика” есть глава, специально посвященная “когнитивной археологии” – это десятая глава: “Что они думали? Когнитивная археология, искусство и религия” (Renfrew and Bahn 1991: 339-370). Археологи действительно хотят узнать “что они думали?” – ведь перед археологией стоят задачи реконструкции. Авторы руководства перечисляют виды источников, особенно благодатных для нахождения и расшифровки первобытных идей. Это орудия как окаменевшие понятия, намеренные захоронения, палеолитическое искусство – монументальное в пещерах и портативное...

Когнитивная археология, ориентирующая на познание познания, на исследование мыслительной деятельности, ментальности прежних поколений, не-

сколько сбита авторов с задач реконструкции. В главе тщетно было бы искать способы продвижения к идеям и целям, стоявшим за вещами и образами. Вместо этого всесторонне рассматриваются характер первобытного мышления, способности прежних людей создавать себе “познавательную карту” мира – то есть набор представлений об окружающей действительности (разумеется, их представления о мире сильно отличались от наших). От животных людей отличала способность символизировать реальность, причем Ренфру и Бан указывают, что символы всегда выбирались (как и сейчас) абсолютно произвольно, вне связи с реалиями, которые они символизировали. А как узнать, какая реальность стояла за обнаруженным символом, что именно он символизировал? Это оставлено вне рассмотрения. Главу было бы точнее назвать не “Что они думали?”, а “Как они думали?”. Выяснить, как они думали, конечно, важно – зная это, легче узнавать и что они думали, но это всё-таки другой вопрос.

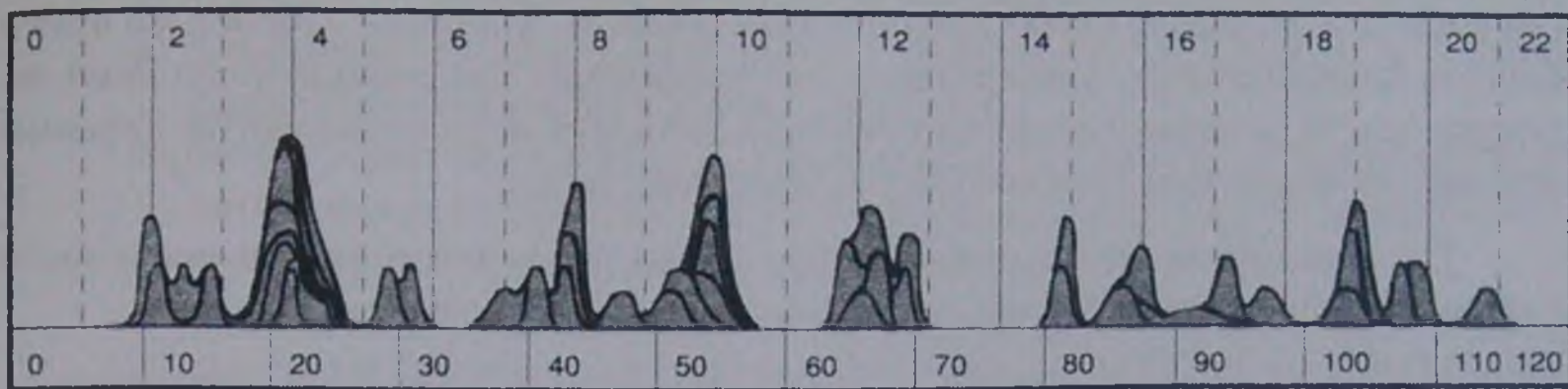
Вся глава построена на разработке пяти категорий символов (Renfrew and Bahn 1991: 359-360):

1. Фундаментальная когнитивная карта развивается символами *измерений* – мерами времени, длины и веса, причем последние лучше всего улавливаются археологами.
2. С будущим миром человек управлялся с помощью инструментов *планирования* – набросков и моделей.
3. Символы применяются для регулирования *отношений между людьми* – таковы деньги, но также и знаки ранга и статуса.
4. Используются символы и для представлений человека в мире ином и для налаживания отношений с ним – *религии и культа*: инструменты магии, жертвы богам и храмы.
5. Символами являются и опыты *изображения* реалий этого мира и видений иного мира в скульптуре и живописи.

Каждая из этих категорий рассмотрена на примерах. Меры времени – на возможных случаях астрономических наблюдений первобытных людей с календарными целями (для сельскохозяйственных работ), меры длины иллюстрируются спорами о мегалитическом ярде (но еще Флиндерс Питри в XIX веке измерял пирамиды для обнаружения древнеегипетского ярда), меры веса – хараппскими каменными кубиками (гирьками) разного размера. И т.д.

Но для археологов было бы интересно, как выискивать и находить в материале эти символы и – еще важнее – как удостоверяться, что гипотезы об их символическом значении верны. Мегалитический ярд (0,829 м) шотландский инженер Александр Том установил в 1955 г. статистикой (на базе измерения многих мегалитов) – пиками на участках через определенные промежутки (рис. 111 – Thom 1955; 1967). Но статистики С.Р. Бродбент и Д. Кендалл показали, что

ДИАМЕТР В МЕРАХ ПО 2 МЕГАЛИТИЧЕСКИХ ЯРДА (ЯЧЕЙКИ ПО 5.43 ФУТА, Т. Е, 1.657 М)



ДИАМЕТР В ФУТАХ (ФУТ = 83 СМ)

Рис. 111. Мегалитический ярд Александра Тома – по Ренфру (Renfrew and Bahn 1991: 351).

вероятность его выводов не превышает одного процента. Такие же промежутки получились бы у строителей, если бы длину мегалитов они определяли просто шагами.

Молодой украинский археолог Н.А. Чмыхов истолковал орнамент на катакомбных горшках как записи астрономических наблюдений и подобрал им соответствующие символы в греческих и восточных системах. Переведя это в расположение звезд и планет, он стал датировать по этим данным катакомбные погребения и культуры, расходясь с радиоуглеродной хронологией (Чмыхов 1978; Чмыхов та Черняков 1988). Некоторые коллеги увлеклись его доводами, но большинство сочло его ассоциации совершенно произвольными и неубедительными.

Образчик аргументации Чмыхова приведу. Он трактовал орнамент на катакомбной чаше из Макеевки как как отображение 12 месяцев и некоторые особо отмеченные – как созвездия Телец, Овен и Весы (по-украински – Терези). Но по рисунку (рис. 112) легко убедиться, что орнаментальных фестонов всего 11, а не 12. Как же быть? Чмыхов объясняет, что в XVIII в. до н.э. (а именно в 1720 г.) точка весны находилась на границе созвездий Тельца и Овена, вот они и налезли одно на другое (Чмыхов 1978: 101-102). С такой изобретательностью и хитроумием можно доказать всё, что угодно. Жаль: Чмыхов был действительно энтузиаст и талантлив, но глух

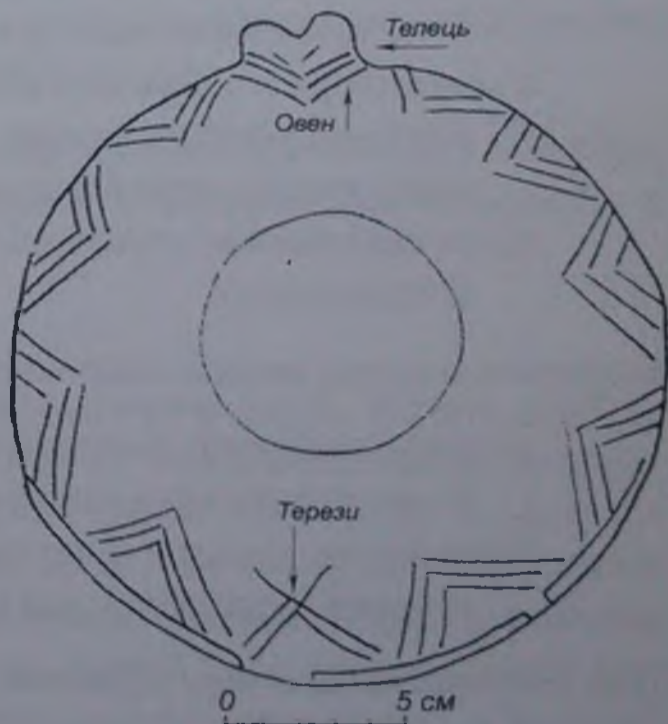


Рис. 112. Катакомбная чаша из Макеевки – орнамент как созвездия по Н.А. Чмыхову (Чмыхов 1978, рис. 4).

к критике и методически неподготовлен (как и Ю.А. Шилов, он был учеником В.Н. Даниленко). Это был человек, крайне увлеченный и “упёртый”. Он всё же сумел защитить кандидатскую диссертацию, но дальнейшее продвижение его идей застопорилось. На одном заседании ученого совета Института археологии Украины после жесткой критики Чмыхов умер от разрыва сердца.

По некоторым категориям Ренфру и Бан приводят критерии реальности выводов. Так они выделяют следующие критерии опознания культа:

1. *Фокусирование внимания* – выбор места для святилища, архитектуры, света и звука, запаха.
2. *Пограничная зона* между этим миром и иным со скрытыми опасностями, поэтому предусмотрены ритуальное очищение и омывание.
3. *Присутствие божества* – во многих случаях в материальной форме или в образе, по крайней мере в виде знака.
4. *Участие и жертвоприношение*. Участие символизируется жестами и молитвой, часто едой и питьем.

Для всех четырех Ренфру и Бан выделяют археологические индикаторы ритуала.

Так для *фокусирования внимания*:

- а) ритуал проводится в специальном месте с естественными ассоциациями (в пещере, роще, у источника, на вершине горы);
- б) альтернативно – в специальном здании, устроенном отдельно от остальных, для священных функций (храм);
- в) структура и снаряжение для ритуала включают особые устройства в архитектуре, привлекающие внимание (алтари, скамьи, очаги), и передвижные (лампы, гонги и колокола, ритуальные сосуды, курильницы, ряссы);
- г) на священных участках обычно символы многократно повторяются (избыточность).

Пограничная зона имеет следующие индикаторы:

- а) ритуал обычно имеет публичную, открытую часть и скрытую мистерию, и это отражено в архитектуре;
- б) понятия чистоты и загрязненности обычно отражены в устройствах (например, бассейнах для омовения).

Присутствие божества узнается археологически по следующим признакам:

- а) отражено в культовом изображении – статуе, иконе, анаграмме Христа;
- б) символы часто связаны иконографически с почитаемым божеством и его мифом (например, специфические животные);
- в) связь есть и с символами обрядов перехода.

Участие и жертвоприношение выявляется по следующим признакам:

- а) поклонение включает молитву и специальные телодвижения – жесты адорации, что отражается в иконографии;
- б) ритуал может использовать разные приспособления для выполнения религиозных действий (танцев, музыки, наркотиков, причинения боли);
- в) возможно заклятие животных или людей;
- г) могут быть принесены пища и питье и потреблены или сожжены/вылиты;
- д) другие материальные объекты могут быть принесены и пожертвованы (вотивы);
- е) большие средства могут быть отражены в снаряжении и жертвоприношениях;
- ж) они же могут быть отражены в самой структуре и оборудовании.

На практике только некоторые из этих критериев обычно выявляются в некотором одном контексте. И археологу приходится решать, достаточно ли этого, чтобы констатировать наличие божества и культа.

Переходя к изобразительной деятельности, Ренфру и Бан обращают внимание на то, что *условности видения*, присущие каждому периоду и каждой культуре, усложняют наше понимание древних изображений. В пример он приводит условности египетского рисунка: лицо изображается в профиль, а глаз в фас, ноги и руки в профиль, а плечи в фас. Каждый ряд строя изображается отдельной шеренгой, над другой. Вещь, содержащаяся в сосуде, изображается над ним и т.д. С этими условностями, отражающими принцип изображения (рисовалось не видимое, а знаемое), близок вопрос о *стиле*, регулирующем вне функциональной обусловленности структуру и детали изображения и определяемом традиционными, сложившимися случайно приемами передачи в данной среде.

Таким образом, некоторые вопросы реконструкции идей в книге Ренфру и Бана разработаны, но в целом глава, посвященная ментальности, повернута в сторону “когнитивной археологии” и ее целей.

2. Методологические проблемы: реконструкция идей. Реконструкция идей и ментальности принадлежит к верхней ступени “лестницы Хокса” и представляет наибольшие трудности. От них непосредственно ничего не остается в материальной культуре и, следовательно, познание идей и ментальности прошлого для археолога возможно *только через посредствующие звенья*. А так как звенья эти располагаются на разных ступенях “лестницы Хокса”, и в каждом звене нет точного соответствия, то в цепочке накапливаются неопределенности, и каждый вывод становится очень ненадежен.

Отсюда общие принципы подхода археологов к реконструкции идей и ментальности. Во-первых, искать те *цепочки преобразований информации, которые ведут от материальной культуры к идеям древнего человечества с наибольшей*

адекватностью и прозрачностью. Во-вторых, тщательно анализировать те явления в материальной культуре, в которых идеи и ментальность отражаются наиболее прямо и непосредственно – это изобразительная деятельность людей и знаковые системы. Есть среди них и письменность, но это другая категория источников.

В курсе “методики историко-археологического исследования”, который я читал в 1960-е – 70-е годы в Ленинградском университете, “изучение идейных представлений по археологическим данным” основывалось на выявлении неких закономерностей и универсалий (магия и анимизм, тотемизм, звериный стиль, скелетный стиль, загробный мир), а в способах реконструкции рассматривались “этнографические параллели, восстановление систем идейных представлений, увязка генетическая” (цитирую по сохранившейся программе).

В последующей отечественной науке мне известны три интересных замысла наметить методы реконструкции идей.

А. Доклад Колпакова. В 1980 г. Ленинграде проходила конференция, названная в тогдашнем духе “Идеологические представления древнейших обществ”. На этой конференции Е.М. Колпаков предложил доклад “О методах реконструкции идеологии по археологическим данным (к анализу литературы)”. По литературе он выделил четыре метода реконструкции (с подвидами – шесть методов), и все они детализируют первую из указанных выше задач:

1. *Метод восхождения* – метод ранних советских марксистов, основанный на Марксовой идее соответствия идеологии экономической базе и материальной культуре общества. Зная базу и марксистскую схему соответствий, легко от базы взойти к идеологии и реконструировать ее.

2. *Историко-типологический метод* основан на близкой идее соответствия типологии исторической эпохе.

3. *Метод аналогий* построен на вере в значимость формальных аналогий. Его разновидности:

а) *анalogии типов* – предполагается, что со сходными типами предметов связаны сходные представления (во всех культурах или, по крайней мере, в близких), а это значит, что по известным идеям можно через аналогии типов вещей узнавать неизвестные;

б) *анalogии с археологическими комплексами* – претендуют на доказательность, когда обоснована единственность возможной аналогии, взятой как обобщение многих, то есть близкой к закономерности;

в) *генетические аналогии* – круг возможных интерпретаций сокращается: генетическая связь обосновывает единственность и правомерность аналогии.

4. [*Градационный метод* (название ввожу свое – Л.К.)] – строится цепочка развития компонента материальной культуры и доводится до звена, для которого идейные представления известны по другим источникам (письменным, фольклор-

ным). Однако нужно еще знать, как соотносятся изменения материального символа и его значения. Скажем, современные прямо переносить на первобытность нельзя (Колпаков 1980).

В этой работе оценка методов почти не дана, но по нюансам изложения можно понять, что автор невысоко оценивает методы, изложенные первыми, а по мере продвижения к последним надежность повышается.

Колпаков, мой бывший студент, обладает чрезвычайно острым и творческим умом. Но у него есть две психологические особенности, мешающие ему рабатывать свои идеи и делать их предметом обсуждения. Во-первых, направление его ума скорее критическое, и он сразу же видит множество препятствий к реализации тезисов – чужих и своих. (Если бы Ньютон учитывал все противоречия, которые он знал, он никогда бы не предложил свой закон всемирного тяготения, а противоречия были сняты только два века спустя.) Во-вторых, Колпакову представляется, что все должно сразу же схватывать вытекающие из идеи следствия, как схватывает он сам, поэтому детальное развитие и примеры представляются ему излишними. Его обзор методов реконструкции идей остался в тезисах.

Б. Доклад Кабо. На петербургской конференции 1991 г. доклад на схожую, но более узкую тему, сделал этнограф В.Р. Кабо (1991): “Религия палеолитического человека: возможности ее реконструкции”. Как этнограф он не интересовался возможностями археологической реконструкции, но поскольку речь шла о палеолите, ограничиваться этнографическими данными не приходилось. У него методов тоже шесть. Он начинает с противопоставления:

1. Традиционные умозрительно-спекулятивные и эволюционистские построения, когда явления прошлого выстраивались в одну линию, использовался *метод пережитков*, и без разбора надергивались *этнографические аналогии* из самых разных культур и эпох.
2. Известно “*гиперкритическое*” отношение А. Леруа-Гурана и А. Ламинь-Эмперер к прямому сопоставлению фактов археологии с данными этнографии, к методу археолого-этнографических аналогий.
3. *Этноархеологическое моделирование* сам Кабо считает не решающим, но полезным. Особенно сбор этнографических фактов, относящихся к наиболее отсталым обществам.
4. Структурализм К. Леви-Стросса и “концептуализм” В. Дюпре направлены на *познание скрытых универсалий* и обуславливают подход к первобытному общественному сознанию как к мировоззренческой системе.
5. Близки к этому поиски *универсальных архетипов* К. Юнга, Э. Дюркгейма, М. Элиаде и др.
6. Кабо возлагает большие надежды на *ретроспективный метод*: от известного конца двигаться к неизвестному началу.

Вглядевшись, можно заметить некоторые сходства положений Кабо с наметками Колпакова: познание скрытых универсалий близко к колпаковскому методу аналогий с комплексами (Зб), выявление архетипов – к методу генетических аналогий (Зв), ретроспективный метод – к методу градационному (4) и т.д.

В. Статья Антоновой и Раевского. Почти одновременно с Колпаковым Е.В. Антонова и Д.С. Раевский, много работавшие с расшифровкой знаковых систем (древневосточных и скифских) по археологическим материалам, выступили со статьей "О знаковой сущности вещественных памятников и о способах ее интерпретации". Авторы исходили из того, что вещи в культуре помимо утилитарной функции обладают и знаковой. "Под знаковой функцией вещи мы понимаем присущее ей свойство указывать на нечто, не тождественное ее собственному материальному бытию". В археологическом исследовании вещь тоже выступает как знак, будучи носителем информации о прошлом и отсылая к каким-то фактам изучаемой эпохи. Но и до того, как стать объектом археологии, в самой исследуемой культуре вещь тоже обладала семиотическим статусом, была знаком для самих носителей этой культуры, была охвачена выработанными этой культурой кодами и включена в ее связи. В работах А.К. Байбурина подчеркивается семиотический статус "бытовой" вещи. Вот эти-то знаковые функции и надо уяснить и "наметить способы их постижения" (Антонова и Раевский 1981: 209-210).

Это положение Антоновой и Раевского близко по семиотической направленности к одновременным работам Яна Ходдера (Hodder 1982; 1986) и к тезису Ренфру о роли символизации в древней культуре. Подобно Ренфру, русские авторы отвергают произвольные, спекулятивные и слабо обоснованные "раскрытия" семантики древних символов, когда V-образный налп на сосуде уверенно трактуется как изображение головы быка, затем интерпретируется как символ созвездия Тельца, а сосуд объявляется атрибутом астрального культа (намек на выводы Чмыхова?).

Для основательного решения этой задачи Антонова и Раевский исходят из констатации того, что ранние культуры воспринимали окружающую реальность сквозь призму мифологического сознания. "Воспринимаемый сквозь призму мифологических моделей, мир в сознании первобытного человека обретает ту структурность, без которой немислимо стабильное существование в нем социума... Это приводит к повторению однотипных «структурных конфигураций» на разных уровнях и в разных сферах миросмысления... Поскольку базой для охарактеризованного структурирования мира служит миф, вещь, таким образом, оказывается носителем многообразной мифологической информации" (Антонова и Раевский 1981: 211-212).

Поскольку первобытное сознание ориентировано на структурные, общие характеристики (мифологические универсалии), игнорируя всякую индивидуализацию, в расшифровке приходится исходить из массового материала и обильно применять статистику. Мифологические универсалии, изучению которых посвя-

щены у нас работы Ю.Е. Березкина, выражаются, в частности, в пространственном коде (известное деление мира на три сферы по вертикали, сказывающееся в членении сосуда). Ориентированность на общие структуры требует и включения исследуемой вещи в более широкие общности – “тексты более высокого уровня”. Если такое включение удастся, то это может рассматриваться как подтверждение правильности реконструкций. Так, идея формального подобия скифского акинака фаллосу согласуется со способом его размещения на теле воина.

Подчеркивая значение универсалий, Антонова и Раевский примыкают к рекомендациям Колпакова и Кабо, но выделяют этот метод в качестве главного в решении первой из отмеченных мною двух общих задач в реконструкции идей. Однако далее Антонова и Раевский касаются и второй из этих задач.

Разумеется, зависимость интерпретации древнего символа от знания мифа сильно ограничивает возможности конкретной расшифровки его семантики. “Речь может идти лишь о проникновении в принципы мировосприятия носителей этой мифологии. Поэтому любые разговоры о возможностях реконструкции, к примеру, «палеолитического мифа» остаются не более чем красивой фразой, не обеспеченной адекватной научной методикой” (Антонова и Раевский 1981: 223).

Единственный выход из этой трудности, приходят они к заключению, – обратиться к вербальным источникам, письменным и устным, сложившимся если не в самой культуре, то у ее соседей и отдаленных потомков. То есть к синтезу источников разного вида.

Не случайно Ренфру и Бан уделяют целый раздел своей главы о когнитивной археологии письменным источникам. Могли бы уделить и фольклору. Однако письменные и устные источники часто скудны и очень искажены, так что изобразительные их существенно дополняют. А это те источники, которые наиболее прямо ведут к идеям первобытного человека.

3. Аналогии в реконструкции идей. Аналогии, особенно этнографические, важны на многих этапах археологического исследования, это мы уже отмечали в предшествующих главах. Отличается ли чем-то особым применение аналогий в реконструкции идей? А это смотря каких идей и по каким памятникам. Чайлд отмечал, что ручное рубило есть первая идея, воплощенная в материале – как вещь. Так сказать, окаменевшая идея. Ибо всякое формирование типа есть вещественное оформление идеи. Ведь в отличие от класса тип – это роение вещественных реализаций вокруг некоего идеала, вокруг идеи. Если сбор местных аналогий вещи позволяет выявить тип, то привлечение этнографических аналогий помогает понять назначение всех этих вещей.

Строго говоря, всё это тоже идеи, но, рассуждая о реконструкции идей, мы обычно не имеем в виду функциональное назначение вещей, бытовое оперирование понятиями и повседневные, ежеминутные намерения, возникающие

и исчезающие в мозгу каждого человека. Мы имеем в виду более абстрактные и обобщающие идеи, в которых человек осмысливал свои отношения с другими людьми, структуру общества и строение мира, силы природы и свои взаимоотношения с ними. Это религия, общественная мораль, философские размышления, зачатки научных знаний. Эти идеи находили выражение в языке (нам, археологам, недоступном), изобразительной деятельности и, конечно, в поведении, частично оставляющем материальные следы.

И хотя интересует нас в этих идеях их общественный смысл, реализуются они очень индивидуально, и чем больше сводятся к изобразительной деятельности, тем индивидуальнее. Поскольку изобразительная деятельность требует особого таланта, каждое произведение по-своему уникально, а всякая уникальность создает трудности для обобщения, для типизации, для работы с аналогиями. Аналогии приходится искать не всему произведению, не всему артефакту, а его отдельным деталям, чертам, свойствам. Но если слишком раздробить артефакт на элементарные признаки, то аналогии ему найдутся везде и привлечение аналогий потеряет смысл. Это есть главная проблема в реконструкции идей с помощью аналогий.

Вторая проблема заключается в том, что в работе с произведениями первобытного и древнего искусства и религии логика заключения по аналогии сильно хромает. Она всегда хромает, но тут она хромает особенно сильно. Дело в том, что, познавая скрытые силы природы и общества, создавая образы, воплощающие эти силы, первобытный человек невольно и неизбежно сильно отрывался от видимой реальности, давал волю воображению, а на нем сказывались разные факторы — страх, надежды, сны, транс и галлюцинации (от экстатических танцев до потребления наркотических средств). Коль скоро воображение отрывалось от реальности, результаты отрыва очень многообразны, и проследить их логику крайне затруднительно, часто просто невозможно. Как тут опираться на аналогию? Очевидно, что в этих условиях аналогия может быть убедительной только касательно самых общих правил, но не применительно к конкретным реализациям. Тут полагаться на нее очень рискованно.

Даже когда можно считать, что тип заимствован, это еще не значит, что смысл ему придавался один и тот же в очаге, из которого тип заимствован и на новом месте. В бронзовом веке молоточковидные булавки из бронзы проникли в степь с Кавказа и стали выделываться в степи из рога, но на Кавказе они носились в прическе, а в степи — как амулеты на шее. Явно им придавался уже иной смысл.

Вот генетические связи населения, то есть общее происхождение, гораздо больше придают аналогии убедительность. В языке и мифологии ариев (индоиранцев) и греков есть множество общих компонентов — кентавры и гандарвы, Цербер и Шарбара, Пан и Пушан, Диоскуры и Ашвины, Тритон и Тритаона и т.д. Поэтому любая новая аналогия между греками и индоариями или иранцами приобретает вес. Например, в греческом культе Аполлона с целителем Асклепием фигурирует

мышь, а в индийском культе Рудры с Ганешей фигурирует не мышь, а крот, но некоторое сходство мыши с кротом (размер, норы в земле и т.п.) приобретает значение в силу общего происхождения двух этносов.

Третья проблема, связанная с применением аналогий в реконструкции идей, заключается в часто весьма высокой условности многих изображений, в символичности множества религиозных артефактов и трудности расшифровки символов и условных изображений. Дело в том, что символы принципиально произвольны, не имеют принципиальной связи со смыслом символизируемого понятия. Могут иметь – тогда символ превращается в иконический знак, – но не обязаны иметь. Почему зеленый цвет символизирует свободу проезда, а красный означает стоп-сигнал? Так условились. Слово ведь тоже символ. Почему русские придают слову *слово* значение речевой единицы, а англичане используют для этого слово *word*? Нет логических причин, дело в случайностях истории языков. Чтобы понимать, нужно просто знать словарь.

Поэтому обзоры символики или народных поверий по этническим или конфессиональным группам (древневосточная символика, христианская, мусульманская или поверья германцев и т.п.) очень полезны для реконструкции идей, связанных с конкретными артефактами.

Но если не знаешь словарь, не воспитан в данном языке, то можно провести линии эволюции, точнее градационного изменения, от известных слов к неясным, но созвучным словам. Например, от русского *слово* к древнерусскому *язык словенск* 'славянский язык' и 'славянский народ' (*язык* означал раньше и 'народ'), чтобы понять, что происхождение названия народа "славяне" происходит не от слова *слава*, а от слова *слово* и означало 'словесный народ', то есть разумеющий речь – в отличие от *немцев*, как назывались все чужие: они были 'немые', то есть не могли объясниться в славянской среде.

Из изображений высокой степенью условности обладает *орнамент*, рассматриваемый не просто как украшение, а как символ неких понятий, настроений, религиозных представлений. Именно градационные линии от артефакта к известным и понятным аналогиям позволяют включить столь условные изображения, как орнамент в общую символику культуры и тем самым подобраться к расшифровке его смысла.

Немецкий искусствовед и художник Готфрид Земпер еще в 1834 г. заявлял, что искусство развивается только под знаком потребностей. В двухтомном труде "Стиль в технических и тектонических искусствах: Практическая эстетика" (1860-1863) он высказал гипотезу, что меандр и подобные геометрические узоры емкостей являются следом тех времен, когда материалом для их изготовления было корзиночное плетение или грубая ткань. Он описал это как воздействие материала на облик изделия, а точнее – как закон инерции формы при смене материала. Ныне меандр возводят к структуре мамонтовой кости или к стенкам жилищ из костей мамонта, что тоже подразумевает материал.

В 1880-х американский археолог Уильям Холмс (Holmes) развил гипотезу, что керамика индейцев пуэбло развилась из корзинок, и отсюда происходят ее геометрические орнаменты, напоминающие плетение. Поскольку техника орнаментирования затрудняла выполнение прямых углов, они со временем переводились в округлые орнаменты. “Геометрический орнамент – это отпрыск техники”, – писал он в 1886 г. В керамике он нашел также отражение других прототипов сосудов – деревянных, каменных, и все они несут на себе следы своего происхождения. К аналогичным выводам пришел его современник и соотечественник Фрэнк Кашинг (Cushing), изучая керамику индейцев зуни.

В начале XX века Карл Шухардт выдвигал общую идею о формировании основных форм керамики под воздействием ее прототипов – кожаных бурдюков, тыквенных емкостей, деревянных сосудов и корзинок, с сохранением в орнаментах напоминания об этих истоках.

Семантика орнамента, разумеется, не сводится к зависимости от первоначальных материалов. Значительно больше ее зависимость от традиций и содержащихся в них идейных представлений и поверий. Отличный пример глубокого анализа орнаментальных композиций – как формального анализа (симметрии, раппорта, цветовой символики и т.п.), так и раскрытия семантики – представляет статья Ф.Р. Балонина (1991) о пазырыкском ковре.

Однако обычные раскрытия семантики по наитию и по простейшим мысленным ассоциациям наглядности и аналогий, на которые так скор был академик Рыбаков в своей расшифровке семантики трипольского орнамента (ромбик с точкой – поле с растением, косые линии – дождь и т.д.) совершенно произвольны и неубедительны. Нужны градационные линии, ведущие от этих символов к наглядным полным и недвусмысленным изображениям или поясняющие тексты.

В этом исследовании есть риск того, что условные и упрощенные формы изображений или самих артефактов будут приняты не за конец развития (деградации), а за начало эволюции к более сложным формам. В пример могу привести предпринятую опытным молдавским археологом В.А. Дергачевым (2007: 67-162) хронологизацию так называемых “зооморфных скипетров” энеолита, находимых обычно как случайные (рассеянные) находки. Он разместил их по линиям градации в типологический ряд (или несколько рядов). Простейшие формы, сугубо условные, в которых изображение головы животного может только угадываться, помещены им в начало типологического ряда, а вполне развитые формы, в которых глаза, пасть, уши и рог хорошо просматриваются, поставлены в конец ряда (рис. 113).

Я напечатал свои критические соображения, в которых напомнил о констатированной У. Холмсом обычной деградации изображений с возможной утерей первоначального смысла и привел обоснование именно такой трактовки градации “скипетров” (Клейн 2010б). В эволюции из первоначального простого изображения условность обычно невысока, простота и грубость происходят от неумелости мастера, но ясно, что он хотел изобразить, какие-то детали он передает довольно

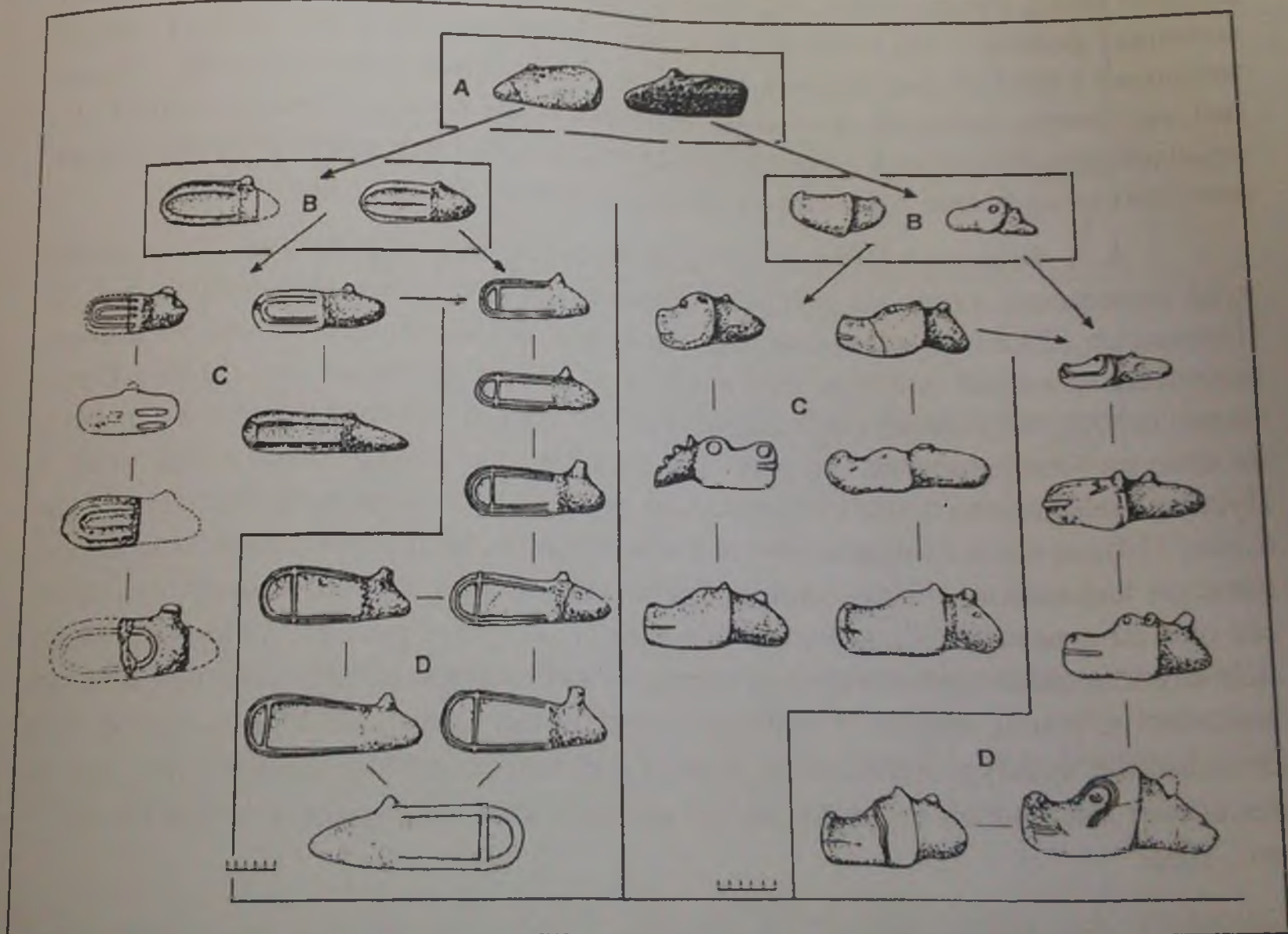
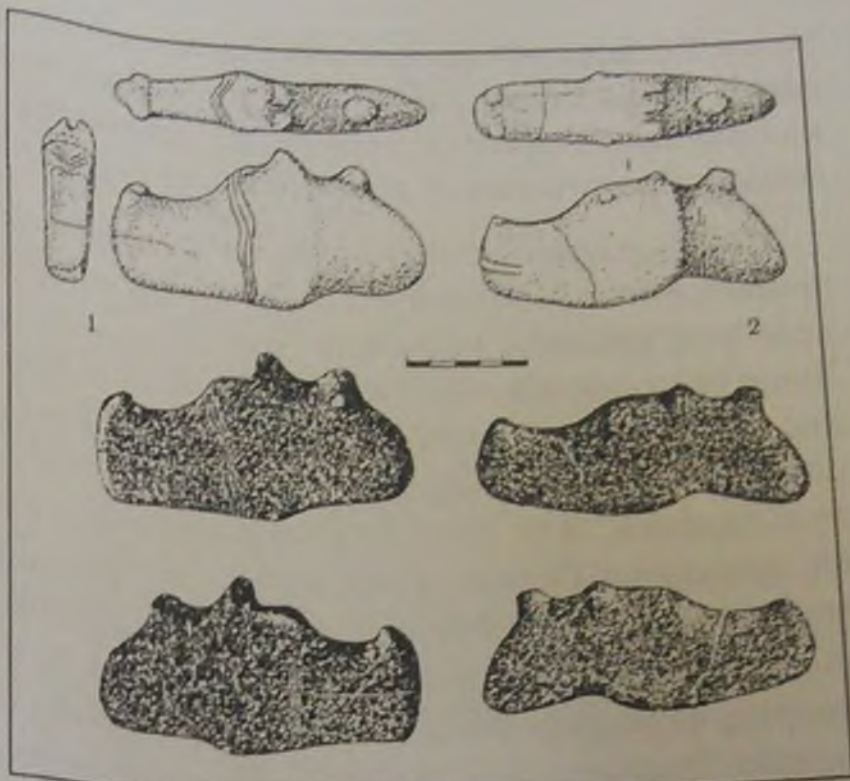


Рис. 113. Навершия скипетров по В.А. Дергачеву (2007, рис. 5 – навершие из Теркли-Мектеб, рис. 3 – навершия из Сэлкуцы (1) и Федосеевки (2), рис. 38 – схема типологии “скипетров” и их генетических и хронологических отношений по Дергачеву).

четко. Если же условность высока, детали неразличимы, но зато линии формы изящны и обобщенны, выполнены мастерски в правильном геометрическом контуре, налицо явно вторичное упрощение первоначальных реалистических форм, стремление к геометризации и эстетизации за счет утраты смысла.

Еще одна опасность грозит интерпретации высоко условных знаков – быть принятыми за иероглифы или буквы (руны) неизвестной письменности. На самом деле это, конечно, возможно, однако при сомнении оправдывается крайне редко. Чаще всего налицо просто затейливые орнаменты, реже тамги или другие сигналы, иногда подражания неграмотных какому-либо алфавиту, и лишь в отдельных случаях появляется возможность трактовать эти знаки как еще нерасшифрованную надпись. Для этого нужны некоторые условия, которые в погоне за сенсацией, археологи, бывает, игнорируют. Эти условия следующие: 1) разнообразие знаков (знаки не должны быть слишком однообразны), 2) многочисленность знаков (их должно быть не менее дюжины-двух), 3) повторяемость многих знаков, но не подряд, 4) расположение их в ряд, 5) значительная длительность надписи, 6) возможно, близкое сходство (родство) с одной из известных древних систем письма. Следует иметь в виду, что письменность может проявиться не обязательно в своих конечных формах – как алфавит. Это могут быть *мнемонические* записи (напоминающими о реалиях рисунками), *пиктограммы* (напоминание о событиях образами), *иероглифы* (каждый из которых означает некое слово, точнее, его смысл, без звуковой конкретизации), *слоговой набор* (где каждый знак сигнализирует о звуковом слоге) и *алфавит* (где каждый знак в принципе соответствует звуку).

А.А. Формозов (1961) и затем он вместе с В.В. Отрощенко (1988) выдвинули толкование знаков на срубной керамике как зачаточной письменности, С.Ж. Пустовалов (2005) добавил к их выводам свои о наличии письменности в более ранней катакомбной культуре бронзового века. В аргументации Формозова и Отрощенко некоторые условия соблюдены (1 и 3 по только что предложенному списку), но явно нарушены другие (условия 2 и 5), а с катакомбными знаками еще хуже: у Пустовалова сделана попытка показать их родство с ранними алфавитами (условие 6, рис. 114), но часть слишком проста и неизбежно встретится неоднократно в большинстве алфавитов, а часть явно представляет собой рисунки; кроме того, почти все они не отвечают большинству условий (1, 2, 4, 5 – рис. 115). На мой взгляд, если относительно срубной культуры еще может ставиться вопрос о неких зачатках письменности или, скорее, о знаковой системе типа тамговой или подобной, то в катакомбной культуре перед нами просто богатый репертуар орнаментики, что не исключает смысловой нагрузки на его компонентах (движение к пиктограмме? – рис. 116).

4. Реконструкция универсалий и архетипов. *Универсалии* – понятие, введенное средневековой философией для обозначения общих понятий (от лат. *universalis* – общее). Средневековые философы спорили о том, существуют ли

	1	2	3	4	5	6	7
I			17	7177	77	777	
II			LL	777	777	^	
III				1LL	LLLL	11v	
IV			555 22	7577	2222		
V			33	333	777	777	
VI			63	7777	777	7	
VII							
VIII			99	999		^	
IX			Δ	444Δ			
X			ΦΦ	Р7ΦΦ	ΨΨ ΦΦ ⊙		

Рис. 114. Сравнительная таблица катакомбных знаков и ранних алфавитов по С.Ж. Пустовалову: 1 – ингульские знаки; 2 – восточнокатакомбные знаки; 3 – северосемитский алфавит; 4 – раннефиникийский алфавит; 5 – критское письмо; 6 – знаки Каменной Могилы; 7 – трипольские знаки (2005, рис. 4.43).

реально общие, абстрактные понятия или это всего лишь имена для суммарных свойств массы конкретных вещей, и, следовательно, за ними нет никакой реальности (спор реализма с номинализмом). В современной науке более актуально изучение лингвистических универсалий – общих свойств всякого языка как знаковой системы, инициированное Фердинандом де Соссюром (структурализм) и Ноэмом



Рис. 115. Зипки на китаконном сосуде (с. Яблуныя, к. 5, п. 1) по Пустовалову (2005, рис. 4.38,1).

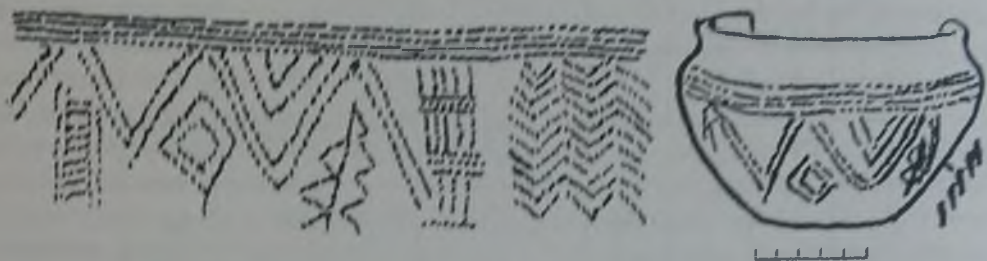


Рис. 116. Зипки на китаконном сосуде (Аккермень I, к. 4, п. 5) по Пустовалову (2005, рис. 4.32,5).

Хомским (*параждаюцая граммашыка*), а в перенесении на всякую знаковую систему – Чарльзом Пирсом и Чарльзом Моррисом (*семиотика*).

Под *универсалиями культуры* понимаются те общие понятия и представления, которые пронизывают всякую отдельную культуру, служа в ней структурирующим компонентом (Ойзерман 1989). В качестве таких универсалий могут быть представлены искусство, религия, магия (вплоть до современной культуры). Но есть и универсалии меньшей степени охвата явлений культуры, например, мировое древо или маска.

Все они отражены в материальной культуре и, соответственно, в археологическом материале, иногда прямо (маски, изображения мирового древа), чаще – косвенно или своими отдельными конкретизациями и проявлениями. От этих конкретизаций и проявлений – длинный путь до установления универсалий как общих понятий, и это не только путь обобщения, имеющий свои сложности. Это и путь восстановления, реконструкции.

Для археологии особое значение имеют те универсалии, которые оказываются *архетипами*. Архетипы, введенные в психологию Карлом Юнгом, учеником Фрейда, означают буквально исходные образы, старейшие образы (от греч. *arche-typos*). Они понимались Юнгом как врожденные психические структуры, скрытые в подсознании и в значительной мере управляющие оттуда сознанием людей. Другие психологи отказались считать архетипы врожденными (и соответственно

расово обусловленными), признавая их порожденными воспитанием и культурным наследием. Так пошла речь об архетипах, присущих той или иной культуре. Во времена Юнга говорили об архетипах Мудрого Старца, Великой Матери и т.п., позже стали выявлять архетипы Чуда, Хаоса, Творения, Золотого Века.

Для историков первобытных и древних культур и для археологов универсалиями, несущими в себе большой потенциал архетипности, являются обшье для всего человечества, особенно на ранних этапах, магия, анимизм, умершие предки-покровители, религия с ее архетипными фигурами богов и духов, добрых и злых, тотемизм. Изумительная по совершенству пещерная живопись давно-стью в два-три десятка тысячелетий поначалу считалась характеризующей верхний палеолит как эпоху. Но с течением времени стало ясно, что за пределами южной Франции и северной Испании она выявляется крайне редко (Формозов 1983), хотя пещеры есть во многих горных районах. Долгое время универсалиями считались род и племя, но в XX веке выявились австралийские и африканские общества без родо-племенной организации, и охотникам за универсалиями был преподан первый урок осторожности: нет всеобщности – значит не универсалии. То есть широко распространенные явления могут легко быть приняты за универсалии, тогда как таковыми они признаны быть не могут, охватывая только часть человечества.

С другой стороны, есть немало явлений общих для людей и других приматов: территориальность, иерархия (статус), подражательность, пошумелки молодежи и т.д. По отношению к этим явлениям, так сказать, суперуниверсалиям, обычные универсалии, типа магии и почитания умерших предков, выглядят ограниченными, урезанными. Они характерны только для *homo sapiens*. В таком случае, можно ведь и еще более ограниченные универсалии признавать всё-таки универсалиями – но не для всего человечества, а только для одного континента, одной эпохи, одной группы культур. А то и для одной культуры. В своих границах это универсалии. В этом смысле всякая универсалия условна.

Это касается и архетипов. Когда мы выявляем архетипы, нужно, во-первых, всегда собирать доказательства множественности и закономерности некоторого явления для всего объема некоторой среды, органичность этого явления для данной среды, а во-вторых, – четко определять границы этой среды – базы действенности архетипа. Что блестящий расцвет пещерной живописи имел архетипную природу, можно заключить из последующих судеб этого района Европы. Несмотря на разные гипотезы о причинах столь раннего проявления совершенной реалистической изобразительности, Я.А. Шер, отстаивающий одну из них, добавляет (2006: 318-319), что сказался еще и редкий дар художественности присущий единицам из этого населения. Между тем А.А. Формозов (1983) отметил, что Франция и в новой истории прославилась массовым выделением талантливых художников, лидируя в мире (импрессионизм и т.п.), славилась и развитием других искусств. Я бы к этому добавил, что и в средние века именно на юге Франции зародилось рыцарское галантное искусство.

Рассмотрим проблемы реконструкции архетипа на конкретном примере Рогатого Бога – чем не архетип? Рогатыми оказываются Пан у греков, Янус у римлян, Таммуз в Месопотамии, Озирис у египтян, Пашупати в Индии, рогами украшены алтари в Кносском дворце, гораздо более древние алтари Чатал-Хююка в Анатолии. Да и дьявол у христиан получил свои рога скорее всего ради осуждения именно этих языческих богов. Но если ввести детализацию, поле проявлений сузится. Это всё *бычьи рога* или *козьи рожки*. У народов Сибири и Севера Восточной Европы бог носил *лосиные рога*. Именно с такими рогами представлялся то ли бог, то ли его жрец в мезолите Севера, о чем свидетельствует погребение шамана в Оленеостровском могильнике. У головы покойного мужчины, погребенного с двумя женщинами по бокам, лежал жезл с изображением рогатой лосиной головы, возможно укрепленной на головном уборе (рис. 117).

Но если мы ограничим рассмотрение только антропоморфным образом с *оленьими рогами*, то получим сразу привязку к индоевропейцам. В некоторых местностях Британии до сих пор 18 октября отмечається языческий праздник Рогатого Бога, хозяина природы. В окрестностях Виндзорского леса его зовут Хэрни-Охотником, в Уэльсе – Ато, Рогатым Богом. На празднике мужчины расхаживают с оленьими рогами на голове. Божество это досталось Британии несомненно от кельтской мифологии, в которой важное место занимал бог Кернунн (или Цернунн) – “рогатый”, о котором сообщают римские авторы. Это был бог плодородия и плодовитости, Великий Отец, отворявший Врата Жизни и Смерти. А у кельтов Британия была окраиной, их ареал охватывал всю Центральную Европу – нынешние Францию, Швейцарию, Австрию, часть Германии, Польши.

В Дании, в торфяном болоте близ Гундеструпа, найден серебряный котел I века до н.э. с рельефными изображениями (рис. 118). Центральное место занимает антропоморфная человеческая фигура с оленьими рогами на голове, держащая в руках гривну (торквес) и змею с бараньей головой, а по бокам фигуры – дикие животные, самое большое из них – олень (рис. 119). Фигура – несомненно, Кернунн. На другом памятнике при таком изображении есть и латинская надпись, удостоверяющая имя (рис. 120). С этим кельтским богом в родстве хеттский бог провидения, стоящий на олене (изображение есть и на Крите – рис. 121). Как полагает Калверт Уоткинс, хеттское имя этого бога (Рунза, Рунта, Курунта) родственно кельтскому имени Кернунн. Поскольку хетты рано отделились от индоевропейского корня и не имели интенсивных контактов с кельтами, похоже, что в обе ветви индоевропейцев рогатый бог попал из общего источника – он может иметь общиндоевропейское происхождение.

В связь с этим можно поставить мезолитическое погребение из могильника Бёггебаккен близ Сёллерёд в Дании. Вытянутый мужской скелет покоился головой на разветвленных оленьих рогах (рис. 122 – Johansen 1989, fig. 3) – они явно были укреплены на голове.

Если рассматривать это как промежуточное звено, то можно углубиться в верхний палеолит, где в пещере Труа Фрер, изобилующей красочными изобра-



Рис. 117. 1 – “Жезл” с изображением головы лося из погр. 153 Оленеостровского могильника (Гурина, 1956, рис. 129); 2 – “Жезл” с изображением головы лося из погр. 56 Оленеостровского могильника (Гурина, 1956, рис. 130); 3 – Погребение “шамана” с жезлом и двумя жецинами (погр. 55-57) в Оленеостровском могильнике (Гурина, 1956, рис. 27).

жениями бизонов и других животных, в самом центральном месте подземного переплетения коридоров помещено изображение рогатого (рога оленьи) обнаженного человека с хвостом. Вначале оно толковалось как изображение колдуна в маске оленя и с накинутой шкурой. Но постепенно стало ясно, что хвост – не олений, а скорее лошадиный, глаза – круглые как у совы или льва, признаков накинутой шкуры нет, и это не человек, а монстр – существо, скомбинированное



Рис. 118. Серебряный сосуд из Гундеструпа, Датский археологический музей в Копенгагене (Konstam 2001).



Рис. 119. Бог Кернунн на сосуде из Гундеструпа, деталь (Konstam 2001).

из разных видов животных, со сверхестественными качествами, то есть бог (рис. 123). В пещере найдено еще одно изображение подобного существа, но с рогами бизона, гонящее бизона и оленя. Оно тоже вряд ли может толковаться как изо-

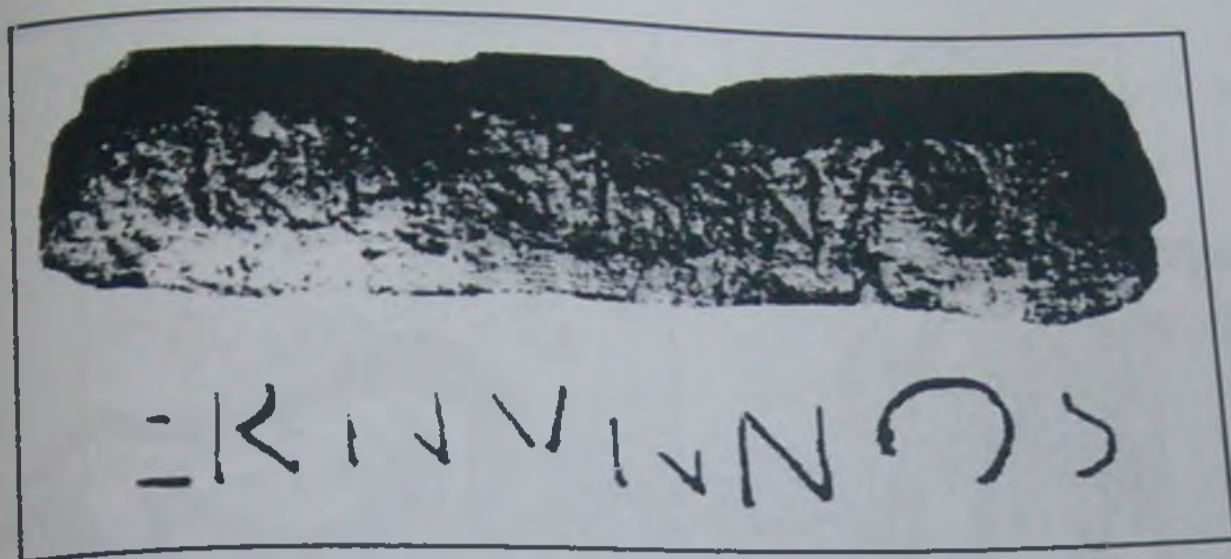


Рис. 120. Бог Кернунн на парижском алтаре (Watkins 1999, fig. 6).



Рис. 121. Хеттский бог Курунта на критском саркофаге из Армен (Hiller 1977).



Рис. 122. Погребение с оленьими рогами из Бёггебаккен, Дания (Johansen 1989, fig. 3).



Рис. 123. Рогатый бог из Труа Фрер по книге Л.Б. Вишняцкого (2005, рис. 5.28).

бражение человека, замаскированного под бизона: руки заканчиваются копытами, дыхание (или душа) исходит из передней части морды (рис 124). Центральное место пещеры стало рассматриваться Леруа-Гураном, Люке, Брёйлем, Филипповым и другими как Святилище Рогатого бога или Духа пещеры (рис. 125 – Филиппов 1991: 51-57, рис. 1).

Изображение человека с оленьими рогами и лошадиным хвостом гравировано и в Лурдской пещере (Франция).

Поскольку изображения пещеры Труа Фрер относят сейчас к финальному мадлену (ок. 13 000 лет до н.э.), то культу Рогатого Бога в Европе по меньшей мере 15 тысяч лет. С концом последнего оледенения ледниковое население Европы, отступавшее на север вместе с животными, на которых оно привыкло охотиться, сосредоточивалось на ее северных окраинах, сначала в Южной Скандинавии (мезолит Дании), а затем частью ушло на крайний север, где превратилось в ядро саамов (лопарей). Саамы на крайнем севере были ассимилированы пришельцами с востока – финно-уграми и другими, а их прежний язык стал субстратом (Шумкин



Рис. 124. “Минотавр” из Труа Фрер, по книге А.К. Филиппова (2004, рис. 82).

1991). Какая-то часть центральноевропейского населения, вероятно, не ушла на север, а приспособилась к новым условиям. Язык его стал индоевропейским, то ли будучи принесен с юга, то ли надвинувшись от близких соседей, то ли сформировавшись из местных корней. В местной культуре, как видим, нашлись немые остатки культа рогатого бога, а в саамском фольклоре можно найти “говорящие” пережитки поклонения богу с оленьими рогами. Это остатки мифологии – сказки о Мяндаше, полуолене-получеловеке.

В саамских сказках часто девушки выходят замуж за животных – ворона, нерпу, оленя, и рождаются детеныши. Но только с оленем брак оказывается счастливым. Муж, по имени Мяндаш, заботится о семье, возвращаясь с охоты, оборачивается красивым молодцем. Но он не выносит запаха мокрых шкур, служивших пеленками, и бежит в тундру, а за ним убегают дети-оленьята. Сказители верили в действительность этих событий и считали себя потомками жены оленя. Н.Н. Гурина (1991: 75-82) в Кольской экспедиции 1973 года обнаружила среди петроглифов Чалми-Варрэ, на месте бывшего поселка саамов, сцены рождения женщиной олененка (рис. 126 – Гурина 1991, илл. 8).

Таким образом, разновременные и рассеянные изображения связываются в один узел и каждое из них получает больше смысла, чем изучаемое вне этой связи.



Рис. 125. Место Святилища Рогатого бога в пещере Труа Фрер, по статье А.К. Филиппова (1991, рис. 1).

Я.А. Шер (2006: 191), оговорив, что без надписей и других дополнительных данных “абсолютно достоверная интерпретация древних изображений практически невозможна”, формулирует условия правдоподобного объяснения сюжетов (необходимые, хотя и недостаточные):

1. Нужно доказать, что все составляющие композицию рисунки были сделаны одновременно.
2. “Если объясняется сцена из нескольких изображений, то наиболее непротиворечивой можно считать ту интерпретацию, которая объясняет все ... изображения во взаимосвязи между собой”.
3. Надо четко отделять описание от объяснения.



Рис. 126. Рождение женщиной олененка, петроглиф Чалми-Варрэ по Н.Н. Гуриной (1991, илл. 8).

4. Требуются аналогии в иных изобразительных памятниках, а также в этнографических материалах, письменных источниках и фольклорных текстах.

За изобразительными сюжетами археологии, за образами пещерной живописи, петроглифов и портативного искусства стоит мифология древних культур. Поэтому интерпретация этих изображений, как и религиозных памятников (святилищ, алтарей, курильниц и погребений) сводится к реконструкции мифологических систем и входящих в них образов.

Анри Брёйль, сопоставляя палеолитические изображения с этнографическими данными Африки, Австралии и Полинезии, восстанавливал в основе этих изображений охотничью магию и соответствующую мифологию. Леруа-Гуран, возражая против наложения этнографических данных на палеолит Европы, строил структурное подобие тем же этнографическим данным по сексуальному осмыслению деления общества. В.В. Иванов и В.Н. Топоров, исходя из разрозненных индоевропейских фрагментов (поговорок, фразеологических оборотов, поверий, словоформ), то есть, двигаясь ретроспективно, сконструировали сеть

доказательств “Основной миф” праиндоевропейцев, в котором бог-громовержец побеждает злого демона, фигурируют супруга бога и дети его. Этот миф не находит никакого соответствия в изображениях и, видимо, фиктивен (см. Клейн 2004б: 58-65). Трудно сказать, какой миф был Основным у индоевропейцев, но несомненно, что миф о творении мира был к этому близок – как и у других народов.

С мифом о творении мира тесно связан миф о первочеловеке и его умирающей, то есть представление о загробном мире и переходе отсюда в мир иной. То есть всё обоснование погребального ритуала и обхождения с мертвыми. А это важнейшая часть археологического интереса. Яма в ведийской мифологии и есть умерший первочеловек и одновременно бог смерти. Выше много говорилось о социальных факторах, воздействующих на погребальный ритуал, что позволяет восстанавливать по характеру погребения социальные структуры общества и статус умершего.

Но степень отражения и его характер зависят от представлений хоронивших о загробном мире и вытекающих отсюда обязанностях по отношению к умершим.

Общие представления о загробном мире, что он есть и что умершие располагаются там, существуют во всех древних культурах с начала верхнего палеолита, а возможно, что какие-то зародыши этого были и в среднем палеолите (у неандертальцев – их намеренные погребения под вопросом).

Но как выглядел загробный мир? Где он располагался – в какой стороне света, за водой или за горами, на земле или под землей или на небе? Был он единым или деленным для разных категорий покойников? Все ли души покойных направляются туда или только некоторые? Будут ли они там вести такую же самую жизнь, как в этом мире, или совершенно иную? Ведь от этого зависит во многом облик погребения. Скажем, взять погребения ремесленников бронзового века – с инструментарием. Они есть далеко не во всех культурах, где имелось ремесло. В катакомбной есть, в срубной – нет. В тех, где есть погребения ремесленников, очевидно, что хоронившие были уверены: в загробном мире продолжается деятельность этого мира. А там, где при наличии ремесла нет выделенных погребений ремесленников, не было, значит, надобности брать орудия с собой в загробный мир – там представляется уже иная жизнь, не схожая с земной. Стало быть, отсутствие этого сопроводительного инвентаря говорит не о бедности, а только о характере ритуала и об особом загробном мире в представлениях, в мифологической системе.

Представлениями о загробном мире может определяться и ориентировка покойников, и послепохоронная судьба скелетов, и характер приношений, и перезахоронения и т.п. Загробный мир обладал в представлении многих культур чудесным свойством наделять побывавшего там и вернувшегося магическими способностями, что обуславливало проникновение в могилу соплеменников, а это нередко археологи путают с ограблением (Кузьмин 1991). Вообще посещение потустороннего мира рассматривалось как важная составляющая инициаций (Пропп 1948).

Мне представляется, что выявления древнейших мифов, основных и архетипных, можно ожидать от исследования распространенности мифов по всему миру (исследования типа тех, что ведутся Ю.Е. Березкиным) и от сопоставления результатов этого исследования с данными археологии палеолита и палеогенетики.

5. Специфика против архетипов. Выделение архетипов сопряжено с известным риском. Это риск ошибочно перенести на корни архетипа те смыслы, которые установлены для его ветвей в современности или близких к современности временах. Дело в том, что мы часто игнорируем органическое свойство культуры, особенно духовной. В ней форма и содержание непрочно связаны. Нередко смысл меняется без существенного изменения формы или форма меняется, наследуя ста-

рый смысл. Одни и те же формы происходят из разных источников (эквивиналитет, конвергенция), а один и тот же источник дает жизнь разным формам (дивергенция).

Возьмем археологию *масок* (Новикова 1991; Отрощенко и Пустовалов 1991). Для современного человека маска, личина – это элемент маскарада, актерства, сокрытие своего лица, выступание под личиной другого. Символ лицедейства. Археологи склонны в этом духе и рассматривать историю масок, в том числе и археологические ее проявления. Между тем такую маска была только с античного времени, особенно с римского.

А в более древнее и первобытное время маска – элемент погребения, особенно погребения знатных персон. Известны золотые маски египетских фараонов, микенских властителей. Более распространены глиняные маски – от катакомбных воинов бронзового века до тагарских и таштыкских вождей скифо-сарматского времени. И ведь многие исследователи упирают и тут на элемент лицедейства: погребальные игры с участием мертвеца, сохранение его лица для идентичности его участия и т.п.

Между тем нередко хоронившие ограничивались частью маски или вообще только закрытием глиной или другими веществами всех отверстий на голове покойного – глаз, уст, ушей и ноздрей. Ясно, что истинной первоначальной целью хоронивших было закупоривание смерти в теле покойного, чтобы в этом мире она уже не могла действовать. Но покойник оставался могущественной силой, предком-покровителем, только ему предстояло действовать из загробного мира. Потому далее над покойником в Египте (и видимо в других местах тоже) проводились специальные обряды, по которым его глаза, уста и уши отверзались, но условно, на маске, для деятельности в мире ином – в Египте зачитывалась “Книга отверзания уст” и т.д. Таким образом, маска имела совершенно другое значение. Она отделяла покойного от мира живых и давала ему новое лицо для обитания в мире мертвых.

Или взять те же “*зооморфные скипетры*” энеолита. Их объявили таковыми давно и единогласно, исходя из их внешнего подобия более поздним каменным боевым топорам, эстетической и смысловой нагрузки (голова коня) и редкости (Дергачев 2007). Между тем наверхиями скипетров они не могут быть уже потому, что не имеют проуха. Передняя часть у них заполирована для скольжения, а задняя оставлена шершавой для прочности удержания рукой. Голова коня почему-то с рогом. На этом основании я предположил, что изображена голова единорога. А единорог, по повериям, размножался именно этим рогом, и для удовлетворения ему нужна была непременно дева. Это побудило меня высказать гипотезу, что перед нами дефлораторы – инструменты для ритуальной дефлорации, то есть для инициации девушек, а единорог выступал как божество инициации у ряда индоевропейских народностей (Клейн 1990; 2010в).

Еще один сюжет с подобным сбоем аналогий – *совместные погребения* бронзового века в понто-каспийских степях. Вначале, в 30-е годы XX века, были

распространены представления о смене матриархата патриархатом, о подчинении женщины мужчине, именно в бронзовом веке. К тому же был хорошо известен из этнографии индоарийский обычай *сати* – добровольного, но обязательного погребения заживо (или убитой) жены на похоронах знатного мужа. В 70-е годы я обратил внимание на то, что в случаях, когда погребенные в этих совместных могилах лежат плотно один за спиной другого (как сложенные ложки, говорят англичане), мужчина лежит не на первом месте, как считалось до того, а наоборот – за спиной женщины, обнимая ее. Более того, не все совместные погребения лежат в этой позиции – есть и лицом друг к другу. И в ряде случаев совершенно ясно, что они лежат в эротической позиции – обнимая друг друга или еще более недвусмысленно. “В супружеских объятиях” – скромно называли эти случаи археологи встарь. Теперь стало ясно, что они лежат в супружеских объятиях все, только позы это разные, чего прежде археологи не представляли. Но теперь Камасутра стала популярным чтивом, а там и не такие позы представлены.

Теперь стало возможно связывать эти совместные погребения не со сравнительно поздним обычаем *сати*, а с древним обрядом *дикша*. По этому обряду близкий к смерти арий должен был позаботиться о том, чтобы с помощью жены или наложницы зачать тело для своей новой жизни, которая предстоит после смерти, то есть, чтобы обеспечить свое возрождение. Если по неожиданности или предсмертной слабости он не успевал совершить этот обряд при жизни, родственники стремились добыть женщину (жену или другую женщину), которая будет захоронена вместе с ним, дабы в могиле стать его возлюбленной супругой, сочетавшись с которой покойный зачнет свое новое тело (Клейн 1979б). *Сати* был просто пережитком этого старого обряда. Таким образом, не все подобные погребения отличаются от одиночных как захоронения патриархов или богатых, это могут быть просто не успевшие при жизни совершить предсмертную *дикшу*, а одиночные погребения мужчин могут быть просто погребениями тех, кто успел совершить *дикшу* при жизни.

Разумеется, это толкование действительно только в том случае, если считать доказанной идентификацию катакомбных культур бронзового века в причерноморских степях с прямыми предками индоариев, что я и отстаиваю (Клейн 1980а; 2010в: 163-219; Klejn 1984; 2009).

6. Ментальность и стиль. Если артефакты и всё, что с ними связано, – это материальная культура, то идеи и их формирование – это духовная культура. Духовная культура разных эпох – это то, что в политическом плане получило название *идеологии*. То есть это та часть духовной культуры, которая важна для отстаивания политической позиции. В плане же повседневного бытия, попавшего под объектив науки лишь недавно, духовная культура как психическая активность – это *менталитет* или *ментальность*. Лат. *mens* – ум, менталитет, ментальность по словообразованию – мышление, мыслительная деятельность. Культуру вообще изучает культурная антропология, историю ментальностей – историческая антро-

пология. Археология реконструкцией ментальности не занималась, но, по-видимому, эта формулировка войдет в ее обиход.

Ментальность введена в научную практику школой “Анналов” во Франции, в России ее пропагандировали историк средневековья А.Я. Гуревич и его ученики. Школа Анналов (первое поколение – Люсьен Февр и Марк Блок) выступила против академической истории, расчленявшей человека на разные сферы деятельности и изучавшей каждую сферу сепаратно. Они призывали изучать человека как целое, в комплексе его жизненных проявлений. Этот антропологический подход, помноженный на интерес к социальным структурам, сближал эту школу со структурализмом.

“Выясняя собственный стиль Рабле или Лютера. – писал Гуревич, – Февр намерен распознать в нем стиль эпохи. Поэтому он стремится воссоздать вокруг великого человека ту историческую атмосферу, в которой формировались его взгляды. Не «герой делает эпоху», но эпоха делает героя, и ее нужно прочитать в текстах, им оставленных. По выражению исследователя мысли Февра, «круг определяет центр», и те же Рабле и Лютер – не «герои эпохи», а ее «герольды»”... (1993: 45-51).

В этом описании подхода Февра видна связь ментальности со стилем. Продолжая описание, Гуревич пишет:

“...историк должен стремиться к тому, чтобы обнаружить те мыслительные процедуры, способы мировосприятия, привычки сознания, которые были присущи людям данной эпохи и о которых сами эти люди могли и не отдавать себе ясного отчета, применяя их как бы «автоматически», не рассуждая о них, а потому и не подвергая их критике. ... История высказываний великих идей потеснена историей потаенных мыслительных структур, которые присущи всем членам данного общества. ... Очевидно, для этого необходимо ... самым внимательным образом исследовать словарь того времени, равно как и присущие этим людям символы и ритуалы... Нужно заставить говорить немые вещи... В этой связи Февр вводит важное понятие «духовного оснащения» (outillage mental)”.

Тут просматривается родство этого направления с археологией: она-то как раз выясняет, какие именно “немые вещи” стоят за “духовным оснащением”.

Второе поколение школы “Анналов” увлеклось демографией, социальной и особенно (в лице Фернана Броделя) экономической историей. Третье поколение подвергло его критике за схематизм и “обесчеловеченность” и, дабы преодолеть ее, обратилось к ментальной сфере, причем не к логике и официальным речениям, а к народной культуре, полусознанным представлениям, молчаливо признаваемым нормам поведения и коллективным ценностям – тому, что определяет поведение и быт обычных людей. Они прослеживали, как изменяется обыденное сознание и основанные на нем матрицы поведения. Вот ментальность и стала термином, охватывающим все эти явления.

В 60-х – 80-х годах XX века во Франции выходило много статей этого поколения ученых, а в 1987 в Германии вышел сборник, собранный из этих статей, под

редакцией Ульриха Раульфа и названный "История ментальностей. К реконструкции духовных процессов" (Rauff 1987). Эти историки реконструировали духовные процессы по шведским источникам и записям устных разговоров (пыточные записи, судебные протоколы и т.п.). А в 1996 в России ученики Гуревича издали реферативный сборник "История ментальностей", где пересказали многие эти и другие статьи.

В статье Ж.Ле Гоффа, открывающей этот сборник, он писал (цитирую по реферату Е.М. Михиной):

"Ментальность разнородна. Возникшие вчера представления уживаются в ней с фрагментами древнего магического сознания. Ведь инерционность свойственна духу еще больше, чем материи. Люди, создающие машины, непостижимым образом несут в себе сознание ремесленников; водители автомобилей недалеко ушли от тех, кто ездил верхом, а фабриканты XIX в. сильно напоминают крестьян, которыми были их отцы и дети. «История ментальностей есть история замедлений» (с. 23)" (Михина 1996: 41).

Очевидно, что эти переживания древнего сознания также являются материалом для реконструкций. Но для археологов основной материал — следы поведения первобытного и древнего населения, в которых можно выявить матрицы поведения, обусловленные нормами и ценностями, которые являлись не часто формулируемыми, но глубоко укорененными идеями. Такую идею археологи могут по этим следам выявить и сформулировать.

Так, древняя функция маски предполагает принятие мифологического загробного мира как сугубой реальности, имеющей четкую локализацию и строгие правила вхождения и обитания. Туда можно путешествовать и оттуда возвращаться. Даже нынешние верующие за редкими исключениями не представляют себе мир иной столь реальным. Единственную аналогию загробному миру прошлого по действенности и реальности мог бы составить виртуальный мир Интернета.

Интерпретация "зооморфных скипетров" как дефлораторов предполагает гораздо более сильную власть "обрядов перехода" в частности инициаций юношества, чем ныне, и гораздо меньшее понимание половых особенностей женщин, чем ныне, а также представление о монстрах типа Единорога как о действующих существах. Впрочем, кое-где обычай дефлорации дожил до современности (что и дало возможность интерпретации), а аналогичные обряды относительно юношей (обрезание) существуют достаточно широко. А о реальности сказочных существ нам должны напомнить поиски Снежного человека, йэти, которые опираются на свидетельства очевидцев — былички о лешем и подобные, которых пруд пруди!

Реконструкция посмертного следования обряду ликиши предполагает в далеком прошлом безусловный патриархат (только зачатие нового тела мужчины считается необходимым, женщина — лишь средство для этого). Кроме того, предполагается весьма раннее проявление идеи реинкарнации душ.

Можно также припомнить наблюдение старого археолога в советское время: в мусорных ямах населения Саркела (Белой Вежи) он обнаружил чередование прослоек костей рыбы и костей скота и реконструировал непреклонное чередование трапез: пост – мясоед – пост – мясоед. Чередование, на которое молодые археологи в советское время не обратили внимания: тогда это был отживший обычай.

Приведение примеров реконструкции ментальности по археологическим следам можно было бы и продолжить. Но есть смысл выделить целую категорию таких следов, объединенных общими качествами и почти не рассматривавшихся совокупно в этом плане. В археологии они фигурируют под обозначением “*стиль*”.

Одна из последних книг о том, что такое стиль, – книга проф. Е.Н. Устюговой “Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля” (2003), вышедшая в издательстве С.-Петербургского университета. Автор книги – философ, специалист по эстетике, одна из лучших учениц знаменитого искусствоведа М.С. Каганя. Она, несомненно, в курсе основных дебатов о стиле и вообще обладает высокой квалификацией. Тем не менее, при чтении книги вспоминается замечание Эйнштейна о философской литературе: “Вроде бы жуешь, жуешь, а проглотить нечего”.

Ни в начале исследования, ни в его завершении нет определения, что же такое стиль. Поэтому нет уверенности, что речь всё время идет об одном и том же.

В начале книги автор приводит ряд наличных определений стиля (“имманентная, спонтанная интенция сознания”, “анонимная нормативная власть всеобщности формы”, “экзистенциальное самоосуществление индивидуальности” и т.д. – с. 4), без указаний на преимущества или справедливость того или другого. Многие из этих трактовок – вообще не определения, а оценки, предположения о функциях, метафоры.

“С середины XX века, – пишет Устюгова, – круг трактовок стиля практически не пополняется радикально новыми толкованиями, вместе с тем складывается впечатление исчерпанности эвристического потенциала традиционных подходов...”. По мнению исследовательницы, наблюдается “кризис в исследовании стиля”, усугубляемый тем, что современная культурная практика поставила “под сомнение возможность любых форм устойчивости и определенности, с которыми так или иначе были связаны все традиционные трактовки стиля” (2003: 4, 65).

Имеется в виду постмодернизм. Работы многих других современных исследователей мало отличаются от книги Устюговой. Поэтому ее книга типична, и на этом примере можно рассмотреть проблему.

Определить понятие стиля Устюгова считает вообще невозможным:

“Первая методологическая предпосылка к теории стиля – отказ от однозначных, окончательных формулировок и жестких логических схем. Опыт предшествующих исследований убеждает, что стиль – особый феномен культуры. Он очевиден и в то же время трудноуловим. За его демонстративностью скрыты сложные механизмы культуры, не поддающиеся схематическому упорядочиванию. В адекватно-

сти любого представления или суждения о стиле невозможно удостоверить... Не заключенный в рамки какого-то конкретного содержания, стиль принадлежит «между сферами», он есть переходность, определенность, ускользающая от разоблачения. Найти однозначную формулу сущности стиля, по-видимому, столь же безнадежно, как и сформулировать сущность красоты» (2003: 133).

“Сущность” красоты, быть может, и безнадежно фиксировать, поскольку представления о красоте меняются от эпохи к эпохе и от человека к человеку, а вот понятие красоты у всех одно, поэтому, говоря о ней, люди понимают друг друга.

Исследовательница рассмотрела историю понятия “стиль” в ряде отраслей знания – в риторике, лингвистике, психологии, социологии, культурологии, науковедении, искусствоведении и эстетике, а также в философии этих отраслей – и пришла к выводу, что “ни в одной из дисциплин, употребляющих это понятие и изучающих его, нет достаточных оснований для всестороннего определения сущности этого феномена” (Устюгова 2003: 62). Из этого она сделала заключение о необходимости междисциплинарного исследования для построения теории стиля. Вопрос, однако, в том, кто и какими методами будет проводить это исследование. Для автора книги представляется самоочевидным, что вопрос должен решаться в рамках философии и ее методами. По крайней мере, так она и поступает. Мне это решение представляется сомнительным. Сумма положительных или отрицательных результатов исследований в разных науках не образует базу для философии, а философия – не методология для междисциплинарных исследований. На стыках наук и на обобщении частных позитивных наук возникли особые позитивные науки (семантика, информатика, кибернетика, культурология). Стиль – предмет для такой позитивной науки.

Но и в частных науках возможности научного определения понятия “стиль” далеко не исчерпаны. Кстати среди наук, в которых это понятие разрабатывалось, в книге Устюговой совершенно отсутствует археология. А между тем она многими историографами выводится от того же “отца”, который считается основоположником (или одним из основоположников) истории искусства и искусствоведения – Винкельмана, а он усердно разрабатывал именно понятие стиля и эпохальных стилей. Именно его ученики противопоставили Бюффоновскому афоризму “стиль – это человек” девиз “стиль – это эпоха”. За ними лидер археологии XIX века Софус Мюллер называл свои периоды бронзового века “стилевыми”. Шухардт, Крёбер и другие крупные археологи выдвигали свои трактовки роли и природы стиля в археологии. По выражению Роберта Даннела, ряд обстоятельств “сделали стиль коньком археологов” (Dunnell 1978: 199).

Возможно, из-за “вещности” своего предмета, артефактов и памятников, археология интенсивно разрабатывала именно то формальное, морфологическое или типологическое определение стиля, которому в искусствоведении советской научной традиции уделялось наименьшее внимание (советские искусствоведы даже пытались подменить понятие стиля понятием “творческий художественный метод”). Тех же, кто стремился изучать явления формы, припечатывали клеймом

“формалиста”, при чем не только искусствоведов. В число “формалистов” попал и мой учитель фольклорист проф. В. Я. Пропп, один из основателей русской семиотики. Между тем и в книге Устиговой проскальзывают чуждые ее автору идеи: “В риторических трактатах стиль предстает как качество формы, отвлеченной от содержания”. По мнению античных авторов, “стиль – формальная сторона поэзии” (2003: 9, 52).

Да и как можно изучать содержание, если не через форму? Разве что через Бога или кантовские априорные формы сознания.

В пропповском смысле я тоже формалист. В своей монографии “Археологическая типология” я стремился найти прежде всего формальное определение понятий типологии, к которым относится и “стиль” (в той книге тл. VIII, разд. 5). С формальной стороны стиль – это, прежде всего, устойчивая (повторяющаяся) совокупность материальных элементов – признаков.

В своих работах по изучению петроглифов и в теоретических работах Я.А. Шер дает очень остроумную трактовку художественного языка петроглифов. Он подметил, что изображения разных животных выполняются у мастеров одного стиля очень схоже, различаясь только опознавательными деталями – рогами, хвостом, пастью. Это “содержательные” компоненты образа, они определяют, что изображено. А, скажем, тулово у всех одно и то же. Эту неизменяемую в данном стиле основу Шер назвал “иконическим инвариантом”, “изобразительным инвариантом” изображений. В пример приведены разные животные “битреугольного” стиля из Саймалы-Таш (тулово изображено в виде двух треугольников, соединенных вершинами (рис. 127). А вот разные животные скифского времени из



Рис. 127. Петроглифы Саймалы-Таш: разные животные (козел, бык, лошадь, хищник) изображены средствами одного изобразительного “языка” – в одном стиле. По Шеру 1980, рис. 1.

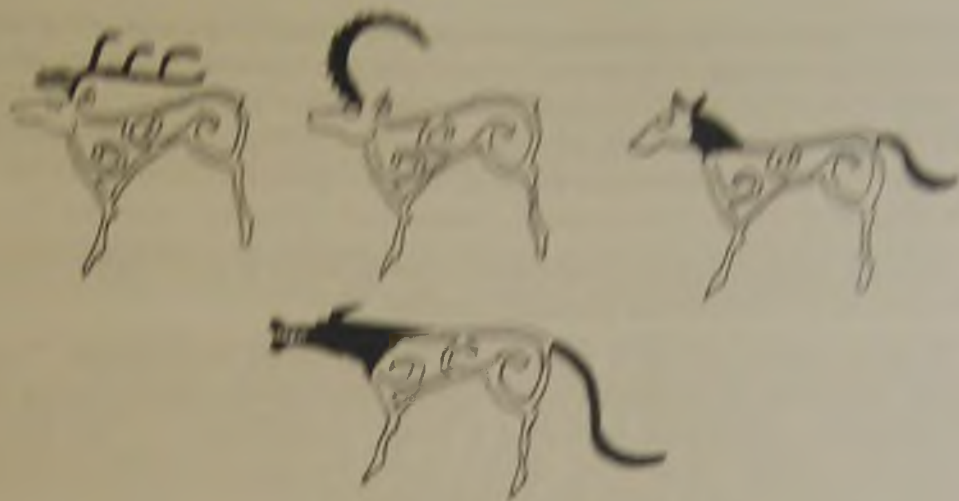


Рис. 128. Петроглифы Усть-Туба III (4). Образы разных животных складываются в результате замены содержательных элементов при сохранении основных формальных и образительных инвариант. По Шеру 1989, рис. 3.

Усть-Туба III – у них другое тулово (рис. 128). Изменения тут идут лишь от стиля к стилю и определяют не содержание, а художественную форму образа. Вот эти формальные инварианты и определяют стиль, являются “стилистическими элементами”.

Шер придает столь основополагающее значение этому объяснению сути стиля, что повторяет его неоднократно – оно есть в совместной работе Шера с Каменецким и Маршавом (Каменецкий и др. 1975: 62-71, рис. 20), в монографии о петроглифах Средней и Центральной Азии (Шер 1989: 32-43), в совместном учебнике с Мартыновым (Мартынов и Шер 1989: 171-173; 2002: 183-184).

Тут всё очень наглядно, и определение стиля близко к доминирующему в археологии, но изложение несколько грубовато и потому не вполне адекватно. Дело в том, что если взглянуть на рога и хвосты, то есть на “содержательные” детали, “содержательные” компоненты образа, то можно увидеть, что они тоже неодинаковы от стиля к стилю, тоже несут и стилистическую нагрузку. А лапы то одинаковы (оказываются формальными инвариантами), то нет (оказываются “содержательными”). Всё это означает лишь одно: что деление на содержательные и формальные элементы вернее было бы производить не на уровне крупных деталей образа, крупных компонентов (тулово, лапы, хвосты и т.п.), а на уровне именно элементов – признаков (таких, как битреугольность тулова, его заполненность завитками отходящими от контура, зубчатость рогов, примыкает глаз к контуру головы или нет, и т.п.).

Мы возвращаемся к тому, что с точки зрения типологической стиль – это совокупность признаков.

Но таковы же и некоторые другие типологические понятия – “класс”, “тип”, в археологии также “категория”. Чем же от них отличается “стиль”? Различение, основанное на причастности к форме, а не содержанию, в основном верно, но очень расплывчато. Что относить к форме, а что к содержанию? Если прибегнуть к понятиям семиотики и сказать, что стиль связан с планом выражения, а не содержания – именно это говорит Шер (1980: 41-42), – то что принимается за знак? Стиль и сам может считаться знаком и как таковой может иметь содержание (этническое, религиозное, социальное).

Крупнейший английский археолог Грэйем Кларк подметил, что стилевыми мы называем те коллективные вариации форм, которые обусловлены свободой выбора и контактами, а не экологическими и экономическими факторами (Clark 1957: 169). Далее ряд американских археологов (Бинфорд, Сэкетт, Елинек, Даннел) установил фундаментальную оппозицию *функция/стиль*.

Суммируя все эти соображения, я определил стиль структурно с точки зрения археолога как устойчивую ассоциацию признаков, связанных не по функциональным особенностям (имеющим приспособительное значение), а по особенностям, определяемым случайностью, произвольным выбором, контактами и традицией (Клейн 1991а: 162-163). Разумеется, на формировании стиля сказываются факторы, *ограничивающие случайность и направляющие выбор*. Это факторы социально-экономические, исторические, географические, в некоторой мере и биологические (темперамент и проч.). Все вместе они воздействуют на социальную психологию и через нее определяют общие детерминанты стиля.

А как же “стиль – это человек”? Стиль индивидуален лишь в той мере, в какой в поведении и творчестве человека тоже есть повторяющиеся элементы, не обусловленные прямо его приспособительными, жизненными интересами, а произвольно выбранные им. Если они не повторяются, то стиля нет. Если они повторяются не у одного человека, это не индивидуальный стиль. Если они не произвольны, не свободно выбраны, а неизбежны, это не стиль.

При таком понимании стиля ясно, что он материально хорошо выражен и, когда речь о стиле глубокого прошлого, доступен археологической фиксации. А коль скоро в нем сказываются разные факторы, действующие через социальную психологию, то есть через ментальность, то по его материально выраженному составу и конфигурации можно с большой степенью вероятности реконструировать ту ментальность, которая их и определила.

Рассмотрим для примера феномен “первобытного барокко”.

С наступлением бронзового века равенство, простота нравов, спартанская ограниченность потребностей, характерные для поздненеолитических племен Центральной и Восточной Европы, отошли в прошлое. Эти племена чаще снимались со своих мест и двигались на поиски новых пастбищ для первого растущего и отчуждаемого богатства – скота. Они тянулись к Средиземному морю и Кавказу

навстречу второму богатству – металлу, все больше прибегая для достижения своих целей к войне, вступали в новые контакты, многое заимствовали. Эти пастушеские племена действительно добились условий, в которых их богатства резко возросли. Но, возрастая, доставались не всем поровну. Такова природа богатств: будучи излишками, они способны отчуждаться и разделяться, утрачиваться и накопляться, таять и концентрироваться, особенно в условиях военной активности.

В бронзовом веке мы застаем это население уже вкусившим от древа познания добра и зла, расколотым на богатых и бедных. Имущественная дифференциация четко прослеживается в катакомбных могилах на Донце, при чем в самых богатых могилах оказываются и символы власти – кремневые наконечники стрел (они выполняли такую функцию и позже у многих кочевых народов) (Klejn 1967). Богатство стало общественным идеалом, главным мерилom добродетели. Его урывали в собственное владение, им хвастались, с ним не расставались и в могиле, унося хотя бы часть на тот свет. Те, кто могли, выкладывали в могиле, словно напоказ, обильные излишки. Менее состоятельные старались, соблюдая достоинство, создать видимость того же, складывая обломки и маскируя недостаточность. Совсем бедные пытались создать иллюзию щедрого богатства хотя бы тем, что им было по силам – в мясной пище и глиняной посуде. Все стремились стать богатыми, все им подражали.

Общественные идеалы, формируемые верхами общества, в силу самого положения этих верхов навязывались всему обществу. Это обычная картина для всех раннеклассовых обществ, и она пережиточно удерживается долго. Крепостного жениха в России при венчании величали князем. Царский титул “государь” постепенно опускался до названия каждого феодала “осударем” пока не превращался в почтительное обращение к любому встречному “сударь”, и, наконец, в приставку вежливости “-с”: “да-с!”.

Таковы социальные сдвиги, которые позволяют понять некоторые отличия искусства бронзового века от неолитического, понять направленность развития, преобразования в орнаменте керамики, да и не только в орнаменте, но и в ее формах, и не только керамики, но и других вещей. Это был новый стиль. В его основе – новые эстетические идеалы, а в них отражены новые социальные устремления.

Это стиль, названный археологами XIX века “первобытным барокко”.

Самые яркие реализации этих новых идеалов в прикладном искусстве дает новая фракция материальной культуры (самая передовая, самая свободная от консерватизма традиций) – металл. Новые тенденции быстро развиваются в нем и ко времени северокавказской культуры (II тыс. до н.э.) достигают пышного расцвета. Украшения, отливаемые из бронзы, становятся все более крупными, все более рельефными.

На Кавказе разработана особая техника отливки – по восковой модели: модель облепляют глиной, при обжиге глина твердеет, а воск вытапливается, и

на его место заливает металл. Эта техника, требующая индивидуальной модели для каждого изделия, позволяет легко добиваться вычурных форм и рельефного декора: его выкладывают на модели из пропитанного воском шнура. Этим достигается эффект прямого утяжеления вещи, умножения вложенного труда (вырезать на кости или вышить на ткани такой узор потребовало бы уйму времени). Булавки, носимые в прическе, украшаются таким рельефом по всей поверхности – и головки, и тела.

Двухспиральные и молоточковидные булавки постепенно усложняются: молоточек удлинняется и утяжеляется, на него "навешивают" гирлянды, на иглу сдвигаются бусы и шпильки. Булавки вначале соответствовали по величине своему функциональному назначению, – удерживать прическу или украшать ее и служить аксессуаром, затем выдвигают до гигантских размеров (рис. 129) – более полуметра в длину (ср. 60 см), толщина стержня более 1 см, перекладина длиной в 9 см. Некоторые археологи даже отказывались признавать их булавками – считали шампуры, т.е. серпами для поджаривания мяса, но положение их в могилах у черепи молоточком давало их функцию булавок. Конечно, такие вещи становились существенно неудобными для практического использования, зато наглядно подчеркивали богатство владельца и его претензии на высокий социальный статус.

Такая же гигантомания владела в это время и умами обитателей Центральной Европы. Через весь бронзовый век – от периода к периоду – там прослеживается постепенное увеличение в размерах фибул (застежек), тутулов (выпуклых закругленных блях), поясных пряжек. Фибула, вначале соизмеримая с современной английской булавкой, к пятому периоду бронзового века Монтелиуса достигает размера плеча человека, тутул закрывает почти всю грудь и его шип торчит вперед на десятки сантиметров, а поясная пряжка в форме коробочки становится размером с добрую миску. Общий вес женского убора достигает нескольких пудов, и полагают, что носить такой убор было немислимо – он предназначался только для могилы. На Кавказе также встречаются могилы, буквально заваленные бронзовыми изделиями.

Иначе обстояло дело в степи. Поначалу использовали импортированные с Северного Кавказа готовые изделия, а затем было налажено собственное производство из привозного металла. Здесь металлические пронизи, свернутые из медных пластинок и из спиральных проволочек, представляли собой редкую роскошь. Они тиражировались в дешевом местном материале – кости. Получились костяные пронизи со спиральными нарезками, доступные уже многим.

Бронзовые молоточковидные булавки чем дальше от Кавказа, тем дороже ценились. На Украине их имитировали в местном более дешевом материале – в оленьем роге – и носили в подражание тем немногим счастливым, которые могли себе позволить носить настоящую металлическую булавку. Ось с двумя колесами сжалась и превратилась в молоточковидную структуру. Эти молоточки становились все более кургузыми, но в роге старались передать даже утроение молоточка.

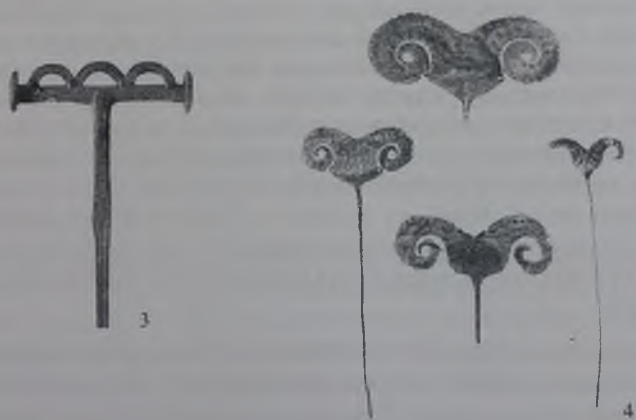
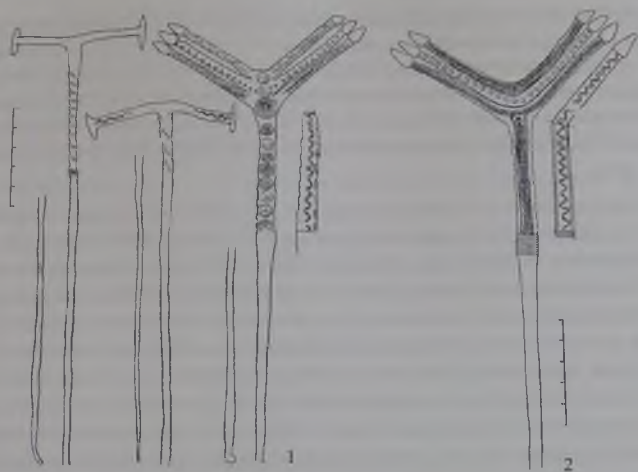


Рис. 129. Двуспиральные и молоточковидные булавки гигантских размеров (Деген-Ковалевский 1941, рис. 37, 1-3, 38, 1, табл. XVI, 1а; Крупнов 1951, рис. 20).

Постепенно вырабатывались собственные формы таких булавок, более подходящие к качествам нового материала, новым функциям и новым вкусам. На Кавказе булавки носили в прическе – как было принято на всем Древнем Востоке – в могилах там булавка обычно оказывается у затылка. Степняки видимо не делали таких причесок и не нуждались в головных булавках. У них булавка применялась

как подвеска, украшение или амулет и укреплялась на конце длинного шнура с пронизями, свешенного на грудь – в таком положении ее и находят в могилах. И здесь люди не упускали возможности щегольнуть этой дешевой (модернизируя, можно было бы сказать, фальшивой) драгоценностью и, возможно, умножить ее магическое действие: в одном случае в Предкавказье на груди ребенка оказалась целая связка – пять булавок, в другом – четыре десятка!

Булавки становятся толще, значительно короче и с более разработанным рельефом головки: головка укрупняется, сверху возникают два бугорка, на обушках молоточка – дополнительные шишечки (рис. 130). Это чистое украшательство. Такие кургузые булавки с как бы наклепанными одна на другую украшательскими деталями, конечно, уже совершенно непригодны для скрепления прически или еще чего-либо, но эффектнее в качестве украшений: лучше выделяются, их тяжеловатые рельефные детали именно своей ненужностью создают желаемый эффект – впечатление щедрой роскоши. У иностранных исследователей эти булавки получили прозвище “барочных”. Конечно, такой перенос терминов не очень корректен – сопряжен с риском модернизаторского смещения и смешения понятий. И если уж проводить такие дальние аналогии, то почему взято именно барокко, а не ампи́р?

Тем не менее, какая-то переключка с историческим барокко (да и с ампи́ром) налицо. Роднит вычурность форм с гипертрофированными деталями, похожа рельефная разработка поверхностей, вроде та же перегрузка орнаментом, те же стремления придать вещам великолепию, пышность, парадность, та же тяга к необычному, грандиозному, стремление поразить. Что-то тут есть и от ампи́ра.

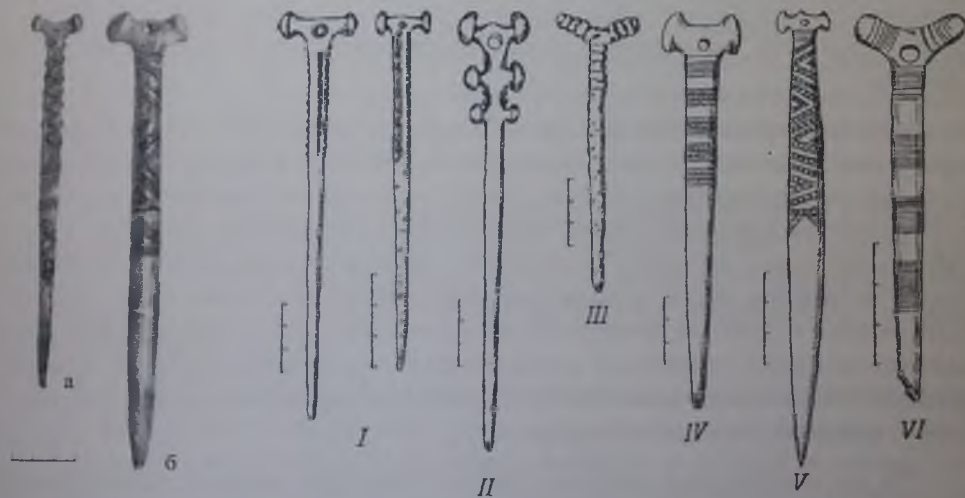


Рис. 130. Степные молоточковидные булавки из бронзы (а) и рога (б): Летническое, курн. 2, погр. 2; булавки из Предкавказья: первые четыре бронзовые, остальные роговые – по Латынину 1966, рис. 34 и 66.

Это показывает, что нельзя слишком прямолинейно, жестко и упрощенно связывать явления искусства с классовыми силами и эпохами: целые комплексы явлений искусства могут повторяться в совершенно новой социальной среде и наполняться разным историческим и классовым содержанием – как и получилось с комплексом “барочно-ампирных” признаков и представлений в искусстве бронзового века и нового времени.

В основе этой переклички эпох лежало сходство эстетических задач: в обоих случаях искусство подсознательно преследовало цели передать уважение к богатству, преклонение перед теми, кто в данном обществе владеет богатством. Но этим, пожалуй, сходство и ограничивается.

За этой простой идеей в барокко и ампиры нового времени стояли гораздо более сложные задачи. Всё было нацелено на то, чтобы ореолом блеска и великолепия поднять на недостижимую высоту над народом тех, кто воплощал в себе силу и власть класса, владевшего основными богатствами страны – цвет дворянства, нуворишей, верхи абсолютной монархии. Одновременно это были слои, возглавлявшие национальное объединение, поэтому их идеализация получала оттенок воспитания национальной гордости. Реализация “социальной дистанции” и возвеличение национальных центров – вот стимулы исторического барокко. Да и возможности его несравнимо богаче. Отсюда огромные отличия от “первобытного барокко” – в размахе, в многообразии видов искусства (архитектура, репрезентативный портрет и проч.), в реквизите форм, в техническом совершенстве и т.д.

Разумеется, в барокко эпохи борьбы Реформации с Контрреформацией сказалась и новая социальная психология эпохи – уход от строгих норм классицизма, от прямолинейности и симметрии, так подходившим к прежней выверенной и догматичной идеологии, готовность к неожиданным поворотам, к гнутым линиям, к контрастам.

У “первобытного барокко” иная, более простая идейная основа: поднимающееся к власти богатство, еще не вполне отделившееся от народа (это искусство масс) и еще не научившееся стыдиться своей примитивной животной жадности. Все это искусство пронизано наивно откровенной моралью: Быть богатым – хорошо! Иметь излишки – хорошо! Смотрите все: у меня всего вдоволь – даже того, что я не могу потребить, вещей, которые мне практически не нужны; я могу себе позволить иметь и то, что мне не нужно. Всё жирное, обильное, тяжелое, чрезмерное, намеренно ненужное становился привлекательным и красивым. Соответственно утрачивает эстетическую ценность все строгое, ограниченное, легкое, стройное, изящное, практически целесообразное.

Те же эстетические критерии стояли у колыбели нового стиля керамики – катакомбного “рамочного стиля” (*Rahmenstil*). Это наиболее изысканная разновидность “первобытного барокко”. На Донце в этом стиле выполнены основные виды керамики, в Предкавказье – только культовые сосуды – так называемые курильницы.

Орнамент становится тяжеловесным, пышным, нарядным и, так сказать, откровенно орнаментальным, утрачивая характерную для позднего неолита выдержанность, строгость и функциональность (повторение обвязки сосуда шнуром). На курительницах он заходит на бортик сосуда, на внутреннюю поверхность и на дно. Везде, где возможно, усиливается рельефность узоров. Валики, насечки, ямки, выпуклины, ребра делают орнамент тяжеловесным и массивным (это выглядит богато).

Заимствованная у дунайского населения тесьма, естественно, пришлась создателям этого стиля по вкусу: она пышнее и богаче, чем шнур, – и рамы круглых щитов, лопастей, ромбов и прямоугольников выводятся из 5-, 6- и 7-рядной тесьмы. Они повторяются многократно, щедро, одна в другой (пригодился еще один заимствованный мотив – глазчатый: концентрические круги) и густо заполняются, буквально

Набиваются всякой начинкой, на которую годилось всё, что броско и вычурно: гусенички штампа, циркульные отпечатки торца трубочки, свернутые из веревочки тугие спиральки и прочее, чем больше и разнообразнее – тем лучше. Но нельзя, чтобы каждого элемента было по одному образцу: это бедно. Каждого надо дать по много, повторы подчеркнут обилие и богатство. Рамы тем и хороши, что выделяют это обилие, сосредоточивают на нем внимание зрителя.

Предпочитается сгущение узоров в верхних частях сосуда: перевешивая, они создают композиционный эффект перегрузки, тяжести, обилия, великолепия.

Но пустое пространство за рамками тревожит авторов: не покажется ли бедным? И начинка перехлестывает через край – бахромой располагается у внешнего края рамки и у сгибов сосуда (бахрома создает дополнительный эффект пышности), просто разбегается по свободному полю. Появляется боязнь пустоты (*hoopog vacui*). Нередко орнамент покрывает поверхность сплошь. Всякому должно быть видно, что в украшение сосуда вложен большой труд, много труда, что времени и усилий не пожалели. Сосуд старательно превращают в ценность, в самодовлеющее скопище затрат времени и усилий (рис. 131).

Соответственно новым эстетическим критериям изменятся и формы посуды. Горшки становятся приземистее, грузнее, монументальнее. Широкое устойчивое дно, раздутые бока, укороченные шейки отличают их от прежних стройных шнуровых кубков. Те на новый вкус были бы чересчур легковесными и тонкими, попросту невзрачными.

Новые эстетические критерии проявляются не только в керамике. Теперь понятными становятся и перемены, произошедшие с боевыми топорами – оружием, которое всегда было предметом заботы, ревнивых эстетических оценок, и потому подвержено веяниям моды. Топоры стали более короткими, кургузыми, аляповатыми по сравнению с более ранними прототипами. Создавались условия для разработки новых моделей – перегруженных рельефными украшениями, вычурных и дорогих (рис. 132). А. Европеус именует их “роскошными” (“Prachtäxte”).



Рис. 131. Катакомбная керамика “барочного” стиля (Попова, 1955, табл. II).

Было бы, однако, неправильно характеризовать “первобытное барокко” отрицательными с точки зрения современного человека эпитетами. Отталкивающими, непривлекательными для нас были лишь его ведущие стимулы. Но во все времена кое-что значил и талант художника, сказывалось накопление и совершенствование мастерства. Те творцы, которые обладали чувством меры и умели подняться над слишком прямым и слепым выполнением “социального заказа”, создавали и в русле принципов “первобытного барокко” произведения, имеющие непреходящую эстетическую ценность, – красивые и на взгляд современного человека.

Дело еще и в том, что в идеалах творцов “первобытного барокко” была также и общечеловеческая сторона – было то, что и в наши дни способно вызывать симпатию. Вдумаемся в исторический смысл того накопления богатств и выделения верхушки, которое вызвало к жизни новую струю в орнаментальном искусстве. Впервые человек (пусть в лице немногих) поднялся над убожеством минимального удовлетворения самых примитивных нужд, впервые вздохнул вольготнее, получив (хоть и за счет других) свободное время для мышления и творчества, не связанных непосредственно с удовлетворением элементарных потребностей, – это был подъем еще на один этаж выше над животным состоянием.

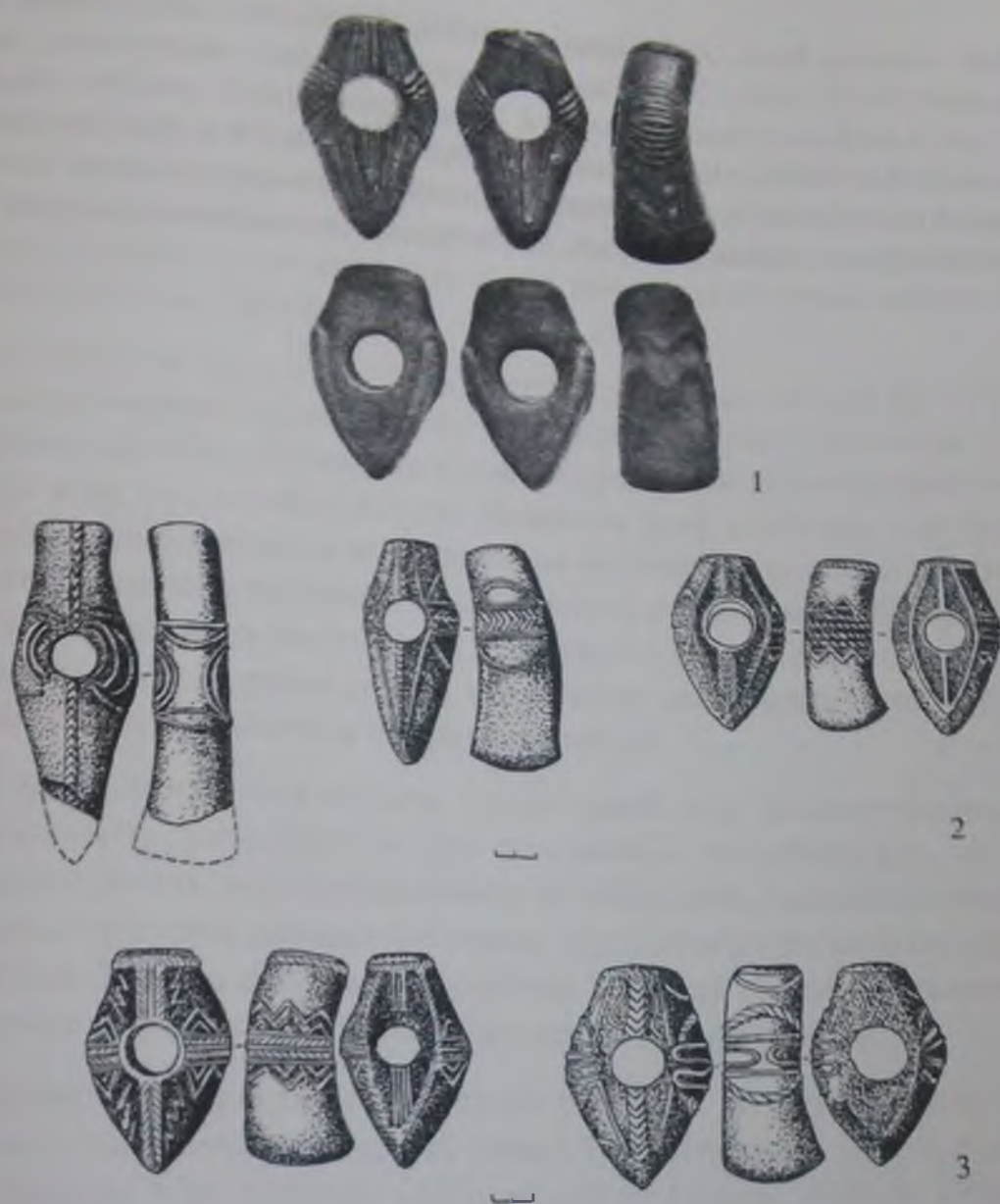


Рис. 132. Катакомбные “роскошные” боевые топоры-молоты (Попова 1955, табл IV; Пустовалов 2005, рис. 3.1 – 2, 4, 5; 3.2 – 1, 6).

И мастера керамики со всей свежестью и непосредственностью выражают в доступных им формах (в керамической орнаментации) общечеловеческие чувства: удовлетворение от обилия, счастье обладания, радость поиска и нахождения ритма, пропорций, упоение властью над природой и материалом. Это искусство, при всей его грубости, сочное, живое и сильное.

Таким образом, именно с катакомбами бронзового века на восточно-европейской равнине впервые появились не только небывалые способы погребения, впоследствии примененные в скифских царских курганах, но и новые отношения между людьми – разделение на богатых и бедных, и новые эстетические идеалы – принципы “первобытного барокко”, этого провозвестника потрясающих варварским великолепием “звериных стилей” скифов и сарматов.

Мой учитель М.И. Артамонов (1966) и особенно московский археолог Д.С. Раевский (1977; 1985; 2006) много поработали над выявлением социопсихологических и мифологических корней “звериного стиля” скифов. Мой ученик Г.С. Лебедев (1985; 2005) – над такими же корнями стилей искусства викингов. В стилях раннего искусства или изобразительной деятельности порою очень зримо и наглядно выступает такая, казалось бы, неуловимая ассоциация идей, как ментальность.

Заключение

Завершив этот двухтомный труд, возможно, стоило бы подумать о его месте в научной литературе по археологии. Я понимаю, конечно, что право судить об этом принадлежит читателям и критикам. Но кое-какие свои предварительные соображения высказать позволительно и мне, потому что я лучше других знаю, как замышлялся и делался этот труд.

Коль скоро он вырос из университетского курса лекций по методике кабинетных исследований археолога, он был первоначально рассчитан на студентов как учебное пособие. Но так как в нашей русской литературе практически нет современных книг исследовательского плана по этой тематике, сей труд взял на себя и функции обобщающего исследования по этой теме, оброс обоснованиями и исследовательскими экскурсами в соответствующие темы, обширной библиографией. По этой причине получилось не столько учебное пособие для студентов, сколько руководство для работающих археологов повзрослее и монографическое исследование для методологов и теоретиков науки.

Эта многофункциональность труда имеет как положительные стороны (фундаментальность, расширяется круг возможных потребителей), так и отрицательные (громоздкость, недоговоренность и, возможно, поверхностность в частных вопросах). В русской литературе такого труда наверняка не было, хотя в части, написанной Я.А. Шером, небольшой учебник “Методы археологического исследования” (Мартынов и Шер 1989; 2002) был вехой на пути к нему.

В мировой литературе есть целый ряд книг, которые стоило бы перевести на русский язык (пока переведена одна). Ориентиром и прообразом для меня была книга Чайлда “Составление прошлого из обломков” (Childe 1956), написанная более полувека назад в Британии. Перед моим трудом она имеет хотя бы преимущества лаконичности и цельности, не говоря уже о новизне самой темы. Из английских книг ее дополняют несколько отклоняющиеся по теме “Археология и общество” Грэйема Кларка и “Подход к археологии” Стюарта Пиготта (Clark 1939; Piggott 1959). Немецкое “Введение в преисторию” нашего земляка (он родился в Петербурге) Ганса-Юргена Эггерса (Eggers 1959), напечатанное через три года после Чайлда, было в сущности великолепным учебником кабинетной методики исследований для археологов – совершенно другим по замыслу (в основе его история методов), но равно поучительным. Шведское “Введение в археологию” Карла-Акселя Муберга (Moberg 1969; перевод на французский 1976) отличалось лаконичностью и элегантностью. Французская книга Жана-Клода Гардена “Теоретическая археология” (Gardin 1979; Гарден 1983) на деле никакое не изложение теорий, а обоснованный алгоритм археологического исследования, так что книга того же плана, что и мой двухтомник. Она также имеет перед моей книгой преимущество лаконичности и четкости, хотя тематика ее мне представляется несколько узковатой (всё сводится к логическому скелету).

Мне нравились также американские книжки (это именно небольшие книжки) Чжана Гуанчжи и Джеймса Дица (Chang 1967; Deetz 1967). Полезный обзор двух чехов вышел сначала на чешском, потом на английском (Malina 1980; Malina, Vašíček 1990). Но всё затмило фундаментальное руководство Ренфру и Бана "Археология: теории, методы и практика" (Renfrew and Bahn 1991, есть и новые издания). Это одновременно руководство по методам самой археологии и справочник по методам привлеченных наук (естественных и математических). Книга богато иллюстрирована и в ней много примеров образцовых исследований. Для работающих археологов, желающих оставаться на современном уровне, она является настольной книгой. Судя по предшествующим работам обоих авторов, основные методические рекомендации и их обоснования принадлежат Колину Ренфру, крупнейшему и старейшему кембриджскому археологу.

Из этой краткой характеристики видны и преимущества этой книги перед моей. Если я всё же считаю уместным опубликовать свою книгу, то это потому, что она впервые столь детально разбирает эти трудные методические и методологические проблемы на русском языке. Она сосредоточена именно на проблемах методики самой археологии, а в проблемы естественнонаучных и математических методов не входит, ссылаясь на вышедшие на русском языке труды. Кроме того, у меня есть свои теоретические позиции и свои предложения по методике, которые я в книге обосновываю, не игнорируя и взгляды других ученых.

Развивая идеи Гардена, я структурировал проблематику и сделал более удобным ее рассмотрение. Надеюсь, в следующих поколениях археологов найдутся охотники пополнить и поправить мои главы, а может быть, учинить и радикальный пересмотр проблемы. Мой двухтомник не претендует на окончательное решение всех затронутых вопросов. Хотелось бы, чтобы он будил мысль и побуждал читателей к продумыванию тех вопросов, над которыми размышлял я.

ЛИТЕРАТУРА

- [Пиотровский Б.Б., Клейн Л.С. 1970. Соглашение. *Приведено в:*] Археолог: детектив и мыслитель. Сборник статей, посвященный 77-летию Льва Самуиловича Клейна. Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета, 2004: 28.
- Абаев В.И. 1972. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов. – Древний Восток и античный мир. М., изд. МГУ: 26-37.
- Авербух М.С. 1970. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. Опыт историко-демографического исследования. М., Наука.
- Агаев А.Г. 1967. Нация, ее сущность и самосознание. – Вопросы истории, 7: 87-104.
- Агаев А.Г. 1968. Функция языка как этнического признака. – Язык и общество. М., Наука: 124-138.
- Алексеев В.П. 1972. Палеодемография СССР. – Советская Археология, 1: 3-20.
- Алексеев В.П. 1979. Историческая антропология и этногенез. Москва, Высшая Школа (2-е изд. 1989).
- Алексеев В.П. 1986. Этногенез. М., Высшая школа.
- Алексеева Т.И. 1956. Антропологический состав населения Волго-Окского бассейна. Тр. ИЭ, нов. серия, 33: 37-72.
- Алексин В.А. 1986. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Л., Наука.
- Альтерович О.Н. 1966. Диалектика культурного развития. – Диалектика материальной и духовной жизни общества в период строительства коммунизма. М., Наука: 233-247.
- Антонова Е.В., Раевский Д.С. 1981. О знаковой сущности вещественных памятников и о способах ее интерпретации. – Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М., Наука: 207-232.
- Антонова Е.В., Раевский Д.С. 1984. “Богатство” древних захоронений (К вопросу о роли идеологического фактора в формировании облика погребального комплекса). – Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. Сборник научн. тр. К., Наукова Думка: 153-169.
- Арзаканьян Ц.Г. 1961. Культура и цивилизация: проблемы теории и истории культуры (К критике современной западной литературы). – Вестник истории мировой культуры, № 3: 52-75.
- Арманд А.Д. 1972. География в моделях. – Природа, № 5: 114-116.
- Арнольдov А.И. 1960. Коммунизм и культура. М., Знание.

- Арнольд А.И. 1973. Культура и современность. М., Мысль.
- Артамонов М.И. 1934. Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками. – Проблемы истории докапиталистических обществ, 7-8: 108-125.
- Артамонов М.И. 1947а. Археологические теории происхождения индоевропейцев в свете учения Н.Я. Марра. – Вестник Ленинградского университета, 2: 79-106.
- Артамонов М.И. 1947б. Вопросы истории скифов в советской науке. – Вестник Древней истории, 3: 68-82.
- Артамонов М.И. 1949а. К вопросу об этногенезе в советской археологии. – Краткие сообщения ИИМК, 29: 3-16.
- Артамонов М.И. 1949б. Этногеография Скифии. – Ученые записки ЛГУ, 85, Л.: 129-171.
- Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага – Л., Артия – Советский художник.
- Артамонов М.И. 1967. Вопросы расселения славян и советская археология. – Проблемы всеобщей истории. Историографический сборник. Л., изд. Ленинградского университета: 29-69.
- Артамонов М.И. 1969. Этнос и археология. – Теоретические основы советской археологии. Л. (Институт археологии АН ССР, Ленинградское отделение): 3-6.
- Артамонов М.И. 1971. Археологическая культура и этнос. – Проблемы истории феодальной России. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 16-32.
- Артановский А.С. 1968. О сравнительно-историческом и структурном методе в этнографии. – Методологические вопросы общественных наук. Вып. 1. Л., изд. Ленинградского университета: 214-234.
- Артановский С.Н. 1967. К вопросу о понятии культуры. – XX Герценовские чтения. Философия. Л., Ленинградский Пединститут им. А.И. Герцена: 21-25.
- Артемова О.Ю. 1991. Первобытные эгалитарные и неэгалитарные общества. – Архаическое общество. Узловые проблемы социологического развития. Вып. 1. Отв. ред. Коротаев А.В., Чубарев В.В. М.: 44-91.
- Арутюнов С.А. 1980. К проблемам этничности и интерэтничности культуры. – Советская Этнография, 3: 61-67.
- Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. 1972. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества. – “Расы и народы”, 2, М.: 8-30.

- Арутюнян С.М. Нация и ее психический склад. – Труды Краснодарского пед. института. Краснодар, вып. 53.
- Археология 1965 = Археология и естественные науки. Под ред. Б.А. Колчина. М., Наука.
- Арциховский А.В. 1929. Новые методы археологии. – Историк-марксист, 14: 136-155.
- Арциховский А.В. 1946. Культурное единство славян в средние века. – СЭ, 1: 84-90.
- Афанасьев Г.Е. 1993а. Донские аланы. Социальная структура аланско-ассо-буртаского населения бассейна Среднего Дона. М., Наука.
- Афанасьев Г.Е. 1993б. Перекрестное сравнение методик реконструкции социальной стратификации общества. – Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев). Отв. ред. Афанасьев Г.Е. М., Наука: 3-12.
- Бадер О.Н. 1972. О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой. – Проблемы археологии и древней истории угров. М., Наука: 10-31.
- Балановская Е.В., Балановский О.П. 2007. Русский генофонд на Русской равнине. М., Луч.
- Баллер Э.А. 1969. Преемственность в развитии культуры. М., Наука.
- Балонов Ф.Р. 1991. Ворсовый пазырыкский ковер: семантика композиции и место в ритуале (опыт предварительной интерпретации). – Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М., Наука: 88-121.
- Баткин Л.М. 1969. Тип культуры как историческая целостность. – Вопросы философии, 9: 99-109.
- Бауэр О. 1909. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб, Пушкинская скоропечатня.
- Безбородов М.А. 1956. Стеклоделие в древней Руси. Минск.
- Безбородов М.А. 1963. Химическое и спектроскопическое изучение древних и средневековых стекол. – Новые методы в археологических исследованиях. М.-Л.: 100-114.
- Безбородов М.А. 1965. Технические методы изучения древних стекол. – Археология и естественные науки. М., Наука: 174-177.
- Белков П.Л. 1993. О методе построения теории этноса. – Этносы и этнические процессы. Памяти Р.Ф. Итса. М., Восточная литература: 48-61.
- Белявский В.А. 1967. Этнос в древнем мире. – Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР (Ленинград), 3: 18-37.
- Берг Л.С. 1948. Названия рыб и этнические взаимоотношения славян. – СЭ, 2: 62-73.

- Берестнев С.И., Берестнева Л.Н. 2011. Вещи в контексте культового объекта (К проблеме социологической интерпретации погребальных памятников). – Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник, вып. 11. Харьков, МТМТ: 75-87.
- Бернабей М., Бондиоли Л., Гунди А. 1994. Социальный строй кочевников савроматского времени. – Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха. Отв. ред. Мошкова М.Г. М., Восточная Литература: 159-184.
- Бернал Дж. 1956. Наука в истории общества. М., ИЛ.
- Бернштам А.Н. 1951. Очерк истории хуннов. Л., изд. Ленинградского Университета.
- Бернштейн С.С. 1961-1974. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. 1961 – Введение. Фонетика. 1974 – Чередование. Именные основы. М., изд. АН СССР.
- Бианки А.М. 1991. Этюды о “кинжалах”. – Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., Академия наук: 264-271.
- Бибиков С.Н. 1969. Некоторые аспекты палеоэкономического моделирования палеолита. – Советская Археология, 4: 5-22.
- Бибиков С.Н. 1965. Хозяйственно-экономический комплекс развитого Триполья (Опыт изучения первобытной экономики). – Советская Археология, 5: 48-62.
- Бишони Р. 1994. Погребальный обряд как источник для исторической реконструкции. – Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха. Отв. ред. Мошкова М.Г. М., Восточная Литература: 153-157.
- Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. 1970. Системный подход в современной науке. – Проблемы методологии системного исследования. М., Мысль: 7-48.
- Блауберг И.В., Юдин Э.Г. 1973. Становление и сущность системного подхода. М., Наука.
- Бляхер Л.Я. 1965. Аналогия и гомология. – Идея развития в биологии. М., Наука: 123-203.
- Бобринский А.А. 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М., Наука.
- Богаевский Б.Л. 1931. К вопросу о теории миграций. Сообщения ГАИМК, 8: 35-38.
- Богданов А. 1912. Всеобщая организационная наука (тектология), ч.1. С-Петербург, Прометей (2-е изд. 1925).

- Богданов А. 1921. Очерки всеобщей организационной науки. Самара, Сампролет-культ.
- Боуэн Д. 1981. Четвертичная геология. М., Мир.
- Бочкарев В.С. 1979. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр). – Проблемы археологии, 2: 48-53.
- Бритюк А.А. 2006. Неолитические памятники Мурзина Балка-1, 2 и Бургуста. – Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 12. Воронеж, ВГПУ: 21-34.
- Бромлей Ю.В. 1969. Этнос и эндогамия. – Советская этнография, 6: 84-91.
- Бромлей Ю.В. 1970а. К вопросу о сущности этноса. – Природа, 2: 51-55.
- Бромлей Ю.В. 1970б. Этнос и этносоциальный организм. – Вестник Академии наук СССР, 8: 48-54.
- Бромлей Ю.В. 1971а. К характеристике понятия “этнос”. – Расы и народы (М., Наука), 1: 9-33.
- Бромлей Ю.В. 1971б. Несколько замечаний о социальных и природных факторах этногенеза. – Природа, 2: 83-84.
- Бромлей Ю.В. 1972. Еще раз о соотношении этнической и экономической общностей. – Советская Этнография, 3: 86-89.
- Бромлей Ю.В. 1973. Этнос и этнография. М., Наука.
- Бромлей Ю.В. 1983. Очерки теории этноса. М., Наука.
- Бронштейн И.Ю. 1927. История материальной культуры. М.-Л., Гос. изд.
- Брюсов А.Я. 1926. Жилище. История жилища с социально-экономической точки зрения. Л., Прибой.
- Брюсов А.Я. 1956а. Археологические данные об экономике доклассового общества в неолитическую эпоху. Производительные силы и производственные отношения в эпоху неолита. – Советская Археология, XXV: 35-63.
- Брюсов А.Я. 1956б. Археологические культуры и этнические общности. – Советская Археология, XXVI: 35-63.
- Брюсов А.Я. 1957. К вопросу о передвижениях древних племен в эпоху неолита и бронзы. – Советская Археология, XXVII: 5-13.
- Брюсов А.Я. 1958. К вопросу об индоевропейской проблеме. – Советская Археология, 3: 18-26.
- Брюсов А.Я. 1961. Об экспансии культур с боевыми топорами в конце III тысячелетия до н.э. – Советская Археология, 3: 14-33.

- Брюсов А.Я. 1965. Восточная Европа в III тысячелетии до н.э. – Советская Археология, 2: 47-56.
- Брюсов А.Я., Зими́на М.П. 1966. Каменные сверленные боевые топоры на территории Европейской части СССР (САИ В4-4). М., Наука.
- Будилович А.С. 1887. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Киев, типогр. М.П. Фрица.
- Булкин В.А. 1970. Типы погребального обряда в курганах Гнездовского могильника. – Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., Наука: 207-210.
- Бунак В.В. 1962. Антропологические типы русского народа и вопросы истории их формирования. – Краткие Сообщения Института Этнографии, 36: 75-82.
- Буняты́н Е.П. 1985. Методика социальных реконструкций в археологии на материале скифских могильников IV-III вв. до н.э. К., Наукова думка.
- Буровский А.М. 1995. Археологические интерпретации и реконструкции. – Российская археология 3: 220-224.
- Бутинов Н.А. 1979. Американская экономическая антропология (формализм и субстантивизм). – Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. Л., Наука: 68-90.
- Быковский С.Н. 1932. О предмете истории материальной культуры. – Сообщения ГАИМК, 1-2: 3-6.
- Вартофский М. 1988. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., Прогресс.
- Вебер М. 1923. История хозяйства. Пг.
- Виноградов В.А. 1969. Всегда ли система системна? – Система и уровни языка. М., Наука: 249-259.
- Виноградов В.В., Кузнецов П.С. 1951. Языковое родство славянских наций. – Славяне, 2: 44-49.
- Вишняцкий Л.Б. 2005. Введение в преисторию. Изд. 2. Кишинев, Высшая антропологическая школа.
- Волков П.В. 1994. Экспериментальные исследования отопительных костров древности. – Методология и методика археологических реконструкций. Новосибирск, Инст. археологии и этнографии СО РАН: 104-112.
- Волков П.В. 2004. Православное богословие и археология. – Русские. Материалы VII Сибирского симпозиума “Культурное наследие народов Западной Сибири” (9-11 декабря 2004 г., Тобольск). – Тобольск: 532-535.
- Волков П.В. 2008. Феномен Адама. Экспериментальная археология о человеке до потопа. Новосибирск, Сова.

- Волков П.В. 2010а. От Адама до Ноя. Археология для православных. Новосибирск, изд. Новосибирского университета.
- Волков П.В. 2010б. Эксперимент в археологии. Новосибирск, Институт археологии и этнографии РАН.
- Воробьев М.В. 1967. Этнос в средние века на материале этногенеза чжурчженей). – Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР (Л.), 3: 24-27.
- Гарден Ж.-К. 1983. Теоретическая археология. М., Прогресс.
- Геддон А. 1923. Переселение народов. Петербург – М., Книга.
- Гей А.Н. 1993. Проблема социальной дифференциации и эволюция общества степных скотоводов (на примере новотиторской и катакомбной культур степного Прикубанья). – Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев). Отв. ред. Афанасьев Г.Е. М., Наука: 42-77.
- Генинг В.Ф., Бунятян Е.П., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А. 1990. Формализованно-статистические методы в археологии (Анализ погребального обряда). К., Наукова думка.
- Георгиев Э. 1941. Балто-славянско-германского родство. – Известия на Семинара по славянска филология при Университета Свети Климент Охридски в София, кн. VIII:
- Гиндин Л.А., Мерперт Н.Я. 1984. Античная Балканистика и этногенез народов Балкан. – Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., Наука: 4-7.
- Гиря Е.Ю. 1992. Возможности эксперимента в археологии. – Экспериментальная археология: Известия лаборатории экспериментальной археологии Тобольского пединститута тезисы и материалы. Вып. 2. Тобольск: Издательство ТГПИ. – 127 с.
- Гиря Е.Ю. 1997. Технологический анализ каменных индустрий. Санкт-Петербург, ИИИМК РАН.
- Глинский Б.А., Грязнов Б.С., Дынин Б.С., Никитин Е.П. 1965. Моделирование как метод научного исследования. М., изд. Московского университета.
- Гнеденко Б.В. и др. (ред.). 1971. Большие системы. Теория, методология, моделирование. М., Наука.
- Гражданкина Н.С. 1965. Методика химико-технологического исследования древней керамики. – Археология и естественные науки. М., Наука: 152-160.
- Грач А.Д. 1975. Принципы и методика историко-археологической реконструкции форм социального строя (по курганным материалам скифского времени Казахстана, Сибири и Центральной Азии). – Социальная исто-

- рия народов Азии. Отв. ред. Решетов А.М., Таксами И.М. М., Наука: 158-182.
- Гредескул Н.А. 1930. История материальной культуры. Л., изд. "Красная газета".
- Григорьев Г.П. 1972. Восстановление общественного строя палеолитических охотников и собирателей. – Охотники, собиратели, рыболовы. Л., Наука: 11-25.
- Гричук В.П., Заклинская Е.Д. 1948. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М., Географгиз.
- Гумилев Л.Н. 1964-1973. Ландшафт и этнос [14 статей в журнале "Вестник Ленинградского университета".]
- Гумилев Л.Н. 1965. По поводу предмета исторической географии (Ландшафт и этнос). – Вестник Ленинградского Университета, 18: 112-120.
- Гумилев Л.Н. 1966. Истоки ритма кочевой культуры Срединной Азии (опыт историко-географического синтеза). – Народы Азии и Африки, 4: 85-94.
- Гумилев Л.Н. 1967а. О термине "этнос". – Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР, вып. 3. Л., изд. АН СССР: 3-17.
- Гумилев Л.Н. 1967б. Этнос как явление. Доклады отделений и комиссий Географического общества ССР, вып. 3. Л., изд. АН СССР: 90-97.
- Гумилев Л.Н. 1970. Этногенез и этносфера. – Природа, 1970, 1: 46-55; 2: 43-50.
- Гумилев Л.Н. 1971. Этногенез – природный процесс. – Природа, 1971, 2: 80-82.
- Гумилев Л.Н. 1973. Внутренняя закономерность этногенеза. – Вестник Ленинградского университета, 6: 94-103.
- Гумилев Л.Н. 1979/1989. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, ВНИНТИ (2-е изд. Л., изд. Ленинградского Университета, 1989).
- Гумилев Л.Н. 1993. Этносфера. История людей и история природы. М., Экопрос.
- Гуревич А.Я. 1969. Социальная психология и история. – Источниковедение. М., Наука: 384-426.
- Гуревич А.Я. 1993. Исторический синтез и Школа "Анналов". М., Индрик.
- Гурина Н.Н. 1991. О возможности реконструкции верований по монументальной охотничьей живописи. – Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., изд. ГМИР: 67-82.
- Давидович В.Е., Белолипецкий В.И. 1974. Культура и ее место в жизни общества. – Доклады высшей школы. Философия науки, 2: 152-164.
- Давидович В.Е., Жданов Ю.А. 1979. Сущность культуры. Ростов н/Д, изд. Ростовского университета.

- Давыдова А.В. 1995. Иволгинский археологический комплекс. Том I. Иволгинское городище. Санкт-Петербург, АзиатИКА.
- Даниловский И.В. 1941. Значение раковин наземных и пресноводных четвертичных моллюсков для стратиграфии верхней половины четвертичной эпохи. – Известия Всесоюзного географического общества, т. 73, вып. 3: 353-378.
- Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология СССР. Тр. ИЭ, нов. серия, т. 4. М.-Л.
- Дебец Г.Ф., Трофимова Т.А., Чебоксаров Н.Н. 1951. Проблема заселения Европы по антропологическим данным. – Тр. ИЭ, нов. серия, т. 16: 409-468.
- Деген[-Ковалевский] Б.Е. 1941. Курганы в Кабардинском парке г. Нальчика. – Материалы и исследования по археологии СССР, 3: 213-298.
- Демография 1978 = Демография Улангомского могильника. – Археология и этнография Монголии. Новосибирск, Наука.
- Денисов Е.И. 1963. Об определении серебра в древних бронзовых изделиях. – Новые методы в археологических исследованиях. М.-Л.: 84-65.
- Дергачев В.А. 2007. О скипетрах, о лошадях, о войне. Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас. СПб., Нестор-История.
- Дергачев В.А., Сорокин В.Я. 1986. О зооморфных скипетрах из Молдавии и проникновении степных энеолитических племен в Карпато-Дунайские земли. – Известия Академии Наук Молдавской ССР, 1, сер. обществ. наук: 54-65.
- Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. 1994. Палелитоведение. Новосибирск, Наука.
- Джанджильдин И. 1975. Природа национальной психологии. Алма-Ата, Казахстан.
- Долуханов П.М. 1963. Послеледниковая история Балтики и хронология неолита. – Новые методы в археологических исследованиях. М.-Л.: 57-76.
- Долуханов П.М. 1978. Истоки миграций (моделирование демографических процессов по археологическим и экологическим данным). – Проблемы археологии, II. Л., изд. Ленинградского университета: 38-42.
- Долуханов П.М., Знаменская О.М. 1965. Палеогеографические принципы построения хронологии археологических культур. – Археология и естественные науки. М., Наука: 224-231.
- Дольник В.Р. 1994. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в компании птиц и зверей. М., Педагогика-Пресс.
- Домашние 1970 = Домашние промыслы и ремесло. Тезисы расширенного заседания Сектора Азии и Кавказа 8-9 июня 1970 г. (Ленингр. отделение Ин-та археологии АН СССР). Л.

- Драмалиев Л. Существуют ли культурные универсалии? (пер. с франц.). – Ежегодник Филос. об-ва в СССР, 1989-1990: Человек и человечество: духовные традиции и перспективы. М., 1990: 110-113.
- Дьяконов И.М. 1958. Этнос и социальное деление в Ассирии. – Советское Востоковедение, 6: 43-56.
- Дьяконов И.М. 1983. Типы этнических передвижений в ранней древности (с конца IV по начало I тыс. н.э.). – Древний Восток. Ереван, изд. АН Армянск. ССР: 5-22.
- Дьяконов И.М. 1984. К методике исследований по этнической истории (“киммерийцы”). – Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., Наука: 90-100.
- Ефименко П.П. 1931. Значение женщины в ориньякскую эпоху (Известия ГАИМК, т. 11, в. 3-4). Л.
- Жуков Е.М. (гл. ред.). 1955. Всемирная история, т. 1, М., Госполитиздат.
- Завьялов В.И., Розанова Л.С., Терехова Н.Н. 2001. Археометаллография как исторический источник (итоги изучения кузнечного ремесла в России за 1995-2000 годы). – КСИА. Вып. 212. М.: 3-7.
- Заднепровский Ю.А., Кислякова Г.И. 1965. О комплексном методе изучения природных условий голоцена во внеледниковых условиях. – Археология и естественные науки. М.: 232-242.
- Замятнин С.Н. 1960. Некоторые вопросы изучения хозяйства в эпоху палеолита. – Труды Института Этнографии АН СССР т. 54 (М.-Л.): 80-108.
- Захарук Ю.Н. 1964. Проблеми археологічної культури. – Археологія (К.), XVII: 12-42.
- Зворыкин А.А. 1964. Определение культуры и место материальной культуры в общей культуре. М., Наука.
- Зибер Н.И. 1883. Очерки первобытной экономической культуры. Москва, К. Т. Солдатенков (нов. изд.; М., Соцэкгиз. 1937; Зибер Н.И. Избранные экономические произведения. Т. 2. М., Соцэкгиз, 1959).
- Зиновьев А.А. 1959. Логическое строение знаний о связях. – Логические исследования. М., изд. АН СССР: 113-124.
- Зиновьев А.А. 1960. Философские проблемы многозначной логики. М., изд. Академии Наук СССР.
- Иванов В.В. 1980. Единорог. – Мифы народов мира. Том I. М., Советская Энциклопедия: 429-430.
- Иванов К. 1985. Взгляды на этнографию, или есть ли в советской науке два учения об этносе? – Известия ВГО, т. 117, вып. 3: 231-239.

- Иванова С.В. 2001. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса, Друк.
- Избицер Е. 2010. Колесница с тормозом, или реконструкция без тормозов. – *Stratum-plus*, 2: 187-194.
- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. 1995. Модель системы расщепления в рамках системно-деятельностного подхода (по материалам многослойного археологического памятника Большой Якорь). – *Байкал и Сибирь в дренности*. Иркутск, Иркутский университет: 8-29.
- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. 1998. Введение к системно-деятельностному подходу в практике археологических исследований. – *Методы естественных наук в археологических реконструкциях*. Отв. ред. акад. А.П. Деревянко, Ю.П. Холюшкин. Новосибирск, СО АН: 5-10.
- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. 2003. Категория артефакта в системно-деятельностном подходе. – *Известия лаборатории древних технологий Иркутского ГТУ*, Иркутск, вып 1: 34-49.
- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. 2008. Некоторые аспекты применения системно-деятельностного подхода в планиграфических исследованиях. – *Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии*. Материалы научно-теор. конф. аспирантов и студентов. Спец. вып. Иркутск: 416-418.
- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. 2010. Человек и природная среда севера Байкальской Сибири в позднем плейстоцене. Местонахождение Большой Якорь I. Новосибирск, Наука.
- Использование 1978 = Использование методов естественных наук в археологии. К., Наукова думка.
- История 1948-1951. = История культуры Древней Руси. М., изд. АН СССР. т. I, 1948; т. II, 1951.
- Итс Р.Ф. 1982. Методика этногенетических исследований (общие принципы). – *Проблемы этногенетических исследований Европейского Северо-Востока*. Сыктывкар, Пермский университет: 3-13.
- Итс Р.Ф. 1989. Несколько слов о книге Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера Земли". – *Гумилев 1989*: 3-13.
- Кабо В.Р. 1972. История первобытного общества и этнография (К проблеме реконструкции прошлого по данным этнографии). – *Охотники, собиратели и рыболовы*. Л., Наука: 53-67.
- Кабо В.Р. 1979. Теоретические проблемы реконструкции первобытности. – *Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества*. М., Наука: 60-107.

- Кабо В.Р. 1991. Религия палеолитического человека: возможности ее реконструкции. – Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., изд. ГМИРА: 45-51.
- Каган М.С. 1974. Человеческая деятельность. М., издат. полит. литературы.
- Каган М.С. 1978. Социальные функции искусства. Л., Знание.
- Казанцев Д.Е. 1979. Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола, Марийское книжное издательство: 28-40.
- Каменецкий И.С. 1970. Археологическая культура – ее определение и интерпретация. СА, № 2: 18-36.
- Каменецкий И.С. 1983. Код для описания погребального обряда. Часть 1. – Древности Дона. М., Наука: 221-250.
- Каменецкий И.С. 1983-1986. Код для описания погребального обряда. Часть 2. – Древности Дона. Материалы работ Донской экспедиции. М., 1986, вып. 1: 136-194.
- Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. 1975. Анализ археологических источников. М., Наука.
- Каммари М.Д. 1949. Создание и развитие И.В. Сталиным марксистской теории нации. – Вопросы Истории, 12: 65-88.
- Каутский К. 1908. Национализм и интернационализм. – Научная мысль (Рига), 1: 3-32.
- Ким М.П. 1975. О культуре как предмете исторического изучения. Доклад... М., Отд. истории АН СССР.
- Киселев С.В. 1928. Поселения. Социологический очерк. – Труды секции теории и методологии РАНИОН, 2: 35-68.
- Кларк Гр. 1952. Доисторическая Европа: экономический базис. Пер. с англ. М., Иностранная литература.
- Клейн Л.С. (отв. ред.). 1979. Типы в культуре. Л., издат. Ленинградского университета.
- Клейн Л.С. 1955. Вопросы происхождения славян в сборнике докладов VI научной конференции Института археологии АН УССР. – Советская Археология (М.), XXII: 257-272.
- Клейн Л.С. 1961. О так называемых ямных погребениях катакомбного типа. – Советская археология, 2: 49-65.
- Клейн Л.С. 1962а. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры. – Вестник ЛГУ, 2: 74-87.
- Клейн Л.С. 1962б. Охота на львов. Специальность или специализация? – газ. "Ленинградский университет", № 35 (1284), 1 июня: 3 и № 36 (1285), 5 июня: 3.

- Клейн Л.С. 1963. Происхождение скифов-царских по археологическим данным. – Советская Археология (М.), № 4: 27-35.
- Клейн Л.С. 1966. Прототипы катакомбных курильниц и проблема происхождения катакомбной культуры. – Археологический Сборник Гос. Эрмитажа (Л.), вып. 8: 5-17.
- Клейн Л.С. 1968. О дате Карбунского клада. – Проблемы археологии, 1: 5-74.
- Клейн Л.С. 1968а. Вопросы первобытной археологии в произведениях Маркса и Энгельса. – Вестник Ленинградского университета, 8: 38-43.
- Клейн Л.С. 1968б. Происхождение катакомбной культуры. Автореферат канд. дисс. Л., ИИМК АН СССР.
- Клейн Л.С. 1969а. К постановке вопроса о происхождении славян. – Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., изд. Ленинградского университета: 21-35.
- Клейн Л.С. 1969б – 1970. Остаюсь археологом. Трактат о кризисе гуманитарности в археологии и его связи с успехами естественных и точных наук. – Знание – сила, 1969, № 2: 26-27, 1970, № 2: 33-34.
- Клейн Л.С. 1970. Проблема определения археологической культуры. – Советская Археология, № 2: 37-51.
- Клейн Л.С. 1971. Феномен СМ III и вопрос о языке минойского письма А. – Вестник ЛГУ, 8: 110-113.
- Клейн Л.С. 1972. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии. – Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. М.: 14-16.
- Клейн Л.С. 1973а. Археологические признаки миграций (IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук, Чикаго, сентябрь 1973. Доклады советской делегации). М., 17 с.
- Клейн Л.С. 1973б. Рец. на книгу К.-А.Муберга. – СА, 4: 294-300.
- Клейн Л.С. 1974а. Генераторы народов. – Древняя Сибирь, IV, Новосибирск, Наука: 126-134.
- Клейн Л.С. 1974б. Рец. на: R. Nachmann. Goten und Skandinavien. Berlin, 1970. – Советская Археология (М.), 3: 278-284.
- Клейн Л.С. 1975. Проблема смены культур в современных археологических теориях. – Вестник Ленинградского Университета, 8: 95-103.
- Клейн Л.С. 1976. Археология и преистория в системе И. Рауза. – Советская Археология, № 1: 306-315.
- Клейн Л.С. 1977. Предмет археологии. – Археология Южной Сибири (Известия кафедры археологии Кемеровского университета, вып. 9). Кемерово, издат. Кемеровского университета: 3-14.

- Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Л., изд. Ленинградского университета (нов. расшир. изд.: СПб., Фарн, 1995).
- Клейн Л.С. 1979а. О характере римского импорта в богатых курганах сарматского времени на Дону. – Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, издат. Саратовского университета: 204-221.
- Клейн Л.С. 1979б. Смысловая интерпретация совместных погребений в степных курганах бронзового века. – Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы. Тезисы докладов конференции. Донецк: 18-20.
- Клейн Л.С. 1979в. Понятие типа в современной археологии. – Типы в культуре. Ленинград., издат. Ленинградского университета: 50-74.
- Клейн Л.С. 1980а. Откуда арии пришли в Индию? – Вестник Ленинградского университета, № 20: 35-39.
- Клейн Л.С. 1980б. Структура археологической теории. – Вопросы философии 2: 99-115.
- Клейн Л.С. 1980в. Третья гипотеза о происхождении скифов. – Народы Азии и Африки (Москва), № 6: 72-74.
- Клейн Л.С. 1981а. Археолого-этнографические сопоставления. – Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, издат. Томского университета: 138-141.
- Клейн Л.С. 1981б. Язык вещей. – Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, издат. Томского университета: 16-17.
- Клейн Л.С. 1981в. Проблема преемственности и смены археологических культур. – В кн.: Преемственность и инновации в развитии древних культур. Материалы методологического семинара Ленинградского отделения Института археологии. Л., Наука: 33-38.
- Клейн Л.С. 1981г. Проблема смены культур и теория коммуникации. – В кн.: Количественные методы в гуманитарных науках. М., изд. Московского университета: 18-23.
- Клейн Л.С. 1984. От Дуная до Индии. Отражение урнового погребального обряда в фольклоре индоариев и проблема фригийской миграции. – Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., ч. I: 35-37.
- Клейн Л.С. 1986. О предмете археологии (В связи с выходом книги В.Ф. Генинга "Объект и предмет науки в археологии"). – Советская Археология (М.), № 3: 209-219.
- Клейн Л.С. 1987а. Археология и этногенез (новый подход). – Методологические проблемы исследования этнических культур. Ереван, изд. Академии наук АрмССР: 25-33.

- Клейн Л.С. 1987б. К вопросу о связи культуры и искусства. – Каган М.С. (отв. ред.). Искусство в системе культуры. Л., Наука: 22-29.
- Клейн Л.С. 1988. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу. – Советская Этнография (М.), 4: 13-23.
- Клейн Л.С. 1990. О так называемых зооморфных скипетрах. – Проблемы древней истории Причерноморья и Средней Азии. Тезисы... Л., издат. Гос. Эрмитажа: 17-18.
- Клейн Л.С. 1991а. Археологическая типология. Л., издат.: Академия наук СССР, ЛФ ЦЭНДИСИ, Ленинградское археологич. научно-исследоват. объединение (перв. изд.: Archaeological typology. 1982. Oxford, BAR).
- Клейн Л.С. 1991б. В защиту “чистой археологии”. – Советская Археология (М.), № 2: 102-110.
- Клейн Л.С. 1991в. Рассечь кентавра. О соотношении археологии с историей в советской традиции. – Вопросы истории естествознания и техники (М.), 1991, № 4: 3-12 (перев. на англ.: To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition. – Antiquity, vol. 67, 1993, no. 255: 339-348).
- Клейн Л.С. 1992. Методологическая природа археологии. – Российская Археология (М.), № 4: 86-96.
- Клейн Л.С. 1993. Историзм в археологии. – Археологические вести (СПб.) 2: 13-144.
- Клейн Л.С. 1995. О древнерусских языческих святилищах. – Церковная археология (Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 20-24 ноября 1995 года). Часть I. Распространение христианства в Восточной Европе. Санкт-Петербург – Псков: 71-80.
- Клейн Л.С. 1996а. Археологическая интерпретация: диалектика принципов. – XIII Уральское археологическое совещание, УНФ РАН. Тезисы докладов. Уфа, Восточный университет: 6-7.
- Клейн Л.С. 1996б. Возможна ли надежная реконструкция? – XIII Уральское археологическое совещание, УНФ РАН. Тезисы докладов. Уфа, Восточный университет: 8-9.
- Клейн Л.С. 1997. Интерпретации, реконструкции и теория (По поводу статьи А.М. Буровского). – Российская Археология (М.), № 1: 227-230.
- Клейн Л.С. 1998. Археология и этнография: проблема сопоставлений. – Интеграция археологических и этнографических сопоставлений. Материалы VI Международного научного семинара, посвященного 155-летию со дня рождения Д.Н. Анучина. Ч. I. Омск – СПб.: 97-120.
- Клейн Л.С. 1999. Миграция: археологические признаки. – Stratum plus (Санкт-Петербург – Кишинев – Одесса), 1999, № 1: 52-71.

- Клейн Л.С. 2001. Принципы археологии. СПб., Бельведер.
- Клейн Л.С. 2004а. Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Метаархеология. С.-Петербург, Бельведер.
- Клейн Л.С. 2004б. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., Евразия.
- Клейн Л.С. 2004в. Путь к теории стиля. Рец. на книгу Е.Н. Устюговой “Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля”, СПб, 2003. – Новый мир искусства, 2004, 3 (38): 22-23.
- Клейн Л.С. 2005а. Обучение археологии в Петербурге: традиции и проблемы. – Антропологический форум (СПб), № 3: 38-58.
- Клейн Л.С. 2005б. Работы по классификации и типологии в отечественной археологии на рубеже тысячелетий. Запоздалая рецензия. – Стратум-плюс (2003-2004), 2: 439-450.
- Клейн Л.С. 2009а. Новая археология (критический анализ теоретического направления в археологии Запада). Донецк, изд. Донецкого университета, 2009 (серия: Теоретическая археология, т. 1).
- Клейн Л.С. 2009б. Теория реставрации и новоделы. – “Троицкий вариант”, вып. 18 (37), 15 сент.: 14.
- Клейн Л.С. 2009в. Украинское освоение триполья: энциклопедия – справочник или памятник? – Stratum plus, 2005-2009, 2: 593-600.
- Клейн Л.С. 2010а. Время кентавров. Степная прародина ариев и греков. СПб., Евразия.
- Клейн Л.С. 2010б. Дилетантизм в археологии. – Здравый смысл, 2010, 2 (55): 22-26.
- Клейн Л.С. 2010в. Еще раз о так называемых зооморфных скипетрах: Полемическая заметка о книге В.А. Дергачева “О скипетрах, о лошадях, о войне”. – Стратум-плюс, 2: 315-321.
- Клейн Л.С. 2010г. Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах. СПб., Нестор-История.
- Клейн Л.С. 2011а. Гипотеза в археологии. – Российский Археологический Ежегодник, 1, 2011, Universotie’s Publishing Consortium: 56-69.
- Клейн Л. 2011б. История археологической мысли. Тт. I – II. СПб., изд. С.-Петербургского университета, 2011. т. I – 688 с., т. II – 626 с.
- Клейн Л.С. 2011в. Памятники как источники и археология как источниковедение. – Археология Южной Сибири. Вып. 25. Сборник трудов, посвященный 80-летию со дня рождения Якова Абрамовича Шера. Кемерово, изд. Кемеровского гос. университета, 2011: 15-17. Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. 1970. Норманские древности Киевской Руси на современном

этапе археологического изучения. – Исторические связи Скандинавии и России IX-XX вв. Л., Наука: 226-252.

- Клейнрок Л. 1970. Коммуникационные сети. Стохастические потоки и задержки сообщений. Пер. с англ. М., Наука.
- Кнабе Г.С. 1959. Вопрос о соотношении археологической культуры и этноса в современной зарубежной литературе. – Советская Археология, 3: 243-257.
- Ковнурко Г.М. 1963. О распространенности кремня на территории европейской части СССР. – Новые методы в археологических исследованиях. М.-Л.: 234-240.
- Кожин П.М. 1964. О технике выделки фатьяновской керамики. – КСИА АН СССР, 101: 53-58.
- Кожин П.М. 1973. Археологические обоснования палеодемографических реконструкций (Доклад для IX Международного конгресса антропологических и этнографических наук). М., Наука.
- Козлов В.И. 1967а. Некоторые проблемы теории нации. – Вопросы истории, 1: 88-89.
- Козлов В.И. 1967б. О понятии этнической общности. – Советская Этнография, 2: 100-111.
- Козлов В.И. 1970. Этнос и экономика. Этническая и экономическая общности. – Советская этнография, 6: 47-60.
- Козлов В.И. 1971а. Что же такое этнос? – Природа, 2: 71-74.
- Козлов В.И. 1971б. Этнос и территория. – Советская Этнография, 6: 89-100.
- Козлов В.И. 1974а. О биолого-географической концепции этнической истории. – Вопросы истории, 12: 72-85.
- Козлов В.И. 1974б. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса. – Советская Этнография, 2: 79-92.
- Козлов В.И., Чебоксаров Н.Н. 1982. Расы и этносы. – Расы и общество. М., Наука: 92-118.
- Козлов В.И., Шелепов Г.В. 1973. “Национальный характер” и проблемы его исследования. – Советская Этнография, 2: 69-82.
- Колпаков Е.М. 1980. О методах реконструкции идеологии по археологическим данным (к анализу литературы). – Конференция Идеологические представления древнейших обществ. Тезисы докладов. М., Академия наук, Отделение истории: 27-29.
- Колчин Б.А. 1953. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси (МИА, 32). М., АН СССР, ИИМК.

- Колчин Б.А., Шер Я.А. 1965. Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., Наука.
- Колчин Б.А. 1965. Археология и естественные науки. – Материалы и Исследования по Археологии, № 129: 7-26.
- Кон И.С. 1968. Национальный характер – миф или реальность? – Иностранная литература, 9: 215-229.
- Кон И.С. 1971. К проблеме национального характера. – История и психология. М: 122-158.
- Коробкова Г.Ф. 1993. Функциональная типология и ее роль в реконструкции хозяйственных систем прошлого. – Проблемы культурогенеза и культурное наследие (Археологические изыскания, 11). Часть II. Археология и изучение культурных процессов и явлений. СПб., изд. ИИМК РАН: 36-39.
- Косарев М.Ф. 1972. О причинах и социальных последствиях древних миграций в Западной Сибири. – Советская археология, 4: 19-27.
- Крадин Н.Н. 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. – Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. Отв. ред. В.А. Попов. М., Восточная Литература (РАН): 11-61.
- Крадин Н.Н. 2007. Кочевники Евразии. Алматы, Дайк-Пресс.
- Крупинов Е.И. 1951. Материалы по археологии Северной Осетии докобанского периода. – Материалы и исследования по археологии СССР, 23: 17-74.
- Крестьянский В.И. 1969. Структурные уровни живой материи. М., Госполитиздат.
- Кричевский Е.Ю. 1933. Индогерманский вопрос, археологически разрешенный. – Известия ГАИМК, 100: 158-202.
- Кричевский Е.Ю. 1946. О роли межплеменных отношений в древнейшей истории. – КСИИМК, в. 13: 3-9.
- Круг О.Ю. 1965. Применение петрографии в археологии. – Археология...: 146-151.
- Круглов А.П., Подгаецкий Г.В. 1935. Родовое общество степей Восточной Европы. М.-Л. (Известия ГАИМК, 119).
- Кузнецов О.В. 2003. Социокультурная антропология, процессуальная археология и этноархеология охотников и собирателей. – Человек, среда и время. Материалы научных семинаров полевого лагеря “Студеное”. Чита, изд. Забайкальского Госпедуниверситета: 74-83.
- Кузнецов П.С. 1952. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков. – ВЯ, 5: 38-55.
- Кузьмин Н.Ю. 1991. Ограбление или обряд? – Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., изд. ГМИР: 146-155.

- Кузьмина Е.Е. 1994. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М., МГП "Калина" ВИНТИ РАН.
- Кунов Г. 1926. Первобытный коммунизм. Харьков, Пролетарий.
- Кушнер (Кнышев) П.И. 1949. Национальное самосознание как этнический определитель. – Краткие сообщения Института этнографии, 8: 3-9.
- Кушнер (Кнышев) П.И. 1951. Этнические территории и этнические границы (Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, нов. сер. XV). М., Академия наук СССР.
- Лавров С. 2000. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., Сварог и К.
- Лазуков Г.И. 1989. Плейстоцен территории СССР. М., Высшая школа.
- Ласло Д. (László Gy.). 1972. К вопросу о формировании финноугров. – Проблемы археологии и древней истории угров. М., Наука: 7-9.
- Латынин Б.А. 1965. Архаические круглые псаали с шипами. – Материалы и исследования № 130: 201-204.
- Латынин Б.А. 1966. Молоточковидные булавки, из культурная атрибуция и датировка (Археологические сборник Эрмитажа, вып. 9). Л., изд. Эрмитажа.
- Лашук Л.П. 1967. О формах донациональных этнических связей. – Вопросы Истории, 4: 77-92.
- Лебедев Г.С. 1977. Погребальная обрядность как источник социологической реконструкции (по материалам Скандинавии эпохи викингов). – Краткие сообщения Института археологии (М.), вып. 148: 24-30.
- Лебедев Г.С. 1979. Археологический тип как система признаков. – В кн.: Типы в культуре. Л., изд. Ленинградского университета: 74-88.
- Лебедев Г.С. 1985. Эпоха викингов в северной Европе. Л., Евразия.
- Лебедев Г.С. 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., Евразия.
- Лебон Г. 1896. Психология народов и масс. СПб. Ф. Павленков (1995 – СПб., Мает).
- Лебон Г. 1899. Психология социализма. СПб., типография Пайкина (нов. изд-я: Озеров/Будаевский 1908; Мает 1995).
- Лебон Г. 1906. Психологические законы эволюции народов. Пер. с франц. СПб. Популярно-научная библиотека.
- Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А. 1980. Этапы и формы ассимиляции летописной мери – СА, 2: 67-79.
- Леруа-Гуран А. 1971. Религии доистории. Пер. с франц. – Первобытное искусство. Новосибирск, Наука: 81-90.

- Лесков А.М. 1964. Древнейшие роговые псалии из Трахтемирова. – Советская Археология, 1: 299-303.
- Липс Ю. 1954. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. Пер. с нем. М., Изд. иностранной литературы.
- Лотман Ю.М. 1970. Статья по типологии культуры. Тарту, Тартуский университет.
- Лотман Ю.М. 1971. Проблема “обучения культуре” как ее типологическая характеристика. – Труды по знаковым системам, V. Тарту: 167-176.
- Лурье С.Я. 1990. Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилева. – Звезда, 10: 167-177.
- Ляпушкин И.И. 1956. Место роменско-боршевских памятников среди славянских древностей. – Вестник ЛГУ, 20: 45-60.
- Ляпушкин И.И. 1961. К вопросу о культурном единстве славян. – Исследования по археологии СССР. Сб. ст. в честь проф. М.И. Артамонова. Л.: 203-209.
- Ляпушкин И.И. 1968. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства (МИА, № 152). Л., Наука.
- Мавродин В.В. 1945. Образование древнерусского государства. Л., изд. Ленинградского университета.
- Мавродин В.В. 1956. Древнейшие сведения о славянах (К вопросу о происхождении славян). Вестник ЛГУ, 20: 25-44.
- Мазур М. 1974. Качественная теория информации. Пер. с польск. М., Мир.
- Макаревичус К. 1971. Место мысленного эксперимента в познании. М., Мысль.
- Малинова Р., Малина Я. 1988. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайну древних эпох. Пер. с чешск. М., Мысль.
- Манзура И.В. 2000. Владеющие скипетрами. – Стратум-плюс, 2: 237-295.
- Маринов В. 1982. Етнографически паралели на някои археологически находки и ситуации. – Интердисциплинарни изследования (София), 9: 103-118.
- Маркарян Э.С. 1969. Очерки теории культуры. Ереван, изд. Академии наук АрмССР.
- Маркарян Э.С. 1972. Вопросы системного исследования общества. М., Знание.
- Маркарян Э.С. 1973. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, изд. Армянской академии наук.
- Маркарян Э.С. 1977. Интегративные тенденции во взаимодействии общественных и естественных наук. Ереван, изд. Академии наук АрмССР.
- Маркарян Э.С. 1983. Теория культуры и современная наука (Логико-методологический анализ). М., Мысль.
- Марков К.К. 1960. Палеогеография. Изд. 2. М., изд. Московск. университета.

- Марков Г.Е. 1979. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., изд. Московского университета.
- Марковин В.И. 1982. К вопросу о социально-экономической интерпретации древностей Кавказа. – Краткие сообщения Института археологии (М.), 176: 3-8.
- Маркс К. 1847/1955. Ницета философии. – Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. М., Госполитиздат, т. 4: 65-185.
- Маркс К. 1870/1960. Второе воззвание Генерального Совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. – Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 17, 274-282.
- Марр Н.Я. 1926/1935. Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или классовых, в русской речи и топонимике. – Марр Н.Я. Избр. работы, т. 5. Л.: 310-322.
- Мартынов А.И., Шер Я.А. 1989. Методы археологического исследования. М., Высшая школа (новое изд. 2002).
- Мартынов А.И., Шер Я.А. 1989. Методы археологического исследования. М., Высшая школа.
- Мартынов В.В. 1962. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры (К проблеме прародины славян). Минск, изд. Академии наук БССР.
- Мартынов В.В. 1964. Этногенез славян в свете новых лингвистических данных. – Вопросы этнографии Белоруссии. Минск, изд. Академии наук БССР: 85-86.
- Массон В.М. 1976. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Л., Наука.
- Массон В.М. 1980. Динамика развития трипольского общества в свете палеодемографических оценок. – Первобытная археология – поиски и находки. К., Наукова думка: 204-212.
- Массон В.М. 1990. Исторические реконструкции в археологии. Фрунзе, Илим.
- Массон В.М. 1996. Палеолитическое общество Восточной Европы (вопросы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза). СПб (Археологические изыскания, 35).
- Массон В.М., Маркевич В.И. 1975. Палеодемография Триполья и вопросы динамики развития трипольского общества (по материалам раннеземледельческих поселений). – 150 лет Одесского археологического музея. Тезисы докладов юбилейной конференции. Одесса: 31-32.
- Мачинский Д.А. 1976. К вопросу о территории обитания славян в I-VI вв. – Археол. сб. Гос. Эрмитажа, 17: 82-100.

- Мачинский Д.А., Тиханова М.А. 1976. О местах обитания и направлениях движения славян I-VII вв. н.э. по письменным и археологическим источникам. – Acta Archaeologica Carpathica, XVI: 59-94.
- Межуев В.М. 1968. О понятии “культура”. М., Знание.
- Межуев В.М. 1977. Культура и история (Проблемы культуры в философско-исторической теории марксизма). М., Политиздат.
- Мейе А. 1938. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Пер. с франц., изд.3. Москва – Л., Госиздат.
- Мейен С.В. 1978. О наиболее общих принципах исторических реконструкций в геологии. – Известия Академии наук СССР, сер. геол. н., 11: 79-91.
- Мейен С.В. 1984. Системность и эволюция. М., Наука.
- Мейен С.В. 1990. Теоретические проблемы палеоботаники. М., Наука.
- Мейнандер К. 1982. Финны – часть населения северо-востока Европы. – Финно-угорский сборник. М., Наука: 10-32.
- Мейнандер К.Ф. 1974. Проблема происхождения финно-угров по данным археологии. – Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., Наука: 18-28.
- Меркулова В.А. 1965. Об относительной хронологии славянских названий грибов. – Этимология. Принципы реконструкции и методика исследования. М.: 88-89.
- Мерперт Н.Я. 1961. Некоторые вопросы истории Восточного Средиземноморья в связи с индоевропейской проблемой – Краткие Сообщения ИИМК АН СССР, 83: 3-8.
- Мерперт Н.Я. 1978. Миграции эпохи неолита и энеолита. – Советская археология, 3: 9-28.
- Методология 1994. = Методология и методика археологических реконструкций. Сб. науч. тр. ИАиЭ СО РАН, Н., 1994.
- Методы 1995 = Методы естественных наук в археологических реконструкциях. Новосибирск, 1995.
- Мещанинов И.И. 1927. О пользовании этнографическим материалом при археологических работах. – Известия Общ. обследов. и изуч. Азербайджана, № 5: 80-87.
- Мещанинов И.И. 1928. О доисторическом переселении народов. – Вестник Комкадемии, т. 29 (5): 190-238.
- Мещанинов И.И. 1931. Теория миграций и археология. – СГАИМК, 9-10: 33-39.
- Митричев В.С. 1965. Спектральный анализ керамики. – Археология и естественные науки. М., Наука: 171-173.

- Михина Е.М. 1996. История ментальностей... (реферат). – История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., Институт всеобщей истории и Российский гуманитарный университет: 38-65.
- Мкртумян Ю.И. 1978. Компоненты культуры этноса. – В кн.: Методологические проблемы исследования этнических культур. Ереван, изд. АН Арм. ССР: 42-47.
- Моль А. 1972. Социодинамика культуры. Пер. с франц. М., Прогресс.
- Монгайт А.Л. 1967. Археологические культуры и археологические общности (К вопросу о методике историко-археологических исследований). – Народы Азии и Африки, 1: 53-76.
- Моррис Д. 2001. Голая обезьяна. Человек с точки зрения зоолога. Пер. с англ. СПб., Амфора.
- Мосионжик Л.А. 2010. Исторический миф Л.Н. Гумилева: технология создания. – Технология власти. СПб., Нестор-история (Нестор, 14), 2010: 303-344.
- Налимов В.В. 1971. Теория эксперимента. М., Наука.
- Нейштадт М.И. 1952. Спорово-пыльцевой метод в СССР. История и библиография. М., АН СССР.
- Нейштадт М.И. 1957. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М., АН СССР.
- Нидерле Л. 1909. Обзорение современного славянства. СПб., типогр. Академии наук.
- Никольский В.К. 1923а. Комплексный метод в доистории. – Вестник Соц. Академии, 4: 309-349.
- Никольский В.К. 1923б. Очерк первобытной культуры. Москва – Петроград, Френкель.
- Новик И.Б. 1965. О моделировании сложных систем. М., Мысль.
- Новик И.Б. 1969. Философские вопросы моделирования психики. М., Мысль.
- Новик И.Б. Уемов А.И. 1968. Моделирование и аналогия. В кн.: Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М., Наука, 265-293.
- Новикова Л.А. 1991. Феномен маски в культуре (к методике реконструкций древних представлений на межкультурном уровне). – Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. Санкт-Петербург: 11-44.
- Новое 1979 = Новое в применении физико-математических методов в археологии. М., Наука.
- Новые 1963 = Новые методы в археологических исследованиях. Под ред. С.И. Руденко. М.-Л., изд. АН СССР.

- Обмен 1972 = Обмен и торговля в древних обществах. Краткие тезисы докладов к симпозиуму теоретического семинара и сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР 22-24 марта 1972, Л.
- Ойзерман Т.И. 1989. Существуют ли универсалии в сфере культуры? – Вопросы Философии, № 2: 51-62.
- Окладников А.П. 1973. Этногенез и культуригенез. – Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока (Тезисы докладов Всесоюзной конференции 18-21 декабря 1973 г.). Новосибирск: 5-11.
- Ольховский В.С. 1986. Погребально-поминальная обрядность в системе взаимосвязанных понятий. – Советская Археология, 1: 65-76.
- Ольховский В.С. 1993. Погребальная обрядность (содержание и структура). – Российская Археология, 1: 78-93.
- Ольховский В.С. 1995. Погребальная обрядность и социологическая реконструкция. – Российская Археология, 2: 85-98.
- Орнатская Л.А. 1968. К вопросу о происхождении и формировании понятия “культура”. – Проблемы философии и социологии. Л., изд. Ленинградского университета: 29-36.
- Основы 1976 = Основы марксистско-ленинской теории культуры. Под ред. А.И. Арнольдова и др. М., Высшая школа (2-е изд. 1986).
- Отрошенко В.В. 1979. О социальном членении погребений срубной культуры Поднепровья. – Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Тезисы докладов... Донецк: 88-87.
- Отрошенко В.В. 1989. К вопросу о социальной структуре племен срубной культурно-исторической общности. – Проблемы истории и археологии древнего населения УССР. Тез. Докл. 20-й региональной конференции. К.: 162-163.
- Отрошенко В.В., Пустовалов С.Ж. 1991. Обряд моделировки лица по черепу у племен катакомбной общности. – Духовная культура древних обществ на территории Украины. К.: Наукова думка: 59-84.
- Павленко Ю.В. 1989. Раннеклассовые общества. Генезис и пути развития. К., Наукова думка.
- Палеоэкология 1977. = Палеоэкология древнего человека. М., Наука.
- Пендлбери Дж. 1950. Археология Крита. М., Иностранная литература.
- Первобытный 1974. = Первобытный человек и природная среда. М., Институт географии АН СССР.
- Перельман А.И. 1989. Геохимия. Изд. 2. М., Высш. школа.
- Перельман А.И. 2000. Геохимия ландшафта. Изд. 3. М., Астрей.

- Першиц И.А. 1979. Этнография как источник первобытноисторических реконструкций. – Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М., Наука: 26-42.
- Петрусь В.П. 1951. Славянская языковая общность и славянские языки. – Изв. АН СССР, отд. литер, и языка, т. X, вып. 4: 354-366.
- Петрухин В.Я., Расевский Д.С. 1980. Социальная реальность – идеология – погребальный комплекс (к проблеме соотношений). – Конференция “Идеологические представления древнейших обществ”. Тезисы докладов. М.: 30-32.
- Пименов В.В. 1975. Еще раз об определении понятия “этнос”. – Вопросы археологии Урала, 13: 27-31.
- Пиотровский Б.Б. 1961. О характере закономерностей в истории культуры. – Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г. М.: 15-20.
- [Пиотровский Б.Б., Клейн Л.С.] 1970/2004. Соглашение. – Археолог: детектив и мыслитель. Сборник статей, посвященный 77-летию Льва Самуиловича Клейна. СПб., изд. Санкт-Петербургского университета: 28.
- Плахин В.Т. 1993. О возможностях социокультурных реконструкций по данным археологии (к проблеме метода). – Культура народов евразийских степей в древности. Барнаул, изд. Алтайского университета: 3-23.
- Плетнева С.А. 1993. Возможности выявления социально-экономических категорий по материалам погребальной обрядности. – Российская Археология, 4: 160-172.
- Плюснин Ю.М. 1994. Этологические подходы к проблеме археологических реконструкций. – Методология и методика археологических реконструкций. — Новосибирск, Инст. археологии и этнографии СО РАН: 37-42.
- Погрехова М.Н. 1977. К вопросу о миграции ираноязычных племен в Восточное Закавказье в доскифскую эпоху. – Советская Археология, № 2: 55-68.
- Полляк Ю.Г. 1970. Методология исследования сложных технических систем (вероятностное моделирование на ЭВМ). – Проблемы методологии системного исследования. М., Наука: 300-332.
- Попов Б. 2009. Ножи Древней Руси. – Кузнечная традиция Руси [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kuznya.kiev.ua/doc/rusknife.htm>
- Попов М. 1959. Антропология на българския народ, т. I. София, Българска Академия на Науките.
- Попов О.І. 1954. До найдавнішої історії слов'янсьства. “Археологія”, т. 9. К.: 54-66.
- Попова Т.Б. 1955. Племена катакомбной культуры (Труды ГИМ, 24). М., Культпросветиздат.

- Поршнев Б.Ф. 1967. Один из представителей американской школы социологии международных отношений – Раймон Арон. – От Аляски до Огненной Земли. М., Наука: 179-185.
- Поршнев Б.Ф. 1969. Мыслима ли история одной страны? – Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., Наука: 301-325.
- Постникова Н.М. 1967. Антропологический состав населения Болгарии в эпоху средневековья. Автореф. канд. дисс. М.
- Природа 1981. = Природа и древний человек. М., Мысль.
- Проблемы 1993. = Проблемы палеоэкологии древних обществ. М., Российский открытый университет.
- Пропп В.Я. 1928. Морфология сказки (Вопросы поэтики, XII). Л., Academia.
- Пропп В.Я. 1946. Исторические корни волшебной сказки. Л., изд. Ленинградского университета (нов. изд. 1986).
- Пустовалов С.Ж. 2005. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор'я. К., Шлях.
- Пучков П.И. 1973. О соотношении конфессиональной и этнической общностей. – Советская Этнография, 6: 51-64.
- Равдоникас В.И. 1929. Обряд умерщвления женщин в древности. – Вестник Знания, 2: 68-70.
- Равдоникас В.И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры (Известия ГАИМК, т. VII, вып. 3-4). Л.
- Равдоникас В.И. 1939 – 1947. История первобытного общества. Л., изд. Ленинградского университета.
- Раевский Д.С. 2006. Мир скифской культуры. М., Языки славянских культур.
- Раевский Д.С. 1977. Очерки идеологии скифо-сакских племён. Опыт реконструкции скифской мифологии. М., Наука.
- Раевский Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. М., Наука.
- Ревзин И.И. 1977. Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. М., Наука.
- Реконструкция древних общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений. Краткие тезисы докладов на объединенном симпозиуме методологического семинара и сектора Средней Азии и Кавказа. Л., Наука.
- Рогинский В.Н. 1967. Проблемы доставки информации. – Информация и кибернетика. М., Советское радио: 105-125.

- Рогинский В.Н. и др. 1981. Теория сетей связей. М., Радио и связь.
- Рогинский Я.Я. 1969. Проблемы антропогенеза. М., Высшая школа.
- Румянцев А.М. 1987. Первобытный способ производства. М., Наука.
- Рыбаков Б.А. 1948. Ремесло древней Руси. М., Академия наук СССР (нов. изд. 1958, Л.).
- Рыбаков Б.А. 1962. Работы по славяно-русской археологии. – Краткие Сообщения ИИМК АН СССР, 90: 3-4.
- Рыбаков Б.А. 1970. О двух культурах древнего феодализма. – В кн.: Ленинские идеи в изучении историк первобытного общества, рабовладения и феодализма. М., Наука: 23-33.
- Рыбаков Б.А. 1979. Геродотова Скифия. М., Наука.
- Рыбалова В.Д. 1966. Костяной псалий с поселения Каменки близ Керчи. – Советская Археология, 4: 178-181.
- Рындина Н.В. 1965. Металлография в археологии. – Археология и естественные науки. М., Наука: 119-128.
- Рындина Н.В. 1971. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. М., Наука.
- Рындина Н.В. 1998. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы (истоки и развитие в неолите – энеолите). Москва, Наука.
- Садовский В.Н. 1962. Аксиоматический метод построения научного знания. – Философские вопросы современной формальной логики. М., изд. АН СССР: 215-263.
- Садовский В.Н. 1965. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы. – Социология в СССР, т. 1, М., Мысль: 164-192.
- Садовский В.Н. 1970. Логико-методологический анализ “Общей теории систем”. Л. фон Берталанфи. – Проблемы методологии системного исследования. М., Мысль: 411-442.
- Садовский В.Н. 1973. Проблемы общей теории систем как метатеории. – Системные исследования. Ежегодник 1973, М.: 127-146.
- Садовский В.Н. 1974. Основания общей теории систем. М., Наука. Сайко Э.В. 1965. Технология керамики средневековых мастеров. – Археология и естественные науки. М., Наука: 161-166.
- Сальников К.В. 1954. Андроновские поселения Зауралья. – Советская археология, XX: 213-252.
- Самойлов Л. (Клейн Л.С.). 1993. Перевернутый мир. СПб., Фарн (нов. изд. Клейн Л.С. – Донецк, Донецк. нац. ун-т, 2009).

- Седов В.И. 1952. Антропологические типы населения северо-западных земель Великого Новгорода. – КСНУ, вып. 13: 72-83.
- Селимханов Н.Р. 1960. Историко-химические и аналитические исследования древних предметов из медных сплавов. Баку, АН Азерб. ССР.
- Селимханов Н.Р. 1965. К истории освоения человеком металлов и сплавов на Кавказе. – Археология и естественные науки. М., Наука: 138-145.
- Семенов С.А. 1957. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы) (МНА, 54). М.-Л., АН СССР.
- Семенов С.А. 1965. Экспериментальный метод изучения первобытной техники. – Археология и естественные науки. М., Наука: 216-222.
- Семенов С.А. 1968. Развитие техники в каменном веке. Л., Наука.
- Семенов С.А. 1974. Проникновение земледелия. Л., Наука.
- Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. 1983. Технология древнейших производств. Л., Наука.
- Семенов Ю.И. 1966. Категория "социальный организм" и ее значение для исторической науки. – Вопросы истории, 8: 88-106.
- Семенов Ю.И. 1973. Теоретические проблемы "экономической антропологии". – Этнологические исследования за рубежом. М., Наука: 30-76.
- Серебряников О.Ф., Уемов А.И. 1973. Проблема возникновения нового знания и теория умозаключений. – Синтез современного научного знания. М., Наука: 475-498.
- Сержантов В.Ф. 1972. Введение в методологию современной биологии. Л., Наука.
- Сетров М.И. 1967. Об общих элементах тектологии А. Богданова, кибернетики и теории систем. – Ученые записки кафедр общественных наук вузов г. Ленинграда, в. VII. Философия. Л., изд. ЛГУ: 49-60.
- Сетров М.И. 1970. Принцип системности и его основные понятия. – Проблемы методологии системного исследования. М., Мысль: 49-63.
- Сигеле Сц. 1894 Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. Пер. с франц. Спб, типогр Ф. Павленкова (1893 Новгород, Н.С. Тютчев).
- Смирнов И.И. 1932. Возможна ли марксистская "история материальной культуры"? – Сообщения ГАИМК, № 1-2: 37-46.
- Смирнов Ю.А. 1994. Некоторые общие положения теории отражения социального статуса умершего в погребальном обряде. Общие замечания. – Теория и прикладные методы в археологии. Межвузовский сборн. научн. тр. Саратов, издат. Саратовского университета: 18-24.

- Смирнов Ю.А. 1997. Лабиринт (морфология преднамеренного погребения). М., Восточная литература.
- Соколов Э.В. 1972. Культура и личность. Л., Наука.
- Сталин И.В. 1913/1946. Марксизм и национальный вопрос. – Просвещение, № 3-5 (март – май). [Под заглавием “Национальный вопрос и социал-демократия”, за подписью “К. Сталин”]. Сталин И.В. Полн. Собр. соч. М., ОГИЗ, Т. 2, 1946: 290-367.
- Тавадзе Ф., Сакравелидзе Т. 1959. Бронзы древней Грузии. Тбилиси, изд. АН Груз ССР.
- Тард Г. 1901. Социальная логика. Спб. Ю.Н. Эрлих (1996, Спб., Социально-психол. Центр).
- Тард Г. 1902. Общественное мнение и толпа. Пер. с франц. Тов-во А.И. Мамонтова (1903 – Личность и толпа. Пер. с франц. Спб., А. Большаков, Д. Голов)
- Тард Г. 1906. Социальные законы. Спб., типогр. П.П. Сойкина.
- Тард Г. 1907. Сравнительная преступность. М., тов-во И.Д. Сытин.
- Тард Ж. (ошибка переводчика, нужно Г.). 1892. Законы подражания. Спб., Ф. Павленков (ориг. 1890).
- Тахтаджян А.Л. 1972. Тектология: история и современные проблемы. – Системные исследования. Ежегодник – 1971. М., Наука: 200-277.
- Терехова Н.Н., Розанова Л.С., Завьялов В.И., Толмачева М.М. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М., 1997.
- Титов В.С. 1982. К изучению миграций бронзового века. – Археология Старого и Нового Света. М., Наука: 89-145.
- Тихонов И.Л. 2008. Археологическая библиография. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, ВВМ.
- Тихонов С.С., Томилов Н.А. 1993. Об омской программе “Этнографо-археологический комплекс”. – Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Спб., ч. I: 43-46.
- Тишков В.А. 1997. Очерки теории и политики этничности в России. М., Русский мир.
- Тишков В.А. 1999. Забыть о нации (Пост-националистическое понимание национализма). – Вопросы философии, 1.
- Тишков В.А. 2000. Нация – это метафора. Интервью Е. Звягиной. – Дружба народов, 7.
- Тишков В.А. 2003. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., Наука.

- Тодоров Ц. 1957. Принципы этногенетических исследований. – Сов. этногр., 3: 3-9.
- Токарев, Чебоксаров. 1951. Методология этногенетических исследований на материале этнографии в свете работ И.В. Сталина по вопросам языкознания. – Советская Этнография, 3: 7-14.
- Токарев С.А. 1949. К постановке проблем этногенеза. – Сов. этногр., 3: 12-36.
- Токарев С.А. 1964. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии). – Вопросы философии, 11: 43-53.
- Толстов С.П.. 1930. К проблеме аккультурации. – Этнография, 1-2: 63-87.
- Томилов Н.А. 1996. Этноархеология и этнографо-археологический комплекс. – Этнографо-археологические комплексы. Проблемы культуры и социума. Том I. Новосибирск, Наука, Сибирская издательская фирма РАН: 10-25.
- Томилов Н.А. 1998. Проблема этнографо-археологических комплексов в исследованиях омских этноархеологов. – Этнографическое обозрение, 1: 1-14.
- Томилов Н.А. 1999. Этноархеология как научное направление. – Этнографическое обозрение, 6: 75-84.
- Третьяков П.Н. 1934. К истории доклассового общества Верхнего Поволжья. – Известия ГАИМК, 106: 907-180.
- Третьяков П.Н. 1962а. Бологовское городище. – Краткие сообщения Инст. археологии АН СССР, 87: 36-41.
- Третьяков П.Н. 1962б. Этногенетический процесс и археология. – Советская археология, 4: 3-16.
- Третьяков П.Н. 1966. Основные итоги работ Верхнеднепровской археологической экспедиции. – Древности Белоруссии. Минск: 114-126. .
- Третьяков П.Н. 1970. Вопросы и факты археологии восточных славян. – Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабовладения и феодализма. М., Наука: 161-188.
- Тростников В.Н. 1970. Человек и информация. М., Наука.
- Трофимова Т.А. 1948. Краниологические данные и этногенез у западных славян. – СЭ, 2: 39-61.
- Трубачев О.Н. 1959. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., изд. Академии наук СССР.
- Трубачев О.Н. 1960. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., изд. Академии наук СССР.

- Трубачев О.Н. 1966. Ремесленная терминология в славянских языках. М., Наука.
- Трубачев О.Н. 1968. О составе праславянского словаря (проблемы и результаты). – Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Докл. советск. делег. М., Наука: 366-378.
- Тэйлор Э. 1939. Первобытная культура. М., Соцэкгиз (ориг. 1871, нов. изд.: Тайлор Э. 1989. Первобытная культура. Пер. с англ. М., Политиздат).
- Удальцов А.Д. 1944. Теоретические основы этногенетических исследований. – Известия Академии наук СССР, серия ист. и филос., 1 (6): 252-265.
- Удальцов А.Д. 1949. Проблема происхождения славян в свете современной археологии. – ВИ, 2: 14-25.
- Удальцов А.Д. 1953. Роль археологического материала в изучении вопросов этногенеза в свете работ И.В. Сталина о языке. – Против вульгаризации марксизма в археологии. М., изд. Академии наук СССР: 16-18.
- Уледов А.К. 1974. К определению культуры как социального явления. – “Философские науки”, № 2: 22-29.
- Урсул А.Д. 1971. Информация. Методологические аспекты. М., Наука.
- Устюгова Е.Н. 2003. Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля, СПб., изд. Санкт-Петербургского университета.
- Филин Ф.П. 1962. Образование языка восточных славян. М.-Л., изд. Академии наук СССР.
- Филиппов А.К. 1991. Мифологичность искусства палеолита. – Реконструкция жревичих верований: источники, метод, цель. СПб., изд. ГМИР: 51-67.
- Филиппов А.К. 2004. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб., Сохранение природы и культурного наследия.
- Финни Д.Дж. 1970. Введение в теорию планирования экспериментов. М., Наука.
- Формозов А.А. 1957. Могут ли служить орудия каменного века этническим признаком? – Советская Археология, 4: 66-74.
- Формозов А.А. 1961. Сосуды со знаками эпохи энеолита и бронзы и история письменности. – Вестник Древней Истории, 2: 180-183.
- Формозов А.А. 1969. Очерки по первобытному искусству. М., Наука.
- Формозов А.А. 1983. К проблеме “очагов первобытного искусства”. – Советская Археология, 3: 5-13.
- Формозов А.А., Отрощенко В.В. 1988. К проблеме письменности у племен Северного Причерноморья в эпоху раннего металла. – *Studia Praehistorica, Sofia*, T. 9: 147-178.

- Фосс М.Е. 1952. Древнейшая история Севера Европейской части СССР (МИА 29). Москва, изд. АН СССР.
- Французова Н.П. 1972. Исторический метод в научном познании. М., Мысль.
- Хазанов А.М. 1960. Скифские коллективные погребения в Крыму. – Сборник студенческих докладов на V Всесоюзной археологической конференции. М.: 28-36.
- Хайлов К.М. 1970. Системы и систематизация в биологии. – Проблемы методологии системного исследования. М., Мысль: 127-145.
- Харке Г., Савенко С.Н. 2000а. Проблемы исследования древних погребений в западноевропейской археологии. – Российская Археология, 2000, 1: 217-226.
- Харке Г., Савенко С.Н. 2000б. Проблемы исследования древних погребений в американской археологии. – Российская Археология, 2000, 2: 212-220.
- Хлобыстина М.Д. 1993. Древнейшие могильники Восточной Европы как памятники социальной истории. СПб. (ИИМК, Археологические Изыскания, 8).
- Цимиданов В.В. 2004. Социальная структура срубного общества. Донецк, Институт археологии НАН Украины.
- Чебоксаров Н.Н. 1964. Проблема происхождения древних и современных народов (VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук). М.
- Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. 1971. Народы – расы – культуры. М., Наука.
- Черных Е.Н. 1965. Спектральный анализ и изучение древнейшей металлургии Восточной Европы. – Археология и естественные науки. М., Наука: 96-110.
- Черных Е.Н. 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., Наука.
- Черныш А.П. 1980. К вопросу о длительности существования палеолитических поселений и количестве их обитателей (по материалам Прикарпатья). – Первобытная археология – поиски и находки. К., Наукова думка: 57-63.
- Черныш В.И. 1968. Информационные процессы в обществе. М., Наука.
- Чесноков Д.И. 1965. Исторический материализм. Изд. 2-е. М., Мысль.
- Чистов К.В. 1972. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры. – Советская Этнография, 3: 73-85.
- Членова Н.Л. 1963. Памятники переходного карасук-тагарского времени в минусинской котловине. – Советская Археология, 3: 48-66.
- Членова Н.Л. 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., Наука.

- Чмихов М.О. [Чмыхов Н.А.] 1978. Зодіакальний принцип датування в археології. – Вісник Київського Університету, Историчні науки, вип. 20: 98-109.
- Чмихов М.О. [Чмыхов Н.А.], Черняков І.Т. 1988. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України. К., НМК ВО.
- Шелепов Г.В. 1967. Общность происхождения – признак этнической общности. – Советская Этнография, 4: 65-74.
- Шенников А.А. 1967. О понятии “этнографический комплекс”. – Доклады Отделений и Комиссий Географического Общества СССР (Л.), 3: 39-57: 39-57.
- Шепли Х. 1958. Изменения климата. Сборник статей. Пер. с англ. М., Иностранная литература.
- Шер Я.А. 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., Наука.
- Шер Я.А. 2004. Еще об археологических источниках и заключенной в них информации. – Археолог: детектив и мыслитель. Сборник статей, посвященный 77-летию Льва Самойловича Клейна. СПб., изд. Санкт-Петербургского университета: 114-123.
- Широкогоров С.М. 1923. Этнос: исследование основных принципов изменений этнических и этнографических явлений (Известия восточного факультета Дальневосточного университета, XVIII, т. 1). Шанхай, Сибирпресс.
- Шмидт А.В. 1932. Об использовании археологических материалов в работах по истории материальной культуры. – Сообщения ГАИМК, № 1-2: 12-17.
- Шнирельман В.А. 1979. Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке. – Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М., Наука: 126-163.
- Шнирельман В.А. 1980. Происхождение скотоводства. М., Наука.
- Шнирельман В.А. 1984. Этноархеология – 70-е годы. – Советская Этнография, 2: 100-113.
- Шнирельман В.А. 1988. Этноархеология. – Этнография и смежные дисциплины, этнографические субдисциплины, школы и направления. Методы. М., Наука: 95.
- Шниттельман В.А. 1989. Возникновение производящего хозяйства. М., Наука.
- Штофф В.А. 1963. Роль моделей в познании. Л., изд. Ленинградского университета.
- Штофф В.А. 1966. Моделирование и философия. М.-Л., Наука.
- Шумкин В.Я. 1991. Лапландские нойды и саамский “шаманизм”. – Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., изд. ГМИР: 162-169.
- Щапова Ю.Л. 1963. Стекланные изделия Новгорода (МИА, 117). М., Наука: 104-147.

- Щапова Ю.Л. 1965. Спектральный анализ и история стекла. – Археология и естественные науки. М., Наука: 111-118.
- Щапова Ю.Л. 1972. Стекло Киевской Руси. М., изд. МГУ.
- Щапова Ю.Л. 1983. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М., изд. МГУ.
- Щапова Ю.Л. 1988. Естественно-научные методы в археологии. М., изд. МГУ.
- Щапова Ю.Л. 2011. Материальное производство в археологическую эпоху. Концепция и модель. М., Алетейя.
- Щукин М.Б. 1967. О трех датировках черняховской культуры. – Краткие Сообщения ИА АН СССР, в. 112: 8-13.
- Щукин М.Б. 1970. К вопросу о хронологии черняховских памятников Среднего Поднепровья. – Краткие Сообщения ИА АН СССР, в. 121: 104-113.
- Щукин М.Б. 1977. Современное состояние готской проблемы и черняховская культура. – Археологический сборник Гос. Эрмитажа 18: 79-91.
- Щукин М.Б. 1979. К предыстории черняховской культуры: Тринадцать секвенций. – Археологический сборник Эрмитажа, 20: 66-89.
- Экспериментальная 1991. = Экспериментальная археология. Сб. науч. тр. ТГПИ., 1, 2, 1991.
- Экспериментально-трассологические 1994. = Экспериментально-трассологические исследования в археологии. СПб.
- Энгельгардт В.А. 1970а. Интегратизм – путь от простого к сложному в познании явлений жизни. М., Ин-т философии АН СССР.
- Энгельгардт В.А. 1970б. Интегратизм – путь от простого к сложному в познании явлений жизни. – ВФ, № 11: 103-115.
- Энгельгардт В.А. 1970в. Интегратизм – путь от простого к сложному. – Наука и жизнь, № 5: 8-15.
- Эндзелин Я. 1952. Древнейшие славяно-балтийские языковые связи. – Изв. АН Латв. ССР, 3: 33-46.
- Этнография 1979. Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М., Наука.
- Этнографо-археологические 1996 = Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Т. I. Новосибирск, Наука, 1996.
- Эшби У.Р. 1962. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения. Пер. с англ. М., Иностранная Литература.
- Эшби У.Р. 1964. Система информации. – Вопросы философии, № 3: 78-85.

- Юдин Э.Г. 1978. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука.
- Яблонский Л.Т. 1980. К палеодемографии населения средневекового города Сарая Бату (Селитренное городище). – Советская Этнография, 1: 142-148.
- Яблонский Л.Т. 1985. Палеодемография. – Демографический энциклопедический словарь. Под ред. Валлентея Д.И.М., Советская Энциклопедия.
- Яйленко В.П. 1983. К вопросу об идентификации рек и народов Геродотовой Скифии. – СЭ, 1: 54-65.
- Яковлев Б.Д. 1978. Методологические проблемы исследования социалистической духовной культуры. Л., изд. ЛГУ.
- [Renfrew C.] 2001a. From social to cognitive archaeology, an interview with Colin Renfrew. – Journal of Social Archaeology, 1 (1), 13-34.
- Acsádi G. and Nemeskéri J. 1970. History of human life span and mortality. Budapest, Akademiai Kiadó.
- Acsádi G. and Nemeskéri J. 1974. History of human life span and mortality: A book review. – Current Anthropology, 15 (4): 495-507.
- Adams M. 1991. A logic of archaeological inference. – Journal of Theoretical Archaeology, 2: 1-11.
- Adams W.Y. 1968. Invasion, diffusion, evolution? – Antiquity, 42 (167): 194-215.
- Adams W.Y., Van Gerven D.P., Levy R.S. 1978. The retreat from migrationism. – Annual Review of Anthropology, 7: 483-532.
- Agrawal D.P. 1970. Archaeology and the Luddites. – Antiquity, vol. 44, № 174: 115-119.
- Akalu A. and Stjernquist P. 1988. To what extent are ethnographic analogies useful for the reconstruction of prehistoric exchange? – Trade and exchange in prehistory: Studies in honour of Berta Stjernquist (Acta Archaeologica Lundensia, ser.n 8°, No. 16). Lund: 5-13.
- Ammerman A.J. and Cavalli-Sforza L.L. 1979. The Wave of Advance Model for the spread of agriculture in Europe. – Renfrew C. (ed.). Transformations: Mathematical approaches to culture change. New York: 275-293.
- Anderson A. 1984. Interpreting pottery. London. Batsword; New York, Universe.
- Anderson K.M. 1969. Ethnographic analogy and archeological interpretation. – Science, 163: 133-138.
- Andree R. 1878. Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart, Jul. Maier.
- Andree R. 1889. Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Neue Folge. Leipzig, Vest und Comp.

- Angel J.L. 1947. The length of life in ancient Greece. – *Journal of Gerontology*, 2: 18-24.
- Angel J.L. 1969. The bases of paleodemography. – *American Journal of physical anthropology*, 30 (3): 427-438.
- Animals 1983-84. = *Animals and archaeology*. Vols. I-IV. Oxford, BAR.
- Anthony D.W. 1990. Migration in archaeology: the baby and the bathwater. – *American Anthropologist*, 92: 895-914.
- Anthony D.W. 1992. The bath refilled: migration in archaeology again. – *American Anthropologist*, 94: 174-176.
- Archäologische Informationen, 19, 1&2 (Völkerwanderungen – Migrationen).
- Arens W. 1979. *The man-eating myth*. Oxford, Oxford University Press.
- Ascher R. 1959. A prehistoric population estimate using midden analysis and two population models. – *Southwestern Journal of Anthropology*, 15: 168-178.
- Ascher R. 1961. Analogy in archaeological interpretation. – *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 17: 317-325 (repr. in: Deetz J. (ed.). *Man's imprint from the past*. Boston, Little, Brown and Co: 262-271).
- Ascher R. 1962. Ethnography for archaeology: a case from the Seri Indians. – *Ethnology*, vol. 1: 360-369.
- Ascher R. 1968. Time's arrow and the archaeology of a contemporary community. – Chang K.C. (ed.). *Settlement archaeology*. Palo Alto, Calif.: 43-52.
- Asher R. 1961. Experimental archaeology. – *American Anthropologist*, 63 (4): 793-816.
- Aston M. 1985. *Interpreting the landscape*. London, Batsford.
- Atkinson, R.J.C. 1968. Old mortality: Some aspects of burial and population in Neolithic England. – *Studies in ancient Europe: Essays presented to Stuart Piggott*. Edited by J.M.Coles and D.D.A. Simpson. Leicester: Leicester University Press: 83-93.
- Bailey G.N. (ed.). *Hunter-gatherer economy in prehistory: a European perspective*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Barker G. *Prehistoric farming in Europe*. Cambridge and New York, Cambridge University Press.
- Battarbee R.W. 1986. Diatom analysis. – Berglund B.E. (ed.). *Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology*. London, Wiley: 527-570.
- Beals A., Spindler G. and Spindler L. 1967. *Culture in process*. New York, Holt (chapt. "The transmission of culture").
- Becker R. 2011. *Das Experiment in den Sozialwissenschaften*. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Beer A. S. 1959. Cybernetics and management. London, English Universities Press (русск. перев. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. Москва, Физматгиз, 1963).
- Behrens H. 1975. Wirtschaft und Gesellschaft im Neolithikum des Mittelelbe-Saale-Gebiet (Methodische Grundlegung und systematische Ergebnisse). – Prähistorische Zeitschrift, Bd. 50: 141-160.
- Behrens H. und Padberg W. 1976. Verhaltensforschung und Urgeschichtsforschung. – V. Johst (Hrsg.). Biologische Verhaltensforschung am Menschen. Berlin, Akademie-Verlag: 97-110.
- Behrens H. und Padberg W. 1978. Urgeschichtsforschung und Ethnologie. – Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte, Bd. 62: 37-49.
- Bender B. 1975. Farming in prehistory. From hunter-gatherer to food-producer. London, John Baker.
- Benedict R. 1934. Patterns of culture. Boston – New York, Houghton Mifflin.
- Berge P.L. van den. 1981. Ethnic phenomenon. New York, Elsevier.
- Bergmann J. 1970. Die ältere Bronzezeit Nordwestdeutschlands. Neue Methoden zur ethnischen und historischen Interpretation urgeschichtlicher Quellen, Kassel, 1970 (71).
- Bergmann J. 1973. Analogieschluß und interdisziplinäre Zusammenarbeit. – Archäologische Korrespondenzblatt, 3: 269-274.
- Bergsland K. & Vogt H. 1962. On the validity of glottochronology. – Curr. Anthropol. 3: 115-153.
- Bernhard W., Kandler-Pálsson A. (Hrsg.). 1986. Ethnogenese europäischen Völker. Aus der Sicht der Anthropologie und Vor- und Frühgeschichte. Stuttgart, Fischer.
- Bertalanffy L., von. 1950. An outline of General System Theory. – The British Journal for the Philosophy of Science, vol. 1, no. 2: 134-165.
- Bertalanffy L., von. 1962. General System Theory; a critical review. – General Systems, 7: 1-20.
- Binford L.R. 1962. Archaeology as anthropology. – American Antiquity, 28 (2): 217-225 (reprint. in: Binford L.R. (ed.). An archaeological perspective. New York and London, Seminar Press: 20-32).
- Binford L.R. 1965. Archaeological systematic and the study of cultural process. – American Antiquity, vol. 31: 203-210 (Reprint. in: Binford 1972: 195-207).
- Binford L.R. 1967a. Comment on K.C. Chang's "Major aspects of interrelationship of archaeology and ethnology". – Current Anthropology, vol. 8, no. 3: 234-235.

- Binford L.R. 1967b. Major aspects of the interrelationship of archaeology and ethnology. Comment to K.C. Chang. – *Current Anthropology*, 8 (3): 234-235 (repr. in Binford 1972: 68-73).
- Binford L.R. 1967c. Smudge pits and hide smoking: The use of analogy in archaeological reasoning. – *American Antiquity*, 32: 1-12 (repr. Deetz J. (ed.). 1971. *Man's imprint from the past*. Boston, Little, Brown and Co: 272-292; Binford, 1972: 33-51).
- Binford L.R. 1968a. Archaeological perspectives. – In: Binford and Binford 1968: 5-32 (Reprint. in: Binford 1972: 78-104).
- Binford L.R. 1968b. Methodological considerations of the archaeological use of ethnographic data. – Lee R.B. and DeVore I. (eds.). *Man the hunter*. Chicago, Aldine: 268-273 (repr. in Binford 1972: 59-67).
- Binford L.R. 1968c. Post-Pleistocene adaptations. – Binford S.R. and L.R. (eds.). *New perspectives in archaeology*. Chicago, Aldine: 313-341.
- Binford L.R. 1968d. Some comments on historical versus processual archaeology. – *Southwestern Journal of Anthropology*, 24: 267-268 (repr. Binford 1972: 114-121).
- Binford L.R. 1971a. Mortuary practices: Their study and their potential. – Brown J.A. (ed.). *Approaches to the social dimensions of mortuary practices*. – *Society for American Archaeology, Memoir* 25: 6-29.
- Binford L.R. 1971b. Social dimensions of mortuary practices. – *American Antiquity*, 36: 6-29.
- Binford L.R. 1972a. Contemporary model building: paradigms and the current state of Palaeolithic research. – Clarke 1972a: 109-166 (Reprint. in: Binford 1972a: 252-294).
- Binford L.R. 1972b. *An archaeological perspective*. New York and London, Seminar Press.
- Binford L.R. 1977. *For theory building in archaeology*. New York et al., Academic Press.
- Binford L.R. 1978a. *Nunamiut ethnoarchaeology*. New York et al., Academic Press.
- Binford L.R. 1978b. Dimensional analysis of behavior and site structure: Learning from an Eskimo hunting stand. – *American Antiquity*, 43: 330-361.
- Binford L.R. 1981a. Behavioral archaeology and the 'Pompeii premise'. – *Journal of Anthropological Research*, 37: 195-208.
- Binford L.R. 1981b. *Bones: ancient men and modern myths*. New York et al., Academic Press.
- Binford L.R. 1982. Meaning, inference and the material records. – Renfrew C. and Shennan S. (eds.). *Ranking, resource and exchange*. Cambridge, Cambridge University Press: 160-163.

- Binford L.R. 1989. Data, relativism, and archaeological science (1987). – L.R. Binford. *Debating archaeology*. San Diego et al., Academic Press, 1989: 55-57.
- Binford L.R. 1973. Interassemblage variability – the Mousterian and the “functional” argument. – *Renfrew* 1973: 227-254.
- Binford L.R. and Binford S.R. 1966. A preliminary analysis of functional variability of Levallois Facies. – *American Anthropologist*, vol. 68, no. 2, pt. 2: 238-295.
- Binford S.R. 1968. Ethnographic data and understanding the Pleistocene. – Lee and DeVore: 274-275.
- Binford S.R. and Binford L.R. (eds.) 1968. *New perspectives in archaeology*. Chicago: Aldine.
- Bintliff J.L. 1991. Post-modernism, rhetoric and scholasticism at TAG: the current state of British archaeological theory. – *Antiquity* 65: 274-278.
- Bintliff J.L. 1993. Why Indiana Jones is smarter than the Post-Processualists. – *Norwegian Archaeological Review* 26 (2): 91-100.
- Bloch M. 1971. *Placing the dead*. London, Seminar Press.
- Boas F. 1924. Evolution or diffusion. – *American Anthropologist*, vol. 26: 340-344.
- Bocquet-Appel J.-P. 2008. Recent advances in palaeodemography: data, techniques, patterns. Dordrecht, Netherlands.
- Bocquet-Appel J.-P. and Masset C. 1982. Farewell to paleodemography. – *Journal of Human Evolution*, 11: 321-333.
- Bohannon P. 1973. Rethinking culture: a project for current anthropologists (with comments). – *Current Anthropology*, 14 (4): 357-372.
- Bökönyi S. 1953. Reconstruction des mors en bois de cerf et en os. – *Acta Archaeologica Hungarica*, III (1-4): 113-122.
- Bökönyi S. 1969. Archaeological problems and methods of recognizing animal domestication. – Ucko P.J. and Dimbleby G.W. (eds.). *The domestication and exploitation of plants and animals*. London, Duckworth: 219-229.
- Borkovskij I. 1933. The origin of the culture with corded ware in Central Europe. – *Proceedings of the Prehistoric Congress (London 1932)*: 211-213.
- Boserup E. 1965. *The conditions of agricultural growth*. Chicago. Aldine.
- Bouchli V. (ed.). 2004. *Material culture: critical concepts in social sciences*. London, Routledge.
- Bouzek J. 1982. K otázce využití etnografických paralel při studiu pohřebního ritu v archeologii. – *Archeologické Rozhledy*, 24 (1): 200-203.
- Bradley R. 1984. *The social foundations of British prehistory: themes and variations in the archaeology of power*. London, Longman.

- Bradley R.S. 1985. *Quaternary paleoclimatology: Methods of paleoclimatic reconstruction*. Boston & London, Allen and Unwin.
- Braukämper U. 1992. *Migration und ethnischer Wandel. Untersuchungen aus der östlichen Sudanzone*. Stuttgart, F. Steiner.
- Braukämper U. 1996. Zum Verhältnis von Raum und Zeit bei Migrationen in Afrika. – *Archäologische Informationen*, 19, 1&2: 51-65.
- Brew J.O. 1946. The use and abuse of taxonomy. – *Archaeology of Alkali Ridge, Southwestern Utah* (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, № 21). Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press: 44-66 (reprinted in: Deetz J. *Man's imprint from the past*. Boston, Little, Brown & Co.: 73-107).
- Brodrick A.H. (ed.). 1972. *Animals in archaeology*. New York and Washington, Praeger; London, Barry and Jenkins.
- Bronitsky G. 1986. The use of materials science techniques in the study of pottery construction and use. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, 9. New York and London, Academic Press: 209-276.
- Brothwell D. and P. 1969. *Food in antiquity*. London, Thames and Hudson.
- Brothwell D.R. 1971. Palaeodemography. – Brass W. (ed.). *Biological aspects of demography*. London, Taylor & Francis: 111-130.
- Brown J.A. 1971. The dimensions of status in the burials at Spiro. – Brown J.A. (ed.). *Approaches to the social dimensions of mortuary practices*. – *Society for American Archaeology, Memoir* 25: 92-112.
- Brown J.A. 1981. The search for ranks in prehistoric burials. – Chapman, Kinnes and Randsborg 1981: 25-37.
- Bryant V.M. and Holloway R.C. 1983. The role of palynology in archaeology. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, 6: 191-224.
- Budziszewska W. 1965. *Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej*. Wrocław – Warszawa – Kraków, Ossolineum.
- Bulkin V.A., Klejn L.S., Lebedev G.S. 1982. Attainments and problems of Soviet archaeology. – *World Archaeology*, 13 (3): 272-295.
- Burmeister S. 1996. Migration und ihre archäologische Nachweisbarkeit. – *Archäologische Informationen*, 19, 1&2: 13-21.
- Burton H. 1979. The arrival of the Celts in Ireland: archaeology and linguistics. – *Expedition*, 21 (3): 16-22.
- Burton-Brown T. 1967. Thoughts on the diffusionist theory. – *Palaeologia* (Osaka) 1: 1-9.
- Butzer K.W. 1982. *Archaeology as human ecology*. Cambridge, Cambridge University Press.

- Butzer K.W. 1983. Global sea-level stratigraphy: an appraisal. – *Quaternary Science Reviews*, 2: 1-15.
- Carpenter J. 1963. *Societies of monkeys and apes (1942)*. – Southwick C.H. (ed.). *Primate social behavior: an enduring problem*. Princeton, N.J., Van Nostrand Reinhold: 24-51.
- Carr Chr. 1985. Alternative models, alternative technique: Variable approaches to intrasite spatial analysis. – Carr Chr. (ed.). *For concordance in archaeological analysis: Bridging data structure, quantitative technique, and theory*. Kansas City, Westport Press: 302-473.
- Carr Chr. 1991. Left in the dust: Contextual information in model-focused archaeology. – Kroll and Price: 221-256.
- Carver M. 2004. Editorial. – *Antiquity*, 78 (311): 509-512.
- Casteel R.W. 1974. *Fish remains in archaeology and paleo-environmental studies*. New York and London, Academic Press.
- Chamberlain A. 2006. *Demography in archaeology (a review of current theory and method)*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Champion T.C. 1992. Migration revived. – *Journal of Danish Archaeology*, 9 (1990): 214-218.
- Chang K.C. 1967a. Major aspects of interrelationship of archaeology and ethnology. – *Current Anthropology*, 8 (3): 227-243.
- Chang K.C. 1967b. *Rethinking archaeology*. New York: Random House.
- Chang K.C. (ed.). 1968. *Settlement archaeology*. Palo Alto, National Press.
- Chaplin R.E. 1971. *The study of animal bones from archaeological sites*. London and New York, Seminar Press and Academic Press.
- Chapman R., Kinnes I. and Randsborg K. (eds.). 1981. *Archaeology of death*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Chappell J. and Shackleton N.J. 1986. Oxygen isotopes and sea level. – *Nature*, 324: 137-140.
- Childe V.G. 1926. *The Aryans*. London, Routledge.
- Childe V.G. 1930. *The Bronze Age*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Childe V.G. 1945. Directional changes in funerary practices during 50 000 years. – *Man*, vol. 45 (4): 13-19.
- Childe V.G. 1950. *Prehistoric migrations in Europe*. Oslo, Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning (ser. A: Forelesninger 20).
- Childe V.G. 1956. *Piecing together the past: The interpretation of archaeological data*. London, Routledge and Kegan Paul.

- Clark H.H. 1975. *Cereals in archaeology*. London and New York, Academic Press.
- Clark J.G.D. 1939/1957. *Archaeology and society*. Cambridge, Mass., Harvard University Press (Arch. & soc.: *Reconstructing the prehistoric past*. 2nd ed., 1957).
- Clark J.G.D. 1951. Folk-culture and the study of European prehistory. – Grimes W.F. (ed.). *Aspects of prehistory: Essays presented to O.G.S. Crawford*. London, H.E. Edwards: 49-65.
- Clark J.G.D. 1952. *Prehistoric Europe: the economic basis*. London, Methuen (русск.перев.: Кларк Г. 1954. *Донисторическая Европа. Экономический базис*. М., ИЛ).
- Clark J.G.D. 1953. *Archaeological theories and interpretations: Old World*. – Kroeber A. L. (ed.). *Anthropology today*. Chicago, University of Chicago Press: 343-360.
- Clark J.G.D. 1957. *Archaeology and society*. 2nd ed. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Clark J.G.D. 1966. The invasion hypothesis in British archaeology. – *Antiquity*, 40 (159): 172-189.
- Clark J.G.D. 1986. *Symbols of excellence: precious materials as expression of status*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Clark J.G.D. 1989. *Economic prehistory. Papers on archaeology*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Clarke D.L. 1968. *Analytical archaeology*. London: Methuen (2nd ed. 1971).
- Clarke D.L. (ed.). 1972a. *Models in archaeology*. London: Methuen.
- Clarke D.L. 1972b. *Models and paradigms in contemporary archaeology*. – In: Clarke 1972a: 1-60.
- Clarke D.L. 1973. *Archaeology: the loss of innocence*. – *Antiquity*, vol. 47, no. 185: 6-18.
- Clarke G.R. 1971. *The study of soil in the field*. 5th ed. Oxford, Oxford university Press.
- Clutton-Brock J. 1981. *Domesticated animals from early times*. London, Heinemann (British Museum, Natural History).
- Coghlan H.H. 1951. *Notes on the prehistoric metallurgy of copper and Bronze in the Old World*. Oxford, Pitt Rivers Museum.
- Coghlan H.H. 1956. *Notes on prehistoric and early iron metallurgy in the Old World*. Oxford, Pitt Rivers Museum.
- Coles J. 1968. *Experimental archaeology*. – *Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland*, 99, 1966-67: 1-20.
- Coles J. 1973. *Archaeology by experiment*. London, Hutchinson.

- Coles J. 1979. *Experimental archaeology*. London and New York, Academic Press
- Coles J.M. 1968. *Experimental archaeology*. – *Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland*, sess. 1966-67, vol. XCIX: 1-20.
- Cook R.M. 1960. *Archaeological argument: some principle*. – *Antiquity*, vol. XXXIV: 177-179.
- Cook Sh.F. 1972. *Prehistoric demography*. McCaleb Module in Anthropology. Reading, Mass., Addison-Wesley.
- Cooke C.K. 1965. *Evidence of human migration from the rock art of Southern Rhodesia*. – *Africa*, 35 (3): 263-285.
- Cornwall J.W. 1957. *Bones for the archaeologist*. London, Pheonix House; New York, Macmillan (new ed. London, Dent 1974).
- Courty M.A., Goldberg P. & Macphail R. 1990. *Soils and micromorphology in archaeology*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Cowgill G.L. 1962. *An agricultural study of the southern Maya Lowlands*. – *American Anthropologist*, 64: 273-286.
- Cowgill G.L. 1975. *On causes and consequences of ancient and modern population changes*. – *American Anthropologist*, 77 (3): 505-525.
- Culberg C. 1968. *On artifact analysis. A study in systematic and classification of a Scandinavian Early Bronze Age Material...* (Acta Archaeologica Lundensia, ser. In 4, № 7). Lund – Bonn, Habelt – Glerup.
- Culberg C. 1970. *Reply on comments*. – *Norwegian Archaeological Review*, vol. 3: 50-72.
- Curwen E.C. and Hatt G. 1953. *Plough and pasture: the early history of farming; part I, prehistoric farming of Europe and the Near East*. New York, NY: Henry Schuman.
- Dalton G. 1967. *Tribal and peasant economies*. Garden City, New York, Natural History Press.
- Daniel G.E. 1950. *A hundred years of archaeology*. London, Duckworth.
- Daniel G.E. 1962. *The idea of prehistory*. London: Watts (Reedit.: Cleveland, Oh.: World, Baltimore, 1964).
- Daniel G.E. 1968. *One hundred years of Old World prehistory*. – Brew J.O. (ed.). *One hundred years of anthropology*. Cambridge, Mass., Harvard University Press: 55-93.
- Daniel G.E. 1971. *Editorial*. – *Antiquity*, vol. 45, no. 178: 85-86.
- Davis S.J. 1987. *The archaeology of animals*. London, Barsword; New Haven, Yale University Press.

- Deetz I. 1965. The dynamics of stylistic change in Archaean ceramics. *Urbana: University of Illinois* (Series in Anthropology, no. 4).
- Deetz I. 1967. Invitation to archaeology. Garden City, N. Y., The Natural History Press.
- Deetz I. 1968a. Cultural patterning of behavior as reflected by archaeological materials. — Chang K. C. (ed.). *Settlement archaeology*. Palo Alto, Calif., National Press: 31-42.
- Deetz I. 1968b. Hunters in archaeological perspective. — Lee and De Vore: 281-285.
- Deetz I. 1968d. The inference of residence and descent rules from archaeological data. — Binford and Binford 1968: 41-48.
- Delin W. 1979. Einige Überlegungen zum Charakter ketischer Wanderungen. — Durval P.M. et Kruta V. (eds.). *Les mouvements céltiques du Ve au Ie siècle avant notre ère* (IX Congrès International des sciences préhistoriques et protohistoriques). Paris: 15-20.
- Dimbleby G.W. 1967. *Plants and archaeology*. London, John Baker (new ed. 1978. London, Paladin).
- Dimbleby G.W. 1985. *The palynology of archaeological sites*. London and New York: Academic Press.
- Dingler H. 1978. *Das Experiment Sein Wissen und seine Geschichte*. München, Reinhardt.
- Doonan C.B. and Clewlow C.W., Jr. 1974a. A perspective on ethnoarchaeology. — Doonan and Clewlow: I-III.
- Doonan C.B. and Clewlow C.W., Jr. 1974b. *Ethnoarchaeology* (Monograph IV, Archaeological survey). Los Angeles, University of California Press.
- Dunnell R.C. 1971. *Systematics in prehistory*. New-York — London, Free Press and Colliers-Macmillan.
- Dunnell R.C. 1978. Archaeological potential of anthropological and scientific models of function. — Dunnell R.C. and Hall E.S. (eds.). *Archaeological essays in honor of Irving Rouse*. The Hague, Paris and New York, Mouton Publs.: 41-73.
- Dunnell R.C. 1978. Style and function: a fundamental dichotomy. — *American Antiquity*, 43 (2): 192-202.
- Earle T. 1987. Chiefdoms in archaeological and ethnological perspective. — *Annual Review of anthropology*, 16: 279-308.
- Earle T.K. and Christenson A.L. 1980. *Modelling change in prehistoric economies*. New York, Academic Press.
- Earle T.K. and Ericson J.E. (eds.). 1977. *Exchange systems in prehistory*. New York, Academic Press.

- Eggan F. 1954. Social anthropology and the method of controlled comparison. – *American Anthropologist*, vol. 56 (5, pt 1): 743-763.
- Eggers H.J. 1950. Das Problem der ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. – Dauter A. und Kirchner H. (Hrsg.). *Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft* (Wahle-Festschrift). Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag: 49-59.
- Eggers H.-J. 1959. *Einführung in die Vorgeschichte*. München, Piper.
- Eggert M.K.H. 1990. Die konstruierte Wirklichkeit: Bemerkungen zum Problem der archäologischen Interpretation am Beispiel der späten Hallstattzeit. *B Hefphaistos*, 10: 5-20.
- Eggert M.K.H. 1991. Ethnoarchäologie und Töpfereiforschung, eine Zwischenbilanz. – Lüdtker H. und Vossen R. (Hrsg.). *Töpfereiforschung – archäologisch, ethnologisch, volkskundlich*. Bonn, Habelt: 39-52.
- Eggert M.K.H. 1993. Vergangenheit in der Gegenwart? Überlegungen zum interpretatorischen Potential der Ethnoarchäologie. – *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 144-150.
- Ehrenreich P. 1903. Zur Frage der Beurteilung and Bewertung ethnographischen Analogien. – *Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte*. Bd. 34: 176-180.
- Ehrich R.W. 1950. Some reflections on archaeological interpretation. – *American Anthropology*, 52 (4): 468-482.
- Ehrich R.W. 1963. Further reflections on archaeological interpretation. – *American Anthropology*, 65: 16-31.
- Einzig P. 1951. *Primitive money in its ethnological, historical and economic aspects*. 2d rev. and enlarged ed. Oxford et al., Eyre & Spottiswoode.
- Ellsworth L.F. and O'Brian M.A. 1969. Material culture: historical agencies and the historian. s. e. (non vidi, rev. by W. Wahnburn in *Hist. Archaeol.* IV, 1970).
- Erasmus Ch.J. 1950. Pattoli and Pachisi, and the limitation of possibilities. – *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 6: 369-387.
- Erasmus Ch.J. 1968. Thoughts on upward collapse: an essay on explanation in anthropology. – *Southwestern Journal of Anthropology*, 24: 170-194.
- Erdman G. 1943. *An introduction to pollen-analysis*. Waltham, Mass.
- Ericson J.E. and Earle T.K. (eds.). 1982. *Contexts for prehistoric exchange*. New York, Academic Press.
- Ethnoarchéologie 1992. *Ethnoarchéologie: justification, problèmes, limites*. Juan-les-Pins, ARDCA.

- Evans C. 1988. Monuments and analogy: The interpretation of causewayed enclosures. – Burgess C. et al. (eds.). *Enclosures and defences in the Neolithic of Western Europe*. Oxford, BAR, suppl. ser. 403): 47-73.
- Evans J.C. 1978. *An introduction to environmental archaeology*. London, Paul Elek; Ithaca, Cornell University.
- Evans J.G. 1973. *Land snails in archaeology*. London and New York, Academic Press.
- Faegri K., Ekaland P. and Krzywinski K. (eds.). 1989. *Textbook of pollen analysis*. 4th ed. London, Wiley (Caldwell, NJ., Blackburb Press, 2007).
- Fansa M. (Hrsg.). 1990-1991. *Experimentelle Archäologie in Deutschland*. Bd. 1-2. Oldenburg.
- Fetten F.G. und Noll E. 1992. Perspektiven der Ethnoarchäologie: Das Beispiel der Bestattungen in Molluskenhaufen. – *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 2: 161-207.
- Fewkes J.W. 1900. Tusayan migration traditions. – *Bulletin of American Ethnography Report 1897/98*, 19: 777-633.
- Findlow F.J. and Ericson J.E. (eds.). *Catchment Analysis: Essays on prehistoric research space* (Anthropology Univ. of California Los Angeles 10).
- Firth R. 1929. *Primitive economics of the New Zealand Maori*. New York, E.P. Dutton.
- Firth R. 1939. *Primitive Polynesian economy*. London, G. Routledge & Sons.
- Firth R. 1946. *Malay fishermen: their peasant economy*. London, Kegan Paul & Co.
- Fischer U. 1987. Zur Ratio der prähistorischen Archäologie. – *Germania* 65 (1): 175-195.
- Fischer U. 1991. Analogie und Urgeschichte. – *Saeculum* (Freiburg i. Br.), 41 (1990): 318-325.
- Fisher R.A. 1960. *The design of experiments*. 2d ed. Edinburgh, Oliver and Boyd.
- Flannery K.V. 1967. Culture history v. culture process: a debate in American archaeology. – *Scientific American*, 217 (2): 119-122 (reprint.: Leone 1972: 102-107).
- Flannery K.V. and Marcus J. 1993. Cognitive archaeology. – *Cambridge Archaeological Journal*, 3: 260-270 (reprinted in: Preucel and Hodder 1996: 350-363).
- Forbes R.J. 1955-1956. *Studies in ancient technology*. Leiden, E.J. Brill, vols. 1-4.
- Ford J. 1954. The type concept revisited. – *American Anthropologist*, vol. 56: 42-54.
- Fowler P.J. 1983. *The farming of prehistoric Britain*. Cambridge and New York, Cambridge University Press.
- Frank S. 1982. *Glass and archaeology*. New York and London, Academic Press.
- Freeman L.G., Jr. 1968. A theoretical framework for interpreting archaeological materials. – Lee R.B. and DeVore I. (eds.). *Man the hunter*. Chicago, Aldine: 262-267.

- Fried M.H. 1967. *The evolution of political society: an essay in political anthropology*. New York, Random House.
- Fritts H.C. 1976. *Tree rings and climate*. New York & London, Academic Press.
- Frobenius L. 1898. *Der Ursprung der afrikanischen Kulturen*. Berlin, Gebr. Bourntraeger.
- Fussell G.E. 1966. *Farming technique from prehistoric to modern times*. Oxford and New York: Pergamon Press.
- Gallay A. 1981. The western Alps from 2500 to 1500 bc (3400 to 2500 BC), tradition and cultural changes. – *Journal of Indo-European Studies*, 9: 33-55.
- Gamble C. 1992. Ancestors and agendas. – Yoffee N. and Shaerratt A. (eds.). *Archaeological theory – who sets the agenda?* Cambridge, Cambridge University Press: 39-51.
- Gamble C. 1993. People on the move: interpretations of regional variation. – Chapman J. and Dolukhanov P. (eds.). *Cultural transformations and interactions in Eastern Europe*. Avebury, Ashgate Publ.: 37-55.
- Gardin J.-C. 1974. A propos des modèles en archéologie. – *Révue Archéologiques*, fasc. 2: 341-348.
- Gardin J.-C. 1979. *Une archéologie théorique*. Paris, Hachette.
- Gazel C. 1967. *Analysis of prehistoric economic patterns*. New York, Holt, Rinehart & Winston.
- Gejvall N.-G. 1955. Vittnesbörd om folkvandringar. – *Fornvännen*, 50: 19-21.
- Génoves S. 1969a. Estimation of age and mortality. – Brothwell D. and Higgs E. (eds.). *Science in archaeology*. New York, Praeger: 343-352.
- Génoves S. 1969b. Sex determination in earlier man. – Brothwell D. and Higgs E. (eds.). *Science in archaeology*. New York, Praeger: 429-439.
- Gerloff W. 1947. *Die Entstehung des Geldes und die Anfänge des Geldwesens (Frankfurter Beiträge zu Kulturwissenschaft, Reihe 1)*. 3. neubearb. Aufl. Frankfurt a. M., Klostermann.
- Gifford E.W. 1928. Pottery making in the South-West. – *Publication of American Archaeology and Ethnology (University of California)*, vol. 23, pt. 8: 353-373.
- Gijn A.L. van. 1990. *The wear and tear of flint*. Leiden, Rjksuniversitet.
- Gilbert R.I. and Mielke J.H. 1985. *The analysis of prehistoric diets*. New York and London, Academic Press.
- Gimbutas M. 1961. Notes on the chronology and the expansion of the Pit-grave culture. – *L'Europe a la fin de l'âge de la pierre*. Praha, Éd. de l'Acad. tchécoslovaque des Sciences: 193-200.

- Gimbutas M. 1979. The three waves of the Kurgan people into Old Europe, 4500-2500 B. C. – *Archives suisses d'anthropologie générale* (Geneve), 43 (2): 240-269.
- Girya E.Yu. 1996. An assessment of the Experimental/Use-Wear Approach to the study of stone-knapping technology. – *World Archaeological Bulletin*, 8: 57-73.
- Gjessing G. 1955. Vittnesbörd om folkvandringar. – *Fornvännen*, 50: 1-10.
- Gjessing G. 1963. Socio-archaeology. – *Folk*, 5: 103-112.
- Gjessing G. 1967. Comment on: Chang K.C. Major aspects of interrelationship of archaeology and ethnology. – *Current Anthropology*, vol.8, no. 3: 237-238.
- Gjessing G. 1975. Socio-archaeology. – *Current Anthropology*, 16 (3): 323-341.
- Glassow M.A. 1967. Considerations in estimating prehistoric California coastal populations. – *American Antiquity*, 32: 354-359.
- Glassow M.A. 1978. The concept of carrying capacity in the study of culture process. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*. Vol. 1. New York et al., Academic Press: 31-48.
- Glazer N. and Moynihan D.P. (eds.). 1975. *Ethnicity: Theory and experience*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Godelier M. 1966. *Rationalité et irrationalité en économie*. Paris, Maspéro.
- Goldenweiser A.A. 1913. The principle of limited possibilities. – *Journal of American Folklore*, vol. 26: 259-292.
- Goldstein L.G. 1976. *Spatial structure and social organization: Regional manifestations of Mississippian society*. Ph. D. dissertation, University microfilms. Ann Arbor, Northwestern University.
- Goldstein L.G. 1980. *Mississippian mortuary practices: a case study of two cemeteries in the Lower Illinois Valley, Evanson, Ill.* (Northwestern University Archaeological Program, Scientific Papers, no. 4).
- Goodfellow D. 1939. *Principles of economic sociology*
- Gould R.A. (ed.). 1978. *Explorations in ethnoarchaeology*. Albuquerque, University of Mexico Press.
- Gould R.A. 1968. Living archaeology: the Ngatatjara of Western Australia. – *Southwestern Journal of Archaeology*, 24: 101-122.
- Gould R.A. 1971. The archaeologist as ethnographer: a case from the Western Desert of Australia. – *World Archaeology*, 3 (2): 143-177.
- Gould R.A. 1974. Some current problems in ethnoarchaeology. – *Donnan and Clewlow*: 27-48.
- Gould R.A. 1980. *Living archaeology*. Cambridge and New York, Cambridge University Press.

- Gould R.A. 1987. The ethnoarchaeology of abandonment in a Northern Finnish farming community. – *Oulun Yliopiston maantieteellatoksen julkaisu*, 107: 133-152.
- Gould R.A. and Schiffer M.B. (eds.). 1981. *Modern material culture: The archaeology of us*. New York, Academic Press.
- Gould R.A. and Watson P.J. 1982. A dialogue on the meaning and use of analogy in ethnoarchaeological reasoning. – *Journal of Anthropological Archaeology*, 1: 355-381.
- Govedarica B. und Kaiser E. 1996. Die mesolithischen abstrakten und zoomorphen Steinzepter. – *Eurasia Antiqua*, Bd. 2: 59-103.
- Graebner F. 1911. *Methode der Ethnologie*. Heidelberg, C. Winter, 1911 (Nachdruck 1966).
- Gray J. and Smith W. 1962. Fossil pollen and archaeology. Indianapolis, Bobbs – Merrill (repr. From *Archaeology*, 15: 16-26).
- Grayson D.K. 1984. *Quantitative zooarchaeology. Topics in the analysis of archaeological faunas*. New York and London, Academic Press.
- Greaves Sh. 1982. Upon the point: a preliminary investigation of ethnicity as a source of metric variation in lithic projectile points. Ottawa, National Museum of Canada (Archaeological survey of Canada, paper 109).
- Gregg S.A., Kintigh K.W., and Whallon R. 1991. Linking ethnoarchaeological interpretation and archaeological data: The sensibility of spatial analytical methods to postdepositional disturbance. – *Kroll and Price*: 149-196.
- Gruber J.W. 1967. *Ethnological needs for archaeological reconstruction: a Late Woodland example*. – Tooker E. (ed.), *Iroquois culture, history, and prehistory*. Albany, University of the State of New York, et al.: 109-113.
- Grüner H. 1979. Austausch und Handel in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. – *Preuss J. Hrg.*. – *Von der archaischen Quelle zur historischen Aussage*. Halle (Saale) u. Berlin, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg u. Akademie-Verlag: 183-219.
- Gudeman S. 1986. *Economics as culture: models and metaphors of livelihood*. London, Routledge & Kegan Paul.
- Guksch Chr.E. 1993. *Über Analogien. – Ethnographisch-Archaische Zeitschrift*, 34 (2): 151-157.
- Haberlandt A. 1912. *Prähistorisch-ethnographische Parallelen*. Braunschweig, F. Vieweck und Sothen.
- Hachmann R. 1970a. *Die Germanen*. München – Genf – Paris, Nagel.
- Hachmann R. (Hrg.). 1987. *Studien zum Kulturbegriff in der Vor- und Frühgeschichte*.

- forschung (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, 48). Bonn, Rudolf Habelt.
- Hachmann R. 1970b. Die Goten und Skandinavien. Berlin, De Gruyter.
- Hachmann R. 1971. Die Germanen (Archaeologia Mundi). Nagel, München – Genf – Paris, 204 стр.
- Hachmann R., Kossack G., Kuhn H. 1962. Völker zwischen Germanen und Kelten. Schriftquellen. Bodenfunde und Namengut zur Geschichte des nordlichen Westdeutschlands um Christi Geburt. Neumünster, Wachholtz.
- Haddon A.C. 1911. The wanderings of peoples. Cambridge, Cambridge University Press.
- Haeckel J. 1961a. [Diskussionsbeitrag zum Vortrag von R. Pittioni]. – Breitinger E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 33-36.
- Haeckel J. 1961b. Über die Zusammenarbeit der "anthropologischen Disziplinen" vom Standpunkt der Völkerkunde. – Breitinger E. et al. (Hrsg.). Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen. Horn, F. Berger: 194-225, Disk. 225-227.
- Hägerstrand Th. 1952. The propagation of innovation waves. Lund, The Royal University.
- Hägerstrand Th. 1953. Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt. Lund, C. Bloms boktrickeri /transl. 1953/1968 – Innovation diffusion as a spatial process. Chicago, Chicago University Press.
- Hall A.D., Fagen R.E. 1956. Definition of system. – General Systems, vol. 1: 18-28 (русск. перев. в: Исследования по общей теории систем. Сборник переводов под ред. В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина. М., Прогресс, 1969: 252-282).
- Hallowell A.I. 1955. Culture and experience. New York: Schocken Books.
- Hallowell A.I. 1960. Self, society and culture in phylogenetic perspective. – Tax S. (ed.). The evolution of man. Vol. 2. Chicago, University of Chicago Press.
- Hallowell A.I. 1961. The protocultural foundations of human adaptation. – Washburn S.L. (ed.), Social Life of Early Man. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.
- Härke H. 1998. Archaeologists and migration: a problem of attitude. – Current Anthropology, vol. 38, no. 5: 19-45.
- Harré R. 1970. Principles of scientific thinking. London, Macmillan
- Hassan F.A. 1978. Demographic archaeology. – Schiffer M.B. (ed.). Advances in archaeological method and theory. Vol. 1. New York et al., Academic Press: 49-103.
- Hassan F.A. 1981. Demographic archaeology. New York et al., Academic Press.
- Hatch E. 1973. Theories of man and culture. New York, Columbia University Press.

- Haury E.W. 1958. Evidence at Point of Pines for a prehistoric migration from Northern Arizona. – Thompson R.H. (ed.). Migrations in New World culture history. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): 1-6.
- Häusler A. 1968. Kritische Bemerkungen zum Versuch soziologischer Deutungen ur und frühgeschichtlicher Gräberfelder – erläutert am Beispiel des Gräberfeld von Hallstatt. – EAZ, Jg. 9, № 1: 1-30.
- Hawkes C.F.C. 1954. Archaeological theory and method: some suggestions from the Old World. – American Anthropologist, vol. 56: 155-168.
- Hawkes C.F.C. 1987. Archaeologists and Indo-Europeanists: can they mate? Hindrances and hopes. – Skomal S.N. and Polomé E.C. (eds.). Proto-Indoeuropeans: The archaeology of a linguistic problem. Studies in honour of Marija Gimbutas. Washington, D. C., Institute for the Study of Man: 203-215.
- Hawkes J. 1968. The proper study of mankind. – Antiquity, vol. 42, no. 168: 255-262.
- Heape W. 1931. Emigration, migration and nomadism. Cambridge. Hoffer & Sons.
- Hedeager L. 1978. A quantitative analysis of Roman imports in Europe north of the limes (0 – 400 AD) and the question of Roman-Germanic exchange. – New directions in Scandinavian archaeology, I. Copenhagen, The National museum of Denmark: 191-216.
- Heider K.G. 1967. Archaeological assumptions and ethnological facts: a cautionary tale from New Guinea. – Southwestern Journal of Anthropology, vol. 23: 52-64 (repr. in: Deetz J. (ed.). Man's imprint from the past. Boston, Little, Brown and Co: 384-396).
- Hensel W. 1975. L'ethnogenesologie. Ethnogenesology. – Slavia Antiqua, 21, 1974: 1-4.
- Herskovits J.M. 1948. Man and his works. The science of cultural anthropology. New York, Knopf.
- Herskovits M. 1940. Economic life of primitive peoples. New York, Knopf (2d. enlarged ed.: 1952. Economic anthropology: a study in comparative economics. New York, Knopf).
- Herteig A.E. 1955. Er Volkvanderingstidningens ekspansion i Rogaland båret av invanderere eller er den et indre anliggende? – Viking, 19: 73-88.
- Hertz F. 1930. Die Wanderungen, ihre Typen und ihre geschichtliche Bedeutung. – Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 8: 36-52.
- Hesse B. & Wapnish P. 1985. Animal bone archaeology: From objectives to analysis. Washington, Taraxacum.
- Higgs E.S. (ed.). 1972. Papers in economic prehistory. Cambridge, Cambridge University Press.

- Higgs E.S. 1975. *Palaeoeconomy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Higham J. 1982. Current trends in the study of ethnicity in the United States. – *Journal of American Ethnic History*, 2: 5-15.
- Hill J.N. 1971. Seminar on the explanation of prehistoric organization change. – *Current Anthropology*, vol. 12, no. 3: 406-408.
- Hill J.N. and Evans R.K. 1972. A model for classification and typology. – Clarke D.L. (ed.). *Models in archaeology*. London, Methuen: 231-273.
- Hiller B., Hanson J. 1984. *The social logic of space*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hiller B., Leaman A., Stansall P., Bedford M. 1976. Space syntax. – *Environment and Planning B (London)*, vol. 3: 147-185 (reprinted – Green D., Haselgrove C. and Spriggs M. 1978a. *Social organisation and settlement: Contributions from anthropology, archaeology and geography*, pt. II. BAR Intern Series (Supplementary) 47: 343-381).
- Hiller B., Leaman A., Stansall P., Bedford M. 1978b. Reply to Professor Leach. – Green D., Haselgrove C. and Spriggs M. 1978a. *Social organisation and settlement: Contributions from anthropology, archaeology and geography*, pt. II. BAR Intern Series (Supplementary) 47: 403-405.
- Hiller St. 1977. *Das minoische Kreta nach den Ausgrabungen des letzten Jahrzehnts*. Wien, Verlag der Österreich. Akad. der Wissensch.
- Hochholzer H. 1959. Typologie und Dynamik der Völkerwanderungen. – *Die Welt als Geschichte*, 19, H. ¾: 129-145.
- Hodder I. 1978. *The spatial organisation of culture*. London, Duckworth.
- Hodder I. 1982. *Symbols in action: Ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hodder I. 1983. *The present past: An introduction to anthropology for archaeologists*. New York, Pica Press.
- Hodder I. 1986. *Reading the past*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hodder I. 1990. Ethnoarchaeology and its relation to contemporary archaeological theory. – Gamito T.J. (ed.). *Arqueologia hoje I: etnoarqueologia (Kolloquium in Faro 1989)*. Faro: 244-251.
- Hodges H. 1964. *Artifacts: an introduction to early materials and technology*. London, John Baker.
- Hodges H. 1971. *Technology in the ancient world*. Harmondsworth and Baltimore, Penguin Books.
- Hodson F.R. 1979. Inferring status from burials in Iron Age Europe: some recent at-

- tempts. – Burnham B.C., Kingbury J. (eds.). *Space, hierarchy and society*. Oxford, BAR: 23-30.
- Hole F. 1973. Questions of theory in the explanation of culture change in prehistory. – *Renfrew* 1973: 19-34.
- Hole F. and Heizer R.F. 1969. *An introduction to prehistoric archeology*. 2nd ed. New York, Holt, Reinhart and Winston.
- Holloway Jr. R.L. 1969. Culture: a human domain. – *Current Anthropology*, vol. 10, no. 4: 395-412.
- Holmes W.H. 1913. The relation of archaeology to ethnology. – *American Anthropologist*, vol. 15: 566-567.
- Honigsheim P. 1929. Die Wanderung. – *Verhandlungen d. 6. Deutschen Soziologentages 1928, Zürich und Tübingen*. Schriften der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Serie 1, Band 6. Tübingen, Mohr: 127-147, 198-203.
- Hoppa R.D. and Vaupel J.W. 2002. *Palaeodemography: age distribution from skeletal remains*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Howell N. 1976. Toward a uniformitarian theory of human paleodemography. – Ward R.H. and Weiss K.M. *The demographic evolution of human populations*. New York, Academic Press: 25-40.
- Hrădh B., Larsson L., Olausson D., Petré R. (eds.). 1988. *Trade and exchange in prehistory*. Studies in honour of Berta Stjernquist. Lund.
- Huffman T.N. 1970. The Early Iron Age and spread of the Bantu. – *South African Archaeological Bulletin*. 25: 3-21.
- Hurly W.M. 1979. *Prehistoric Cordage. Identification of impressions on pottery*. Washington, Taraxacum.
- Ingersol D., Yellen J.E. and Macdonald W. 1977. *Experimental archaeology*. New York, Columbia University Press.
- Isaac G.L. 1968. Traces of Pleistocene hunters: an East African example. – *Lee and DeVore*: 253-261.
- Jackes M. 1992. Paleodemography: problems and techniques. – Sandres S.R. and Katzenberg M.A. (eds.). *Skeletal biology of past people: Research methods*. New York, Wiley-Liss: 189-224.
- Jackson J.W. 1917. *Shells as evidence of the migrations of early culture*. Manchester, Manchester University Press.
- Jahn M. 1956. Gab es in der vorgeschichtlichen Zeit einen Handel? – *Abhandlungen der Sächsischen Akad. Der Wiss., Phil.-hist. Kl.*, 48 (4). Berlin, Akademie-Verlag.
- James E.O. 1957. *Prehistoric religion. A study in prehistoric archaeology*. New York.

- Jarman M.R. and Wilkinson P.F. 1972. Criteria of animal domestication. – Higgs E.S. (ed.), *Papers in economic prehistory*. Cambridge, Cambridge University Press: 83-96.
- Joffroy R. 1954a. *Le trésor de Vix (Côte d'Or)*. Paris, Presse universitaires de France.
- Joffroy R. 1954b. *Das oppidum Mont Lassois, Gemeinde Vix, Dep. Côte d'Or. – Germania*, 32 1/2 : 59-65.
- Johansen A.B. 1984. *Aksiomer i arkeologi. – Det Kgl. Norske videnskabens Selskab. Museet Rapport. Arkeologisk serie, no. 1. Trondheim: 21-37.*
- Johansen O. 1989. *Arkeologi, religion og kronologiske begrensninger. – Arkeologi och religion. Lund (University of Lund Institute of archaeology report series no. 34): 7-19.*
- Jope E.M. 1972. *Models in medieval studies. – Clarke 1972a: 963-990.*
- Kandert J. 1982. *Poznámky k využití etnografických údajů v případě výkladu knovízských "hrobů". – Archeologické Rozhledy*, 24 (1): 190-200.
- Keely L.H. 1974. *Technique and methodology in microwear studies: a critical review. – World Archaeology*, 5: 323-336.
- Keely L.H. 1980. *Experimental determination of stone tool uses. Chicago, Chicago University Press.*
- Keesing R.M. 1974. *Theories of culture. – Annual review of anthropology, vol. 3: 73-97.*
- Kehoe A.B. 1959. *Ceramic affiliations in the Northwestern plains. – American Antiquity, vol. 25, no. 2: 237-246.*
- Kilian L. 1960. *Zum Aussagewert von Fund- und Kulturprovinzen. – Światowit*, XXIII: 41-85.
- King L. 1969. *The Medea Creec cemetery (LAN-243): An investigation of social organization from mortuary practices. – Archaeological Survey Annual Report (University of California, Los Angeles)*, 11: 23-68.
- Klein R.C. and Cruz-Urbe K. 1984. *The analysis of animal bones from archaeological sites. Chicago, Chicago University Press.*
- Kleindienst M.R. and Watson P.J. 1956. *Action archaeology: the archaeological inventory of a living community. – Anthropology tomorrow, vol. 5: 75-78.*
- Klejn L.S. [1995] (1993-1994). *Functions of archaeological theory. – Journal of theoretical archaeology, vol. 3-4.*
- Klejn L.S. 1963. *A brief validation of the migration hypothesis with the respect to the origin of the Catacomb culture. – Soviet Archeology and anthropology (New York)*, vol. I, no. 4: 27-36.
- Klejn L.S. 1967. *Reiche Katakombengräber. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin)*, 8 (4): 210-234.

- Klejn L.S. 1967a. Reiche Katakombengräber. – EAZ, Jg. 8, № 4: 210-234.
- Klejn L.S. 1967b. Zagadka grobów katakumbowych rozwiązana? – Z otchłani wieków, r. XXXIII, zesz. 4: 212-222.
- Klejn L.S. 1970. On trade and culture process in prehistory. Comment on Renfrew. – Current Anthropology, vol. 11, no. 2: 169-171.
- Klejn L.S. 1971. Was ist eine archäologische Kultur? Zu einigen grundlegenden Begriffen der Archäologie im Lichte der Leninschen Widerspiegelungstheorie. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jg. 12, № 4: 321-345.
- Klejn L.S. 1972a. Die Ausbildung der Archäologen in der UdSSR. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 13, Nr. 3: 443-456.
- Klejn L.S. 1972b. Die Konzeption des "Neolithikums", "Äneolithikums" und der "Bronzezeit" in der archäologischen Wissenschaft der Gegenwart. – Neolithische Studien, I. Berlin: 7-30.
- Klejn L.S. 1973a. Marxism, the Systemic Approach and archaeology. – Renfrew 1973: 691-710.
- Klejn L.S. 1973b. On major aspects of the interrelationship of archaeology and ethnology: Comment on K.C. Chang. – Current Anthropology (Chicago), vol. 14, 1973, no. 3: 311-320.
- Klejn L.S. 1974a. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren. – Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), Bd. 58, Deutscher Verlag der Wissenschaften: 7-55.
- Klejn L.S. 1974b. Regressive Purifizierung und exemplarische Betrachtung. Polemische Bemerkungen zur Integration der Archäologie mit der schriftlichen Geschichte und der Sprachwissenschaft bei der ethnischen Deutung des Fundgutes. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 15, H. 2: 223-254.
- Klejn L.S. 1976. Das Neolithikum Europas als ein Ganzes. – Jahrbuch für mitteldeutsche Vorgeschichte, Bd. 60: 9-22.
- Klejn L.S. 1977. A panorama of theoretical archaeology. – Current Anthropology (Chicago), vol. 18, no. 1: 1-42.
- Klejn L.S. 1981. Ethnogenese als Kulturgeschichte archäologisch betrachtet. Neue Einstellung. – Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte (Coblenz-Festschrift). Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Teil 1, S. 13-25.
- Klejn L.S. 1981. „Ethnos“ und „Kultur“ auf dem Symposium Erevan 1978. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 22, 1981, H. 1: 85-101.
- Klejn L.S. 1982. Archaeological typology. Transl. by P. Dole. Oxford, British Archaeological Reports, 1982 (BAR International Series, no. 153).

- Klejn L.S. 1984. The coming of Aryans: who and whence? – Bulletin of the Deccan College Research Institute (Pune), vol. 43: 57-72.
- Klejn L.S. 1993. To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition. – Antiquity, vol. 67, no. 255: 339-348. [Перев. статьи 1991 г.]
- Klejn L.S. 1995. Prehistory and archaeology. – Kuna M. and Venclova N. (eds.). Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupny. Praha, Institute of archaeology, 1995: 36-42.
- Klejn L.S. 2009. Arians in the steppes. [Арии в степях. – Доклад на Вюрцбургском международном конгрессе индоевропейцев в октябре 2009 г. (опубликовано в интернете): <http://www.vergl-sprachwissenschaft.phil1.uni-wuerzburg.de/tagung2009.html>).
- Klejn L.S. 2013 (in print). Zoomorphic sceptres and Unicorn. – Festschrift Kristiansen. Stockholm University – Göteborg University.
- Klemm G. 1843-1952. Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit. Bd I – X. Leipzig, Teubner.
- Kłoskowska A. 1962. Rozumienia kultury w antropologii kulturowej i socjologii. – Przegląd Socjologiczny (Łódź), 16 (2): 7-34.
- Kluckhohn C. 1957. Mirror for man. New York, Fawcett.
- Knopf Th. 2002. Kontinuität und Diskontinuität in der Archäologie. Quellenkritische und vergleichende Studien (Tübinger Schriften zur frühgeschichtlichen Archäologie, 6). Münster, Waxmann.
- Knutsson K. 1988. Patterns of tool use: scanning electron microscopy of experimental quartz tools. Uppsala, Societas Archaeologica Upsaliensis.
- Kohl Ph.L. 1987. The use and abuse of World System theory. – Schiffer M.B. (ed.). Advances in archaeological methodology and theory. Vol. 11. New York and London, Academic Press: 1-36.
- Kohl Ph.L. and Wright R.P. 1977. Stateless cities: the differentiation of societies in the Near Eastern Neolithic. – Dialectical Anthropology, 2: 271-273.
- Kohutnicki B. 1967. Zagadnienie rekonstrukcji archeologicznej na podstawie materiałów etnograficznych. Cz. I. – Układy społeczno-kulturowe ludów Australii. – Etnografia Polska, t. 11: 334-347.
- Kölmann W. 1976. Versuch des Entwurfs einer historisch-soziologischen Wanderungstheorie. – Engelhardt U. (Hrsg.). Soziale Bewegung und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt. Stuttgart, Ernst Klett: 260-269.
- Konstam A. 2001. Historical atlas of the Celtic world. London, Mercury; New York, Checkmark Books.

- Koppers W. 1951. Ethnologie und Prähistorie in ihrem Verhältnis zur Geschichtswissenschaft. – Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 88 (25): 399-417.
- Koppers W. 1953. Zusammenarbeit von Ethnologie und Prähistorie. – Anzeiger der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 90 (4): 67-72 (pachynpen. версия в: Zeitschrift für Ethnologie, 78: 1-16).
- Koppers W. 1957. Das Problem der Universalgeschichte im Lichte von Ethnologie und Prähistorie. – Anthropos, 52 (3-4): 369-389.
- Korinek J.M. 1948. Od indoevropského prajazyka k praslovančine. Bratislava, Slov. Akd. Ved a umeni.
- Korobkova G.F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Kossack G. 1974. Prunkgräber. – Kossack G. und Ulbert G. (Hrsg.). Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie. Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag (Münchener Beitr. Vor- u. Frühgesch. Ergbd. 1). München, Beck: 3-33.
- Kossinna G. 1896. Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland. – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, Berlin, 6 (1): 1-14.
- Kossinna G. 1905. Die verzierten Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen. – Zeitschrift für Ethnologie, Jg. XXXVII, H. II u. III: 369-407, H. IV: 596-599.
- Kossinna G. 1911. Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie. Würzburg, Curt Kabitzsch.
- Kostrzewski J. 1964. W walce z szowinizmem. – Z otchłani wieków 30 (4).
- Kramer C. (ed.). 1979. Ethnoarchaeology: implications of ethnography for archaeology. New York, Columbia University Press.
- Krause R. 1984. Modelling in the making of pots: an ethnoarchaeological approach. – Van der Leeuw S.E. and Pritchard M.C. (eds.). The many dimensions of pottery: ceramics in archaeology and anthropology. Amsterdam, Univers. of Amsterdam: 617-706.
- Kristiansen K. (ed.). 1985. Archaeological formation processes: the representativity of archaeological remains of Danish prehistory. Copenhagen, Nationalmuseets Forlaget.
- Kristiansen K. 1978. The application of source-criticism to archaeology. – Norwegian Archaeological Review, vol. 11 (1): 1-5.
- Kristiansen K. 1991. Prehistoric migrations – the case of the Single Grave and Corded Ware cultures. – Journal of Danish Archaeology, vol. 8 (1989): 211-225.
- Kroeber A. 1927. Disposal of the dead. – American Anthropologist, 27: 308-315.
- Kroeber A.L. 1948. Anthropology. New York, Harcourt, Brace.

- Kroeber A.L. and Kluckhohn C.L. 1952. *Culture: a critical review of concepts and definitions*. Cambridge, Mass., Harvard university (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, no. 47) (2d ed. New York, 1963).
- Kroll E.M. and Price T.D. (eds.). *The interpretation of archaeological spatial patterning*. New York and London, Plenum Press.
- Krüger B. 1966. *Zur Ethnogenese der Germanen und zu Problemen der Germanenforschung*. – Deutsche Historische Gesellschaft, 4. Tag. Berlin, DHG: 9-19.
- Krzywicki L. 1934. *Primitive society and its vital statistics*. London, Macmillan.
- Kulischer E. und A. 1932. *Kriegs- und Wanderzüge*. Berlin – Leipzig, De Gruyter.
- Kummer H. 1971. *Primate societies: group techniques of ecological adaptation*. Chicago, Aldine – Atherton.
- Kummer H. 1972. *Ursachen von Gesellschaftsformen bei Primaten*. – *Umschau in Wissenschaft und Technik*, 72: 481-484.
- Kurth G. 1963. *Der Wanderungsbegriff in Prähistorie und Kulturgeschichte unter paläodemographischen und bevölkerungsbiologischen Gesichtspunkten*. – *Alt-Thüringen*, Bd. 6. Weimar, 1-21.
- Lafitau P. 1724. *Moeurs des sauvages américains comparées aux moeurs des premiers temps*. Paris, Saugrain l'aîné.
- Lamberg-Karlovsky C.C. 1989. *Ethnoarchaeology: legend, observation and critical theory*. – Meyer L. de et Haerinck E. (eds.). *Archaeologica Iranica et Orientalis: Miscellanea in honorem Louis Vanden Berghe*. Gent, Peeters Press: 953-975.
- Lang V. 2003. *Culture and material culture: papers from the First theoretical seminar of the Baltic Archaeologists*. Tartu, University of Tartu.
- Latham R.G. 1851. *Man and his migrations*. London, John van Voorst.
- Le Bon G. 1894. *Les lois psychologiques de l'évolution des peuples*. Paris, Alcan.
- Le Bon G. 1895. *Psychologie des foules*. Paris, Alcan.
- Le Bon G. 1912. *La Révolution Française et la psychologie des révolutions*. Paris, Flammarion.
- Le Vine R.A. and Campbell D.T. 1972. *Ethnocentrism: Theories of conflict. Ethnic attitude and group behavior*. New York, New York, Chichester, Willey.
- Leach E. Does space syntax really 'constitute the social'? – Green D., Haselgrove C. and Spriggs M. 1978. *Social organisation and settlement: Contributions from anthropology, archaeology and geography, pt. II*. BAR Intern Series (Supplementary) 47: 385-401.
- Lee E.S. 1966. *A theory of migration*. – *Demography*, 3: 47-57.

- Lee R.B. and De Vore I. (eds.). 1968. *Man the hunter*. Chicago, Aldine.
- Lehr-Spławiński T. 1946. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, Instytut Zachodni.
- Lehr-Spławiński T. 1954a. Powstanie, rozrost i rozpad wspólnoty prasłowiańskiej. – Lehr-Spławinski T. *Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian*. Warszawa, Pax: 48-78 (оригин. в: *Przegląd zachodni*, 1951, 3-4: 350-378).
- Lehr-Spławiński T. 1954b. Znaczenie badań sławistycznych dla kultury i życia polskiego. – Lehr-Spławinski T. *Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian*. Warszawa, Pax: 7-14 (оригин. в: *Tygodnik Powszechny*, III, 1947, Nr. 8).
- Leone M.P. (ed.). 1972. *Contemporary archaeology. A guide to theory and contributions*. Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press.
- Leroi-Gourhan A. 1964. *Les religions de la préhistoire*. Paris, Presses Universitaires de France.
- Leroi-Gourhan A. 1964-65. *Le geste et la parole*. I. Technique et language. II. La mémoire et les rythmes. Paris, Albin Michel.
- Leroi-Gourhan A. 1965. *Préhistoire de l'art occidental*. Paris, Presses Universitaires de France.
- Leroi-Gourhan A. et Brézillon M. 1966. L'habitation magdalénienne no. 1 de Pincevent près de Montereau (Seine-et-Marne). – *Gallia Préhistoire*, 9: 263-385.
- Lewis-Williams J.D. 1998. Wrestling with analogy. A methodological dilemma in Upper Palaeolithic art research. – Whitley D.S. (ed.). *Reader in archaeological theory. Post-Processual and cognitive approaches*. Routledge, London: 157-175.
- Limbrey S. 1972. *Soil science in archaeology*. London, Academic Press (new print. 1975).
- Livingston F.B. 1964. Human populations. – Tax S. (ed.). *Horizons of anthropology*. Chicago, Aldine Publ. Co.: 60-70.
- Lowie R.H. 1912. On the Principle of Convergence in ethnology. – *Journal of American Folk-Lore*, vol. 25: 24-42.
- Lowie R.H. 1920. *Primitive society*. New York, Boni & Lovright; London, G. Routledge & Sons, 1921 (new eds. 1926, 1929, 1947, 1953, 1960 etc.).
- Lowie R.H. 1937. *History of ethnological theory*. New York, Farrar and Rinehart.
- Loy T.H. 1983. Prehistoric blood residue analysis: detection on tool surfaces and identification of species and origin. – *Science*, 220: 1269-1271.
- Lubbock J. 1865. *Prehistoric times illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern savages*. London, Williams and Norgate.
- Luschan F., von. 1918. Zusammenhänge und Konvergenz. – *Mitteilungen der Anthropologischen Gessellschaft zu Wien*, Jg. 18: 1-117.

- Lyman R.L. 1979. Available meat from faunal remains: a consideration of techniques. – *American Antiquity*, 44: 536-546.
- Lyman R.L. 1982. Archaeofaunas and subsistence studies. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, 3. New York and London, Academic Press: 331-393.
- MacGregor A. 1985. *Bone, antler, ivory and horn technology*. London, Croom Helm.
- MacWhite E. 1956. On the interpretation of archaeological evidence in historical and archaeological terms. – *American Anthropologist*, vol. 58: 3-25 (repr. in: *Man's imprint from the past*. Ed. by Geertz J., Boston, Little, Brown and Co., 1971: 219-246. – цит. по перепечатке 1971 г.).
- Malina J. 1980a. Archeologie včera a dnes, aneb Maji archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima? 1-2. České Budejovicé: Jihočeské Muzeum.
- Malina J. 1980b. Metody experimentu v archeologii (Studie Arch. Ustavu Českosl. Akad. Ved v Brně, Ročn. VIII, 1). Academia, Praha.
- Malmer M. 1962. *Jungneolithische Studien*. Bonn, Habelt – Lund, Gleerup.
- Mandera H.E. 1957. Besprechung K. Struve. – *Germania*, Jg. 35, H. ½: 128-131.
- Marciniak A. 1995. Archaeology and palaeodemography: expectations and limitations. – Kuna M. and Venclová N. (eds.). *Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný*. Praha, Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic: 110-117.
- Marett R. 1927. *The diffusion of culture*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Markarian E.S. 1973. Comment on "Rethinking culture" by P. Bohannan. – *Current Anthropology*, 14 (4): 369-370.
- Marshall A. 2011. *Experimental archaeology*. Oxford et al., Archaeopress (BAR British Series, 530).
- Mason O.T. 1895. *The origins of inventions: a study of industry among primitive peoples*. London, Scott.
- Massat C. 1973. La démographie des populations inhumées: Essai de paléodémographie. – *Homme*, 13: 95-131.
- McGregor J.C. 1943. Burial of an Early American magician. – *Proceedings of the American Philosophical Society*, 82 (2): 270-298.
- Mellaart J. 1966. *The Chalkolithic and Early bronze age in the near east and Anatolia*. Beirut, Khayats.
- Mellars P. and Stringer Chr. (eds.). *The human revolution: behavioral and biological perspectives on the origins of modern humans*. Edinburgh, Edinburgh University Press.

- Merton R. 1936. Civilization and culture. – *Sociology and social research*, vol. 21, 103-113.
- Meyen S.V. 1987. *Fundamentals of palaeobotany*. London et al., Chapman and Hall.
- Miles D. 1965. Socio-economic aspects of secondary burial. – *Oceania*, 35: 161-174.
- Moberg C.A. 1969. *Introduction till arkeologi*. Stockholm, Natur och kultur.
- Moberg C.-A. 1972. Questions sur l'outillage mathématique d'une archaéologie sociologiques. – Gardin J.-C. (éd.). *Les méthodes mathématiques de l'archéologie*. Paris, Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie: 229-248.
- Moberg C.-A. 1976. *Introduction à l'archéologie*. Paris, François Maspero.
- Monks C.M. 1981. Seasonality studies. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, 4. New York and London, Academic Press: 177-240.
- Montelius O. 1888. Über die Einwanderung unserer Vorfahren in den Norden. – *Archiv für Anthropologie*, Bd. 17: 151-160 (перев. со швед. изд. 1885 г.).
- Montelius O. 1910/1911. Der Handel in der Vorgzeit. – *Prähistorische Zeitschrift*, Bd. II (4): 249-291.
- Moore J.A., Swedlund A.C. and Armelagos G.J. 1975. The use of life tables in paleodemography. – Swedlund A.C. (ed.). *Population studies in archaeology and biological anthropology: A symposium* (Society for American Archaeology, *Memoirs*, 30): 57-70.
- Mortensen M. 1992. Migration as a process. – *Universitets Oldsak Skrifter*, 14: 155-166.
- Moszyński K. 1957a. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego (Prace językoznawcze PAN 16. Wrocław – Kraków).
- Moszyński K. 1929 – 1934. *Kultura ludowa Słowian*, cz. I-II. Krakow, Polska Akademia Umiejętności.
- Mozsolics A. 1953. Mors en bois de cerf sur le territoire du Bassin des Carpates. – *Acta Archaeologica Hungarica*, III (1-4): 69-111.
- Müller-Beck H. 1961. Prehistoric Swiss Lake dwellers. – *Scientific American*, 205 (6): 138-147.
- Müller-Karpe H. 1966. *Hanbdbuch der Vorgeschichte*. Bd. II. München, C.H. Beck.
- Müller-Karpe H. 1970. *Die geschichtliche Bedeutung des Neolithikums*. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
- Müller-Karpe H. 1975. *Einführung in die Vorgeschichte*. München, C.H. Beck.
- Murdock G.P. et al. 1961. *Outline of cultural materials*. New Havem. Human relations Area Files.

- Myhre M. and Myhre B. 1972. The concept "Immigrations" in archaeological contexts illustrated by example from West Norwegian Early Iron Age. – *Norwegian Archaeological Revue*, v. 5, no. 1: 45-70.
- Nash M. 1966. *Primitive and peasant economies*. San Francisco, Candler.
- Neustupný E. 1967. Zakladni prehistorické modely. – *Dějiny a současnost*, 2, № 4: 32-34.
- Neustupny E. 1981. Mobilität der Äneolithischen Populationen. – *Slovenska archeologia*, XXIX-1: 111-119.
- Neustupny E. 1982. Prehistoric migrations by infiltration. – *Archeologické Rozhledy*, 34: 278-293.
- Niedermann I. 1941. *Kultur. Werden und Wandlungen des Begriffs und seiner Ersatzbegriffe von Cicero bis Herder*. Florenz, Bibliopolis.
- Niemeyer H.G. 1968. *Einführung in die Archäologie*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Noel-Hume I. 1971. *All the best rubbish*. New York, Harper & Row.
- Nouel A. 1961. L'exportation des silex du Grand-Pressigny. – *Bulletin de la Société Préhistorique française*, 58: 68-74.
- O'Connor T. 2004. *The archaeology of animal bones*. Sutton, Stroud (new ed. Texas A&M University Press, 2008).
- O'Shea J. 1981. Social configurations and archaeological study of mortuary practices: a case study. – *Chapman, Kinnes and Randsborg 1981*: 39-52.
- O'Shea J. 1984. *Mortuary variability: an archaeological investigation*. Orlando, Academic Press.
- Olausson D.S. 1980. Starting from scratch: The history of edge-wear research from 1938 to 1978. – *Lithic Technology*, IX (2): 48-60.
- Olausson D. 1988. Dots on a map. – *Trade and exchange in prehistory: Studies in honour of Berta Stjernquist (Acta Archaeologica Lundensia, ser.n 8°, No. 16)*. Lund: 15-24.
- Olsen S.J. 1970. *Osteology for the archaeologist*. Cambridge, Mass, Peabody Museum.
- Orme B. 1973. Archaeology and ethnography. – *Renfrew C. (ed.). The explanation of culture change: Models in prehistory*. London, Methuen: 481-492.
- Orme B. 1974. Twentieth-century prehistorians and the idea of ethnographic parallels. – *Man*, 9 (2): 199-212.
- Orme B. 1981. *Anthropology for archaeologists: An introduction*. Ithaca, New York, Cornell University Press.
- Osgood C. 1940. *Ingalik material culture*. New Haven, Yale University Publications in Anthropology.

- O'Shea J. 1984. *Mortuary variability: An archaeological investigation*. New York and London, Academic Press.
- Oswalt W.H. 1974b. *Ethnoarchaeology*. – *Donnan and Clewlow*: 3-14.
- Ort M. 1993. Upper Palaeolithic relations between Central and Eastern Europe. – Chapman J. and Doljhanov P. (eds.), *Cultural transformations and interactions in Eastern Europe*. Avebury, Ashgate Publ.: 56-64.
- Ort K.H. 1953. *Archäologische Kulturen und die Erforschung der konkreten Geschichte von Stämmen und Völkernschaften*. – *Ethnographisch-Archäologische Forschungen* 1: 1-27.
- Pader E.J. 1982. Symbolism, social relations and the interpretation of mortuary remains. Oxford (BAR Intern. Ser. 130).
- Palmer L.R. 1961. *Mycenaean and Minoans*. London, Faber and Faber.
- Parker Pearson M. 1982. Mortuary practices, society and ideology: an ethnological study. – Hodder I. (ed.), *Symbolism and structural archaeology*. Cambridge, Cambridge University Press: 99-114.
- Parker Pearson M. 1999. *The archaeology of death and burial*. College Station, Texas A & M.
- Parsons E.C. 1940. Relations between ethnology and archaeology in the Southwest. – *American Antiquity*, 5: 214-220.
- Pearsall D.M. 1989. *Paleobotany: A handbook of procedures*. New York and London, Academic Press.
- Pentz A. 1936. *Völkerbewegungen und Völkerwanderungen*. – *Forschungen und Fortschritte*, Bd. 12: 274-275.
- Petersen W. 1975. A demographic view of prehistoric demography. – *Current Anthropology*, 16 (2): 227-246.
- Piggott S. 1958. The Dawn and an Epilogue. – *Antiquity*, vol. 32, no. 126: 75-79.
- Piggott S. 1959. *Approach to archaeology*. Harmondsworth, Penguin Books; London, Adam and Charles Black 1960.
- Piggott S. 1961. *The dawn of civilization*. New York, McGraw-Hill.
- Piggott S. 1965. *Ancient Europe from the beginning of agriculture to classical antiquity*. Chicago, Aldine.
- Piggott S. 1983. *The earliest wheeled transport*. London, Thames and Hudson.
- Pike K. 1955. *Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior*. Glendale, Calif., Summer Inst. of Linguistics.
- Piontek J and Czerniak 1988. *Prahistoria a palaeodemografia. Próba określenia możliwości poznawczych w badaniach nad demografią społeczeństw pradziejowych*.

- Pióntek J. (ed.). *Szkice z antropologii ogólnej*. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza: 103-140.
- Pióntek J. and Weber A. 1990. Controversy on palaeodemography. – *International Journal of Anthropology*, 5: 71-83.
- Piperno D.R. 1988. *Phytolith analysis: an archaeological and geological perspective*. New York and London, Academic Press.
- Pittioni R. 1961a. [Diskussionsbeitrag zum Vortrag von J. Haeckel]. – Breitinger E. et al. (Hrsg.). *Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen*. Horn, F. Berger: 226-227.
- Pittioni R. 1961b. Über die Zusammenarbeit der "anthropologischen Disziplinen" vom Standpunkt der Urgeschichte. – Breitinger E. et al. (Hrsg.). *Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen*. Horn, F. Berger: 10-30, Disk. 31-36.
- Pitt-Rivers A. 1906. *The evolution of culture and other essays*. Oxford, Clarendon Press.
- Pleiner R. 1961. Experiment v archeologii. – *Pamatky archeologicke*, 52: 618-622.
- Plog F.T. 1974. *The study of prehistoric change*. New York and London, Academic Press.
- Pokrovskaja I.M. 1958. *Analyse pollinique*. Paris, Bureau de Recherches Géologiques, Géophysiques et Minières.
- Potratz J.A.H. 1941. Die Pferdegebisse des Zwischenstromländischen Raumes. – *Archiv für Orientalforschung* (Berlin), Bd. XIV, H. 1/2: 1-39.
- Preidel H. 1928. Grundsätzliches zur Erschließung urgeschichtlicher Wanderungen. – *Kossinna-Festschrift* (Mannus, 6. Ergänzt. Bd.): 278-283.
- Prinke A. 1973. Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii. – *Etnografia Polska*, XVII (1): 41-66.
- Quatrefages A., de. 1884. *Hommes fossils et hommes sauvages: études d'anthropologie*. Paris, Bailliere.
- Rackam J. 1994. *Interpreting the past: animal bones*. London, British Museum.
- Raikes R.L. 1984. *Water, weather and prehistory*. N.J., Wales, Humanities Press.
- Rands R.L. and Riley C.L. 1958. Diffusion and discontinuous distribution. – *American Anthropologist*, vol. 60: 274-297.
- Rands R.L. Elaboration and invention in ceramic tradition. – *American Antiquity*, vol. 26: 331-341.
- Rathje W.L. 1974. The Garbage Project: A new way of looking at the problems of archaeology. – *Archaeology*, 27: 226-241.

- Rathje W.L. 1979. Modern material culture studies. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*. Vol. 2. New York, Academic Press: 1-37.
- Ratzel F. 1912. *Anthropogeographie*. 2. Teil. 2. Auflage. Stuttgart, J. Engelholm (orig. 1882-91).
- Raulf U. (Hrsg.). 1987. *Mentalitätengeschichte. Zur Rekonstruktion geistlicher Prozesse*. West-Berlin, Wagenbach.
- Ravenstein E.G. 1885. 1889. The laws of migration. – *Journal of the Royal Statistical Society*, 48: 167-227; 52: 241-301.
- Ravenstein E.G. 1885. 1889. The laws of migration. – *Journal of the Royal Statistical Society*, 48: 167-227; 52: 241-301.
- Read C.E. 1971. *Animal bones and human behavior: approaches to formal analysis in archaeology*. Ann Arbor, Michigan University Press (microfilm).
- Redfield R. 1961. Ethnic relations, primitive and civilised. – Masuoka J. and Valien P. (eds.). *Race relations: Problems and theory. Essays in honour of Robert Park*. New York, Chapel Hill, University of North Carolina Press: 26-37.
- Redman C.I., Berman M.J., Curtin E.V., Langhorne W.T., Versaggi N.M. And Wanser J.C. 1978. *Social archaeology. Beyond subsistence and dating*. New York, Academic Press.
- Renfrew C. 1967. Colonialism and megalitism. – *Antiquity*, vol. 41: 276-288.
- Renfrew C. 1969a. More on models. – *Antiquity*, vol. XLIII, no. 169: 61-62.
- Renfrew C. 1969b. Review of P. Hagget's "Locational analysis in human geography" and of R. J. Haggett's (eds.) "Models in geography". – *Antiquity*, vol. 43, no. 169: 74-75.
- Renfrew C. 1969c. Trade and culture process in European prehistory. – *Current Anthropology*, vol. 10, no. 2-3: 151-169.
- Renfrew C. 1970. Reply to comments. – *Current Anthropology*, vol. 11: 173-175.
- Renfrew C. 1972. *The emergence of civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B.C.* London, Methuen.
- Renfrew C. 1973a. Monuments, mobilization, and social organization in neolithic Wessex. – Renfrew C. (ed.). *The explanation of culture change: Models in prehistory*. London, Duckworth: 539-558.
- Renfrew C. 1973b. Problems in the general correlation of archaeological and linguistic strata in prehistoric Greece: the model of autochthonous origin. – Crossland R.A. and Birchall A. (eds.). *Bronze Age migrations in the Aegean*. London, Duckworth – Totowa, New Jersey: 263-276.
- Renfrew C. 1973c. *Social archaeology: an inaugural lecture*. Southampton, University of Southampton.

- Renfrew C. (ed.). 1973d. The explanation of culture change: models in prehistory. London, Duckworth.
- Renfrew C. 1975/1984. Trade as action at a distance. – Sabloff and Lamberg-Karlovsky: 3-59 (reprinted in Renfrew 1984: 86-134).
- Renfrew C. 1978. Trajectory discontinuity and morphogenesis: the implications of catastrophe theory for archaeology. – *American Antiquity*, vol. 43, no. 2: 203-222.
- Renfrew C. 1982. *Towards an archaeology of mind*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Renfrew C. 1984. *Approaches to social archaeology*. Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Renfrew C. 1993. Cognitive archaeology: some thoughts on the archaeology of thoughts. – *Cambridge Archaeological Journal*, 3 (2): 248-250.
- Renfrew C. 1994. Towards a cognitive archaeology. – Renfrew C. and Zubrow E. B. W. (eds.). *The ancient mind. Elements of cognitive archaeology*. Cambridge, Cambridge University Press: 3-12.
- Renfrew C. and Bahn P. 1991. *Archaeology: Theories, methods and practice*. London, Thames and Hudson.
- Renfrew C. and Cherry J.F. 1986. *Peer polity interaction and the development of socio-political complexity*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Renfrew C. and Cooke K.L. (eds.) 1979. *Transformations: Mathematical Approaches to Culture Change*. London: Academic Press.
- Renfrew C. and Shennan S. (eds.). 1982. *Ranking, resource and exchange. Aspects of the archaeology of early European society*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Renfrew J. 1973. *Palaeobotany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe*. London, Methuen.
- Rice P.M. 1987. *Pottery analysis: a sourcebook*. Chicago, Chicago University Press.
- Riley C.L. 1952. The blowgun in the New World. – *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 8: 297-319.
- Ringstedt N. 1987. *Varuutbyte och handel i arkeologiskt perspektiv: en forskninganalys från konsumenternas synpunkt. Teoretisk del*. Stockholm, Inst. för arkeologi vid Stockholms Universitet (Arkeologiska rapporter och meddelanden, Nr. 18).
- Robert C. 1893. Ονοί πηλινοί. – *Εφημερίς Αρχαιολογική*, 3 (1892): 247-255.
- Roosens E.E. 1989. *Creating ethnicity. The process of ethnogenesis (Frontiers of anthropology. Vol. 5)*. Newnury Park – London – New Delhi.

- Roper D.C. 1979. The method and theory of site catchment analysis, a review. – Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, 2: New York and London, Academic Press: 119-140.
- Rotländer R.C.A. 1983. *Einführung in die naturwissenschaftlichen Methoden der Archäologie*. Tübingen, Venatoria (Bd. 6).
- Rouse I. 1960. The classification of artifacts in archaeology. – *American Antiquity*, vol. 25, no. 3, 313-323.
- Rouse I.B. 1958. The inference of migrations from anthropological evidence. – Thompson R.H. (ed.). *Migrations in New World culture history*. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): 63-68.
- Rouse I.B. 1958. The inference of migrations from anthropological evidence. – Thompson R.H. (ed.). *Migrations in New World culture history*. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): 63-68.
- Rouse I.B. 1972. *Introduction to prehistory: a systematic approach*. New York a. o., McGraw-Hill.
- Rouse I.B. 1986. *Migrations in prehistory. Inferring population movement from cultural remains*. New Haven and London, Yale University Press (repr. 1989).
- Rowe J.H. 1966. Diffusionism and archaeology. – *American Antiquity* 31: 334-337.
- Ruiz Zapatero G. 1983. Modelos teóricos de invasiones/migraciones en arqueología prehistórica. – *Tutormació Arqueologica*, 41: 147-157.
- Ryder M.L. 1969. *Animal bones in archaeology (Mammal society handbook)*. Oxford, Basil Blackwell.
- Rye O.S. 1981. *Pottery technology*. Washington, Taraxacum.
- Sabloff J.A. and Lamberg-Karlovsky C.C. (eds.). 1975. *Ancient civilization and trade*. Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Sabloff J.A. and Willey G.R. 1967. The collapse of Maya civilization in the Southern Lowlands: a consideration on history and process. – *Southwestern Journal of Anthropology*, 23 (4): 311-336.
- Sahlins M.D. 1968. *Tribesmen*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- Sahlins M.D. 1972. *Stone Age economics*. Chicago and New York, Aldine.
- Sapire D. 1972. Models and analogies in archaeological interpretation. – *The interpretation in archaeological evidence (The South African Archaeological Society, Goodwin Series, № 1)*: 6-7.
- Saxe A.A. 1970. *Social dimensions of mortuary practices*. Ph. D. dissertation, University microfilms. Ann Arbor, University of Michigan.

- Saxe A.A. 1971. Social dimensions of mortuary practices in a Mesolithic population from Wadi Halfa, Sudan. – Brown J.A. (ed.). Approaches to the social dimensions of mortuary practices. – Society for American Archaeology, Memoir 25: 39-57.
- Sayce R.U. 1933. Primitive arts and crafts. Cambridge, Cambridge University Press.
- Schaal H. 1931. Vom Tauschhandel zum Welthandel. Leipzig und Berlin, B.G. Teubner.
- Schietzel K. 1965. Müddersheim. Eine Ansiedlung der jüngeren Bandkeramik im Rheinland. Köln – Graz, Fundamenta A1, Böhlau Verlag.
- Schiffer M.B. 1972. Archaeological context and systemic context. – American Antiquity, 37: 156-165.
- Schiffer M.B. 1976. Behavioral archaeology. New York et al., Academic Press.
- Schiffer M.B. 1987. Formation processes of the archaeological record. Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Schlette F. 1977. Zum Problem ur- und frühgeschichtlicher Wanderungen und ihres archäologischen Nachweises. – Horst F. (Hrsg.). (Titelhrsg. Herrmann J.). Archäologie als Geschichtswissenschaft. Studien und Untersuchungen. (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 30. Festschrift K.-H. Otto). Berlin, Akademie-Verlag: 57-66.
- Schmidt W. 1937. Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie. Münster, Aschersdorff.
- Schmitz H.W. 1975. Ethnographie der Kommunikation: Kommunikationsbegriff und Ansätze zur Erforschung von Kommunikationsphänomenen in der Völkerkunde. Hamburg, Bunke.
- Schöpf H. 1988. Fabeltiere. Wiesbaden, VMA-Verlag.
- Schuchhardt C. 1926. Alteuropa. 2. Aufl. Berlin – Leipzig, De Gruyter.
- Sellnow I. 1977. Ethnographisches zum Problem der Ethnogenese. – Herrmann J. (Hrsg.). Archäologie als Geschichtswissenschaft: Studien und Untersuchungen. KarlßHeiny Otto zum 60. Geburtstag. Berlin, Akademie-Verlag: 45-60.
- Semenov S.A. 1964. Prehistoric technology. London, Cory, Adams & McKay.
- Service E. 1962. Primitive social organization: an evolutionary perspective. New York, Random House (2d ed.: Origins of the state and civilization. New York, Norton, 1975).
- Service E. 1963. Poor man, rich man, big man, chief: political types in Melanesia and Polynesia. – Comparative Studies in Society and History, 5: 285-303.
- Service E.R. 1964. Archaeological theory and ethnological fact. – Manners R. (ed.). Process and pattern in culture: Essays in honor of Julian H. Steward. Chicago, Aldine Publ.: 364-375.

- Service E.R. 1971. Our contemporary ancestors: extant stages and extinct ages. – Service E.R. (ed.). *Cultural evolutionism: theory in practice*. New York, Holt: 151-157.
- Shackley M. 1975. *Archaeological sediments*. London, Bantersworths.
- Shackley M. 1981. *Environmental archaeology*. London and Boston, Allen and Unwin.
- Shennan S. (ed.). 1988. *Archaeological approaches to cultural identity*. London, Routledge.
- Shennan S. 1995. Diffusion revisited. – *Wither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný*. Praha, Institute of archaeology: 293-298.
- Shennan S. 1990. Why should we believe archaeological interpretations? – Ennals J.R. and Gardin J.C. (eds.). *Interpretation in the humanities: Perspectives from artificial intelligence*. Library and information research report 71. London, British Library: 80-100.
- Shepard A.O. 1985. *Ceramics for the archaeologist*. Washington DC, Carnegie Institute.
- Shepherd R. 1980. *Prehistoric mining and allied industries*. New York and London, Academic Press.
- Sherratt A. 1994. What would in Bronze Age world system look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later prehistory. – *Journal of European Archaeology*, 1(2): 1-58.
- Shilov V.P. 1989. The origins of migration and animal husbandry in the steppes of Eastern Europe. – Clutton-Brock J. (ed.). *The walking larder: patterns of domestication, pastoralism and predation*. London, Linwin Hyman: 119-125.
- Siebel W. 1965. *Die Logik des Experimentes in den Sozialwissenschaften*. Berlin, Duncker und Humblot.
- Sighele Sz. 1891. *La folla delinquente: studio di psicologia collettiva*. Torino, Bocca.
- Sighele Sz. 1895. *La delinquente settaria*. Torino, Bocca.
- Sjoberg G. 1960. *The pre-industrial city, past and present*. Glencoe, Free Press.
- Sjögren K.-G. 1986. Kinship, labor, and land in Neolithic Southwest Sweden: Social aspects of megalithic graves. – *Journal of Anthropological Archaeology*, 5: 229-265.
- Skalnik P. 2004. Chiefdoms: a universal political formation? – *Focaal*, 43 (1): 76-98.
- Skjølsvold A. 1981. I hvilken utstrekning kan arkeologisk materiale kaste lys over folkefortytninger i Nordens forhistorie (To what extent can archaeological material provide information concerning prehistoric migrations in the Nordic area). – *UO Erbok 1980-81*: 145-157.
- Sklenář K. 1975. Palaeolithic and Mesolithic dwellings: problem of interpretation. – "Památky Archeologické", LXVI, č. 2: 266-304.

- Smith G.E. 1929. The migrations of early culture. Manchester, Publications of the University of Manchester (Ethnological Ser., no. 1).
- Smith H.I. 1899. The ethnological arrangement of archaeological material. – Report of the Museum Association of the United Kingdom for 1898. Glasgow and Edinburgh, W. Hodge.
- Smith M.A. 1955. The limitations of inference in archaeology. – *Archaeological Newsletter*, vol. 6: 1-7.
- Smolla G. 1964. Analogien und Polaritäten. – Uslar R. v. und Narr K.J. (Hrsg.). *Studien aus Alteuropa* (Beih. d. Bonner Jahrbücher, 10/1): 30-35.
- Smolla G. 1990. Analogien und ihre Grenzen. – *Saeculum* (Freiburg i. Br.), 41: 326-331.
- Soffer O. 1993. Migrations vs interaction in Upper Palaeolithic Europe. – Chapman J. and Dolukhanov P. (eds.). *Cultural transformations and interactions in Eastern Europe*. Avebury, Ashgate Publ.: 65-70.
- Sollas W.J. 1909. Ancient hunters and their modern representatives. – *Science Progress*, III: 326-353, 500-533, 667-686.
- Sollas W.J. 1911. *Ancient hunters and their modern representatives*, San Francisco & London, Freeman (3d ed/ 1924).
- Sonnenfeld J. 1962. Interpreting the function of primitive implements. – *American Antiquity*, vol. 28: 56-65.
- Sørheim H. 1988. Synkrone og diakrone analogier i arkeologisk teoridannelse. – *Universitetets Oldsaksamling Årbok 1980/1981*. Oslo, 1981: 169-177.
- Sorre M. 1954. *Les migrations des peuples*. Paris, Flammarion.
- Speight M. 1975. *Insect remains in archaeology*. London and New York, Academic Press.
- Speth J.D. 1983. *Bison kills and bone counts: decision making by ancient hunters*. Chicago, University of Chicago Press.
- Spiess A.E. 1979. *Reindeer and Caribou hunters: an archaeological study*. New York and London, Academic Press.
- Sprockhoff E. 1930. *Zur Handelsgeschichte der germanischen Bronzezeit*. Berlin.
- Stanislawski M.B. 1974. The relationship of ethnoarchaeology, traditional, and systems archaeology. – *Donan and Clewlow*: 15-26.
- Stephens D.W. and Krebs J.R. 1986. *Foraging theory*. Princeton NJ. Princeton University Press.
- Stevenson M.G. 1982. Toward an understanding of site abandonment behavior: Evidence from historic mining camps in the Southern Yukon. – *Journal of Anthropological Archaeology*, 1: 237-265.

- Steedt H. 1982. Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Eine Analyse der Auswertungsmethoden des archäologischen Quellenmaterials (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.hist. Klasse, dritte Folge, Nr. 128). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Steward J.H. 1929. Diffusion and independent invention. a critique of logic. – *American Anthropologist*, vol. 31: 491-498.
- Steward J.H. 1942. The Direct Historical Approach to archaeology. – *American Antiquity*, vol. 7, no. 4: 337-343.
- Steward J.H. and Setzler F.M. 1938. Function and configuration in archaeology. – *American Antiquity*, vol. 4, no. 1: 4-10.
- Stückel E.G. 1968. Status differentiations at the Rincon site. – *Archaeological Survey Annual Report (University of California, Los Angeles)*, 10: 209-261.
- Stiles D. 1977. Ethnoarchaeology: a discussion of methods and applications. – *Man*, vol. 12 (1): 87-103.
- Stirland A. 1999. Human bones in archaeology. Aylesbury – Princes Risborough, Shire.
- Stodiek U. 1993. Zur Bedeutung des ethnologisch-prähistorischen Vergleichs bei der Rekonstruktion jungpaläolithischer Speerschleudern und Speere. – *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 200-212.
- Strahm Chr. 1988. Ursprüngliche Impulse für die Entstehung der Stadt. – Svilar M. (Hrsg.), *Stadt und Land. Die Geschichte einer gegenseitigen Abhängigkeit*. Bern, Peter Lang: 47-64.
- Strong W.D. 1936. Anthropological theory and archaeological fact. – Lowie R.H. (ed.), *Essays in anthropology presented to A.L. Kroeber*. Berkeley, University of California Press: 359-370.
- Struever S. 1971. Prehistoric agriculture. Garden City, NY, Amer. Museum of Natural History.
- Studien 1985 = Studien zur Ethnogenese (Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wiss., Bd. 72). Opladen, Westdeutscher Verlag.
- Swanton J.R. 1928. The interpretation of aboriginal mounds by means of Creek Indian customs. – *Annual report of the Smithsonian institution for 1927*: 495-506.
- Swartz B.K. 1967. A logical sequence of archaeological objectives. – *American Antiquity*, vol. 32, no. 4: 487-497.
- Swedlund A.C. and Armelagos G.J. 1976. *Demographic anthropology*. Dubuque, W.C. Brown.
- Tabaczyński S. 1969. Recenzia na "Zakladni prehistoricke modely" E. Neustupnego. – *Archeologia Polski*, t. 14: 455-459.

- Tabaczyński St. 1971. Kultura. Znaczenie pojęcia i problemy interpretacyjne w badaniach archeologicznych. – *Archeologia Polski*, 16 (1-2): 19-96.
- Tainter J.A. 1978. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems. – M.B. Schiffer M.B. (ed.). *Advances in archaeological method and theory* (New York et al., Academic Press), 1: 105-141.
- Tarde G. 1886. *La criminalité comparée*. Paris; F. Alcan.
- Tarde G. 1890. *Les lois de l'imitation*. Paris, F. Alcan.
- Tarde G. 1895. *La logique sociale*. F. Alcan.
- Tarde G. 1897. *L'opposition universelle: essai d'une théorie des contraires*. Paris, F. Alcan.
- Tarde G. 1898. *Les lois sociales*. Paris, F. Alcan.
- Tarde G. 1989a. *Études de psychologie sociale*. Paris, V. Giard et E. Brière.
- Tarde G. 1989b. *L'opinion et la foule*. Paris, Elibron.
- Taylor W.W. 1948. *A study of archaeology* (American Anthropological Association, Memoir 69). Menasha.
- Thom A. 1955. A statistical examination of the megalithic sites in Britain. – *Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)*, 118, part III: 275-295.
- Thom A. 1967. *Megalithic sites in Britain*. Oxford, Clarendon Press.
- Thomas J. 1988. The social significance of Cotswold-Severn burial practices. – *Man (N. S.)*, 23: 540-559.
- Thompson R.H. 1956a. The subjective element in archaeological inference. – *Southwestern Journal of Anthropology*, vol.12: 327-332 (перепечат. в: Deetz 1971: 148-154).
- Thompson R.H. 1956b. The subjective element in human culture. – *Proceedings of the Prehistoric Society*, 5: 209-221.
- Thompson R.H. 1958a. Modern Yucatan Maya pottery making (Memoirs of the Society for American Archaeology, no. 15. – *American Antiquity*, vol. 23, no. 4, pt.2).
- Thompson R.H. 1958b. Preface. – Thompson R.H. (ed.). *Migrations in New World culture history*. Tucson, Ariz. (University of Arizona Social Science Bulletin, vol. XXIX, no. 27): V-VII.
- Thurnwald R. 1926. Handel. F) Allgemein. – Ebert M. (Hrsg.). *Realllexikon der Vorgeschichte* (Berlin), 5: 71-90.
- Tischler F. 1948. Die menschliche Beharrungstendenz und die urgeschichtlichen Völkerwanderungen in ihren Beziehung zur Umwelt. – *Forschungen und Fortschritte*, Bd. 24: 28-32.

- Tischler Fr. 1950. Vorgeschichtliche Völker- und Ideenwanderungen. – *Saeculum*, 1: 318-323.
- Tischler Fr. 1954. Schöpferische Nachahmung in schriftloser Gesellschaft. – *Saeculum*. 5 (4): 384-394.
- Tite M.S. 1972. *Methods of physical examination in archaeology*. New York and London, Academic Press.
- Traverse A.T. 2008. *Paleopalynology*. 2nd ed. Dordrecht, Springer.
- Trigger B. 1974. The archaeology of government. – *World Archaeology*, 6 (1): 95-106.
- Trigger B.G. 1968. *Beyond history: the methods of prehistory*. New York, Holt, Rinehart & Winston.
- Trigger B.G. 1969. More on models. – *Antiquity*, vol. XLIII, no. 169: 59-61.
- Trigger B.G. 1970. Aims in prehistoric archaeology. – *Antiquity*, vol. XLIV, no. 173: 26-37.
- Trigger B.G. 1978. *Time and traditions. Essays in archaeological interpretation*. Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Tylecote R.F. 1987. *The early history of metallurgy in Europe*. London & White Plains, Longman.
- Tylor E.B. 1871. *Primitive culture*. London (русск. перев.: Тайлор Э.Б. 1989. Первобытная культура. М., Политиздат).
- Tylor E.B. 1879. On the game of Patolli in Ancient Mexico and its probably Asiatic origin. – *Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. 8: 116-129.
- Tylor E.B. 1893. On the Tasmanians as representatives of Palaeolithic man. – *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 23: 141-152.
- Tymieniecki K. 1952. Migracje w Europie środkowo-wschodniej i wschodniej w starożytności. – *Slavia Antiqua*, t. III. Poznań: 1-51.
- Typen der Ethnogenese 1990. = Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, Wien, Verl. der Österreich, Akademie der Wiss. Teil 1 (Hrsg.: Wolfram H. u. Pohl W.), Teil 2 (Hrsg.: Friesinger H. u. Daim F.).
- Ucko P.J. 1969. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. – *World Archaeology*, 1: 262-280.
- Ucko P.J. 1969. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. – *World Archaeology*, I: 262-277.
- Ucko P.J., Tringham R. and Dimbleby G.W. (ed.). 1972. *Man, settlement and urbanism*. London, Duckworth.
- Uslar R. von. 1950. Der Musterkoffer von Koppenow. – *Prähistorische Zeitschrift*, 34/25 (1949/1950), 1. Hälfte: 147-158.

- Vallois H.V. 1937. La duree de la vie chez l'homme fossile. – *Anthropologie*, 47: 499-532.
- Vasmer M. 1913. Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. – *Rocznik Slavistyczny*, VI: 172-210.
- Vaughan P. 1985. Use-wear analysis of flaked stone tools. Tucson, University of Arizona Press.
- Veit U. 1993. Europäische Urgeschichte und ethnographische Vergleiche: eine Positionsbestimmung. – *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 135-143.
- Veyne P. 1990. *Geschichtsschreibung – und was sie nicht ist*. Übers. v. Franz. Frankfurt a M., Suhrkamp.
- Vita-Finzi C. 1978. *Archaeological sites in their setting*. London & New York, Thames and Hudson.
- Vogt E. 1947. Zum Problem des urgeschichtlich-völkerkundlichen Vergleichs. – Drack W. und Fischer P. (Hrsg.). *Beiträge zur Kulturgeschichte*. Festschrift für Reinhold Bosch. Aarau, H.Sauerländer: 44-47.
- Vorlauf D. 2011. *Experimentelle Archäologie: eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Kommerz*. Isensee, Oldenburg.
- Vossen R. 1969. *Archäologische Interpretation und ethnographischer Befund: Eine Analyse anhand rezenter Keramik des westlichen Amazonenbeckens (Hamburger Reihe zur Kultur- und Sprachwissenschaft, Bd. 1-2)*. Hamburg.
- Wace A.J.B. 1960. A Mycenaean mystery. – *Archaeology*, vol. 13 (1): 40-43.
- Wace A.J.B. and Blegen C.W. 1939. Pottery as evidence for trade and colonization. – *Klio*, 32: 131-147.
- Wahle E. 1926. Handel. A) Europa. – Ebert M. (Hrsg.). *Realllexikon der Vorgeschichte (Berlin)*, 5: 37-64.
- Wahle E. 1941. Zur ethnischen Deutung frühgeschichtlichen Kulturprovinzen. – *Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse*, 1940/41, Abh. 2.
- Wahle E. 1964. *Tradition und Auftrag prähistorischer Forschung*. Berlin, Duncker und Humblot.
- Wallerstein I. 1974. *The modern world-system*. New York, Academic Press.
- Washburn S.L. 1953. The strategy of physical anthropology. – Kroeber A.L. (ed.). *Anthropology today*. Chicago, Chicago University Press: 714-727.
- Watkins C. 1999. A Celtic miscellany. – Jones-Bley K, Huld M.E., Della Volpe A. and Dexter M.R. (eds.). *Proceedings of the Tenth Annual UCLA Indo-European Conference (Los Angeles 1998)*. (*Journal of Indo-European Studies* 32). Washington, DC: 3-25.

- Watson P.J. (ed.). 1979. Archaeological ethnography in Western Iran. Tucson, Viking Fund Publications in Anthropology, 57.
- Watson P.J., LeBlanc S.A. and Redman Ch.L. 1971. Explanation in archeology: An explicitly scientific approach. New York and London, Columbia University Press.
- Watson P.J., LeBlanc S.A., and Redman Ch.L. 1984. Archaeological explanation: The scientific method in archaeology. New York, Columbia University Press.
- Weber M. 1904 – 1905/2004. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. – Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik etc., Tübingen, 2-3 / München – Hamburg, C.H. Beck.
- Wedel W.R. 1938. The direct-historical approach in Pawnee archaeology (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 97, no. 7). Washington, D. C.
- Weidenreich F. 1939. The duration of life of fossil man in China and the pathological lesions found in his skeleton. – Chinese Medical Journal, 55: 34-44.
- Weiss K.M. 1973. Demographic models for anthropology (Society for American Archaeology, Memoir 27).
- Wells P.S. 1987. Review of I. Rouse. – American Archaeological Journal, vol. 91: 332-333.
- Weniger G.-Chr. 1993. Messen, Zahlen und Vergleichen. Zwei Beispiele zum Problem der Kompatibilität archäologischer und ethnographischer Daten. – Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 34 (2): 167-177.
- Wheeler M. 1952. Archaeology and the transmission of ideas. – Antiquity, vol. XXVI, no. 104: 180-192.
- Wheeler M. 1965. Der Fernhandel des Römischen Reiches in Europa, Afrika und Asien. München – Wien, R. Oldenbourg.
- White K.D. 1984. Greek and Roman technology. London, Thames and Hudson; Ithaca, NY, Cornell University Press.
- White L.A. 1945. 'Diffusion vs. Evolution': an anti-evolutionist fallacy. – American Anthropologist 47: 339-356.
- White Th.E. 1953/4. Observations on the butchering techniques of some Aboriginal peoples. – American Antiquity, 19: 160-164, 254-264.
- Wiley G. 1953a. A pattern of diffusion – acculturation. – Southwestern Journal of Anthropology, vol. 1IX: 369-384.
- Wiley G.R. 1953. Prehistoric Settlement Patterns in the Virú Valley, Peru. (Bureau of American Ethnology Bulletin 155). Washington, D.C.
- Wiley G.R. 1953b. Archaeological theories and interpretation: New World. – A.L. Kroeber a. o. (ed.). Anthropology today. Chicago, University of Chicago Press: 361-385.

- Willey G.R. 1953c. What archaeologists want? Inference and analogy in archaeology. – Tax S. et al. (eds.). *An appraisal of anthropology today*. Chicago, University of Chicago Press: 229-230; 251-254.
- Willey G.R. 1968. One hundred years of American archaeology. – Brew J.O. (ed.). *One hundred years of anthropology*. Cambridge, Mass., Harvard University Press: 26-53.
- Willey G.R. and Sabloff J.A. 1974. *A history of American archaeology*. San Francisco, Freeman.
- Willey G.R. et al. 1956. An archaeological classification of culture contact situations (Seminars in archaeology 1955: *Memoirs of the Society for American Archaeology*. Vol. XXVII, no. 2, pt. 2. Salt Lake City).
- Wobst H.M. 1978. The archaeo-ethnology of hunters-gatherers or the tyranny of the ethnographic record in archaeology. – *American Antiquity*, 43: 303-309.
- Wolągiewicz R. 1986. Die Goten im Bereich der Wielbark-Kultur. – *Peregrinatio Gothica (Archaeologia Baltica. T. VII)*. Białe Błota 1984. Łódź, Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: 63-98.
- Wotzka H.-P. 1993. Zur Tradition der Keramikdeponierung im äquatorialen Regenwald Zaires: ein Bekenntnis zur allgemein-vergleichenden Analogie. – *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, 34 (2): 251-283.
- Wylie A. 1982. An analogy by any other name is just analogy: A commentary on the Gould – Watson debate. – *Journal of Anthropological Archaeology*, 1: 382-401.
- Wylie A. 1985. The reaction against analogy. – Schiffer M.A. (ed.). *Advances in archaeological method and theory*, vol. 3. New York et al., Academic Press: 63-111.
- Yellen J.E. 1977. *Archaeological approaches to the present: models for reconstructing the past*. New York, Academic Press.
- Zamojski J.E. 1995. Migracje masowe – czynnik przemian społeczeństw współczesnych. – *Migracje i społeczeństwo*. Warszawa, Neriton.
- Zastawniak E. 2003. *Paleobotanika na przełomie wieków*. Krakow, Polska Akad. Nauk, Szafer Inst of Botany.
- Zelenin D. 1927. *Ostlavische (russische) Volkskunde*. Berlin, W. De Gruyter.
- Ziegert H. 1964. Archäologie und Ethnologie. Zur Zusammenarbeit zweier Wissenschaften. – *Berliner Jahrbuch für Vor and Frühgeschichte*, Jg.4: 102-149.
- Zubrow E.B.W. 1975. *Prehistoric carrying capacity: A model*. Cummings, Menlo Park, N.J.
- Zubrow E.B.W. (ed.). 1976. *Demographic anthropology: quantitative approaches*. Ann Arbor, University of New Mexico Press.

УКАЗАТЕЛИ

Именной указатель

А

Абаев В.И. 335
Авербух М.С. 269
Агаев А.Г. 286, 288-290
Адамс (Эдамс) У.И. 81, 220, 258, 263, 266, 268
Айзек Г. 45
Акалу А. 47
Аккоу П. 52, 59, 422, 425
Алексеев В.П. 305, 348
Алексеева Т.И. 319, 348
Алекшин В.А. 415, 427-428
Альтерович О.Н. 190
Аммон О. 241
Андре Р. 31
Антонова Е.В. 424, 454-455
Арзаканьян Ц.Г. 190, 195, 203
Арманд А.Д. 108
Арнольдс А.И. 178, 190
Артаксеркс II 65
Артамонов М.И. 262, 290, 294, 305, 308, 311, 313-315, 321-323, 336, 404, 422, 490
Артановский С.Н. 33, 178, 191
Артемова О.Ю. 411
Артур. король 370
Арутюнов С.А. 229, 286
Арутюнян С.М. 286
Арциховский А.В. 28, 215, 304, 320-321, 371
Асколи Г. 245
Афанасьев Г.Е. 406, 429

Б

Бадер О.Н. 334
Байбурин А.К. 454
Балановская Е.В. 287
Балановский О.П. 287
Балонов Ф.Р. 458
Баллер Э.А. 202
Барт Р. 184
Бастиян А. 32, 232
Баткин Л.М. 190
Баумхоф М.А. 359
Бауэр О. 284
Бедфорд М. 417
Безбородов М.А. 381
Белецкий С.В. 2, 4
Белков П.Л. 294
Белолипецкий В.И. 204
Белявский В.А. 290-291
Бенедикт Р. 31, 185
Берг Л.С. 326
Берге П.Л. ван ден 294
Бергсон А. 21
Бёрдселл Дж.Б. 359
Березкин Ю.Е. 455, 472
Берестнев С.И. 430
Берестнева Л.Н. 430
Бернабей М. 428
Бернал Дж. 75
Бернштам А.Н. 263
Бернштейн С.С. 326
Берталанфи Л. Фон 76-78, 85, 101, 221, 293
Бенфей Т. 251
Бетховен Л. Ван 8
Бианки А.М. 68
Бибиков С.Н. 356, 378, 395-396
Бинфорд Л.Р. 16, 19, 25, 27, 34-35, 42-44, 46, 49, 52, 71, 73, 78, 81, 83-85, 94, 98, 100, 106, 110, 114, 145, 153, 156, 158, 164, 175, 205-207, 209-210, 220-222, 349, 354, 404, 423-426, 446-447, 481
Бир С. 85
Бишони Р. 423, 429
Блаватский В.Д. 65
Блауберг И.В. 78, 86-88, 95
Блеген К. 371
Блок М. 59, 475
Бляхер Л.Я. 34
Боас Ф. 250
Бобринский А.А. 386, 398
Богаевский Б.Л. 259
Богданов А.А. 76
Бозеруп Э. 349
Болдуин Дж.М. 250
Бондарев А.В. 314
Бопп Ф. 243
Борзунов В.А. 426

Борковский И. 213
Боссюэ Ж.Б. 248
Боузек Я. 59-60
Боуэн Д. 392
Бочкарев В.С. 2, 4, 314, 335
Браун 77
Браун Дж.А. 77, 185, 422
Брейдвуд Р.Дж. 81, 209, 355
Брезийон М.Н. 153-154, 156
Брейль А. 278, 468, 471
Брентъес Б. 125, 133
Бреховских С.М. 372
Бродбент С.Р. 448
Бродель Ф. 475
Бромлей Ю.В. 191, 193, 204, 207, 269, 282,
287-288, 294-296, 299, 312
Бронштейн И.Ю. 199
Бру Дж. 217, 429
Бругман К. 341
Брукс Х.К. 398
Брюер Фр. 392
Брюсов А.Я. 213, 215, 258, 262-263, 341,
343, 396, 404, 416
Будилович А.С. 326
Булкин В.А. 96
Булэнвиллье А. де 240
Бунак В.В. 319
Бунятян Е.П. 403, 427-428
Буровский А.М. 10-11, 14-15, 18
Бутинов Н.А. 369
Быковский С.Н. 198, 304
Бэкон Ф. 133

В

Вагнер М. 237, 239
Вагнер Р. 240, 241
Вале Э. 217-218, 220, 245, 263, 278, 343, 431
Валуа А.-В. 352
Ванкель Й. 125, 133
Вартофский М. 104, 107
Ваше де Ляпуж Ж. 241
Вебер Макс 349, 367-369
Вейденрейх Ф. 352
Венигер Г.-К. 169-171
Вильзер Л. 241
Виндельбанд В. 182
Винклер Г. 214

Виноградов В.А. 86
Виноградов В.В. 319
Волков П.В. 127-133, 135, 139-141, 143
Вольгер (Аруэ Ф.-М.) 179
Воробьев М.В. 291
Ворсо Й.-Я.-А. 79, 209
Вотца Г.-П. 52-53
Вули Л. 255
Вэн П. 163-164

Г

Гадамер Г.-Г. 11
Галле А. 16, 260-261
Гамкрелидзе Т.В. 245
Гане Г. 263
Гарден Ж.-К. 12-13, 16, 138, 491-492
Гахман Р. 217, 268-278, 280, 305, 314, 333-
334, 336
Геддон (Хэддон) Э.(А.)К. 246, 266
Гей А.Н. 428
Геккель Й. 27, 32, 47, 55, 172-173, 192
Гексли (Хаксли) Т.Г. 21
Гелен А. 186
Генинг В.Ф. 426-427
Георгиев Э. 326, 341
Гердер И.Г. 179
Гёрнес М. 262
Геродот 322, 336
Гимбутас М. 245, 343
Гиндин Л.А. 346
Гиря Е.Ю. 376, 378
Гитлер А. 249
Глинский Б.А. 107
Гнеденко Б.В. 108
Гобино А. де 240
Говедарница Б. 65
Голдинг У.Дж. 226
Голдстейн Л.Г. 423
Гомер 62, 287
Городцов В.А. 253, 255, 273, 378
Гражданкина Н.С. 381
Грач А.Д. 426
Гребнер Ф. 60, 236, 246
Грегг С. 167, 168
Гредескул Н.А. 199
Григорьев Г.П. 41
Гримм Я. 243

Гриоль М. 185
Гричук В.П. 390
Грюнерт Г. 431, 435
Грюсс Й. 392
Гудфеллоу Д. 364
Гукш К. 49-50
Гулд Р. 19, 25, 45, 48, 73, 146-147, 150, 157-159, 165
Гумилев Л.Н. 263, 281, 291-296
Гумплович Л. 264
Гуревич А.Я. 191, 475-476
Гурина Н.Н. 465, 469, 471
Гуссерль Э. 11
Гэлтон Ф. 46
Гюнтер Г. 238, 242

Д

Давидович В.Е. 203-204
Давыдова А.В. 63, 65, 430
Далтон Дж. 369, 435
Данилевский Н.Я. 129
Даниленко В.Н. 450
Даниловский И.В. 388
Даннел Р. 10, 222, 446, 478, 481
Дарвин Ч. 75-76, 129, 222, 237, 239, 240, 243
Дебец Г.Ф. 319
Деген-Ковалевский Б.Е. 484
Делич Ф. 214
Ден В. 269
Денисов Е.И. 384
Дергачев В.А. 65-66, 458-459, 473
Деревняко А.П. 392
Джанджильдин И. 287
Джевонс У.Ст. 364
Джерард Р. 77
Диви Э.С. 360
Добровольский А.В. 378
Добролюбский А.О. 423
Долуханов П.М. 246, 391-392
Дольник В.Р. 408
Доннан К. 147
Достоевский Ф.М. 242
Дьяконов И.М. 269, 276, 287, 290, 300
Дэвид Н. 220
Дэниел Г. 81, 113-116, 214, 218-220, 429
Дюркгейм Д.Э. 184, 249, 368, 402, 453

Е

Евглевский А.В. 2, 4
Егерстранд Т. 234
Елен Дж. 175
Ельмслев Л. 184
Ефименко П.П. 404
Ёссинг Г. 35, 280, 405,

Ж

Жданов Ю.А. 203
Жоффруа Р. 436
Жуков Е.М. 80

З

Заброу Э. 446-447
Завьялов В. 386
Заде Л.А. 78
Заднепровский Ю.А. 394-395
Заклинская Е.Д. 390
Замятнин С.Н. 395, 405-406
Захарук Ю.Н. 262, 320
Звелебил М. 235
Зворыкин А.А. 202
Земпер Г. 457
Зибер Н.И. 366
Зиглин В. 241
Зими́на М.П. 262
Зиновьев А.А. 78
Знаменская О.М. 391
Зонненфельд Дж. 37-38

И

Ибаррури Д. 293
Иван Грозный 371
Иванов В.В. 67, 245, 471
Иванов К. 296
Иванова С.В. 429-430
Иессен А.А. 378
Избицер Е. 19
Инешин Е.М. 103-106
Исидор Медиенский 67
Итс Р.Ф. 294, 305

К

Кабо В.Р. 33, 71, 453-455
Кавалли-Сфорца Л. 234, 270, 255
Каган М.С. 177-178, 191, 194, 202-203, 206, 208

Казанцев Д.Е. 334
Кайзер Э. 65, 241
Каменешкий И.С. 10, 12, 99, 426, 480
Каммари М.Д. 285
Кандерт Й. 59-60
Кант И. 179-180, 182-183, 185, 479
Карвер М. 447
Карнейро Р. 187, 360-361
Карр К. 154, 156
Кассирер Э. 182, 185
Кастил Р.У. 359-360
Каугилл Дж.Л. 351, 360-361
Каутский К. 289, 404
Кашинг Ф. 458
Кван К.М. 297
Кейес Г. 297
Кейнс М. 368-369
Кендалл Д. 448
Кеньон К. 255
Кэсселбери С. 354
Кетле Л.-А.-Ж. 249
Килиан Л. 311
Ким М.П. 198
Кинг Л. 422
Кирхнер Х. 217
Киселев С.В. 404, 416
Кислякова Г.И. 394-395
Клакхон К. 26, 178, 182, 185
Клапрот Ю.-Г. 243
Кларк Гр. 27, 36, 48, 106, 110, 114, 116, 151, 157, 216
Кларк Д. 42, 44, 83-85, 94, 98, 100, 107, 109, 116-121, 138, 175, 209, 220-222, 224
Кларк Дж.Э. 36, 111
Клейн Л.С. 2, 4-5, 9, 12, 14, 16, 19-20, 26, 29-30, 40, 45, 47, 64-65, 72, 79, 91, 93, 95-99, 101, 113, 138, 178, 193, 197, 200, 206-207, 210-211, 222, 228-230, 245-246, 252, 255, 264, 266, 268, 275, 294, 306-308, 310-315, 322, 324, 329-330, 332-333, 335-336, 339, 341-345, 372, 396, 432, 458, 471, 473-474, 481
Клейндинст М.Р. 146
Клюлоу У. 147
Кнабе Г.С. 99, 262, 341
Ковнурко Г.М. 381
Когутницкий Б. 38

Кожин П.М. 262, 348
Козлов В.И. 285-290, 294, 296
Колпаков Е.М. 452-455
Колчин Б.А. 96, 122, 226, 386
Кон И.С. 193
Конклин Г. 360
Коннор У. 297
Конг О. 402
Копиерс В. 32, 48
Коробкова Г.Ф. 378, 395
Косарев М.Ф. 246, 262
Косинна Г. 35, 213, 217, 238-239, 242, 245
Коссак Г. 217, 305, 422
Костшевский Ю. 213, 258
Коулз Дж. 127, 135, 138-139
Коулстон У. 251
Коутецки Д. 59
Крадин Н.Н. 411, 429-430
Крёбер Э.(А.) 147, 178, 339, 422, 478
Кремянский В.И. 76
Кривцова-Гракова О.А. 255
Кричевский Е.Ю. 214-216, 258
Крофорд О.Г.С. 216
Круг О.Ю. 386
Круглов А.П. 216, 255, 404, 422
Крэбтри Д.И. 398
Крюгер Б. 305
Ктесий 65
Кузнецов О.В. 147
Кузнецов П.С. 319, 322, 326
Кузьмин Н.Ю. 472
Кузьмина Е.Е. 345-346
Кук Ш.Ф. 353, 355, 357, 361
Кун А. 243
Кунов Г. 366, 404
Кушнер (Кнышев) П.И. 286, 288

Л

Лаббок Дж. 30, 39
Лавров С. 296
Лазуков Г.И. 392
Ламберг-Карловски К. 151-152, 160, 164
Ласло Д. 334
Лэт З.Й. де 220
Латынин Б.А. 62, 485
Лашук Л.П. 290
Ле Гофф Ж. 476

Дебелы Г.С. 96, 208, 426, 490
Деби Г. 248-249
Дей-Броуль Л. 185
Дей-Страсс К. 136, 138, 185, 453
Дейви В.И. 76, 205, 249, 284, 289
Дейвис А.Е. 309
Дей-Сильвестр Т. 319-320
Дей П. 402
Дей-Гурин А. 38-39, 153-154, 156, 185,
220, 453, 468, 471
Дейкс А.М. 62
Дейер В.А. 94
Дей Э.С. 245, 420
Дейс Э. 417
Дейли Дж.М. 275
Дейтон Р. 185
Дейс Ю. 199
Дей Э. 420
Демброзо Ч. 249
Десен К. 408
Детон Ю.М. 177, 191, 193, 196
Дей Р. 47, 183, 232
Дейрен Л. 357
Дей С.Я. 294
Дей Ф. фон 32
Дей-Уильямс Дж.Д. 50-53, 69
Дей Ж.-А. 468
Дейтер М. 250, 475
Дейшкин И.П. 311, 321-322

М

Мавродин В.В. 316-317, 320, 326
Мазур М. 6
Майлз Д. 422
Макаревичус К. 124
Мак-Грегор 48
МакКери 214
МакМайл Э.В. 357
МакНиш 106
МакУайт И. 11
Малина Я. 123, 126-130, 137, 139
Малинова Р. 123, 126, 128-130, 133-134,
137, 139
Малиновский Б. 184, 187, 368-369, 432
Мальмер М.П. 218, 220, 268
Манзура И.В. 343
Марат Ж.-П. 248

Маретт Р. 232
Маринов В. 51, 54
Маркьян Э.С. 177, 191-194, 196, 201-206,
224, 229
Маркевич В.И. 356
Марков К.К. 392
Марков Г.Е. 366, 396
Марковин В.И. 426
Маркс К. 76, 88, 289, 291, 307, 349, 365-367, 402
Маркус Дж. 447
Марр Н.Я. 82, 214-215, 303-304, 316, 319-
320, 341
Мартынов А.И. 10, 380, 384-385, 480, 491
Мартынов В.В. 326-327, 341
Маруяма М. 221
Маршак Б.И. 10, 12, 480
Маршалл А.(Э.) 364, 411
Масон В.М. 12, 14, 407, 424
Мачинский Д.А. 314, 337,
Межуев В.М. 177, 180, 190, 194
Мейе А. 341, 343-344,
Мейен С.В. 21-22, 390
Мейербер 240
Мейландер К. 267, 334
Мейсон О. 149
Мелларс П. 410
Меллен Я. Фон 124
Мёрдок П. 149
Меркулова В.А. 326
Мерперт Н.Я. 246, 270, 311, 344, 346
Мешанинов И.И. 35, 48, 258-259
Мид М. 185
Миланкович М. 393
Милисаускас С. 354
Митричев В.С. 381
Михина Е.М. 476
Мкртумян Ю.И. 204, 207
Моль А. 224-225
Мольтке Г.К.Б. 242
Монгайт А.Л. 99, 308, 311-312, 318, 330, 341
Монтелиус О. 21, 75, 79, 212, 232, 311, 365,
431, 483
Моррис Д. 408
Моррис Ч. 462
Мортилье Г. де 21, 75, 212
Мосионжник Л.А. 294
Мосс М. 368-369, 432

Муберг К.-А. 403, 491
Муссолони Б. 249
Мух М. 245
Мюллер С. 79, 214, 478
Мюллер-Бек Г. 358
Мюллер-Карне Г. 11, 80, 99

И

Иларенко В.А. 96
Иалимов В.В. 123
Иейштадт М.И. 390-391
Иибур Б.Г. 180
Иидерле Л. 319
Иикольский В.К. 32, 304
Иовик И.Б. 76, 77, 107, 473
Иовиков А.М. 77
Иовикова Л.А. 473
Иоль Э. 30
Иортрон Ф. 185
Иэрролл Р. 354

О

Обермайер Г.(Х.) 213
Одум Х.Т. 360
Ойзерман Т.И. 462
Окладников А.П. 305, 314, 378
Ольховский В.С. 426
Оркат Дж.Д. 356
Ориатская Л.А. 179
Освальт У. 149, 158
Осгуд К. 149
Отрощенко В.В. 426, 428-429, 460, 473
Отто К.-Г. 311

П

Павленко Ю.В. 411
Паганини Н. 8
Пайк К.Л. 184
Пендлбери Дж. 268
Пенка К. 241
Пёрди Б. 398
Перельман А.И. 392
Персон А.В. 60
Першиц И.А. 33
Петр I 98
Петрусь В.П. 319
Петрухин В.Я. 424

Пиготт С. 110-116, 220, 429, 491
Пикто А. 245
Пименов В.В. 286
Пиотровский Б.Б. 64, 304, 390
Пирс Ч. 462
Питри Фл. 239, 448
Питт Риверс О. 149, 212
Питтиони Р. 27, 47, 55
Плахии В.Т. 423
Плейнер Э. 127
Плеханов Г.В. 249, 404
Плиний Старший (Гай Плиний Секунд) 67
Плог Ф. 158, 209, 222, 354, 356
Плюснин Ю.М. 408
Погребова М.И. 262
Подгаецкий Г.В. 216, 255, 404, 422
Поланьи К. 369, 433, 435
Польяк Ю.Г. 107-108
Понов Б. 70
Понов М. 319
Попов О.И. (А.И.) 320
Попова Т.Б. 488-489
Поршнева Б.Ф. 80
Пост Л. Фон 391
Постникова Н.М. 319
Потрац Й. 62
Прейдель Г. 217
Пропп В.Я. 98, 472, 479
Пустовалов С.Ж. 428-429, 460-462, 473, 489
Пучков П.И. 288

Р

Рабле Ф. 475
Равдоникас В.И. 30, 32, 36, 198, 214-215, 283, 404, 422
Раглан Ф.Р.С., барон 214
Раевский Д.С. 424, 454-455, 490
Ранке Л. Фон 180
Раск Р. 243
Рассел М. 389
Ратцель Ф. 32, 34, 182, 233, 236-237, 239, 250, 257
Рауз И. 49, 214, 246, 266, 268
Раульф У. 476
Ревзин И.И. 195
Редфилд 185
Рейснер Дж. 255

рейхель В. 60
Ренфру К. 85, 98, 100, 114-116, 219-222,
245, 259, 355, 358, 361, 402, 405, 411-414,
417, 423, 429, 431-432, 440-442, 445-448,
450-451, 454-455, 492
Риверс У.Х.Р. 149, 212, 237-238
Рид Ч. 355
Рикардо Д. – 364-365
Рикёр П. 11
Риккерт Г. 182
Рингстедт Н. 431
Роберт К. 64
Робеспьер М. 248
Рогинский В.Н. 225
Рогинский Я.Я. 305
Роде А.А. 124
Росс Э. 250
Ростовцев М.И. 82, 214-215
Ротлэндер Р. 392
Рошер В. 367
Рузвельт Т. 249
Русс Сапатеро Г. 270-271, 276-277
Румянцев А.М. 366, 396
Руссо Ж.-П. 179
Рыбаков Б.А. 28, 204, 315, 336, 371, 410,
446, 458
Рыбалова В.Д. 60-62
Рындина Н.В. 380, 386
Рэвенстайн Э.Дж. 245
Рэдклиф-Браун А.(Э.) 185
Рябинин Е.А. 309

С

Савенко С.Н. 429
Савиньи Ф.-К. фон 180
Савицкий П.Н. 292
Садовский В.Н. 76-78, 86, 95
Сайко Э.В. 386, 520
Сайкс Б. 235
Салинз М. 187, 411, 413
Сальников К.В. 262
Самнер У.Г. 294
Самойлов Л. (Клейн Л.С.) 228
Седов В.В. 319, 322
Сейс Р. 149
Селигмен Ч.Г. 237
Селимханов И.Р. 382

Селларс Р. 77
Семенов С.А. 10, 126, 134, 136, 138, 375-
376, 378, 380, 387, 395
Семенов Ю.И. 28-29, 88, 299-300, 369
Сеппир Э. 184
Сервис Э. 27, 48, 109, 187, 411, 413
Сергеев В.С. 294
Серебряников О.Ф. 44
Сержантов В.Ф. 211
Сёрхейм Х. 34
Сегров М.И. 76
Сигеле Сц. 248
Сире Э. 239
Сире Л. 239
Скленарж К. 41
Смирнов И.И. 198
Смирнов К.Ф. 62
Смирнов Ю.А. 424, 426
Смит Адам 363, 365
Смит Б.У. 382
Смит М. 37
Смит Эл. 183, 214, 231, 236-237, 257-258
Смола Г. 25, 49
Соколов Э.В. 177, 190, 193-195, 202-203,
205, 208, 227
Сорокин В.Я. 66
Соссюр Ф. 184, 461
Соудски Б. 354
Спенсер Г. 222, 248
Сполдинг А.(О.) 214
Сталин И.В. 283-285, 287, 290, 295-296,
300, 405, 422
Станиславский М. 294
Стикел Г. 422-424
Стрингер Кр. 410
Стронг У. 26
Стэнсолл З. 417
Стюард Дж. 47, 145, 156, 187, 411
Суарти В.К. 11
Сулимирский Т. 258
Сэйр Э.В. 382
Сэкетт Дж. 481
Сэкс А.А. 423, 425

Т

Тайлер Ст. 446
Тайлор Э. 181, 213, 232

Тальгрен А. 378
Тара Г. 249-250
Тахтаджян А.Л. 76
Терехова Н.Н. 386
Тёрнер К. 357
Тетенькин А.В. 103-106
Тиллениус Г. 32
Титов В.С. 246, 252, 265, 267-268, 271, 273, 276
Тихонов И.Л. 4
Тихонов С.С. 149
Тишлер О. 125
Толоров Ц. 305
Тойнби Э. 186, 213
Токарев С.А. 286-287, 290-291, 305, 313
Толстов С.П. 48, 319, 341
Том А. 448
Томас Дж. 415
Томплов Н.А. 147-150
Томпсон Р.Дж. 25, 38-39, 43, 46, 71
Томпсон Ст. 251
Томсен Ю. 21, 75, 116, 125, 209, 243-244, 251
Топоров В.Н. 471
Торквемада Т. 248
Третьяков П.Н. 262, 303, 308, 313-315, 322-323, 334, 404
Тростников В.Н. 6
Трофимова Т.А. 319
Трубачев О.Н. 326, 341
Трубешкой Н.С. 184
Туривальд Р. 431
Тэйлор У. 11, 81, 181, 220
Тэинтер Дж. 414, 423-426, 429

У

Уайт Л. 187, 192, 205, 411
Уайт Теодор 388
Удальцов А.Д. 305, 311
Уемов А.И. 44, 107
Уивер У. 6
Уилер М. 257-258, 431
Уилли Г. 34, 48-49, 210, 220, 262, 278, 416
Уилсон Э.О. 408
Уледов А.К. 200, 204
Уорф Б.Л. 184
Уотсон П.Дж. 49, 146, 158, 165, 222
Урсул А.Д. 7
Устюгова Е.Н. 477-479

Ушджнер Д.К. 355
Уэйс А. 60, 62-63, 254

Ф

Февр Л. 475
Фейджин Р. 85
Фейт У. 25, 166
Фёре Р. 364, 368
Феттер Ф. 53
Фик А. 244
Филин Ф.П. 320, 326
Филиппов А.К. 462-470
Финни Д.Дж. 123
Фишер У. 27, 42-49, 164, 217
Фокс С. 216
Форд Дж. Э. 218, 220, 429
Формозов А.А. 40, 262, 460, 463
Фосс М.Е. 262
Фрайд М. 187, 411
Французова Н.П. 29, 47
Фридрих Вильгельм III 242
Фробениус Л. 236, 239, 257
Фуко М. 185
Фьюкс Дж. У. 144, 147

Х

Хаберландт А. 32
Хазанов А.М. 422
Хайдеггер М. 11
Хайек Ф. фон 369
Хайем Д. 297
Хайлов К.М. 76-77
Хаксли (Гексли) Т. 21
Хансен Х.-О. 125, 127, 137
Хант Дж. 240
Харрис М. 187
Хедегер Л. 324
Хейдер К.Г. 45
Хейердал Т. 134
Хен (Ген) В. 251
Херскович М. 187, 364
Хертейг А. 265
Хилз Д.Ф. 361
Хилл Н. 138, 221
Хиллер Б. 417-418, 420-421
Хлобыстина М.Д. 427-428
Ходдер Я. 14, 151-152, 222, 429, 446, 454

Ходж Ф.У. 147
Хокс Кр. 37, 49, 167, 220, 233, 258, 403, 405,
446-447, 451
Хокс Дж. 216, 218
Холл А. 85
Холлоуэлл А.(Э.)И. 185
Холмс У. 458
Хомски Н. 462
Хори Э. 266
Хурсина Л.А. 372
Хэддон А.(Э.)К. 237
Хэнсон Дж. 421
Хэрке (Харке) Г. 258, 429

Ц

Цигерт Г. 34
Цимиданов В.В. 429-430
Цицерон Марк Туллий 178

Ч

Чайлд В.Г. 81, 99, 102, 187, 214, 219, 245, 247,
258-259, 310, 343, 349, 410, 422, 455, 491
Чебоксаров Н.Н. 229, 289-290, 305, 313
Чебоксарова И.А. 290
Чемберлен Т.К. 21, 58-59
Чемберлен Х.С. 241
Черных Е.Н. 380, 382, 384, 386-387
Черныш А.П. 358
Черныш В.И. 224-225
Черняков И.Т. 449
Чесноков Д.И. 191
Чжан Гуанчжи (Чан Кванчи) 22, 25-27, 29,
43, 145, 278, 416, 492
Чжао Юаньжень 107
Чистов К.В. 193, 296
Членова Н.Л. 255
Чмыхов Н.А. (Чмихов М.О.) 449-450, 454

Ш

Шахермейр Ф. 213, 257
Шварц Д.У. 356
Шёгрэн К.-Г. 413, 429
Шелепов Г.В. 287, 291
Шенников А.А. 286
Шелер М. 186
Шеман Г. 240
Шеннон К. 6-7

Шепли Х. 391
Шер Я.А. 5-6, 10, 12, 380, 384-385, 463, 470,
479-481, 491
Шернквист П. 47
Шибутани Т. 297
Шиллер И.Кр.-Ф. 30
Шилов Ю.А. 450
Широкогоров С.М. 282-283, 287, 291-292
Шлейхер А. 243-245, 251
Шлиман Г. 144, 364, 384
Шлиц Й.-Кр.-А. 241
Шмидт А.В. 32, 36, 48, 246
Шмидт И. (Schmidt Johan) 251, 341
Шмидт В. 238
Шмиц К.А. 32
Шмоллер Г. 367
Шнирельман В.А. 25, 149, 395-396
Шпенглер О. 186-187
Широкхоф Э. 365
Шрадер О. 245, 262, 328
Штодик У. 54-58
Штойер Г. 325
Штофф В.А. 107
Шумкин В.Я. 468
Шухардт Карл 213, 217, 238, 458, 478
Шухардт Гуго (Хуго) 243, 245, 341
Шэнкс М. 14

Щ

Щапова Ю.Л. 372-373, 380-381, 387
Щедровицкий Г.П. 103, 105
Щукин М.Б. 96, 337, 343

Э

Эберт М. 431
Эванс Арт. 239, 371
Эванс Джон 392
Эванс К. 25
Эванс-Причард Эдв. И. 185
Эйнштейн А. 477
Элсли Л. 398
Эмерсон Р.У. 77
Эммерман Э.Дж. 234, 270
Энгельгардт В.А. 77, 96
Энгельс Ф. 88, 291, 307, 366, 402, 404, 410-
411
Энджел Дж.Л. 352

Эндзелин Я. 326
Эренрейх П. 31-32, 72
Эшби У.Р. 76-78, 83, 85, 115, 119, 121
Эшер Р. 35-36, 40, 47, 49, 51, 127, 144, 358

Ю

Юдин Э.Г. 78, 86-88, 95
Юлий Цезарь, Гай 6

А

Acsádi G. 349, 352-353
Adams M. 47
Adams W.Y. 233, 236, 247, 255, 258-259,
263, 267-268, 275
Agrawal D.P. 96
Akalu A. 47
Ammerman A.J. 270, 344
Anderson A. 397-398
Anderson K.M. 25, 30, 36
Andree R. 31
Angel J.L. 348, 352
Anthony D.W. 259, 344
Arens W. 389
Armelagos G.J. 348
Ascher R. 25, 35-37, 40-41, 47, 52, 144, 146, 358
Aston M. 394
Atkinson R.J. 110

В

Bahn P. 358, 361-362, 399, 411, 431, 434,
436, 440-442, 447-449, 492
Bailey G.N. 395
Barker G. 395
Batterbee R.W. 392
Beals A. 225
Becker R. 123
Beer A.S. 85
Behrens H. 396, 408
Bender B. 395
Benedict R. 31
Benfey Th. 251
Berge P.L. van den 294
Bergmann J. 14, 25, 30
Bergsland K. 326
Bernhard W. 305
Bertalanffy L. von 76, 85
Binford L.R. 19, 25, 27, 33, 35, 41-44, 46, 50,

Юнг К. 453, 462-463
Юхансен А.Б. 10

Я

Яблонский Л.Т. 348
Яйленко В.П. 336
Яковлев Б.Д. 177-178, 191, 194, 199-200
Якобсон Р. 184

52, 71, 73, 83-84, 94-95, 98, 102, 110, 114,
145, 153, 164, 175, 176, 205, 209-210, 400,
404, 423, 446
Binford S.R. 98, 349, 396
Bintliff J.L. 15
Birdsell J.B. 359
Blegen C.W. 262
Bloch M. 59
Boas F. 34
Bocquet-Appel J.-P. 362
Bohannon P. 224-225
Bökönyi S. 62, 389
Borkovskij I. 258
Bouchli V. 208
Boulainvillier H. de 240
Bouzek J. 60
Bradley R.S. 387, 405
Braukämper U. 246
Brew J.O. 97
Brézillon M.N. 153-154, 162-163
Brodrick A.H. 388
Bronitsky G. 386
Brothwell D. 348, 395
Brothwell P. 348, 395
Brown J.A. 422, 426
Bryant V.M. 390
Budziszewska W. 326
Bulkin V.A. 303
Burmeister S. 246, 259, 261, 272
Burton H. 262
Burton-Brown T. 234
Butzer K.W. 393, 399

С

Campbell D.T. 294
Carpenter J. 407
Carr Chr. 154, 156-161
Carver M. 447

Casteel R.W. 388
Cavalli-Sforza L.L. 270, 344
Chamberlain A. 349
Chamberlain H.S. 241
Champion T.C. 259
Chang K.C. 25-27, 29, 40, 43, 81, 416, 492
Chaplin R.E. 388
Chapman R. 426
Chappell J. 393
Cherry J.F. 405
Childe V.G. 17, 99, 247, 258, 310, 410, 422, 491
Christenson A.L. 396
Clark H.H. 390
Clark J.Gr.D. 27, 30, 36, 48, 111, 151, 247, 258, 396, 424, 431, 481, 491
Clarke D.L. 42, 44, 83-84, 91-92, 94, 98, 107, 110, 116-118, 121, 224, 264
Clarke G.R. 392
Clewlow C.W. 73, 147
Clutton-Brock J. 389
Coghlan H.H. 398-399
Coles J.M. 122, 127, 135
Cook R.M. 263
Cook Sh.F. 348
Cooke C.K. 100, 262
Cornwall J.W. 388, 392
Coulston W. 251
Courty M.A. 392
Cowgill G.L. 361
Cruz-Urbe K. 388
Culberg C. 98
Curwen E.C. 395
Cushing F. 458
Czerniak L. 348

D

Dalton G. 369
Daniel G.E. 81, 113, 115, 214, 218-219, 241
Davis S.J. 388
De Vore I. 42
Deetz J. 45, 71, 83, 263-264, 416, 492
Dehn W. 269
Dimbleby G.W. 390
Dingler H. 123
Donnan C.B. 73
Dunnell R.C. 10, 98, 478

E

Earle T.K. 396, 411, 431
Eggan F. 48
Eggers H.J. 35, 72, 263, 268, 314, 324, 330, 333, 335, 431, 491
Eggert M.K.H. 14, 25, 49, 149, 151-152, 159, 169
Ehrenreich P. 32, 36, 72
Ehrich R.W. 14
Einzig P. 440
Ellsworth L.F. 208
Erasmus Ch.J. 34, 210
Ericson J.E. 399, 431
Evans C. 25
Evans J.C. 387
Evans J.G. 388
Evans R.K. 97

F

Faegri K. 390
Fagen R. 85
Fansa M. 127
Fetten F.G. 30, 53, 67, 73, 145, 151-153, 159
Fewkes J.W. 144
Findlow F.J. 399
Firth R. 364
Fischer U. 25, 27, 48-49, 164
Fisher R.A. 123
Flannery K.V. 210, 410, 416, 447
Forbes R.J. 398
Ford J. 263
Fowler P.J. 395
Frank S. 298
Freeman L.G., Jr. 14, 42-44, 46
Fried M.H. 411
Fritts H.C. 390
Frobenius L. 257
Fussell G.E. 395

G

Gallay A. 260-261
Galton F. 46
Gamble C. 260, 275
Gardin J.-C. 110, 491
Gazel C. 369
Gejvall N.-G. 268
Génoves S. 349
Gerloff E.W. 440

Gifford E.W. 262
Gijn A.L. van 380
Gilbert R.I. 400
Gimbutas M. 258
Girya E. Yu. 376
Gjessing G. 35, 267, 404
Glassow M.A. 350, 358
Glazer N. 297
Gobineau A. de 240
Godelier M. 76
Goldenweiser A.A. 36
Goldstein L.G. 423, 426
Goodfellow D. 364
Gould R.A. 25, 45, 48, 73, 145-146, 148, 150, 165
Govedarica B. 65
Graebner F. 34, 71
Gray J. 390
Grayson D.K. 388
Greaves Sh. 262
Gregg S.A. 166-168
Gruber J.W. 27
Grünert H. 365, 431, 435-438
Gudeman S. 369
Guksch Chr.E. 46, 49-50
Günther H. 242

H

Haberlandt A. 32
Hachmann R. 233, 264, 267-268, 314, 329,
333, 336
Haddon A.C. 246, 266
Haeckel J. 27, 47, 55, 172-173
Hägertstrand Th. 234
Hahne H. 263
Hall A.D. 85
Hallowell A.I. 408
Hanson J. 421
Härke H. 258-260, 286, 344
Harré R. 107
Hassan F.A. 348, 350-351, 353, 355
Hatch E. 178
Hatt G. 395
Haury E.W. 266
Häusler A. 102
Hawkes C.F.C. 37, 49, 258, 403
Hawkes J. 96, 216
Heape W. 245, 269

Hedeager L. 324
Hehn V. 251
Heider K.G. 38-39, 45
Heizer R.F. 40
Hensel W. 305
Herskovits J.M. 46, 364
Herteig A. 265
Hertz F. 247, 264, 269
Hesse B. 388
Higgs E.S. 396
Higham J. 297
Hill J.N. 97, 100
Hiller B. 417-418, 421
Hiller St. 467
Hilse D.F. 361
Hochholzer H. 247, 269
Hodder I. 15, 73, 151-152, 454
Hodges H. 397
Hodson F.R. 426
Hole F. 40, 110
Holloway R.L., Jr. 390, 407
Holmes W.H. 26, 458
Honigsheim P. 245, 269
Hoppa R.D. 349
Howell N. 348
Hrådh B. 431
Huffman T.N. 270
Hunt J. 240

I

Ingersol D. 123
Isaac G.L. 45

J

Jackes M. 348
Jackson J.W. 262
Jahn M. 365, 432
James E.O. 268
Jarman M.R. 389
Joffroy R. 436, 439
Johansen A.B. 10
Johansen Ø. 464, 468
Jope E.M. 122

K

Kaiser E. 65
Kander-Pálsson A. 305

Kandert J. 59
Keely L.H. 380
Keesing R.M. 178
Kehoe A.B. 262
Kilian L. 311
King L. 422
Kleindienst M.R. 40, 146
Klejn L.S. 4, 9, 16, 26, 29, 40, 48, 50, 65, 79, 93,
95, 99-100, 102, 110, 113, 119, 138, 229, 253,
256, 259, 262-264, 268, 296, 303, 306, 308,
312, 315, 329-330, 332-333, 335, 422, 474, 482
Klemm G. 181
Kłoskowska A. 191
Kluckhohn C. 26, 178
Knopf Th. 246
Knutsson K. 380
Kohl Ph.L. 411, 443
Kohutnicki B. 38
Kölmann W. 246
Konstam A. 466
Koppers W. 26
Korinek J.M. 326
Korobkova G.F. 378
Kossack G. 333, 422
Kossinna G. 262-263, 311
Kostrzewski J. 327
Kramer C. 73
Krause R. 151
Krebs J.R. 395
Kristiansen K. 72, 259, 269, 275
Kroeber A.L. 178, 183, 339
Krüger B. 305
Krzywicki L. 349
Kuhn H. 333
Kulischer E. 247, 269
Kulischer A. 247, 269
Kümmer H. 407
Kurth G. 245, 268

L

Lamberg-Karlovski C.C. 151, 162, 431
Lang V. 208
Latham R.G. 245
Le Bon G. 248
Le Vine R.A. 294
Leach E. 420-421
Lebedev G.S. 303

LeBlanc S.A. 165
Lee R.B. 42, 245
Lehr-Splawiński T. 320-321, 326-327
Leroi-Gourhan A. 38-39, 45, 153-155, 162-163
Lewis-Williams J.D. 51-53
Limbrey S. 392
Livingston F.B. 268
Lowie R.H. 36, 47, 183, 232
Loy T.H. 390
Lubbock J. 30, 39
Luschan F. 36
Lyman R.L. 388, 399

M

MacGregor A. 49, 397
MacWhite E. 11
Malina J. 127, 492
Malmer M.P. 268
Mandera H.E. 263
Marcus J. 447
Marciniak A. 349
Marett R. 232
Markarian E.S. 224
Marshall A. 127
Massat C. 348
McGregor J.C. 49
Mellaart J. 263
Mellars P. 410
Merton R. 206
Meyen S.V. 390
Miles D. 422
Moberg C.-A. 29, 314, 405, 491
Monks C.M. 388, 390
Montelius O. 311, 365, 431
Moore J.A. 352
Mortensen M. 259
Moszyński K. 319, 326
Moynihan D.P. 297
Mozsolics A. 62
Müller-Beck H. 358
Müller-Karpe H. 12, 81, 99
Murdock G.P. 149
Myhre B. 275
Myhre M. 275

N

Nash M. 369

Nemeskéri J. 349, 352-353
Neustupný E. 111, 113
Niedermann I. 178
Niemeyer H.G. 64
Noel-Hume I. 146
Noll E. 30, 53, 67, 73, 145, 151-153, 159
Nouel A. 436

O

O'Brian M.A. 208
O'Connor T. 388
Olausson D.S. 262, 376
Olsen S.J. 388
Orme B. 25-26, 45, 73
Osgood C. 149
O'Shea J. 60, 426
Oswalt W.H. 25, 149
Ott M. 275
Otto K.H. 311

P

Padberg W. 408
Pader E.J. 429
Palmer L.R. 263
Parker P. 429
Parsons E. 144
Pearsall D.M. 390
Penk A. 247, 261
Petersen W. 348
Piggott St. 111-113, 395, 491
Pike K. 207
Piontek J. 348, 362
Piperno D.R. 291
Pittioni R. 27
Pitt-Rivers A. 32, 149
Pleiner R. 127
Plog F.T. 209
Pokrovskaja I.M. 390
Potratz J.A.H. 62
Preidel H. 246, 261
Prinke A. 25, 40, 71

Q

Quatrefages A. de 30

R

Rackam J. 388

Raikes R.L. 393
Rands R.L. 36
Rathje W. 146
Ratzel F. 257
Raulf U. 476
Ravenstein E.G. 245
Read C.E. 388
Redfield R. 274
Redman C.I. 165, 405
Redman 165, 405
Renfrew C. 81, 85, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 119, 259, 267, 358, 361-362, 399, 411, 423, 431-432, 434, 440-444, 446-449, 492
Renfrew J. 258, 390, 402, 405, 413-414, 445
Rice P.M. 386
Riley C. 36
Ringstedt N. 431
Robert C. 63-64
Roosens E.E. 305
Roper D.C. 399
Rottländer R.C.A. 380
Rouse I.B. 49, 95, 97, 246, 259, 266
Rowe J.H. 234
Ruis Zapatero G. 270-271, 277
Ryder M.L. 388
Rye O.S. 386

S

Sabloff J.A. 35, 210, 431
Sahlins M.D. 396, 411
Sapire D. 110
Saxe A.A. 423
Sayce R.U. 149
Schaal H. 365
Schietzel K. 436
Schiffer M.B. 72, 146
Schlette F. 261
Schmidt W. 34
Schmitz H.W. 225
Schöpf H. 67
Schrader O. 328
Schuchhardt C. 262
Sellnow I. 305
Semenov S.A. 376
Service E.R. 27, 40, 47-48, 109, 411, 413
Setzler F.M. 37
Shackleton N.J. 393

Shackley M. 387, 392
Shanks M. 15
Shennan St. 16, 234, 260, 431
Shepard A.O. 398
Shepherd R. 398
Sherratt A. 396, 410
Shilov V.P. 246
Siebel W. 123
Sighele Sz. 248
Sieglin W. 241
Sjoberg G. 411
Sjögren K.-G. 413, 429
Skalnik P. 411
Skjølsvold A. 258
Sklenař K. 36, 41
Smith G.E. 258
Smith H.I. 26
Smith M.A. 25, 37, 45-46
Smith W. 390
Smolla G. 25, 49
Soffer O. 259, 275
Sollas W.J. 30, 32
Sonnenfeld J. 37, 45
Sørheim H. 34
Sorre M. 269
Speight M. 388
Speth J.D. 388
Spiess A.E. 395
Sprockhoff E. 365
Stanislawski M. 145
Stephens D.W. 395
Steuer H. 325
Stevenson M.G. 145
Steward J.H. 34-35, 37, 48, 144
Stickel E.G. 422
Stiles D. 73, 147
Stirland A. 349
Stjernquist P. 47
Stodiek U. 56-58, 172
Strahm Chr. 411
Stringer Chr. 410
Strong W.D. 27, 35
Struever S. 395
Swanton J.R. 144
Swartz B.K. 11
Swedlund A.C. 348
Sykes B. 235

T

Tabaczyński St. 113, 191
Tainter J.A. 423-426
Tarde G. 249
Taylor W.W. 11, 19, 81
Thom A. 448
Thomas J. 415
Thompson St. 251
Thompson R.H. 25, 38-39, 46, 71-72, 267, 415, 448
Thurnwald R. 431
Tischler F. 246, 250, 261
Tite M.S. 380
Traverse A.T. 390
Trigger B.G. 14, 40, 110, 115, 118, 261, 267, 407
Tylecote R.F. 398
Tylor E.B. 32, 34, 181
Tymieniecki K. 266

U

Ucko P.J. 52-53, 59, 416, 422, 425
Uslar R. von 438

V

Vacher de Lapouge 241
Vallois H.-V. 352
Vašiček 492
Vasmer M. 326
Vaughan P. 376
Vaupel J.W. 349
Veit U. 25, 164, 166
Veyne P. 164
Vita-Finzi C. 399
Vogt E.D. 25, 30, 326
Vogt H. 30, 326
Vossen R. 27

W

Wace A.J.B. 60-61, 254, 262
Wagner R. 240
Wahle E. 218, 263, 324, 431
Wallerstein I. 443
Wapnish P. 388
Washburn S.L. 268
Watkins C. 467
Watson P.J. 41, 49, 73, 85, 146, 165, 210
Weber A. 362

Weber M. 367
 Wedel W.R. 35
 Weidenreich F. 352
 Weiss K.M. 352-353
 Wells P.S. 266
 Weniger G.-Chr. 170-171
 Wheeler M. 257-258, 365, 431
 White K.D. 397
 White L.A. 231, 233
 White Th.E. 388
 Wilkinson P.F. 389
 Willey G.R. 14, 34-35, 40, 48-49, 81, 210, 263, 416
 Wobst H.M. 27, 46

Wolągiewicz R. 337
 Wotzka H.-P. 52-53, 55
 Wylie A. 45, 47, 73, 158

Y

Yellen J.A. 73, 166, 167, 174-175

Z

Zamojski J.E. 246
 Zastawniak E. 390
 Zelenin D. 319
 Ziegert H. 26, 34, 48
 Zubrow E.B.W. 348, 350, 446

Предметный указатель

А

Австралийцы 30, 32, 38, 45-46, 144, 157, 286, 359
 Авторство 3
 Автохтонизм 35, 217, 233, 253, 254, 256, 258-259, 343
 Автохтонность 9, 82, 213, 216, 229, 231, 233, 246, 255, 258, 267, 277, 280, 302, 306, 416
 Азиатская формация 366, 410
 Аккультурация 185, 213, 267
 Аксиома 10-11, 30, 46, 165, 343
 Аксиоматизация 10
 Актуализм 16, 29-30, 41, 164, 314
 Анализ 10-12, 15, 23, 26, 28, 38, 43, 75, 77, 83-84, 86, 94, 96, 101, 105, 112, 115, 118, 133-134, 136, 140-141, 148, 150, 167, 171, 173-175, 200-201, 204, 207-208, 219-221, 224, 228-229, 235, 247, 262, 273, 275-276, 280, 326-327, 333, 348-349, 351, 366-367, 376-378, 380-395, 399-401, 410, 413, 415-417, 421, 423-424, 426-430, 436, 441-442, 444, 452, 458
 Аналогия 8, 20, 22, 25, 29-43, 45-48, 49-50, 52-53, 58, 63-65, 67-71, 73-74, 84-85, 102, 107, 110, 117, 118, 120, 132, 144-145, 148, 152, 155-156, 158

Аналогия по соответствию 50
 Аналогия приспособления 36
 Аналогия-парадигма 44
 Аналогия этноархеологическая 32
 Аналогия этнографическая 16, 22-23, 25, 29, 32, 34, 37-41, 43, 49, 51, 53, 55, 68, 73, 144-145, 147, 150, 152-153, 156-157
 Антропогеография 32, 34, 182, 232-233, 239, 257
 Антропология биологическая 186
 Антропология демографическая 348-349
 Антропология историческая 474-475
 Антропология когнитивная 445-447
 Антропология культурная 136, 147, 237, 404, 409, 474
 Антропология социальная 111, 136
 Антропология физическая 238-239, 266-267, 292, 325, 327, 349, 352
 Антропология философская 186
 Антропология экономическая 364
 Артефакт 11, 33, 37, 39-41, 45, 47, 49, 51, 67-71, 79, 81, 101, 104-105, 131, 135-136, 149, 153, 156, 205, 207, 356, 372-374, 400, 414, 423, 443, 445, 456-458, 474, 478
 Архаизация 370-371
 Археологическая культура 44, 79-80, 89-90, 92-93, 99, 101, 121, 130, 148, 150, 156,

177-178, 210-211, 217-218, 221-223, 230, 253, 255, 281, 301-302, 306, 308, 311-312, 314-315, 318, 322, 328, 330-331, 335, 337-339, 341-342, 345-347, 428, 442

Археологическая теория 27, 147, 151, 162, 211, 218, 223-225, 267, 305, 491

Археологическая эпоха 372

Археологические остатки 20, 31, 42, 45, 59, 85, 94, 100, 102, 144, 149, 164, 230

Археологический источник 6, 8, 10-12, 19, 24-25, 27-29, 73, 95, 103-104, 113, 145, 169, 207, 209-210, 220, 222, 308, 310, 352, 380, 405

Археологический материал 10, 13, 20, 22-23, 24, 31-33, 45, 48, 53, 58, 72-73, 91-94, 97, 99, 100, 101, 110, 112, 114, 116-118, 148, 150, 152, 158, 166-167, 169-170, 177, 204-205, 209, 211-212, 215, 218, 228, 246, 251, 253, 274, 278, 280, 309, 330, 336, 341, 348, 363, 367, 374, 396-398, 405, 348, 396-398, 405-406, 414, 417, 421, 429, 433, 440, 446, 454, 462

Археологический метод 96, 143, 250, 307, 351

Археологический период 304

Археологическое исследование 11, 22, 43, 81, 95, 102, 117, 150-151, 174, 247, 253, 261, 281, 312-313, 380, 452, 454-455, 491

Археология когнитивная 445-447, 451, 455-447, 451, 455

Археология новая 13, 15, 23, 41-45, 73, 85, 89-90, 93-95, 97, 109-110, 114, 117, 145, 205, 220-221, 447, 152, 157-158, 165, 209-210, 222, 404-405, 416, 422-423, 445, 447

Археология поселений (settlement archaeology) 75, 81

Археология процессуальная 73, 258-259

Археология советская 80, 215-216, 270, 303-305, 313, 316, 330, 346, 348, 366, 404, 405, 410, 422, 424, 426, 432

Археология традиционная 83, 210

Археология экспериментальная 122, 124, 127-128, 133-136, 138, 142, 143

Архетип 21, 453-454, 460, 462-464, 472

Ассимиляция 190, 273, 276, 309-310, 318, 328

Аутентичность, принцип аутентичности 11, 17

Ашэль 130, 131-132, 356, 397

Б

Барокко 481-482, 485-486, 488-489

Библиография 3, 4, 128, 135, 491

Бифасы 130-131

Богатый 7-8, 28, 102, 117-118, 138, 163, 349, 396, 413, 442, 460, 474, 482, 486-487, 489, 492

Бушмены 42, 44, 153, 157, 161, 166, 173-174, 412

В

Варвы 393-394

Вещеведение 372, 387

Вид 3, 22, 24, 26, 28, 31, 33-34, 36, 40, 47, 49-51, 67, 77, 79, 83-84, 95, 99, 104, 107, 118-119, 126, 138, 140, 169, 175, 181, 183, 191-192, 194-195, 198, 204, 208, 211, 216, 221, 229, 231, 239-240, 247, 250, 269, 273-275, 278-279, 281-282, 285, 291-292, 299-300, 303-304, 308, 314, 324, 329-330, 334-336, 341-343, 350, 357-358, 360, 368, 370-371, 382, 386, 388-395, 397, 399-401, 413, 415, 417, 429, 435, 440, 442, 444, 446-447, 455, 466, 486

Влияние 8, 15, 24, 44, 79, 99, 103, 180-181, 183, 187, 213-214, 216, 218, 222, 229, 231-234, 237-238, 245, 247, 250-251, 256-258, 260, 262, 272, 298, 304-305, 318, 321, 328, 356, 365, 374, 387, 404, 410, 416.

Внутренняя критика источников 24, 72, 93, 219-220, 335, 352, 388, 415

Военная демократия 100, 410-411, 413

Военная добыча 432, 444

Вождество 411-414

Вывод по аналогии, заключение по аналогии 25, 38, 43-44, 47, 167, 373, 458

Выделение ремесленников 414, 432, 437, 472

Г

Гарпуны 47, 54, 169, 400

Ген 104, 235, 264, 294, 309

Генеалогическое древо 82, 326-327, 338, 340-343, 345, 347

Геоморфологический анализ 392

Геохимический анализ 392

Герменевтика 11, 15, 93

Гидрологический анализ 392

Гипотеза 410, 448, 457-458, 463, 473
Гипотезно-дедуктивистская процедура 23
Гомология 31-35, 44, 46-49, 52, 65, 71, 74, 91, 232
Городская революция 81, 410-411
Гуманитарность 96, 123, 182, 204, 206, 408

Д

Дань 412, 432, 444
Дар 368, 369, 432, 444, 463
Дедукция 15, 112
Дельта реки, модель д. Р. 343, 345
Демография 115, 153, 221-222, 228, 245, 270, 274, 277, 348-350, 352, 354-356, 359, 362, 396, 405, 417, 475
Деньги 198, 294, 406, 440, 448
Дескриптивизм 185
Деталь 17-18, 50, 60, 62-63, 71, 85, 102, 135, 165-166, 169, 174-175, 178, 205, 210, 219, 328-329, 336, 401, 436, 451, 456, 458, 460, 479-480, 485
Дефиниция 9, 84-86, 88, 147, 164, 177-178, 190-192, 283, 291
Диффузионизм 182-183, 190, 213-214, 231-233, 236-239, 247, 257-259, 365
Диффузия 60, 82, 213, 220, 223, 231-234, 236-238, 251, 258, 263, 266-267, 278, 291, 301, 318, 328, 411
Доклассовое общество 46, 205, 410
Доступные ресурсы района 350, 399

Е

Единорог 65, 67, 473, 476
Единство происхождения 287
Естественные (натуральные) деньги 440

Ж

Жертвоприношение 59, 131, 430, 450-451
Живая археология 144-146, 150
Жилище 20, 22, 41, 99, 135-136, 138, 140-141, 419

З

Заимствование 24, 114, 169, 213-214, 227, 231, 233-234, 238, 247, 251-257, 296, 318, 326, 344-345, 381, 456, 487
Закон 9, 13, 16, 19-20, 30-36, 40-41, 43, 45,

47, 71, 73, 76, 88-89, 94, 101-102, 116-117, 123, 136, 152, 160, 164-165, 169, 174, 182, 185, 187, 189, 194, 210, 217-218, 220, 233, 239, 243, 245, 248-250, 253-254, 260, 293, 307, 309, 312, 342, 367, 407-408, 412, 423, 453

Замкнутый комплекс 79, 332

И

Идеология 40, 45, 99-100, 102, 181, 184, 188, 190, 202, 207-208, 213, 219, 236, 238, 240, 257, 259-260, 285, 290-293, 296, 299, 304, 307
Идеофакты 205, 208, 404, 426, 446
Изменчивость 7, 15, 72, 91, 94, 152, 211, 220, 337, 340, 387, 396
Иконическая модель 122
Имобилизм 233, 258-259
Имущественная дифференциация 404, 410, 427, 482
Инвазия 255, 269, 273, 275
Инвенция 214, 222
Индейцы 29, 45, 48, 144, 148, 157, 169, 240, 260, 388, 412, 423, 433, 458
Индетерминизм 37, 82, 218, 220
Индоевропейская семья языков 251
Индукция 123, 163
Индустриальные общества 367
Интегрализм 77
Интерпретация 5, 8, 9, 10-16, 19, 22-25, 27, 29, 35-36, 38, 43, 45, 47-48, 51, 53, 58, 63, 73-74, 325
Интуиция 10, 15, 39, 46, 334
Инфильтрация 269, 271-274, 310
Информация 5-8, 10-11, 18-19, 23, 29, 37, 40, 42, 44-45, 72, 94-95, 98, 104, 112, 114, 116, 148-149, 193, 196-197, 208, 221-227, 229-230, 304, 308, 310, 313-315, 324, 330, 332-334, 336, 392, 408, 414-415, 425-426, 428, 431-432, 451, 454, 495
Истина 5, 10, 16, 29, 50, 64, 77, 90, 133, 150, 180, 209, 249, 284, 312, 338, 340, 342, 378, 403, 473
Истолкование 8, 10-11, 23, 38, 152, 166, 213, 218, 304, 306, 324, 344, 369, 374
Историко-типологический метод 33, 452
Исторические процессы 20, 27-29, 93-94,

102, 117, 181, 209-210, 212, 217, 219, 232, 290, 312
Историческая реконструкция 18-19, 21, 23-24, 370-371, 406
Историческая школа 32, 34-36, 180-183, 232, 367
Историческое прошлое 5, 112, 304
История культуры 26, 37, 43, 182, 192, 198-199, 204, 208, 210, 224, 228, 231, 238, 257, 345
Источник 5-12, 15, 18-19, 22-29, 40, 47-48, 52, 72-73, 82-83, 93-96, 100, 103-104, 113, 134, 145-146, 151, 169, 178, 180, 206-210, 219-223, 230, 237-238, 246, 261, 263, 265-266, 270-272, 287, 302-304, 306-308, 310-311, 314, 316, 318, 321-322, 324, 329-330-338, 340, 347, 352, 360, 364-365, 374, 380-382, 384, 386-388, 396, 398-399, 405, 414-415, 427-428, 430, 436, 440-442, 444, 447, 450, 452, 455, 464, 471, 473, 476
Источниковедение 12, 206

К

Каннибализм 59, 389
Катаклизмы 226, 229, 255, 303, 337
Квази-эксперимент 124
Кейнсианство 368
Керамика 7, 9, 57, 99, 135, 164, 229, 235, 242, 262, 264, 266, 272-274, 308, 337-338, 356-357, 372-373, 375, 378, 380-382, 386, 397-398, 401, 414-416, 430, 432, 436, 441-442, 458, 460, 482, 486-487, 489
Кинжал 67-69, 430
Классификация 6, 20, 22, 32, 40, 43, 86, 90-91, 97-98, 118-119, 125, 134-136, 139, 141, 179, 206-207, 209, 247, 264, 269-270, 273, 276, 280, 291, 296, 330-331, 340-341, 371, 411, 414-417, 429, 445-446
Кластерный анализ 167, 430
Клюфт 213, 216-218
Когнитивная антропология 445-447
Коллективная психология 248-249
Коллективные представления 184-185
Коммуникационная теория культуры 223
Компиляция 12
Комплексность 95
Конвергенция 31-34, 36, 48-49, 53, 71, 88,

152, 232-234, 255, 473
Коннексия 32
Контекстуализм, контекстуалисты 37, 82, 165
Кооперация наук 324, 394
Копьеметалки 54-55, 172
Корреляты 421
Критерии доказанности миграции, археологические признаки миграции 246, 252-253, 261-262, 267, 278
Кровнородственная семья 410, 428
Кула 368, 432-433
Культура 3, 6-7, 9, 15-16, 18, 20, 26-27, 31, 33, 35-46, 48-49, 52, 60, 63, 65, 67, 69, 71-74, 80-85, 89, 94, 97-102, 110, 113, 117, 119-122, 135-136, 144-150, 152, 156, 158, 164, 172, 174-175, 177-232, 235, 237-239, 241, 245, 247, 251, 253-258, 260-267, 269, 271-276, 278, 281, 283, 286, 290, 292-296, 299, 301-303, 305-315, 318-319, 321-322, 328-333, 335-343, 345-347, 354, 356, 360, 362, 366, 371, 373, 375, 386, 396, 398, 402-403, 405, 407, 423, 449, 451-455, 457, 460, 462-463, 469, 471-472, 474-475, 477, 482
Культура духовная 37, 191, 198-206, 296, 309, 319, 403, 474
Культура интериорная 207
Культура материальная 3, 41, 49, 73, 93-94, 113, 121-122, 145-146, 149-150, 191, 198-206, 208, 210-211, 214, 266, 283, 286, 293, 296, 302, 305-309, 311-313, 318-319, 321, 366, 396, 403, 428, 430, 442, 445-446, 451-452, 462, 474, 482
Культура экстериорная 207
Культурно-исторический процесс 27-28, 93-94, 102, 117, 209-211, 213, 217, 219, 224-225, 229, 231, 312-314, 329, 411
Культурный круг 40, 80, 250

Л

Лекальный критерий 246, 252, 262-263, 265-266, 272-273
Лестница Хокса 49, 167, 405, 447, 451
Лёсс 394
Лингвистика 8, 75, 93, 207, 215, 266, 273, 304, 310, 314, 320, 323, 325-331, 338-339, 340-341, 345, 478
Лось 390, 464, 465

М

Мадлен 140, 153, 169, 171, 468
 Макет 107, 123-124, 372
 Марджинализм культурогенез 209, 302-303, 310, 314, 338, 428
 Марксизм 15, 100, 165, 187, 216, 222, 258, 260, 283, 291, 296, 303, 307, 349, 365-366, 403-404, 406, 410
 Маски 462, 465, 473, 476
 Материалистическая диалектика 80
 Матриархат 404, 410, 413, 474
 Ментальность 402-403, 406, 445, 447, 451-452
 Меркантилизм 363, 367
 Металлографический анализ 386
 Метод восхождения 28, 215, 258, 304, 452
 Метод пережитков 33, 453
 Метод совмещения 245
 Методика 9, 19, 25, 32, 35, 39-43, 54, 65, 71, 73, 86, 89, 94-95, 98, 103, 107, 126, 146, 149, 151, 153, 155, 180, 182, 208, 229, 262, 267, 278, 306-307, 330, 333, 352, 354, 357, 359, 373, 387, 391, 401, 403, 406, 415, 421, 426-427, 447, 452, 455, 491-492
 Меч 60, 138, 370, 372, 438
 Миграционизм 35, 75, 182, 213-214, 232-234, 236, 238-239, 243, 246-247, 251, 253, 255-259, 275, 343
 Миграция 6, 8, 24, 34-35, 75, 80, 82, 88, 99, 113, 144, 182, 186, 210, 213-214, 216-218, 220, 223, 229, 231-239, 243, 245-247, 251-253, 255-278, 280, 288, 302, 306-307
 Микроструктура вещества 387
 Микроструктурный анализ 380, 385-386
 Миф 65, 67, 144, 161, 297-298, 450, 454-455, 471-472
 Мифология 65, 185, 240, 298, 331, 454-456, 464, 469, 471-472, 476, 490
 Модель 42, 50, 59-60, 78, 84, 94, 107-119, 121-122, 124, 136, 141-142, 153, 159, 174-175, 246, 250-251, 270-271, 332, 235, 238, 241, 243, 352, 363, 370, 372, 376, 399, 409, 482
 Модель контрданса 341-342
 Модернизация 370-371
 Мусорная археология 144, 146
 Мустье 132, 175, 358, 398

Н

Наблюдение 6-7, 13, 25, 41, 91-92, 111, 114, 116, 118, 121-122, 124, 130, 133, 136, 140, 175, 211, 217, 241, 248, 259, 264, 267, 332, 351, 359, 388, 409-410, 428, 448-449, 477, “Народные идеи” (“стихийные идеи”) А. Бастиана 32
 Народный дух 35, 180, 189, 234, 262
 Научный аппарат 3
 Национальный дух 180, 182, 303
 Негэнтропия 6-7
 Недостающее звено 212, 255
 Немой обмен 437
 Неокантианство 182
 Неолитическая революция 81, 410
 Неоромантизм 182
 Неозволюционизм 165, 187, 209, 406, 410-411
 Непосредственно-исторический подход 35, 48-49, 51
 Новая аналогия 35
 Нордическая раса, нордические арийцы 240-242
 Нуклеусы 154, 397-398
 Нулевая модель 113
 Нумизматика 22, 93, 325, 364, 440

О

Обмен 204, 351, 363, 365, 368-370, 406, 411, 413, 431-435, 437, 439-440, 446
 Образ 8, 10, 65, 76, 101, 131, 179, 195, 240, 297, 345, 456, 462, 471, 479, 480
 Обратные связи 78, 83, 93, 221
 Общество 8-9, 15, 17-19, 27-29, 46-47, 71, 73-75, 80, 82, 88, 110-111, 113, 144, 146-147, 150, 161, 169, 175, 177-181, 183-184, 187-191, 193-197, 200, 202, 205, 209, 217, 222, 226-228, 231, 240-241, 246, 249-250, 253, 260, 264-265, 270, 273, 283-284, 291-292, 296, 299, 301, 304, 318, 342-343, 348, 350-354, 356, 363-371, 379, 388, 391, 394-396, 398, 402-408, 410-415, 417-418, 422-424, 426-433, 436, 452-453, 456, 463, 471, 475, 482, 486, 491
 Объективность 112, 220, 259, 260, 338
 Объяснение 8, 13-15, 25, 29, 31, 37-38, 40-41, 43-45, 48, 59, 62, 71, 73, 84, 86, 97, 102, 105, 113, 116, 118, 164-165, 174, 180,

- 185, 187, 190, 193, 203, 212, 214-215, 218-219, 221, 223, 228, 233, 237, 239, 242-243, 247, 250, 255, 258, 260, 264, 328, 333, 348-349, 352, 375, 409, 427, 470, 480
- Округа (locality) 81, 219
- Олдувай 131-132, 388, 398
- Олень 153, 175, 358, 389-390, 393, 464-466, 468-469, 471-483
- Опыт 8-11, 45, 60, 111, 123-124, 134-135, 138, 163-164, 177, 188, 195-197, 218, 226, 245, 248, 251, 269, 291, 294, 323, 363, 368-369, 374-375, 386, 430, 432, 448, 477
- Органицизм 77
- Орнамент 48, 60, 99, 262, 302, 367, 373, 399, 416, 449, 457-458, 460, 482, 485, 487-489
- Орудия 8, 28-29, 38, 44-45, 47, 54-55, 57, 67-69, 99, 125-126, 131, 141, 143-145, 154, 162, 170, 175-176, 197-198, 201-202, 204, 216, 303-304, 309, 366-367, 372, 374-376, 378-381, 383, 385, 387-388, 390, 392, 395, 397-400, 403, 406, 409, 415-416, 421, 430, 438, 447, 472
- Остеологическая статистика 9, 388
- Отщепы 397
- Охота за черепами 59
- Охотники 42, 44, 153, 161, 169, 175, 221, 270, 347, 351, 354, 359-360, 389, 463, 492
- Очаг 140-141, 153-155, 166, 183, 192, 213, 228, 237, 239, 257-258, 261-262, 264, 266, 272, 274, 278, 303, 326-327, 343, 354, 358, 384, 386, 415, 444, 450, 456
- П**
- Палеоботаника 351
- Палеодемография 348-349, 352, 358, 362, 406, 428
- Палеозоология 327, 351, 388
- Палинология 390-392
- Памятник 5-8, 18, 35, 60, 67, 79, 91-92, 138-139, 143, 145-146, 148, 151, 167, 174-175, 198-199, 206, 241-242, 253, 255, 265, 271, 313, 321-322, 329, 354, 384, 388, 390-392, 394-396, 401, 412, 414, 426-428, 430, 446, 454, 455, 464, 471, 478
- Параллель 14, 29, 31-37, 39-46, 49-50, 53, 59, 62, 71-72, 79, 111, 113, 116, 120, 122, 151-153, 156, 164, 193, 212, 237, 300, 314-315, 331, 333, 337, 397, 405, 428
- Патриархат 410, 474, 476
- Первобытно-общинный строй 410
- Первобытный коммунизм 366, 410
- Перевод 8, 13-14, 43, 105, 199, 210, 229, 252, 281, 317, 330, 402, 408, 458, 491
- Пережиток 28, 30-33, 35-36, 157, 161, 212, 332, 336, 367, 414, 453, 469, 474, 482
- Перезахоронение 59, 389, 472
- Переселение 175, 239, 246, 257-259, 262, 265-267, 269-270, 275-277, 318, 339
- Персонализация 185
- Петроглиф 31, 469, 471, 479-480
- Петрографический анализ 385-386
- Пигмеи 44
- Письменность 180, 207, 226, 273, 311, 321, 347, 366, 371, 452, 460
- План выражения 207, 481
- План содержания 207, 481
- Планиграфия 128, 140-141
- Пластинки ножевидные 376-378, 397
- Плейстоцен 42, 349
- Плотность населения 348, 356, 358-361
- Погребение 7-8, 22, 59-60, 62, 67, 96, 102, 138, 146, 150, 152, 229, 262, 266, 274, 308, 332, 335, 338, 345, 372, 375, 404, 415-416, 422-430, 436-437, 440, 449, 464, 471-474, 489
- Погребенные почвы 394
- Подобие 60, 195, 343, 471
- Подражание, законы п. 234, 247, 249-250, 408, 460, 483
- Познание, ограниченность п.10-11, 15, 26, 47, 76, 93, 108, 113, 122, 125, 129, 133, 147-148, 180-182, 205, 217, 222, 228, 372, 380, 445-447, 450-451, 453-454, 482
- Полисемичность 421
- Понимание 9-11, 14-15, 20, 27, 29, 32-33, 67, 69, 75-77, 83, 86, 97-98, 103, 107-108, 111, 115-116, 119, 121, 128-129, 131, 147-148, 163, 174-175, 181-184, 188, 190, 192-193, 199, 203, 207, 211, 215-216, 219, 249-250, 259, 268, 277, 283-284, 298, 301, 303-304, 312, 314, 320, 323, 332, 370, 375, 446, 451, 476, 481
- Популяция 18, 38, 42, 77, 82, 114, 145, 157, 221-222, 234, 267, 269, 274-275-276, 291-

292, 294-295, 348, 350-354, 356-358, 361, 394, 430
Постмодернизм 222, 477
Потенциальная ёмкость (экосистемы, района и т.п.) 77, 80, 85, 349-350, 443
Потлач 368, 432
Почвенный анализ 392
Пранарод 213, 245, 327, 345
Прародина 245, 266, 268, 316, 327, 334-335, 345
Предвзятые идеи 11, 15
Предмет науки 9
Преимственность 8-9, 24, 48, 82, 99, 159, 180-181, 190-191, 202, 208, 211-212, 214, 220, 223-227, 229, 231, 235, 246, 256, 260, 265, 267, 302-304, 306, 308-315, 327, 334-335, 339, 343, 346
Препарирование 8, 11
Престижная экономика 367
Приматы 100, 120, 123, 130, 247, 396, 409, 463
Принцип множественности гипотез 21, 58
Проблема 23, 25-27, 29, 34, 41-42, 46, 51, 72-75, 82, 85, 90, 95-99, 107-108, 110-111, 121-123, 127-128, 135, 138, 145, 147-149, 152, 165, 167, 169, 174, 177-178, 180, 184, 187, 192, 195-196, 198-199, 202, 204, 211, 219, 224, 225, 227-229, 237-238, 242, 246, 249, 252, 259-260, 269, 281-282, 284, 287, 301, 303-305, 308, 310, 313-316, 321-329, 333-334, 336, 338, 387, 389-390, 392, 403, 423, 427, 430-431, 445, 447, 451, 456-457, 464, 477, 492
Проблема гэлтона 46
Продолжительность жизни 352-353, 355
Производительность 359-360, 413
Промисквитет 410
Пространственный синтаксис 417, 420
Протекционизм 363
Прототип 92, 107-108, 119, 212, 262, 266, 458, 487
Процедура 11-13, 15, 23-24, 71, 107, 117, 209, 310, 333, 423, 475
Псалии 60, 62, 69
Пуналуальная семья 410
Пуэбло 35, 48, 354, 357, 412, 417, 458

Р

Рамочный стиль 486

Ранжированное общество 411, 413, 422-424
Расизм 241, 259
Расовая теория 240-243
Расшифровка 11, 14, 98, 445, 447, 454-455, 457-458
Регрессивный метод 35
Регрессии 270, 393
Редистрибуция 369, 412, 433-434, 440, 443-444
Реконструкция 5, 10-13, 16-29, 33, 35-38, 40, 41, 43-45, 65, 70-71, 73-74, 79, 93-94, 111, 115, 124, 138, 140-141, 143, 153-155, 210-211, 217-219, 229, 236, 268, 278, 304, 308, 310-311, 313-314, 328, 332, 336, 342, 344-345, 348, 363, 370-372, 376, 387, 389, 394-396, 403-407, 409-410, 414-417, 421-423, 426-431, 443, 445, 447-448, 451-453, 455-457, 460, 462, 464, 471, 475-477
Реконструкция историческая 13, 18-19, 24, 43, 73, 304, 370-371, 406
Реликт 35, 77, 316
Релятивизм, релятивисты 37, 76, 186-187, 218-219
Ремонтаж 154
Реплика 122-123
Реставрация 16-18, 136, 276
Ресурсы природные 187, 350, 359-360
Ретроспективный метод 303-304, 310-312, 315, 323, 329, 345-347, 453-454
Регушь 397
Рефиттинг 105, 154
Реципрокность 369, 433
Ритуал 54, 59, 67, 152, 201, 335, 375, 389, 412-413, 415, 424-425, 429, 450-451, 471-473, 475
Рогатый бог 464, 468-469
Родовой строй 410
Рост населения 350, 359, 361,
Рубила 130-133, 397, 455
Рудимент 35

С

Самоназвание 287, 296, 318, 331, 333, 347
Сегментация 34, 225, 229, 272, 274, 318, 336
Секвенция колонная 82, 216, 218, 229, 253, 255-256, 332, 343
Секвенция трассовая 82, 229-230, 256-258, 329, 332, 343

- Селекционизм 222
- Символ 40, 182, 185, 191, 375, 403, 417, 421, 423-425, 429-430, 445-446, 448-450, 453-455, 457-458, 473, 475, 482
- Симуляция 123, 136, 138
- Синстадиальность 31, 33-34, 36, 48, 72
- Синтез 11, 22, 23, 26, 28-29, 33, 70, 93-95, 101, 147, 149, 151, 194, 308, 310, 314, 324, 329-334, 336-337, 351, 355
- Система 3, 9-10, 13, 26-28, 40, 65, 69, 71-72, 74-81, 83-95, 97-102, 104, 107-108, 110-111, 114-117, 119-123, 135, 145, 148-149, 165-166, 175, 179, 182, 184-186, 191-192, 194, 197-198, 200, 205, 207, 216, 220-221, 223-225, 227-230, 239, 243, 246-247, 255, 263, 275, 277, 293, 304, 326, 329-333, 335-336, 340-341, 353, 363, 366, 368, 372-374, 376, 391, 395-396, 400, 402, 405, 407-409, 414, 417, 425-426, 443, 446, 449, 452-454, 460-462, 471-472
- Система динамическая 84-85, 87, 90-93, 102, 121
- Система статическая 87, 90, 92, 121
- Системный подход 22, 74-83, 86, 88-90, 94-95, 97-98, 100-104, 106, 108, 110, 117, 156, 177, 220-221, 293, 396,
- Скипетр 65, 67, 69, 375, 458, 473, 476
- Славяне 242, 251, 274, 284, 287-289, 302, 305, 309-311, 315-317, 319-323, 326-328, 337, 339, 347, 370, 457
- Смена культур 6, 9, 15, 82, 94, 210-218, 221-225, 227, 229-230, 232, 254-255, 265, 343
- Собиратели 42, 44, 143, 161, 175, 270, 351, 354, 359-360, 389, 395-396, 399-400, 412
- Современность 16, 22, 29, 32, 37, 41, 43-44, 71, 160, 163-164, 174, 185, 219, 242, 302-303, 314, 361, 370, 376, 396, 407, 472, 476
- Солютре 171, 398
- Сооружение 79, 135-136, 138, 141, 199, 228, 309, 314, 372, 375, 400, 405, 416-417, 420-423
- Состав вещества 376, 380, 387
- Социальная группа 80, 414, 422-423
- Социальная психология 184, 224, 227, 250, 296, 299, 302, 310, 420, 481, 486
- Социальная структура 17, 19, 40-41, 49, 153, 402, 407, 409, 412, 414-416, 418, 422, 424, 424, 426, 426, 426, 427-432, 471, 475
- Социально-экономическая формация 216, 366, 370
- Социальные реконструкции 426-427
- Социальный организм 29, 42, 80, 88, 184, 196, 225, 290, 295, 299-300, 302, 304, 309
- Социальный статус 152, 422, 423, 425, 429-430, 483
- Социоархеология 421
- Социобиология 407-408
- Социофакты 205, 208, 404, 426
- Споро-пыльцевой метод 390
- Сравнение 5, 7, 20, 31, 33-34, 46, 48, 53, 58, 67, 70, 75, 96, 146-147, 150, 152, 160, 164-165, 169, 171, 187, 240, 243, 243, 255, 265, 268, 294, 326, 367, 370, 403, 427-428, 439, 487
- Сравнительно-исторический метод 33
- Средства к существованию 364
- Срочная археология 45, 144-146, 150, 166
- Стабильность системы 224-225, 229-230
- Стадия 8, 28, 31, 36, 47, 80, 123-124, 162, 215, 234, 281, 316, 328, 389, 400, 407, 409-411
- Стиль 75, 79, 90, 100, 158, 180, 211, 214-215, 262, 266, 429, 436, 446, 451-452, 457, 474-475, 477-482, 486-487, 489, 490
- Стохастические процессы 20
- Стратифицированное общество 411
- Структура 5, 11-12, 16-19, 36, 40-41, 44, 49-50, 71, 75, 77-78, 83, 85, 88-90, 92, 94, 98-99, 101, 104, 107-108, 111, 113-114, 116-122, 136, 148, 150, 153, 169, 171, 184, 186, 195, 198-199, 204-205, 207, 212, 215-216, 221, 227, 229, 249, 257, 262, 270, 274-277, 280, 295, 307, 309-310, 328-329, 331-332, 336-337, 372, 374, 376, 380, 385-387, 389, 402-403, 405-409, 412, 414-418, 420, 422, 424, 426-432, 446, 450-451, 454-457, 462, 471, 475, 481, 483
- Структурализм, структуралисты 44, 182, 184-185, 190, 223, 453, 461, 475, 492
- Субсистема 88-89, 93, 98, 205, 221
- Субстантивизм 368-369
- Субстрат 77, 81, 203, 206, 245, 271-273, 321, 326-328, 468
- Сходство 24, 26, 31-37, 39-41, 43, 45-50, 60,

70-71, 73, 77, 79, 85-86, 92, 108, 117, 119, 159-160, 164, 186, 214, 227, 233, 239, 247, 250, 255, 260, 275, 288, 309, 335-336, 409, 445, 454, 457, 460, 486

Т

Тектология 76, 497
Теория прибавочной стоимости 365
Теория стадильности 36, 75, 80-81, 113, 215-216, 258-259, 304
Тест 123, 136
Технологический анализ 136, 376, 387
Технофакты 205, 208, 404, 426
Тип 6, 15, 18, 21, 33, 39, 44, 50, 62, 64, 70-71, 73, 79, 88, 90, 96-97, 99, 101, 104, 107, 113-114, 117, 119, 131-132, 140, 160, 182, 191, 199, 213, 218-219, 222-223, 229, 234, 237, 241, 246-247, 252, 256, 262, 264-265, 268-276, 278, 288-289, 291-292, 301-302, 304, 309, 318-319, 321, 327-330, 332, 335, 337, 350, 364, 372-373, 375, 389, 400, 405, 412, 414-415, 417, 428, 430, 432, 452, 455-456, 460, 463, 472, 476, 481
Типология 6, 20-22, 70, 72, 74, 79-80, 90-91, 93, 101, 145, 220, 228-229, 255, 262, 303, 329, 333, 341, 372, 387, 398, 414, 416, 436, 438, 440, 443, 452, 458, 478-481
Толкование 5, 9, 14, 45, 51, 53-54, 58-59, 65, 67, 69, 116, 152, 159, 177-178, 215, 255, 262, 288, 417-418, 421, 428, 460, 474, 477
Торговля, торгово-обменные отношения 82, 99, 198-199, 257, 274, 281, 324, 335-336, 365, 368-369, 381, 386, 395, 405-406, 415, 431-433, 439-444
Традиционные общества 367
Трансгрессии 270, 392-393
Трансмиссионизм 213, 233-234, 236, 238, 247, 250-251, 257-259
Трансмиссия 213, 231-236, 238, 247, 250-251, 256-259, 277-278
Трудовые затраты 405, 416, 423, 430

У

Универсалии 452-455, 460-463
Униформизм 16, 30, 152, 160, 164-165
Утилитаризм 363

Ф

Факт 10, 13, 16, 19, 21, 26-28, 30, 37, 40, 44-45, 52, 65, 69, 71, 73-74, 92, 99, 101-102, 112-113, 115, 129, 131, 164-166, 196, 211-212, 218, 238, 241, 249, 255, 260, 263, 266, 268, 277-278, 292, 303, 306-308, 319-320, 324, 332, 334, 336, 344, 367-368, 404, 409, 453-454
Факторный анализ 83, 262, 430
Феноменология 11, 80, 178
Фибулы 96, 98, 337, 367, 438, 483
Философия 8, 9, 11, 15-16, 75, 88, 95, 97, 103-106, 115, 118-119, 148, 178-179, 185-188, 195, 199-201, 203, 207, 218-220, 250, 402-403, 456, 460, 477-478
Философская антропология 186
Фольклористика 33, 93, 250, 304, 325
Формализация 10, 13, 78, 96-97, 224, 227, 229
Фракция 83, 93, 199, 201, 208, 238, 264, 352, 482
Функционализм, функциональный подход 22, 31, 37, 45, 49, 62, 64, 67-68, 73, 78-79, 93, 95, 98, 110, 131, 135-136, 167, 177-178, 184, 187, 190, 197, 202-206, 220, 223, 227, 332, 346, 368, 372-275, 414, 416, 426, 451, 455, 481, 483, 487, 491
Функционально-трассологический анализ 10, 126, 134, 136, 141, 143, 376-378, 387-388
Функция 10-11, 15, 22, 28, 35-36, 37-38, 40, 43, 49, 53, 58, 62, 67, 74, 85, 88, 93, 98, 108, 110-111, 124, 135-136, 141, 143, 147, 152, 170, 172, 183-184, 188, 190-195, 197, 201, 204-206, 208, 262, 285, 303, 327, 350, 368, 371-376, 378-379, 385, 390, 398, 410, 412, 425, 430, 439-440, 450, 454, 476-477, 481-482, 483-484, 491

Х

Химический анализ 136, 376, 380, 392, 436
Хронологическая система 79, 95, 333, 373

Ц

Цивилизация 19, 44, 63, 80, 100, 127, 177, 181, 187, 195, 210, 214, 226, 228, 257, 321, 351, 366, 370, 398, 410-412
Цитата 22, 133

Ч

Черный ящик 78, 84, 119, 121
Чифдом 411, 413-414, 417
Чопперы 397

Щ

Щит 138, 296, 370, 393-394, 487

Э

Эволюция 8, 21-22, 24-25, 30-32, 34-35, 45, 47, 75, 77, 88, 90-93, 104, 112, 128, 138, 144, 152, 162, 164, 171, 181-182, 186-187, 189, 209, 212-213, 216, 218-219, 222-223, 228-229, 231-232, 234, 236-237, 240, 248-249, 255, 263, 311, 332, 340, 349, 362, 373, 387, 395-396, 404, 406, 411-412, 414, 416-417, 428, 453, 457-458
Эвристика 34, 52-53, 58, 60, 74, 85-86, 101, 108, 111, 152, 164, 166, 203, 247, 477
Эгалитарное общество 161, 411-414, 422-424
Эквифинальность 72, 77-78, 101, 221, 421
Экономика 51, 97, 107, 128, 138, 141, 143, 217, 284, 288, 292, 295, 302, 348, 350, 363-364, 366-369, 387-389, 390, 395, 402-406, 412-413, 433, 443
Экосистема 77, 80, 85, 349, 443
Экспансия 231, 239, 258, 269-273, 413, 429
Экспедиция 48, 63, 126, 138, 143, 269, 371
Эксперимент 55, 57, 118, 122-129, 131, 133-136, 138-143, 175, 192, 214, 226, 228, 287, 291, 376
Экспликация 12, 43
Эмергентизм 185
Эмпирическое исследование 23, 98, 101, 167, 175, 181, 351
Энвиронментализм 110, 182, 192, 216

Эндогамия 282, 293, 295, 299

Энтропия 6-7

Эпинетрон 63-64, 69, 374

Этникос 295

Этноархеология 23, 32-33, 41, 73-74, 144-153, 155-156, 158, 160, 162, 164, 166-167, 169, 171, 173, 175-176, 453

Этногенез 148, 219, 281, 293, 302-308, 310, 312-317, 322, 325-329, 332, 337-338

Этнографические аналогии 16, 22-23, 25, 29, 32, 34, 37-38, 39-41, 43, 49, 51, 53, 55, 68, 73, 144-145, 147, 150, 152-153, 157, 164, 170, 174, 220, 329, 375-377, 389, 396, 398, 400, 453, 455

Этнография 19, 22, 25-29, 33-38, 40-42, 46-47, 52, 55, 59-60, 71-74, 93, 101, 111, 113, 136, 144-151, 153, 162, 164, 178, 183, 200-201, 210, 227, 246, 266, 280, 285, 291, 294, 298, 305, 308, 310, 324, 327, 330-331, 363, 374, 388, 396, 409, 422, 428, 444, 446, 453, 474

Этноистория 146

Этнос 26, 80, 99, 178, 217, 241, 269, 281-283, 285-309, 312-317, 320, 328, 330-331, 335, 341, 343, 457

Этология 407-409

Я

Язык 3, 8-9, 13-14, 22, 43, 49, 67, 105, 111, 127, 139, 178, 184-185, 191, 193, 198-200, 207, 209-210, 214, 225, 243, 244, 245, 251-252, 268, 281, 283, 284, 285-288, 290, 293, 295, 297, 299-303, 307-313, 315-322, 326-328, 330-332, 338-345, 347, 371, 373, 403-404, 409, 417, 422, 440, 446, 456-457, 461, 468-469, 479, 491-492

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму тому	3
Часть I. Общие проблемы интерпретации	5
Глава 1. Интерпретация и реконструкция	5
1. Задачи второго тома	5
2. Информация, источники и материал	8
3. Интерпретация	15
4. Почему доверять интерпретациям?	16
5. Реконструкция и реставрация	22
6. Интерпретация и синтез источников	23
7. Два направления в интерпретации	25
Глава 2. Этнографические аналогии	25
1. Проблема	26
2. Археология и этнография	29
3. Идея конкретной кооперации	32
4. Терминология и классификация	34
5. Этнографические аналогии после эволюционизма	41
6. Этнографические аналогии в Новой Археологии	45
7. Критический подход и усложнение	47
8. Ограничения и дифференциация	52
9. Эвристический спектр	60
10. Эвристические индикации	70
11. Путь к синтезу и реконструкции	72
12. Сопоставление и интеграция	73
13. Итоги рассмотрения этнографических аналогий	75
Глава 3. Системный подход в археологии	75
1. Три общенаучных подхода	75
2. Пути к системному подходу в биологии	76
3. Пути к системному подходу в археологии	78
4. Округи и культуры	81
5. Понятие системы	83
6. Системность археологических общностей	89
7. Принципы системного подхода	95
1. Принцип целостности	95
2. Принцип контекстности	97
3. Принцип многоаспектности	97
4. Принцип структурности	98
5. Принцип имманентности развития	100

8. Закон, факт и система	101
9. Системно-деятельностный подход и археология	102
Глава 4. Модели в археологии	107
1. Модели в науке	107
2. Модели в традиционной археологии	109
3. Модели в Новой Археологии	114
4. Виды моделей в археологии	119
Глава 5. Эксперимент в археологии	123
1. Эксперимент как метод	123
2. Формирование экспериментальной археологии	124
3. Подвохи в эксперименте	133
4. Применение эксперимента в разных отраслях и разделах археологии	135
5. Оценка возможностей и перспективы	142
Глава 6. Этноархеология	144
1. Формирование	144
2. Суть	147
3. Быстрое разочарование	151
4. Основы этноархеологических построений	152
Часть II. Развитие и движение культур	177
Глава 7. Понятие культуры	177
1. Выбор подхода	177
2. Начало традиции: первые превращения	179
3. Перелом	181
4. Дивергенция: вневременные концепции	183
5. Обновление	187
6. Выводы исторического плана	188
7. Советские концепции культуры (очень краткий обзор)	190
8. Теоретические выводы	193
Глава 8. Материальная культура и духовная культура	198
1. Постановка проблемы	198
2. В контексте философии	199
3. В конкретных науках	201
4. Традиционный подход археологии: критерий объективации	201
5. Функциональный подход историков и культурологов	202
6. Функциональный подход в археологии	204
7. Предложения: расчленение планов	206

Глава 9. Культурогенез и археология	209
1. Культурно-исторический процесс	209
2. Смена культур – “проклятый вопрос” археологии	211
1. <i>Постановка вопроса и первое решение</i>	211
2. <i>Пространственные концепции</i>	213
3. <i>Концепции взрывной трансформации</i>	214
4. <i>Поиски внешних причин</i>	216
5. <i>Упор на ограниченность познания</i>	217
6. <i>Новые рубежи.</i>	220
3. Комуникационная теория культуры	223
1. <i>Поиски фундаментальной идеи</i>	223
2. <i>Соединение информационного подхода с историческим</i>	224
3. <i>Условия стабильности</i>	225
4. <i>Перспективы разработки</i>	227
5. <i>Возможности применения</i>	227
А. Теоретическое применение	227
Б. Прагматическое применение	228
6. <i>Путь через секвенции</i>	228
А. От колонных секвенций к трассовым	229
Б. Коммуникация в трассовых секвенциях	229
Глава 10. Диффузия и трансмиссия	231
А. Общие вопросы	231
1. Понятие диффузии	231
2. Диффузионизм как течение	232
3. Диффузионизм и политика	237
Б. Миграционизм и миграции	239
4. Миграции в системе диффузионизма	239
5. Расовая теория	240
6. Индоевропейское языкознание как база миграционизма	243
7. Демографическое, социальное и археологическое изучение миграций	245
В. Трансмиссии и трансмиссионизм	247
8. Влияния и заимствования в системе диффузионизма	247
9. Психологическое обоснование имитации	247
10. Поддержка трансмиссий в языкознании и фольклористике	250
Глава 11. Археологические признаки миграций	252
1. Предисловие	252
2. Миграционизм, автохтонизм и секвенции	253
3. Миграционизм и трансмиссионизм.	257
4. Идеология и объективность	259
5. Первичный критерий доказанности миграции –	

критерий внешнего источника	261
6. Комплексный (лекальный) критерий	262
7. Другие критерии	265
8. Перестраховочность критериев	266
9. Конфликтная ситуация	267
10. “Прямые” и “косвенные” показатели	268
11. Разновидности миграций и их следов	269
12. Частные критерии	273
13. Структурный состав миграции и ее компоненты	274
Резюме	278
часть III. Разработка проблем этногенеза	281
Глава 12. Этнос	281
1. Понятие об этносе	281
2. Истоки традиционных определений	282
3. Этнические признаки	285
4. Основные концепции	290
5. Специфика этнического	299
6. Этнос и археологическая культура	301
Глава 13. Понятие об этногенезе	303
1. Термин	303
2. Этногенез: традиционный поход	303
3. Этногенез: новый подход	308
4. Критика ретроспективного метода	310
5. Уточнение целей	312
6. Камни преткновения	314
7. Вопрос о происхождении славян	315
1. <i>Состояние проблемы</i>	315
2. <i>Происхождение</i>	316
3. <i>Славяне</i>	319
4. <i>Выбор концепции</i>	320
Глава 14. Синтез информации	324
1. Кооперация наук (к сравнительному источниковедению)	324
1. <i>Возможности лингвистики</i>	326
2. <i>Возможности смежных наук (в том числе археологии)</i>	327
2. Проблема синтеза в исследованиях по этногенезу	329
1. <i>Задача синтеза</i>	329
2. <i>Отказ от “уравнений”</i>	330
3. Стратегия синтеза	331
1. <i>Синтез перед синтезом</i>	332

2. Сохранение неопределенности	333
3. Приведение к "общему знаменателю"	335
4. Поиски многосигнальных индикаторов	336
5. Генерализующий подход	336
6. Рассмотрение в динамике	337
7. Сосредоточение на катаклизмах	337
4. Этногенез и модель генеалогического древа (проблема кооперации археологии с лингвистикой)	338
1. Археология: иллюзии и реальность	338
2. Лингвистика: преодоление иллюзий	340
3. Миграции	342
4. Генеалогическое древо и дельта реки	343
5. Метод совмещения и ретроспективный метод	345
Часть IV. Историко-археологическая реконструкция	348
Глава 15. Демографический анализ материалов	348
1. Вводные замечания	348
2. Демографические модели в объяснении движущих сил эволюции	349
3. Демографические цели и методы в археологии	351
а) Определение пола, возраста, рождаемости и смертности	352
б) Расчет размера популяции по заселенным площадям. Жилища	353
• Объем отложений	355
• Региональные вычисления населенности	355
• Итоги	356
в) определение размеров популяции по артефактам	356
г) определение размеров популяции по пищевым остаткам	357
4. Экологические ресурсы и плотность населения	358
А. Плотность населения охотников-собирателей в зависимости от экологических ресурсов	359
а) Выпадение осадков	359
б) Богатство ресурсов	359
в) Первичная производительность	359
г) Восстановимые природные ресурсы	360
Б. Методы определения величины населения у земледельцев- скотоводов	360
В. Определение темпов роста населения	361
Глава 16. Реконструкция хозяйства	363
1. Археология и концепции экономики	363
2. Типичные ошибки в реконструкции хозяйства	370
3. Типология и функции	372
4. Технологические анализы и реконструкция	376

• Функционально-трассологический анализ	376
• Химические и микроструктурные анализы материалов	380
5. Природная среда и хозяйство	387
6. Археологические свидетельства видов хозяйства	395
Глава 17. Социологическая интерпретация	402
1. Социальные отношения и их отражение в материальной культуре	402
2. Формирование социальной археологии	404
3. Социобиология и этология	407
4. Биологические и социальные структуры – репертуар реконструкции	409
5. Пути реконструкции	414
6. Поселения с жилищами и реконструкция	416
7. Погребальные данные и реконструкция	422
8. Торгово-обменные отношения и реконструкция	431
Глава 18. Реконструкция идей	445
1. Методологические проблемы: когнитивная археология	445
2. Методологические проблемы: реконструкция идей	451
3. Аналогии в реконструкции идей	455
4. Реконструкция универсалий и архетипов	460
5. Специфика против архетипов	472
6. Ментальность и стиль	474
Заключение	491
Литература	493
Указатели:	
Именной указатель	569
Предметный указатель	584

Научная серия: Теоретическая археология. Т.3 (в двух книгах)

Л.С.Клейн

**Археологическое исследование:
Методика кабинетной работы археолога
Кн. 2**

Ответственный редактор серии А.В. Евглевский
Ответственный секретарь О.А. Полякова
Технический редактор О.А. Полякова
Дизайн: Л.С. Клейн, О.А. Полякова, Д.В. Пилипенко
Корректоры: Н.А. Ярошенко, О.А. Полякова
Составление указателей Л.С. Клейн, О.А.Полякова
Набор указателей О.А.Полякова
Компьютерная верстка О.А. Полякова

Адрес редакции:

Украина 83001 г.Донецк, ул. Университетская, 24, ДонНУ, исторический
фак-т, археологическая научно-исследовательская группа НИЧ
E-mail: o.evglevskiy@donnu.edu.ua (Евглевский А.В.)
<http://archgroup.donnu.edu.ua>

Подписано в печать 19.10.2012
Объем 48,4 печ. л.
Формат 70x100^{1/16}

Бумага офсетная
Печать цифровая
Заказ № 3/471

Адрес издательства: Украина 83001 г.Донецк, ул. Университетская, 24,
исторический фак-т, Донецкий национальный университет